

МАРК ТВЕН



-

- [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)

- [КНИГА ПЕРВАЯ](#)

-

- [Глава I. Всеобщие разговоры о поездке. — Программа путешествия. — Становлюсь полноправным членом экспедиции. — Дезертирующие знаменитости.](#)

- [Глава II. Великие приготовления. — Высокий сановник. — Исход в Европу. — Мнение мистера Блюхера. — Каюта № 10. — Сбор всех частей. — Наконец-то в море.](#)

- [Глава III. «Оценка» пассажиров. — «По синему, синему морю». — Бедствующие патриархи. — Поиски развлечений и препятствия на пути к ним. — Пять капитанов корабля.](#)

- [Глава IV. Жизнь паломников в море. — «Дневник» Джека. — Клуб. — «Пышный бал на палубе». — Шуточный процесс. — Благочестие паломников. — Штурман высказывает свое мнение](#)

- [Глава V. Эксцентричная луна. — Тайна «корабельного времени». — Обитатели глубин. — Первая высадка на заграничном берегу. — Азорские острова. — Катастрофический банкет Блюхера.](#)

- [Глава VI. Общество-окаменелость. — Своеобразные нравы и обычаи. — Мошенничество иезуитов. — Фантастическое паломничество. — Происхождение мостовой Русса. — Сведение счетов с окаменелостями. — Снова в море.](#)

- [Глава VII. Появление Африки и Испании . — Геркулесовы Столпы. — Гибралтарская скала. — «Кресло королевы». — Частная прогулка по Африке. — Высадка в Марокко.](#)

- [Глава VIII. Древний город Танжер, Марокко. — Необычные зрелища. — Колыбель древнего мира . — Мы становимся крезами. — Как в Африке грабят почту. —Как опасно быть марокканским богачом.](#)

- [Глава IX. Паломник на краю гибели. — Как починили часы. — Марокканские наказания. — Хитроумные уловки мусульманских паломников. — Почитание кошек. — Блаженная жизнь генерального консула.](#)

- [Глава X. Закат на Средиземном море. — Оракул разрешается мнением. — Франция на горизонте. — Невежественный туземец. — В Марселе. — Затеряны в шумном городе. — Сценка во французском духе.](#)

- [Глава XI. Привыкаем. — Нет мыла. — Меню табльдота. — Любопытное открытие. — Птица «Паломник». — Долгое заточение. — Герои Дюма. — Темница знаменитой «Железной маски».](#)
- [Глава XII. Праздничная поездка по Франции. — Особенности французских вагонов. — Почему во Франции не бывает железнодорожных катастроф. — «Бывалые путешественники». — Все еще едем. — Наконец-то Париж! — Осмотр достопримечательностей.](#)
- [Глава XIII. Мосье Билфингер. — Заново окрещенный француз. — В когтях парижского гида. — Международная выставка. — Военный парад. — Император Наполеон и турецкий султан.](#)
- [Глава XIV. Собор Парижской Богоматери. — Сокровища и священные реликвии. — Морг. — Возмутительный капкан. — Лувр. — Чудесный парк. — Сохранение достопримечательностей.](#)
- [Глава XV. Французское национальное кладбище. — Повесть об Абельяре и Элоизе. — «Здесь говорят по-английски». — Американцу оказывают императорские почести. — Хваленые гризетки. — Отъезд из Парижа.](#)
- [Глава XVI. Версаль. — Обретенный рай. — Чудесный парк. — Потерянный рай. — Наполеоновская стратегия.](#)
- [Глава XVII. Италия на горизонте. — «Город дворцов». — Красота генуэзских женщин. — Даровитый гид. — Церковное величие. — Как сживут генуэзцы. — Массивная архитектура. — Шестьдесят тысяч могил.](#)
- [Глава XVIII. Мчимся по Италии. — Маренго. — Описание некоторых чудес знаменитого собора. — Неприятное приключение. — Топпы золота и серебра. — Священные реликвии. — У храма Соломона есть соперник.](#)
- [Глава XIX. Ла Скала. — Искусные фрески. — Древнеримский амфитеатр. — Главная прелесть европейской жизни. — Итальянские ванны. — Самая прославленная в мире картина. — Поцелуй за франк.](#)
- [Глава XX. Сельская Италия из окна вагона. — Окурены согласно закону. — Знаменитое озеро Комо. — Окружающий его ландшафт. — Комо в сравнении с Тахо. — Приятная встреча.](#)
- [Глава XXI. Прелестное озеро Лекко. — Поездка в коляске по сельской местности. — Сонная страна. — Кровавые святыни. — Сердце поповского царства. — Место рождения Арлекина. —](#)

Приближаемся к Венеции.

- Глава XXII. Ночь в Венеции. — Веселый гондольер. — Великолепный праздник при лунном свете. — Достопримечательности Венеции. — Забытая праматерь всех республик.
- Глава XXIII. Знаменитая гондола. — Площадь святого Марка и крылатый лев. — Снобы на родине и за границей. — Гробницы великих покойников. — Удар по старым мастерам. — Едем дальше.
- Глава XXIV. Через Италию по железной дороге. — Пребывание во Флоренции. — Чудесная мозаика. — Пизанская башня. — Древний собор. — Первый маятник в истории. — Новый гроб Господень. — Ливорно. — Генерал Гарибальди.
- Глава XXV. пышность железных дорог. — Богатства матери-церкви. — Церковное великолепие. — Роскошь и нищета. — Всеобщая мерзость. — Доброе слово о священниках. — Чивита-Веккия Унылая. — Едем в Рим.
- Глава XXVI. Величие собора св. Петра. — Священные реликвии. — Прекрасный вид с купола. — Святая инквизиция. — Монашеские подделки. — Колизей. — Старинная афиша представления в Колизее.
- Глава XXVII. «Зарезан на потеху римской черни». — Тема, выводящая из себя. — Ослоподобные гиды. — Римские катакомбы. — Святой, грудь которого не выдержала пылкой веры. — Чудо кровоточащего сердца.
- КНИГА ВТОРАЯ
 -
 - Глава I. Монастырь капуцинов. — Веселое общество мертвецов. — Чудесный Ватиканский музей. — Искусство под защитой Папы. — Римский табель о рангах божественных особ.
 - Глава II. Неаполь. — Аннунциата. — Подъем на Везувий. — Монашеские чудеса. — Иностранец и извозчик. — Вид на ночной Неаполь с горного склона. — Подъем на Везувий (продолжение)
 - Глава III Подъем на Везувий (продолжение). — Знаменитые места по берегам Неаполитанского залива. — Окаменевшее море лавы. — Подъем (продолжение). — На вершине. — Кратер. — Спуск с Везувия.
 - Глава IV. Погребенный город Помпея. — Судилище. — Запустение. — Следы умерших. — Скелеты, сохранившиеся

- благодаря золе и пеплу. — Стойкий мученик долга. — Недолговечность славы.
- Глава V. Стромболи. — Сицилия в лунном свете. — Мы огибаем Греческие острова. — Афины. — Акрополь. — Неудача. — Среди величественных памятников старины. — В мире разбитых статуй. — Волшебный вид. — Прославленные места.
 - Глава VI. Современная Греция. — Архипелаг и Дарданеллы. — Следы истории. — Константинополь. — Огромная мечеть. — Тысяча и одна колонна. — Большой стамбульский базар.
 - Глава VII. Нехватка нравственности и виски. — Бюллетень девичьего рынка. — Оклеветанные константинопольские псы. — Турецких завтраков больше не требуется. — Турецкие бани — обман.
 - Глава VIII. Плавание по Босфору и Черному морю. — «Новоявленный Моисей». — Печальный Севастополь. — Радужный прием в России. — Охота за сувенирами. — Как путешественники составляют свои коллекции.
 - Глава IX. Девять тысяч миль на восток. — Российское подобие американского города. — Запоздалая благодарность. — Мы посетили самодержца всея Руси.
 - Глава X. Летний дворец царя. — Готовимся к тяжелому испытанию. — На приеме у императора. — В гостях у великого князя. — Очаровательная вилла. — Визит генерал-губернатора. — Высокопоставленные гости.
 - Глава XI. Возвращение в Константинополь. — Наш визит к императору в изображении матросов. — Древняя Смирна. — Восточное великолепие — обман. — Пророчества ученых паломников. — Обходительные армянские девушки.
 - Глава XII. Достопримечательности Смирны. — Мученик Поликарп. — «Семь церквей». — Остатки шести Смирн. — Загадочные залежи устриц. — Здешние Миллеры. — Железная дорога в непривычной обстановке.
 - Глава XIII. Поездка в древний Эфес. — Древний Айсалук. — Мерзкий осел. — Фантастическая процессия. — Былое великолепие. — Из прошлого. — Легенда о семи спящих.
 - Глава XIV. Приближаемся к Святой Земле! — В лихорадке сборов. — Дальний поход одобрен. — В Сирии. — Несколько слов о Бейруте. — Снаряжение экспедиции. — Жалкие клячи. — «Стиль» паломничества.

- [Глава XV. Джексонвил в Ливанских горах. — Удивительный скакун Иерихон. — Паломничество на новый лад. — Библейские места: гора Хермон, поля сражений Иисуса Навина и т. д. — Гробница Ноя.](#)
- [Глава XVI. Патриархальные правы. — Величественный Баальбек. — Описание руин. — Самовлюбленные Смиты и Джонсы. — Приверженность паломников букве закона. — Почитаемый источник, из которого пила Валаамова ослица.](#)
- [Глава XVII. Выдержки из путевого дневника. — Рай по Магомету. — Красавец Дамаск. — Улица «так называемая Прямая». — Избиение христиан. — Дом Неемана. — Ужасы проказы.](#)
- [Глава XVIII. Cholera. — Жара. — Могила Нимрода. — Самые величественные из всех развалин. — Мы переступаем границу Святой Земли. — Купанье в истоках Иордана. — В погоне за новыми реликвиями. — Кесария Филиппова. — Народ, среди которого проповедовали апостолы. — Чувствительный конь, боготворимый арабами.](#)
- [Глава XIX. Дан. — Васан. — Геннисарет. — Обрывки истории. — Облик страны. — Бедуины-пастухи. — Бедуины мистера Граймса. — Поле битвы Иисуса Навина. — Битва Барака. — Запустение.](#)
- [Глава XX. Приключение Джека. — История Иосифа. — Священное озеро Геннисарет. — Восторги паломников. — Почему мы не пустились в плавание по морю Галилейскому. — Капернаум. — Поездка в Магдалу.](#)
- [Глава XXI. Удивительные образцы искусства и архитектуры. — Как народ встречает паломников. — Дом Марии Магдалины. — Тивериада и ее обитатели. — Священное море Галилейское. — Море Галилейское ночью.](#)
- [Глава XXII. Древние бани. — Последняя битва крестоносцев. — Гора Фавор. — Вид с ее вершины. — Воспоминания о волшебном саде. — Жилище пророчицы Деворы.](#)
- [Глава XXIII. По дороге в Назарет. — Укушенный верблюдом. — Трот Благовещения, Назарет. — Мастерская Иосифа. — Священный камень. — Источник богородицы. — Литературные диковинки.](#)
- [Глава XXIV. Детство Спасителя. — Дом аендорской волшебницы. — Наин. — «Вольный сын пустыни». — Древний Изреель. — Подвиги Ииуя. — Самария и ее знаменитая осада.](#)
- [Глава XXV. Сихем. — Могила Иосифа. — Колодец Иакова. —](#)

- [Силом. — Лестница Иакова. — Рама, Бороф, могила Самуила, Бейрский источник. — В стенах Иерусалима.](#)
 - [Глава XXVI. Описание Иерусалима. — Храм гроба Господня. — Могила Иисуса. — Монашеские плутни. — Могила Адама. — Гробница Мельхиседека. — Место распятия Христа.](#)
 - [Глава XXVII. Крестный путь. — Соломонов храм. — Мечеть Омара. — Здесь судили Давид и Саул. — Силоамская купель. — Гефсиманский сад.](#)
 - [Глава XXVIII. Вифания. — «Бедуины!» — Древний Иерихон. — Мертвое море. — Святые отшельники. — Газели. — Место рождения Спасителя, Вифлеем. — Храм рождения. — Возвращение в Иерусалим.](#)
 - [Глава XXIX. Отъезд из Иерусалима. — Самсон. — Шаронская равнина. — Яффа — Дом Симона-кожевника. — Конец долгого паломничества. — Палестинский ландшафт. — Проклятие.](#)
 - [Глава XXX. Корабль — наш дом родной. — Джек и его наряд. — Отцовское напутствие. — Египет. — В Александрии. — На улицах Каира. — Отель «Приют пастуха». — Мы отправляемся к пирамидам.](#)
 - [Глава XXXI. «Изысканные» ослики. — Образцы египетской скромности. — Моисей в тростнике. — Место, где проживало святое семейство. — Пирамиды. — Величественный сфинкс. — Великий древний Египет.](#)
 - [Глава XXXII. Едем домой. — Выродившаяся записная книжка. — Мальчишеский дневник. — Старая Испания. — Кадис. — Прекрасная Мадейра. — Восхитительные Бермудские острова. — Английское гостеприимство. — Наш первый несчастный случай. — Дома. — Аминь.](#)
 - [Глава XXXIII. Неблагодарный труд. — Прощальное слово в газете. — Заключение.](#)
- [«ПРОСТАКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ»](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)

- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)

- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)

- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)

- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)

- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)

- [203](#)
 - [204](#)
 - [205](#)
 - [206](#)
 - [207](#)
 - [208](#)
 - [209](#)
 - [210](#)
 - [211](#)
 - [212](#)
 - [213](#)
 - [214](#)
 - [215](#)
 - [216](#)
 - [217](#)
 - [218](#)
 - [219](#)
 - [220](#)
 - [221](#)
 - [222](#)
 - [223](#)
 - [224](#)
 - [225](#)
 - [226](#)
 - [227](#)
 - [228](#)
 - [229](#)
 - [230](#)
 - [231](#)
 - [232](#)
-





ПРЕДИСЛОВИЕ

В этой книге рассказывается об увеселительном путешествии. Если бы она была рассказом о настоящей научной экспедиции, она обладала бы той серьезностью, тем глубокомыслием и той внушительной неудобочитаемостью, которые приличествуют такого рода трудам и делают их столь увлекательными. Но, хотя это всего только рассказ об увеселительной поездке, у него тоже есть своя цель: показать читателю, какими он увидел бы Европу и Восток, если бы глядел на них своими собственными глазами, а не глазами тех, кто побывал там до него. Я не пытаюсь указывать, как следует смотреть на заморские достопримечательности — об этом написаны другие книги, и даже обладая необходимыми знаниями, мне незачем было бы повторять то, что уже сделано.

Я не намерен оправдываться, если меня обвинят в отступлении от стиля, принятого для описаний путешествий, так как полагаю, что глядел на все беспристрастными глазами, и убежден, что, во всяком случае, писал честно, а мудро или нет — это другой вопрос.

В этой книге я использовал отрывки из моих корреспонденции для «Дейли Альта Калифорния» (Сан-Франциско), владельцы которой любезно дали мне на то соответствующее разрешение. Я использовал также отрывки из нескольких корреспонденции, написанных для нью-йоркской «Трибюн» и нью-йоркского «Геральда».

Автор

Сан-Франциско

КНИГА ПЕРВАЯ



**Глава I. Всеобщие разговоры о поездке. —
Программа путешествия. — Становлюсь
полноправным членом экспедиции. —
Дезертирующие знаменитости.**

В течение многих месяцев пресловутая «Увеселительная поездка по Европе и Святой Земле» не сходила со страниц газет по всей Америке и обсуждалась у бесчисленных домашних очагов. Эта увеселительная поездка была новинкой — ничего подобного прежде не изобреталось, — и она вызывала тот горячий интерес, который всегда внушают заманчивые новинки. Она была задумана как пикник гигантских масштабов. Ее участникам — вместо того чтобы нагрузить грязный пароходишко юностью, красотой, пирогами и пышками, проплыть по какой-нибудь безвестной речке, высадиться на зеленом лужке и мучиться, трудолюбиво резвясь весь долгий летний день в уверенности, что это весело, — предстояло под гром пушечного салюта отплыть на громадном океанском судне с развевающимися вымпелами и превосходно провести время по ту сторону широкой Атлантики, под незнакомыми небесами, в странах, прославленных историей! Многие месяцы они будут плыть по овеванному ветрами океану и залитому солнцем Средиземному морю; днем они будут бродить по палубам, оглашая корабль веселыми криками и смехом, или читать романы и стихи в тени паровой трубы, или, перегнувшись через борт, разглядывать медуз и наутилусов, акул, китов и прочих чудищ подводных глубин, а вечером танцевать на верхней палубе в центре бального зала, протянувшегося от горизонта до горизонта под синим куполом небес, зала, освещенного такими люстрами, как звезды и великолепная луна, — танцевать, и прогуливаться, и курить, и петь, и влюбляться, и искать на небе созвездия, не похожие на Большую Медведицу, которая им так надоела; они увидят суда двадцати флагов, обычаи и одеяния двадцати незнакомых народов, славнейшие города половины мира; они будут якшаться со знатью и вести дружеские беседы с королями и принцами, с Великими Моголами и державными владыками могучих империй!

Это была смелая мысль, рожденная изобретательным умом. Ее широко рекламировали, но она не нуждалась в рекламе; смелая оригинальность, необычность, соблазнительность и грандиозность этого предприятия

породили множество разговоров, и об «Увеселительной поездке» узнали по всей стране. Прочитав проспект путешествия, невозможно было не проникнуться желанием принять в нем участие. Я приведу здесь этот проспект. Он ничем не хуже карты. Что может послужить лучшим вступлением к моей книге, чем:

ПУТЕШЕСТВИЕ В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ, ЕГИПЕТ, КРЫМ,
ГРЕЦИЮ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРЕС

Бруклин, 1 февраля 1867 г

Нижеподписавшийся намеревается летом текущего года совершить вышеуказанное путешествие и просит разрешения ознакомить вас со следующей программой:

Тщательно выбранный первоклассный пароход (под командой нижеподписавшегося), рассчитанный по меньшей мере на сто пятьдесят пассажиров первого класса, примет на борт избранное общество, числом не превышающее трех четвертей его вместимости. Вполне вероятно, что все билеты окажутся распроданными на месте, и таким образом общество на корабле будет состоять из ваших друзей и знакомых.

Пароход будет обеспечен всеми удобствами, включая библиотеку и музыкальные инструменты.

На борту будет опытный врач.

Отплытие из Нью-Йорка около 1 июня; после примерно десятидневного перехода наиболее удобным из трансатлантических путей мы, достигнув Азорских островов, остановимся на Сан-Мигеле, где пассажиры проведут один-два дня, наслаждаясь фруктами и дикой природой; затем новый трех-четырёхдневный переход — и остановка в Гибралтаре.

Один-два дня будут посвящены осмотру интереснейших подземных укреплений, — получить разрешение посетить эти подземные галереи не составит труда.

Из Гибралтара — трехдневный переход в Марсель вдоль берегов Испании и Франции. У пассажиров будет достаточно времени не только для осмотра города, основанного за шестьсот лет до рождества Христова, и его искусственной гавани — лучшей искусственной гавани в Средиземноморье, но и для посещения Парижа во время Выставки, а также — по дороге туда — прекрасного города Лиона, с высот которого в пого-

жий день ясно видны Монблан и Альпы. Желающие могут задержаться в Париже и, проехав через Швейцарию, присоединиться к остальным в Генуе.

От Марселя до Генуи — одна ночь пути. Путешественники будут иметь возможность осмотреть этот «великолепный город дворцов» и посетить место рождения Колумба (двенадцать миль по чудесной дороге, построенной Наполеоном Г). Из Генуи можно совершить экскурсии по маршрутам Милан — озеро Комо и Лаго Маджоре, или Милан — Верона (знаменита своими замечательными укреплениями) — Падуя — Венеция. Если кто-либо из пассажиров пожелает посетить Парму (знаменитую фресками Корреджо) и Болонью, он сможет проехать дальше по железной дороге во Флоренцию и вернуться на пароход в Ливорно, проведя, таким образом, около трех недель в итальянских городах, где хранятся наиболее прославленные сокровища искусства.

Путь вдоль берега от Генуи до Ливорно будет проделан за одну ночь, и продолжительная остановка в последнем пункте позволит посетить Флоренцию, ее дворцы и картинные галереи; Пизу, ее собор и «Падающую башню»; Лукку, ее бани и римский амфитеатр; самый отдаленный из этих городов — Флоренция — находится только в шестидесяти милях от Ливорно по железной дороге.

Расстояние от Ливорно до Неаполя (с заходом в Чивита-Веккию, чтобы высадить тех, кто пожелает отправиться оттуда в Рим) будет пройдено примерно за тридцать шесть часов; корабль будет следовать вдоль итальянского берега, мимо Капреры, Эльбы и Корсики. В Ливорно предполагается взять лоцмана на Капреру и — если удастся — зайти туда, чтобы посетить дом Гарибальди.

Пассажиры смогут посетить Рим (отправившись туда поездом), Геркуланум, Помпею, Везувий, могилу Вергилия и, возможно, развалины Пестума, а также красивейшие окрестности Неаполя и его прелестный залив.

Следующей интересной остановкой будет Палермо, самый красивый город Сицилии, находящийся на расстоянии одной ночи пути от Неаполя. Стоянка продлится день, и вечером пароход возьмет курс на Афины.

Мы обогнем северный берег Сицилии, пройдем через группу Эолийских островов в виду Стромболи и Вулькано — двух действующих вулканов, — через Мессинский пролив, имея справа «Сциллу», а слева «Харибду», затем пойдем вдоль восточного берега Сицилии в виду Этны, вдоль южных берегов Италии, западного и южного побережья Греции, в виду древнего Крита, по Афинскому заливу в Пирей, и прибудем в Афины

через два с половиной — три дня. После короткой остановки мы пересечем Саламинскую бухту и посвятим один день осмотру Коринфа, откуда через Архипелаг, Дарданеллы, Мраморное море и Золотой Рог продолжим путь на Константинополь, где будем через сорок восемь часов после отплытия из Афин.

По выходе из Константинополя курс будет взят через несравненный Босфор и Черное море на Севастополь и Балаклаву, — переход займет около суток. Здесь предполагается задержаться на два дня и осмотреть порты, укрепления и поля сражений в Крыму, затем пароход пойдет через Босфор с заходом в Константинополь за теми, кто предпочтет остаться там, и далее через Мраморное море и Дарданеллы вдоль берегов Азии, мимо древней Трои и Лидии в Смирну, лежащую на расстоянии двух — двух с половиной дней пути от Константинополя. Длительная стоянка в Смирне даст возможность посетить Эфес (пятьдесят миль по железной дороге).

От Смирны — к Святой Земле через Архипелаг, мимо острова Патмос, вдоль берегов Азии, древней Памфилии и острова Кипр. Через три дня пароход прибудет в Бейрут, где простоят достаточно времени, чтобы желающие могли посетить Дамаск, после чего отплывет в Яффу.

Стоянка в Яффе даст возможность посетить Иерусалим, Иордан, Тивериадское озеро, Назарет, Вифанию, Вифлеем и другие достопримечательные места Святой Земли, и там же на пароход вернутся те, кто решит совершить сухопутное путешествие из Бейрута через Дамаск, Галилею, Капернаум, Самарию, по Иордану и Тивериадскому озеру.

Следующей стоянкой, представляющей интерес, будет Александрия, находящаяся на расстоянии суток пути от Яффы. Развалины дворца Цезаря, Колонна Помпея, Игла Клеопатры, катакомбы и развалины древней Александрии достойны того, чтобы их осмотреть. Оттуда по железной дороге можно за несколько часов проехать сто тридцать миль до Каира и осмотреть в его окрестностях житницы Иосифа, пирамиды и местоположение древнего Мемфиса.

Из Александрии будет взят курс домой с заходом на Мальту, в Кальяри (Сардиния) и Пальму (Мальорка) — великолепные порты, очаровательно расположенные и изобилующие фруктами.

В каждом из них будет сделана остановка на один-два дня, и, выйдя из Пальмы вечером, пароход к утру достигнет Валенсии в Испании. Стоянка в этом прекраснейшем из испанских городов продлится несколько дней.

Из Валенсии пароход проследует дальше обратным курсом, огибая берега Испании. Мы пройдем на расстоянии одной-двух миль мимо Аликанте, Картахены, Палоса и Малаги и через сутки прибудем в

Гибралтар.

Стоянка там продлится один день, и затем мы возьмем курс на Мадейру, которая будет достигнута через три дня. Капитан Марриэт^[1] пишет: «Я не знаю другого места на земном шаре, которое так изумляло и восхищало бы новоприбывшего, как Мадейра». Стоянка на Мадейре продлится один-два дня или дольше, если позволит время; затем, пройдя между островами этой группы и, возможно, в виду пика Тенериф, пароход пойдет южным трансатлантическим путем, пересекая океан в области северо-восточных пассатов, где всегда можно рассчитывать на тихую, мягкую погоду и спокойное море.

Зайдя на Бермудские острова, которые расположены непосредственно на этом пути на расстоянии десяти дней плавания от Мадейры, и проведя некоторое время с нашими друзьями бермудцами, мы возьмем курс прямо домой и будем в Нью-Йорке через три дня.

Уже поступают просьбы от лиц, находящихся в Европе и желающих присоединиться к экскурсии в пути.

Пароход будет уютным домом, где путешественники в случае болезни всегда найдут заботливый уход и добрых друзей.

Если в одном из перечисленных в проспекте портов окажется эпидемия, пароход в него заходить не будет и вместо этого посетит какое-нибудь другое, не менее интересное место.

Стоимость билета устанавливается в 1250 долларов банкнотами за каждого взрослого пассажира. Выбор каюты и места за столом предоставляется в порядке записи на билет. Запись считается состоявшейся с момента внесения казначею аванса в размере десяти процентов общей стоимости билета.

По прибытии в порт пассажиры могут оставаться на судне без дополнительной оплаты; перевозка на берег входит в общую стоимость билета.

Оплата билета должна производиться не позже его получения: это позволит наилучшим образом закончить приготовления к отплытию в назначенный срок.

Отбор кандидатов производится комитетом по выдаче билетов, с заказами на которые можно обращаться к нижеподписавшемуся.

Редкости и сувениры, приобретенные пассажирами во время путешествия, перевозятся на родину без дополнительной оплаты.

Пять долларов золотом в день несомненно покроют все расходы как во время коротких сухопутных экскурсий, так и в тех случаях, когда пассажиры пожелают покинуть корабль на более долгий срок.

Время путешествия может быть продлено, а маршрут изменен единогласным решением всех пассажиров.

Чарльз Ч. Дункан 117, Уолл-стрит, Нью-Йорк

Р. Р. Г..., казначей.

Комитет по отбору кандидатов

Дж. Т. Х..., эскв., Р. Р. Г..., эскв., Ч. Ч. Дункан.

Комитет по выбору судна

Кап. У. У. С..., инспектор страхового общества,

К. У. К..., инженер-консультант США и Канады,

Дж. Т. Х..., эскв.,

Ч. Ч. Дункан.

Примечание. Для этого плавания зафрахтован «Квакер-Сити», очень красивый прочный пароход с бортовыми колесами, отходящий из нью-йоркского порта 8 июня. От правительства получены рекомендательные письма к заграничным властям.

Человеческий разум не мог бы найти в этом проспекте ни одного пробела. Он был совершенен и неотразим. Париж, Англия, Шотландия, Швейцария, Италия — Гарибальди! Архипелаг! Везувий! Константинополь! Смирна! Святая Земля! Египет и «наши друзья бермудцы»! Путешественники в Европе, желающие присоединиться к экскурсии, гарантия от эпидемий, перевозка на берег в счет стоимости билета, врач на борту, кругосветное путешествие, если пассажиры единодушно этого пожелают, общество, отобранное безжалостным «Комитетом по отбору кандидатов», пароход, выбранный не менее безжалостным «Комитетом по выбору судна». Кто устоял бы против таких неслыханных соблазнов? Я кинулся в контору казначея и внес положенные десять процентов. Я возликовал, узнав, что несколько отдельных кают еще свободны. Безжалостный комитет не проявил большого интереса к моей личности, но на всякий случай я сослался на всех видных людей моего города, каких только мог припомнить, выбирая по возможности тех, кто ничего обо мне не знал.

Вскоре появилось приложение к «Проспекту», гласившее, что пассажиры будут пользоваться «Плимутским сборником гимнов». Тут я

внес остальные деньги.

Я получил квитанцию и был по всем правилам официально зачислен в участники путешествия. Я был счастлив, но даже это счастье меркло перед новым ощущением: я принадлежу к «избранным»!

Кроме того, приложение рекомендовало путешественникам запастись портативными музыкальными инструментами для развлечения во время плавания, седлами для поездки по Сирии, зелеными очками и зонтиками; вуалями для Египта; прочной одеждой, способной выдержать тяготы паломничества по Святой Земле. Далее указывалось, что, хотя судовая библиотека содержит много книг, каждому пассажиру следует запастись несколькими путеводителями, Библией и каким-нибудь руководством для туристов. В рекомендательном списке большинство книг оказалось посвященным Святой Земле, поскольку Святая Земля входила в программу путешествия и, судя по всему, была ее гвоздем.

Преподобный Генри Уорд Бичер^[2] намеревался сопровождать экспедицию, но неотложные дела заставили его отказаться от этой мысли. Нам было бы гораздо легче и приятнее обойтись без общества некоторых других пассажиров. Предполагалось, что генерал-лейтенант Шерман^[3] также присоединится к нам, но война с индейцами вынудила его отправиться в прерии. Известная актриса внесла свое имя в списки пассажиров, но что-то ей помешало, и она тоже не поехала. «Барабанщик с Потомака»^[4] дезертировал из наших рядов, и мы — увы! — остались без единой знаменитости!

Однако морское министерство собиралось предоставить нам «батарею пушек» (как и обещал проспект) для ответов на салюты королей, и в нашем распоряжении оставалось письмо, подписанное морским министром, которое должно было сделать «генерала Шермана и его друзей» желанными гостями при дворах и штаб-квартирах Старого Света, но мне кажется, что и письмо и батарея несколько утратили свой первоначальный блеск. Однако разве мы лишились соблазнительной программы, обещавшей Париж, Константинополь, Смирну, Иерусалим, Иерихон и «наших друзей бермудцев»? Остальное нас мало трогало.

Глава II. Великие приготовления. — Высокий сановник. — Исход в Европу. — Мнение мистера Блюхера. — Каюта № 10. — Сбор всех частей. — Наконец-то в море.

В течение последующего месяца я время от времени отправлялся на Уолл-стрит, в дом №117, чтобы осведомиться, как идет ремонт и отделка корабля, как пополняется список пассажиров, сколько человек комитет ежедневно объявляет недостаточно «избранными», обрекая их на изгнание и черное отчаяние. Я с удовлетворением узнал, что у нас на борту будет небольшой печатный станок и мы сможем выпускать собственную ежедневную газету. Я с радостью выяснил, что наше фортепьяно, наша фисгармония и наш мелодикон будут лучшими из имеющихся в продаже. Я с гордостью обнаружил среди наших пассажиров трех проповедников слова Божьего, восемь врачей, семнадцать дам, нескольких высокопоставленных армейских и морских офицеров с громкими званиями, обильный улов всевозможных «профессоров», а также господина, за чьей фамилией единым духом грохотало устрашающее: «полномочный представитель Соединенных Штатов Америки в Европе, Азии и Африке»! Я заранее старательно приучил себя к мысли, что на этом корабле буду отодвинут на задний план, так как только избранным из избранных удастся пройти сквозь верблюжье ушко^[5] пресловутого комитета по проверке верительных грамот; я собрал все свое мужество, готовясь встретить внушительный набор героев армии и флота, и, быть может, отодвинуться еще дальше назад, но признаюсь откровенно — *такой* удар застал меня врасплох.

Это лавиноподобное звание раздавило и обескуражило меня. Я сказал, что раз уж эта владетельная особа едет на нашем пароходе, то ничего не поделаешь — пусть едет, но если уж Соединенные Штаты сочли необходимым отправить за океан сановника такого тоннажа, по моему мнению, было бы пристойнее, да и безопаснее, разобрать его на составные части и переслать партиями на нескольких судах.

Ах, если бы только я знал тогда, что он всего лишь обыкновенный смертный и что его полномочия исчерпываются сбором семян, редких сортов ямса, необыкновенной капусты и необычных экземпляров лягушек-быков для этой жалкой, бесполезной, пустоголовой, заплесневелой

окаменелости — Смитсоновского института^[6], какое бы облегчение я почувствовал!

Весь этот незабываемый месяц я купался в блаженстве, впервые в жизни ощущая себя на гребне великого общественного движения. Все ехали в Европу — я тоже ехал в Европу. Все ехали на знаменитую Парижскую выставку — я тоже ехал на знаменитую Парижскую выставку. В те дни пароходные линии вывозили из различных портов Соединенных Штатов в общей сложности около пяти тысяч американцев в неделю. Если за этот месяц мне и довелось встретить десяток знакомых, не уезжающих на днях в Европу, то у меня об этом не сохранилось ясных воспоминаний. Я довольно часто гулял по городу с юным мистером Блюхером, одним из участников нашей экспедиции. Он был человеком доверчивым, бесхитростным и общительным, но не из тех, кто хватается звезды с неба. У него сложилось самое невероятное представление об этом всеобщем исходе в Европу, и в конце концов он решил, что все население Америки укладывает чемоданы, собираясь эмигрировать во Францию. Как-то, проходя по Бродвею, мы с ним зашли в магазин; он купил носовой платок, и когда у хозяина не нашлось сдачи, мистер Блюхер сказал:

— Ничего, я расплачусь с вами в Париже.

— Но я не еду в Париж.

— Вы не... как вы сказали?

— Я сказал, что я не еду в Париж.

— Не едете в Париж? Не еде... так куда же, в таком случае, вы едете?

— Никуда.

— Совсем, совсем никуда? Никуда не едете, остаетесь здесь?

— Никуда не еду, остаюсь здесь — на все лето.

Мой спутник, не сказав больше ни слова, взял свою покупку и с обиженным видом вышел из магазина. Пройдя полквартиры, он нарушил молчание категорическим заявлением:

— Хотите знать мое мнение? Он врет!

В назначенный срок пароход был готов к приему пассажиров. Меня познакомили с молодым джентльменом — моим будущим соседом по каюте; он оказался удивительно милым человеком, умным, веселым, внимательным, терпеливым, уступчивым и великодушным. Никто из пассажиров «Квакер-Сити» не откажется поставить свою подпись под вышесказанным. Мы выбрали носовую каюту по правому борту на нижней палубе. В ней были две койки, тусклый, наглухо задраенный иллюминатор, умывальник с тазиком и пышно убранный подушками большой ящик, который должен был служить нам одновременно и диваном и вместилищем

для наших вещей. Несмотря на всю эту мебель, там можно было свободно повернуться, хотя для того, чтобы вертеть за хвост кошку, не повредив ее, места уже не хватило бы. Однако для каюты это помещение было достаточно велико и вполне нас удовлетворило.

Отплытие было назначено на одну из суббот в начале июня.

Вскоре после полудня в эту историческую субботу я прибыл в гавань и поднялся на борт. Кругом царили шум и суета. (Мне где-то уже приходилось встречать эту фразу). Пристань была забита людьми и экипажами; прибывающие пассажиры торопливо поднимались по сходням; палубы парохода были завалены сундуками и чемоданами; путешественники в невзрачных дорожных костюмах бродили под мелким дождем, своим облезлым и печальным видом напоминая мокрых кур. Наш гордый флаг был поднят, но, поддавшись общему настроению, грустно свисал с мачты. В общем, невыразимо унылое зрелище! Это была увеселительная поездка — никаких сомнений возникнуть не могло, поскольку так говорилось в проспекте и так значилось в квитанции; но кругом не было видно ничего веселого.

Наконец, перекрывая грохот, лязг, шипение пара и крики, прогремела команда: «Отдать концы!» Внезапная толчея на сходнях, беспорядочное бегство провожающих, оборот колес — и мы отплываем: пикник начался! Вымокшая толпа на пристани негромко прокричала два раза «ура», мы вполголоса ответили со скользких палуб; флаг попробовал развеяться, но у него ничего не получилось; «батарея пушек» промолчала — не было пороха.

Мы приблизились к выходу из гавани и стали на якорь. По-прежнему моросил дождь. Кроме того, бушевал ветер. В открытом море, как мы сами могли видеть, ходили гигантские волны. Нам предстояло пережить в тихой гавани, пока буря не уляжется. Пассажиры нашего парохода съехались из пятнадцати штатов, и только немногим из них приходилось плавать по морю раньше, — нельзя же было подвергать их ударам настоящей бури, пока они еще не обрели «морских ног». К вечеру два буксира, на которых веселая компания нью-йоркской молодежи пила шампанское, провожая кого-то из наших спутников согласно всем древним канонам, вернулись в порт, и мы остались одни над пучиной морской. Над пучиной глубиной в тридцать футов, на дно которой был опущен наш якорь. И к тому же под хмурым дождем. Это была поистине увеселительная поездка.

Гонг, созывавший на молитву, был встречен вздохом облегчения. Первый субботний вечер всякой другой увеселительной прогулки можно

было бы посвятить висту и танцам, но, я думаю, всякий непредубежденный человек согласится, что нам, принимая во внимание все перенесенное и то состояние духа, в котором мы находились, не приличествовали такие легкомысленные забавы. Мы украсили бы любые похороны, но для более веселых торжеств не годились.

Однако море всегда действует на людей благотворно; и ночью, устроившись на койке, укачиваемый мерным движением волн, убаюкиваемый ропотом отдаленного прибоя, я скоро погрузился в безмятежное забытие, в котором исчезли и воспоминания о перенесенных в этот день невзгодах и зловещие предчувствия.

Глава III. «Оценка» пассажиров. — «По синему, синему морю». — Бедствующие патриархи. — Поиски развлечений и препятствия на пути к ним. — Пять капитанов корабля.

Все воскресенье простояли на якоре. Ветер за ночь утих, но океан не успокоился. Мы ясно видели в бинокль, как он продолжал вздымать свои пенистые горы. Начинать увеселительную прогулку в воскресенье не подобало; не подобало возлагать наши неопытные желудки на алтарь столь грозного волнения. Приходилось ждать понедельника. И мы стали ждать. Но мы прослушали положенное число воскресных молитв и, таким образом, ничего не потеряли оттого, что были здесь, а не где-нибудь еще.

В это воскресное утро я встал пораньше и сразу же отправился завтракать. Само собой разумеется, мне хотелось внимательно и беспристрастно рассмотреть своих спутников в те минуты, когда их поведение наиболее естественно, — а если люди когда-нибудь и ведут себя естественно, то только за завтраком.

Меня страшно удивило большое число пожилых людей, можно даже сказать — почтенных старцев. При беглом взгляде на длинный ряд склоненных голов они все казались седовласыми. Но это было не так. На самом деле за столом оказалось немало молодежи и изрядное количество джентльменов и дам неопределенного возраста — не очень старых, но и не слишком молодых.

На следующий день мы подняли якорь и вышли в море. После долгой, нудной задержки это было большим счастьем. Мне казалось, что никогда еще воздух не был так упоителен, солнце так ярко, море так красиво. В эту минуту я был доволен пикником и всем, что ему сопутствовало. Все дурные инстинкты во мне умерли, и вместо них, пока Америка таяла на горизонте, в моей душе росло благоволение, столь же безграничное — по крайней мере в ту минуту, — как широкий океан, кативший вокруг нас свои волны. Я жаждал излить свои чувства, я жаждал разжать уста и запеть, — но не вспомнил ничего подходящего, и мне пришлось отказаться от этой мысли. Возможно, потеря для обитателей корабля была не так уж велика.

Дул легкий, приятный ветерок, но море было еще очень беспокойно. Гуляя по палубе, вы рисковали сломать шею; бугшприт то брал на мушку стоящее в зените солнце, то пытался загарпунить акулу на дне океана.

Какое жуткое ощущение охватывает вас, когда корма парохода стремительно уходит из-под ног, а нос карабкается в облака! Безопаснее всего в подобный день вцепиться в перила и не выпускать их; расхаживать по кораблю — слишком рискованное занятие.

По какой-то счастливой случайности я не поддался морской болезни. Этим можно было гордиться. Прежде она частенько одолевала меня. Человек, желудок которого ведет себя хорошо в первый день плавания, когда большинство пассажиров страдает морской болезнью, непременно проникается глубоким и невыносимым самодовольством. Вскоре в дверях кормовой каюты показалась почтенная окаменелость, закутанная до подбородка в плед и вся перебинтованная, словно мумия; очередной толчок корабля бросил ее в мои объятия. Я сказал:

— Доброе утро, сэр. Чудесная погода.

Он прижал руку к животу, простонал «ох!», шатаясь побрел куда-то и растянулся на решетчатой крышке люка.

Вскоре из той же двери с большой силой выбросило второго старца. Я сказал:

— Спокойнее, сэр, торопиться некуда. Чудесная погода, сэр.

Он тоже прижал руку к животу, простонал «ох!» и куда-то заковылял.

Через минуту та же дверь извергла нового патриарха, которой тщетно пытался уцепиться за воздух. Я сказал:

— Доброе утро, сэр. Чудесная погода для прогулки. Вы, кажется, хотели сказать...

— Ох!

Ничего другого я от него и не ждал. Я остался у двери, и на меня в течение часа так и сыпались почтенные старцы; но ничего, кроме «ох!», я от них добиться не сумел.

Затем я удалился в глубокой задумчивости. Я сказал себе, что эта увеселительная поездка очень удачна и мне нравится. Пассажиры не болтливы, но в то же время общительны. Мне нравятся эти старички, хотя, видимо, «ох!» их сильно мучает.

Я знал, что с ними. Они страдали морской болезнью. И я радовался этому. Мы все любим смотреть на тех, кто страдает морской болезнью, если сами чувствуем себя хорошо. Приятно играть в вист под яркими лампами каюты, когда снаружи бушует шторм; приятно гулять по юту в лунную ночь; приятно курить на овеваемом ветрами формарсе, если не побоишься туда забраться; но все это кажется жалким и пошлым в сравнении с блаженством, которое испытываешь при виде людей, терзаемых морской болезнью.

В течение дня я приобрел уйму сведений. Началось с того, что я карабкался по юту, когда корма парохода уходила в облака; я курил сигару и чувствовал себя вполне сносно. Вдруг кто-то крикнул:

— Послушайте, так не годится! Прочтите-ка вон тунадпись: «НА КОРМЕ НЕ КУРИТЬ!»

Это был капитан Дункан, глава экспедиции. Я, разумеется, отправился на нос. В одной из кают верхней палубы, позади лоцманской рубки, я заметил на столе длинную подозрную трубу и потянулся за ней — на горизонте виднелся корабль.

— Эй, эй, прочь руки! Вылезайте оттуда!

Я вылез оттуда и, понизив голос, спросил матроса, подметавшего палубу:

— Кто этот здоровенный пират с бакенбардами и скрипучим голосом?

— Это капитан Берсли — штурман.

Некоторое время я бесцельно слонялся по палубе, а потом, за неимением лучшего, начал резать перила перочинным ножом. Кто-то сказал ласково и назидательно:

— Ну послушайте, мой друг, и не стыдно вам вот так кромсать корабль? Уж вам-то это стыдно.

Я снова подошел к матросу.

— Что это за бритая образина в шикарном костюме?

— Капитан Л***, владелец нашего парохода, один из главных начальников.

Через некоторое время я очутился у правого борта и на скамье за лоцманской рубкой обнаружил секстант. Этой штукой ловят солнце, сказал я себе; наверное, через нее можно рассмотреть тот корабль. Не успел я поднести секстант к глазам, как какой-то человек тронул меня за плечо и с упреком сказал:

— Я вынужден просить вас вернуть мне прибор, сэр. Если вы захотите узнать, как ловят солнце, я с удовольствием объясню, но я не могу доверять секстант посторонним. Если вы хотите определить место... Иду, сэр!

Его позвали с левого борта, и он ушел туда. Я направился к матросу:

— Кто эта горилла с паучьими ножками и физиономией святоши?

— Капитан Джонс, сэр, — первый помощник.

— Так. Час от часу не легче. Скажите, — я обращаюсь к вам, как к человеку и брату, — скажите, могу ли я бросить здесь камень в любом заданном направлении и не попасть ни в одного из капитанов этого судна?

— Ну, сэр, трудно сказать. Пожалуй, угодите в вахтенного капитана, потому что вон он стоит — как раз на дороге.

Я покинул палубу с тяжелым сердцем, погружившись в размышления. Если у семерых нянек дитя без глазу, думал я, то во что же могут превратить увеселительную поездку пять капитанов?

Глава IV. Жизнь паломников в море. — «Дневник» Джэка. — Клуб. — «Пышный бал на палубе». — Шуточный процесс. — Благочестие паломников. — Штурман высказывает свое мнение

В течение недели мы трудолюбиво разрезали волны, и за это время между капитанами не было никаких ведомственных трений, о которых стоило бы упомянуть. Пассажиры скоро приспособились к новой обстановке, и жизнь на корабле потекла размеренно и монотонно, словно в казарме. Я не хочу сказать, что она была скучна, отнюдь нет, но в ней было много однообразия. Пассажиры, как обычно бывает в плаванье, вскоре нахватались морских терминов — верный признак того, что они уже начинают осваиваться. Половину седьмого утра эти паломники из Новой Англии, с Юга и с берегов Миссисипи стали называть «семь склянок»; восемь часов, двенадцать и четыре превратились в «восемь склянок»; капитан теперь определял долготу не в девять часов, а «когда било две склянки». Они бойко сыпали такими словами, как «кормовая рубка», «носовая рубка», «штирборт», «бак-борт» и «бак».

Когда било семь склянок, раздавался первый гонг; когда било восемь, пассажиры садились завтракать — те, кому позволяла морская болезнь. Затем все здоровые прогуливались рука об руку по верхней палубе, наслаждаясь ясным летним утром, а жертвы морской болезни тоже выползали наверх и, прячась от ветра за кожухом колеса, уныло пили чай с сухариками. Вид у них был самый несчастный. С одиннадцати часов до второго завтрака, а также между вторым завтраком и обедом (в шесть часов вечера) пассажиры предавались самым различным занятиям и развлечениям. Кое-кто читал, другие занимались шитьем и курением — разумеется, не одни и те же лица; можно было выискивать среди волн чудищ морских глубин и дивиться на них, рассматривать в бинокль встречные корабли и высказывать по их поводу мудрые суждения; более того, каждый считал своей священной обязанностью приглядеть за тем, чтобы флаг был поднят и трижды вежливо приспущен в ответ на приветствие незнакомца; в курительной несколько джентльменов непременно играли в карты, шашки и домино — чаще всего в домино, эту восхитительно безобидную игру; а внизу, на главной палубе в носовой части, по соседству с курятником и загонем для скота, мы устроили так

называемый «лошадиный бильярд». Это прекрасная игра, требующая большой подвижности, веселая и азартная. Она похожа на «классы», а также на бильярд, и в нее играют клюшкой. На палубе мелом чертят большие «классы» и каждый квадрат нумеруют. Вы становитесь в трех-четырех шагах, кладете перед собой несколько плоских деревянных дисков и сильно бьете по ним длинной клюшкой. Если какой-нибудь диск остановится на черте, очки не засчитываются. Если же он остановится в седьмом квадрате, игроку засчитывается семь очков, в пятом — пять, и так далее. Надо набрать сто очков; играть можно вчетвером. На неподвижном полу играть было бы очень просто, но на корабле это становилось целой наукой. Нам приходилось учитывать бортовую качку. Очень часто игрок рассчитывал на крен вправо, а корабль вдруг не кренился. В результате диск пролетал ярдах в двух от «классов», и тогда бывший чувствовал себя дураком, а остальные смеялись.

Когда шел дождь, пассажирам, разумеется, приходилось сидеть дома — точнее говоря, в каютах — и развлекаться играми, чтением, созерцанием давно знакомых волн за окном и пересудами.

К семи часам вечера заканчивался обед, затем следовала часовая прогулка по верхней палубе, после чего раздавался гонг, и большая часть общества отправлялась на богослужение в кормовую каюту (верхнюю) — прекрасный салон длиной футов в шестьдесят. Не озаренные светом духовным прозвали этот салон «синагогой». Служба, состоявшая из двух гимнов Плимутского сборника и короткой молитвы, обычно занимала не больше пятнадцати минут. Гимны исполнялись под аккомпанемент фисгармонии в тех случаях, когда море было достаточно спокойно и аккомпаниатора не приходилось предварительно привязывать к стулу.

По окончании молитвы синагога превращалась в нечто напоминающее класс, где школьники занимаются чистописанием. Ни один корабль не видывал доселе ничего подобного. Около тридцати дам и джентльменов усаживались за обеденные столы, тянувшиеся вдоль стен салона, и при свете качающихся ламп два-три часа прилежно писали свои дневники. Увы! Как грандиозно были задуманы эти дневники, и какой жалкий и бесславный конец ожидал большинство из них! Я сомневаюсь, найдется ли среди наших паломников хоть один, который не смог бы предъявить ста полных страниц дневника, посвященных первым двадцати дням плавания на «Квакер-Сити», и я абсолютно уверен, что не найдется и десяти таких, которые могли бы предъявить хотя бы двадцать страниц, повествующих об остальных двадцати тысячах миль путешествия! В жизни человека бывают периоды, когда он испытывает непреодолимую потребность вести точную

запись своих деяний и он отдается этому труду с пылом, который порождает в нем уверенность, что ведение дневника — самое правильное и самое приятное времяпрепровождение из всех возможных. Но если только он проживет еще двадцать один день, он убедится, что лишь редкие натуры, сотканные из смелости, выдержки, преданности долгу во имя долга и непоколебимой решимости, способны, быть может, не потерпеть поражения, взяв на себя столь грандиозный труд, как ведение дневника.

Один из наших всеобщих любимцев, Джек, замечательный юноша, обладатель головы, преисполненной здравого смысла, и пары ног, смотреть на которые просто удовольствие — такие они длинные, прямые и худощавые, — каждое утро, пылая восторгом и воодушевлением, сообщал нам о своих успехах и неизменно заканчивал так:

— Я недурственно продвинулся! (В хорошем настроении он иногда пользовался жаргоном.) За вчерашний день я написал десять страниц дневника, позавчера я написал девять, а позавчера — двенадцать. До чего же интересное занятие!

— Но что вы ухитряетесь туда записывать, Джек?

— Да все. Широту и долготу на каждый полдень; и сколько миль мы прошли за последние сутки; и все мои выигрыши в домино и в лошадиный бильярд, и китов, и акул, и дельфинов; и текст воскресной проповеди (потому что это произведет хорошее впечатление на домашних); и корабли, с которыми мы обменялись приветствиями, и их национальность; и направление ветра; и было ли волнение, и какие паруса мы несли, хотя мы чаще всего идем без всяких парусов — ветер все время встречный (интересно бы знать — почему?); и сколько раз соврал Моулт. Одним словом, все! Я все записываю. Этот дневник мне велел вести отец. Он и за тысячу долларов с ним не расстанется, когда я его закончу.

— Да, Джек, этот дневник будет стоить больше тысячи долларов, когда вы его закончите.

— Правда? Да нет, вы правда так думаете?

— Да. Он будет стоить не меньше тысячи долларов — когда вы его закончите. А может быть, и больше.

— Мне и самому так кажется. Это вам не какой-нибудь хлипкий дневничок!

Но увы! Вскоре этот дневник стал плачевно «хлипким дневничком». Как-то вечером в Париже, после тяжких дневных трудов, утомленный осмотром достопримечательностей, я сказал:

— Я, пожалуй, пойду пройтись, Джек, и дам вам возможность заняться дневником.

Его физиономия омрачилась. Он сказал:

— Ах, не беспокойтесь, пожалуйста. Я решил больше не возиться с этим дневником. Скучища. Вы знаете — я отстал уже на четыре тысячи страниц. У меня совсем нет Франции. Сперва я было решил пропустить Францию и начать заново. Но это не годится — правда ведь? Папаша скажет: «Как же так — ничего не видел во Франции?» Нет, это не пойдет. Сперва я было решил переписать Францию из путеводителя, как Бэджер в носовой каюте, который пишет книгу, но она там занимает триста страниц. Да что толку в этих дневниках! Как по-вашему? Только лишние хлопоты, правда?

— Да, от незаконченного дневника толку мало, но путевой дневник, если он ведется как следует, стоит тысячу долларов, когда вы его закончите.

— Тысячу! Еще бы — я бы его и за миллион кончать не стал!

То, что произошло с ним, произошло и с большинством других прилежных посетителей этой вечерней школы в салоне. Если вам понадобится подвергнуть молодого человека тяжелому и мучительному наказанию, возьмите с него слово, что он в течение года будет вести дневник.

Чтобы развлекать путешественников и поддерживать в них бодрость духа, пускались в ход всевозможные уловки. Был учрежден объединивший всех пассажиров клуб, который после богослужения собирался в школе чистописания; там читали вслух книги о тех странах, куда мы направлялись, и обсуждали полученные сведения.

Несколько раз фотограф экспедиции приносил свой волшебный фонарь и устраивал интереснейшие демонстрации. Большая часть его диапозитивов изображала заграничные достопримечательности, но среди них попадались и виды родных мест. Он объявил, что «начнет представление в кормовом салоне, когда пробьют две склянки (в девять вечера), и покажет пассажирам, куда им предстоит прибыть». Это, разумеется, было очень мило, но по странной случайности первым на полотне вспыхнул вид Гринвудского кладбища!

Два или три раза в звездные вечера мы устраивали танцы на верхней палубе под тентом, не без успеха заменяя яркие люстры бального зала судовыми фонарями, развешанными по столбам. Мы танцевали под основательно переболтанные звуки астматического мелодикона, у которого перехватывало дыхание как раз тогда, когда требовался сильный выдох; под кларнет, ненадежный на высоких нотах и подвывавший на низких; под забулдыгу-аккордеон, который прохудился и поэтому дышал громче, чем верещал, — более изящное выражение мне сейчас не приходит в голову. Но

во всяком случае танцы были еще хуже музыки. Когда корабль кренился вправо, танцоры всем взводом бросались в атаку на правый борт и разом повисали на перилах, когда же он кренился влево, они с тем же завидным единодушием обрушивались на левый борт. Вальсирующие успевали покружиться секунд пятнадцать, а затем опрометью неслись к перилам, словно собираясь топить. Повороты в виргинской кадрили, когда ее танцевали на борту «Квакер-Сити», требовали такой поворотливости, какой мне доселе видеть не приходилось, и зрители с захватывающим интересом наблюдали, как танцоры, ежеминутно рискуя жизнью, чудом избегали гибели. В конце концов мы отказались от танцев.

Мы отметили день рождения одной из дам тостами, спичами, стихами и всем, чем полагается. Мы также устроили шуточный судебный процесс. Море еще не видывало корабля, на котором не устраивался бы такой процесс. Эконом был обвинен в краже пальто из каюты №10. Назначили судью, а также секретарей, судебного пристава, констеблей, шерифов, прокурора и адвоката; разослали повестки свидетелям; после многочисленных отводов составили наконец список присяжных. Свидетели, как всегда, были бестолковы, ненадежны и путались в своих показаниях. Адвокат и прокурор, как и все их настоящие коллеги, были красноречивы, убедительны и саркастически язвили друг друга. Наконец разбирательство закончилось, и судья достойно завершил всю процедуру нелепым решением и смешным приговором.

Несколько раз молодежь пробовала ставить по вечерам в салонах шарады, и это развлечение пришлось пассажирам особенно по вкусу.

Была сделана попытка учредить клуб дебатов, но она не увенчалась успехом — талантливых ораторов на корабле не нашлось.

Никто из нас не скучал, — я думаю, что могу сказать это с уверенностью, — хотя мы предпочитали тихие развлечения. Мы очень, очень редко играли на фортепьяно; мы устраивали дуэты флейты и кларнета, и получалось очень недурно, когда что-нибудь вообще получалось, но исполнялась всегда одна и та же мелодия, очень красивая; как хорошо я ее помню, — и когда только я от нее избавлюсь! Фисгармонией и мелодиконом пользовались только во время богослужения... — но я забегаю вперед. Юный Альберт знал одну песенку — что-то о «Что-то иль это, как сладко узнать, что он, как его там» (я точно не помню ее названия, но она была очень жалобная и чувствительная). Альберт непрерывно ее наигрывал, пока мы не условились, что впредь он будет воздерживаться. Но никто ни разу не запел в лунную ночь на верхней палубе, а хоровое пение во время службы не поражало ни стройностью, ни

благозвучием. Я терпел, сколько мог, а потом присоединился к хору, чтобы поправить дело, но юный Джордж решил последовать моему примеру и погубил все: голос юного Джорджа как раз ломался, и его заунывный бас то и дело срывался с цепи, пугая слушателей визгливыми «петухами» на верхних нотах. Кроме того, Джордж не различал мелодий, что также несколько вредило его исполнению. Я сказал:

— Послушайте, Джордж, бросьте импровизировать. Не будьте эгоистом. Это вызовет недовольство. Пойте «Возложение венца» вместе с остальными. Такую красивую мелодию вам все равно на ходу не улучшить.

— Да я и не собираюсь ее улучшать, я пою вместе с остальными — по нотам.

И он верил тому, что говорил; так что когда по временам голос застревал у него в горле и душил его, он сам был в этом виноват.

Некоторые из не озаренных светом духовным утверждали, что непрекращающийся лобовой ветер — результат душераздирающих завываний нашего хора. Другие прямо заявляли, что эта жуткая музыка, даже когда она звучит относительно сносно, уже может привести к опасным последствиям, но что усугублять подобное преступление, позволяя Джорджу раскрыть рот, — это значит бросать открытый вызов провидению. Они утверждали, что, если хор будет и дальше так безбожно фальшивить, это кончится тем, что он навлечет на наш пароход бурю, которая всех нас потопит.

Кое-кто злился и на молитвы. Штурман говорил, что паломники бессердечны:

— Каждый Божий день, как пробьет восемь склянок, они молятся о попутном ветре, хоть знают не хуже меня, что в это время года ни один корабль, кроме нас, не плывет на восток, а на запад плывут тысячи — и наш попутный ветер будет для них противным. Всемогущий посылает попутный ветер тысяче кораблей, а эта шайка требует, чтобы он повернул его на сто восемьдесят градусов ради одного-единственного судна, да к тому же еще парохода! Ни чувства, ни рассудка, ни христианского милосердия, ни простой человечности. И слушать не хочу!

**Глава V. Эксцентричная луна. — Тайна
«корабельного времени». — Обитатели глубин. —
Первая высадка на заграничном берегу. — Азорские
острова. — Катастрофический банкет Блюхера.**

«По ветру ли, без ветра ли», как говорят моряки, но в общем шестидневный переход от Нью-Йорка до Азорских островов был очень приятным, — довольно медленным, поскольку между ними только две тысячи четыреста миль, но в целом все же приятным. Правда, мы все время шли против ветра и несколько раз попадали в штормы; морская болезнь укладывала половину пассажиров в постель, и пароход становился унылым и пустынным; этих штормов никогда не забудут те, кто выдерживал их на уходящей из-под ног палубе, обдаваемой мощными фонтанами брызг, то и дело взлетающих из-под форштевня и грозными ливнями обрушивающихся на корабль, — но по большей части стояла чудесная летняя погода, и ночи были еще лучше, чем дни. Каждую ночь в одно и то же время над нами в одной и той же точке небес стояла полная луна. Причина такого странного поведения луны сначала была нам неясна, но потом мы сообразили, в чем дело: двигаясь на восток с такой скоростью, мы выигрывали примерно двадцать минут в день, и этих двадцати минут было как раз достаточно, чтобы не отставать от луны. Для наших друзей, оставшихся дома, она давно уже шла на ущерб, но для нас, Иисусов Навинов^[7], она все еще стояла на прежнем месте и была все такая же круглая.

Юный мистер Блюхер, житель Дальнего Запада, совершавший свое первое путешествие, страшно мучился из-за постоянных изменений «корабельного времени». Сперва он очень гордился своими новыми часами и немедленно вытаскивал их, когда в полдень било восемь склянок, но спустя некоторое время он, казалось, начал проникаться к ним недоверием. Через неделю после отплытия из Нью-Йорка он вышел на палубу и категорически заявил:

— Надувательство, и больше ничего!

— Что — надувательство?

— Да эти часы. Я их купил в Иллинойсе, заплатил сто пятьдесят долларов — и думал, что могу на них положиться. И верно — с места не сойти, — на берегу они вполне надежны; а вот на корабле почему-то сдают

— морская болезнь у них, что ли? Скачут. До половины двенадцатого идут нормально, а потом ни с того ни с сего вдруг спотыкаются. Я передвигал чертов регулятор, пока он не описал полный круг, а проку никакого; они оставляют за флагом все здешние часы, до самого полудня тарахтят так, что любо-дорого, но восемь склянок всегда приходят к финишу на десять минут раньше, как ни верти. Что с этими часами делать — просто ума не приложу. Они выжимают из себя все, что могут, идут самым бешеным аллюром — и ничего не получается. Из всех здешних часов они показывают лучшее время, — а что толку? Вот пробьет восемь склянок, и опять они десяти минут до финиша не дотянут, верное дело.

Каждые три дня корабль нагонял полный час, а он подхлестывал свои часы, пытаясь за ним угнаться. Но, как он сам сказал, он передвинул регулятор уже до предела, и часы шли «самым бешеным аллюром», так что ему оставалось только махнуть рукой и смотреть, как корабль выигрывает состязание. Мы послали его к капитану, и тот, объяснив ему тайны «корабельного времени», успокоил его смятенный дух. Перед отплытием этот юноша задавал великое множество вопросов о морской болезни — каковы ее симптомы и как узнать, когда она у него начнется. Он скоро это узнал.

Конечно, мы наблюдали неизбежных акул, китов, дельфинов и так далее, и со временем к обычному перечню морских чудес прибавились большие косяки португальских галер. Некоторые из них были белые, а другие — ярко-карминные. Наутилус — это просто прозрачный студнеобразный комок, который растягивается, чтобы ловить ветер; по бокам его свисают мясистые щупальца фута в два длиной, помогающие ему устойчиво держаться на воде. Наутилус — хороший моряк, обладающий превосходным чувством моря. Он берет рифы на своем парусе, когда приближается шторм или поднимается ветер, и, свернув его, опускается под воду, когда поднимается буря. Обычно он содержит свой парус в образцовом порядке и смачивает его, переворачиваясь и погружаясь на секунду в воду. Моряки говорят, что в Атлантическом океане наутилус встречается только между тридцать пятым и сорок пятым градусами широты.

Двадцать первого июня нас разбудили в три часа утра, дабы сообщить нам, что на горизонте видны Азорские острова. Я сказал, что в три часа утра островами не интересуюсь. Но вскоре явился другой мучитель, потом третий, четвертый, и в конце концов, решив, что общий энтузиазм никому не даст спокойно выспаться, я, протирая глаза, выбрался на палубу. Уже пробило половину шестого; утро было сырое и бурное. Тепло закутанные

пассажиры жались к трубам и прятались позади вентиляторов, спасаясь от резкого ветра и холодных брызг; вид у всех был сонный и несчастный.

На горизонте виднелся остров Флориш. Он казался просто кучей грязи, торчащей в свинцовом морском тумане. Но когда мы к нему приблизились, взошло солнце, и остров стал прекрасным — зеленый ковер полей и лугов уходил ввысь на полторы тысячи футов, скрываясь в облаках. Его прорезали острые, обрывистые гребни и узкие ущелья; там и сям громоздились скалы, казавшиеся зубчатыми стенами замков; а из распоротых облаков, заливая потоками огня вершины, склоны и долины и оставляя между ними мрачные полосы теней, падали широкие столбы солнечного света. словно северное сияние перенеслось с ледяного полюса в страну вечного лета!

Мы обогнули две трети острова, держась в четырех милях от берега, и все бинокли на корабле были пущены в ход для разрешения спора о том, что представляет собой зеленая щетина на склонах — рощи или заросли бурьяна, и действительно ли белые домики на берегу — домики, а не могильные плиты кладбищ. Наконец земля осталась за кормой, и мы взяли курс на Сан-Мигель; а Флориш вскоре снова превратился в кучу грязи, ушел в туман и исчез. Но вид зеленых холмов принес большую пользу многим измученным морской болезнью пассажирам, да и все мы чувствовали себя гораздо бодрее, чем можно было ожидать, принимая во внимание, как безбожно рано нас подняли.

Но до Сан-Мигеля нам добраться не удалось — к полудню разыгралась буря, и корабль так швыряло из стороны в сторону, что благоразумие требовало где-нибудь укрыться. Поэтому мы повернули к ближайшему острову — Фаялу (здесь жители произносят «Фай-ол», с ударением на первом слове). Мы бросили якорь на открытом рейде Орты, в полумиле от берега. В этом городке около девяти тысяч жителей. Его белоснежные дома уютно гнездятся в море свежей зелени, и трудно найти более красивое и привлекательное селение. Оно окружено амфитеатром холмов высотой от трехсот до семисот футов, тщательно обработанных до самых вершин, — ни фута почвы не остается свободным. Каждое поле, каждый акр земли разбит на маленькие квадратные ячейки каменными стенами, которые защищают урожай от дующих здесь ураганных ветров. Сотни этих зеленых квадратиков, разделенных стенами из черной лавы, придают холмам вид огромных шахматных досок.

Азорские острова принадлежат Португалии, и на Фаяле во всем преобладают португальские черты. Но об этом ниже. Смуглые, шумные, лгущие, пожимающие плечами, жестикулирующие лодочники португальцы

с медными кольцами в ушах и коварством в сердце облепили пароход, и пассажиры, разбившись на группы, условились о перевозке на берег по столько-то с головы в серебряной монете любой страны. Мы высадились под стенами маленького форта, вооруженного батареями двенадцати- и тридцатидвухфунтовых орудий. Жители Орты считают свой форт чрезвычайно грозным укреплением, но если бы за него взялся один из наших башенных мониторов, им пришлось бы перевезти эту крепость куда-нибудь в глубь страны, чтобы сохранить на случай, когда она им снова понадобится. Толпа зевак на пристани имела жалкий вид: мужчины, женщины, мальчики, девочки — все босые, в лохмотьях, нечесанные, неумытые, по склонностям, воспитанию и профессии — попрошайки. Они двинулись вслед за нами, и до конца нашего пребывания на Фаяле мы так от них и не избавились. Мы шли посередине главной улицы, а они глазели на нас, окружив со всех сторон; то и дело возбужденные зрители забежали вперед, чтобы как следует рассмотреть процессию, точь-в-точь как деревенские мальчишки, бегущие за слоном, который идет по улицам, оповещая о прибытии цирка. Мне было лестно чувствовать себя виновником подобной сенсации. Там и сям в дверях стояли женщины в модных португальских капюшонах. Этот капюшон из грубой синей ткани, пришитый к такому же плащу, представляет собой чудо безобразия. Он высок, широк и бездонно глубок. Он похож на цирковой балаган и скрывает голову женщины, как жестяная будка на сцене — голову суфлера. На этом чудовищном «сароте», как он здесь называется, нет никакой отделки, — это просто безобразный тускло-синий парус, и женщина, надевшая его, не может держать к ветру ближе восьми румбов — ей приходится либо идти по ветру, либо оставаться дома. Этот головной убор в моде на всех островах и останется модным ближайшие десять тысяч лет, но покрой капюшона на каждом острове имеет свои небольшие отличия, благодаря которым внимательный наблюдатель может с одного взгляда сказать, на каком острове сеньора проживает.

Португальская мелкая монета reis (произносится — «рейс») просто изумительна. Один доллар равен тысяче рейсов, а все денежные расчеты производятся в рейсах. В первый раз мы обнаружили это благодаря Блюхеру. Блюхер сказал, что безмерно счастлив снова очутиться на твердой земле и хочет задать пир; он сказал, что, по слухам, тут все очень дешево и что банкет его будет великолепен. Он пригласил девятых пассажиров, и мы превосходно пообедали в лучшем отеле города. В самый разгар веселья, вызванного хорошими сигарами, хорошим вином и сносными анекдотами, хозяин подал счет. Блюхер посмотрел на бумажку, и лицо его вытянулось.

Он поглядел еще раз, словно не доверяя собственным глазам, потом дрожащим голосом начал читать вслух все подряд, и розы на его щеках увяли и обратились в пепел.

— «Десять обедов по шестьсот рейсов — шесть тысяч рейсов!» Гибель и разорение!

«Двадцать пять сигар по сто рейсов — две тысячи пятьсот рейсов!» Мать честная!

«Одиннадцать бутылок вина по тысяча двести рейсов — тринадцать тысяч двести рейсов!» Спаси и помилуй нас!

«Итого — двадцать одна тысяча семьсот рейсов!» Господи Иисусе! На всем пароходе не найдется наличных, чтобы оплатить этот счет! Идите — предоставьте меня моей судьбе, ребята. Мой банк лопнул.

Пожалуй, я в жизни не видал такой растерянной компании. Никто не мог выдавить из себя ни слова. Казалось, все до единого онемели. Бокалы медленно опустились на стол, по-прежнему полные до краев. Сигары незаметно выскользнули из ослабевших пальцев. Мы смотрели друг на друга, но у всех в глазах было только безнадежное отчаяние. Наконец зловещее молчание было нарушено. Тень безумной решимости, как туча, легла на чело Блюхера; он выпрямился во весь рост и сказал:

— Хозяин, это низкое, подлое вымогательство, и я ни за что на него не поддамся. Вот, сэр, сто пятьдесят долларов, и ни гроша больше вы не получите. Я кровью захлебнусь, прежде чем прибавлю хоть цент.

Мы ободрились, а хозяин расстроился, — так по крайней мере нам показалось; во всяком случае, он явно смутился, хотя и не понял из всего сказанного ни слова. Он постоял, поглядывая то на кучу золотых монет, то на Блюхера, и затем ушел. Очевидно, он отправился к какому-нибудь американцу, потому что, вернувшись, принес перевод своего счета на человеческий язык, а именно:

10 обедов — 6000 рейсов, или	6	долларов
25 сигар — 2500 рейсов, или	2,50	»
11 бутылок вина — 13 200 рейсов, или	13,20	»
Всего 21 700 рейсов, или	21,70	»

Среди гостей Блюхера снова воцарилось веселье. Мы потребовали еще вина.

**Глава VI. Общество-окаменелость. —
Своеобразные нравы и обычаи. — Мошенничество
иезуитов. — Фантастическое паломничество. —
Происхождение мостовой Русса. — Сведение
счетов с окаменелостями. — Снова в море.**

Мне кажется, что Азорские острова в Америке почти неизвестны. Среди пассажиров не нашлось ни одного, который хоть что-нибудь о них знал. Самые начитанные из нас, хорошо осведомленные о других странах, знали о них только то, что Азоры — группа небольших островков, затерянная в Атлантическом океане, где-то на полпути между Нью-Йорком и Гибралтаром. И все. Поэтому мне представляется желательным дать тут сухой перечень некоторых фактов.

Уклад жизни здесь типично португальский, другими словами — неторопливый, бедный, безалаберный, сонный и ленивый. Управление находится в руках гражданского губернатора, назначаемого португальским королем; кроме того, имеется военный губернатор, который может, когда пожелает, отстранить гражданского губернатора и облечь себя полнотой власти. Население островов составляет 200000 человек, жители — почти исключительно португальцы. Жизнь идет по привычной, давным-давно установившейся колее, — когда Колумб открыл Америку, эта страна насчитывала уже сто лет. Главная зерновая культура — пшеница, которую жители сеют и мелют так же, как ее сеяли и мололи их прапрапрадеды. Они пашут при помощи доски, обитой по краю железом, в крохотные бороны впрягаются мужчины и женщины; маленькие ветряные мельнички мелют зерно — десять бушелей в день, засыпкой ведает помощник надзирателя, а главный надзиратель стоит рядом, присматривая, чтобы помощник не заснул. Когда ветер меняется, к мельнице припрягают несколько ослов и поворачивают ее верхнюю половину, пока крылья не окажутся в нужном положении, — вместо того, чтобы установить механизм для перемещения одних только крыльев. Волы вытаптывают зерно из колосьев по способу, господствовавшему во времена Мафусаила. На всю страну не найдется ни одной тачки, — жители укладывают грузы себе на голову, или на осла, или в плетеную тележку, у которой вместо колес деревянные круги, вращающиеся вместе с осью. На островах нет ни одного современного

плуга, ни одной молотилки. Все попытки ввести их терпели неудачу. Как добрый католик, португалец только крестится и молит всевышнего избавить его от святотатственного желания знать больше своего отца. Климат здесь мягкий, снега и льда никогда не бывает, и я не заметил в городе ни одной печной трубы. Члены семьи — ослы, мужчины, женщины, дети — едят и спят в одной комнате, все они грязны, покрыты паразитами и истинно счастливы. Азорцы лгут, надувают иностранцев, ужасающе невежественны и не почитают своих покойников. Последнее показывает, как мало они отличаются от ослов, с которыми делят постель и стол. Среди здешних португальцев хорошо одеты только несколько богачей, священники-иезуиты и солдаты крохотного гарнизона. Батрак зарабатывает в день двадцать — двадцать четыре цента, а хороший ремесленник — раза в два больше. Они считают на рейсы (доллар равен тысяче рейсов) и потому чувствуют себя богатыми и очень довольны. Раньше на островах произрастал прекрасный виноград, из которого изготовлялось превосходное вино, шедшее на экспорт. Но пятнадцать лет назад все виноградники погибли от какой-то болезни, и с тех пор изготовление вина прекратилось. Благодаря вулканическому происхождению всей группы почва на островах очень плодородна. Почти вся земля возделывается, и за год снимается по два-три урожая каждой культуры, но за границу вывозится только небольшое количество апельсинов, которые идут главным образом в Англию. Никто сюда не приезжает, никто отсюда не уезжает. На Фаяле не знают, что такое новости. Равным образом здесь неизвестна и страсть к новостям. Один довольно развитой португалец осведомился, кончилась ли наша Гражданская война. Он от кого-то слышал о ней... или по крайней мере ему казалось, что кто-то говорил что-то в этом роде! А когда один из пассажиров подарил гарнизонному офицеру несколько номеров газет «Трибюн», «Геральд» и «Таймс», тот был весьма удивлен, найдя в них сообщения из Лиссабона, которых еще не было в газетах, привезенных пароходиком, совершавшим ежемесячные рейсы между островами и столицей. Ему объяснили, что эти сообщения переданы по кабелю. Он сказал, что слышал, будто лет десять назад предпринимались попытки проложить кабель, но он почему-то думал, что из этого ничего не получилось!

Такое захолустье — самая благодатная почва для процветания иезуитских плутней. Мы посетили иезуитский собор, построенный двести лет тому назад, и видели там обломок креста, на котором был распят Спаситель. Этот твердый отполированный кусок дерева превосходно сохранился — можно было подумать, что трагедия на Голгофе произошла

только вчера, а не восемнадцать столетий тому назад. Но здешним доверчивым людям и в голову не приходит усомниться в подлинности этой деревяшки.

В приделе собора есть алтарь, отделанный чистым серебром, — так по крайней мере утверждают старожилы, и я тоже думаю, что его там найдется, говоря языком старателей, двести фунтов на тонну, — а перед ним горит неугасимая лампада. Какая-то благочестивая прихожанка, умирая, завещала деньги на постоянные мессы за упокой своей души, поставив при этом условие, чтобы пламя в светильнике поддерживалось и днем и ночью. Лампадка маленькая, очень тусклая, и если она погаснет совсем, покойница, я думаю, вряд ли от этого особенно пострадает.

Главный алтарь собора, как и три или четыре малых, представляет собой хаотическое нагромождение позолоченной мишуры и «пряничных» украшений. Вокруг ажурных решеток алтарей толпятся поломанные, пыльные, ржавые апостолы — у одного нет ноги, у другого не хватает глаза, но он храбро поглядывает оставшимся, у третьего недостает пальцев, — все они покалеченные, унылые и более приличествовали бы больнице, чем кафедральному собору.

Стены алтаря сделаны из фарфора и украшены художественно написанными фигурами в натуральную величину, одетыми в живописные костюмы семнадцатого столетия. Они изображают историю кого-то или чего-то, но среди нас не нашлось человека, достаточно ученого, чтобы в ней разобраться.

Когда мы шли по городу, нам повстречался отряд осликов, уже оседланных и ожидающих только седока. Седла были весьма своеобразны, чтобы не сказать больше. Они состояли из чего-то вроде козел, застеленных тюфячком, и все сооружение закрывало примерно половину осла. Стремена отсутствовали, но, собственно говоря, в этой дополнительной опоре не было никакой нужды: всадник чувствовал себя в таком седле почти так же, как верхом на обеденном столе, — оно подпирало колени. Нас окружила шайка оборванных погонщиков португальцев, предлагая услуги своей скотины за полдоллара в час, — еще одна подлость по отношению к чужестранцам, потому что рыночная цена — шестнадцать центов. Шестеро из нас взгромоздились на эти нескладные седла и покорно выставили себя на посмешище, трясясь по главным улицам города с населением в десять тысяч человек.

Мы тронулись. Это была не рысь, не галоп, не карьер, а дикая скачка, слагавшаяся из всех возможных аллюров. Шпор не требовалось. Каждого ослика сопровождал погонщик и десяток добровольцев, и все они лупили

животное прутьями, подкалывали заостренными палками, выкрикивали что-то похожее на «секки-яаа!», орали, шумели и устраивали настоящий бедлам. Передвигались они пешком, что не мешало им, впрочем, оказываться на месте вовремя, — они способны обогнать и измотать любого осла. Короче говоря, наша кавалькада была очень оживленной и живописной.

Блюхеру никак не удавалось справиться со своим ослом: он мчался по мостовой зигзагами, а остальные налетали на него; он прижимал Блюхера к повозкам и стенам домов; вдоль улицы тянулись высокие каменные заборы, и ослик отполировал Блюхера сначала с одной стороны, потом с другой, но ни разу не задержался посередине дороги; в конце концов он поравнялся с отчим домом и влетел в комнату, счистив с себя Блюхера о дверной косяк.

Снова усевшись в седло, Блюхер сказал погонщику:

— Пожалуй, хватит. Дальше поедет потише.

Но тот, не зная английского языка, ничего не понял и просто сказал «секки-яаа!», после чего осел снова помчался, как пуля. Неожиданно он резко повернул, и Блюхер перелетел через его голову. Не скрою — каждый осел по очереди споткнулся об эту пару, и вскоре вся кавалькада образовала одну большую кучу. Никто не пострадал. Упасть с такого осла не намного опаснее, чем свалиться с дивана. После катастрофы ослы стояли совершенно спокойно, ожидая, пока шумливые погонщики поправят и закрепят разъехавшиеся седла. Блюхер очень рассердился и хотел выругаться, но стоило ему открыть рот, как его скотина делала то же самое и выпускала отчаянный рев, заглушавший все остальные звуки.

Скачка по овечьим ветром холмам и красивым ущельям была на редкость приятна. Эта прогулка верхом на ослах своей новизной вызывала свежие, незнакомые, пьянящие ощущения, стоившие сотни заношенных до дыр удовольствий, которые мы знали дома.

Дороги там — чудо, и какое чудо! Вот остров с горсточкой жителей (всего 25000), а таких прекрасных дорог в Соединенных Штатах не найдешь нигде, кроме Сентрал-парка. Куда ни пойдешь — всюду гладкие ровные дороги, либо чуть присыпанные черным лавовым песком и окаймленные канавками, аккуратно выложенными гладкой галькой, либо вымощенные, как Бродвей. В Нью-Йорке без конца говорят о мостовой Русса^[8] и называют ее новым изобретением, а на этом крохотном, затерянном в море островке она известна уже двести лет! Каждая улица в Орте великолепно вымощена большими плитами и ровна, как пол, а не выщерблена, подобно мостовой Бродвея. Каждая дорога огорожена высокими массивными стенами из лавы, которые в этом краю, где не знают

морозов, простоят тысячу лет. Они очень толсты, нередко оштукатурены, побелены и увенчаны карнизом из тесаного камня. За ними прячутся сады; деревья свешивают через край стены свои гибкие ветки, и яркая зелень эффектно выделяется на фоне штукатурки или черной лавы. Иногда ветви деревьев и виноградные лозы смыкаются над этими узкими проулками так, что солнца совсем не видно, и вы едете словно по туннелю. Мостовые, дороги и мосты построены правительством.

Мосты — в один пролет, без опор: арка, сложенная из тесаных камней; они вымощены плитами лавы и красиво выложены галькой. Повсюду стены, стены, стены, — и каждая красива, и каждая построена на века; и повсюду мостовые — аккуратные, гладкие и прочные. Если где-нибудь и существуют совершенно чистые, лишенные и намека на пыль, грязь, мусор или какие-либо нечистоты дороги, улицы и фасады домов, то только в Орте, только на Фаяле. Низшие классы неряшливы, жилища их не отличаются чистотой, но и только; в остальном город и острова — чудо опрятности.

Наконец, после десятимильной экскурсии, мы вернулись домой; неугомонные погонщики мчались за нами но пятам через весь город, подгоняя ослов, выкрикивая неизбежное «секки-яа!» и распевая «Тело Джона Брауна»^[9] на убийственном английском языке.

Мы спешили и начали расплачиваться; от криков, приставаний, ругани и ссор погонщиков между собой и с нами можно было оглохнуть. Один требовал доллар за часовой прокат осла, другой — полдоллара за то, что подгонял этого осла, третий — двадцать пять центов за то, что помогал второму, не менее четырнадцати проводников предъявили счета за то, что показывали нам город и окрестности, и каждый оборванец орал, вопил и размахивал руками энергичнее, чем его сосед.

Горы на некоторых из этих островов очень высоки. Мы шли вдоль острова Пику — величественной зеленой пирамиды, которая одним обрывистым склоном поднималась от самых наших ног до высоты в 7613 футов и вздымала свою вершину над белыми облаками, словно остров, плывущий в тумане!

На Азорах мы, разумеется, объедались апельсинами, лимонами, инжиром, абрикосами и прочим. Но я воздержусь от дальнейших описаний. Я здесь не для того, чтобы писать рекламные проспекты.

Мы идем в Гибралтар и достигнем его через пять-шесть дней.

Глава VII. Появление Африки и Испании . — Геркулесовы Столпы. — Гибралтарская скала. — «Кресло королевы». — Частная прогулка по Африке. — Высадка в Марокко.

Неделя борьбы с безжалостной стихией; неделя морской болезни, покинутых салонов и пустынного юта, обдаваемого брызгами, — брызгами, которые в своей дерзости возносились так высоко, что до самого верха покрыли трубы парохода толстой белой коркой соли; неделя прозябания под защитой шляпок и рубок днем и шумной игры в домино среди густых клубов дыма в курительной по вечерам.

Последняя из семи ночей была самой бурной. Грома не было, только волны били о борт, ветер пронзительно свистел в снастях и вода, пенясь, шипела за иллюминаторами. Пароход карабкался все выше, как будто собираясь вскарабкаться на небеса, потом замирал на мгновение, казавшееся веком, и снова стремительно, как с обрыва, падал вниз. Шквал брызг стеной обрушивался на палубы. Повсюду был черный мрак. Вспышка молнии изредка раскалывала его трепещущей огненной чертой, открывая бесконечный вздымающийся океан там, где до этого не было ничего, одевая призрачные снасти сверкающим серебром и освещая зловещим светом лица матросов.

Страх гнал на палубу многих из тех, кто обычно старался избегать ночного ветра и брызг. Некоторые думали, что корабль этой ночью непременно пойдет ко дну, и им казалось, что выйти туда, где бушует ураган, и взглянуть в глаза надвигающейся опасности легче, чем сидеть в свете тусклых ламп, закупорившись в похожей на склеп каюте, и воображать ужасы сорвавшегося с цепи океана. Очутившись наверху, увидев корабль, бьющийся в железной хватке бури, услышав завывание ветра, почувствовав хлещущие брызги, увидев всю величественную картину, на мгновение освещенную молнией, они попадали в плен грозного, необоримого очарования и оставались наверху. Это была страшная ночь — и очень, очень долгая.

В семь часов чудесного утра 30 июля все высыпали на палубу, услышав радостную весть: на горизонте земля! Как удивительно приятно было снова увидеть наверху всю нашу дружную семью, хотя счастье, которым светились лица, лишь отчасти скрывало следы, оставленные на них

бесконечными бурями. Но живительное действие свежего солнечного утра скоро заставило тусклые глаза заблестеть от удовольствия, а бледные щеки порозоветь и влило новую силу в ослабевшие от морской болезни члены. Не только солнечное утро было источником этой силы — измученным жертвам океана вновь довелось увидеть благословенную землю! Они словно опять вернулись на родину, к которой стремились все их помыслы.

Через час мы уже шли Гибралтарским проливом, и справа от нас виднелись высокие, обрызнутые желтизной горы Африки, подножье которых было затянуто голубоватой дымкой, а вершины скрывались в облаках, — вполне согласно со священным писанием, гласящим: «Тучи и тьма одевают землю», что сказано, по-моему, именно об этой части Африки. Слева от нас были гранитные скалы древней Испании. Ширина пролива в самой узкой части только тринадцать миль.

На испанском берегу там и сям виднелись причудливые каменные башни, — мавританские, решили мы, но впоследствии оказалось, что это не так. Некогда марокканские пираты крейсировали вдоль испанского побережья, выжидая удобного случая, чтобы высадиться, разграбить какую-нибудь испанскую деревушку и увезти всех хорошеньких женщин, которых сумеют найти. Промысел был доходный и приятный, и занимались им многие. Испанцы построили эти сторожевые башни на холмах, чтобы легче обнаруживать марокканских спекулянтов.

Панорама африканского берега была особенно приятна для глаз, уставших от созерцания неизменного моря, и пассажиры мало-помалу совсем ожили и развеселились. Но пока мы восхищались пиками в облачных шапках и берегами, одетыми в туманный сумрак, наши взгляды внезапно приковало, словно магнит, еще более чудесное зрелище — величественный корабль, на котором паруса громоздились над парусами так, что он казался единым огромным парусом, полным ветра. Он летел по волнам, как гигантская птица. Африка и Испания были забыты. Все восторгалось только этим прекрасным незнакомцем. Пока мы не отрываясь глядели на него, он во всем великолепии пронесся мимо и развернул по ветру «звезды и полосы»! Шляпы и носовые платки быстрее мысли взвились в воздух, загремело «ура». Прежде он был красив, теперь он стал ослепительным. Многие из наших пассажиров впервые в жизни поняли разницу в чувствах, которые возбуждает родной флаг дома и за границей. Увидеть его — словно увидеть родину, все, чем она дорога, и почувствовать волнение, способное погнать быстрее целую реку вяло текущей крови!

Мы приближались к знаменитым Геркулесовым Столпам, и африканский столп — «Обезьянья гора», величая древняя гора с

гранитной вершиной — уже показался вдали. Другого — знаменитой Гибралтарской скалы — еще не было видно. Древние народы считали Геркулесовы Столпы пределом мореплавания и концом света. Сведения, которыми не обладали древние, были очень обширны. Даже пророки, писавшие книгу за книгой, послание за посланием, ни разу не намекнули на существование с нашей стороны океана великого континента, а уж им-то следовало бы знать, что он там есть.

Через несколько минут перед нами в самой середине пролива величественно встала одинокая грандиозная скала, по-видимому со всех сторон омываемая морем; и для того, чтобы понять, что это Гибралтар, мы не нуждались в нудных объяснениях много путешествовавшего попугая. Двух таких скал в одном королевстве быть не могло.

Длина Гибралтарской скалы, если не ошибаюсь, полторы мили, высота — тысяча четыреста или тысяча пятьсот футов, ширина у основания — четверть мили. Один ее конец и одна боковая сторона поднимаются из моря вертикально, как стена дома, другой конец очень неровен, а вторая сторона представляет собой обрывистый склон, подъем на который затруднил бы любую армию. У подножия этого склона расположен обнесенный стенами город Гибралтар — вернее, город занимает часть склона. Повсюду — на скате, в пропасти, у моря, на высотах, — повсюду, куда ни взглянешь, Гибралтар одет укреплениями и щетинится пушками. Откуда ни посмотришь — картина внушительная и живописная. Скала выдвинута в море на конце узкой полоски суши и напоминает ком глины на конце плоского камня. Несколько сот ярдов этого плоского перешейка вдоль основания скалы принадлежат англичанам, затем поперек всего перешейка от Атлантического океана до Средиземного моря (примерно четверть мили) тянется «нейтральная зона» — пространство шириной ярдов в триста, открытое для обеих заинтересованных сторон.

«Вы поедете в Париж через Испанию?» Во время перехода от Фаяла до Гибралтара этот вопрос то и дело слышался на корабле, и мне начинало казаться, что никакая другая фраза не способна внушить мне такое отвращение и что никогда больше мне так не надоест повторять: «Не знаю». В последний момент у шести-семи пассажиров хватило твердости характера решиться и уехать; и я немедленно почувствовал облегчение: я опоздал и мог теперь на досуге пораскинуть умом — ехать мне или не ехать. У меня, судя по всему, громадные запасы ума, — для того чтобы ими пораскинуть, мне иногда требуется почти неделя.

Но беда никогда не приходит одна. Не успели мы избавиться от испанской пытки, как гибралтарские гиды придумали новую —

скучнейшее повторение легенды, которая и в первый-то раз не производила большого впечатления: «Вот тот высокий холм называется «Креслом королевы», потому что одна из испанских королев приказала поставить там свое кресло, когда французские и испанские войска осаждали Гибралтар, и сказала, что не сдвинется с этого места, пока крепость не спустит английский флаг. Если бы англичане не оказались настолько галантными, что однажды на несколько часов приспустили флаг, ей пришлось бы либо нарушить клятву, либо просидеть там до самой смерти».

Мы проехали на ослах и мулах по узким крутым улочкам и вошли в подземные галереи, которые англичане пробили в скале при помощи пороха. Эти галереи похожи на широкие железнодорожные туннели, и в них через короткие интервалы расставлены пушки, угрюмо глядящие сквозь амбразуры с высоты футов в шестьсот над уровнем моря на пролив и город. Протяжение этих подземных коридоров — около мили, и на их сооружение, вероятно, было затрачено очень много труда и денег. Пушки галерей господствуют над перешейком и над обоими портами, но я бы не сказал, что они особенно нужны, — и так не найдется армии, которая смогла бы вскарабкаться по отвесной скале. Впрочем, из больших амбразур открывается превосходный вид на море. Из выдолбленной в выступе скалы просторной комнаты с громадной пушкой вместо мебели и с бойницами вместо окон мы увидели невдалеке холм, и один из солдат сказал:

— Вот тот высокий холм называется «Креслом королевы», потому что одна из испанских королев приказала поставить там свое кресло, когда французские и испанские войска осаждали Гибралтар, и сказала, что не сдвинется с этого места, пока крепость не спустит английский флаг. Если бы англичане не оказались настолько галантными, что однажды приспустили флаг на несколько часов, ей пришлось бы либо нарушить клятву, либо просидеть там до самой смерти.

На самой вершине Гибралтара мы задержались надолго — несомненно, мулы устали. Они имели на это полное право. Военная дорога была хорошей, но довольно крутой и к тому же длинной. Вид с узкого уступа оказался великолепным; суда, которые оттуда выглядели меньше игрушечной лодочки, в подзорных трубах становились величественными кораблями, и через эти же подзорные грубы можно было отчетливо различить другие корабли, невидимые для невооруженного глаза и находившиеся, как нам сказали, на расстоянии пятидесяти или шестидесяти миль. Внизу под нами с одной стороны виднелись бесконечные батареи, а с другой — море.

Пока я с большим комфортом отдыхал на валу, подставив нагретую

солнцем голову восхитительному бризу, услужливый гид, сопровождавший другую компанию туристов, приблизился и сказал:

— Сеньор, вон тот высокий холм называется «Креслом королевы»...

— Сэр, я беспомощный сирота в чужой стране. Сжальтесь надо мной. Не надо... *не надо* больше мучить меня сегодня этой ПРОКЛЯТУЩЕЙ старой легендой!

Ну вот... я употребил крепкое словцо, хотя и дал обещание, что никогда больше этого себе не позволю; но всякому терпению есть предел. Если бы вам так надоедали, когда, глядя на расстилающуюся у ваших ног величавую панораму Испании, Африки и лазурного Средиземного моря, вы жаждали бы только одного — в молчании упиваться этой красотой, вы, пожалуй, позволили бы себе словцо и покрепче моего.

Гибралтар выдержал несколько осад, одна из которых длилась более четырех лет (она не увенчалась успехом), и англичанам удалось захватить его лишь хитростью. Удивительнее всего то, что кому-то вообще мог прийти в голову заведомо бессмысленный план брать Гибралтар штурмом; однако такие попытки делались, и неоднократно.

Двенадцать столетий тому назад им владели мавры; мощный замок, воздвигнутый ими в те времена, все еще угрюмо высится в центре города, и его поросшие мхом стены и укрепления исполосованы шрамами от ядер, выпущенных в дни забытых ныне осад и сражений. В скале позади него недавно обнаружили тайник, и там нашли меч изумительной работы и странные старинные доспехи образца, неизвестного археологам, хотя их считают римскими. Римское оружие и всевозможная римская утварь были открыты в пещере на южной оконечности Гибралтара; история говорит, что Рим владел этой областью в начале христианской эры, и найденные предметы, по-видимому, подтверждают подобное предположение.

В этой пещере найдены также человеческие кости, покрытые толстой каменной коркой, и ученые мужи отважились утверждать, что эти люди жили не только до потопа, но даже за десять тысяч лет до него. Возможно, что и так, — ничего невероятного тут нет, — но поскольку названные лица уже не могут голосовать, все это не представляет особого общественного интереса. Кроме того, в этой пещере найдены скелеты и окаменелые останки животных, которые в Африке водятся повсюду, но на людской памяти не встречались в Испании нигде, кроме одинокой Гибралтарской скалы! Объясняют это тем, что пролив между Гибралтаром и Африкой был некогда сушей, а низменный нейтральный перешеек между Гибралтаром и холмами Испании — океаном, и, таким образом, эти африканские

животные, забредшие на Гибралтар (должно быть, в поисках камней, которых тут много), оказались отрезанными, когда произошла великая катастрофа. По ту сторону пролива африканские горы кишат обезьянами, и на Гибралтарской скале тоже издавна водятся обезьяны, — но в самой Испании их нет! Это очень интересная тема для размышлений. Разумеется, гибралтарские обезьяны *могли бы*, если бы захотели, отправиться в Испанию, и без сомнения они этого *хотят*, — следовательно, как мило, как самоотверженно с их стороны стойко цепляться за этот скучный утес только для того, чтобы поддержать научную теорию! Я считаю гибралтарскую обезьяну примером чистого, бескорыстного самоотречения и верности христианским заветам.

В Гибралтаре расположен английский гарнизон численностью в шесть-семь тысяч человек, и поэтому на улицах во множестве попадают ярко-красные мундиры, и красные с синим, и снежно-белые — непарадные; попадают и голоногие шотландцы в своих забавных юбочках; встречаются и томноглазые испанские девушки из Сан-Роке и закутанные в покрывало мавританские красавицы (я полагаю, что они красавицы) из Тарифы; и мавританские торговцы из Феса — в тюрбанах и шароварах, подпоясанные кушаком, и босые, оборванные мусульманские бродяги в длинных одеяниях из Тетуана и Танжера — коричневые, желтые, черные, как неразведенные чернила; и евреи из всех стран — в суконных ермолках и туфлях, точь-в-точь такие, как на картинках и в театре, и без сомнения точь-в-точь такие, какими они были три тысячи лет тому назад. Само собой разумеется, что наше племя (почему-то, говоря о наших паломниках, хочется употребить это слово: они бредут по чужеземным местам беспорядочной вереницей, с видом истинно индейского самодовольства и невозмутимого невежества), набранное из пятнадцати-шестнадцати штатов, нашло сегодня на что поглазеть в этой пестрой панораме мод.

Заговорив о наших паломниках, я вспомнил, что среди нас есть несколько субъектов, которые иногда бывают невыносимыми. Однако Оракула я к ним не причисляю. Оракул — это безобидный старый осел, который ест за четверых, выглядит мудрее всей Французской академии вместе взятой, никогда не употребляет односложного слова, если может припомнить более длинное, никогда даже приблизительно не понимает значения ни одного из своих длинных слов и всегда употребляет их не к месту; это, однако, не мешает ему благодушно высказывать свое мнение по самым сложным предметам и невозмутимо подкреплять его цитатами из несуществующих авторов, а когда его в конце концов припрут к стене, он переходит на противоположную точку зрения, заявляет, что всегда ее

придерживался, и бьет вас вашими же собственными аргументами, только выражая их громкими и маловразумительными словами, и тычет их вам в нос, как будто сам до них додумался. Он прочитывает главу из путеводителя, перепутывает из-за плохой памяти все факты, а потом отправляется искать жертву, чтобы обрушить на нее эту мешанину под видом познаний, закисавших в его мозгу десятки лет, с тех пор как он набрался их в колледже у весьма сведущих авторов, которые ныне мертвы и более не издаются. Сегодня утром во время завтрака он указал на окно.

— Видите этот холм на африканском берегу? — сказал он. — Это Стопка Грекулиса, так сказать, а вон ее ультиматум, рядом с ним.

— Ультиматум — это хорошее слово, но почему рядом? Ведь Столпы расположены на разных берегах пролива. (Я понял, что его сбила с толку неясная фраза в путеводителе.)

— Ну, это не вам решать и не мне. Некоторые авторы говорят так, а другие — эдак. Старик Гиббон об этом помалкивает — просто обошел весь вопрос, — Гиббон всегда увиливал, когда попадал в переплет, но вот Роламpton, что он говорит? Он говорит, что они на одном берегу, и Тринкулиан, и Собастер, и Сиракус, и Лангомарганбль...

— Ну. Хватит, хватит... Этого вполне достаточно. Если вы принялись изобретать авторов и свидетельства, то мне сказать нечего. Пусть они будут на одном берегу.

Оракул нам не мешает. Мы его даже любим. Мы без труда выносим Оракула, но у нас на борту имеются еще поэт и добродушный, предприимчивый идиот, — и вот от них наше общество тяжело страдает. Первый преподносит свои стихи консулам, начальникам гарнизонов, содержателям отелей, арабам, голландцам, — короче говоря, всякому, кто согласится вытерпеть это наказание, налагаемое из самых лучших побуждений. Пока он ограничивается кораблем, с его стихами еще можно мириться, хотя, когда он написал «Оду на бушующий океан» в течение одного получаса и «Обращение к петуху на корабельном шкафуте» в течение следующего, такой переход показался всем чересчур резким; однако, когда он посылает одну рифмованную накладную с приветом от лауреата корабля губернатору Фаяла, а другую — главнокомандующему и прочим высшим чинам в Гибралтаре, это не доставляет пассажирам никакого удовольствия.

Другой субъект, о котором я упомянул, молод, зелен, не умен, не учен, не умудрен опытом. Но он еще станет великим мудрецом, если когда-нибудь припомнит ответы на все свои вопросы. Мы прозвали его «Вопросительный знак», и это прозвище от постоянного употребления

сократилось в «Вопросительный». Он уже дважды отличился. На Фаяле ему показали холм и сказали, что его высота восемьсот футов, а длина тысяча сто и что через весь холм проходит туннель в две тысячи футов длины и тысячу футов высоты. Он поверил. Он всем рассказывал об этом, рассуждал по этому поводу, читал вслух свои заметки об этом. В конце концов он сделал кое-какие полезные выводы из следующих слов одного рассудительного старого паломника:

— М-да, действительно интересно... замечательный туннель, что и говорить... возвышается над холмом футов на двести, а конец торчит снаружи на целых девятьсот!

Здесь, в Гибралтаре, он загоняет в угол образованных английских офицеров и изводит их, бахвалясь Америкой и чудесами, на которые она способна. Одному из них он сказал, что две наши канонерки могут сбросить Гибралтар в Средиземное море!

Сейчас, когда я это пишу, мы вшестером совершаем частную увеселительную поездку, до которой сами додумались. Мы составляем больше половины числа белых пассажиров на пароходике, идущем в освященный веками мавританский город Танжер (Африка). И нет ни малейшего сомнения в том, что мы испытываем истинное наслаждение. Иначе и не может быть, когда скользишь по этим сверкающим волнам и вдыхаешь мягкий воздух этой солнечной страны. Заботы не могут потревожить нас здесь. Мы вне их юрисдикции.

Мы даже отважно проплыли мимо грозной крепости Малабат (цитадель султана Марокко), не испытав ни малейшего страха. Гарнизон в полном составе и вооружении с угрожающим видом появился перед нами, — но все-таки мы не затрепетали. Весь гарнизон на наших глазах проделал марши и контрмарши по валу, — и все-таки, несмотря даже на это, мы не дрогнули.

Я полагаю, что страх нам незнаком. Я осведомился об имени гарнизона крепости Малабат, и мне ответили: «Мехмет Али бен Санком». Я сказал, что не худо бы дать ему в подкрепление еще несколько гарнизонов; но мне сказали — нет: у него только и заботы, что оборонять крепость, и он с этим вполне справляется — он занимается этим уже два года. Подобные доводы так легко не отбросишь. Репутация — великое дело.

Порой во мне пробуждается непрощенное воспоминание о том, как я вчера покупал в Гибралтаре перчатки. Дэн, наш корабельный доктор и я побывали на главной площади, послушали игру прекрасных военных оркестров, полюбовались английскими и испанскими красавицами и их нарядами и в девять часов, по дороге в театр, повстречали генерала,

коммодора, полковника и полномочного представителя Соединенных Штатов Америки в Европе, Азии и Африке, которые заходили в клуб, чтобы записать там в книгу посетителей свои титулы и опустошить кухню; и они рекомендовали нам заглянуть в лавочку неподалеку от здания суда, где можно купить лайковые перчатки — по их словам, очень модные и недорогие. Пойти в театр в лайковых перчатках показалось нам очень элегантным, и мы последовали их совету. Молодая красавица за прилавком предложила мне пару голубых перчаток. Я не хотел голубых, но она сказала, что они будут очень мило выглядеть на такой руке, как моя. Эти слова затронули во мне чувствительную струну. Я украдкой посмотрел на свою руку, и она показалась мне действительно довольно изящной конечностью. Я примерил левую перчатку и слегка покраснел. Не было никаких сомнений в том, что она мала. Но все же мне было приятно, когда продавщица сказала: «Ах, как раз впору!» — хотя я и знал, что это не так.

Я усердно дергал перчатку — это была неблагоприятная работа. Продавщица сказала:

— О! Видно, что вы привыкли носить лайковые перчатки, но некоторые джентльмены надевают их так неуклюже.

Такого комплимента я никак не ожидал. Я умею изящно надевать только оленьи рукавицы. Я сделал еще усилие, порвал перчатку поперек ладони от основания большого пальца — и постарался скрыть прореху. Продавщица продолжала рассыпаться в комплиментах, а я не отступал от своего намерения заслужить их или умереть.

— О, у вас есть опыт! (Перчатка лопается на тыльной стороне.) Они вам как раз впору... у вас очень маленькая рука... Если они порвутся, вы можете за них не платить. (Прореха вдоль ладони). Сразу видно, умеет ли джентльмен надевать лайковые перчатки, или нет. В этом есть особое изящество, приобретаемое только долгой практикой. (Вся обшивка, как говорят моряки, разошлась по швам, лайка лопнула на пальцах, и остались только печальные руины.)

Я был слишком польщен, чтобы возмутиться и бросить перчатки ангелу-продавщице. Я был разгорячен, раздражен, смущен — и все-таки счастлив; но меня страшно злил тот глубокий интерес, с которым мои приятели наблюдали за происходящим. Я искренне желал, чтобы они провалились в... Иерихон. У меня было чрезвычайно скверно на душе, но я весело сказал:

— Я беру их. Очень элегантны и хорошо облегают руку. Люблю, когда перчатка плотно облегает руку. Нет, нет, не утруждайте себя; я надену вторую на улице. Здесь жарко.

Было таки жарко. В жизни не попадал в более жаркое место. Я заплатил, изящно поклонился и, выходя, заметил, как мне показалось, в глазах красавицы легкую иронию. Очутившись на улице, я оглянулся — она чему-то тихонько смеялась, и я сказал себе со жгучим сарказмом: «Ах, разумеется, *ты* умеешь надевать лайковые перчатки — еще бы! — самодовольный осел, которого одурачит любая юбка, стоит ей только немного польстить тебе!»

Молчание моих приятелей бесило меня. Наконец Дэн задумчиво сказал:

— Некоторые джентльмены не умеют надевать лайковые перчатки, а некоторые умеют.

А доктор добавил (очевидно, обращаясь к луне):

— Но сразу видно, когда джентльмен привык носить лайковые перчатки.

После паузы Дэн продолжил свой монолог:

— О да, в этом есть особое изящество, приобретаемое только долгой, долгой практикой.

— Еще бы! Я заметил, что если человек тянет лайковую перчатку так, как будто вытаскивает за хвост кошку из помойки, это значит, что он умеет надевать лайковые перчатки; это значит, что у него есть оп...

— Ну, хватит об этом, хватит! Если вам кажется, что вы очень остроумны, так вы ошибаетесь. А если вы вздумаете сплетничать об этом на корабле, я вам этого никогда не прощу, вот и все.

Тогда они оставили меня в покое. Мы всегда стараемся вовремя оставить друг друга в покое, чтобы обида не испортила шутки. Но они тоже купили перчатки. Сегодня утром мы вместе выбросили наши покупки. Перчатки были грубые, непрочные, усеянные большими желтыми пятнами; они не выдержали бы ни носки, ни критических взглядов. Мы встретились с ангелом, но мы не провели его в дом свой, зато он нас провел.^[10]

Танжер! Дюжие мавры бредут по воде, чтобы перенести нас из маленьких лодочек на берег.

**Глава VIII. Древний город Танжер, Марокко. —
Необычные зрелища. — Колыбель древнего мира .
— Мы становимся крезами. — Как в Африке
грабят почту. — Как опасно быть марокканским
богачом.**

Какое великолепие! Пусть те, кто отправился в Париж через Испанию, извлекают удовольствие из своей поездки — владения султана Марокко вполне удовлетворяют нашу маленькую компанию. Мы уже достаточно насытились Испанией в Гибралтаре. Танжер — вот то место, о котором мы все время мечтали. До сих пор мы встречали заграничных людей и заграничного вида предметы, но всегда вперемешку с предметами и людьми, которые были нам известны и прежде, и поэтому новизна обстановки во многом утрачивала свою прелесть. Мы жаждали чего-то вполне и совершенно заграничного — заграничного сверху донизу, заграничного от центра до окружности, заграничного внутри, снаружи и вокруг, чтобы ничто не разбавляло этой заграничности, ничто не напоминало о знакомых нам народах или странах земного шара. И вот мы обрели это в Танжере! Все, что мы встречаем здесь, мы видели раньше только на картинках, — а к картинкам мы прежде всегда относились с недоверием. Но теперь это недоверие исчезло. Мы считали, что картинки преувеличивают, они казались слишком необычными и фантастическими, чтобы быть правдой. И что же — они были недостаточно сверхъестественными, недостаточно фантастическими, они не показывали и половины правды! Если настоящая заграница вообще существует, то это — Танжер, и только одна книга передает его истинный дух — «Тысяча и одна ночь». Во всем городе не видно ни одного белого, хотя вокруг нас густые людские толпы. Город битком набит людьми и втиснут в толстые каменные стены, которым больше тысячи лет. Дома здесь только одно- или двухэтажные, с массивными стенами, сложенными из камня, оштукатуренные снаружи, квадратные, как ящики из-под галантереи, с крышами, плоскими, как пол, без карнизов, побеленные сверху донизу, — город бесчисленных бело-снежных гробниц! Двери — те своеобразные арки, которые мы видим на картинках, изображающих мавританские постройки; полы выложены разноцветными ромбовидными плитами, мозаикой из пестрых фарфоровых

плиток, обожженных в печах Феса, или красной черепицей и кирпичами, перед которыми бессильно время; комнаты (еврейских жилищ) меблированы только диванами; чем меблированы дома мавров, не знает никто: для христианских собак доступ в их священные стены закрыт. Улицы истинно восточные; некоторые в три фута шириной, другие — в шесть, и только две — в двенадцать; почти на любой из них человеку достаточно лечь поперек, чтобы остановить уличное движение. Настоящий Восток, не правда ли?

По улицам проходят стройные бедуины, величавые мавры, гордые историей своего народа, уходящей во тьму веков; евреи, чьи предки бежали сюда много столетий назад; смуглые рифы с гор — прирожденные головорезы; подлинные, без всякой подделки, негры, черные, как... Моисей; завывающие дервиши; арабы из сотен племен — всевозможные и всяческие заграничные люди, на которых ужасно любопытно смотреть.

Своеобразие их одежд не поддается описанию. Вот бронзовый мавр в громадном белом тюрбане и богато расшитой куртке, подпоясанный пышным малиновым с золотом шарфом, несколько раз обвивающим его стан, в штанах, которые достигают только до колен, но на которые пошло не меньше двадцати ярдов материи, с инкрустированным ятаганом на поясе, с голыми икрами, в желтых туфлях на босу ногу и с ружьем невозможной длины — и всего только солдат! А я-то думал, что это по крайней мере сам султан! А вот престарелые седобородые мавры в длинных белых одеяниях и широких капюшонах и бедуины в длинных полосатых плащах с капюшонами; негры и рифы, чьи головы выбриты наголо, за исключением пряди, закрученной позади уха, или, точнее, на макушке; всевозможные варвары во всевозможных причудливых одеждах — и все более или менее оборванные. А вот закутанные с ног до головы в грубые белые одеяния мавританки, чей пол можно определить лишь потому, что они оставляют открытым только один глаз и на улице не смотрят на мужчин своего племени, а те не смотрят на них. И пять тысяч евреев в синих, перетянутых поясом лапсердаках, в туфлях, в маленьких ермолках на затылках, с подстриженными на лбу волосами — все по той же моде, по какой стриглись их танжерские предки не знаю уж сколько столетий. Пятки и лодыжки у них обнажены. Носы у всех крючковатые, одинаково крючковатые. Они все так похожи друг на друга, что можно принять их за членов одной семьи. Их женщины — пухленькие, хорошенькие и улыбаются христианину самым приятным образом.

Какой это странный город! Среди памятников его седой старины смех, шутки и паша современная легкомысленная болтовня кажутся

профанацией. Такой глубокой древности, как эта, подходит только звучный язык и размеренная речь сынов Пророка. Вот полуразрушенная стена, которая была уже старой, когда Колумб открыл Америку; была уже старой, когда Петр Пустынник^[11] поднял отважных людей средневековья на первый крестовый поход; была уже старой, когда Карл Великий и его паладины осаждали заколдованные замки, сражались с великанами и чародеями в давно прошедшие сказочные времена; была уже старой, когда Христос со своими апостолами ходил по земле; и стояла там, где стоит теперь, когда еще звучал голос Мемнона^[12] и люди продавали и покупали на улицах древних Фив!

Финикийцы, карфагеняне, англичане, мавры, римляне — все сражались за Танжер, все завоевывали его и теряли. Вот облаченный в рваный восточный наряд негр из африканской пустыни наполняет свой козий мех водой у почерневшего, потрескавшегося фонтана, построенного римлянами двенадцать веков тому назад. Вон там — обрушившаяся арка моста, возведенного Юлием Цезарем девятнадцать веков тому назад. Быть может, по нему проходили люди, которые видели младенца Христа на руках девы Марии.

Неподалеку — развалины верфи, где Цезарь за пятьдесят лет до начала христианской эры чинил свои корабли и грузил их зерном, готовясь вторгнуться в Британию.

И кажется, что на этих старых улицах, под тихими звездами, толпятся призраки забытых столетий. Я смотрю на то место, где стоял памятник, который видели и описывали римские историки всего две тысячи лет назад, памятник с надписью:

Мы — хананеи.

Мы — те, кого изгнал из земли Ханаанской
еврейский разбойник Иисус Навин.

Иисус Навин изгнал их, и они пришли сюда. Всего в нескольких лигах отсюда живут потомки тех евреев, которые бежали сюда после неудачного восстания против царя Давида; над ними все еще тяготеет проклятие, и они держатся особняком.

Танжер упоминается в истории на протяжении трех тысяч лет. Он уже был городом, хотя и несколько необычным, четыре тысячи лет тому назад, когда облаченный в львиную шкуру Геркулес высадился здесь. На этих улицах он встретил Анития, местного царя, и разбил ему голову палицей, как это было принято между благородными джентльменами в те дни. Жи-

тели Танжера (тогда он назывался Тингис) ютились в самых примитивных лачугах, одевались в шкуры, не выпускали из рук дубины и были так же свирепы, как те звери, с которыми им приходилось вести постоянную войну. Но они были благородным племенем и не желали трудиться. Они питались дарами земли. Загородная резиденция царя находилась в знаменитом саду Гесперид^[13], расположенном на побережье, в семидесяти милях отсюда. Этот сад вместе со своими золотыми яблоками (апельсинами) ныне уже не существует — от него не осталось никаких следов. Знатоки античного мира допускают, что Геркулес действительно мог существовать в древности, и признают, что он был человеком предприимчивым и энергичным, но отказываются считать его настоящим, подлинным богом, ибо это противоречит конституции.

Неподалеку, на мысе Спартель, находится знаменитая пещера Геркулеса, где этот герой укрылся после того, как был побежден и изгнан из Танжера. Она вся исписана изречениями на мертвых языках, и это заставляет меня сделать вывод, что Геркулес вряд ли много путешествовал, иначе он не стал бы вести путевой дневник.

В пяти днях пути отсюда — милях в двухстах — найдены развалины древнего города, о котором не сохранилось ни летописей, ни легенд. И все же его арки, колонны и статуи свидетельствуют о том, что он был построен просвещенным народом.

Обычная танжерская лавка не больше ванной комнаты в какой-нибудь цивилизованной стране. Мусульманский купец, медник, сапожник или мелочной торговец сидит на полу по-турецки и, не вставая, достает любой товар, который вам понравится. За пятьдесят долларов в месяц можно снять целый квартал этих пчелиных сот. Базар загроможден корзинами инжира, фиников, дынь, абрикосов и других фруктов, а между ними лавируют вереницы груженных ослов, ростом не больше ньюфаундленда. Базар полон жизни и красок, а запахами напоминает зал полицейского суда. Рядом евреи-менялы в своих каморках весь день напролет считают бронзовые монеты и перекладывают их из одной корзины в другую. Судя по всему, новых денег чеканится мало. Все монеты, которые я видел, были четырех-пятисотлетней давности, очень стертые и исцарапанные. Деньги здесь дешевы. Джек вышел разменять наполеондор, чтобы запастись мелочью, удобной при здешних низких ценах, и, вернувшись, сказал, что он «изъял всю наличность банка, купив одиннадцать кварт монеты», и что «глава фирмы пошел к соседям договариваться о займе недостающей суммы». Я сам купил почти полпинты этих денег за один шиллинг. Впрочем, я не горжусь тем, что у меня теперь так много денег. Я презираю

богатство.

У мавров в ходу небольшие серебряные монеты, а также серебряные слитки, стоящие доллар. Последние — настолько большая редкость, что, увидев подобный слиток, оборванные арабские нищие умоляют позволить им поцеловать его.

Кроме того, здесь в ходу небольшая золотая монета стоимостью примерно в два доллара. Кстати об этой монете. Когда Марокко воюет, письма развозят курьеры арабы, взимающие высокую плату за доставку. Порой их захватывают и грабят шайки мародеров. Поэтому они, наученные горьким опытом, собрав два доллара мелочью, торопятся обменять ее на такую золотую монетку, которую можно проглотить, если попадешь в руки бандитов. Все шло очень хорошо, пока эту хитрость не раскрыли. Но теперь мародеры попросту дают изобретательной почте Соединенных Штатов рвотное и ожидают результата.

Султан Марокко — бездушный деспот, а его сановники — деспоты помельче. Постоянной системы налогового обложения не существует, но когда султану или паше нужны деньги, они требуют их у какого-нибудь богача, и тому приходится либо выкладывать наличные, либо отправляться в тюрьму. Поэтому в Марокко немногие рискуют быть богатыми. Это слишком опасная роскошь. Иногда кто-нибудь из тщеславия выставляет свое богатство напоказ, но рано или поздно султан в чем-нибудь обвиняет его, — в чем именно, большого значения не имеет, — и конфискует его имущество. Разумеется, в государстве немало богатых людей, но они прячут деньги, одеваются в лохмотья и притворяются бедняками. Частенько султан заключает в тюрьму человека, подозреваемого в богатстве, и делает его пребывание там столь неприятным, что тот вынужден бывает сознаться, где спрятал свои деньги.

Мавры и евреи иногда прибегают к покровительству иностранных консулов, и тогда они могут безнаказанно колоть султану глаза своим богатством.

Глава IX. Паломник на краю гибели. — Как починили часы. — Марокканские наказания. — Хитроумные уловки мусульманских паломников. — Почитание кошек. — Блаженная жизнь генерального консула.

Первое же приключение, которое произошло с нами вчера днем, сразу после того, как мы сошли на берег, чуть было не оказалось роковым для нашего опрометчивого Блюхера. Едва мы сели на мулов и ослов и тронулись в путь под охраной величественного, царственного, великолепного Хаджи Мохаммеда Ламарти (да умножится племя его!), как очутились возле красивой мавританской мечети, богато украшенной в стиле Альгамбры, с высоким минаретом, выложенным разноцветными фарфоровыми плитками, и Блюхер повернул своего осла в открытые двери. Испуганное «хай-хай!» нашей свиты и громкое «стойте!» англичанина, присоединившегося к нашей экскурсии, остановили дерзкого искателя приключений, и нам тут же сообщили, что если христианская собака осквернит прикосновением своей ноги хотя бы порог мавританской мечети, святотатство так велико, что никакое очищение не сможет снова сделать ее местом, пригодным для молитв правоверных. Войди Блюхер внутрь, его, без сомнения, прогнали бы через весь город, побивая камнями, а раньше — и не так давно — христианина, застигнутого в мечети, убили бы без всякой пощады. Проезжая мимо, мы успели разглядеть чудесный мозаичный пол и молящихся, совершавших омовение у водоема, но даже и этот брошенный нами мимолетный взгляд очень не понравился мусульманским прохожим.

Несколько лет тому назад испортились часы на минарете этой мечети. Танжерские мавры настолько деградировали, что среди них давно уже не встречалось мастера, способного вылечить хрупкий организм одряхлевших часов. Старейшины города собрались на торжественный совет, дабы найти выход из такого затруднения. Они обсудили дело самым тщательным образом, но не пришли ни к какому решению. В конце концов один из патриархов поднялся и сказал:

— О сыны Пророка, вам известно, что португальская собака — часовщик-христианин — оскверняет своим присутствием город Танжер. Вам также известно, что, когда строится мечеть, ослы, возящие известку и

камень, переступают священный порог. Итак, пусть христианский пес войдет в священное место чинить часы босой и на четвереньках, и пусть войдет он, как осел.

Так и было сделано. Следовательно, если Блюхер когда-нибудь пожелает осмотреть мечеть изнутри, ему придется отбросить человеческое обличие и войти туда в своей природной сущности. Мы посетили тюрьму и видели, как марокканские арестанты плетут циновки и корзины (подобное практическое использование преступления пахнет цивилизацией). Убийство карается смертью. Незадолго до нашего приезда трех убийц вывели за городскую стену и расстреляли. Мавританские ружья оставляют желать лучшего, и марокканские стрелки — тоже. Несчастных преступников поставили на дальнюю дистанцию, как три мишени, и практиковались на них; бедняги металась из стороны в сторону, увертываясь от пуль, и только через полчаса стрелки попали в цель.

За кражу скота вору отрубают правую кисть и левую ногу и прибивают их на базарной площади — как предупреждение остальным. Эта операция производится крайне примитивно: подрезают мышцы вокруг кости и потом ногу или руку отламывают. Иногда пациент выздоравливает, но чаще умирает. Однако мавританские сердца не знают страха. Мавры всегда были храбрецами. Эти преступники переносят пытку не дрогнув, не затрепетав, не застонав! Нет такой муки, которая сломила бы гордость мавра или заставила бы его опозорить себя криком.

Браки здесь устраивают родители жениха и невесты. Ни записочек, ни тайных свиданий, ни прогулок верхом, ни ухаживаний в полутемной гостиной, ни любовных ссор и примирений нет и в помине, — нет ничего, что должно было бы предшествовать свадьбе. Молодой человек женится на девушке, которую ему выбрал отец, после свадьбы с нее снимают покрывало, и он видит ее в первый раз. Если при более близком знакомстве она не разочарует его, он оставляет ее в своем доме, но если он усомнится в ее непорочности, то отправляет жену обратно к ее отцу; кроме того, он может отослать ее, если она окажется больной; если в продолжение разумно и справедливо установленного срока она не позаботится подарить ему ребенка, она тоже возвращается в отчий дом. Как нелепы эти варвары! В нашей цивилизованной стране бесплодная жена ценится особенно высоко.

Здесьние магометане — те, кто может себе это позволить, — обзаводятся порядочным количеством жен. Они называются женами, хотя, если не ошибаюсь, Коран разрешает только четырех настоящих жен, а все остальные — наложницы. Султан Марокко не знает, сколько у него жен, но предполагает, что их пятьсот. Впрочем, это достаточно точно: десятком

больше, десятком меньше — разница невелика.

Даже у евреев во внутренних областях страны бывает по несколько жен.

Мне удалось увидеть лица некоторых мавританок (они тоже доступны человеческим слабостям и, чтобы вызвать восхищение собаки-христианина, готовы приоткрыть лицо, когда рядом нет мужчин мавров), и я преклонился перед мудростью, которая заставляет их скрывать столь непростительное безобразие.

Своих детей они носят в мешке за спиной, как и другие дикари во всем мире.

У мавров много рабов-негров. Но с той минуты, как рабыня становится наложницей своего хозяина, она считается свободной, и раб, как только он сумеет прочесть первую главу Корана (содержащую символ веры), обретает свободу.

У жителей Танжера в неделе три воскресенья. Мусульманское приходится на пятницу, еврейское — на субботу, а консулы-христиане празднуют его в воскресенье. Евреи наиболее ревностны. В день, посвященный богу, как и во всякий другой, мавр идет в мечеть, снимает обувь у порога, совершает омовения, кладет поклоны, усердно прижимая лоб к плитам пола, читает молитвы и затем возвращается к своей работе.

Еврей же запирает лавку и ни за что не коснется медной или бронзовой монеты — он оскверняет свои пальцы только серебром или золотом; он благочестиво отправляется в синагогу; он не стряпает и вообще не касается огня; и он свято воздерживается от всяких деловых начинаний.

Мавр, совершивший паломничество в Мекку, получает право на большие почести. Его называют «хаджи», и он становится важной персоной. Ежегодно сотни мавров съезжаются в Танжер, чтобы отплыть в Мекку. Часть пути они проделывают на английских пароходах, и те десять — двенадцать долларов, которые они платят за билет, составляют примерно все расходы по путешествию. Они захватывают с собой кое-какие припасы, а когда склады пустеют, производят «фуражировку», как называет это на своем жаргоне Джек. Со дня отъезда до возвращения они не моются ни на море, ни на суше. Поездка обычно длится месяцев пять — семь, и так как паломники все это время не меняют белья, то являются домой в мало подходящем для гостинной виде.

Многим из них приходится долгое время копить и экономить, чтобы наскрести десять долларов на билет, и по возвращении их ждет полное банкротство. Редко кому удастся в течение всей оставшейся жизни поправить свое состояние после такого безумного мотовства. Дабы звание

«хаджи» могли получать только богатейшие и знатнейшие из его подданных, султан повелел, что в паломничество могут отправляться лишь вельможи, обладающие сотней долларов в звонкой монете. Но смотрите, как ловко можно обойти этот закон! Меняла еврей за некоторое вознаграждение одалживает паломнику сто долларов, чтобы тот мог поклясться, что владеет необходимой суммой, и потом получает их обратно, перед тем как судно покинет порт!

Испания — единственное государство, которого страшатся марокканцы. Дело в том, что Испания посылает самые грозные военные корабли и самые громкие пушки, чтобы произвести впечатление на здешних мусульман, Америка же и другие державы ограничиваются присылкой жалкой лохани-канонерки, да и то изредка. Мавры, как и все прочие варвары, верят тому, что видят, а не тому, что слышат или читают. У нас в Средиземном море много военных кораблей, но они редко заходят в африканские порты. Мавры весьма невысокого мнения об Англии, Франции и Америке, и представителям этих стран удастся добиться осуществления своих законных прав, не говоря уже о каком-нибудь одолжении, только после бесконечной волокиты, расцвеченной восточным красноречием. Но стоит только испанскому посланнику предъявить требование, как оно тут же удовлетворяется, независимо от того, справедливо оно или нет.

Пять — шесть лет тому назад Испания проучила мавров в стычке из-за спорной территории на африканском берегу против Гибралтара и захватила город Тетуан. Она милостиво согласилась на расширение своих владений, контрибуцию в двадцать миллионов долларов и мир. И затем вернула город. Но вернула его только после того, как испанские солдаты съели всех кошек. Они отказывались от переговоров, пока запасы кошек не истощились. Испанцы очень любят есть кошек. Мавры, наоборот, почитают их как священных животных. Таким образом, на этот раз испанцы наступили им на любимую мозоль. Они съели всех тетуанских кошек, и это кошкофобство зажгло в груди мавров такую лютую ненависть к испанцам, какой не вызвало даже их изгнание из Испании. Мавры и испанцы теперь враги навек. Одно время Францию здесь представлял посланник, против которого ожесточилась вся страна — по самому, на первый взгляд, ничтожному поводу. Он перебил около двух батальонов кошек (Танжер так и кишит ими) и сделал из их шкурок ковер для гостиной. Этот ковер состоял из концентрических кругов: сперва круг из старых серых котов (хвостами внутрь), потом круг из рыжих кошек, затем круг из черных кошек, круг из белых, затем круг из всевозможных кошек и, наконец, середина из

отборных котят. Ковер был очень красив, но мавры и по сей день проклинали память этого посланника.

Когда мы явились сегодня с визитом к американскому генеральному консулу, я заметил, что на столах его гостиной собраны всевозможные комнатные игры. Я подумал, что это признак серой и скучной жизни. И оказался прав. Консул и его семья — единственные американцы в Танжере. В городе много консулов других стран, но визитами они обмениваются редко. Танжер — совершенная глушь, а какой смысл ходить друг к другу в гости, если не о чем говорить? Никакого. Поэтому большую часть своего времени семьи консулов проводят дома и развлекаются, как могут. В первый день Танжер очень интересен, но потом он превращается в унылую тюрьму. Генеральный консул пробыл здесь пять лет — этого ему хватит на целых сто — и скоро должен вернуться на родину. Члены его семьи жадно набрасываются на письма и газеты, когда приходит почта, два-три дня читают их и перечитывают, еще два-три дня обсуждают их, пока эта тема полностью не истощится, а потом день за днем едят, пьют, спят, ездят кататься все по той же дороге, видят все те же надоевшие, тысячелетиями не менявшиеся картины, и молчат! Им буквально не о чем говорить. Прибытие американского военного корабля для них — настоящее счастье. «Уединение, где чары^[14], которыми ты мудрецов пленяло?» Более тяжкое изгнание невозможно себе представить. Я серьезно рекомендовал бы правительству Соединенных Штатов назначать преступника, совершившего злодеяние столь гнусное, что в законе для него нет достойного наказания, генеральным консулом в Танжер.

Я рад, что побывал в Танжере — втором по древности городе мира. Но я с удовольствием расстанусь с ним.

Сегодня вечером или завтра утром мы вернемся в Гибралтар, и «Квакер-Сити», несомненно, покинет этот порт в ближайшие сорок восемь часов.

Глава X. Закат на Средиземном море. — Оракул разрешается мнением. — Франция на горизонте. — Невежественный туземец. — В Марселе. — Затеряны в шумном городе. — Сценка во французском духе.

Четвертое июля^[15] мы отпраздновали на борту «Квакер-Сити», в открытом море. Это был во всех отношениях типичный средиземноморский день — безупречно прекрасный. Безоблачное небо, свежий летний ветерок, яркое солнце, весело поблескивающее на танцующих волнах, сменивших пенные водяные горы; а вокруг нас море — такое удивительно синее, такое глубоко и ослепительно синее, что его прелесть покоряет и самые прозаические души.

У них на Средиземном море бывают чудесные закаты, которых не увидишь на большей части земного шара. В тот вечер, когда мы отплывали из Гибралтара, эта громоздкая скала купалась в золотистой дымке, столь богатой оттенками, столь нежной, столь чарующе неясной и сказочной, что даже Оракул, этот безмятежный, этот вдохновенный, этот всесокрушающий болтун, презрел обеденный гонг и остался на палубе благоговеть!

Он сказал:

— Просто грандиозно, верно? В наших местах таких штук и в помине нет, где уж! Я отношу эти самые эффекты за счет высокого рефрактирования, так сказать, дираимической комбинации солнца с лимфатическими силами перигелия Юпитера. А вы как думаете?

— Ах, идите вы спать! — сказал Дэн и ушел.

— Ну конечно, если человек приводит аргумент, который другой человек не в силах опровергнуть, проще всего ответить «идите спать» Не Дэн у тягаться со мной в аргументах. И он сам это знает. А что вы скажете, Джек?

— Послушайте, доктор, не лезьте вы ко мне с этой энциклопедической чепухой. Я ведь вас не трогаю? Ну и вы меня не трогайте.

— Тоже ушел. Ну, эти молодцы все пробовали подкузывать старика Оракула, как они выражаются, но старик им не по зубам. Может быть, и поэт леврет не удовлетворен этими самыми заключениями?

Поэт ответил варварским стишком и спустился вниз.

— Видать, и у этого силенок не хватает. Хотя от него-то я ничего другого и не ждал. Я еще не встречал этих самых поэтов, у которых бы в голове хоть что-нибудь было. Сейчас пойдет к себе в каюту и накропает тетрадку всякой дряни об этой самой скале, а потом подарит ее консулу, либо лоцману, либо какому-нибудь черномазому, либо другому первому встречному, кто не сумеет от него отделаться. Хоть бы кто взял этого блажного да вытряс из него весь поэтический мусор. Почему человек не может посвятить свой интеллект тому, что имеет цену? Гиббон, Гиппократус, Саркофагус и всякие древние философы терпеть не могли поэтов...

— Доктор, — сказал я, — теперь вы примитесь изобретать авторитеты, и я вас тоже покину. Беседа с вами всегда доставляет мне большое удовольствие, несмотря на изобилие слогов в ней, но только до тех пор, пока вы сами отвечаете за ваши философские рассуждения. Когда же вы начинаете воспарять, когда вы начинаете подкреплять их свидетельствами авторитетов, созданных вашей же фантазией, я теряю доверие к вам.

Вот как надо умасливать Оракула. Он считает такие заявления признанием того, что с ним боятся спорить. Он постоянно преследует пассажиров глубокомысленными сообщениями, изложенными языком, которого никто не может понять, и его жертвы после нескольких минут утонченной пытки с позором покидают поле брани. Такое торжество над десятком противников удовлетворит его до конца дня; после этого он будет прогуливаться по палубам, ласково улыбаясь всем встречным, сияя таким безмятежным, таким блаженным счастьем!

Но я отвлекаюсь. На рассвете гром нашей гордой пушки возвестил наступление Четвертого июля всем, кто не спал. Но большинство узнало об этом несколько позже, из календаря. Были подняты все флаги, кроме нескольких, которыми украсили палубу, и вскоре наше судно приобрело праздничный вид. На протяжении всего утра шли совещания и всевозможные комиссии разрабатывали праздничный церемониал. Днем все обитатели корабля собрались на кормовой палубе под тентом; флейта, астматический мелодикон и чахоточный кларнет искалечили «Звездное знамя», хор загнал его в укрытие, а Джордж добил его, испустив на последней ноте пронзительный вопль. Никто не оплакивал его кончину.

Мы вынесли тело на трех «ура» (эта шутка получилась случайно, и я под ней не подписываюсь), и председатель, восседавший за канатным ящиком, накрытым национальным флагом, дал слово «чтецу»; тот поднялся и прочел все ту же старую Декларацию Независимости, которую мы все

слушали уже десятки раз, не задумываясь о том, что, собственно, в ней говорится; затем председатель высвистел на шканцы «главного оратора», и тот произнес все ту же старую речь о нашем национальном величии, в которое мы так свято верим и которому так бурно рукоплещем. Затем хор и рыдающие инструменты снова выступили на сцену и принялись убивать «Слава тебе, Колумбия», а когда исход борьбы стал сомнительным, Джордж включил свой ужасающий гусиный регистр, и победа, разумеется, осталась за хором. Священник прочитал молитву, и маленькое патриотическое собрание разошлось. Четвертому июля больше ничто не угрожало — по крайней мере в Средиземном море.

В этот вечер за обедом один из капитанов с чувством продекламировал талантливое стихотворение, сочиненное им самим, и тринадцать приличествующих случаю тостов были запиты несколькими корзинами шампанского. Речи были неописуемо скверными почти без исключения. Вернее, только с одним исключением. Капитан Дункан произнес хорошую речь; он произнес единственную хорошую речь за весь вечер. Он сказал:

— ЛЕДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ! Да проживем мы все до цветущей старости в преуспении и счастье! Стюарт, еще корзину шампанского!

Речь была встречена всеобщим одобрением.

«Празднества» закончились еще одним чудесным балом на верхней палубе. Впрочем, мы не привыкли танцевать, если нет качки, и бал не вполне удался. Но в общем и целом это было бодрое, веселое, приятное Четвертое июля.

К вечеру следующего дня мы, дымя всеми трубами, вошли в великолепную искусственную гавань знаменитого города Марселя и увидели, как угасающий закат золотит его крепостные стены и бесчисленные колокольни и заливают окружающий его зеленый простор мягким сиянием, придавая новое очарование белым виллам, там и сям оживляющим ландшафт (плагиат будет караться по всей строгости закона).

Сходни поставлены не были, и мы не могли перебраться с парохода на берег. Это нас злило. Мы сгорали от нетерпения — мы жаждали увидеть Францию! В сумерках наша троица уговорила с перевозчиком, что мы воспользуемся его лодкой в качестве моста, — ее корма была под нашим трапом, а нос упирался в мол. Мы спустились в лодку, и перевозчик начал быстро выгребать в гавань. Я сказал ему по-французски, что мы намеревались только перебраться по его посудине на берег, и спросил, зачем он куда-то нас везет. Он сказал, что не понимает меня. Я повторил. Он снова не понял. По-видимому, он имел лишь самое смутное представление о французском языке. За него принялся доктор, но он не

понял и доктора. Я попросил лодочника объяснить его поведение, что он и сделал, но тут не понял я. Дэн сказал:

— Поезжай к пристани, идиот, — нам надо туда!

Мы начали рассудительно доказывать Дэну, что говорить с этим иностранцем по-английски бесполезно; пусть он лучше предоставит нам распутывать это дело по-французски и не позорит нас своим невежеством.

— Ладно, валяйте, — сказал он, — дело ваше. Только если вы будете объясняться с ним на вашем так называемом французском, он никогда не узнает, куда мы хотим ехать. Вот мое мнение.

Мы строго отчитали его за эти слова и сказали, что еще не встречали невежду, который не мнил бы себя умнее всех. Француз снова заговорил, и доктор сказал:

— Ну-с, Дэн, он говорит, что собирается aller в douane. Другими словами — ехать в отель. О, конечно мы не знаем французского языка.

Это был удар в челюсть, как сказал бы Джек. Он заставил недовольного члена экспедиции прикусить язык. Мы прошли мимо громадных военных кораблей и наконец остановились у каменной пристани, на которой находилось какое-то казенное здание. Тут мы без труда вспомнили, что douane значит «таможня», а не «отель». Однако мы сочли за благо промолчать. С обворожительной французской любезностью таможенные чиновники только приоткрыли наши чемоданчики, отказались проверять наши паспорта и пропустили нас. Мы вошли в первое же кафе, попавшееся нам по дороге. Какая-то старуха усадила нас за столик и приготовилась принять заказ. Доктор сказал:

— Avez-vous du vin?^[16]

Хозяйка, видимо, растерялась. Доктор повторил, артикулируя тщательнейшим образом:

— Avez-vous du vin?

Хозяйка растерялась еще больше. Я сказал:

— Доктор, в вашем произношении есть какой-то недостаток. Дайте, я попробую. Madame, avez-vous du vin ? Бесполезно, доктор. Продолжайте допрос.

— Madame, avez-vous du vin... ou fromage... ou pain?^[17] Пороссячьи ножки в маринаде... beurre... des oeufs... boeuf^[18]... хрен, кислая капуста, суп с котом?.. Ну что-нибудь, что-нибудь подходящее для христианских желудков.

Она сказала:

— Господи боже мой! Почему вы раньше не заговорили по-английски?

Я вашего проклятого французского не учила.

В сердитом молчании мы проглотили ужин, испорченный насмешками недовольного члена экспедиции, и торопливо удалились. Мы были в прекрасной Франции, в большом каменном доме непривычного вида, нас окружали непонятные французские надписи, на нас глазели позаграничному одетые бородатые французы — медленно, но верно все убеждало нас в исполнении заветной мечты, в том, что наконец мы несомненно находимся в прекрасной Франции, проникаемся ее духом; и, забывая все на свете, мы начинали осознавать неотразимое очарование романтической прелести этого события. И в такую минуту вдруг появляется костлявая старуха со своим варварским английским языком и вдребезги разбивает дивное видение! С ума можно было сойти.

Мы отправились на поиски центра города, иногда спрашивая дорогу у прохожих. Но ни разу нам не удалось объяснить вполне ясно, чего мы хотим, и сами мы ни разу не сумели вполне ясно разобраться в их ответах; однако прохожие обязательно указывали куда-то — непременно указывали, и мы с вежливым поклоном говорили: «Мерси, мосье», торжествуя таким образом полную победу над недовольным членом экспедиции. Эти триумфы бесили его, и он то и дело спрашивал:

— Что сказал этот пират?

— Как что? Объяснил нам, как пройти к Гранд-Казино.

— Да, но что он *сказал*?

— Не важно, что он сказал, *мы* его поняли. Это люди образованные, не какие-нибудь лодочники.

— Хотел бы я, чтобы их образованность помогла им указать направление, которое куда-нибудь ведет, — мы уже час ходим по кругу. Я седьмой раз прохожу мимо этой аптеки.

Мы сказали, что это подлая, низкая ложь (но мы знали, что это правда). Было, однако, очевидно, что еще раз проходить мимо этой аптеки опасно; спрашивать дорогу не возбранялось, но, если мы хотели усыпить подозрения недовольного члена экспедиции, верить указующему персту не следовало.

Мы долго шли по гладким асфальтированным улицам, вдоль кварталов, застроенных новыми доходными домами из камня кремового цвета, — не меньше мили одинаковых домов и одинаковых кварталов, залитых ослепительным светом, — и наконец вышли на главную улицу. Справа и слева яркие краски, созвездия газовых рожков, толпы пестро одетых мужчин и женщин на тротуарах — жизнь, суeta, энергия, веселье, болтовня и смех со всех сторон! Мы отыскивали Grand Hotel du Louvre et de

la Paix^[19] и записали в книге, кто мы такие, где родились, чем занимаемся, откуда прибыли, женаты или холосты, довольны ли этим, сколько нам лет, куда направляемся, когда предполагаем там быть, и еще много столь же важных подробностей — к сведению хозяина отеля и тайной полиции. Мы наняли гида и немедленно приступили к осмотру достопримечательностей. Этот первый вечер на французской земле был захватывающим. Я перезабыл половину мест, где мы побывали, и половину того, что мы видели; у нас не было настроения осматривать что-либо внимательно, мы довольствовались беглым взглядом и торопились — дальше, дальше! Дух Франции снизошел на нас. В конце концов, когда час был уже поздний, мы очутились в Гранд-Казино и, не скупясь, заказали галлоны шампанского. Легко сорить деньгами, когда это обходится так дешево! В этом ослепительном зале находилось, я думаю, человек пятьсот, но благодаря зеркалам, которыми были, так сказать, оклеены стены, казалось, что их не меньше ста тысяч. Молодые изящно одетые франты и молодые модно одетые красавицы, почтенные старцы и пожилые дамы сидели парами и группами за бесчисленными мраморными столиками, ели изысканные блюда, пили вино, и от жужжания голосов начинала кружиться голова. В глубине зала находились оркестр и эстрада, на которой то и дело появлялись актеры и актрисы в уморительных костюмах и пели, судя по их комическим жестам, необычайно смешные песенки, но публика только на мгновение умолкала и скептически поглядывала на эстраду, даже не улыбнувшись и ни разу не похлопав! Раньше я думал, что французы готовы смеяться по любому поводу.

Глава XI. Привыкаем. — Нет мыла. — Меню табльдота. — Любопытное открытие. — Птица «Паломник». — Долгое заточение. — Герои Дюма. — Темница знаменитой «Железной маски».

Мы быстро и легко становимся заграничными. Мы примиряемся с неуютными, лишенными ковров каменными полами коридоров и спален — с каменными полами, на которых гулко отдаются шаги, убивая всякое поэтическое раздумье. Мы привыкаем к опрятным, бесшумным официантам, которые скользят взад и вперед, замирают позади вас или сбоку, как бабочка над цветком, мгновенно понимают заказ, мгновенно выполняют его, благодарят за вознаграждение, независимо от суммы, и всегда вежливы — всегда безупречно вежливы. Истинно вежливый официант, и при этом не круглый идиот, — это действительно настоящая диковинка для нас. Мы привыкаем въезжать прямо во внутренний двор отеля, в самую гущу душистых цветов и вьющихся растений, в самую гущу джентльменов, спокойно курящих и читающих газеты. Мы привыкаем ко льду, изготовленному искусственным способом в бутылках, — другого льда здесь нет. Мы ко всему этому привыкаем, но мы никак не можем привыкнуть возить с собой собственное мыло. Мы достаточно цивилизованы, чтобы возить с собой собственную гребенку и зубную щетку, но звонить каждый раз, когда нам нужно мыло, — это нечто новое и весьма неприятное. Мы вспоминаем о мыле, только как следует намочив волосы и лицо или погрузившись в ванну, а в результате, разумеется, происходит досадная задержка. Марсельский гимн, марсельское пике и марсельское мыло славятся по всему миру, но сами марсельцы не поют Марсельезы, не носят пикейных жилетов и не моются своим мылом.

Мы научились с терпением, с благодушием, с удовольствием переносить медлительную церемонию табльдота. Мы съедаем суп, затем ждем несколько минут рыбы; еще несколько минут — тарелки сменены, и подается ростбиф; еще перемена — и мы едим горошек; еще перемена — едим чечевицу; перемена — едим пирожки с улитками (я предпочитаю кузнечиков); перемена — едим жареных цыплят с салатом, затем земляничный пирог и мороженое; затем свежий инжир, груши, апельсины, свежий миндаль и прочее; напоследок — кофе. Вино, разумеется, к каждому блюду — ведь это Франция. Такой груз желудок переваривает медленно, и

приходится долго сидеть и курить в прохладной комнате и читать французские газеты, у которых есть странная привычка: они рассказывают о происшествии просто и ясно, пока дело не доходит до «соли», но тут вдруг попадаете такое слово, которого никто понять не в силах, и от рассказа ничего не остается. Вчера на нескольких французов обвалилась насыпь, и сегодня этим полны все газеты, — но убиты ли пострадавшие, искалечены они, ушиблены или отделались испугом, этого я разобрать не смог; а узнать ужасно хочется.

Сегодня за обедом нас несколько смущало вульгарное поведение одного американца, который громко разговаривал и шумно хохотал, в то время как все присутствующие вели себя спокойно и корректно. Он царственным жестом потребовал вина, сказав: «Я не привык обедать без вина, сэр!» (что было жалкой ложью), и оглядел обедающих, чтобы насладиться восхищением, которое он ожидал увидеть на их лицах. Нашел, чем хвастать в стране, где за обедом скорее обойдутся без супа, чем без вина! В стране, где все сословия пьют вино почти как воду! Этот субъект заявил: «Я — свободнорожденный монарх, сэр, американец, сэр, и я хочу, чтобы все об этом знали!» Он забыл упомянуть, что происходит по прямой линии от валаамовой ослицы, но это для всех было ясно и без его объяснений.

Мы ездили по Прадо — великолепной аллее, вдоль которой тянутся особняки аристократов и величественные тенистые деревья; мы посетили интересный музей в замке Борели^[20]. Там нам показали миниатюрное кладбище — копию самого древнего кладбища Марселя. В полуразрушенных склепах лежат хрупкие скелетики, а рядом — их домашние божки и кухонная утварь.

Оригинал этого кладбища был раскопан на главной улице города несколько лет тому назад. Оно оставалось там, всего лишь в двенадцати футах под землей, целых двадцать пять столетий или что-то вроде этого. Ромул побывал здесь еще до того, как основать Рим, и предполагал построить на этом месте город, но потом раздумал. Кое-кто из финикийцев, чьи скелеты мы рассматривали, были, возможно, с ним лично знакомы.

В замечательном зоологическом саду мы видели, как мне кажется, представителей животных всего земного шара, в том числе дромадера, обезьяну, украшенную пучками шерсти пронзительно синего и карминного цвета, — очень роскошная была обезьяна! — нильского гиппопотама и какую-то высокую, голенастую птицу с клювом, как рог для пороха, и с крыльями в обтяжку, как фалды фрака. Это создание стояло закрыв глаза, слегка сутулясь, словно заложив руки под фалды. Какая спокойная

глупость, какая сверхъестественная серьезность, какая самоуверенность и какое неизъяснимое самодовольство выражались в наружности и позе этой серой, темнокрылой, лысой и невероятно непривлекательной птицы! Грузная, с бородавчатой головой и чешуйчатыми ногами, она была так невозмутима, так несказанно довольна собой! Трудно вообразить более смешное существо. Приятно было слушать громкий смех Дэна и доктора, — с той минуты, как наш корабль покинул Америку, никто из нас не смеялся так искренне и весело. Эта птица оказалась настоящей находкой, и я был бы неблагодарнейшим из смертных, если бы не отвел ей почетного места на этих страницах. Мы гуляли для собственного удовольствия, поэтому мы провели около нее целый час и никак не могли на нее нарадоваться. Иногда мы пытались ее расшевелить, но она только приоткрывала один глаз и снова медленно его закрывала, ни на йоту не утрачивая ни торжественного благочестия позы, ни подавляющей серьезности. Она, казалось, говорила: «Не оскверняйте избранника небес прикосновением неосвященных рук». Мы не знали названия этой птицы и потому окрестили ее «Паломником». Дэн сказал:

— Ей не хватает только Плимутского сборника гимнов.

Закадычной приятельницей гиганта-слона оказалась обыкновенная кошка! Эта кошка повадилась взбираться по задней ноге слона на его спину и укладываться там спать. Подвернув лапки, она большую часть дня грелась там на солнце и дремала. Сначала слону это не нравилось, он поднимал хобот и стаскивал ее на землю, но она снова заходила с кормы и карабкалась на старое место. Она не отступала и, наконец, победила антипатию слона; теперь они — неразлучные друзья. Кошка часто играет около хобота своего товарища или между его передними ногами, пока не завидит собаку, — тогда она взбирается вверх, подальше от опасности. За последнее время слон истребил несколько собак, которые досаждали его приятельнице.

Наняв парусную лодку и гида, мы отправились на один из небольших островков в гавани, чтобы осмотреть замок Иф. У этой старинной крепости печальная история. В течение двухсот — трехсот лет она служила тюрьмой для политических преступников, и стены ее темниц покрыты грубо нацарапанными именами многих и многих узников, которые томились здесь до самой смерти и не оставили после себя никакой памяти, кроме этих печальных эпитафий, начертанных их собственными руками. Сколько этих имен! И кажется, что их давно умершие владельцы наполняют призрачными тенями угрюмые камеры и коридоры. Мы проходили по высеченным в твердой скале темницам, а над нами, наверное, было море.

Имена, имена, имена повсюду — плебейские, аристократические, даже княжеские. Плебей, князь, аристократ — все они стремились к одному: избежать забвения! Они терпели одиночество, бездеятельность, ужас тишины, не нарушаемой ни единым звуком; но они не могли вынести мысли, что будут забыты совсем. И на стенах появлялись имена. В одной из камер, куда проникает слабый луч света, какой-то узник прожил двадцать семь лет, не видя человеческого лица, в грязи и лишениях, наедине со своими мыслями — наверное, тяжелыми и безнадежными. То, в чем он, по мнению тюремщиков, нуждался, передавалось в его камеру ночью через окошечко. Этот человек покрыл стены своего тюремного жилья от пола до потолка всевозможными фигурками людей и животных, переплетенными в сложные узоры. Из года в год он трудился над этой им самим поставленной задачей, а между тем младенцы становились мальчиками — крепкими юношами — бездельничали в школе и университете — приобретали профессию — становились взрослыми людьми — женились — и вспоминали о детстве, как о чем-то смутном, давнем-давнем. Но кто скажет, сколько веков протекло за это время для узника? Для них время иногда летело, для него — никогда, оно всегда еле ползло. Для них праздничные ночи, казалось, слагались не из часов, а из минут, для него те же самые ночи были обычными тюремными ночами и, казалось, слагались не из часов и минут, а из медленно тянущихся недель.

Другой узник, прошедший здесь пятнадцать лет, нацарапал на стенах стихи и изречения — короткие, но глубоко трогательные. В них говорилось не о нем и его тяжелой судьбе, но только о том святилище, куда уносили его благоговейные мечты, — о его доме и кумирах его сердца. Он умер, не свидевшись с ними.

Толщина стен в этих темницах не меньше ширины иных американских спален — пятнадцать футов. Мы видели сырые, унылые камеры, где были заключены два героя Дюма — герои «Монте-Кристо». Здесь мужественный аббат при свете лампы, изготовленной из обрывков холста, пропитанных жиром, который он добывал из своей пищи, писал книгу, макая в собственную кровь перо, сделанное из куска железа; затем он при помощи жалкого инструмента, который сам смастерил из железной скобы, пробил толстую стену и освободил Дантеса от цепей. Как жаль, что столько недель изнурительного труда оказались потраченными впустую.

Нам показали зловонную камеру, где некоторое время томился знаменитый узник «Железная маска» — этот злосчастный брат жестокосердного короля — перед тем как замок св. Маргариты навеки скрыл от посторонних взоров загадочную тайну его жизни. Эта камера не

заинтересовала бы нас так сильно, если бы мы знали твердо, кем был «Железная маска», какова была его история и почему его подвергли такому необычному наказанию. Тайна! В ней была вся прелесть. Эти лишенные речи уста, скрытое под маской лицо, это сердце, полное невысказанной боли, грудь, терзаемая неведомым горем, когда-то были здесь. Эти сырые стены видели человека, чья грустная судьба навеки осталась запечатанной книгой. Захватывающе интересное место.

Глава XII. Праздничная поездка по Франции. — Особенности французских вагонов. — Почему во Франции не бывает железнодорожных катастроф. — «Бывалые путешественники». — Все еще едем. — Наконец-то Париж! — Осмотр достопримечательностей.

Мы проехали пятьсот миль по железной дороге через самое сердце Франции. Что за прелестная страна! Настоящий сад! Наверное, эти бесконечные ярко-зеленые луга каждый день подметают, приглаживают и поливают, а траву на них подравнивает парикмахер. Наверное, эти живые изгороди планирует и вымеряет, сохраняя строжайшую симметрию, самый искусный садовник-архитектор. Наверное, эти длинные прямые аллеи стройных тополей, которые расчерчивают красивый ландшафт, как шахматную доску, были размечены бечевкой и отвесом, а единообразие их высоты выверялось при помощи уровня. Наверное, эти прямые, гладкие молочно-белые дороги каждый день заново выравнивают и полируют. Как же иначе можно было бы достичь таких чудес симметрии, чистоты и порядка? Просто поразительно. Нигде не видно нескладных каменных стен, нигде нет никаких заборов. Ни грязи, ни гнили, ни мусора — ничего похожего на небрежность, никакого намека на неопрятность. Все аккуратно и красиво, все чарует взор.

Такой мы увидели Рону, струящуюся в зеленых берегах; уютные фермы, утопающие в цветах и живых изгородях; милые, крытые красной черепицей домики старинных деревушек и вздымающиеся там и сям замшелые средневековые соборы; лесистые холмы, где над листвой подымаются обвитые плющом башни и стены рыцарских замков; все это казалось нам раем, видением сказочной страны фей!

И мы поняли, что чувствовал поэт, когда воспевал

...твои поля и солнечные лозы,
О Франция, прекрасная страна!

И это действительно прекрасная страна. Ни одно другое слово не

определяет ее так удачно. Говорят, что во Франции нет слова для понятия «родной дом». Ну что же, если у них сам «родной дом» так привлекателен, без слова они как-нибудь обойдутся. Не будем напрасно тратить жалость на «бездомную» Францию. Я замечал, что французы, живущие за границей, всегда лелеют мечту когда-нибудь вернуться во Францию. Теперь это меня больше не удивляет.

Французскими вагонами мы, однако, не очарованы. Мы взяли билеты на курьерский поезд не потому, что желали привлечь к себе внимание необычным для Европы поведением, а потому, что, поступив так, выигрывали в скорости. Путешествие в поезде по какой бы то ни было стране редко бывает приятным. Слишком уж оно монотонно. Путешествие в почтовой карете несравненно увлекательнее. Когда-то мне пришлось пересечь в почтовой карете равнины, пустыни и горы Дальнего Запада от Миссури до Калифорнии, и с тех пор, куда бы я ни ехал, мерилом мне служит эта единственная в своем роде чудесная поездка. Две тысячи миль непрерывного движения, стука, лязга день и ночь напролет, и ни минуты скуки или пресыщения! Первые семьсот миль — равнина, покрытая ковром травы, ковром, которой зеленее, мягче и ровнее любого моря и расцвечен узорами, достойными его просторов, — тенями облаков. А кругом — летний пейзаж, рождающий только одно желание — вытянуться во всю длину на тюках с почтой под благодатным ветерком и грезить, покуривая трубку мира, — трубку мира, потому что кругом лишь покой и радость. Целая жизнь городского труда и пота не стоит одного прохладного утра, когда солнце еще не успело встать, а ты сидишь на козлах рядом с кучером и смотришь, как несется шестерка мустангов, подгоняемых щелканьем бича, который не прикасается к их спинам; глядишь в безграничные голубые дали, покоряющиеся только тебе; рассекаешь непокрытой головой ветер и чувствуешь, что медлительная кровь начинает струиться быстрее, подчиняясь скорости, которая соперничает с неукротимым полетом урагана! Затем тысяча триста миль бескрайних пустынь; бесконечные перспективы, уходящие в невообразимую даль; фантастические города, шпили соборов, грозные крепости, расцвеченные заходящим солнцем в золото и пурпур — и оказывающиеся причудливыми скалами; головокружительные подъемы среди вечных снегов и пиков в венках из тумана, где у наших ног бушевали бури, гремел гром, сверкали молнии, а прямо перед нами грозовые тучи разворачивали свои изорванные знамена!

Но я увлекся. Сейчас я мчусь по изящной Франции, а не через Южный перевал^[21] по горам Уинд-Ривер^[22] среди антилоп, бизонов и раскрашенных индейцев, вышедших на тропу войны. Не подобает слишком

пренебрежительно сравнивать скучное путешествие по железной дороге с этой великолепной летней поездкой в быстро мчащейся почтовой карете через весь материк. Я ведь только собирался сказать, что поездки по железной дороге однообразны и утомительны, — этого отрицать нельзя, хотя в ту минуту я, собственно говоря, думал об унылом пятидесятичетырехчасовом паломничестве из Нью-Йорка в Сент-Луис. Разумеется, наша поездка по Франции благодаря новизне и необычности впечатлений совсем не была монотонной; но в ней, как выразился Дэн, были свои «несоответствия».

Вагоны разделены на купе, вмещающие восемь человек. В каждом купе два дивана, на которых сидят по четверо. Одна четверка сидит напротив другой. Сиденья и спинки очень мягкие и удобные; при желании можно курить; нет назойливых разносчиков; вы избавлены от соседства множества неприятных спутников. Все это очень хорошо. Но когда поезд трогается, кондуктор запирает вас; питьевой воды в вагоне нет; во время ночных перегонов он не отапливается; если в купе окажется пьяный буян, вы не можете пересесть от него мест на двадцать подальше или уйти в другой вагон; но самое главное — если вы смертельно устали и хотите спать, вы не можете лечь и только урывками дремлете сидя, а ноги у вас затекают, и вы испытываете невыносимые муки, а потом весь день чувствуете себя изнеможенным и вялым, ибо лучшего детища милосердия и гуманности — спального вагона — не найдется во всей Франции. Я предпочитаю американскую систему. В ней не так много печальных «несоответствий».

Во Франции все делается с точностью часового механизма, всюду порядок. Каждый третий встречный носит форму, и кем бы он ни был — маршалом империи или тормозным кондуктором, — он с готовностью и неутомимой любезностью отвечает на все ваши вопросы, объясняет вам, какой вагон вам нужен, и даже с радостью проводит вас до него, чтобы вы не заблудились. Вам не удастся попасть в зал ожидания, пока вы не приобретете билета, и вам не удастся пройти через единственный выход из зала, пока с той стороны его не остановится ваш поезд. Когда посадка закончена, поезд не тронется, пока ваш билет не будет проверен, пока не будут проверены билеты всех пассажиров. Это делается прежде всего ради вас самих. Если вы почему-либо умудрились сесть не в тот поезд, вас передадут вежливому кондуктору, который с бесчисленными любезными поклонами посадит вас в ваш вагон. В пути время от времени проводится проверка билетов, и вам сообщают, когда пора пересаживаться. Вы в руках людей, которые ревностно заботятся о вашем благополучии и интересах,

вместо того чтобы посвящать свой талант изобретению новых способов портить вам жизнь и третировать вас, как чаще всего поступает этот самодовольный самодержец — американский железнодорожный кондуктор.

Среди установлений французских железнодорожных властей самое удачное — тридцать минут на обед! Никакой пятиминутной спешки, когда поглощаются черствые булочки, мутное кофе, сомнительные яйца, резиновая говядина и пирожки, замысел и исполнение которых составляют мрачную и кровавую тайну, ведомую только пекарю, создавшему их! Нет, мы спокойно уселись за стол — это было в древнем Дижоне, чье название так легко написать и так трудно произнести, если только не придать ему более цивилизованную форму «Джин», — разлили по стаканам душистое бургонское и спокойно прожевали все длинное меню табльдота, включая пирожки с улитками, восхитительные фрукты и прочее, затем заплатили пустячную сумму, в которую все это обошлось, и благополучно сели в свой поезд, ни разу не послав проклятия железнодорожной компании. Редчайший случай, память о котором следует хранить как сокровище.

Говорят, что на французских железных дорогах не бывает крушений; и я полагаю, что это правда. Если не ошибаюсь, мы ни разу не пересекли проезжую дорогу на ее собственном уровне — мы проезжали либо по мосту над ней, либо по туннелю под ней. Чуть ли не каждые четверть мили к путям выходил человек и, подняв жезл, показывал, что впереди все в порядке. Стрелки переводились на милю вперед при помощи проволочного каната, натянутого по земле вдоль рельсов от станции к станции. Дневные и ночные сигналы вовремя и аккуратно предупреждали о положении стрелок.

Нет, во Франции не бывает железнодорожных катастроф. А почему? Потому что, когда случается что-нибудь подобное, кого-то вешают^[23]. Ну, может быть, не вешают, но во всяком случае карают так строго, что долго после этого железнодорожные служащие с дрожью думают даже о возможности какого-либо недосмотра. Лживое и чреватое опасностями заключение «не по вине служащих железной дороги», столь обычное для наших мягкосердечных присяжных, редко выносится французскими судами. Если что-нибудь произойдет с вагоном и виновность младшего кондуктора не может быть доказана, отвечает старший кондуктор, а если что-либо случится с паровозом — ответственность несет машинист, если виновность его помощника не доказана.

«Бывалые путешественники» — умильные попугаи, «приезжавшие сюда раньше» и знающие Францию лучше, чем Луи-

Наполеон знает или может надеяться ее когда-нибудь узнать, — рассказывают нам все эти подробности; и мы верим, потому что верить таким подробностям приятно, а кроме того, они кажутся правдоподобными, так как вполне соответствуют строгому соблюдению порядка и законности, которое мы видим здесь повсюду.

Но мы любим «бывалых путешественников». Мы любим слушать, как они разглагольствуют, несут всякую чушь и привирают. Мы угадываем их с первого взгляда. Они всегда сперва зондируют почву — и снимаются с якоря только после того, как проверят всех присутствующих и убедятся, что никто из них не путешествовал. Тогда они разводят пары и начинают хвастать, бахвалиться, чваниться, заноситься и поминать всуе священное имя истины! Главное, чего они хотят, к чему они стремятся, — это подавить вас, оглушить, заставить вас почувствовать, как вы незначительны и жалки рядом с блеском их кругосветного опыта. Они не признают за вами никаких знаний. Они издеваются над вашими безобиднейшими предположениями, безжалостно высмеивают дорогие вашему сердцу мечты о чужих странах; они объявляют глупейшими нелепостями рассказы ваших путешествовавших тетушек и дядюшек; они язвительно поносят писателей, снискавших ваше доверие, а созданные этими писателями чудеснейшие образы, которым вы так охотно поклонялись, они разбивают вдребезги с дикой яростью фанатиков-иконоборцев! Но все равно — люблю «бывалых путешественников». Я люблю их за избитые сентенции, за сверхъестественную способность нагонять скуку, за восхитительное ослиное самодовольство, за буйную плодоносность их воображения, за их поразительное, блистательное, всесокрушающее умение лгать.

Мы проезжали мимо Лиона и Соны (где мы видели пресловутую Лионскую красавицу^[24], которая нам не понравилась), мимо Вильфранша, Тоннера, древнего Санса, Мелена, Фонтенбло, повсюду замечая отсутствие гниющих луж, сломанных заборов, навоза, облупившихся домов и грязи на дорогах и также повсюду замечая присутствие чистоты, изящества, вкуса к благоустройству и красоте во всем — вплоть до местоположения дерева или изгиба живой изгороди; чудесные дороги в превосходном состоянии, на которых нет не только выбоин, но и вообще каких-либо неровностей; так мы мчались час за часом и, когда угас этот сияющий летний день, приблизились к зарослям ароматных цветов и кустарника, пролетели сквозь них и — полные восторга и трепета, почти уверенные, что нас обманывает чудесное сновидение, — очутились в великолепном Париже!

Какой безупречный порядок царит на этом огромном вокзале! Ни суматохи, ни толчеи, ни крика, ни ругани, ни, наконец, горластых

извозчиков, навязывающих свои услуги. Эти господа стояли снаружи на площади — стояли спокойно у своих колясок, вытянувшихся длинной вереницей, и молчали. Распределением седоков заведовал, так сказать, генеральный извозчик. Он вежливо встречал пассажиров, подводил их к нужным экипажам и указывал кучеру, куда их доставить. Не было слышно никаких пререканий, никто не жаловался на то, что с него запрашивают, никто не ворчал. Несколько минут спустя мы уже ехали по улицам Парижа, с восхищением узнавая места, давно знакомые нам по книгам. Прочитав на углу улицы: «Rue de Rivoli»^[25], мы, казалось, встретили старого друга; подлинник громадного Луврского дворца был знаком нам не хуже, чем его изображения; проезжая мимо Июльской колонны, мы не нуждались ни в объяснениях, ни в напоминаниях о том, что когда-то на ее месте высилась мрачная Бастилия — эта могила человеческих надежд и счастья, эта угрюмая тюрьма, в казематах которой покрылось морщинами столько юных лиц, смирилось столько гордых душ, разбилось столько мужественных сердец.

Мы сняли номера в отеле, вернее — попросили поставить три кровати в один номер, чтобы нам не расставаться, затем, как раз когда зажглись уличные фонари, отправились в ресторан и неторопливо, с удовольствием пообедали. Как приятно обедать, если все такое чистое, блюда такие вкусные, официанты такие вежливые, а входящие и выходящие посетители такие усатые, такие быстрые, такие любезные, такие ужасно и удивительно французистые! Кругом царило веселое оживление. Двести человек, прихлебывая вино и кофе, сидели за маленькими столиками, стоявшими прямо на тротуаре; улицы были переполнены легкими экипажами и веселыми толпами искателей развлечений; в воздухе звенела музыка, вокруг нас кипела жизнь; и повсюду пылали газовые фонари!

После обеда нам захотелось полюбоваться теми парижскими зрелищами, осмотр которых не требовал никаких излишних усилий, и мы отправились бродить по залитым ярким светом улицам, разглядывая изящные безделушки в галантерейных и ювелирных магазинах. Иногда — просто потому, что нам нравилось быть жестокими, — мы принимались пытаться безобидных французов вопросами на их родном неудобопонятном наречии и, любуясь их муками, сажали на кол, перчили и резали при помощи их же собственных гнусных глаголов и причастий.

Мы заметили, что в ювелирных магазинах некоторые предметы помечены — «золото», а другие — «имитация». Подобная невероятная честность нас поразила, и мы осведомились о ее причинах. Нам объяснили, что, поскольку большинство покупателей не умеет отличать подделку от

настоящего золота, правительство обязало ювелиров ставить на золотых изделиях государственную пробу, показывающую чистоту металла, а подделки снабжать соответствующими ярлычками, указывающими, что это имитация. Нам сказали, что ни один ювелир не осмелится нарушить этот закон, и какую бы вещь ни купил в их магазинах иностранец, он может быть уверен, что она — именно то, что он спрашивал. Поистине, Франция удивительная страна!

Затем мы принялись искать парикмахерскую. С младенческих лет моей заветнейшей мечтой было когда-нибудь побриться в роскошной парижской парикмахерской. Я жаждал развалиться в мягком кресле для паралитиков, жаждал, чтобы меня окружали картины и великолепная мебель, чтобы покрытые фресками стены поддерживали золоченые своды и ряды коринфских колонн уходили вдаль; чтобы благовония Аравии опьяняли меня, а уличный шум, ставший чуть слышным гулом, убаюкивал меня. Через час я с сожалением проснусь, и окажется, что лицо мое стало гладким и нежным, как у ребенка. И перед уходом я, простирая руки над головой парикмахера, воскликну: «Да благословит вас небо, сын мой!»

Мы искали, искали больше двух часов, но парикмахерские нам не попадались. Мы видели только заведения, где изготавливаются парики, в витринах которых были выставлены пучки отвратительных тусклых волос, привязанные к головам нарумяненных восковых разбойников, неподвижными глазами взирающих из стеклянных ящиков на прохожих, пугая их мертвенной белизной лиц. Некоторое время мы поспешно проходили мимо подобных витрин, но в конце концов решили, что, поскольку мы не нашли ни одного законного представителя братства парикмахеров, лицо, изготавливающее парики, по необходимости должно исполнять и обязанности брадоброя. Мы вошли, спросили и узнали, что это действительно так.

Я сказал, что хочу побриться. Парикмахер спросил, где я живу. Я сказал, что не важно, где я живу, — я хочу побриться здесь, на месте. Доктор сказал, что он тоже хочет побриться. Оба парикмахера страшно взволновались. Несколько минут они бурно совещались, потом принялись бегать взад и вперед, лихорадочно вытаскивая из каких-то тайников бритвы и бестолково шаря по ящикам в поисках мыла. Затем они провели нас в какую-то грязноватую комнатуху, притащили два самых обыкновенных стула и усадили нас прямо в сюртуках. Моя давняя блаженная мечта рассеялась, как дым!

Я сидел выпрямившись, сохраняя грустное и торжественное молчание. В течение долгих десяти минут изготавливающий парики бандит мылил мое

лицо и кончил тем, что залепил мне пеной весь рот. Я выплюнул эту мерзость одним крепким английским словом и сказал: «Берегись, чужеземец!» Затем этот неверный наточил бритву о подошву своего башмака, зловеще примеривался в течение шести ужасных секунд и вдруг накинул на меня, как демон-разрушитель. Первое же прикосновение его бритвы сняло с моего лица всю кожу и приподняло меня над стулом. Я злился и бушевал, а мои спутники радовались. У них бороды не густые и не жесткие. Опустим занавес над этой душераздирающей сценой. Достаточно сказать, что я подчинился и до конца вынес жестокую пытку — побрился у французского парикмахера; порою по моим щекам градом катились слезы несказанной муки, но я выжил. Затем начинающий убийца поднес к моему подбородку тазик с водой и выплеснул его содержимое мне в глаза, на грудь и за шиворот, коварно притворяясь, что хочет смыть мыльную пену и кровь. Он вытер мне лицо полотенцем и собрался было причесать меня, но я уклонился. Я сказал с язвительной иронией, что раз уж меня ободрали заживо, я не желаю быть еще и скальпированным.

Прикрыв лицо носовым платком, я ушел, чтобы никогда, никогда, никогда больше не мечтать о роскошных парижских парикмахерских. Дело в том, что, как мне кажется, удалось выяснить, в Париже вовсе нет парикмахерских, где можно было бы побриться, да и умеющих брить парикмахеров — тоже. Самозванец, исполняющий обязанности брадобрея, является к вам домой, захватив свой тазик, салфетки и орудия пытки, и хладнокровно сдирает с вас кожу в ваших собственных апартаментах. О, сколь тяжело страдал я здесь, в Париже! Но ничего — близится время моей тайной и кровавой мести. Наступит день, и в мою комнату войдет, чтобы ободрать меня, парижский парикмахер, — и с этого дня он исчезнет без следа.

В одиннадцать часов мы наткнулись на вывеску, в которой безошибочно можно было узнать вывеску бильярдной. Полный восторг! На Азорских островах мы играли в бильярд шарами, которые не были круглыми, на древнем столе, напоминавшем булыжную мостовую, — на развалине с оббитыми бортами, заплатанным выцветшим сукном и невидимыми препятствиями, из-за которых шары описывали потрясающие, немыслимые кривые, сталкиваясь самым непредвиденным и почти невероятным образом и совершенно сбивая нас с толку. В Гибралтаре мы играли шарами величиной с грецкий орех на столе шириной с городскую площадь — и оба раза испытали гораздо больше огорчений, чем удовольствия. Мы ожидали, что здесь нам повезет больше, но ошиблись. Борта оказались значительно выше шаров, и поскольку у последних была

привычка останавливаться именно под бортами, о карамболях нечего было и думать. Резина на боргах была жесткая и неэластичная, а кии такие кривые, что при ударе приходилось делать допуск на изгиб, иначе кончик кия не попадал в намеченную точку шара. Дэн должен был маркировать, пока мы с доктором играли. Прошел час, но ни я, ни мой партнер не набрали ни одного очка, и в результате Дэну надоело считать, потому что считать было нечего, а мы горячились, сердились и возмущались. Мы оплатили большой счет — центов шесть — и дали себе слово, что еще придем сюда закончить игру, когда у нас найдется свободная неделька.

Мы удалились в одно из уютных парижских кафе и поужинали, дегустируя, как нам рекомендовали, местные вина, и нашли их безобидными и неинтересными. Может быть, они нас и заинтересовали бы, если бы мы рискнули выпить побольше.

Решив закончить наш первый день в Париже весело и приятно, мы отправились домой в роскошный номер Grand Hotel du Louvre и забрались на наши пышные кровати, намереваясь выкурить сигару и почитать, но — увы! —

Как не огорчиться —
Ведь во всей столице
Газа не было.

Газа не было — только жалкие свечи, и от чтения пришлось отказаться. Это было крайне неприятно. Мы пробовали наметить планы на завтра, мы ломали голову над французскими путеводителями по Парижу, мы бессвязно болтали, тщетно пытаясь разобраться в диком хаосе впечатлений этого дня; уgomонившись, мы только лениво курили; глаза у нас слипались, мы зевали, потягивались и наконец, смутно удивляясь тому, что, кажется, и в самом деле находимся в прославленном Париже, незаметно погрузились в ту таинственную бездну, которую люди называют сном.

Глава XIII. Мосье Билфингер. — Заново окрещенный француз. — В когтях парижского гида. — Международная выставка. — Военный парад. — Император Наполеон и турецкий султан.

На другой день к десяти часам утра мы были уже на ногах и одеты. Мы пошли к *commissionnaire*^[26] отеля (я не знаю, что такое *commissionnaire*, но это тот человек, к которому мы пошли) и сообщили ему, что нам нужен гид. Он сказал, что Международная выставка привлекла в Париж множество англичан и американцев и найти хорошего гида чрезвычайно трудно. Он сказал, что обычно у него под рукой их не менее двадцати, но теперь — только трое. Он их позвал. Первый был так похож на пирата, что мы отвергли его немедленно. Следующий с такой жеманной старательностью выговаривал слова, что это действовало на нервы. Он сказал:

— Если джентльмены окажут сделать мне *grand honneur*^[27] воспользоваться моей услугой, я покажу ему все, что есть *magnifique*^[28] в прекрасном Пари. Я говорю на английском в совершенстве.

Ему следовало бы ограничиться этими фразами, потому что их он знал наизусть и выпалил без запинки. Но самодовольство толкнуло его на попытку углубиться в неисследованные дебри английского языка, и он погиб. Через десять секунд он настолько запутался в лабиринте искалеченных и кровоточащих частей речи, что уже никакая изобретательность не помогла бы ему выйти оттуда с честью. Было очевидно, что он не «говорил» на «английском» с тем совершенством, на которое претендовал.

Третий гид нас пленил. Он был одет просто, но с заметной тщательностью. На нем был цилиндр — не совсем новый, но старательно вычищенный. Его старенькие лайковые перчатки были вполне приличны, а в руке он держал камышовую тросточку с изогнутой ручкой — женская ножка из слоновой кости. Он ступал с осторожностью и изяществом кошки, переходящей грязную мостовую; его манеры были идеалом изысканности, сдержанной скромности и вежливой почтительности! Он говорил негромко, обдумывая каждое свое слово; и прежде чем взять на себя ответственность за какое-нибудь объяснение или предположение, он

взвешивал их на драхмы и скрупулы, задумчиво прижимая к зубам ручку тросточки. Его вступительная речь была безупречна. В ней было безупречно все — построение, фразеология, грамматика, интонация, произношение. После этого он говорил мало и осторожно. Мы были очарованы. Мы были не просто очарованы, но преисполнены восторга. Мы наняли его сразу. Мы ясно видели, что этот человек — наш лакей, наш слуга, наш покорный раб — был тем не менее джентльменом, в отличие от первых двух, из которых один был неотесан и неуклюж, а другой — прирожденный мошенник. Мы осведомились об имени нашего Пятницы. Достав из бумажника сверкающую белизной визитную карточку, он протянул ее нам с глубоким поклоном.

Л. БИЛФИНГЕР

Гид по Парижу, Франции, Германии, Испании и т. д.

Grand Hotel du Louvre

— Билфингер! Держите меня, а то я упаду! — сказал Дэн «в сторону».

Эта ужасающая фамилия нестерпимо резала слух. Большинство людей может простить неприятную физиономию и даже почувствовать симпатию к ее обладателю, но, как мне кажется, немногие способны так легко примириться с фамилией, от которой коробит. Я почти раскаи́вался, что мы решили взять этого человека, — настолько невыносимой оказалась его фамилия. Но что поделаешь! Нам не терпелось скорей отправиться в путь. Билфингер вышел, чтобы нанять экипаж, и тут доктор сказал:

— Ну что ж, гид вполне под стать парикмахерской, бильярду, номеру без газа и, наверное, еще многим другим экзотическим прелестям Парижа. А я-то надеялся, что наш гид будет носить имя Анри де Монморанси, или Арман де ля Шартрез, или еще какое-нибудь в том же роде, которое неплохо прозвучало бы в письмах домой, к нашим провинциалам, но чтобы француза звали Билфингер! Нелепость! Так нельзя. Билфингер — это невозможно, это просто тошнотворно. Давайте переименуем его. Как мы его назовем? Алексис дю Коленкур?

— Альфонс-Анри-Постав де Отвиль, — предложил я.

— Назовем его Фергюсоном, — сказал Дэн.

Это был голос здравого смысла, не склонного к романтике. Без всяких споров мы отвергли Билфингера как Билфингера и назвали его Фергюсоном.

Экипаж — открытая четырехместная коляска — уже ждал нас. Фергюсон уселся на козлы рядом с кучером, и мы покатали завтракать.

Мистер Фергюсон стоял рядом, переводя наши заказы и отвечая на вопросы. Через некоторое время он — хитрый проныра! — между прочим упомянул, что, как только мы кончим, он тоже отправится завтракать. Он превосходно понимал, что мы не сможем обойтись без него и не захотим тратить время на ожидание. Мы пригласили его сесть и позавтракать с нами. Он, то и дело кланяясь, попросил извинить его и сказал, что это неприлично, что он сядет за другой столик. Мы властно приказали ему сесть с нами.

Так был нам преподан первый урок. Мы совершили ошибку.

С этой минуты и до тех пор, пока он не расстался с нами, наш гид непрерывно хотел есть; он непрерывно хотел пить. Он являлся рано; он уходил поздно; он не мог миновать ни один ресторан; он бросал похотливые взгляды на каждый кабачок. Предложения зайти куда-нибудь, чтобы выпить и закусить, не сходили с его уст. Мы испробовали все, что было в наших силах, пытаясь накормить его до отвала с запасом на две недели, но потерпели неудачу. Он был не в состоянии вместить то количество пищи, которое утолило бы его нечеловеческий аппетит.

Кроме того, он отличался еще одним «несоответствием»: он постоянно пытался заставить нас что-нибудь купить. Под самыми прозрачными предложениями он заманивал нас в магазины, торговавшие рубашками, обувью, одеждой, перчатками, — словом, в любое место под бескрайними небесами, где мы, по его предположениям, могли хоть что-нибудь купить. Нетрудно было бы догадаться, что он получает комиссионные от хозяев магазинов, но по своей святой простоте мы ничего не подозревали до тех пор, пока эта его склонность не сделалась совершенно невыносимой. Как-то раз Дэн мельком упомянул, что хотел бы купить шелк в подарок своим домашним. Фергюсон немедленно впился в него голодным взглядом. Через двадцать минут экипаж остановился.

— Что здесь такое?

— Магазин шелковых товаров, лучший в Париже.

— Зачем вы нас сюда привезли? Мы сказали вам, что едем в Лувр.

— Я думал, что джентльмен говорит о покупке шелка.

— Вам незачем «думать» за нас, Фергюсон. Мы не хотим слишком вас утруждать. Мы готовы разделить с вами бремя дневных забот. Если окажется необходимым «думать», мы попробуем сделать это сами. Едем дальше, — возгласил доктор.

Через пятнадцать минут экипаж снова остановился и снова перед магазином шелковых товаров. Доктор сказал:

— Так вот он — Лувр. Чудесное, чудесное здание. А император

Наполеон живет сейчас здесь, Фергюсон?

— Ах, доктор! Вы все шутите. Это не дворец; мы еще не доехали. Но, проезжая мимо этого магазина, где продается такой прекрасный шелк...

— Ах, понимаю, понимаю. Я собирался предупредить вас, что сегодня мы шелка покупать не будем, но по свойственной мне рассеянности забыл это сделать. Я также собирался предупредить вас, что мы хотим ехать прямо в Лувр, но и об этом забыл. Как бы то ни было, отправимся туда теперь. Извините мою непростительную забывчивость, Фергюсон. Едем.

Через полчаса мы снова остановились — перед новым магазином шелковых товаров. Мы рассердились, но доктор по-прежнему оставался невозмутимым и любезным. Он сказал:

— Наконец-то! Как величествен Лувр, и в то же время как мал! Какие изящные пропорции! Какое восхитительное местоположение! Громада, одетая пылью веков...

— Пардон, доктор, это не Лувр, это...

— Так что же это?

— Мне пришло в голову — только что пришло, — что шелк в этом магазине...

— Фергюсон, как я рассеян! Я ведь собирался предупредить вас, что шелком мы сегодня заниматься не будем, и, кроме того, собирался предупредить вас, что мы жаждем немедленно отправиться в Лувр, но сегодня утром блаженство, преисполнившее меня при виде того, как вы пожираете четыре завтрака подряд, заставило меня пренебречь нашими прозаическими потребностями. Однако теперь мы едем в Лувр, Фергюсон.

— Но, доктор (*взволнованно*), это и минуты не займет — только минуточку. Джентльмену не надо покупать, если он не хочет, — только взглянуть на шелка, только *взглянуть* на прекрасную материю! (*Затем умоляюще.*) Только секундочку, сэр!

Дэн сказал:

— Черт бы побрал этого идиота! Мне сегодня не нужны никакие шелка, и я их смотреть не буду. Едем.

Доктор прибавил:

— Сейчас нам не нужен шелк, Фергюсон. Наши сердца тоскуют по Лувру. Трогайтесь в путь, трогайтесь.

— Но, доктор! Только секундочку — маленькую секундочку. И время сэкономится — очень сэкономится!! Потому что сейчас там смотреть нечего — мы опоздали. До четырех осталось десять минут, а Лувр закрывается в четыре... только секундочку, доктор!

Вероломный злодей! После четырех завтраков и галлона шампанского

сыграть с нами такую гнусную штуку! В этот день нам не удалось увидеть ни одного из тех сокровищ искусства, которые хранятся в галереях Лувра, и лишь мысль, что Фергюсон не продал ни единого шелкового купона, служила нам жалким утешением.

Я пишу эту главу, во-первых, ради удовольствия обругать негодяя Билфингера, и во-вторых, чтобы показать тому, кто прочтет ее, каковы парижские гиды и каково приходится американцам, попавшим в их руки. Не следует думать, что мы были глупее или легче поддавались на обман, чем большинство наших соотечественников, — это не так. Гиды обманывают и обирают каждого американца, впервые приезжающего в Париж и осматривающего его в одиночестве или в обществе друзей, столь же малоопытных, как и он сам. Когда-нибудь я снова появлюсь в Париже, и тогда — держитесь, гиды! Я приеду в боевой раскраске и захвачу с собой томагавк.

Мне кажется, мы не тратили время зря, пока были в Париже. Каждый вечер мы еле добирались до постели. Конечно, мы посетили прославленную Международную выставку. Весь мир посещает ее. Мы отправились туда на третий день по приезде в Париж — и пробыли там почти два часа. Это была наша первая и последняя поездка на Выставку. Откровенно говоря, мы сразу увидели, что потребуются недели, даже месяцы, чтобы составить ясное представление об этом грандиозном собрании диковинок. Осматривать ее было захватывающе интересно, но разглядывать движущиеся разноплеменные толпы, которые мы там увидели, было еще интереснее. Я почувствовал, что, проведи я на Выставке месяц, я все равно рассматривал бы посетителей, а не экспонаты. Меня заинтересовали были редкие вышивки тринадцатого века, но вдруг мимо прошло несколько арабов, и мое внимание немедленно привлекли их смуглые лица и экзотические костюмы. Я любовался серебряным лебедем, который двигался и поглядывал вокруг, совсем как живой, — я любовался, как он плавает уверенно и грациозно, словно родился в болоте, а не в ювелирной мастерской; любовался тем, как он выхватил из воды серебряную рыбку, закинул голову и проделал все обычные сложные движения, чтобы проглотить ее... Но не успела она исчезнуть в его клюве, как появилось несколько татуированных обитателей тихоокеанских островов, и я последовал за ними. Вскоре я обнаружил старинный пистолет с барабаном, удивительно напоминавший современный кольт, но в ту же минуту услышал, что в одном из помещений павильона находится французская императрица, и кинулся туда, чтобы посмотреть, какая она. Мы слышали военный марш, увидели множество солдат, и толпа куда-то

заторопилась. Мы спросили, в чем дело, и узнали, что французский император и турецкий султан будут принимать парад двадцатипятитысячного войска у Триумфальной арки. Мы тут же покинули Выставку. Эти люди занимали меня гораздо больше, чем двадцать выставок. Приехав туда, мы заняли место напротив дома американского посла. Кто-то догадался положить доску на две бочки, и мы купили право стоять на ней. Вскоре послышалась музыка; через минуту в отдалении возник и начал быстро приближаться к нам столб пыли; еще минута — и под гром военного марша стройный кавалерийский отряд с развевающимся знаменем вырвался из пыли и легкой рысью проследовал мимо. Затем появилась длинная вереница пушек; затем еще кавалеристы в пышных мундирах; и наконец — их императорские величества Наполеон III и Абдул-Азиз. Громадная толпа дружно закричала, размахивая шляпами, в окнах и на крышах всех соседних домов снежной метелью забушевали платки, а их владельцы присоединили свое «ура!» к приветственным крикам стоящих внизу. Это было удивительное зрелище.

Однако нашим вниманием завладели две центральные фигуры. Приходилось ли народным толпам когда-либо видеть подобный контраст? Наполеон в военном мундире — коротконогий человек с длинным туловищем, ужасно усатый, старый, морщинистый, с полузакрытыми, непроницаемыми, хитрыми и коварными глазами! Наполеон, любезно кивающий в ответ на громкие приветствия и из-под козырька низко надвинутого кепи наблюдающий за всеми и каждым своими кошачьими глазами, как будто отыскивая в этих криках фальшь и лицемерие.

Абдул-Азиз, самодержавный властелин Оттоманской империи, одетый в темно-зеленый европейский костюм почти без всяких украшений и регалий, в красной турецкой феске, — низенький, толстый, смуглый человек с черной бородой и черными глазами, глупый, невзрачный, — человек, при взгляде на которого так и кажется, что, будь на нем белый передник, а в руках большой нож, никто не удивился бы, услышав от него: «Баранью ногу? Или сегодня вам будет угодно взять говяжью вырезку?»

Наполеон III — представитель высшей современной цивилизации, прогресса, культуры и утонченности; Абдул-Азиз — представитель нации, по своей природе и обычаям нечистоплотной, жестокой, невежественной, консервативной, суеверной, представитель правительства, тремя грациями которого являются Тирания, Алчность, Кровь. Здесь, в блестящем Париже, под величественной Триумфальной аркой, первое столетие встречается с девятнадцатым.

Наполеон III, французский император! Среди ликующих толп, среди

блестящих офицеров, среди великолепия своей столицы, окруженный королями и принцами, стоял человек, который терпел презрение, насмешки, позорное прозвище «незаконнорожденный» — и грезил об империи и короне; был изгнан — и увез с собой свои грезы; жил среди американского простонародья, бегал вперегонки на пари — и все это время в мечтах восседал на троне; пренебрег всеми опасностями, чтобы проститься со своей умирающей матерью, — и горевал, что она не дожила до минуты, когда он сменил плебейскую одежду на императорский пурпур; был простым лондонским полицейским, добросовестно нес службу, совершал скучные обходы своего участка — и грезил о том дне, когда он пройдет по залам Тюильри; потерпел позорное фиаско в Страсбурге^[29]; видел, как его жалкий, облезлый орел, забыв уроки, не захотел опуститься на его плечо; произносил тщательно обдуманые красноречивые тирады перед враждебными слушателями; был заключен в тюрьму; стал мишенью пошлых остряков, предметом безжалостных насмешек всего мира — и продолжал грезить о коронациях и великолепных празднествах; томился, забытый всеми, в темнице замка Гам^[30] — и все-таки, как и прежде, строил планы и мечтал о будущей славе, о будущей власти; и вот он — президент Франции! Государственный переворот — и, окруженный ликующими войсками, приветствуемый громом пушек, он восходит на трон и поднимает перед пораженным миром скипетр могущественной империи! Что после этого романтические вымыслы? Волшебства сказок? Ничтожные триумфы Аладина и магов Аравии?

Абдул-Азиз, турецкий султан, повелитель Оттоманской империи! Рожденный для трона — но слабовольный, глупый, невежественный, как последний из его рабов; глава обширного государства — но марионетка в руках первого министра, послушное орудие деспотической матери; человек, который сидит на троне и одним мановением руки приводит в движение флоты и армии, который властен над жизнью и смертью миллионов людей, — но который только и знает, что спать, есть и бездельничать в обществе своих восьмисот наложниц; а когда пиры, сон и безделье приедаются ему и он, пробудившись, собирается взять бразды правления в свои руки, угрожая стать *подлинным* султаном, — бдительный Фуад-паша спешит отвлечь его постройкой еще одного пышного дворца или еще одного корабля, — отвлечь новой игрушкой, словно капризного ребенка; человек, который видит, как безжалостные сборщики налогов грабят и угнетают его подданных, — но не вымолвит и слова в их защиту; верит в духов и джиннов, верит небылицам «Тысячи и одной ночи», — но

презирает современных волшебников и боится их таинственных железных дорог, пароходов и телеграфа; хотел бы уничтожить все, чего добился в Египте великий Мухаммед-Али^[31], — и вместо того чтобы подражать ему, предпочел бы совсем о нем забыть; человек, который вступил на трон империи, позорящей землю, империи, где царят разорение, нищета, горе, невежество, преступление и зверская жестокость, — и который, проведя в безделии положенный срок своей никчемной жизни, сойдет в могилу на съедение червям, ничего не изменив!

За десять лет Наполеон привел Францию к экономическому расцвету, который не выразишь сухими цифрами. Он заново отстраивает Париж и — хотя бы частично — все остальные города своего государства. Он обрекает на снос целую улицу, оценивает ущерб, возмещает его и возводит новые замечательные дома. Затем дельцы покупают и перепродают их, но бывшему владельцу первому предоставляется право выбора, и платит он твердую государственную цену, а распродажа дельцам начинается лишь после этого. Самое же главное в том, что Наполеон сосредоточил в своих руках все управление Францией и сделал ее сравнительно свободной страной — для тех, кто не слишком вмешивается в дела правительства. Ни одно государство не ограждает в такой степени жизнь и имущество своих граждан, и в то же время все граждане вполне свободны, — но не настолько, чтобы мешать и досаждать друг другу.

Что касается султана, то где бы ни поставить западню, за одну ночь в нее попадет не менее десяти людей умнее и способнее его.

Грянула музыка; блестящий искатель приключений Наполеон III — воплощение энергии, упорства, предприимчивости, и слабовольный Абдул-Азиз — воплощение невежества, суеверия, лени, приготовились услышать «шаго-о-ом арш!»

Мы видели великолепный парад, мы видели седоусого ветерана Крымской войны Канробера, маршала Франции, мы видели... короче говоря, мы видели все и отправились восвояси, очень довольные.

Глава XIV. Собор Парижской Богоматери. — Сокровища и священные реликвии. — Морг. — Возмутительный капкан. — Лувр. — Чудесный парк. — Сохранение достопримечательностей.

Мы отправились осматривать Собор Парижской Богоматери. Мы слышали о нем прежде. Иногда я просто удивляюсь: как мы все-таки много знаем и какие мы умные. Мы сразу узнали этот древний, потемневший от времени готический храм: он был очень похож на свои изображения. Мы остановились в отдалении и, переходя с места на место, долго глядели на его величественные квадратные башни и на богато изукрашенный фасад, где повсюду видны искаленные каменные святые, которые в течение многих столетий невозмутимо поглядывают вниз со своих насестов. Патриарх Иерусалимский стоял под ними в далекие романтические дни рыцарства, более шестисот лет тому назад, проповедуя Третий крестовый поход, и с тех пор они стоят там, бесстрастно глядя на самые захватывающие зрелища, на самые роскошные празднества, на самые необычайные события, которые печалят или радуют Париж. Эти потрескавшиеся старички с отбитыми носами видели не один отряд закованных в латы рыцарей, возвращающихся из Святой Земли; они слышали, как колокола над ними возвестили начало Варфоломеевской ночи, и видели последовавшую за этим сигналом резню; позже они видели царство террора, кровавые дни революции, низвержение монарха, коронацию двух Наполеонов, крестины принца, который командует сейчас полком слуг в Тюильри, — и, возможно, они будут еще стоять здесь, когда над обломками низверженной династии Бонапартов взвьются знамена великой республики. Жаль, что эти почтенные истуканы никогда не заговорят. Их рассказы стоило бы послушать.

Говорят, что на месте Собора Парижской Богоматери во времена римского владычества, двадцать веков назад, стоял языческий храм, — его остатки до сих пор сохранились в Париже; около трехсотого года нашей эры его сменила христианская церковь, а в пятисотом году ее сменила другая; нынешний собор был заложен около тысяча сотого года. К тому времени земля, на которой его воздвигали, наверное уже основательно освятилась. Одна из капелл этого величавого старинного сооружения напоминает о своеобразных нравах далекого прошлого. Ее построил Иоанн

Бесстрашный^[32], герцог Бургундский, для успокоения своей совести, после того как он предательски убил герцога Орлеанского. Увы! Навеки миновали те добрые старые времена, когда убийца мог стереть пятно со своего имени и избавиться от угрызений совести, просто раздобыв кирпич, известку и возведя пристройку к церкви.

Портал большого западного фасада разделен квадратными колоннами. В 1852 году перед благодарственным молебном по случаю восстановления президентской власти^[33] центральную колонну убрали, но очень скоро, в связи с некоторыми переменами, это решение было пересмотрено и колонна водворена обратно.

Часа два мы бродили по величественным приделам, глазели на многоцветные витражи, украшенные синими, желтыми, малиновыми святыми и мучениками, и пытались восхищаться бесчисленными огромными картинами в капеллах; потом нас допустили в ризницу, где показали великолепное облачение, в котором папа короновал Наполеона I; целую грудку золотой и серебряной утвари для больших церковных праздников и процессий; несколько гвоздей из креста Господня, обломок самого креста и кусок тернового венца. Мы уже видели большой обломок креста Господня в церкви на Азорских островах, но гвоздей там не было. Кроме того, нам показали окровавленную мантию того архиепископа Парижского, который в 1848 году не испугался гнева восставших и, подвергая опасности свою священную особу, поднялся на баррикаду с оливковой ветвью мира, в надежде остановить кровопролитие. Это благородное намерение стоило ему жизни. Его застрелили. Нам показали маску, снятую с него после смерти, убившую его пулю и два позвонка, в которых она застряла. При выборе реликвий здесь проявляют довольно своеобразный вкус. Фергюсон сообщил нам, что серебряный крест, который мужественный архиепископ носил на поясе, был с него сорван и брошен в Сену, где и пролежал в иле пятнадцать лет, пока некоему священнику не явился ангел и не объяснил, в каком месте надо нырнуть; священник нырнул и вытащил крест, выставленный теперь в Соборе Парижской Богоматери на радость тем, кого интересуют неодушевленные предметы, свидетельствующие о вмешательстве провидения в человеческую жизнь.

Затем мы отправились в морг, этот зловещий приют мертвецов, уносящих с собой в могилу страшную тайну своей гибели. Мы остановились перед решеткой и заглянули в комнату, где была развешана одежда умерших: промокшие насквозь грубые блузы, изящные женские и детские платья, изрезанные и исколотые дорогие костюмы в красных

пятнах, измятая, окровавленная шляпа. На наклонной каменной плите лежал утопленник — обнаженный, распухший, лиловый; в кулаке, который смерть окостенила так, что разжать его уже невозможно, мертвой хваткой была зажата сломанная ветка — немое свидетельство последней отчаянной попытки спасти обреченную жизнь. По ужасному лицу непрерывной струйкой стекала вода. Мы знали, что тело и одежда выставлены здесь, чтобы утонувшего опознали друзья, но все-таки мы никак не могли представить себе, что кто-то способен любить это отталкивающее нечто или горевать из-за этой потери. Мы невольно задумались о том, что лет сорок тому назад, когда мать этого страшного утопленника нянчила его на своих коленях, целовала, ласкала и с горделивой радостью показывала прохожим, пророческое видение такого ужасного конца вряд ли мелькнуло перед ее внутренним взором. Мне стало немного страшно при мысли, что мать, жена или брат мертвеца могут прийти в морг, пока мы стоим здесь; но ничего подобного не случилось. Входили мужчины и женщины, некоторые жадно оглядывали помещение, прижимаясь лицом к прутьям решетки, другие, рассеянно взглянув на труп, отворачивались с разочарованным видом. Я решил, что эти люди ищут сильных ощущений и посещают морг так же регулярно, как другие — театр. Когда один из них равнодушно поглядел за решетку и ушел, я невольно подумал: «Это тебе нервы не щекочет. Человек, которому начисто отстрелили голову, — вот что тебе нужно».

Как-то вечером мы отправились в знаменитый Jardin Mabille^[34], но пробыли там недолго. Однако нам хотелось поближе познакомиться с этой стороной парижской жизни, и поэтому на следующий вечер мы поехали в Аньер, где находится большой сад с подобным же заведением. В конце дня мы отправились на вокзал, и Фергюсон купил билеты второго класса. Мне не часто приходилось видеть такую тесноту в вагоне — однако не было ни шума, ни беспорядка, ни грубых выходок. Мы заметили, что некоторые из наших соседей принадлежат к полусвету, но о большинстве сказать этого с уверенностью не могли.

Женщины в нашем вагоне всю дорогу вели себя очень скромно и благопристойно, если не считать того, что они курили. Приехав в Аньер, мы заплатили за вход что-то около франка и очутились среди клумб, газонов и красиво подстриженных кустов. Там и сям попадались укромные беседки, где можно было с удобством поесть мороженого. Мы двигались по извилистым, усыпанным гравием дорожкам в толпе девушек и молодых людей, и вдруг перед нами, как упавшее на землю солнце, засверкал белый кружевной храм, увенчанный куполом и осыпанный созвездиями газовых

рожков. Рядом виднелось большое красивое здание, широкий фасад которого также был залит огнями, а над его крышей развевалось звездное знамя Америки.

— Ой, — сказал я, — а это почему? — От удивления у меня перехватило дыхание.

Фергюсон объяснил, что хозяин этого заведения — американец из Нью-Йорка, оказавшийся грозным соперником владельца Jardin Mabille.

Толпы мужчин и женщин почти всех возрастов весело резвились в саду или сидели под открытым небом перед флагштоком и храмом, покуривая и прихлебывая вино или кофе. Танцы еще не начались. Фергюсон сказал, что прежде состоится представление. В другом конце сада знаменитый Блондэн будет ходить по канату. Мы отправились туда. Там было полутемно и множество зрителей стояло, тесно сгрудившись. И тут я допустил оплошность, на которую способен только осел, но не разумный человек. Я совершил одну из тех ошибок, которые совершаю каждый Божий день. Рядом со мною стояла молодая дама. Я сказал:

— Дэн, погляди-ка на эту девушку — какая красавица!

— Благодарю вас, сэр, за очевидную искренность вашего комплимента, но отнюдь не за то, что вы его высказали во всеуслышанье, — и это на чистейшем английском языке.

Мы отправились прогуляться, но у меня очень испортилось настроение. И еще долго мне было не по себе. Почему, *почему* люди бывают такими идиотами, что считают себя единственными иностранцами в десятитысячной толпе?

Но вскоре началось выступление Блондэна. Он появился на туго натянутом канате высоко-высоко над морем взлетающих шляп и носовых платков; в отсветах сотен ракет, которые, шипя, взвивались в небо мимо него, он казался крохотным насекомым. Балансируя шестом, он прошел по канату из конца в конец — примерно триста футов, — затем вернулся и перенес на ту сторону какого-то человека; дойдя до середины каната, он протанцевал джигу, потом проделал несколько гимнастических упражнений и акробатических трюков, таких опасных, что смотреть на них было не очень приятно; под конец он нацепил на себя сотни римских свечей, огненных колес, бенгальских огней и разноцветных ракет, зажег весь этот фейерверк и, вальсируя, прошелся по канату среди ослепительного пламени, озарившего весь сад и лица зрителей, словно огромный ночной пожар.

Начались танцы, и мы проследовали к храму. Внутри него оказался ресторан с широкой эстрадой для танцев. Я прислонился к стене храма и

стал ждать. Составилось двадцать пар, грянула музыка, и... я от стыда закрыл лицо руками. Но я глядел сквозь пальцы. Они танцевали пресловутый канкан. Красивая девушка в ближайшей паре сделала несколько шажков к партнеру, снова отступила, энергично подхватила с боков юбки, подняла их довольно высоко, протанцевала потрясающую джигу — такой бурной и нескромной джиги мне видеть еще не приходилось, — а затем, задрав платье еще выше, резво выбежала на середину эстрады и так брыкнула своего визави, что, будь тот семи футов роста, он неминуемо остался бы без носа. Но, к счастью, в нем было только шесть.

Вот что такое канкан. Главное в нем — танцевать со всем пылом, шумом и яростью, на какие вы только способны, обнажаться насколько возможно, если вы женщина, и брыкать ногами как можно выше — независимо от пола, к которому вы принадлежите. Это описание несколько не преувеличено. Его правдивость может клятвенно подтвердить любой из солидных, почтенных старцев, присутствовавших при этом в тот вечер. А таких старцев там было немало. Мне кажется, что французская мораль не слишком чопорна и пустяки ее не шокируют.

Я отошел в сторону, чтобы увидеть общую картину канкана. Крики, смех, бешеная музыка, головокружительный хаос мечущихся, сплетающихся фигур, вихрь ярких юбок, подпрыгивающие головы, взлетающие руки, молниями мелькающие в воздухе икры в белых чулках и нарядные туфельки, — а затем финальный взрыв, дикие вопли и оглушительный топот! Боже великий! Земля не видала ничего подобного с тех пор, как трепещущий Тэм О“Шентер^[35] бурной ночью подглядел шабаш ведьм в «заколдованной церкви Аллоуэя».

Мы посетили Лувр — в тот день, когда не собирались покупать шелка, — и осмотрели целые мили собранных там произведений старых мастеров. Некоторые из них прекрасны, но в то же время они так убедительно показывают мелкое подбострастие своих великих творцов, что на них неприятно смотреть. Постоянное тошнотворное восхваление знатных покровителей заслоняло в моих глазах ту прелесть красок и выразительность, которая, как говорят, отличает эти картины. Признательность — дело хорошее, но мне кажется, что некоторые из этих художников заходили слишком далеко, подменяя признательность преклонением перед богатым патроном. Если такое преклонение перед человеком вообще можно оправдать, тогда, разумеется, мы извиним Рубенса и его братьев.

Но я, пожалуй, лучше оставлю эту тему, а то как бы мне не сказать о старых мастерах чего-нибудь такого, чего говорить не следует.

Конечно, мы ездили кататься по Булонскому лесу, по этому огромному парку, где столько рощ, озер, водопадов и широких аллей. По аллеям двигались тысячи всевозможных экипажей, кругом царило веселое оживление. Мимо нас проезжали обыкновенные наемные кареты, в которых восседали почтенные супружеские пары, окруженные выводками детей; роскошные коляски знаменитых красавиц сомнительной репутации; герцоги и герцогини катили в каретах с великолепными лакеями на запятках и не менее великолепными форейторами на каждой из шести лошадей; всюду мелькали синие с серебром, зеленые с золотом, розовые с черным и всякие другие изумительные, ослепительные ливреи, и я сам чуть было не возжаждал стать лакеем ради такого красивого наряда.

Но вот появился император — и затмил всех. Сначала проехал отряд конных телохранителей в пышных мундирах, потом показались лошади, впряженные в его карету (их была по меньшей мере тысяча), на которых ехали молодцеватые парни, тоже в шикарных мундирах, а за каретой следовал еще один отряд телохранителей. Все сворачивали с дороги, все кланялись императору и его другу султану, а они мгновенно промчались мимо и исчезли.

Я не стану описывать Булонский лес. Я не могу его описать. Это просто красивая, тщательно возделанная, бесконечная, удивительная дикая чаща. Она дивно хороша. Теперь этот лес можно считать частью Парижа, но ветхий крест в одном из его уголков напоминает, что так было не всегда. Этот крест поставлен на том месте, где в четырнадцатом столетии попал в засаду и был убит знаменитый трубадур^[36]. Именно в этом парке некто с непрогнозируемой фамилией^[37] прошлой весной стрелял из пистолета в русского царя. Пуля попала в дерево. Фергюсон его нам показал. В Америке это достопримечательное дерево было бы срублено или забыто через пять лет, но тут его еще долго будут тщательно беречь. Гиды будут показывать его посетителям в течение ближайших восьмисот лет, а когда оно одряхлеет и упадет, на том же месте посадят другое и будут по-прежнему рассказывать все ту же старую историю.

Глава XV. Французское национальное кладбище. — Повесть об Абеяре и Элоизе. — «Здесь говорят по-английски». — Американцу оказывают императорские почести. — Хваленые гризетки. — Отъезд из Парижа.

Одной из самых интересных экскурсий по Парижу оказалась поездка на Пер-Лашез — национальное кладбище, почетное место упокоения многих величайших сыновей и дочерей Франции, последний приют знаменитых людей, не имевших наследственных титулов, но прославившихся благодаря собственным заслугам и гению. Это величественный город мертвых с извилистыми улочками, где миниатюрные храмы и дворцы белеют среди густой листвы и цветов. Далеко не всякий город населен так густо, далеко не во всяком городе так просторно. В каком еще городе найдется столько изящных дворцов, построенных из таких дорогих материалов, так искусно украшенных, таких прелестных, таких красивых?

Мы побывали в древней церкви Сен-Дени, где на гробницах, вытянувшись во всю длину, покоятся мраморные изваяния тридцати поколений королей и королев, и были потрясены; древние доспехи, старинные одежды, умиротворенные лица, ладони, сложенные в красноречивой мольбе, — это было видение седой старины. Как удивительно было стоять, вот так — лицом к лицу — с Дагобером I, Хлодвигом, Карлом Великим — полулегендарными великими героями, тенями, мифами тысячелетней давности. Я потрогал их покрытые пылью лбы, но Дагобер был мертв, как те шестнадцать веков, которые пронесли над ним, Хлодвиг крепко спал после своих трудов во славу Христову^[38], а старый Карл продолжал грезить о своих паладинах, о кровавом Ронсевале^[39] и не заметил меня.

Великие имена на кладбище Пер-Лашез тоже производят на посетителя глубокое впечатление, но совсем иное. Он чувствует, что это еще более царственная усыпальница — усыпальница царственных умов и сердец. Каждая область человеческой мысли, каждое высокое проявление человеческого духа, каждое благородное призвание представлено здесь прославленным именем. Какое странное смешение! Здесь лежат Даву и Массена, блиставшие в трагедии, которая зовется войной, а также и

Рашель, снискавшая не меньшую славу в трагедиях на театральных подмостках. Здесь спит аббат Сикар — первый великий учитель глухонемых, человек, чье сердце принадлежало всем обездоленным и чья жизнь была отдана служению им; а неподалеку, обретя наконец покой и мир, лежит маршал Ней, чьей неукротимый дух не признавал иной музыки, кроме фанфар атаки. Создатель газового освещения и другой благодетель рода человеческого^[40], который облегчил жизнь своих голодающих соотечественников, научив их сажать картофель, лежат рядом с князем Массерано^[41] и с изгнанными царицами и князьями далекой Индии^[42]. Здесь покоятся химик Гей-Люссак, астроном Лаплас, хирург Ларрей, адвокат де Сэз; и с ними — Тальма, Беллини, Рубини, де Бальзак, Бомарше, Беранже, Мольер, Лафонтен и многие другие, чьи имена и великие труды известны в самых отдаленных уголках цивилизованного мира не менее, чем исторические деяния королей и властителей, спящих в мраморных склепах Сен-Дени.

Но среди тысяч могил на кладбище Пер-Лашез есть одна, мимо которой не пройдет, не остановившись, ни мужчина, ни женщина, ни юноша, ни девушка. Каждый посетитель ч го-то смутно вспоминает о спящих в ней и по традиции приносит им дань уважения, хотя на двадцать тысяч не найдется и одного, кто ясно помнил бы историю этой могилы и ее романтических обитателей. Это гробница Абеяра и Элоизы. За последние семьсот лет христианский мир так почитал, описывал, воспевал и обливал слезами только гробницу Спасителя. Все посетители кладбища останавливаются перед ней в задумчивости; молодые люди уносят с нее сувениры, парижские юноши и девушки, чьи сердца разбиты, приходят сюда лить слезы и вздыхать; многие несчастные влюбленные даже из далеких провинций совершают паломничество к этой святыне, чтобы, стелая, оплакать здесь свои горести и снискать благоволение светлых теней этой могилы, возлагая на нее иммортели и распускающиеся цветы.

Когда бы вы ни пришли, кто-нибудь непременно рыдает над этой гробницей. Когда бы вы ни пришли, она всегда убрана иммортелями и букетами. Когда бы вы ни пришли, вы увидите кучу гравия, привезенного из Марсея для восполнения ущерба, причиненного вандалами, выламывающими из нее кусочки на память потому, что их любовь оказалась неудачной.

Но при всем при том — кому, собственно, известна история Абеяра и Элоизы? Очень и очень немногим. Имена эти известны каждому, — но только имена. После долгих и трудных изысканий мне все же удалось

узнать эту историю, и я намерен изложить ее ниже, отчасти для просвещения читателей, отчасти для того, чтобы убедить некоторых из них, что они впустую тратят нежные чувства, которые полезнее было бы употребить на что-нибудь другое.

ИСТОРИЯ АБЕЛЯРА И ЭЛОИЗЫ

Элоиза родилась семьсот шестьдесят шесть лет тому назад. Возможно, у нее были родители. Точных сведений об этом не сохранилось. Она жила у своего дяди Фульберта, каноника парижского собора. Я точно не знаю, что такое каноник, но во всяком случае он был каноником. По-видимому, это что-то родственное канониру и канонаде; скорее всего это была какая-нибудь легкая пушка, вроде горной гаубицы, поскольку в те дни тяжелой артиллерии еще не было. Но так или иначе, Элоиза жила со своим дядей-гаубицей и была счастлива. Большую часть своего детства она провела в монастыре в Аржантейле, — никогда раньше не слышал об Аржантейле, но, наверное, такое местечко действительно есть. Затем она вернулась к дяде, который научил ее писать и говорить по-латыни — на тогдашнем языке литературы и светского общества.

Как раз в это время Пьер Абеляр, который был уже прославленным ритором, основал в Париже школу риторики. Оригинальность его взглядов, его красноречие, а также большая физическая сила и красота произвели в городе сенсацию. Он увидел Элоизу и был покорен ее цветущей юностью, красотой и кротостью. Он написал ей; она ответила. Он снова написал; она снова ответила. Он влюбился. Он жаждал познакомиться с Элоизой, говорить с ней.

Его школа находилась неподалеку от дома Фульберта. Он попросил у Фульберта разрешения посетить его. Милейший фальконет усмотрел в этом удобный случай: его любимая племянница наберется знаний от Абеляра, причем это не будет стоить ни гроша. В этом весь Фульберт — он был скуповат.

Имя, данное Фульберту при крещении, к несчастью не упоминается ни у одного из авторов. Однако Джордж У. Фульберт подойдет ему не хуже любого другого имени. На нем мы и остановимся. Итак, Абеляр был приглашен учить Элоизу.

Абеляр обрадовался этому. Он приходил часто и засиживался долго. Первая же фраза одного из его писем показывает, что жестокосердный злодей вступил под этот дружеский кров с обдуманном намереньем

обольстить доверчивую, наивную девушку. Вот это письмо:

«Я не перестаю изумляться простоте Фульберта, — я меньше удивился бы, если бы он отдал овечку во власть голодного волка. Мы с Элоизой под предлогом занятий предавались любви, и эти занятия дарили нам то уединение, которого ищет любовь. Перед нами лежали раскрытые книги, но мы говорили не о философии, а о любви, и поцелуи были для наших уст приятнее слов».

И вот, глумясь над благородной доверчивостью, которая его низменной душе представлялась смешной «простотой», подлый Абеляр соблазнил племянницу того, чьим гостем он был. Париж узнал об этом. Фульберту говорили об этом, говорили много раз, но он отказывался верить. Он был не в силах понять, как человек мог пасть так низко, чтобы использовать священные законы гостеприимства для совершения подобного преступления. Но когда он услышал, что уличные гуляки распевают любовные песни, которые Абеляр посвящал Элоизе, истина стала очевидной — любовные песни мало совместимы с риторикой и философией.

Он выгнал Абеяра из своего дома. Абеяра вернулся и тайно увез Элоизу к себе на родину, в Бретань. Там, в Пале, у нее вскоре родился сын, которого за редкую красоту называли Астролябий — Вильям Дж. Бегство племянницы привело Фульберта в ярость, он жаждал мести, но ничего не предпринимал, боясь, что возмездие коснется и Элоизы, которую он по-прежнему нежно любил. В конце концов Абеяра предложил жениться на Элоизе, но поставил унижительное условие: брак должен был совершиться втайне от всего мира, дабы (а ее доброе имя могло оставаться опозоренным!) не пострадала его репутация священника. Поступок, вполне достойный этого негодяя. Фульберт решил перехитрить Абеяра и дал свое согласие. Он подождет, пока брак совершится, а тогда, обманув доверие человека, который научил его, как это делается, предаст эту тайну гласности и хоть отчасти восстановит доброе имя своей племянницы. Но Элоиза разгадала его намерения. Сперва она отказалась выйти замуж; она объяснила, что, желая помочь ей, Фульберт выдаст их тайну, а кроме того, она не хочет быть обузой для своего возлюбленного — ведь он так талантлив, пользуется везде таким уважением, перед ним открывается такая блестящая карьера. Это решение было продиктовано великодушной, самоотверженной любовью, естественной для чистой души Элоизы, — но не здравым смыслом.

Однако ей пришлось уступить, и тайный брак состоялся. Настал час Фульберта. Израненное сердце наконец исцелится; терзания гордого духа кончатся; склоненная от стыда голова снова поднимется. Фульберт

оповестил об этом браке весь Париж и возликовал, думая, что пятно бесчестия снято с его дома. Но не тут-то было! Абеляр отрекся от своего брака! Элоиза — тоже! Те, кто знал предшествующие обстоятельства, может быть поверили бы Фульберту, если бы брак отрицал один только Абеляр, но поскольку и сама девушка, — которой это касалось больше всего, — тоже отрицала этот брак, все жестоко высмеяли несчастного Фульберта.

Заряд бедного каноника парижского собора снова пропал даром. Последняя надежда поправить ущерб, нанесенный его чести, исчезла. Что же оставалось? Человеческая натура требовала мщения. И Фульберт замыслил месть. Историк рассказывает:

«Злодеи, нанятые Фульбертом, напали ночью на Абеяра и причинили ему ужасное, неназываемое увечье».

Я ищу место последнего упокоения этих «злодеев». И когда найду, то орошу его слезами, украшу букетиками и иммортелями и увезу несколько камешков в память того, что, какими страшными преступлениями ни запятнали эти злодеи свою жизнь, они совершили по крайней мере одно доброе дело, правда несколько противоречащее букве закона.

Элоиза постриглась в монахини, навеки распростившись со светом и всеми его радостями. В течение двенадцати лет она не получала никаких вестей от Абеяра, не слышала даже его имени. Она стала настоятельницей монастыря в Аржантейле и проводила жизнь в строгом затворничестве. Однажды в ее руки попало написанное Абеяром письмо, в котором он рассказывал свою историю. Она поплакала над письмом и написала Абеяру. Он ответил, называя ее «сестрой во Христе». Они продолжали обмениваться письмами: она писала безыскусственным языком искренней и верной любви, он — холодными отточенными фразами опытного риторика. Она изливала душу в бессвязных, исполненных страсти словах, он отвечал законченными эссеями с заголовками и подзаголовками, с посылками и выводами. Она осыпала его нежнейшими именами, которые только способна найти любовь, а он, чье сердце было замороженным Северным полюсом, обращался к ней как к «невесте Христа»! Бессовестный злодей!

Она была очень снисходительна к своим монахиням, некоторые из них стали позволять себе слишком вольные поступки, и глава аббатства Сен-Дени закрыл ее монастырь. В это время Абеляр был настоятелем монастыря св. Жильдаса Рюисского; услышав, что она осталась без крова, он сжалился над ней (просто чудо, что он не лопнул от такого непривычного чувства) и дал приют ей и ее маленькой пастве в часовне Параклета — обители, которую он основал. Сперва ей пришлось перенести

много невзгод и лишений, но благодаря своим достоинствам и кротости она приобрела влиятельных друзей и создала богатый и процветающий женский монастырь. Она сделалась любимицей высших сановников церкви, а также и простого народа, хотя редко показывалась на людях. Она пользовалась всеобщим уважением, ее добрая слава быстро росла, ее деятельность приносила все больше пользы, в то время как Абеляр с такой же быстротой падал все ниже. Папа ценил ее столь высоко, что поставил ее во главе того монашеского ордена, к которому она принадлежала. Абеляр, человек, наделенный блестящими талантами, победитель стольких диспутов, стал робким, нерешительным и потерял уверенность в себе. Требовалась только одна крупная неудача, чтобы он лишился того высокого престижа, которым пользовался среди современных ему мыслителей. И она не заставила себя ждать. Подстрекаемый королями и князьями разбить в диспуте тончайшего спорщика — святого Бернара, он согласился встретиться с ним перед знатнейшей аудиторией и, когда его противник кончил говорить, озираясь пробормотал вступление, но у него не хватило мужества, испытанное красноречие изменило ему; так и не произнеся приготовленной речи, он задрожал и опустил на свое место — опозоренный и побежденный.

Он умер в 1142 году, всеми забытый, и был похоронен в Ключни. Позже его тело перевезли в Параклет, а когда двадцать лет спустя умерла Элоиза, она — согласно ее последней воле — была похоронена рядом с ним. Он умер на шестьдесят пятом году жизни, она — на шестьдесят четвертом. Тела Абеляра и Элоизы пролежали в гробнице триста лет, после чего их перенесли в другое место. Это повторилось в 1800 году, и наконец семнадцать лет спустя их останки были водворены на кладбище Пер-Лашез, где они будут покоиться в мире, пока вновь не наступит для них время восстать и отправиться дальше.

История молчит о последних днях горной гаубицы. Пусть свет судит его как угодно, я лично всегда буду с сочувствием думать о горе, об обманутом доверии, о разбитом сердце и тяжких страданиях почтенного мушкетера и с уважением относиться к его памяти. Да «будет ему земля пухом!

Такова история Абеляра и Элоизы. Такова история, над которой Ламартин пролил водопады слез^[43]. Но у этого человека была привычка под влиянием мало-мальски патетической темы немедленно затоплять берега. Будь он прок... запружен, я хотел сказать. Такова эта история, если очистить ее от тошнотворной сентиментальности, которая возносит на пьедестал и боготворит Пьера Абеляра, подлого соблазнителя. Я ни в чем

не могу упрекнуть обманутую, любящую девушку и не хотел бы лишиться ее ни одного из тех бесхитростных приношений, которые несчастные влюбленные возлагают на ее могилу, но мне очень жаль, что у меня нет ни времени, ни возможности сообщить в нескольких томах мое мнение о ее дружке, основателе Парашюта, Параклета, или как его там!

Сколько тонн своих лучших чувств потратил я по неведению на этого негодяя! Впредь, имея дело с подобными субъектами, я буду сдерживать свои эмоции, пока не выясню, достойны ли они слезливых излияний. Как жаль, что я не могу забрать обратно мои иммортели и пучок редиски!

В витринах парижских магазинов нам часто приходилось видеть объявление: «Здесь говорят по-английски», так же, как у пас дома пишут: «Здесь говорят по-французски». Каждый раз мы, не теряя ни минуты, врывались в эти заведения — и нам неизменно объясняли на безупречнейшем французском языке, что приказчик, обслуживающий англичан, только что ушел обедать и вернется через час... не желает ли мосье что-нибудь купить? Мы никак не могли взять в толк, почему эти люди обедают в столь странные и необычные часы: мы заходили в магазины только в такое время, когда примерному христианину, казалось бы, не следовало предаваться подобному занятию. Объяснение заключалось в том, что все это было гнусным обманом, западней для беспечных, мякиной, на которую ловятся желторотые птенцы. В этих магазинах вовсе не было приказчиков, терзающих английские слова. Хозяева при помощи таких объявлений заманивают иностранцев в свои логова и улецают их до тех пор, пока они чего-нибудь не купят.

Мы вывели на чистую воду и другой французский обман — постоянно встречающееся объявление: «Здесь вы найдете всевозможные американские напитки, искусно приготовленные». Мы заручились помощью Одного джентльмена, глубоко изучившего номенклатуру американских баров, и двинулись на твердыни такого самозванца. Француз в белом фартуке, кланяясь, подскочил к нам и сказал:

— Que veulent les messieurs?^[44] (Я не знаю, что это значит, но сказал он именно это.)

Наш предводитель потребовал:

— Чистое виски.

(Француз удивленно смотрит на нас.)

— Хорошо, если вы не знаете, что это такое, дайте нам коктейль из шампанского.

(Удивленное пожатие плеч.)

— В таком случае дайте нам шерри-коблер.

Француз был уничтожен.

— Дайте нам бренди-смеш!

Последний заказ прозвучал с такой зловещей энергией, что француз начал опасливо пятиться, пожимая плечами и беспомощно разводя руками.

Наш главнокомандующий преследовал его по пятам и одержал полную победу. Необразованный иностранец не располагал ни «пуншем Санта-Крус», ни «С добрым утром», ни «Каменной стеной», ни даже «Землетрясением». Он оказался наглым самозванцем.

Один мой знакомый недавно сказал, что ему — единственному из всех посетивших Выставку американцев — была оказана высокая честь: его сопровождала личная охрана императора. Я с деликатной откровенностью заметил, что меня удивляет, как могло такое тощее, голенастое, длиннолицее чудище заслужить подобный почет, и спросил, каким образом это произошло. Он ответил, что несколько дней тому назад ждал на Марсовом поле начала большого парада; толпа вокруг него с каждой минутой становилась все гуще; но тут он заметил поблизости пустое огороженное пространство. Он вылез из экипажа и прошел туда. Кроме него, там никого не было, и поэтому места ему хватало; к тому же он теперь находился как раз против середины поля и мог хорошо разглядеть все приготовления. Вскоре послышалась музыка, и за канаты вступили французский и австрийский императоры в сопровождении знаменитых Cent Gardes^[45]. Казалось, они его не заметили, но один молодой офицер по знаку своего командира немедленно направился к американцу с шеренгой солдат, остановился, отдал честь и вполголоса объяснил, что очень сожалеет о необходимости беспокоить благородного иностранца, но огражденное место предназначено для высочайших особ. Тогда это чучело из Нью-Джерси встало, поклонилось, попросило извинения, и затем императорские Cent Gardes почтительно проводили его до экипажа — офицер шел рядом, а солдаты позади. Офицер снова отдал честь и промаршировал обратно, а пугало из Нью-Джерси поклонилось в ответ и, не растерявшись, сделало вид, что просто заходило к императорам дружески поболтать, — помахало им на прощанье рукой и уехало.

Вообразите, что произошло бы, если бы какой-нибудь бедняга француз вторгся по неведению на возвышение, предназначенное для какого-нибудь грошового американского деятеля. Полицейские сперва перепугали бы его насмерть взрывом изысканной ругани, а потом разорвали бы в клочья, выволакивая оттуда. Мы, конечно, кое в чем несколько превосходим французов, но во многом другом они бесконечно превосходят нас.

О Париже пока достаточно. Свой долг по отношению к нему мы

исполнили до конца. Мы видели Тюильри, Вандомскую колонну, церковь св. Магдалины, чудо из чудес — гробницу Наполеона, все известные церкви и музеи, библиотеки, императорские дворцы, картинные галереи, Пантеон, Jardin des Plantes², оперу, цирк, законодательное собрание, бильярдные, парикмахеров, гризеток...

Ах, эти гризетки! Я чуть было не забыл. Еще одно разочарование. Они (если верить книгам о путешествиях) всегда так красивы, так изящны и опрятны, так грациозны, так наивны и доверчивы, нежны, очаровательны, так добросовестно относятся к своим обязанностям продавщиц, так неотразимо кокетливо уговаривают покупателей, так преданны своим беднякам студентам из Латинского квартала, так беззаботны и веселы во время воскресных пикников за городом и — ах! — так мило, так восхитительно безнравственны! Чушь!

Первые три-четыре дня я то и дело спрашивал:

— Фергюсон, скорей! Это гризетка?

А он каждый раз отвечал «нет».

Наконец он понял, что я хочу увидеть гризетку. Тогда он стал показывать их десятками. Они, как и огромное большинство француженок, которых мне довелось увидеть, очень некрасивы. Они большеруки, большеноги, большероты, чаще всего курносы и обладают такими усами, что, при всей воспитанности, их нельзя не заметить; волосы они зачесывают назад без пробора; сложены они плохо; они не очаровательны и не грациозны; по их виду я понял, что они едят лук и чеснок; и самое последнее — называть их безнравственными, по моему мнению, значит гнусно им льстить.

Отыди, девица! Теперь я жалею беспечного студента из Латинского квартала куда больше, чем прежде завидовал ему. Так рухнул еще один кумир моего детства.

Мы видели все, и завтра мы едем в Версаль. На обратном пути мы еще увидим Париж, но ненадолго, так как нам пора возвращаться на корабль, и я, пожалуй, не откладывая, уже сейчас с большим сожалением скажу «прости» этому замечательному городу. Мы проедем еще тысячи миль и посетим много знаменитых городов, но такого чудесного нам уже не придется увидеть.

Кое-кто из нашей компании отправился в Англию, намереваясь вернуться кружным путем и догнать корабль через несколько недель в Ливорно или Неаполе. Мы чуть было не уехали в Женеву, но решили вернуться в Марсель и совершить поездку по Италии из Генуи.

Я закончу эту главу словами, которые пишу с гордостью, радуясь тому,

что мои товарищи от души к ним присоединятся: самые красивые женщины, которых мы видели во Франции, родились и выросли в Америке.

Теперь я испытываю удовлетворение человека, который одним справедливым деянием спас гибнущую репутацию и заставил вновь заблестеть потускневший герб, когда уже пробил одиннадцатый час.

Пусть занавес опустится иод медленную музыку.

Глава XVI. Версаль. — Обретенный рай. — Чудесный парк. — Потерянный рай. — Наполеоновская стратегия.

Версаль! Он удивительно красив! Смотришь, дивишься, стараешься поверить, что он настоящий, земной, а не сад Эдема, но голова идет кругом от красоты, разлитой повсюду, и невольно кажется, что тебя обманывает чудесный сон. Версаль увлекает, как военная музыка! Уходящий в даль изукрашенный фасад великолепного дворца, эспланада перед ним, где можно было бы собрать на парад войска целой империи; кругом радужное море цветов и колоссальные статуи — статуй великое множество, но кажется, что они только кое-где разбросаны по огромному пространству; широкие каменные ступени, ведущие в нижний парк, — на каждой из этих лестниц мог бы выстроиться целый полк, и еще осталось бы место; большие фонтаны с бронзовыми фигурами, выбрасывающие в воздух сверкающие потоки воды и слагающие сотни струй в формы несравненной красоты; просторные аллеи, устланные ковром травы, которые разветвляются во всех направлениях, убегая в бесконечную даль; а по сторонам их стеной поднимаются густолиственные деревья, и ветви смыкаются над головой в безупречно симметричные, словно вырезанные из камня, арки; там и сям поблескивают лесные озера, в глади которых отражаются миниатюрные кораблики. И везде — на лестнице дворца и на эспланаде перед ним, вокруг фонтанов, среди деревьев, под зелеными сводами бесчисленных аллей — гуляют, бегают, танцуют тысячи людей в ярких одеждах, придавая волшебной картине ту жизнь и движение, без которых ее совершенство было бы неполным.

Чтобы увидеть это, стоило совершить паломничество. Здесь все огромно. Ничего мелкого, ничего дешевого. Все статуи громадны; дворец грандиозен; парк — величиной с целое графство; аллеи бесконечны. Все расстояния, все размеры в Версале колоссальны. Прежде я думал, что на картинках эти расстояния и размеры до нелепости преувеличены и что на земле не может быть места такого красивого, каким изображают Версаль. Теперь я знаю, что ни одно его изображение не дает и отдаленного представления об оригинале и что нет художника, который мог бы передать на полотне всю прелесть Версаля. Прежде я ругал Людовика XIV за то, что он истратил двести миллионов долларов на этот изумительный парк, когда

у стольких его подданных не было хлеба, но теперь я его простил!

На участке окружностью в шестьдесят миль он принялся разбивать этот парк, воздвигать этот дворец и прокладывать к нему дорогу из Парижа. По его приказу над этим ежедневно трудились 36 000 человек, и работа была так тяжела, что каждую ночь несколько телег увозили умерших за день. Жена одного из вельмож того времени называет это «неудобством», наивно добавляя, что «мы сейчас наслаждаемся счастливым спокойствием и на это, право, не стоит обращать внимания».

Я всегда осуждал тех моих соотечественников, которые подрезают свои живые изгороди в виде пирамид, кубов, шпилей и многих других ни с чем не сообразных фигур, и увидев, что то же самое продельвается в великолепном Версальском парке, я смутился. Но вскоре понял, что в этом есть свой мудрый смысл. Здесь думают об *общем* впечатлении. Мы уродуем полдюжины чахлых деревцев, придавая им неестественные формы, во двореке величиной со столовую, — и, само собой, вид получается нелепый. А здесь берут двести тысяч могучих лесных великанов, располагают их в два ряда, не позволяют ни листику, ни веточке появиться на стволе ниже чем в шести футах над землей; выше шести футов начинаются ветки, — постепенно становясь все длиннее, они наконец смыкаются в вышине, образуя безупречный лиственный свод. Изгиб этой арки математически точен и производит очень приятное впечатление. Здесь деревьям придают пятьдесят различных форм, что создает живописное разнообразие. Деревья в каждой аллее подстрижены по-своему, и поэтому глаз не утомляется скучным однообразием. На этом я оборву свой рассказ, и пусть другие решают, каким способом здесь достигают того, чтобы величавые деревья в бесконечных колоннадах были все одной толщины (примерно фут и две трети); чтобы все они были совершенно одинаковой высоты; чтобы они росли так часто; как здесь добиваются того, чтобы от каждого дерева в точно определенном месте ответвлялся один мощный сук, образующий главную часть свода; и каким образом все это поддерживается в том же состоянии, как изящество и симметрия сохраняются из месяца в месяц, из года в год, — ибо я сам пытался разрешить эту загадку, но не смог.

Мы прошли по огромному залу со скульптурами и по ста пятидесяти картинным галереям Версаля и поняли, что посещать подобные места бессмысленно, если только в вашем распоряжении нет целого года. Все картины изображают батальные сцены, и только одно маленькое полотно среди этого множества не посвящено великим победам французского оружия. Мы бродили и по Большому и по Малому Трианону, этим памятникам королевского мотовства, чья история столь грустна, — ведь

они полны реликвий, оставшихся от Наполеона I, трех покойных королей и трех королев. Все они по очереди спали на этой пышной кровати, но теперь на ней не спит никто. В большой столовой мы видели стол, за которым Людовик XIV и его любовница мадам Ментенон, а после них Людовик XV и маркиза Помпадур обедали, раздевшись донага; им никто не прислуживал — стол стоял на люке и, когда надо было сменить блюда, опускался в нижнее помещение. В одной из комнат Малого Трианона мебель сохраняется в том же виде, как ее оставила бедная Мария-Антуанетта, когда чернь ворвалась во дворец и увезла ее и короля в Париж, откуда им не суждено было вернуться. Неподалеку в конюшнях стоят пышные кареты, сплошь покрытые позолотой, — кареты, которыми пользовались при парадных выездах прежние французские короли; ныне ими пользуются только тогда, когда надо возложить корону на какую-нибудь царственную голову или крестить какого-нибудь принца. А рядом стоят забавные сани, сделанные в виде львов, лебедей, тигров и других животных, — экипажи, некогда радовавшие взор красивой разрисовкой, искусной выделкой, но теперь запыленные и облупившиеся. У них есть своя история. Когда Большой Трианон был окончен, Людовик XIV сказал мадам Ментенон, что создал для нее рай, и спросил, найдется ли у нее теперь еще какое-нибудь желание. Он сказал, что хочет, чтобы Трианон был полным совершенством. Она ответила, что может пожелать только одного: стояло лето, благодатное французское лето — и, однако, ей захотелось прокатиться на санях по тенистым аллеям Версаля! На следующее утро целые мили поросших травой аллей блестели белоснежной солью и сахаром, и вереница этих забавных санок ожидала главную одалиску самого веселого и самого распущенного двора из всех, которые знавала Франция!

Расставшись с пышными дворцами, статуями, аллеями и фонтанами Версаля, мы отправились в его противоположность — парижское предместье Сент-Антуан. Узкие улочки; чумазные дети, мешающие проезду, и неряшливые, растрепанные женщины, которые гоняются за ними и награждают их шлепками; грязные лавчонки в полуподвалах, где продают тряпье (наиболее оживленная торговля в этом предместье — продажа старья); грязные лавчонки, где продают поношенную, и сильно поношенную, одежду так дешево, что владелец непременно разорится, если только он не крадет свой товар; грязные лавчонки, где по грошовым ценам продается съестное, — за пять долларов можно купить все заведение вместе с наличным товаром. В лабиринте этих кривых улочек за семь долларов зарежут человека, а тело выбросят в Сену. В некоторых из этих улочек — я бы сказал, почти во всех — живут лоретки.

По всему предместью Сент-Антуан горе, нищета, порок и преступление идут рука об руку — их признаки повсюду бросаются в глаза. Тут живут люди, которые затевают революции. Когда предстоит что-нибудь в этом роде, они всегда готовы. Они с таким же искренним удовольствием строят баррикады, с каким перерезают чью-нибудь глотку или сбрасывают приятеля в Сену. Именно эти головорезы время от времени берут штурмом великолепные залы Тюильри и врываются в Версаль, когда надо призвать к ответу какого-нибудь короля.

Но теперь они больше не будут строить баррикады, не будут разбивать бульжниками головы солдат. Луи-Наполеон об этом позаботился. Он уничтожает кривые улочки и прокладывает на их месте чудесные бульвары, прямые, как стрела, по которой пушечное ядро может просвистеть из конца в конец, не встретив на пути другого препятствия, кроме людских тел; бульвары, красивые здания на которых не послужат приютом и оплотом для голодных, кипящих возмущением людей, которые творят революции. Пять широких проспектов расходятся лучами от большой центральной площади, чрезвычайно удобной для установки тяжелой артиллерии. Здесь когда-то бунтовала чернь, но в будущем ей придется поискать для соборщ другое место. Кроме того, изобретательный император мостит улицы своих больших городов компактной смесью асфальта и песка. Нет больше плит мостовой, чтобы строить баррикады, нет больше бульжника, чтобы швырять им в войска его величества. Я не испытываю дружеских чувств к моему бывшему соотечественнику Наполеону III — особенно теперь^[46], когда я вспоминаю, что Максимилиан^[47] — его доверчивая жертва — гниет в мексиканской земле, а во Франции несчастная, сошедшая с ума вдова из окна приюта для умалишенных высматривает того, кто никогда не вернется, — но я восхищаюсь его смелостью, спокойной самоуверенностью и хитростью.

Глава XVII. Италия на горизонте. — «Город дворцов». — Красота генуэзских женищин. — Даровитый гид. — Церковное великолепие. — Как сэживут генуэзцы. — Массивная архитектура. — Шестьдесят тысяч могил.

Обратный путь к морю был очень приятен. Оказалось, что наш корабль уже трое суток находится в состоянии войны. В первый вечер матросы с какого-то английского судна под влиянием грога заняли мол и вызвали наших матросов на честный бой. Те без дальних слов приняли вызов, вышли на мол и добились того, что битва осталась нерешенной. Часть покрытых синяками и окровавленных бойцов как с той, так и с другой стороны была уведена полицейскими и заперта до утра. На следующий вечер англичане явились для продолжения боя, но нашей команде было строжайше приказано не покидать корабля и не показываться. Она подчинилась; осаждающие принялись шуметь, осыпая нашу команду все более и более язвительными колкостями, по мере того как становилось очевидным (для них), что наши трусили. Наконец они ушли, послав последний залп обидных и оскорбительных эпитетов. На третий вечер они снова пришли и опять принялись буянить. Они прохаживались вдоль опустевшего мола, посылая по адресу нашей команды проклятия, грубые ругательства и жгучие насмешки. Это уже превосходило всякое терпение. Вахтенный офицер разрешил матросам съехать на берег, приказав не вступать в драки. Они ринулись на англичан и одержали блестящую победу. Возможно, я не стал бы упоминать об этой войне, если бы она кончилась иначе. Ибо я путешествую с образовательной целью, и пока еще не забыл, что во всех галереях Версаля нет ни одного батального полотна, изображающего поражение французской армии.

Когда мы вновь очутились на корабле и снова принялись, покуривая, слоняться по его прохладным палубам, мы почувствовали, что вернулись домой. Но полного ощущения домашнего уюта не было — слишком многие члены семьи отсутствовали. Мы скучали, не видя за обеденным столом некоторых симпатичных физиономий, а по вечерам, составляя партию в юкр^[48], не так-то легко было удовлетворительно заменить отсутствовавших партнеров. Моулт находился в Англии, Джек — в Швейцарии, Чарли — в

Испании, Блюхер уехал, и никто не знал куда. Но зато мы снова вышли в море, и в нашем распоряжении были звезды, волны и безграничные просторы для размышлений.

Своевременно показались берега Италии, и однажды, когда мы ясным ранним утром вышли на палубу, перед нами из моря встала величественная Генуя, и сотни ее дворцов заблестели на солнце.

Здесь мы пока отдыхаем, вернее — вот уже несколько дней пытаемся отдохнуть, но столько бегаем, что с отдыхом у нас ничего не выходит.

Я был бы рад не ехать дальше. Я предпочел бы остаться здесь. Среди женщин Европы, может быть, найдутся более прелестные, но я в этом сомневаюсь. Население Генуи — 120000 человек, из них две трети, как мне кажется, женщины, и по крайней мере две трети этих женщин — красавицы. Щегольством своих нарядов, вкусом и изяществом они уступают разве только ангелам. Впрочем, ангелы, насколько мне известно, нарядами не щеголяют. По крайней мере нарисованные носят только крылья. Но как бы то ни было, генуэзки поистине очаровательны. Большинство молодых девушек с головы до ног одеты во что-то белое и воздушное, хотя попадаются и более изысканные туалеты. Девять десятых из них покрывают голову только прозрачной вуалью, которая ниспадает на спину, как светлое облачко. Кожа у них очень белая, а глаза у многих синие, хотя чаще встречаются черные и мечтательные темно-карие.

У генуэзцев есть приятный обычай: с шести до девяти часов вечера они прогуливаются в большом парке, расположенном на вершине холма в центре города, а затем еще час или два наслаждаются мороженым в соседнем саду. Мы посетили этот парк воскресным вечером. Там собралось около двух тысяч человек, главным образом молодежи. Молодые люди были одеты по последней парижской моде, а туалеты дам мерцали среди деревьев, словно снежинки. Толпа шумной процессией двигалась по парку — круг за кругом. Звенела музыка и фонтаны; луна и газовые рожки освещали аллеи; картина, открывавшаяся взорам, была исполнена оживления и блеска. Я внимательно вглядывался в каждое встречное женское личико, и все они казались мне прекрасными. Впервые в жизни я увидел такое половодье красоты. Я не представляю себе, как человек, не наделенный из ряда вон выходящей решительностью, может здесь вступить в брак: пока он соберется сделать предложение, он успеет влюбиться в другую.

Никогда не курите итальянского табака. Никогда и ни под каким видом. От одной мысли, из чего он, судя по всему, изготавливается, меня кидает в дрожь. Стоит только бросить окурок сигары, как тут же в него

вцепляется какой-нибудь нищий. Я очень люблю курить, но мне действует на нервы вид этих охотников за окурками, которые исподтишка наблюдают за мной голодными глазами, прикидывая, надолго ли хватит моей сигары. Это слишком живо напоминает мне о том гробовщике в Сан-Франциско, который являлся в ложу умирающего с часами в руках и засекал время будущего клиента. Вчера в парке нас преследовал один из таких охотников, и нам ни разу не удалось покурить в свое удовольствие. Мы предпочитали ублаговывать его окурком, когда сигара не была еще выкурена и наполовину, — с таким злобным нетерпением он на нас поглядывал. Мне кажется, он считал нас своей законной добычей по праву первооткрывателя, потому что он отгонял других профессионалов, которые тоже хотели принять участие в разработке.

Совершенно несомненно, что они разжевывают эти окурки, сушат и продают в качестве курительного табака. Поэтому, покупая табак, избегайте итальянских марок.

«Великолепная», «Город дворцов» — так издавна называют Геную. Она действительно изобилует дворцами, и эти дворцы внутри роскошны, но снаружи они сильно пострадали от времени и не претендуют ни на какое архитектурное величие. Прозвище «Генуя Великолепная» было бы очень удачным, если бы подразумевались здешние женщины.

Мы осмотрели несколько дворцов — каменные громады с толстыми стенами, с широкими лестницами, с полами, выложенными мраморной мозаикой (иногда это очень сложные узоры, сделанные из цветных камешков или кусочков мрамора, скрепленных цементом), и с большими залами, где висят картины Рубенса, Гвидо Рени, Тициана, Паоло Веронезе и прочих, а также портреты предков в шлемах с перьями и рыцарских кольчугах и патрицианок в ослепительных нарядах давно прошедших времен. Но, разумеется, хозяева проводят лето в загородных виллах, да и будь они дома, они, возможно, все равно не пригласили бы нас к обеду, и поэтому пышные пустые залы, где наши шаги гулко отдавались на мраморном полу, где со стен угрюмо смотрели портреты мертвых прадедов, а на рваных знаменах лежала пыль веков, наводили на мысли о смерти и могиле, и наше настроение падало, веселость покидала нас. Мы ни разу не поднимались до одиннадцатого этажа. У нас каждый раз возникало подозрение, что там должны водиться духи. Кроме того, нас всегда сопровождал слуга самого похоронного вида; он снабжал нас каталогом, указывал на картину, с которой начиналось описание того зала, где мы находились, а затем мрачно застывал в мертвенной неподвижности, — даже ливрея казалась окаменевшей, — и выходил из этого состояния,

только когда мы изъявляли желание пройти в следующий зал, после чего, угрюмо проводив нас туда, снова застывал в злобно-почтительной позе. Я тратил столько времени на молитвы о том, чтобы крыша обрушилась на этих наводящих уныние лакеев, что для осмотра дворца и картин у меня его почти не оставалось.

И к тому же, как и в Париже, у нас был гид. Да погибнут все и всяческие гиды! Этот заявил, что он лучший знаток английского языка во всей Генуе и что вообще здесь, кроме него, на этом языке говорят всего двое. Он показал нам место, где родился Христофор Колумб, и затем, после того как мы пятнадцать минут простояли в потрясенном молчании, сообщил, что здесь родился вовсе не Колумб, а его бабушка. Когда мы потребовали, чтобы он объяснил свое поведение, он просто пожал плечами и ответил на непостижимом итальянском. Я еще поговорю об этом гиде в одной из следующих глав. Все сведения, которыми он нас снабдил, мы без труда можем носить с собой.

Давно я не ходил в церковь так часто, как за последние недели. Жители этих древних стран, по-видимому, специализировались на церквях. Это особенно верно для граждан Генуи. По-моему, церкви в ней стоят через каждые триста — четыреста ярдов. Всюду на улицах мелькают упитанные священники в длинных сутанах и широкополых шляпах, и чуть ли не весь день напролет трезвонят десятки колоколов. Иногда попадаются монахи-францисканцы — с тонзурами, в длинных плащах из грубой материи, с веревками вместо пояса, с четками, с сандалиями на ногах или совсем босые. Эти достойные особы, как я полагаю, всю свою жизнь умерщвляют плоть всяческими эпитимьями, но, глядя на них, начинаешь опасаться, что в стране скоро наступит голод: они все жирные и убогатворенные.

Древний собор Сан-Лоренцо, пожалуй, самое замечательное здание из всех, какие мы видели в Генуе. Он очень большой; в нем есть и стройные ряды колонн, и огромный орган, и обычное великолепие позолоченных карнизов, фресок на стенах и потолках и всего прочего. Я, разумеется, не могу его описать — на это потребовалось бы много страниц. Но он очень интересен. Говорят, что половина его — от входа до середины — в дни, когда Спаситель еще не родился, была еврейской синагогой и что с тех пор она не претерпела никаких изменений. Мы усомнились в этом, хотя и с большой неохотой. Нам очень хотелось поверить. Собор не мог быть таким древним — слишком хорошо он сохранился.

Наибольший интерес в нем представляет часовенка Иоанна Крестителя. Женщинам вход туда разрешается только один раз в году, — к женскому полу здесь до сих пор относятся враждебно, так как этого святого

убили, чтобы исполнить прихоть Иродиады^[49]. В часовне стоит мраморная рака, в которой, как нам сказали, находится прах Иоанна Крестителя; и она обмотана цепью, которой, как нам сообщили, он был скован в темнице. Как ни тягостно было нам сомневаться в достоверности этих сведений, мы все-таки не могли не усомниться: во-первых, потому, что мы сумели бы с легкостью порвать эту цепь — и Иоанн Креститель тоже; а во-вторых, мы уже видели прах Иоанна Крестителя в другой церкви. Нам трудно было заставить себя поверить, что у Иоанна Крестителя было два комплекта праха.

Нам также показали портрет мадонны, написанный святым Лукой; он и вполтину не выглядел таким старым и закопченным, как иные картины Рубенса. Мы восхитились скромностью апостола, который в своих писаниях ни разу не упомянул о том, что был художником.

Но все-таки — не слишком ли много этих реликвий? Нам показывают кусок истинного креста в любой старой церкви, в которую мы заходим, а также гвозди из него. Я не берусь утверждать точно, но полагаю, что мы видели не меньше бочонка этих гвоздей. А терновый венец? Часть одного хранится в Париже в Сент-Шапель, часть другого — в Соборе Парижской Богоматери. А из костей святого Дионисия, которые мы видели, в случае необходимости можно было бы, по-моему, собрать его скелет в двух экземплярах.

Я собирался писать только о церквях, но опять отвлекаюсь. Я мог бы сказать, что церковь Благовещенья — это чаща прекрасных колонн, статуй, позолоченных карнизов и бесчисленных фресок, но это даст лишь слабое представление о ней, — так зачем же стараться? Эту церковь целиком воздвигла одна семья, и у нее еще остались деньги. Тут какая-то тайна. Нам казалось, что такие расходы по плечу только монетному двору.

Здесь жители обитают в самых массивных, самых высоких, самых широких, самых темных и самых прочных домах, какие только можно вообразить. Любой дом сумел бы «смеяться над осадой»^[50]. Фасад в сто футов шириной и сто футов высотой — таков местный стиль, и только пройдя три марша лестницы, начинаешь замечать признаки присутствия человека. Все из камня — из самого тяжелого камня: полы, лестницы, каминь, скамьи — все. Стены — толщиной в четыре-пять футов. Утицы — шириной от четырех до восьми футов и извилистые, как штопор. Идешь по такой мрачной щели, посмотришь вверх — и видишь над головой, там, где почти сходятся крыши высоких домов по обеим сторонам улицы, только узкую светлую полоску неба. И кажется, что ты попал на дно глубокой

пропасти и весь мир где-то далеко в вышине над тобой. Кружишься в запутанном лабиринте, не зная, куда идешь, теряя всякое понятие о направлении, словно слепой. Никак не удастся убедить себя в том, что это действительно улицы, что в этих хмурых, грязных, чудовищных домах живут люди, пока не увидишь, как в дверях мелькнет одна из здешних изящно одетых красавиц, не увидишь, как она выйдет из мрачного логова, настоящего подземелья, только расположенного где-то под небесами. И не понимаешь, как такая прелестная бабочка могла появиться из столь безобразного кокона. Очень мудро, что улицы такие узкие, а дома — массивные, крепкие и каменные: в этом палящем климате они остаются прохладными. Люди ищут прохлады и находят ее. Кстати, мужчины здесь носят шляпы и очень смуглы, а женщины носят на голове лишь прозрачные вуали, и все же у них ослепительно белая кожа. Странно, не правда ли?

Каждый из просторных генуэзских дворцов предназначен для одной семьи, хотя, по-моему, в нем уместилась бы и сотня. Это свидетельства былого величия Генуи, воспоминания о тех счастливых днях, когда она, несколько веков тому назад, была крупнейшей торговой и морской державой. Эти дома, эти дворцы, построенные из чистого мрамора, чаще всего бывают снаружи грязноватого розового цвета и от фундамента до кровли покрыты росписью, изображающей генуэзские победы, чудовищных Юпитеров и Купидонов и привычные сцены из греческой мифологии. Там, где краска под действием времени и непогоды потрескалась и облупилась, эффект получается не очень удачный: безносый Купидон, Юпитер с выбитым глазом или Венера с болячкой на груди не способствуют украшению картины. Эти расписанные стены напоминают мне высокий фургон, облепленный пестрыми плакатами и афишами, который движется по деревенской улице вслед за повозкой с цирковым оркестром. Мне не приходилось ни слышать, ни читать, чтобы где-нибудь еще в Европе фасады домов украшались подобными фресками.

Я никак не могу представить себе Геную в развалинах. Таких массивных сводов, таких мощных фундаментов, поддерживающих эти уходящие в небо, растянувшиеся на целые улицы постройки, нам еще не приходилось видеть; огромные каменные глыбы, из которых они сложены, не могут распасться; стены, толщина которых равна высоте обычной американской двери, не могут рухнуть.

В средние века республики Генуя и Пиза были очень могущественны. Средиземное море кишело их кораблями, и они вели оживленную торговлю с Константинополем и Сирией. Их склады были огромным перевалочным пунктом, откуда дорогие товары Востока расходились по всей Европе. Эти

крохотные государства были очень воинственны и бросали в те дни вызов странам, рядом с которыми они теперь — лишь кротовый холмик рядом с горой. Девятьсот лет тому назад сарацины захватили и разграбили Геную, но в следующем столетии Генуя и Пиза, заключив оборонительный и наступательный союз, подвергли осаде сарацинские колонии в Сардинии и на Балеарских островах и в течение сорока лет упрямо добивались своей цели. В конце концов они одержали победу и разделили добычу поровну между могущественнейшими патрицианскими семьями. Потомки некоторых из этих прославленных семей еще поныне обитают во дворцах Генуи, и в их лицах можно найти сходство с висящими в величественных залах этих дворцов портретами суровых рыцарей и лукаво улыбающихся пухлыми губками красавиц, чьи оригиналы истлели уже много столетий назад.

ОТЕЛЬ, в котором мы живем, принадлежал во времена крестовых походов одному из великих рыцарских орденов; в его массивных башнях некогда несли стражу закованные в латы часовые, и их обутые в железо ноги будили эхо в залах и коридорах.

Но расцвет Генуи постепенно сменился упадком и вялой торговлей бархатом и серебряной филигранью. Говорят, у каждого европейского города есть своя специальность. Серебряная филигрань — специальность Генуи. Ее ювелиры берут серебряные слитки и превращают их во всевозможные изящные безделушки. Из серебряных чешуек и проволочек они изготавливают букеты цветов, которые соперничают с хрупкими шедеврами мороза на оконном стекле; нам показывали также миниатюрный серебряный храм, в котором все каннелированные колонны, все коринфские капители и пышные антаблементы, все статуи, колокола, многочисленные хитроумные барельефы и шпиль были наготовлены из полированного серебра с таким замечательным искусством, что каждую деталь хотелось рассматривать без конца, а весь храм был чудом красоты.

Мы готовы ехать дальше, хотя нам еще не приелись узкие проходы этой старой мраморной пещеры. Пещера — очень подходящее слово для описания Генуи в звездную ночь. Когда мы бродили в полночь по мрачным расселинам, которые здесь называются улицами, где отдавалось только эхо наших шагов, где не было никого, кроме нас, где в отдалении то появлялись, то исчезали таинственные огни, а дома, за которые мы задевали локтями, казались еще выше, чем днем, — мне все время вспоминалась пещера на моей далекой родине, ее величественные галереи, ее тишина, пустынность, царящий в ней густой мрак, глухое эхо, мелькающие огоньки, и главное — трещины и повороты, неожиданно открывающиеся там, где их

меньше всего ожидаешь.

Нам еще не приелись ни бесконечные потоки весело болтающих людей, весь день напролет заполняющие эти дворики и улицы, ни монахи в грубых рясах, ни вина «Асти», которые старик доктор (тот, кого мы зовем Оракулом) с обычным для него уменьем все путать несправедливо окрестил «страсти». Но тем не менее нам пора ехать.

Последнее, что мы посетили, было кладбище (место погребения, рассчитанное на шестьдесят тысяч могил), и мы еще будем помнить его, когда уже забудем дворцы. Это огромная мраморная колоннада, квадрат внутри которой ничем не занят; широкий пол сложен из мраморных плит, и на каждой — надпись, ибо каждая плита скрывает могилу. Когда идешь посередине колоннады, по обеим сторонам тянутся памятники, гробницы, статуи чудесной работы, полные изящества и красоты. Они совсем новые, белоснежные; каждая линия безупречна, лица в полной сохранности, нигде ни царапины, ни пятнышка, ни изъяна; и поэтому нам эти уходящие вдаль ряды прелестных скульптур понравились гораздо больше попорченных, грязных статуй — уцелевших обломков античного искусства, которые выставлены в галереях Парижа для всеобщего поклонения.

Запасшись сигарами и другими предметами первой необходимости, мы готовы сесть на поезд, отходящий в Милан.

**Глава XVIII. Мчимся по Италии. — Маренго. —
Описание некоторых чудес знаменитого собора. —
Неприятное приключение. — Топпы золота и
серебра. — Священные реликвии. — У храма
Соломона есть соперник.**

Весь день мы мчались среди гор, вершины которых ярко горели на солнце, склоны были усеяны хорошенькими виллами, утопающими в зелени, а глубокие ущелья, наполненные прохладой и тенью, казались такими заманчивыми с душной высоты, где проносились мы и птицы.

Впрочем, поезд то и дело влетал в холодные туннели, и мы имели полную возможность остыть. Перед одним из них мы заметили время: чтобы проехать его, потребовалось двадцать минут при скорости от тридцати до тридцати пяти миль в час.

За Алессандрией мы из окна вагона увидели поле сражения при Маренго.

К вечеру показался Милан, но ни город, ни голубые горы позади него не привлекли нашего внимания — они нас совершенно не интересовали. Мы испытывали лихорадочное нетерпение — мы умирали от желания поскорее увидеть знаменитый собор! Мы вглядывались вдаль, смотрели то туда, то сюда — во все стороны. Мы не нуждались в том, чтобы нам его показали, мы не желали, чтобы нам его показывали, — мы узнали бы его даже в просторах великой Сахары.

И вот над крохотными крышами домов, поблескивая в янтарном свете заката, стал медленно подниматься лес легких шпилей — так иногда в море на самом горизонте над пустыней вод поднимаются позолоченные башни облаков. Собор! Мы сразу его узнали.

Половину ночи и весь следующий день нашими мыслями владел только этот собор-самодержец.

Как он чудесен! Такой величественный, торжественный и огромный! И в то же время такой изящный, воздушный и легкий! Громадное, тяжелое здание — и все же в мягком лунном свете оно казалось обманчиво хрупким, рисунком мороза на стекле, который исчезнет, если на него подышать. Как четко выделялись на фоне неба острия бесчисленных шпилей, какими узорами падали их тени на белоснежную крышу! Он был

видением! Чудом! Гимном, пропетым в камне, поэмой, созданной из мрамора!

Откуда бы вы ни смотрели на этот дивный собор — он благороден, он прекрасен! Где бы вы ни стояли — в Милане или в радиусе семи миль от Милана, — он виден; а когда он виден, ничто другое не может полностью овладеть вашим вниманием. Если вы хоть на секунду предоставите свободу вашим глазам, они немедленно обратятся к собору. Это первое, на что вы смотрите, когда поднимаетесь утром, и последнее, от чего с неохотой отрываете взор вечером.

В девять часов следующего утра мы уже стояли перед этим мраморным гигантом. У него пять огромных дверей, и среднюю обрамляет барельеф с изображениями птиц, плодов, зверей и насекомых, которые вырезаны из мрамора с таким искусством, что кажутся живыми; фигурок так много, а узор так сложен, что один этот барельеф можно с неослабевающим интересом изучать целую неделю. На высокой колокольне, на мириадах шпилей, внутри шпилей, над дверьми и окнами, во всех уголках и закоулках грандиозного здания, всюду, где только можно отыскать нишу или выступ, от основания собора до вершины — всюду стоят мраморные статуи, и каждая статуя сама по себе — произведение искусства. Рафаэль, Микеланджело, Канова — вот какие титаны задумали их, вот чьи ученики высекли их из мрамора. Каждое лицо выразительно, каждая поза грациозна. Высоко над землей, на крыше собора, ряды резных шпилей уходят ввысь, и сквозь их прозрачное кружево виднеется синее небо. Главная колокольня гордо вздымается над их чащей, как грот-мачта океанского брига над флотилией каботажных шхун.

Мы пожелали подняться на крышу. Ризничий подвел нас к мраморной лестнице (разумеется, она была из мрамора, из самого белого мрамора — ни другой камень, ни кирпич, ни дерево не употреблялись при постройке собора), попросил нас подняться на сто восемьдесят две ступеньки и постоять там, пока он не придет. Эта просьба была излишней — мы и так остановились бы. Мы очень устали, пока добрались туда. Мы оказались на крыше. Перед нами с ее мраморных плит поднимались шпалеры шпилей, казавшихся вблизи очень высокими, но уменьшавшихся вдаль, словно трубы органа. Теперь мы разглядели, что венчающие их статуи — ростом с человека, хотя снизу они казались детскими куклами. Мы разглядели также, что внутри каждого из этих ажурных шпилей находится от шестнадцати до тридцати одной мраморной статуи, смотрящих вниз, на землю.

От карнизов к коньку крыши тянутся бесконечные ряды поперечных

громадных мраморных балок, напоминающих парходные бимсы, и каждая сплошь покрыта богатой резьбой, изображающей цветы и плоды разных сортов и видов со всеми их особенностями. В перспективе ряды их сливаются, как шпалы на железнодорожных путях, и этот мраморный сад, полный бутонов и цветов, чарует глаз.

Мы спустились и вошли внутрь здания. Длинные ряды каннелированных колонн, словно огромные монументы, делят собор на широкие приделы, а на мозаичные полы ложатся мягкие цветные блики от витражей наверху. Я знал, что собор очень велик, но полностью оценил его грандиозные размеры, только когда заметил, что люди у алтаря кажутся карликами и словно скользят, а не ходят. Мы бродили, задрав головы, рассматривая сверкающие, яркие витражи, которые изображают сцены из жизни Спасителя и его учеников. Некоторые из них — мозаика, и тысячи кусочков цветного стекла или камня соединены в них воедино с таким искусством, что они обладают целостностью и законченностью картины, написанной кистью. В одном окне мы насчитали шестьдесят витражей, и каждый из них был шедевром таланта и терпения.

Гид показал нам кофейного цвета скульптуру, которая, по его словам, считается творением Фидия, ибо никакой другой художник всех времен и народов не мог бы скопировать природу с такой безупречной точностью. Скульптура изображает человека, с которого содрали кожу; каждая вена, артерия, мускул, каждое мышечное волокно, каждое сухожилие, каждая ткань человеческого организма передана с мельчайшими подробностями. Статуя выглядит очень естественно, — почему-то кажется, что она испытывает боль. Человек, с которого содрали кожу, должен выглядеть именно так, если только его внимание не будет чем-нибудь отвлечено. Она отвратительна, и все же в ней есть что-то притягивающее. Я очень жалею, что видел ее, — теперь мне от нее уже не избавиться. Она будет мне сниться. Мне будет сниться, что ее жилистые руки опираются об изголовье, а мертвые глаза смотрят на меня. Мне будет сниться, что она лежит со мной под одеялом, прикасаясь ко мне обнаженными мускулами и узлами сухожилий на ледяных ногах.

Омерзительные зрелища забываются с трудом. Я до сих пор помню, как я, будучи еще мальчиком, убежал из школы, а потом, поскольку час был поздний, счел за благо забраться через окно в контору моего отца и устроиться на диване, так как стеснялся вернуться домой, где меня ожидала порка. Я лежал на диване, и когда мои глаза привыкли к темноте, мне вдруг показалось, что на полу вытянулось нечто длинное, смутное и бесформенное. Меня пробрала дрожь. Я отвернулся к стене. Это не

помогло. Я боялся, что оно подкрадется в темноте и вцепится в меня. Я снова повернулся и уставился на смутную фигуру. Шли минуты — долгие, как часы. Мне казалось, что медлительный лунный луч никогда не доберется до нее. Я отвернулся к стене и сосчитал до двадцати, чтобы как-нибудь сократить лихорадочное ожидание. Я оглянулся — бледный квадрат приблизился к ней. Я снова отвернулся и сосчитал до пятидесяти — он почти коснулся ее. Отчаянным усилием воли я заставил себя отвернуться еще раз и сосчитать до ста, а потом с трепетом глянул. В лунном пятне лежала белая человеческая рука! У меня оборвалось сердце и перехватило дыхание! Я почувствовал... я не могу выразить, что я почувствовал. Немного оправившись, я снова уставился в стену. Но какой мальчик выдержит, когда за его спиной — таинственная рука? Я снова сосчитал и поглядел — открылся обнаженный локоть. Я закрыл глаза руками, считал, пока хватило сил, — и увидел бледное мужское лицо с запавшими уголками рта и мертвыми остекленевшими глазами. Я сел и не отрываясь смотрел на труп, а свет полз по обнаженной груди — ниже, ниже, дюйм за дюймом, через сосок... и затем озарил страшную рану!

Я ушел оттуда. Я не говорю, что я торопился, — я просто ушел, вот и все. Я вышел через окно и унес с собой раму. Рама не была мне нужна, но захватить ее было легче, чем оставить, поэтому я ее захватил. Я не испугался, однако был сильно взволнован.

Когда я добрался до дома, меня высекли, но это доставило мне только удовольствие. Порка была восхитительна. Этого человека ранили неподалеку от конторы; его перенесли туда, чтобы оказать ему помощь, но он не прожил и часа. С тех пор я часто спал с ним в одной комнате — в моих снах.

Теперь мы спустимся в склеп под главным алтарем Миланского собора, чтобы набраться мудрости, глядя на уста, которые молчат, и руки, которые остаются неподвижными вот уже триста лет.

Ризничий остановился в маленькой келье и поднял свечу повыше. Это было место последнего упокоения хорошего человека; человека с горячим, самоотверженным сердцем; человека, посвятившего жизнь тому, чтобы помогать беднякам, ободрять слабых духом, навещать больных и облегчать горе, где бы и когда бы он его ни встретил. Его сердце, его рука и его кошелек всегда были открыты. Думая о его жизни, видишь, как, исполненный спокойного благоволения, он ходил среди измученных миланцев в дни, когда чума опустошала город. Он был исполнен мужества, когда все отчаялись, исполнен сострадания, когда инстинкт самосохранения вытеснил жалость из всех обезумевших от ужаса сердец; он

ободрял, молился, помогал делом, советом и деньгами всем и каждому в то время, когда родители покидали детей, друг оставлял друга и брат отворачивался от сестры, хотя в его ушах звенели ее мольбы о помощи.

Таков был святой Карло Борromeо, архиепископ Милана. Народ обожал его; владыки осыпали его сокровищами. Мы стояли в его усыпальнице. Перед нами высился саркофаг, освещенный оплывающими свечами. Стены были облицованы барельефами литого серебра, изображающими сцены из жизни святого. Священник накинул на свою черную сутану короткое одеяние из белого кружева, перекрестился и, благоговейно склонившись, начал медленно вращать ворот. Половинки саркофага разошлись. Нижняя опустилась, открыв гроб из горного хрусталя, прозрачного, как воздух. Внутри лежало тело, облаченное в дорогие одежды, расшитые золотом и мерцающие драгоценными камнями. Тронутая тлением голова почернела от времени, высохшая кожа плотно обтягивала кости, глаз не было, на виске виднелась дыра, на щеке — другая, безгубый рот зиял страшной улыбкой. Над этим ужасным, истлевающим, рассыпающимся в прах, искаженным в усмешке лицом висел венец, густо усыпанный сверкающими бриллиантами, а на груди лежали золотые кресты и распятия, сияющие изумрудами и алмазами.

Какими жалкими, дешевыми, пошлыми казались эти побрякушки рядом с торжественным, скорбным величием смерти! Вообразите, что Мильтона, Шекспира, Вашингтона выставили перед благоговееющими потомками, разукрасив их стеклянными бусами, медными серьгами и прочей мишурой, которую так любят дикари.

Мертвый Борromeо произносил свою исполненную глубокой мудрости проповедь: «Вы, поклоняющиеся суете мирской, вы, жаждущие земных почестей, земного богатства, земной славы, — узрите, чего они стоят!»

Нам казалось, что такой хороший, добросердечный и простой человек заслужил мирный отдых в могиле, недоступной для святотатственного любопытства, и, по нашему мнению, он сам предпочел бы это, — но, может быть, мы заблуждаемся.

Когда мы вновь поднялись в собор, другой священник предложил показать нам сокровища храма. Как, еще? Убранство тесной обители смерти, которое мы только что видели, в одних унциях и каратах тянуло на шесть миллионов франков, если даже ни гроша не прибавить за тонкую ювелирную работу! Однако мы последовали за священником в большое помещение, заставленное высокими деревянными шкафами, напоминающими гардеробы. Он распахнул их... и я мгновенно забыл золотые и серебряные слитки в пробирных конторах Невады. Пресвятые девы и

епископы больше натуральной величины, отлитые из серебра, ценой от восьмисот тысяч до миллиона франков штука, держащие усыпанные драгоценностями евангелия, стоимостью в восемьдесят тысяч франков каждое; серебряные барельефы в шестьсот фунтов весом; кресты, распятия, подсвечники в шесть — восемь футов высотой — все из чистого золота, осыпанные драгоценными камнями, не говоря уже о всевозможных чашах и сосудах, тоже богато украшенных. Настоящая пещера Аладина! Чистый вес этих сокровищ, не считая работы, оценивается в пятьдесят миллионов франков! Если бы мне на время поручили их охрану, боюсь, что рыночная цена серебряных епископов резко подскочила бы, — такой редкостью они стали бы в Миланском соборе.

Священник показал нам два пальца апостола Павла и один — апостола Петра, косточку Иуды Искарота (она была черная), а также отдельные кости всех остальных апостолов и носовой платок, на котором Спаситель оставил отпечаток своего лица. Среди наиболее почитаемых реликвий нам показали обломок гроба Господня, кусок тернового венца (в Соборе Парижской Богоматери есть целый), лоскуток багряницы Спасителя, гвоздь из креста и святую деву с младенцем, написанную святым Лукой. Это уже вторая мадонна святого Луки, которую нам довелось увидеть. Один раз в году торжественная процессия проносит все эти священные реликвии по улицам Милана.

Даже самые сухие подробности, касающиеся собора, полны для меня захватывающего интереса. Длина здания — пятьсот футов, ширина — сто восемьдесят, а высота главной колокольни — около четырехсот. Его украшает семь тысяч сто сорок восемь мраморных статуй, а когда собор будет закончен, их станет на три тысячи больше. К этому надо прибавить еще тысячу пятьсот барельефов. На нем сто тридцать шесть шпилей, и предполагается добавить еще двадцать один. Каждый шпиль оканчивается статуей в шесть с половиной футов высотой. Собор построен целиком из мрамора, добываемого в каменоломне, которая несколько веков тому назад была завещана архиепископству миланскому специально для этой цели. Таким образом, платить нужно только за работу; и все-таки это обходится дорого: к нашему времени счет достиг шестисот восьмидесяти четырех миллионов франков (то есть значительно больше ста миллионов долларов), и потребуются еще сто двадцать лет, чтобы достроить собор. Он кажется вполне законченным, но это отнюдь не так. Вчера мы видели, как в одну из ниш установили новую статую, рядом с той, которая стоит там, как нам сказали, уже четыреста лет. На главную колокольню ведут четыре лестницы, каждая из которых обошлась в сто тысяч долларов, включая

украшающие их четыреста восемь статуй. Архитектором, более пятисот лет назад задумавшим план собора, был Маркода Кампионе, и он работал над этим планом сорок шесть лет, прежде чем передать его строителям. Теперь он уже умер. Строительство собора было начато чуть меньше пятисот лет тому назад, и даже наши правнуки не увидят его завершения.

Красивей всего собор выглядит при лунном освещении, потому что самые древние его части потемнели от времени и неприятно контрастируют с позднейшими белоснежными пристройками. Для своей высоты он кажется непропорционально широким, но, быть может, это впечатление сгладится, когда к нему привыкнешь.

Говорят, что Миланский собор уступает только собору св. Петра в Риме. Я не могу себе представить, что он может уступать какому бы то ни было созданию рук человеческих.

Теперь мы прощаемся с ним — скорее всего, навсегда. И, наверное, в будущем, когда воспоминания о нем утратят яркость, нам будет казаться, что мы видели его не наяву, а в чудесном сне.

Глава XIX. Ла Скала. — Искусные фрески. — Древнеримский амфитеатр. — Главная прелесть европейской жизни. — Итальянские ванны. — Самая прославленная в мире картина. — Поцелуй за франк.

— Вам угодно ходить поверх?

Такой вопрос задал нам гид, когда мы, задрав головы, рассматривали бронзовых коней на Арке Мира. Это означало: не хотите ли подняться туда? Я привожу его слова как образчик диалекта, на котором изъясняются гиды. Это племя превращает жизнь туриста в муку. Их языки не знают отдыха. Они говорят, говорят и говорят без умолку вот на таком жаргоне. Никакое наитие не поможет понять их. Если бы они, показав вам гениальное творение искусства, или всеми почитаемую могилу, или тюрьму, или поле битвы, освященное трогательными воспоминаниями, историческими традициями и чудесными легендами, отходили в сторону и умолкали хотя бы на десять минут, чтобы дать вам возможность предаться своим мыслям, это было бы еще не так скверно. Но их навязчивое кудахтанье перебивает любые грезы, любые поэтические раздумья. Порою, созерцая какой-нибудь из моих старых кумиров, поразивший меня много лет тому назад, еще на картинке в школьном учебнике географии, я чувствовал, что готов отдать весь мир, лишь бы этот попугай в человеческом облике провалился тут же на месте и не мешал бы мне взирать, грезить и поклоняться.

Нет, нам не было «угодно ходить поверх». Нам было угодно побывать в Ла Скала, который, если не ошибаюсь, считается самым большим театром в мире. Мы отправились туда. Он действительно оказался большим. Семь четко отделенных друг от друга людских масс — шесть огромных ярусов, и необъятный партер.

Нам было угодно посетить Амвросиевскую библиотеку, и мы отправились также и туда. Нам показали манускрипт Вергилия с собственноручными пометками Петрарки — того самого джентльмена, который любил чужую Лауру и всю жизнь изливал на нее свою любовь, что было явно пустой тратой материала. Это чувство было глубоко, но глупо. Оно принесло и ему и ей славу и вызвало потоки сострадания к ним, кото-

рые и по сей день не иссякли в сентиментальных душах. Но кто хоть словечко замолвил за бедного мистера Лауру? (Я не знаю его фамилии.) Кто прославляет его? Кто орошает его слезами? Кто пишет о нем стихи? Никто. А как вы думаете, нравилось ли ему то, что доставило всему миру такое удовольствие? Радовался ли он, что посторонний человек всюду преследует его жену и своими сонетами к ее бровям, являвшимся чужой собственностью, сделал ее имя присловьем всех пропахших чесноком уст Италии? Они прославлены и оплаканы, а он — нет. Вот на редкость удачный пример того, что называется поэтической справедливостью. Конечно, все это очень мило, но с моими представлениями о справедливости как-то не вяжется. Это слишком односторонне и невеликодушно. Пусть же весь мир, если ему так хочется, продолжает хныкать над Лаурой и Петраркой, но мои слезы и стенания будут отданы невоспетому супругу.

Там же мы видели подлинное письмо Лукреции Борджиа — дамы, к которой я всегда питал глубокое уважение за ее недюжинные сценические способности^[51], за ее щедрость, когда дело касалось золотых бокалов, сделанных из позолоченного дерева, за ее замечательные выступления в качестве певицы и за ее умение устроить похороны на шесть персон и своевременно обеспечить необходимое количество покойников. Кроме того, мы видели жесткий рыжий волос с головы Лукреции. Он нас поразил, но мы это перенесли. В той же библиотеке мы видели рисунки Майкла Анджело (итальянцы называют его Микеланджело) и Леонардо да Винчи (они пишут его фамилию «Винчи», а произносят «Винчи»; иностранцы всегда пишут грамотнее, чем произносят). Мы не будем высказывать своего мнения об этих набросках.

В другом здании нам показали фрески с изображениями львов и других зверей, запряженных в колесницы; мы приняли их за скульптуры — настолько выпуклыми они казались. Художник искусно усилил эту иллюзию, нарисовав на львиных спинах пыль, как будто они запылились естественным образом. Ловкий парень — если, конечно, обманывать чужестранцев ловко.

Еще где-то мы видели громадный римский амфитеатр, каменные скамьи которого хорошо сохранились. Его модернизировали; теперь там развлекаются более мирно и не бросают христиан на закуску хищникам. Иногда миланцы используют его в качестве ипподрома, а иногда затопляют и устраивают там парусные гонки. Все это нам сообщил гид, и не думаю, чтобы он солгал, — он едва ли пошел бы на такой рискованный эксперимент, поскольку давился словами, говоря по-английски даже правду.

Еще в одном месте нам показали нечто вроде решетчатой беседки с забором перед ней. Мы сказали, что она ничем не примечательна. Потом мы поглядели еще раз и за беседкой увидели густой сад с живыми изгородями и зелеными лужайками. Мы очень охотно отдохнули бы там, но оказалось, что сделать этого нельзя. Опять мираж — картина какого-то искусного художника, сердце которого не знало жалости к утомленным путникам. Иллюзия была полная. Невозможно было догадаться, что этого обширного сада на самом деле не существует. Сперва нам даже показалось, что мы чувствуем аромат цветов.

Когда начало темнеть, мы наняли экипаж и катались по тенистым аллеям, как и другие аристократы, а потом ели мороженое и пили вино в чудесном саду, где собирается вся знать. Музыка была превосходна, цветы и кустарники ласкали взгляд, кругом царило оживление, все были очень воспитанны и вежливы, а чуточку усатые дамы прекрасно одеты, но некрасивы.

Мы отправились в кафе, где часок поиграли на бильярде, и я набрал не то шесть, не то семь очков, потому что доктор несколько раз загонял в лузу свой шар; а он набрал столько же, потому что я несколько раз загонял в лузу свой шар. Порою нам почти удавалось сделать карамболь, но всегда не тот, который мы намеревались сделать. Стол был обычного европейского стиля — оббитые борта вдвое выше шаров, а кии — кривые. Туземцы играют только в пирамидку. Нам еще не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь в Европе играл во французский карамболь, и я сомневаюсь, чтобы во Франции была известна подобная игра или чтобы нашелся безумец, который рискнул бы играть в нее на одном из этих европейских бильярдов. В конце концов нам пришлось бросить партию, потому что в пятнадцатиминутные промежутки между попаданиями Дэн начинал дремать и забывал вести счет.

Затем мы некоторое время прогуливались по одной из самых оживленных улиц, наслаждаясь чужим отдыхом и мечтая о том, как хорошо было бы импортировать немного этого умения отдыхать в наши иссушающие все жизненные соки, съедаемые лихорадкой города-торжища. Именно в умении отдыхать — главная прелесть Европы. В Америке мы торопимся — это неплохо; но покончив с древними трудами, мы продолжаем думать о прибылях и убытках, мы даже в постели не забываем о делах и, ворочаясь с боку на бок, с беспокойством думаем о них, вместо того чтобы подкрепить сном усталый мозг и измученное тело. В этих заботах мы растрачиваем все наши силы и либо безвременно умираем, либо становимся тощими, унылыми стариками в том возрасте, который в

Европе считается самым цветущим. После того как акр земли приносил нам в течение нескольких лет хорошие урожаи, мы оставляем его на год отдыхать под паром; когда человек пересекает континент, где-то в пути он пересаживается на другой дилижанс, а первый оставляют на несколько дней стоять, чтобы остыли его перегретые части; когда бритва отслужит свой срок и больше не поддается точке, парикмахер откладывает ее на несколько недель, и она самозатачивается. Мы бережем неодушевленные предметы, а о себе не заботимся. Какими силачами, какими мыслителями стали бы мы, если бы только время от времени укладывались на полку и самозатачивались!

Я очень завидую тому, как умеют отдыхать европейцы. Покончив с дневными трудами, они забывают о них. Одни отправляются с женой и детьми в пивную, чинно и благородно выпивают несколько кружек эля и слушают музыку; другие гуляют по улицам; третьи катаются в парке; четвертые с наступлением вечера собираются на широких красивых площадях полюбоваться душистыми цветами и послушать военный оркестр, — в каждом европейском городе по вечерам играет свой военный оркестр; а многие сидят на воздухе перед кафе, едят мороженое и пьют прохладительные напитки, которые не повредили бы и ребенку. Европейцы ложатся спать сравнительно рано и спят крепко. Они всегда спокойны, аккуратны, веселы, бодры и умеют ценить жизнь и ее многочисленные блага. Среди них никогда не встретишь пьяного. Удивительно, как изменилась наша небольшая компания! С каждым днем мы все больше утрачиваем нашу лихорадочную энергию, все больше проникаемся безмятежностью и спокойствием, которые чувствуются в окружающей нас мирной атмосфере и во всем облике здешних людей. Наша мудрость растет не по дням, а по часам. Мы начинаем постигать смысл жизни.

В Милане мы вымылись в общественных банях. Нас всех троих собирались поместить в одну ванну, но мы запротестовали. Каждый из нас таскал на себе целую итальянскую ферму. Если бы нас нанесли на официальный землемерный план и огородили бы, мы почувствовали бы себя хорошо обеспеченными. Мы потребовали три ванны, и побольше, — три ванны, достойные аристократов, которые владеют поместьями и принесли их с собой. Когда мы разоблачились и успели уже разок облиться холодной водой, мы обнаружили, что снова стали жертвами зверского обычая, который постоянно омрачал нашу жизнь в стольких городах и селеньях Франции и Италии: мыла не было! Я позвал на помощь. Откликнулась какая-то женщина, и я едва успел упереться в дверь плечом — еще секунда, и она вошла бы. Я сказал:

— Берегись, женщина! Отыди отсюда, отыди без промедления, или тебе же будет хуже! Я беззащитный мужчина, но я сумею сохранить свою честь, хотя бы ценою жизни.

Эти слова, вероятно, ее напугали, потому что она во всю прыть кинулась прочь. Раздался вопль Дэна:

— Да принесите же мыла! Чего вы ждете?

Ему ответили по-итальянски. Дэн продолжал:

— Мыло, понимаете — мыло... Мне нужно мыло, М-ы-л-о, мыло, мыло — мыло! И побыстрей! Я не знаю, на какой манер у вас здесь произносят «мыло», но мне оно необходимо. Произнесите, как хотите, только тащите его скорей. Я замерзаю.

Я услышал, как доктор внушительно заметил:

— Дэн, сколько раз нужно вам повторять, что эти иностранцы не понимают по-английски? Почему вы не обращаетесь к нам за помощью? Почему вы не говорите нам, что вам нужно, чтобы мы могли перевести ваш заказ на местный язык? Это избавило бы нас от необходимости краснеть за ваше невежество. Я поговорю с этой особой на ее родном языке: «Эй, cospetto! Corpodì Vacco! Sacramento! Solferino!^[52] Мыло, брюква ты эдакая!» Вот, Дэн, если бы вы позволили нам говорить за вас, вам не пришлось бы выставлять напоказ свое вопиющее невежество.

Однако, несмотря даже на этот поток итальянских слов, мыло появилось далеко не сразу; на это, впрочем, была своя причина: в этом заведении мыла не оказалось. По моему мнению, его здесь никогда и не бывало. Когда его наконец принесли, нам сообщили, что за ним посылали в город и его пришлось долго искать по разным магазинам. Мы вынуждены были прождать полчаса. То же самое случилось и накануне вечером в отеле. Я, кажется, нашел наконец причину этого явления. Англичане умеют путешествовать с комфортом и берут мыло с собой; остальные же иностранцы мылом не пользуются.

В каком бы отеле мы ни остановились, нам всегда приходится посылать за мылом, и всегда в последнюю минуту, когда мы одеваемся к обеду; а потом его ставят в счет вместе со свечами и прочей мелочью. Половину лучшего туалетного мыла, которым пользуется Америка, изготавливают в Марселе, но о его назначении марсельцы имеют лишь смутное теоретическое представление, почерпнутое из описания путешествий наряду с не менее смутными понятиями о чистых рубашках, повадках горилл и прочих небезынтересных материях. В связи с этим мне припоминается записка, которую Блюхер послал хозяину парижского отеля:

Paris, 7 Juillet^[53]

Monsieur хозяин, сэр! Pourquoi вы не mettez ни кусочка savon в спальнях вашего заведения? Est-ce que vous pensez, что я его украду? La nuit passee вы поставили мне в счет pour deux chandelles, хотя мне принесли только одну; hier vous avez поставить мне в счет avec glace, которого я и не видел; tous les jours вы проделываете со мной какой-нибудь новый фокус, mais vous ne pouvez pas дважды сыграть со мной эту штуку с savon. Savon — это предмет первой необходимости de la vie каждого человека, кроме француза, и je l'aurai hors de cet hotel^[54] или устрою скандал. Слышите?

Блюхер».

Я уговаривал его не посылать этой записки, потому что в такой смеси хозяин ни за что не разберется; но Блюхер сказал, что, по его мнению, старик поймет французские слова и как-нибудь догадается об остальном.

Французский язык Блюхера из рук вон плох, но он немногим хуже того английского, которым написаны рекламные объявления по всей Италии. Вот, например, познакомьтесь с печатным проспектом отеля, в котором мы, вероятно, остановимся, приехав на озеро Комо:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Этот отель, который лучший в Италии и самый превосходный, красиво месторасположен в лучшем ландшафте озера, с самым чудесным видом на виллу Мельзи, короля бельгийского и Сербеллони. Этот отель, недавно расширяющийся, предлагает все удобства за умеренную цену чужим джентльменам, которые желают провести времена года на озере Комо.

Хорошо, не правда ли? При отеле имеется красивая часовенка, в которой английский священник читает проповеди для гостей, прибывших из Англии или Америки, о чем варварским английским языком сообщается все в том же проспекте. Казалось бы, у бесстрашного лингвиста,

составлявшего проспект, могло бы хватить здравого смысла показать свой опус упомянутому священнику прежде, чем отсылать это произведение в типографию!

Здесь, в Милане, в обветшалой церкви находятся жалкие остатки самой знаменитой в мире картины — «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Мы не считаем себя непререкаемыми знатоками живописи, но, разумеется, мы отправились туда, чтобы увидеть эту удивительную, некогда столь прекрасную картину, вызывавшую неизменное поклонение всех великих художников и навеки прославленную в стихах и прозе. И первое, с чем мы столкнулись, была табличка, от которой буквально разило испорченным языком. Вот, попробуйте сами:

«Варфоломей (первая фигура со стороны левой руки на зрителя) в неуверенности и сомнении по поводу того, что, он думает, он услышал, и по поводу чего он хочет увериться самому у Христа и больше ни у кого другого».

Прелесть, правда? Затем идет описание Петра, «оспаривающего в угрожающем и сердитом состоянии на Иуду Искарюта».

Но вернемся к самой картине. «Тайная вечеря» написана на облупившейся стене маленькой часовни, прежде, если не ошибаюсь, соединявшейся с главным зданием. Роспись облупилась и потрескалась во всех направлениях, загрязнилась и выцвела от времени, а наполеоновские лошади пооббивали копытами ноги большинства апостолов, когда для них (для лошадей, а не для апостолов) более полувека тому назад здесь были устроены стойла.

Я сразу узнал эту картину: в центре Спаситель, слегка наклонив голову, сидит за длинным, грубо сколоченным столом, на котором кое-где виднеются блюда и плоды, по каждую руку его шесть апостолов в длинных одеяниях беседуют между собой, — картину, с которой в течение трехсот лет было сделано столько копий и гравюр. Вероятно, нет на свете человека, который считал бы, что вечерю Господню можно написать иначе. Весь мир, кажется, давно проникся уверенностью, что человеческий гений не может превзойти этого творения да Винчи. Я думаю, что, пока оригинал не исчезнет совсем, художники будут продолжать его копировать. Перед картиной стоял десяток мольбертов, и столько же художников изображало великую картину на своих холстах. Я заметил также пятьдесят клише для гравюр и литографий. И как всегда, меня поразило, насколько копии превосходят оригинал, — то есть, я хочу сказать, на мой неискушенный взгляд. Где бы вы ни наткнулись на картину Рафаэля, Рубенса, Микеланджело, Караваджо или да Винчи (а с нами это случается каждый Божий день), вы

непременно наткнетесь также на художника, который делает с нее копию, и копия всегда красивей. Может быть, оригиналы были красивы, пока были новыми, но это время давно прошло.

Длина фрески составляет на глаз около тридцати футов, высота — десять или двенадцать, а фигуры во всяком случае не меньше натуральной величины. Это одна из самых больших картин в Европе.

Краски потускнели от времени, лица облупились, стерлись и утратили всякое выражение, волосы — только расплывчатое пятно на стене, а глаза совсем безжизненны. Отчетливо видны лишь позы.

Сюда со всех концов света съезжаются люди и прославляют этот шедевр. Они стоят как зачарованные, затаив дыхание, раскрыв рот, а если и говорят, то только отрывистыми фразами, преисполненными восторга:

- Ах, чудесно!
- Какая экспрессия!
- Какая красота композиции!
- Какое благородство!
- Какая безупречность рисунка!
- Какие несравненные краски!
- Какая глубина!
- Какая тонкость мазка!
- Какое величие замысла!
- Сверхъестественно! Сверхъестественно!

А я завидую этим людям; я завидую их чистосердечным восторгам — если они чистосердечны, их восхищению — если они испытывают восхищение. Я не питаю к ним вражды. Но тем не менее я никак не могу избавиться от одной мысли: как они видят то, чего не видно? Что бы вы подумали о человеке, который, посмотрев на какую-нибудь дряхлую, беззубую, подслеповатую, рябую Клеопатру, сказал бы: «Какая несравненная красота! Какая душа! Какое чувство!»? Что бы вы подумали о человеке, который, посмотрев на тусклый, туманный закат, сказал бы: «Какое величие! Какая глубина! Какое богатство красок!»? Что бы вы подумали о человеке, который, в экстазе уставившись на унылую вырубку, сказал бы: «Ах, какой чудесный лес!»?

Можно подумать, что у этих людей есть удивительная способность видеть то, чего давно уже нет. Вот о чем я думал, когда стоял перед «Тайной вечерей» и слышал, как мои соседи превозносили прелести, красоты и совершенства картины, выцветшие и исчезнувшие за добрую сотню лет до их рождения. Мы можем представить себе былую красоту состарившейся женщины, мы можем представить себе лес, глядя на пни, —

но мы не можем *видеть* ни этой красоты, ни этого леса, раз они более не существуют. Я готов поверить, что опытный художник, глядя на «Тайную вечерю», может мысленно оживить краски там, где от них остался лишь намек, восстановить стершийся оттенок, воссоздать исчезнувшее выражение лица, подправить, подкрасить и дополнить потускневшую картину так, что наконец фигуры на ней восстанут во всем блеске жизни, экспрессии, свежести, — короче говоря, во всей той благородной красоте, которой они были проникнуты, когда вышли из-под кисти своего создателя. Но я не умею творить подобные чудеса. Способны ли на это остальные, лишенные искры Божьей посетители или они только тешат себя этой мыслью?

Столько прочитав об этой картине, я готов согласиться, что «Тайная вечеря» была некогда настоящим чудом искусства. Но это было триста лет тому назад.

Меня злит эта бойкая болтовня о «глубине», «экспрессии», «тонах» и других легко приобретаемых и дешево стоящих терминах, которые придают такой шик разговорам о живописи. Не найдется ни одного человека на семь с половиной тысяч, который мог бы сказать, что именно должно выражать лицо на полотне. Не найдется ни одного человека на пятьсот, который может быть уверен, что, зайдя в зал суда, он не примет безобидного простака-присяжного за гнусного убийцу-обвиняемого. И однако эти люди рассуждают о «характерности» и берут на себя смелость истолковывать «экспрессию» картин. Существует старый анекдот о том, как актер Мэтьюс однажды принялся восхвалять способность человеческого лица выражать затаенные страсти и чувства. Лицо, сказал он, может яснее всяких слов открыть то, что творится в душе.

— Вот, — сказал он, — посмотрите на мое лицо — что оно выражает?

— Отчаяние!

— Что? Оно выражает спокойную покорность судьбе. Ну а теперь?

— Злобу!

— Чушь! Это — ужас! Теперь?

— Идиотизм!

— Дурак! Это сдерживаемая ярость! А теперь?

— Радость!

— Гром и молния! Всякий осел понял бы, что это безумие!

Выражение! Люди, хладнокровно претендующие на умение его разгадывать, сочли бы самонадеянностью притязать на умение разбирать иероглифы обелисков Луксора^[55], — а между тем они равно способны как на то, так и на другое. Мне довелось за последние несколько дней слышать

мнение двух очень умных критиков о «Непорочном зачатии» Мурильо (находящемся ныне в музее в Севилье).

Один сказал:

— Ах, лицо пресвятой девы преисполнено экстатической радости, на земле не может быть большей!

Другой сказал:

— О, это удивительное лицо исполнено такого смирения, такой мольбы! Оно яснее всяких слов говорит: «Я страшусь, я трепещу, я недостойна! Но да свершится воля твоя; поддержи рабу твою!»

Читатель может увидеть эту картину в любой гостинице. Ее легко узнать: мадонна (по мнению некоторых — единственная молодая и настоящему красивая мадонна из всех, написанных старыми мастерами) стоит на серпе молодого месяца, окруженная множеством херувимов, к которым спешат присоединиться новые толпы их; ее руки сложены на груди, а на запрокинутое лицо падает отблеск райского сияния. Читатель при желании может развлечься, стараясь решить, который из вышеупомянутых джентльменов правильно истолковал «выражение» девы, а также удалось ли это хотя бы одному из них.

Всякий, знакомый с творениями старых мастеров, поймет, насколько испорчена «Тайная вечеря», если я скажу, что теперь уже нельзя разобрать, евреи ли апостолы, или итальянцы. Этим старым мастерам никак не удавалось денационализироваться. Художники итальянцы писали итальянских мадонн, голландцы — голландских, мадонны французских живописцев были француженками, — никто из них ни разу не вложил в лицо девы Марии того не поддающегося описанию «нечто», по которому можно узнать еврейку, где бы вы ее ни встретили — в Нью-Йорке, в Константинополе, в Париже, в Иерусалиме или в Марокко. В свое время я видел на Сандвичевых островах картину, написанную талантливым художником немцем по гравюре, которую он нашел в одной из иллюстрированных американских газет. Это была аллегория, представлявшая мистера Дэвиса^[56] за подписанием Акта об отделении южных штатов или какого-то другого документа в том же роде. Над ним в предостерегающей позе парит дух Вашингтона, а на заднем плане отряд одетых в форму Континентальной армии призрачных солдат с босыми, обмотанными тряпьем ногами бредет сквозь метель. Это, конечно, намек на лагерь в Вали-Фордж. Копия, казалось, была выполнена точно, и все-таки что-то в ней было не так. Приглядевшись получше, я наконец понял, в чем дело: призрачные солдаты все были немцы! Джэфф Дэвис был немец! Даже парящий дух был немецким духом! Художник бессознательно наложил на

картину отпечаток своей национальности. Откровенно говоря, меня несколько сбили с толку портреты Иоанна Крестителя. Во Франции я в конце концов примирился с тем, что он француз; здесь он — вне всяких сомнений итальянец. Что же будет дальше? Неужели в Мадриде художники делают Иоанна Крестителя испанцем, а в Дублине — ирландцем?

Мы наняли открытую коляску и отправились за две мили от Милана «смотреть экко», как выразился гид. Мы ехали по ровной, обсаженной деревьями дороге, мимо полей и зеленых лугов, а мягкий воздух был напоен нежными ароматами. Крестьянские девушки, живописными толпами возвращавшиеся с полевых работ, взвизгивали, что-то нам кричали, всячески потешались над нами и привели меня в неописуемый восторг. Подтвердилось мнение, которое я давно вынашивал. Я всегда был уверен, что те нечесаные, неумытые романтические дикарки, о которых я прочел столько стихов, — бесстыдная подделка.

Прогулка доставила нам много радости. Мы упивались ею, отдыхая от непрерывного осмотра достопримечательностей.

Мы не возлагали больших надежд на изумительное эхо, которое так превозносил наш гид. Мы уже привыкли выслушивать панегирики чудесам, в которых на поверку не оказывалось ничего чудесного. Тем приятнее было разочарование, когда в дальнейшем оказалось, что гид даже не сумел воздать должное этому эхо.

Мы подъехали к полуразвалившейся голубятне, носящей название «Палаццо Симонетти»; она сложена из тяжелого тесаного камня, и в ней обитает семейство оборванных итальянцев. Красивая девушка провела нас на второй этаж, к окну, выходившему во дворик, с трех сторон окруженный высокими зданиями. Она высунула голову наружу и крикнула. Мы не успели сосчитать, сколько раз откликнулось эхо. Она взяла рупор и отрывисто и четко крикнула в него одно-единственное «ха!»

— Ха! — ответило эхо. — Ха! Ха! Ха!.... ха! Ха! Ха! Ха-ха-ха-ха-ха! — и наконец раскатилось в припадке невообразимо веселого смеха!..

Этот смех был так весел, так продолжителен, так сердечен и добродушен, что мы невольно присоединились к нему. Удержаться было невозможно.

Затем девушка взяла ружье и выстрелила. Мы приготовились считать удивительный треск частых отголосков. Мы не успели бы произнести «раз, два, три», но зато мы могли с достаточной быстротой ставить карандашами точки в своих записных книжках, чтобы получить что-то вроде стенографической записи результатов. Я не сумел угнаться за эхо, хотя и сделал все, что было в моих силах.

Я отметил пятьдесят два четких повторения, но тут эхо меня обогнало. Доктор отметил шестьдесят четыре, после чего тоже отстал. В конце концов отдельные отголоски слились в беспорядочный непрерывный треск, напоминающий стук колотушки ночного сторожа. Очень возможно, что это самое замечательное эхо в мире.

Доктор в шутку пожелал поцеловать нашу проводницу и несколько растерялся, когда она согласилась — если он заплатит франк. Галантность не позволила ему отказаться от своего предложения, так что он заплатил франк и получил поцелуй. Красавица была философом. Она сказала, что франк всегда пригодится, а одного пустячного поцелуя ей не жалко — ведь у нее их остается еще миллион! Тогда наш друг, делец до мозга костей, никогда не упускающий выгодную сделку, предложил забрать весь запас в течение месяца, но из этой небольшой финансовой операции ничего не вышло.

Глава XX. Сельская Италия из окна вагона. — Окурены согласно закону. — Знаменитое озеро Комо. — Окружающий его ландшафт. — Комо в сравнении с Тахо. — Приятная встреча.

Мы уехали из Милана по железной дороге. Собор в шести-семи милях позади; огромные дремлющие, одетые голубоватыми снегами горы в двадцати милях впереди — таковы были наиболее примечательные черты окружающего нас ландшафта. В непосредственной близости к нам он состоял из полей и крестьянских усадеб снаружи вагона и большеголового карлика и бородатой женщины — внутри. Последние двое не были экспонатами ярмарочного балагана. К сожалению, уродства и женские бороды встречаются в Италии так часто, что не привлекают ничего внимания.

Мы миновали хребет диких живописных гор, обрывистых, лесистых, с остроконечными вершинами; там и сям виднелись суровые утесы, а вверху под плывущими облаками ютились хижины и развалины замков. Мы закусили в старинном городке Комо, на берегу озера того же названия, а затем на маленьком пароходишке совершили приятную прогулку сюда — в Белладжо.

Когда мы сошли на берег, несколько полицейских (их треугольные шляпы и пышные мундиры посрамили бы самую красивую форму в американской армии) отвели нас в крохотную каменную камеру и заперли там. Все пассажиры пароходика составили нам компанию, но мы предпочли бы обойтись без них, потому что в этом помещении не было ни света, ни окон, ни вентиляции. В нем было душно и жарко. Нам было тесно. В малом масштабе повторялась Калькуттская «черная яма»^[57]. Вскоре из-под наших ног начали подниматься клубы дыма — дыма, пахнувшего, как вся падаль земного шара вместе взятая, как все гниение мира.

Мы пробыли там пять минут, и когда вышли, трудно было решить, кто из нас источает самый гнусный аромат.

Эти изверги заявили, что нас «окуривали», но такой термин слишком невыразителен. Они окуривали нас, чтобы предохранить себя от холеры, хотя в порту, из которого мы прибыли, ее не было. Холера все время оставалась далеко позади нас. С другой стороны, надо же им как-то

спасаться от эпидемий, а окуривание обходится дешевле мыла. Им приходится либо мыться самим, либо окуривать всех остальных. Некоторые представители низших классов скорее умрут, чем станут мыться, а окуривание чужестранцев не вызывает у них никаких неприятных ощущений. Самим им окуриваться не нужно. Благодаря своим привычкам они вполне могут без этого обойтись. Их профилактика — в них самих; они потеют и окуриваются весь день напролет. Надеюсь, что я — смиренный и богобоязненный христианин. Я стараюсь жить праведно. Я знаю, что мой долг «молиться за обижающих меня», — и посему, как бы трудно это ни было, я все-таки попытаюсь молиться за этих шарманщиков, которые жрут макароны и окуривают приезжих.

Наш отель расположен на берегу озера — по крайней мере его сад, — и в сумерках мы гуляем среди кустов и курим; мы смотрим вдаль — на Швейцарию и Альпы, не испытывая ни малейшего желания рассмотреть их поближе; спускаемся по лесенке и купаемся в озере; садимся в красивую лодочку и плывем среди отраженных звезд; лежим на скамьях, прислушиваясь к отдаленному смеху, пению, звукам флейт и гитар, которые разносятся над тихой водой с нарядных барок; мы заканчиваем вечер приводящим в исступление бильярдом на одном из привычно отвратительных столов. Полночный ужин в нашей просторной спальне; последняя трубка на узкой веранде, откуда видны озеро, сады и горы; подведение итогов дня. Потом — постель, и в сонном мозгу проносится бешеный вихрь, в котором беспорядочно мешаются картины Франции, Италии, нашего корабля, океана, родных краев. Затем — знакомые лица, города, бушующие волны растворяются в великом забвении, в покое.

После чего — кошмар.

Утром — завтрак, а потом — озеро.

Вчера оно мне не понравилось. Я решил, что озеро Тахо^[58] гораздо красивее. Теперь мне приходится признать, что я ошибся, хотя и ненамного. Я всегда думал, что Комо — такая же огромная водная чаша среди высоких гор, как и Тахо. Правда, вокруг Комо действительно высятся горы, но само оно не похоже на чашу. Оно извилисто, как ручей, и раза в полтора-два уже Миссисипи. По берегам его не найдется и ярда низины — от самого края воды круто поднимаются бесконечные цепи гор, достигая высоты от тысячи до двух тысяч футов. Густая растительность покрывает их обрывистые склоны, и повсюду из пышной зелени выглядывают белые пятнышки домов; они уютятся даже на живописных остроконечных пиках, в тысяче футов над головой.

Вдоль всего берега прекрасные виллы, окруженные садами и рощами,

стоят буквально в воде, а иногда в нишах, выдолбленных природой в обвитых ползучими растениями обрывах, и добраться туда или выбраться оттуда можно только на лодке. Порой к озеру спускается широкая каменная лестница с тяжелой каменной балюстрадой, украшенной статуями, причудливо оплетенной диким виноградом и радующей глаз большими яркими цветами, — ни дать ни взять театральная декорация, и не хватает только великолепной гондолы, к которой сходили бы красавицы на высоких каблуках и в платьях с длинным корсажем и франты в шляпах с перьями и в коротких шелковых штанах.

Особое очарование Комо придают хорошенькие домики и сады, множество которых лепится по его берегам и соседним горным склонам. У них очень уютный и приветливый вид. В сумерках, когда все погружается в дремоту и музыка колоколов, созывающих к вечерне, медленно плывет над водой, начинает казаться, что такой рай светлого покоя можно найти только на озере Комо.

Из моего окна здесь, в Белладжо, открывается вид на противоположный берег, который красивей всякой картины. Изрезанная морщинами и трещинами гора уходит ввысь на тысячу восемьсот футов; на крохотном выступе, как раз посередине этой гигантской стены, прилепилась крохотная снежинка — церковь, на вид не больше скворечника; подножие утеса окаймляют десятки садов и померанцевых рощ, испещренных белыми крапинками, — это виднеются утонувшие в них виллы; у самого берега покачивается несколько лодок, а в отполированном зеркале озера так ясно и так ярко воссоздаются гора, часовенка, домики, рощи и лодки, что трудно понять, где кончается реальность и где начинается отражение.

Прекрасна и рама этой картины. Милей дальше в озеро врезается мыс, убранный плюмажем рощ, и в синих глубинах отражается белый дворец; на самой середине лодка разрезает сияющую гладь, оставляя позади длинный след, похожий на солнечный луч; горы за озером окутаны мечтательной лиловатой дымкой; а с другой стороны — далеко-далеко — его замыкает хаос куполообразных вершин, зеленых склонов и долин; поистине, расстояние здесь увеличивает прелесть ландшафта; на этом широком холсте солнце, облака и возможная только здесь неслыханная синева небес сливают воедино тысячи оттенков, а по его поверхности час за часом скользят туманные блики и тени, наделяя его красотой, которая кажется отражением рая. Бесспорно, такой роскоши нам еще не приходилось видеть.

Вчера вечером озеро было особенно живописно. Утесы, деревья и

белоснежные здания на том берегу отражались в нем с удивительной ясностью, а от множества светящихся в вышине окон по тихой воде бежали сияющие дорожки. На нашем берегу, совсем рядом, величественные дворцы, ослепительно белые в заливавшем их лунном свете, резко выступали из черной гущи листвы, тонущей в тени нависшего над ней утеса; а внизу прибрежная вода до мельчайших подробностей повторяла это исполненное таинственности видение.

Сегодня мы бродили по чудесному саду герцогского поместья... Но, я полагаю, хватит описаний. Я подозреваю, что именно с помощью этого места сын садовника обманул Лионскую красавицу^[59], однако точно утверждать не берусь. Быть может, вам знаком этот отрывок:

...Глубокая долина
От мира грубого укрыта в Альпах;
Над озером прозрачным померанцы
Сплелись с душистым миртом;
По ясному безоблачному небу
Лишь розовая тень скользит порой,
И к вечным небесам дворец подьмет мрамор стен
Из пышной зелени, звенящей птичьим пенем.

Все это очень мило — за исключением строки, где говорится о «прозрачности» озера.

Оно несомненно прозрачнее очень многих озер, но какой мутной кажется его вода, если сравнить ее с изумительной прозрачностью озера Тахо! Я говорю о северной части Тахо, где без труда можно сосчитать чешуйки форели, плывущей на глубине ста восьмидесяти футов. Я попытался сбыть здесь эти сведения по их номинальной стоимости, но ничего не получилось — пришлось предлагать их с пятидесятипроцентной скидкой. На этих условиях покупатели находятся; может быть, на них согласится и читатель: девяносто футов вместо ста восьмидесяти. Но помните, что эти условия навязаны мне силой, как цена, назначенная судебным исполнителем. Что касается меня лично, то я ни на йоту не уменьшу первоначальную цифру и повторяю: в этих водах, обладающих странной увеличительной способностью, можно сосчитать чешуйки форели (крупной форели), плывущей на глубине в сто восемьдесят футов, можно разглядеть на дне каждый камешек, можно даже сосчитать булавки, наколотые на подушечку. Часто приходится слышать, как хвалят

прозрачность бухты Акапулько в Мексике, но я по опыту знаю, что воды ее и в сравнение не идут с теми, о которых я рассказываю. Мне приходилось удить форель в Тахо, и на глубине (измеренной) в восемьдесят четыре фута я видел, как рыбы тянулись носами к приманке, и различал, как открываются и закрываются их жабры. А на таком же расстоянии в воздухе я и форели-то не разглядел бы.

Мысленно переносясь туда, вспоминая это благородное море, покоящееся среди снежных гор, в шести тысячах футов над океаном, я все более и более убеждаюсь, что в его августейшем присутствии Комо показало бы лишь расфуфыренным царедворцем.

Да обрушатся на наших законодателей горести и беды за то, что из года в год они позволяют Тахо сохранять это немзыкальное прозвище! Тахо! Это название не вызывает представления ни о кристально-чистой воде, ни о живописных берегах — в нем нет ничего величественного. Тахо — для этого моря среди облаков, для моря, которое обладает собственным характером и проявляет его то торжественным спокойствием, то яростной бурей! Для моря, чье царственное уединение охраняют цепи гор-часовых, поднимающих ледяные лбы на девять тысяч футов над плоским миром равнин! Для моря, всегда поражающего, во всем прекрасного! Для моря, чье одинокое величие — символ божества!

«Тахо» значит «кузнечики». Другими словами — суп из кузнечиков. Слово это индейское и характерное для индейцев. Говорят, что оно из языка пайютов, а может быть — «копачей». Я чувствую, что название озеру дали «копачи» — эти тупые дикари, которые поджаривают своих умерших родственников, растирают человеческий жир и обуглившиеся кости с дегтем, густо обмазывают полученным месивом затылки, лбы и уши и задают на горах кошачьи концерты, называя все это оплакиванием покойника! И такие-то субъекты дали название озеру!

Говорят, что слово «Тахо» означает «Серебряное озеро», «Кристальная вода», «Осенний лист». Ерунда! Это слово означает «Суп из кузнечиков» — любимое блюдо племени «копачей», да и пайютов тоже. В наши практические времена пора бы оставить пустую болтовню о поэтичности индейцев — никогда они не были поэтичными, если не считать индейцев Фенимора Купера, но это ныне вымершее племя никогда не существовало. Я близко знаком с «благородным краснокожим». Я жил с индейцами, выходил с ними на тропу войны, охотился с ними — на кузнечиков, помогал им красть скот; я скитался с ними, скальпировал их, ел их за завтраком. Я с наслаждением съел бы всю эту породу, будь у меня такая возможность.

Но я опять отвлекся. Пора вернуться к сравнению озер.

Комо, пожалуй, немного глубже Тахо, если здешние жители не врут. Они утверждают, что в этом месте глубина озера достигает тысячи восьмисот футов; но мне кажется, что для этого его синева недостаточно густа. Глубина Тахо в середине, согласно измерениям государственной геологической службы, равна тысяче пятистам двадцати пяти футам. Говорят, что большой пик напротив Белладжо имеет пять тысяч футов высоты, но я убежден, что, когда производились измерения, рейка соскользнула. Озеро в этом месте шириною в милю и сохраняет эту ширину отсюда до своего северного конца, то есть на шестнадцать миль; а отсюда до южного конца — миль пятнадцать, — его ширина, по моему мнению, нигде не превышает полумили. Окружающие его снеговые вершины, о которых столько приходится слышать, бывают видны очень редко, да и то в отдалении, — это Альпы. Ширина Тахо колеблется от десяти до восемнадцати миль, а горы смыкаются вокруг него, как стена. Их вершины круглый год покрыты снегом. Оно обладает одной очень странной особенностью: на его поверхности не появляется даже корочки льда, хотя другие озера в тех же горах, расположенные ниже, в более теплых зонах, зимой замерзают.

В такой глуши всегда приятно встретить знакомого и обменяться с ним впечатлениями. Мы наткнулись здесь на одного из наших товарищей по плаванию — старого ветерана, который ищет в этой солнечной стране мирных приключений и отдыха от своих походов^[60].

Глава XXI Прелестное озеро Лекко. — Поездка в коляске по сельской местности. — Сонная страна. — Кровавые святыни. — Сердце поповского царства. — Место рождения Арлекина. — Приближаемся к Венеции.

Мы проплыли на пароходике по озеру Лекко между дикими гористыми берегами, мимо вилл и деревушек и высадились в городке Лекко. Нам сказали, что он расположен в двух часах езды на лошадях от древнего города Бергамо и что мы доберемся туда задолго до отхода поезда. Мы наняли открытую коляску с растрепанным, шумным возницей и тронулись в путь. Поездка оказалась восхитительной. Кони были резвые, дорога ровная. Слева громоздились скалы, справа лежало прелестное озеро Лекко, и время от времени нас поливало дождем. Перед отъездом наш кучер подобрал с мостовой окурок сигары длиной в дюйм и сунул его в рот. Когда он продержал его во рту больше часа, я почувствовал, что следует проявить христианское милосердие и дать ему прикурить. Я протянул ему сигару, которую только что зажег, — он сунул ее в рот, а свой окурок спрятал в карман! Мне еще не приходилось встречать человека, который вел бы себя так непринужденно, по крайней мере после столь непродолжительного знакомства.

Теперь мы увидели внутреннюю Италию. Дома, сложенные из крупного камня, чаще всего были в плохом состоянии. Крестьяне и их дети обычно сидели сложа руки, а ослы и куры располагались в гостиной и спальне как дома, никем не тревожимые. Пригретые солнцем возницы медленно ползущих на базар тележек, которые попадались нам навстречу, все без исключения крепко спали, растянувшись на куче своих товаров. Через каждые триста — четыреста ярдов мы натыкались на изображение какого-нибудь святого, вделанное в огромный каменный крест или каменный столб у дороги. Некоторые изображения Спасителя были весьма необычны. Они представляли его распятым на кресте, с лицом, искаженным смертной мукой. Лоб, изъязвленный терновым венцом, рана, нанесенная копьем, искалеченные руки и ноги, исполосованное бичами тело — все источало потоки крови! Такое кровавое, страшное зрелище, наверное, насмерть пугает детей. Сила воздействия этих картин еще

усугублялась благодаря оригинальным вспомогательным средствам: вокруг нарисованной фигуры на видном месте располагались настоящие деревянные или железные предметы — кучка гвоздей, молоток к ним, губка и трость для нее, чаша с уксусом, лестница, по которой всходили на крест, копье, пронзившее ребра Спасителя. Терновый венец был сделан из настоящего терновника и прибит гвоздями к священной голове. На некоторых итальянских церковных фресках, даже принадлежащих кисти старых мастеров, к головам Спасителя и пресвятой девы прибиты гвоздями серебряные или золоченые венцы. Это так же нелепо, как и неуместно.

Иногда на стенах придорожных харчевен мы замечали громадные грубые изображения мучеников, точно такие же, как и изображения на крестах и столбах. То, что они нарисованы так топорно, вряд ли облегчило бы их страдания. Мы находились в самом сердце поповского царства — счастливого, беспечного, самодовольного невежества, суеверий, косности, нищеты, праздности и неизбывной тупой никчемности. И мы с жаром восклицали: «Так им и надо, пусть себе радуются вместе с прочими животными; Боже избави, чтобы кто-нибудь стал их тревожить. Мы, со своей стороны, давно уже простили этих окуривателей!»

Мы проезжали через невообразимо странные, чудные городишки, нерушимо хранящие древние обычаи, все еще лелеющие мечты глубокой старины и не слыхавшие о том, что земля вертится! Да и не интересующиеся, вертится она или стоит на месте. У здешних жителей только и дела, что есть и спать, спать и есть; порою они немного трудятся — если найдется приятель, который постоит рядом и не даст им уснуть. Им не платят за то, чтобы они думали, им не платят за то, чтобы они тревожились о судьбах мира. В них нет ничего почтенного, ничего достойного, ничего умного, ничего мудрого, ничего блестящего, — но в их душах всю их глупую жизнь царит мир, превосходящий всякое понимание! Как могут люди, называющие себя людьми, пасть так низко и быть счастливыми?

Мы проносились мимо средневековых замков, густо заросших плющом, который развернул свои зеленые знамена на башнях и зубчатых стенах — там, где некогда реял флаг какого-нибудь давно забытого крестоносца. Наш кучер указал на одну из этих древних крепостей и сказал (я даю перевод):

— Видите вот тот большой железный крюк, который торчит в стене обвалившейся башни под самым верхним окном?

Мы сказали, что на таком расстоянии разглядеть ничего не можем, но не сомневаемся, что крюк там есть.

— Так вот, — сказал он, — об этом крюке рассказывают такую

легенду. Почти семьсот лет тому назад этим замком владел благородный граф Луиджи Дженнаро Гвидо Альфонсо ди Дженова...

— А какая у него была фамилия? — спросил Дэн.

— Фамилии у него не было. Его звали так, как я сказал, и больше никак. Он был сыном...

— Бедных, но честных родителей... Ладно, ладно, без подробностей... выкладывайте легенду.

ЛЕГЕНДА

Ну, так значит, в то время весь мир бесился из-за гроба Господня. Все знатнейшие феодальные сеньоры Европы закладывали земли и тащили к ростовщику семейное серебро, чтобы снарядить отряд и, присоединившись к великим армиям христианского мира, прославиться в священных войнах. Граф Луиджи раздобыл денег теми же способами и ясным сентябрьским утром, вооружившись секирой, амбразурой и ревущей кулевриной, выехал через шишак и забрало своего донжона во главе отряда, состоявшего из таких христианских разбойников, каких не видывал мир. При нем был его верный меч Экскалибур. Прекрасная графиня и его юная дочь, заливаясь слезами, помахали ему вслед с боевых таранов и контрфорсов замка, и счастливый граф галопом помчался вперед.

Он напал на соседнего барона и захваченной добычей завершил свою экипировку. Затем он сравнял замок с землей, перерезал всех его обитателей и отправился дальше. Вот какие молодцы жилали в незабвенные дни рыцарства! Увы! Никогда больше не вернутся те славные дни.

Граф Луиджи всячески отличался в Святой Земле. В сотнях битв он кидался в самую гущу кровавой сечи, но его добрый Экскалибур неизменно выручал его, хотя не всегда мог уберечь от тяжких ран. Его лицо загорело от долгих переходов под сирийским солнцем; он изнывал от голода и жажды, томился в тюрьмах; чах в гнусных чумных бараках. И много-много раз он вспоминал о своей любимой семье, оставшейся дома, и думал: «Как-то они там?» Но сердце его отвечало: «Мир тебе! Разве не брат твой хранит дом твой?»

Пришли и прошли сорок два года; священная война была выиграна; Готфрид воцарился в Иерусалиме; христианское воинство подняло знамя креста над гробом Господним!

Смеркалось. Пятьдесят арлекинов в развевающихся рясах медленно приближались к замку, они еле брели, так как путешествовали пешком, а

пыль на их одежде свидетельствовала о том, что они идут издалека. Они нагнали старика крестьянина и спросили у него, могут ли они надеяться, что в этом замке их из христианского милосердия приютят и накормят, а также не будет ли им милостиво разрешено дать небольшое нравоучительное представление, «ибо, — заверили они, — в нем нет ничего, что могло бы оскорбить самый требовательный вкус».

— Святая мадонна! — молвил крестьянин. — С разрешения ваших милостей, вам с вашим цирком лучше убраться отсюда куда подальше, чем искать приюта своим усталым костям в здешнем замке.

— Что говоришь ты, плут? — воскликнул главарь монахов. — Объясни свои наглые речи, или, клянусь пресвятой девой, ты пожалеешь о них!

— Не гневайся, добрый скоморох, я лишь сказал правду от чистого сердца. Призываю в свидетели Сан-Паоло: коль храбрый граф Леонардо будет выпивши, он швырнет вас с самого высокого парапета! Увы, увы, настали печальные времена, добрый граф Луиджи не правит здесь более.

— Добрый граф Луиджи?

— Он самый, с разрешения вашей милости. В его времена бедняки благоденствовали, а богачей он притеснял; о налогах никто и не слыхивал, отцы церкви тучнели от его щедрот, путники приходили и уходили, и никто не чинил им помех; и всякий мог гостить под его кровом, встречая радушный прием, и вкушать его хлеб и вино. Но увы мне! Миновало уже сорок два года с тех пор, как добрый граф уехал сражаться под знаменем креста, и уже много лет о нем нет вестей. Говорят, что солнце Палестины сушит его кости.

— А теперь?

— Теперь! Боже милосердный! В замке правит свирепый Леонардо. Он душит бедняков налогами; он грабит всех путников, проходящих мимо его ворот; он проводит дни в междоусобицах и убийствах, а ночи — в пьянстве и разврате; он поджаривает отцов церкви на кухонных вертелах, с наслаждением предаваясь этой, как он говорит, забаве. Вот уже тридцать лет, как никто не видел супруги графа Луиджи, и люди шепчутся о том, что она чахнет в подземелье замка за то, что отвергла брак с Леонардо, говоря, что не верит в гибель возлюбленного мужа и предпочитает смерть измене. Шепчутся также о том, что и дочь ее заключена в темницу. О нет, добрые жонглеры, поищите для отдыха иную обитель. Уж лучше вам погибнуть христианской смертью, чем лететь с той высокой башни. Желаю здравствовать!

— Да хранит тебя Господь, благородный поселянин, прощай!

Но, невзирая на предостережение крестьянина, актеры направились прямо в замок.

Графу Леонардо доложили, что цирковая труппа ищет его гостеприимства.

— Добрая весть. Разделайтесь с ними заведенным порядком. Или нет — помедлите. Они мне пригодятся. Пусть войдут. А потом сбросьте их с парпетов. Или нет. Много ль у нас попов в наличности?

— Сегодняшний улов скуден, мой добрый сеньор. Один аббат и десяток оборванных монахов — это все, что у нас есть.

— О ад и фурии! Иль мое поместье оскудело? Введите же скоморохов. А потом поджарьте их вместе с попами.

Вошли арлекины в рясах и низко надвинутых капюшонах. Хмурый граф торжественно восседал за столом, окруженный советниками. Сто конных дружинников в полном вооружении стояли вдоль стен парадной залы.

— Ха! Презренные шуты! — рек Леонардо. — Чем можете вы заслужить гостеприимство, о коем молитесь?

— Могучий и грозный властелин! Публика, битком набивавшая залы, вознаграждала наше смиренное искусство восторженными рукоплесканиями. Нашу труппу украшает наделенный многими талантами Уголино, справедливо прославленный Родольфо, даровитый искусник Родриго; дирекция не пожалела ни трудов, ни затрат, дабы...

— Кровь и смерть! Что вы умеете *делать*? Укроти бессмысленно болтающий язык!

— Ах, добрый господин, искусны мы и в акробатических штуках, и в упражнениях с гирями, и в хождении по канату, а также в кувыркании на земле и в воздухе; коль твоя светлость изволит спрашивать, я беру на себя смелость заявить во всеуслышание, что в поистине чудесной и забавной зампиллоаэростатике...

— Заткните ему рот! Придушите его! Клянусь Бахусом! Или я пес, что должен выслушивать столь многосложное богохульство? Нет, постойте! Лукреция, Изабелла, подойдите сюда. Плут, узри сию благородную даму, сию рыдающую девицу. Не истечет еще и часа, как я женюсь на первой, а коль вторая не осушит слез, коршуны пожрут ее тело. Ты и твои бродяги своими фокусами украсите наш брачный пир. Попа введите!

Благородная госпожа кинулась к главному актеру.

— О, спаси меня! — вскричала она. — Спаси меня от жребия, который хуже смерти! Взгляни на эти скорбные глаза, на эти запавшие щеки, на это иссохшее тело! Взгляни на дело рук этого дьявола, и пусть твое сердце

преисполнится жалости! Взгляни на эту благородную девушку — как исхудала она, как неровна ее походка, как бледны щеки, на которых должны бы цвести розы юности и счастье ликовать в улыбках! Выслушай нас и сжался над нами. Это чудовище — брат моего мужа. Он — чей долг был стать нам щитом от всех бед, — он запер нас в зловонных подземельях донжона своего и протомил нас там ужасных тридцать лет! А за какое преступление? За то лишь, что не хотела я нарушить долг святой и вырвать из души горячую любовь к тому, кто с воинством Христовым сражается в Святой Земле (ведь — о! — он жив!), и обвенчаться с ним! Спаси нас, о, спаси гонимых, тех, кто припадает к ногам твоим с мольбой.

Она упала к его ногам и обняла его колени.

— Ха! Ха! Ха! — закричал свирепый Леонардо. — За дело, поп! — И он оторвал несчастную от ее прибежища. — Отвечай раз и навсегда, будешь ты моей или нет? А коль откажешь, головой клянусь, что слово отказа будет твоим последним словом на земле!

— НИКОГДА!

— Умри же! — И меч вырвался из ножен.

Быстрее мысли, быстрее вспышки молнии слетело пятьдесят монашеских одеяний, и взорам открылись пятьдесят рыцарей в сверкающих латах! Пятьдесят благородных клинков взвилось над конными дружинниками, но ярче и яростней всех, пламенея, взметнулся Эскалибур и, опустившись, выбил меч из рук свирепого Леонардо!

— За Луиджи! За Луиджи! Ого-го-го-го!

— За Леонардо! Круши их!

— О Боже! О Боже! Мой муж!

— О Боже! О Боже! Моя жена!

— Мой отец!

— Радость моя! (Немая сцена.)

Граф Луиджи связал брата-узурпатора по рукам и ногам. Для хорошо тренированных палестинских рыцарей было детской забавой изрубить в котлеты и бифштексы неуклюжих конных дружинников. Победа была полная. Воцарилось всеобщее счастье. Все рыцари женились на дочери. Радость! Пир горой! Конец!

— А что сделали со злым братом?

— А, пустяки — только повесили его на том железном крюке, о котором я вам говорил. За подбородок.

— За что, за что?

— Поддели крюком за жабры.

— И оставили там?

- Года на два.
- А... а... он умер?
- Шестьсот пятьдесят лет тому назад или около того.
- Чудесная легенда... чудесное вранье!.. Трогай.

Мы приехали в старинный, прославленный в истории город Бергамо примерно за три четверти часа до отхода поезда. В городе около сорока тысяч жителей, и он замечателен тем, что здесь родился Арлекин. Когда мы это открыли, легенда нашего кучера показалась нам еще интереснее.

Отдохнув и закусив, мы, счастливые и довольные, вошли в вагон. Я не стану медлить, описывая красивое озеро Гарда; ни замок на его берегу, скрывающий в своей каменной груди тайны столь древних времен, что даже предания о них молчат; ни величественные окрестные горы; ни древнюю Падую или надменную Верону, ни их Монтекки и Капулетти; ни все их знаменитые балконы и гробницы Ромео и Джульетты; ни также все прочее, — а поспешу к древнему городу, восставшему из вод моря, к овдовевшей супруге Адриатики^[61]. Ехали мы очень долго. Но к вечеру, когда мы, смолкнув, почти не сознавая, где находимся, погрузились в тихую задумчивость, которая всегда приходит на смену урагану разговоров, кто-то крикнул:

— *Венеция!*

В лиге от нас, на лоне спокойного моря, лежал великий город, и золотая дымка заката окутывала его башни, купола и колокольни.

Глава XXII. Ночь в Венеции. — Веселый гондольер. — Великолепный праздник при лунном свете. — Достопримечательности Венеции. — Забытая праматерь всех республик.

Венеция — надменная, непобедимая, великолепная республика, чьи армии на протяжении четырнадцати столетий вызывали невольное восхищение всего мира, где бы и когда бы они ни сражались, чей флот господствовал над морями, чьи купеческие корабли, белея парусами, бороздили самые далекие океаны и заваливали ее пристани товарами из всех частей света, — Венеция впала в бедность, безвестность и печальную дряхлость. Шестьсот лет тому назад Венеция была владычицей торговли, она была величайшим торговым центром, откуда неисчислимые товары Востока расходились по всему западному миру. А теперь ее пристани безмолвны, торговые склады опустели, купеческие флотилии исчезли, от армий и военного флота остались лишь воспоминания. Она утратила былую славу и дремлет среди затхлых лагун, в обветшалом величии своих пристаней и дворцов, одинокая, обнищавшая и забытая. Она, в дни своего расцвета управлявшая торговлей полумира, одним мановением дарившая народам счастье или горе, стала теперь смиреннейшим из земных городов — мелким лавочником, продающим дамские стеклянные бусы, игрушки и дешевые украшения для малых детей и школьниц.

Древняя праматерь всех республик — едва ли подходящая тема для пустого острословия или бездумной болтовни туристов. Есть что-то святотатственное в том, чтобы тревожить ореол романтики прошлого, которая рисует ее нам в дали веков, как бы сквозь цветную дымку, скрывая от нашего взора ее упадок и запустение. Нет, лучше отвернуться от ее лохмотьев, нищеты и унижения и помнить ее только такой, какой она была, когда потопила корабли Карла Великого^[62], когда смирила Фридриха Барбароссу^[63] или развернула победные знамена на стенах Константинополя^[64].

Мы приехали в Венецию в восемь часов вечера и уселись в катафалк, принадлежащий Grand Hotel d'Europe^[65]. Во всяком случае, эта штука больше всего напоминала катафалк, хотя, собственно говоря, это была гондола. Вот какой оказалась легендарная венецианская гондола!

Волшебный челн, в котором знатные кавалеры былых времен скользили по залитым лунным светом каналам, глядя красноречивым, исполненным любви взором в томные глаза красавиц патрицианок, пока веселый гондольер в шелковом камзоле, наигрывая на гитаре, пел так, как умеют петь только гондольеры! И это — прославленная гондола? И это — пышно одетый гондольер? Порыжелая старая пирога чернильного цвета с траурным балдахинном, прилаженным посередине, и босой чесоточный оборвыш, выставляющий напоказ некогда белую часть своего туалета, которую не следовало бы открывать святотатственным взорам посторонних. Не прошло и нескольких минут, как, обогнув угол и повернув свой катафалк в унылую канаву, зажатую между двумя рядами высоченных необитаемых домов, веселый гондольер, следуя традициям своего племени, начал петь. Некоторое время я терпел. Потом я сказал:

— Вот что, Родриго Гонзалес Микеланджело, я паломник и я здесь человек новый, но я не допущу, чтобы мои уши терзали визгом тупой пилы. Если это будет продолжаться, один из нас окажется за бортом. Хватит и того, что я навеки лишился иллюзий, которые столько лет лелеял в сердце, — романтической венецианской гондолы и пышно одетого гондольера; этот процесс разрушения дальнейшего развития не получит; я против воли соглашаюсь на катафалк и не препятствую тебе размахивать белым флагом, но большего я не потерплю: я приношу страшную, кровавую клятву, что петь ты не будешь. Еще один вопль — и ты отправишься за борт!

Я уже было решил, что от старой Венеции преданий и песен не осталось и следа. Но я поторопился. Плавнов повернув, мы заскользили по Большому Каналу, и в мягком лунном свете перед нами открылась Венеция поэзии и мечты. Прямо из воды поднимался бесконечный ряд величественных мраморных дворцов; всюду мелькали быстрые гондолы, внезапно исчезая в скрытых воротах и проулках; тяжелые каменные мосты бросали черные тени на мерцающую воду. Повсюду была жизнь и движение, но вместе с тем повсюду царило молчание, крадущая тишина, как будто скрывающая тайные дела брави и влюбленных; угрюмые древние здания республики, одетые наполовину лунным светом, а наполовину — непроницаемой тьмой, казалось и теперь следили за ними. Музыка проплыла над водой, — такой мы и ждали Венецию.

Это была пленительная картина, исполненная нежной, мечтательной красоты. Но разве могла сравниться эта вечерняя Венеция с Венецией ночной? Конечно нет. Мы попали на праздник — великолепный праздник в честь какого-то святого, который триста лет тому назад способствовал прекращению холеры, — и вся Венеция высыпала на каналы. Праздник

был особенно пышен, так как венецианцы знали, что услуги святого могут скоро им снова понадобиться, — ведь холера подступала все ближе. И вот на широкой водной глади — около трети мили в ширину и двух миль в длину — собралось две тысячи гондол, украшенных цветными фонариками; на каждой было от двух до десяти — двадцати — даже тридцати таких фонариков и от четырех до двенадцати пассажиров. Насколько хватало глаз, всюду виднелись скопления разноцветных огоньков — словно пестрые клумбы в огромном саду, с той только разницей, что эти цветы ни минуты не оставались неподвижными: они безостановочно скользили, исчезали, сходились и расходились, и невозможно было удержаться, чтобы не следить за их сложным кружением. Иногда яркий отблеск взлетающей ракеты — красный, зеленый или голубой — озарял все соседние лодки. Каждая проплывавшая мимо нас гондола с полумесяцами, пирамидами и кругами подвешенных наверху фонариков, бросавших свет на юные лица внизу, свежие и прелестные, была прекрасна, а отражения огней, убегające вдаль, дрожащие, бесчисленные, многоцветные, разбиваемые и расплескиваемые рябью, тоже были исполнены невыразимого очарования. Компании знатной молодежи ужинали в своих богато украшенных парадных гондолах, где им прислуживали захваченные из дому лакеи во фраках и в белых галстуках, а столы были сервированы, как для свадебного обеда. На этих гондолах горели дорогие стеклянные люстры, взятые, я думаю, из гостиных, так же как и шелковые кружевные занавеси. В них были клавесины и гитары, и молодые люди играли и пели арии из опер, а плебейские гондолы с бумажными фонариками — гондолы предместий и темных проулков — теснились кругом, чтобы поглазеть и послушать.

Музыка гремела всюду — хоры, струнные оркестры, духовые оркестры, флейты, — ну, словом, все. Я был окружен, заперт в музыке, великолепии и красоте и так проникся духом, царившим вокруг, что тоже запел песенку. Однако, когда я заметил, что соседние гондолы отплыли подальше, а мой гондольер собирается прыгнуть за борт, я замолчал.

Праздник был великолепен. Он длился всю ночь, и пока он не кончился, я пребывал в неумном восторге.

Эта царица Адриатики удивительно забавный старый город! Узенькие улицы, обширные хмурые мраморные дворцы, почерневшие от едкой сырости столетий, встающие прямо из воды; нигде не видно ни клочка суши, ни одного заслуживающего упоминания тротуара, — когда хочешь пойти в церковь, в театр или в ресторан, приходится брать гондолу. Настоящий рай для калек — поистине, человеку здесь ноги ни к чему.

Первые несколько дней я никак не мог отделаться от впечатления, что нахожусь в каком-то арканзасском городишке, затопленном весенним паводком, — здесь неподвижная вода тоже подступала к самым порогам, и лодки стояли на причале под окнами или мелькали в проулках и в тупичках, — и все ждал, что вот-вот река спадет, оставив на домах грязную метку наивысшего уровня, которого достигла вода, а на улицах — кучи грязи и мусора.

В ярком блеске дня Венеция не кажется поэтичной, но под милосердными лучами луны ее грязные дворцы снова становятся белоснежными, потрескавшиеся барельефы скрываются во мраке, и старый город словно вновь обретает величие, которым гордился пятьсот лет тому назад. И тогда воображение с легкостью населяет тихие каналы кавалерами в шляпах с перьями, их прекрасными возлюбленными, Шейлоками в лапсердаках и туфлях, дающими ссуды венецианским купцам под залог богатых галер, венецианскими маврами и нежными Дездемонами, коварными Яго и легкомысленными Родриго, победоносными армадами и доблестными армиями, возвращающимися с войны. В предательском солнечном свете Венеция лежит перед нами одряхлевшая, заброшенная, обнищавшая, лишившаяся своей торговли, забытая и никому не нужная. Но в лунном свете четырнадцать веков бывшего величия одевают ее славой, и снова она — горделивейшее из государств земли.

Над лоном моря чудный город встал. ^[66]
На площадях его и в переулках
Прилив сменяется отливом; льнут
К подножию дворцов морские травы;
Тропа протоптанная не ведет
К его вратам. Лежит но морю путь
Незримый. И, оставив сушу, мы
Вступили в град, плывущий по водам,
По улицам скользили, как во сне,
Беззвучно — мимо легких куполов,
На мавританские похожих; мимо
Купающихся в синем небе статуй
И мимо множества дворцов, в которых
Купцы когда-то жили, как цари.
Источенные временем фасады
Еще искусства красками сверкали.
Казалось, что сквозь мраморные стены

Богатство скрытое наружу просочилось.

Что в первую очередь хочется увидеть в Венеции? Мост Вздохов, разумеется, а потом собор и площадь святого Марка, бронзовых коней и знаменитого льва святого Марка.

Мы собирались посетить Мост Вздохов, но сперва попали во Дворец Дожей — здание, которое, естественно, занимает большое место в венецианской поэзии и преданиях. В зале сената древней республики мы чуть не ослепли, разглядывая бесконечные акры исторических картин Тинторетто и Паоло Веронезе, но ничто не поразило нас, за исключением того, что поражает всех иностранцев, — черный квадрат среди портретов. По всем четырем стенам зала длинными рядами тянутся портреты венецианских дожей (почтенных старцев с пышными белыми бородами, потому что из трехсот сенаторов — кандидатов в дожи — обычно избирали старейшего), и под каждым — хвалебная надпись; но вот подходишь к месту, где должно быть изображение Марино Фальеро^[67], и видишь зияющую черную пустоту с краткой надписью, гласящей, что изменник за свое преступление был казнен. Жестоко, что на стене сохраняется безжалостная надпись, хотя несчастный уже пятьсот лет спит в могиле.

На площадке Лестницы Гигантов, где была отрублена голова Марино Фальеро и где в старину короновали дожей, нам показали две узкие щелки в каменной стене, два безобидных незаметных отверстия, которые не привлекли бы внимания непосвященных, — но тем не менее это были грозные Львиные пасти! Голов больше нет (их отбили французы, когда захватили Венецию^[68]), но это — глотки, через которые столько раз падал безымянный донос, глухой ночью опущенный в Львиную пасть вражеской рукой, и ни в чем не повинный человек был обречен: пройдя через Мост Вздохов, он спускался в темницу, не надеясь больше увидеть солнце. Так было в старину, когда Венецией правили патриции, а у простого люда не было права голоса. Патрициев было полторы тысячи, из них избиралось триста сенаторов, из сенаторов избирался дож и Совет Десяти, а Десять тайным голосованием выбирали из своей среды Совет Трех. Таким образом, все они были шпионами правительства, и каждый шпион сам находился под надзором, — в Венеции говорили шепотом, и никто не доверял ни соседу, ни даже родному брату. Никто не знал, кто входит в Совет Трех, — даже сенат, даже дож; члены этого внушавшего ужас судилища собирались по ночам в потайной комнате, где, кроме них, никого не было; они приходили в масках, с ног до головы закутанные в багряные

плащи, и если узнавали друг друга, то только по голосу. Их обязанностью было судить за государственные преступления, и никто не мог отменить их приговора. Достаточно было кивка палачу. Приговоренного выводили в зал, оттуда через крытый Мост Вздохов его путь вел в темницу и к смерти. И пока он шел, его видел только провожатый. В те далекие дни, если человек кого-нибудь ненавидел, самым простым способом избавиться от своего врага было тайком сунуть в Львиную пасть записку для Совета Трех: «Этот человек злоумышляет против правительства». Если ужасные Трое не находили подтверждения доносу, в девяти случаях из десяти они все-таки приказывали утопить обвиняемого, считая, что он — особенно опасный негодяй, раз до его злоумышления не удалось докопаться. Судьи и палачи в масках, чья власть была безгранична и чьи приговоры не подлежали обжалованию, в тот суровый и жестокий век вряд ли проявляли снисходительность к людям, которых они подозревали, но вину которых не могли доказать.

Мы прошли через зал Совета Десяти и оказались в адской берлоге Совета Трех. Стол, за которым они собирались, все еще стоит здесь, сохранились и плиты, на которых когда-то, застыв в немой неподвижности, инквизиторы и палачи в масках ждали кровавого приказа, а затем молча отправлялись исполнять его с неумолимостью машин, — да в сущности каждый из них и был машиной. Фрески на стенах удивительно подходили для этого места. В остальных комнатах, залах, парадных апартаментах дворца украшенные богатой резьбой стены и потолки сияли позолотой, поражали великолепием картин, изображавших блистательные военные победы венецианцев и их роскошные посольства к иностранным дворам, и вызывали благоговение полотнами, с которых смотрели пресвятая дева, Спаситель и святые, проповедовавшие евангелие мира на земле; но здесь — какой мрачный контраст! — всюду виднелись изображения смерти и страшных пыток! Все живые извивались в агонии, все мертвые были залиты кровью, покрыты ранами, а лица их хранили выражение предсмертных мук!

От дворца до угрюмой тюрьмы — только один шаг. Кажется, что разделяющий их узкий канал легко перепрыгнуть. На уровне второго этажа через него перекинут каменный Мост Вздохов — закрытый туннель; когда вы идете по нему, вас не видно. Он во всю длину разделен перегородкой; в старину по одному коридору проходили приговоренные к легким наказаниям, а по другому брели несчастные, которых Трое обрекли на долгую муку и полное забвение в темницах или на внезапную, таинственную смерть. Внизу, ниже уровня воды, при свете дымящих

факелов нам показали сырые камеры, за толстыми стенами которых жизнь стольких гордых патрициев медленно угасала в страданиях и лишениях одиночного заключения — без света, воздуха, книг; нагой, небритый, нечесаный, покрытый насекомыми человек, которому не с кем было разговаривать, постепенно терял ненужный ему дар речи; дни и ночи его жизни, ничем не отличавшиеся друг от друга, сливались в одну бесконечную, бессменную ночь; ни один радостный звук не нарушал тишины склепа; друзья, бессильные ему помочь, забывали о нем, а его судьба навеки оставалась для них неразгаданной тайной; наконец и он лишился памяти и уже больше не знал, кто он такой и как сюда попал; теперь он бездумно пожирал хлеб и выпивал воду, которые ставили в темницу невидимые руки, и уже не мучил свою истерзанную душу надеждами, страхами, сомнениями и тоской о свободе; он уже не выцарапывал тщетные молитвы и жалобы на стенах, где никто — даже он сам — не мог их увидеть, и, перестав бороться, впадал в безнадежную апатию, идиотизм, безумие! Сколько подобных печальных историй могли бы поведать эти каменные стены, если бы они умели говорить.

В соседнем тесном коридорчике нам показали место, куда порой приводили узника после долгих лет заключения, когда его успевали забыть все, кроме его гонителей, и тут палачи в масках душили его шнурком или, зашив в мешок, глухой ночью спускали через узенькое отверстие в лодку, увозили подальше и топили.

Посетителям показывают орудия пытки, при помощи которых Трое выводывали тайны обвиняемых: гнусные приспособления для раздробления больших пальцев; колодки, в которых узник не мог пошевелиться, когда ему на голову капля за каплей падала вода, пока наконец эта мука не становилась нестерпимой; дьявольский стальной механизм, который, как скорлупа, облегал голову узника и при помощи винта медленно раздавливал ее, — на нем еще сохранились пятна крови, давным-давно просочившейся сквозь шарниры, а сбоку у него торчал выступ, на который с удобством опирался палач, нагибавшийся, чтобы расслышать стоны пытаемого.

Разумеется, мы отправились осмотреть величественный обломок былой славы Венеции, каменный пол которого за тысячу лет истерся и потрескался под ногами плебеев и патрициев, — собор св. Марка. Он целиком построен из драгоценных сортов мрамора, привезенного с Востока; никакие местные материалы при его постройке не применялись. Его глубокая древность вызывает интерес даже у самого легкомысленного иностранца; с этой точки зрения он был интересен и мне, — но только с

этой точки зрения. Меня не восхитили ни грубая мозаика, ни некрасивый византийский стиль, ни пятьсот причудливых колонн внутри, привезенных из пятисот дальних каменоломен. В соборе все истерто — каждый камень отполирован и сглажен прикосновениями ладоней и плеч праздных людей, которые в давнопрошедшие времена благочестиво бездельничали здесь, а потом умерли и отправились к чер... то есть нет — просто умерли.

Под алтарем покоится прах святого Марка, а также Матфея, Луки и Иоанна^[69] — собственно, почему бы и нет? Венеция почитает эти останки превыше всего на свете. В течение четырнадцати столетий святой Марк был ее патроном. В городе, по-видимому, все названо либо в его честь, либо так, чтобы как-то напомнить о нем, завязать с ним хотя бы шапочное знакомство. В этом, кажется, вся суть. Быть в хороших отношениях со святым Марком — предел венецианского честолюбия. Говорят, у святого Марка был ручной лев, которого он обыкновенно брал с собой в путешествия; и куда бы ни шел святой Марк, лев следовал за ним по пятам. Лев был его защитником, его другом, его библиотекарем. И вот крылатый лев святого Марка, придерживающий лапой открытую Библию, стал излюбленной эмблемой великого древнего города. На площади святого Марка его тень падает с самой древней колонны Венеции на толпы свободных граждан внизу, как падала уже много веков. Крылатые львы торчат повсюду, — и нет сомнения, что там, где находится крылатый лев, не может случиться никакой беды.

Святой Марк умер в Александрии Египетской. Если не ошибаюсь, он принял мученический венец. Однако это не имеет отношения к легенде, которую я хочу рассказать. В дни основания Венеции — примерно в сорок-пятидесятом году после рождения Христа (ибо Венеция намного моложе остальных итальянских городов) — некий священник увидел во сне ангела, и тот сказал ему, что, пока в Венецию не будут перенесены останки святого Марка, этот город не прославится среди царств земных; что прахом святого необходимо завладеть, перенести его в город и построить над ним великолепный собор; и что если когда-нибудь венецианцы позволят перенести святого куда-нибудь еще из его нового места упокоения, то Венеция в тот же день исчезнет с лица земли. Священник оповестил граждан о своем сне, и Венеция немедленно принялась добывать тело святого Марка. Одна экспедиция за другой терпели неудачу, но попытки не прекращались в течение четырехсот лет. Наконец в году восемьсот с чем-то Венеция получила его при помощи хитрости. Глава венецианской экспедиции, переодевшись, украл скелет, разобрал его на отдельные кости и уложил их в сосуды, наполненные

свиным салом. Религия Магомета запрещает своим последователям прикасаться к свинине; и вот, когда стражи остановили христианина у ворот города, они, едва заглянув в корзину с драгоценным грузом, брезгливо отворотили от нее носы и пропустили его. Кости были погребены в сводчатом склепе знаменитого собора, столько лет дожидавшегося их, и таким образом безопасность и величие Венеции были обеспечены. И по сей день в Венеции найдутся люди, верящие, что если бы святой прах похитили, то древний город исчез бы, как дым, а следы его навсегда скрыло бы море, которое не умеет помнить.

Глава XXIII. Знаменитая гондола. — Площадь святого Марка и крылатый лев. — Снобы на родине и за границей. — Гробницы великих покойников. — Удар по старым мастерам. — Едем дальше.

Скользящие движения венецианской гондолы свободны и грациозны, как у змеи. В длину она имеет футов двадцать — тридцать и узка, как индейская пирога; острый нос и корма поднимаются из воды, как рога полумесяца, только крутизна дуги чуть-чуть смягчена.

Нос украшен стальным гребнем с прикрепленным к нему боевым топором, который порой угрожает разрезать встречные лодки пополам, чего, впрочем, никогда не случается. Гондолы красят в черный цвет потому, что, когда Венеция была в зените своего великолепия, пышность гондол перешла все границы, и сенат издал закон, запрещающий подобную роскошь и предписывавший делать все гондолы черными и без всяких украшений. Если бы мы смогли докопаться до истинной причины этого постановления, то несомненно оказалось бы, что богатые плебеи, разъезжая по Большому Каналу, слишком уже явно старались выдать себя за патрициев, и понадобились твердые меры, чтобы поставить их на место. Из благоговения перед обоготворяемым прошлым и его традициями эта унылая мода сохраняется, хотя закон, который ее ввел, давно уже утратил силу. Да будет так. Черный цвет — цвет траура. Венеция носит траур.

Корма перекрыта помостом, на котором стоит гондольер. Он гребет одним веслом — разумеется, с длинной лопастью, потому что он стоит, почти не сгибаясь. Деревянный колышек в полтора фута высотой с двумя крюками, или выступами, справа и одним — слева, торчит над планширом правого борта. На этот колышек гондольер опирает весло, иногда перекладывая его на другую сторону или вставляя в другой крюк, — в зависимости от того, куда ему надо направить лодку. Но как ему удастся тормозить лодку, заставлять ее пятиться, гнать ее совершенно прямо вперед или резко поворачивать так, чтобы весло при этом не сорвалось с едва заметных зарубок, остается для меня неразрешимой загадкой и источником неизменного интереса. Боюсь, что я больше люблю изумительным искусством гондольера, чем богато украшенными дворцами, мимо которых

мы скользим. Порою, когда он слишком близко огибает угол дома или проносится мимо встречной гондолы буквально на расстоянии волоска, я весь «ежусь», как говорят дети, словно человек, локоть которого зацепило колесо проезжающей повозки. Но гондольер рассчитывает свои движения с замечательной точностью и лавирует среди хаоса снующих лодок с уверенной небрежностью опытного извозчика. Он никогда не ошибается.

Иногда мы проносимся по большим каналам с такой быстротой, что едва успеваем заглянуть в двери парадных, а иногда, в темных проулках предместий, мы проникаемся величавым спокойствием, гармонирующим с тишиной, плесенью, гниющей водой, цепкими водорослями, необитаемыми домами, запустением, которое царит кругом, и движемся медленно, как и подобает при серьезных раздумьях.

Гондольер — все-таки очень живописная каналья, хоть он и не носит атласного камзола, шляпы с перьями и коротких шелковых штанов. Осанка его горделива, он гибок и подвижен, каждое его движение грациозно. Когда его стройная фигура, возвышающаяся на приподнятой корме узкой пироги, вдруг вырисовывается на фоне вечернего неба, эта картина чарует иностранца своей новизной и необычностью.

Мы сидим на подушках пассажирской каютки, отдернув занавески, курим и либо читаем, либо рассматриваем встречные лодки, дома, мосты, людей; и это гораздо приятнее, чем дома трястись в пролетке по булыжной мостовой. Ни у одного экипажа нет такого ровного, мягкого хода, как у гондолы.

Но очень странно — просто очень — видеть лодку в роли собственной кареты. Мы видим, как коммерсанты, выйдя на крыльцо, садятся вместо омнибуса в гондолу и отправляются в свои конторы. Мы видим, как юные девицы, прощаясь на крыльце с подругой, целуются, играют веерами и щебечут: «Навестите нас поскорее... ах, пожалуйста, вы и так нас совсем забыли... мама просто жаждет вас видеть... И ведь мы переехали в новый дом — просто очарование! — совсем близко от почты, и от церкви, и от Союза христианских молодых людей; и у нас там *такие* места для рыбной ловли, мы так веселимся, устраиваем состязания по плаванию на заднем дворе... Нет, вы просто *должны* нас навестить — ведь это совсем рядом, а если ехать мимо св. Марка, под Мостом Вздохов, а потом через переулок мимо церкви Санта-Мария-деи-Фрари и по Большому Каналу, то течение совсем незаметно... Ну, приезжайте же, Салли-Мария... до свидания, до свидания!» Затем юная лицемерка сбегает по ступенькам, впархивает в гондолу, шепчет: «Противная старая дева, хоть бы она не приехала!» — и скрывается за углом; а вторая девица захлопывает дверь и говорит: «Ну,

слава Богу, это испытание кончилось... но, делать нечего, придется съездить к этой надутой болтунье!» Человеческая природа, кажется, одинакова во всем мире. Мы видим, как застенчивый молодой человек с жидкими усиками, густой шевелюрой, убогим умишком и в элегантном костюме подъезжает к дому ее отца, приказывает своему извозчику причалить и ждать, робко поднимается по ступенькам — и на самом пороге встречает «старика»! Слышим, как он спрашивает адрес нового отделения Английского банка — как будто приехал только ради этого, — опрометью кидается в свою лодку и улепetyвает, а его трусливая душа уходит в пятки... Видим, как он снова прокрадывается из-за угла, поглядывая в щелку между занавесками вслед исчезающей гондоле папаши, и как на крыльцо выскакивает его Сюзен, с губ которой слетает стайка итальянских нежностей, и отправляется с ним по водным улицам кататься в сторону Риальто.

Мы видим, как дамы самым обычным образом занимаются покупками, разъезжая по улицам из магазина в магазин, как это у них водится, с той только разницей, что у входа их часами дожидается не карета, а гондола, — дожидается, пока они заставляют любезных молодых приказчиков сбрасывать перед ними на прилавок тонны шелка, бархата, «муара антик» и многого другого в том же роде, после чего, купив пачку булавок, отправляются по волнам столь же разорительным образом поддерживать коммерцию других фирм. И они просят доставить свои покупки на дом, так же как это заведено повсюду. Несомненно, человеческая природа одинакова во всем мире; и когда я вижу, как венецианская дама покупает в магазине голубую ленточку ценой в десять центов и отправляет ее домой на барже, мне кажется, что я нахожусь на моей любимой родине. Ах, именно эти мелочи, такие человечные, трогают вас до слез в далеких, чужих краях.

Мы видим, как дети в сопровождении нянек отправляются гулять в гондолах. Мы видим, как целые семьи, с молитвенниками и четками в руках, разодетые по-праздничному, степенно усаживаются в гондолу и отплывают в церковь. А в полночь мы видим, как начинается театральная разъезд, как из распахнутых дверей потоком изливаются веселые толпы молодых людей; мы слышим крики наемных гондольеров и наблюдаем за толкотней нетерпеливых пассажиров, за темной вереницей лодок, скользящих по залитым лунным светом проспектам; мы видим, как то одна, то другая, сворачивая, исчезает в поперечных улицах; до нас долетают взрывы смеха, прощальные возгласы замирают в отдалении; а потом, когда кончается этот странный карнавал, мы остаемся наедине с пустынной гладью чуть мерцающей воды, с величавыми зданиями, с чернильными

теньями, со страшными каменными лицами, выползающими на лунный свет, с безлюдными мостами и неподвижными лодками у причалов. И над всем этим нависает то загадочное молчание, та крадущаяся тишина, которые так гармонируют со старой Венецией, грезящей о прошлом.

Где мы только не побывали в нашей гондоле! Мы покупали бусы и открытки с видами в магазинах и спички на площади святого Марка. Кстати о площади святого Марка. По вечерам все здесь отправляются на эту обширную площадь. В середине ее играет военный оркестр, а вокруг прогуливаются бесчисленные пары; целыми взводами они проходят мимо древнего собора, мимо старинной колонны с крылатым львом святого Марка и затем туда, где стоят у причала лодки; но постоянно прибывают гондолы со взводами пополнения, которые присоединяются к густой движущейся толпе. Между потоком гуляющих и тротуарами, за маленькими столиками сидят сотни людей, которые курят или едят *granita* (двоюродную сестру мороженого); и на тротуарах множество других людей занято тем же. Магазины в первом этаже высоких домов, с трех сторон окаймляющих площадь, ярко освещены, воздух звенит от музыки и веселых голосов, — и, короче говоря, вся картина так пестра, полна такого праздничного оживления, что просто больше нечего желать. Все это нам страшно нравится. Кругом много хорошеньких женщин, одетых с редким вкусом. Мы постепенно, прилагая большие усилия, учимся невежливо смотреть им прямо в лицо, — не потому, что такое поведение доставляет нам удовольствие, а потому, что таков местный обычай, и нам сказали, что дамы это любят. Мы хотим изучить все любопытные и непривычные правила хорошего тона, принятые в разных странах, чтобы можно было пофорсить дома перед изумленными приятелями. Мы хотим, чтобы наши друзья непутешественники прониклись завистью к нашим оригинальным иностранным привычкам, от которых мы никак не можем избавиться. Все пассажиры «Квакер-Сити» ревностно занимаются этим изучением с той же похвальной целью. Любезный читатель, если он не побывает за границей, так и не узнает, какой законченный осел мог бы из него выйти. Я, разумеется, исхожу из предположения, что любезный читатель не бывал за границей и поэтому он еще не законченный осел. Если же дело обстоит иначе, я прошу прощения и, протянув ему руку дружбы, называю его братом. Когда я кончу путешествовать, то буду рад знакомству с такими симпатичными осликами.

Кстати, на ту же тему: позвольте сообщить вам, что в Италии есть американцы, которые за три месяца самым серьезным образом забыли свой родной язык — забыли его во Франции. Даже собственный адрес в книге

для проезжающих они пишут обязательно по-французски. Прилагаю следующие доказательства, которые я списал verbatim^[70] в отеле некоего итальянского города:

Джон П. Уитком, Etats Unis^[71].

У. Л. Эйнсуорт, travailleur^[72]. (Я полагаю, он подразумевал traveller)^[73].

Джордж П. Мортон et fils, d'Amerique^[74].

Ллойд Б. Уильямс, et trois amis, ville de Бостон, Amerique^[75].

Дж. Элсуорт Бейкер, tout de suite de France; place de naissance Amerique; destination — la Grande Bretagne^[76].

Я обожаю таких людей. Одна из наших пассажирок рассказывала, как ее земляк, который пробыл два месяца в Париже, вернувшись домой, назвал своего закадычного друга Герберта Эрбером! Впрочем, он извинился и сказал: «Ей-Богу, это просто невыносимо, но я ничего не могу с собой поделать. Я так привык к французскому прононсу, мой милый Эрбер, — черт возьми, опять! — так привык к французскому прононсу, что никак не могу от него избавиться. Ужасно неприятно, уверяю тебя». Этот занятный идиот, которого звали Гордоном, заставлял окликать себя на улице по три раза, прежде чем отозваться, а потом рассыпался в извинениях и объяснял, что привык к обращению «мсье Горррдон» и забыл, как звучит его собственное имя! Он носил в петличке розу; он прощался на французский манер — двойным взмахом правой руки перед лицом; он называл Париж — «Пари» в обыкновенном разговоре на родном языке; он таскал в нагрудном кармане конверты так, что были видны заграничные марки; он отрастил усы и острую бородку и вообще прилагал огромные усилия, чтобы заставить всех поверить в его воображаемое сходство с Луи-Наполеоном, — сходство, которым он очень гордился; и сверх того, преисполненный благодарности, совершенно необъяснимой, принимая во внимание, как мало было для нее оснований, он восхвалял творца за то, что тот создал его таким, каков он есть, и продолжал радоваться своей крохотной жизни так, как будто его и в самом деле специально задумал и воздвиг великий Зодчий Вселенной.

Представьте себе только наших Уиткомов, наших Эйнсуортов, наших Уильямсов, которые расписываются на ломаном французском языке в книгах заграничных отелей! Дома мы смеемся над англичанами, которые так упрямо держатся своих национальных привычек и обычаев, но здесь, за границей, мы вспоминаем об этом очень снисходительно. Неприятно видеть, как американец в чужой стране всячески хвастает своей национальностью, но просто гадко смотреть, как он корчит из себя нечто совсем уж

странное, — получается уже не мужчина, не женщина, не рыба, не мясо, не дичь, а жалкий, ничтожный гермафродит-француз!

Из множества церквей, картинных галерей и прочего, что мы видели в Венеции, я упомяну только одно — церковь Санта-Мария-деи-Фрари. Ей, если не ошибаюсь, около пятисот лет, и она стоит на миллионе двухстах тысячах свай. В ней под пышными памятниками покоятся тело Кановы и сердце Тициана. Когда Тициан умер, ему было почти сто лет. В то время свирепствовала чума, унесшая пятьдесят тысяч жизней, и неопровержимым свидетельством благоговения, которое внушал этот великий художник, служит тот факт, что в ту пору смерти и ужаса только его одного разрешили похоронить торжественно.

В этой церкви находится также гробница дожа Фоскари, чье имя навеки прославил некоторое время живший в Венеции лорд Байрон^[77].

Надгробие дожа Джованни Пезаро в этой же церкви — настоящая диковинка среди могильных памятников. Оно имеет восемьдесят футов высоты и походит на причудливый языческий храм. Его подпирают четыре гигантских черных, как ночь, нубийца в белых мраморных одеждах. Черные ноги босы, а сквозь прорехи в рукавах и штанах видна кожа из блестящего черного мрамора. Скульптор был так же изобретателен, как нелеп изваянный им надгробный монумент. Два бронзовых скелета держат свитки, два больших дракона поддерживают саркофаг. В вышине, среди всего этого гротескного нагромождения, сидит покойный дож.

В монастырском здании, соединенном с этой церковью, находится государственный архив Венеции. Мы его не видели, но говорят, что он насчитывает миллионы документов. «Это копившийся столетиями архив самого осторожного, самого бдительного и самого недоверчивого из всех когда-либо существовавших правительств, при котором все записывалось и ничто не говорилось вслух». Он занимает около трехсот комнат. Тут хранятся рукописи из архивов почти двух тысяч семейств, монастырей и обителей. В них заключена тайная история Венеции на протяжении тысячелетия — заговоры, негласные приговоры, казни, поручения наемным шпионам и убийцам, — готовый материал для бесчисленных романов тайн и ужасов.

Да, я думаю, мы видели все, что можно увидеть в Венеции. В ее древних церквях мы видели такое изобилие дорогих, искусно сделанных надгробных украшений, какое нам и не снилось. Мы подолгу стояли в сумрачном благолепии этих святилищ, покрытых прахом столетий, среди запыленных могильных памятников и статуй славных мертвецов Венеции, пока наконец нам не начинало казаться, что мы уплываем все дальше,

дальше и дальше в великое прошлое, что перед нами разворачиваются картины глухой старины и что мы видим давно исчезнувшие поколения. Все время мы грезили наяву. Я не знаю, как иначе описать это ощущение. Часть нашего существа оставалась по-прежнему в девятнадцатом столетии, но другая его часть каким-то необъяснимым образом жила среди призраков десятого.

Мы видели столько знаменитых картин, что в конце концов наши глаза утомились и смотрят на них уже без всякого интереса. И это не удивительно — ведь в Венеции находится тысяча двести картин Пальма Младшего и тысяча пятьсот — Тинторетто, не говоря уже о соответствующих количествах произведений Тициана и других художников. Мы видели знаменитого «Каина и Авеля» Тициана, его «Давида и Голиафа», его «Жертвоприношение Авраама». Мы видели колоссальное полотно Тинторетто^[78], которое имеет семьдесят четыре фута в длину и уж не знаю сколько в высоту, и оно показалось нам весьма вместительной картиной. Тех мучеников и святых, изображения которых мы видели, вполне хватило бы, чтобы очистить от греха весь наш мир. Пожалуй, мне не следовало бы признаваться в этом, но поскольку в Америке у человека нет возможности стать ценителем искусства и поскольку я не мог стать им за несколько недель пребывания в Европе, то, принеся все необходимые извинения, я все-таки сознаюсь, что, увидев одного из этих мучеников, я почувствовал, что видел их всех. Все они обладают большим фамильным сходством, все они одинаково одеваются в грубые монашеские рясы и сандалии, все они лысы, все стоят примерно в одной и той же позе и все без исключения устремляют взоры в небо, а их лица, как сообщают мне Эйнсуорты, Мортон и Уильямсы et fils, полны «экспрессии». А я в этих квазипортретах не вижу ничего, что меня задевало бы за живое, трогало или могло заинтересовать. Если бы только великий Тициан обладал даром пророчества и, пропустив очередного мученика, съездил бы в Англию, и написал бы портрет Шекспира — пусть ребенком, — портрет, которому теперь мы могли бы доверять, род людской до самого последнего поколения простил бы ему потерянного мученика ради обретенного поэта-провидца. Я думаю, потомки обошлись бы и еще без одного мученика ради исторической картины, вышедшей из-под кисти Тициана и изображавшей бы какое-нибудь современное ему событие, — например, он мог бы написать Колумба, который, открыв новый мир, возвращается домой в цепях. Ведь запечатлели же старые мастера несколько эпизодов истории Венеции — и на них мы не устаем глядеть, несмотря даже на то, что изображение покойных дождей, которые официально

представляются деве Марии в заоблачных высях, переходит, по нашему мнению, границы благопристойности.

Но хотя, когда дело касается искусства, мы исполнены смирения и скромности, все же наше изучение нарисованных монахов и мучеников не осталось совершенно бесплодным. Мы не жалели усилий, дабы приобрести знания. И достигли некоторых успехов. Кое-чему мы выучились; быть может, в глазах людей сведущих это пустяки, но нам наши познания доставляют радость, и мы так же гордимся своими незначительными достижениями, как и те, кто знает гораздо больше, и точно так же любим их показывать. Когда мы видим монаха, гуляющего со львом и спокойно взирающего на небеса, мы понимаем, что это святой Марк. Когда мы видим монаха с книгой и пером, спокойно взирающего на небеса в поисках нужного слова, мы понимаем, что это святой Матфей. Когда мы видим монаха, сидящего на камне и спокойно взирающего на небеса, а рядом с ним череп, составляющий весь его багаж, мы понимаем, что это святой Иероним, ибо мы знаем, что он предпочитал путешествовать налегке. Когда мы видим человека, спокойно взирающего на небеса и не замечающего, что его тело насквозь пронзено стрелами, мы понимаем, что это святой Себастьян. Когда мы видим других монахов, спокойно взирающих на небеса, но не имеющих при себе никаких опознавательных знаков, мы всегда спрашиваем, что это за личности. Мы поступаем так потому, что смиренно стремимся к знанию. Мы уже видели тринадцать тысяч святых Иеронимов, двадцать две тысячи святых Марков, шестнадцать тысяч святых Матфеев, шестьдесят тысяч святых Себастьянов и набор из четырех миллионов монахов, не имеющих особых примет, и поэтому мы чувствуем уверенность, что, осмотрев еще некоторое количество этих разнообразных картин и приобретя еще больший опыт, мы проникнемся к ним тем же всепоглощающим интересом, который испытывают наши просвещенные соотечественники из Amérique.

Я с болью душевной отзываюсь о старых мастерах и их мучениках столь непочтительно, ибо мои добрые друзья с «Квакер-Сити» — друзья, которые тонко понимают творения старых мастеров и чрезвычайно высоко их ценят и, кроме того, умеют безошибочно отличить хорошее полотно от посредственного, — уговаривали меня — ради меня же самого — не оглашать того факта, что я не умею разбираться в картинах и ценить их. Я чувствую, что все написанное мною о картинах и то, что я, возможно, еще напишу о них, глубоко огорчит моих друзей, и я искренне об этом сожалею. Я даже обещал утаить от всех мои невежественные суждения. Но увы! Я еще ни разу в жизни не сдержал данного мною обещания. Я не виню себя

за эту слабость, потому что таково, вероятно, свойство моего организма. Весьма вероятно, что под тот орган, который дает мне способность *обещать*, место было отведено с такой щедростью, что его не хватило для того органа, который давал бы мне способность *выполнять* обещания. Но я не горюю. Я ни в чем не терплю половинчатости. Я предпочитаю одну высокоразвитую способность двум обыкновенным. Я, разумеется, собирался сдержать мое обещание, но оказалось, что я на это не способен. Путешествовать по Италии и не говорить о картинах — невозможно, и не могу же я смотреть на них чужими глазами.

Если бы меня не приводили в восторг чудесные картины, которые каждый день разворачивает передо мной царица всех художников — природа, я почти поверил бы, что не умею ценить красоту.

Я прихожу к заключению, что если я с торжеством решаю, что наконец-то обнаружил по-настоящему прекрасную и достойную всяческой похвалы старинную картину, то мое удовольствие при виде ее — неопровержимое доказательство, что эта картина вовсе не прекрасна и не заслуживает никакого одобрения. В Венеции это случалось со мной несчетное число раз. И всегда гид безжалостно растаптывал мой зарождающийся энтузиазм неизменным замечанием:

— Это пустяки, это Ренессанс.

Я не имел ни малейшего представления, что это еще за Ренессанс, и поэтому мне всегда приходилось ограничиваться ответом:

— А! В самом деле, я как-то сразу не заметил.

Я не хотел проявлять свое невежество перед образованным негром, сыном раба из Южной Каролины. Но даже мое самодовольство не могло выдержать то и дело повторявшихся невыносимых слов: «Это пустяки, это Ренессанс». Наконец я сказал:

— Кто такой этот Ренессанс? Откуда он взялся? Кто позволил ему наводнять венецианскую республику своей отвратительной мазней?

Тут мы узнали, что Ренессанс вовсе не человек, что «ренессанс» — это термин, обозначающий период, когда искусство возрождалось, хотя и не очень удачно. Гид объяснил, что после эпохи Тициана и других великих мастеров, с которыми мы за последнее время так близко познакомились, наступил упадок высокого искусства; затем оно несколько оправилось — появились посредственные живописцы, и эти жалкие картины — дело их рук. Тогда я, разгорячившись, сказал, что «был бы в восторге, если бы упадок высокого искусства наступил на пятьсот лет раньше». Картины эпохи Ренессанса меня вполне устраивают, хотя, по правде говоря, эта школа предпочитала писать настоящих людей в ущерб мученикам.

Из всех гидов, с которыми мы имели дело, только этот что-то знает. Он из Южной Каролины, и родители его были рабами. Они приехали в Венецию, когда он был еще младенцем. Он вырос здесь. Он очень образован. Он бегло читает, пишет и говорит по-английски, по-итальянски, по-испански и по-французски; влюблен в искусство и знает его в совершенстве; помнит наизусть историю Венеции и готов без конца говорить о ее славном прошлом. Он одевается, пожалуй, лучше любого из нас и изысканно вежлив. В Венеции к неграм относятся так же, как к белым, — поэтому он не испытывает ни малейшего желания вернуться на родину. И он совершенно прав.

Меня побрили еще раз. Сегодня утром я писал в нашем номере, изо всех сил стараясь сосредоточиться на своей работе и не глядеть на канал. Я, как мог, сопротивлялся размягчающему влиянию климата и пытался побороть желание предаться приятному безделью. Мои спутники послали за парикмахером. Они спросили меня, не хочу ли я побриться. Я напомнил им о пытках, которые перенес в Генуе, в Милане, на Комо; о моей клятве, что я больше не намерен страдать на итальянской почве. Я сказал:

— С вашего разрешения, я обойдусь.

Я продолжал писать. Брадобрей начал с доктора. Я услышал, как тот сказал:

— Дэн, меня еще ни разу так хорошо не брили с тех пор, как мы покинули корабль.

Через минуту он опять заговорил:

— Знаете, Дэн, во время такого бритья можно чудесно вздремнуть.

В кресло сел Дэн. Вскоре он сказал:

— Да это просто Тициан. Это кто-то из старых мастеров.

Я продолжал писать. Дэн тут же заговорил снова:

— Доктор, бриться у него — чистое наслаждение. Наш пароходный парикмахер ему и в подметки не годится.

Моя щетина ужасно угнетала меня. Брадобрей собирал свои инструменты. Искушение было слишком велико, и я сказал:

— Подождите, пожалуйста. Побрейте и меня.

Я сел в кресло и закрыл глаза. Он намылил мне лицо, взял бритву и так резанул, что у меня чуть было не начались судороги. Я сорвался с кресла — Дэн и доктор стирали кровь со щек и смеялись.

Я сказал, что это гнусная подлость.

Они объяснили, что муки этого бритья настолько превосходили все изведенное ими прежде, что они никак не могли упустить возможность услышать и мое искреннее мнение по этому поводу.

Это было свинство. Но что делать! Обдирание уже началось, оставалось терпеть до конца. При каждом прикосновении бритвы я раздражался слезами и пылкими проклятиями. Парикмахер растерялся и то и дело резал меня до крови. По-моему, Дэн и доктор ни разу так не веселились с тех пор, как мы уехали из дому.

Мы видели Кампанилу, дом, где жил Байрон, и дом географа Бальби^[79], дворцы всех древних герцогов и дождей; мы видели, как их изнеженные потомки, облачившись в модные французские костюмы, проветривают свою знатность на площади святого Марка, едят там мороженое и пьют дешевые вина, вместо того чтобы, облекшись в рыцарские латы, уничтожать вражеские армии и флоты, как делали их великие предки в дни венецианской славы. Мы не видели ни брави с отравленными стилетами, ни масок, ни буйного карнавала, но зато мы видели извечную гордость Венеции — мрачных бронзовых коней^[80], о которых сложены тысячи легенд. Понятно, почему Венеция так дорожит ими, — ведь других лошадей у нее никогда не было. Говорят, в этом странном городе можно найти сотни людей, которые за всю свою жизнь ни разу не видели живой лошади. И я не сомневаюсь, что это правда.

Итак, вполне удовлетворив свое любопытство, мы уезжаем завтра, оставляя дряхлую царицу республик собирать исчезнувшие корабли, созывать призрачные армии и обретать в сновидениях былую славу и величие.

**Глава XXIV. Через Италию по железной дороге. —
Пребывание во Флоренции. — Чудесная мозаика. —
Пизанская башня. — Древний собор. — Первый
маятник в истории. — Новый гроб Господень. —
Ливорно. — Генерал Гарибальди.**

Некоторые пассажиры «Квакер-Сити» приехали в Венецию из Швейцарии и других стран еще до нашего отъезда, другие ожидали в ближайшие дни. По-видимому, все были целы и здоровы.

Мы несколько устали от осмотра достопримечательностей и поэтому промчались в поезде через многие города Италии, не делая остановок. Я почти ничего не записывал. О Болонье в моей записной книжке нет никаких заметок, кроме того, что, хотя времени у нас было достаточно, мы не нашли и следов болонской колбасы, которая столь справедливо славится у нас в Америке.

Пистоя вызвала у нас только мимолетный интерес.

Флоренция некоторое время нам нравилась. Мы, кажется, оценили по достоинству громадного Давида^[81], на красивой площади и скульптурную группу, которую называют «Похищение сабинянок»^[82]. Разумеется, мы проследовали мимо бесчисленных картин и статуй в галереях Питти и Уффици. Я упоминаю об этом ради самозащиты. Я не могу допустить, чтобы кто-нибудь заподозрил, будто я побывал во Флоренции и не путешествовал через все бесконечные мили ее картинных галерей. Мы вяло пытались хоть что-нибудь припомнить о гвельфах, гибеллинах и прочих исторических головорезах, чьи кровавые распри составляют столь большую долю истории Флоренции, но эта тема была мало привлекательна. Когда мы ехали сюда, нас грабительским образом лишили прекрасных горных видов, применив систему железнодорожных путей, в которой сто ярдов дневного света приходится на три мили туннелей, и поэтому у нас не было настроения любезничать с Флоренцией. В окрестностях города мы видели место, где флорентинцы предоставили костям Галилея в течение почти столетия покоиться в неосвященной земле, потому что церковь сочла тяжелой ересью его великое открытие о вращении миров; и мы знаем, что много лет спустя после того, как весь свет принял его теорию и поставил его имя на почетном месте в списке великих людей, флорентинцев не

смущало, что его кости по-прежнему гниют там. И тому, что нам довелось увидеть его прах в освященной гробнице в церкви Санта-Кроче, мы обязаны обществу *literati*^[83], а не Флоренции или ее правителям. В этой церкви мы видели также гробницу Данте и с радостью узнали, что она пуста^[84], что неблагодарный город, который изгнал его и подвергал преследованиям, дал бы многое, чтобы прах поэта покоился в ней, но что он может не питать никаких надежд на эту высокую честь. С Флоренции хватит и Медичи. Пусть себе разводит их и воздвигает над ними великолепные памятники, чтобы показать, с какой благодарностью она лижет бичующую ее руку.

Щедрая Флоренция! Среди ее ювелиров — множество специалистов по мозаике. Флорентийская мозаика — лучшая в мире. Флоренция любит, чтобы так говорили. Флоренция гордится этим. Флоренция готова всячески поддерживать это ремесло. Она благодарна художникам, которые приносят ей славу и иностранную валюту, наполняющую ее сундуки, и поэтому она поощряет их пенсиями. Пенсиями! Подумайте, какое великодушие! Она знает, что люди, складывающие из кусочков прекрасные безделушки, долго не живут, так как этот труд тяжел и изнурителен и для мозга и для рук, и вот она постановляет, что каждый из них, достигнув шестидесятилетнего возраста, будет получать пенсию! Я еще не слышал, чтобы кто-нибудь из них потребовал свои дивиденды. Один мастер кое-как дотянул до шестидесяти лет и отправился за своей пенсией, но оказалось что в семейных записях дата его рождения указана с ошибкой на год; тогда он махнул на все рукой и умер.

Эти художники берут кусочки камня или стекла величиной с горчичное зерно и складывают их вместе на пуговице или запонке так ровно, с таким тонким подбором оттенков, что получается крохотная роза со стебельком, шипами, листьями и лепестками такой нежной, естественной расцветки, как будто их создала сама природа. В тесном кружочке булавки для галстука они могут сложить муху, пестрого жучка или развалины Колизея с таким искусством и точностью, что легко поверить, будто это — творение кисти великого мастера.

Во флорентийской школе мозаики я видел столик — крохотный круглый столик, крышка которого была сделана из какого-то драгоценного полированного камня и инкрустирована мозаикой, изображавшей флейту с наконечником и сложным узором клапанов. Ни на одной картине краски не могли бы быть более мягкими и сочными, а переходы одного оттенка в другой — более безупречными, и никакое произведение искусства не могло

быть совершеннее этой флейты, хотя она, как нам клялись, была сложена из такого количества мельчайших камешков, что при попытке сосчитать их не хватило бы чисел! Не думаю, чтобы человеку с обыкновенным зрением удалось различить границу между двумя частицами. Во всяком случае, мы не смогли заметить ни одного такого изъяна. Над этой крышкой, как нам сказали, художник трудился десять долгих лет, и цена столика была тридцать пять тысяч долларов.

Находясь во Флоренции, мы время от времени заходили в церковь Санта-Кроче поплакать над гробницами Микеланджело, Рафаэля и Макиавелли (я полагаю, что они погребены здесь, хотя, возможно, они пребывают где-то еще и сдают свои гробницы кому-то другому — в Италии это принято), а в промежутках между этими посещениями стояли на мостах и восхищались Арно. Здесь принято восхищаться Арно. Это великий исторический ручеек глубиной в четыре фута посередине, где плавают плоскодонки. Если бы в него накачать воды, он вполне мог бы сойти за реку. Мрачные, кровожадные флорентинцы называют его рекой и чистосердечно верят, что это река. Они даже подкрепляют свое заблуждение, сооружая над Арно мосты. Не вижу, почему они считают ниже своего достоинства переходить его вброд.

Как мелкие дорожные неприятности и усталость влияют иногда на отношение человека к окружающему! Я мог бы приехать во Флоренцию месяцем позже при более счастливых обстоятельствах, и все вокруг казалось бы мне прекрасным и очаровательным. А теперь я не люблю вспоминать о ней, о ее просторных магазинах, до самого потолка заполненных белоснежными мраморными и гипсовыми копиями всех известных европейских скульптур, — копиями такой чарующей красоты, что я начинаю сомневаться, действительно ли они повторяют те почерневшие окаменелые кошмары, с которых они сняты. Однажды я в девять часов вечера заблудился во Флоренции и до трех часов утра проплутал в лабиринте узких улочек и бесконечных рядов высоких зданий, которые все похожи одно на другое. Вечер был ясный; сперва вокруг сновали люди и блестили веселые огни, потом я привык бродить по таинственным проходам и туннелям с заманчивыми поворотами, ожидая за каждым увидеть свой отель, — но неизменно оказывалось, что его там вовсе нет. Потом я ощутил усталость. Потом я ощутил ужасающую усталость. Но на улицах уже никого не было — даже полицейских. Я шел, пока не вышел из терпения, мне было жарко и очень хотелось пить. Наконец в начале второго я неожиданно очутился перед городскими воротами. Тогда я понял, что нахожусь где-то очень далеко от отеля.

Солдаты решили, что я хочу выйти из города: они повскакали с мест и преградили мне дорогу своими мушкетами. Я сказал:

— Hotel d'Europe^[85].

Это были единственные итальянские слова, которые я знал, и я не был уверен, итальянские они или французские. Солдаты тупо посмотрели друг на друга и на меня, потом покачали головами и арестовали меня. Я сказал, что хочу домой. Они меня не поняли. Они увели меня в кордегардию и обыскали, но не нашли ничего крамольного. Они нашли кусочек мыла (мы теперь носим мыло с собой), и, увидев, что они смотрят на него, как на диковинку, я им его подарил. Я продолжал повторять: «Hotel d'Europe», а они продолжали качать головами, пока наконец дремавший в уголке молодой солдат не проснулся и не сказал что-то. Наверное, он сказал, что знает, где находится отель, потому что начальник караула послал его проводить меня. Мы прошли, как мне показалось, не то сто, не то сто пятьдесят миль, а потом и он заблудился. Он сворачивал то туда, то сюда и наконец, сдавшись, знаками показал, что намерен провести остаток утра в поисках городских ворот. Тут мне почудилось что-то знакомое в доме напротив. Это был мой отель!

Мне еще очень повезло, что я встретил солдата, который знал хотя бы столько, потому что, как говорят, правительство все время переводит солдат из одного места в другое, из города в деревню и обратно, для того чтобы они не знакомились с местными жителями, не пренебрегали своими обязанностями и не вступали в заговоры и комплоты со своими друзьями. От Флоренции у меня остались главным образом неприятные впечатления. Я перемену тему.

В Пизе мы поднимались на крышу самого странного сооружения в мире — «Падающей башни». Как всем известно, в ней около ста восьмидесяти футов, и я прошу заметить, что это высота четырех обычных трехэтажных домов, поставленных друг на друга, и, таким образом, она вполне прилична для любой не сужающейся кверху башни, даже если она стоит прямо, а ведь эта отклоняется от вертикали больше чем на тринадцать футов. Ей семьсот лет, но ни история, ни предания не сообщают, нарочно ли ее так построили, или одна из ее сторон осела. Не сохранилось никаких указаний, была ли она когда-нибудь прямой. Она построена из мрамора, воздушна и изящна. Каждый из ее восьми ярусов окружен коринфскими колоннами из мрамора и гранита, которые были очень красивы, когда были новыми. Она служила колокольной, и наверху еще висит набор старинных колоколов. Винтовая лестница внутри не освещена, но, поднимаясь, нетрудно сообразить, на какой стороне башни

находишься, так как в зависимости от наклона переходишь то на одну, то на другую сторону лестницы. Часть каменных ступенек истерта только с одного конца, другая — с другого, а третья — посередине. Когда смотришь с верхней площадки внутрь башни, то кажется, что смотришь в наклонный колодец. Канат, опущенный с середины крыши, касается стены, еще не достигнув дна. Когда стоишь на башне и смотришь вниз с высокой стороны, то чувствуешь себя не очень уверенно; но когда сползаешь на груди к самому краю низкой и, вытягивая шею, стараешься увидеть основание башни, то леденеешь от ужаса и на мгновение, вопреки всей своей философии, веришь, что башня падает. Все время хочется двигаться как можно осторожнее под глупым впечатлением, что если она еще и не падает, то из-за твоего крошечного веса непременно обрушится, и поэтому пытаешься не слишком на нее налегать.

Находящийся поблизости Пизанский собор — один из красивейших соборов Европы. Ему восемьсот лет. Его величие пережило расцвет торговли и могущества республики, которые сделали его постройку необходимой, или, вернее, возможной. Окруженный нищетой и запустением, он показывает былую славу Пизы более зримо, чем все написанные об этом книги.

Баптистерий, который на несколько лет старше «Падающей башни», представляет собой величавую ротонду огромных размеров, и его постройка стоила больших денег. В нем висит тот самый светильник, мерное покачивание которого подсказало Галилею идею маятника. Трудно поверить, что этому скромному предмету мир науки и механики обязан таким гигантским расширением своих пределов! Его вид наводит на множество размышлений, и мне показалось, что передо мной возникла целая сумасшедшая вселенная качающихся дисков — трудолюбивых отпрысков этого степенного родителя. У него такое умное выражение, словно он знает, что он вовсе не светильник, а маятник, — маятник, который для достижения каких-то глубоко обдуманых и загадочных целей изменил свою внешность; и к тому же не простой маятник, а самый первый маятник, маятник-патриарх, маятник-Авраам.

Баптистерий обладает чрезвычайно приятным эхом — самым приятным из всех, о которых нам приходилось читать. Гид пропел две звонкие ноты, разделенные примерно половиной октавы, и это ответило чарующим, невыразимо гармоничным, нежным аккордом, похожим на доносящийся издали глубокий вздох церковного органа. Быть может, я преувеличиваю, но в этом повинен мой слух, а не мое перо. Я описываю воспоминание — воспоминание, которое еще долго буду хранить.

Ярким примером своеобразного религиозного духа средневековья, которое больше полагалось на внешние проявления благочестия, чем на ревностное старание уберечь сердце от грешных помыслов, а руки — от грешных деяний, которое верило в спасительную силу неодушевленных предметов, освященных соприкосновением со святынями, может служить одно из пизанских кладбищ. Покойники там похоронены в земле, некогда привезенной на кораблях из Святой Земли. Древние пизанцы считали, что погребение в такой земле обеспечивает спасение души гораздо надежнее, чем вклад на заупокойные мессы или неугасимую свечу перед статуей деви Марии.

Считается, что Пизе больше трех тысяч лет. Она принадлежала к двенадцати великим городам древней Этрурии — государства, которое оставило столько памятников, свидетельствующих о его необычайно развитой культуре, и почти не оставило сведений, позволяющих разобраться в его истории. Пизанский антикварий предложил мне старинный кувшинчик для слез, уверяя, что ему не меньше четырех тысяч лет. Его нашли среди развалин одного из древнейших городов Этрурии. Антикварий сказал, что это кувшинчик с гробницы и что в те незапамятные времена, когда даже египетские пирамиды были молодыми, Дамаск — деревней, Авраам — лепечущим младенцем, а о Трое еще никто и не помышлял, какая-то семья, понесшая тяжелую утрату, собирала в него слезы о дорогом умершем. Кувшинчик говорил с нами на своем языке, и его исполненная тихой грусти немая повесть о пустом месте за столом, о знакомых шагах, которые не зазвучат больше под родным кровом, об умолкнувшем любимом голосе, об исчезнувшем знакомом облике была красноречивее всяких слов и заставила нас забыть о длинном свитке столетий! Эта повесть, всегда для нас новая, неожиданная, страшная, надрывающая душу, — как давным-давно она известна! Никакое искусно изложенное историческое повествование не могло бы так живо воскресить, одеть плотью, сделать такими человеческими мифы и тени седой старины, как этот маленький глиняный сосуд.

В средние века Пиза была республикой, имела собственное правительство, собственные армию и флот и вела обширную торговлю. Она была воинственной державой и начертала на своих знаменах много блестящих побед над генуэзцами и турками. Говорят, что население этого города когда-то достигало четырехсот тысяч человек; но теперь Пиза выронила свой скипетр, от ее армии и флота не осталось и следа, ее торговля умерла. Ее боевые знамена покрыты прахом и плесенью столетий, ее рынки опустели, она съежилась внутри обвалившихся стен, и от ее многочисленного населения осталось только двадцать тысяч. У нее

сохранилось лишь одно отличие, да и то не Бог весть какое: она — второй город Тосканы.

Приехав в Ливорно, мы успели осмотреть все, что нас интересовало, задолго до того, как городские ворота были закрыты на ночь, и поспешили на свой корабль.

Нам казалось, что мы не были дома целую вечность. В первый раз мы вполне оценили, как приятно жить в нашей каюте, как замечательно обедать в своем салоне, сидя на своем месте и болтая с друзьями на своем языке. Какое счастье — понимать каждое сказанное слово и знать, что каждое слово, сказанное тобой в ответ, тоже будет понято! Мы заговорили бы друг друга до смерти, но из шестидесяти пяти пассажиров налицо было только десять. Остальные странствовали неведомо где. Мы не будем сходить на берег в Ливорно. Мы пока сыты по горло итальянскими городами и нам гораздо приятнее гулять по знакомой палубе, любуясь Ливорно издали.

Глупые ливорнские власти не могут поверить, что такой большой пароход, как наш, пересек Атлантический океан исключительно ради удовольствия путешественников, отправившихся в увеселительную поездку. Это кажется им слишком неправдоподобным. Они считают это подозрительным. За всем этим, по их мнению, скрывается что-то гораздо более серьезное. Они не могут этому поверить, а судовые документы для них не доказательство. В конце концов они решили, что мы — переодетый батальон мятежных, кровожадных гарибальдийцев! И они вполне серьезно предписали канонерке следить за нашим кораблем день и ночь и открыть огонь, чуть только будет замечено какое-нибудь революционное движение! Вокруг нас непрерывно патрулируют полицейские лодки, и если кто-нибудь из матросов покажется в красной рубашке, это, пожалуй, будет стоить ему свободы. Полицейские провожают лодку первого помощника от берега до корабля и от корабля до берега, бдительно выслеживая его черные замыслы. Они его еще арестуют, если он не уберет со своего лица выражение свирепости, крамолы и подстрекательства к мятежу. В дружеском визите, который некоторые наши пассажиры нанесли вчера генералу Гарибальди (он их любезно пригласил), местные власти усмотрели подтверждение своих ужасных подозрений. Этот дружеский визит был сочтен маскировкой кровавого заговора. Когда мы купаемся в море около нашего парохода, полицейские подъезжают поближе и следят за нами. Уж не думают ли они, что на морском дне мы совещаемся с резервным отрядом гнусных сообщников?

Поговаривают, что в Неаполе мы можем попасть в карантин. Кое-кто

из нас не хочет рисковать. Поэтому мы собираемся после отдыха отправиться французским пароходом в Чивита-Веккию, оттуда в Рим, а затем по железной дороге в Неаполь. Поезда не подвергаются карантину, откуда бы ни ехали пассажиры.

**Глава XXV. *Пышность железных дорог. —
Богатства матери-церкви. — Церковное
великолепие. — Роскошь и нищета. — Всеобщая
мерзость. — Доброе слово о священниках. —
Чивита-Веккия Унылая. — Едем в Рим.***

В Италии мне очень многое непонятно. И особенно непонятно, откуда у обанкротившегося правительства такие роскошные вокзалы и несравненные проезжие дороги. Последние тверды, как алмаз, прямые, как стрела, гладкие, как паркет, и белые, как снег. Даже в темноте, когда ничего не видно, белые дороги Франции и Италии все-таки можно различить; они так чисты, что на них можно было бы есть без скатерти. И все же с путешественников не взимают никаких дорожных сборов.

А железные дороги! У нас таких нет. Вагоны скользят плавно, как на полозьях. Вокзалы — просторные мраморные дворцы; величественные колоннады из того же царственного камня прорежают их из конца в конец, а огромные стены и потолки богато расписаны. Высокие двери украшены статуями, а широкие полы сложены из полированных мраморных плит.

Все это прельщает меня гораздо больше, чем сотни итальянских галерей, хранящих бесценные сокровища искусства, потому что в первых я разбираюсь, а для того чтобы по достоинству оценить вторые, я недостаточно компетентен. В проезжих дорогах, в железных дорогах, в вокзалах, в новых улицах, застроенных однотипными домами, которые появились во Флоренции и других городах, я узнаю гений Луи-Наполеона, или, вернее, подражание трудам этого государственного деятеля. Но Луи позаботился о том, чтобы Франция обладала основой всех этих улучшений — деньгами. В его казначействе всегда есть деньги, и его начинания укрепляют, а не ослабляют Францию. Ее благосостояние — не видимость, а действительность. В Италии дело обстоит иначе. Страна на грани банкротства. Для таких грандиозных работ нет опоры. Процветание, признаком которого они должны были бы являться, — фикция. У государства нет денег, и подобное строительство только ослабляет его. Италия добилась исполнения своего заветного желания — она стала независимой. Но, добившись независимости, она выиграла в политической лотерее слона. Ей нечем его кормить. Не имея опыта управления, она без

толку транжирила деньги и опустошила казну во мгновение ока. Она выбросила миллионы франков на военный флот, который не был ей нужен, и в первый же раз, когда эта новая игрушка была пущена в ход, она, говоря языком паломников, взлетела к небесам.

Но нет худа без добра. Год тому назад, когда Италия очутилась на краю гибели, когда ее банкноты не стоили той бумаги, на которой их печатали, ее парламент решился на *coup de main*^[86], перед которым при менее отчаянном положении отступили бы и самые неустрашимые ее политические деятели. Парламент практически конфисковал владения церкви! В поповской Италии! В стране, которая шестнадцать столетий бродила во тьме суеверий! Каким счастливым обстоятельством оказалась для Италии эта непогода, заставившая ее вырваться из своей темницы.

Это не называется «конфискацией» церковной собственности. Такое слово пока еще прозвучало бы слишком резко. Но по сути это именно конфискация. В Италии тысячи церквей, и каждая обладает миллионными сокровищами, скрытыми в ее подвалах, и полчищами попов, которых надо прокормить. А церковные владения? Плодороднейшие земли и лучшие леса Италии приносили церкви неисчислимые доходы, а государство не получало с них ни гроша налогов. Есть целые области, где церкви принадлежит всё — земельные угодья, реки, леса, мельницы и фабрики. Церковь покупает, продает, изготавливает товары; и раз она не платит налогов, кто может с ней конкурировать?

Теперь правительство уже наложило на все это свою руку и несомненно сурово и прозаически присвоит церковную собственность окончательно. Надо же как-то приводить в порядок расстроенные финансы, а кроме церковных богатств, других ресурсов в Италии нет. Правительство намеревается брать себе львиную долю доходов от церковных поместий, фабрик и прочего, а также взять на себя управление церквами и распоряжаться ими по своему усмотрению и на свою ответственность. Несколько самых почитаемых церквей сохраняют прежнее положение, но в большинстве останется только горстка священников для произнесения проповедей и отправления служб, кое-кто получит пенсию, а остальных выставят за дверь.

Посмотрите на итальянские церкви, на их роскошь — и судите сами, правильно ли поступает правительство. В Венеции, население которой сейчас составляет около ста тысяч человек, — тысяча двести священников. Один Бог знает, сколько их там было до того, как парламент сократил их число.

Возьмем, например, церковь иезуитов. При старом режиме для нее

требовалось шестьдесят священников, — теперь правительство обходится пятью, а остальные уволены. Повсюду вокруг этой церкви горькая нищета. Когда мы приблизились к ее дверям, перед нами было снято не менее десятка шапок и шляп, десяток обнаженных голов смиренно склонился, и десяток рук потянулся к нам, вымаливая грош, — мы не поняли мольбы на чужом языке, но немая мольба печальных глаз, запавших щек, оборванной одежды не требовала перевода. Затем мы прошли сквозь высокие двери, и казалось, все сокровища земли предстали перед нами! Громадные колонны, вытесанные каждая из целой мраморной глыбы, сверху донизу покрытые сложными узорами из серпентина; аналои из тех же драгоценных материалов, аналои, с которых живописными складками спадает каменный покров, соперничая в легкости с изделиями ткацкого станка; главный алтарь, сияющий полированной отделкой и оградой из восточного агата, яшмы, серпентина и других дорогих камней, которые мы плохо знаем даже по названиям; и повсюду плиты бесценной ляпис-лазури в таком изобилии, словно у этой церкви были собственные каменоломни. Среди всего этого великолепия золотая и серебряная утварь алтаря кажется дешевой и будничной. Даже полы и потолки там стоят целого княжеского состояния.

Какой же смысл позволять всем этим богатствам лежать без пользы, когда половина населения бьется из последних сил, чтобы хоть как-нибудь прокормиться? Разумно ли держать сотни миллионов франков в бесполезной мишуре церквей по всей Италии, когда правительство, чтобы не погибнуть, душит налогами народ?

Насколько я могу судить, Италия в течение полутора тысяч лет отдавала все свои силы, средства и энергию на возведение бесчисленных чудесных церковных зданий и ради этого морила голодом половину своих граждан. Сегодня она — огромный музей великолепия и нищеты. Все церкви обыкновенного американского города взятые вместе стоят меньше драгоценных побрякушек одного из сотни ее соборов. А на каждого американского нищего Италия может предъявить сотню — лохмотья и насекомые в той же пропорции. Это самая бедная, самая пышная страна мира.

Возьмите роскошный флорентийский собор — огромное здание, которое в течение пятисот лет истощало кошельки флорентинцев, и по сей день остается недостроенным. Как и все, я пал перед ним ниц и поклонился ему, но когда меня окружила толпа грязных нищих, контраст был так разителен, так красноречив, что я сказал: «О сыны классической Италии, ужели дух предприимчивости, мужества, благородного дерзания совсем угас в вашей груди? Почему вы не ограбите вашу церковь?»

В этом соборе числится триста священников, благоденствующих и счастливых.

Во Флоренции есть красивый мавзолей, предназначавшийся для погребения Господа нашего Иисуса Христа и семейства Медичи. Это звучит как святотатство и однако — это чистая правда: они тут постоянно святотатствуют. Проклятые покойные Медичи, жестокие тираны Флоренции, которые были ее бичом в течение двухсот с лишним лет, лежат, засоленные, в пышных гробницах, расположенных по кругу, а в центре этого круга предполагалось поместить гроб Господень. У экспедиции, которую послали в Иерусалим украсть его, начались там какие-то неприятности, и грабеж не состоялся, так что середина мавзолея осталась пустой. Говорят, что весь мавзолей предназначался для хранения гроба Господня и из него сделали фамильный склеп только после неудачи иерусалимской экспедиции, — но я не так-то прост. Эти Медичи уж как-нибудь да пролезли бы сюда. Наглости у них было больше чем достаточно. Свои мелкие, давно забытые победы на суше и на море они приказывали изображать в замечательных фресках (точно так же, как и венецианские дожи), где Спаситель и дева Мария бросают им с облаков букеты и сам Всемогуший рукоплещет им со своего небесного трона! А кто писал эти фрески? Тициан, Тинторетто, Паоло Веронезе, Рафаэль — все те, кому поклоняется мир, старые мастера.

Андреа дель Сарто прославил своих князей в картинах, которые спасают их от полного и заслуженного забвения, и они дали ему умереть с голоду. Так ему и надо. Рафаэль изображал таких злодеек, как Екатерина и Мария Медичи, дружески беседующими на небесах с девой Марией и ангелами (не говоря уж о еще более высоких особах), и все-таки мои друзья ругают меня за то, что я несколько предубежден против старых мастеров, за то, что я порою не вижу красоты их творений. Иногда я против воли замечаю эту красоту, но все же я продолжаю возмущаться подобострастием, заставлявшим великих художников prostituirать свой благородный талант, превознося таких чудовищ, какими были двести — триста лет назад французские, венецианские и флорентинские владетельные особы.

Мне объясняют, что старым мастерам приходилось поступать столь постыдно ради куска хлеба, потому что князья и вельможи были единственными покровителями искусства. Если высокоодаренному человеку позволительно влачить по грязи свою гордость и достоинство ради куска хлеба, вместо того чтобы голодать, не запятнав своего благородства, то на это возразить нечего. Так можно оправдать ворующего

Вашингтона или Веллингтона и нецеломудренную женщину.

Но почему-то я никак не могу забыть мавзолей Медичи. Он по величине не уступает церкви, пол в нем достоин королевского дворца, сводчатый потолок украшен великолепными фресками, стены отделаны... чем? Мрамором? Гипсом? Деревом? Обоями? Нет. Красным порфиром, серпентином, яшмой, восточным агатом, алебастром, перламутром, халцедоном, красным кораллом, ляпис-лазурью! Громадные стены целиком сложены из этих дорогих камней, подобранных в замысловатые узоры и фигуры и отполированных так, что они сияют, как огромные зеркала, отражая яркие краски, которыми расписан сводчатый потолок. А перед статуей одного из этих мертвых Медичи покоится корона, сверкающая бриллиантами и изумрудами, на которые можно, пожалуй, купить линейный корабль — если они настоящие. Вот на что устремлен жадный взгляд итальянского правительства, и день, когда эти сокровища окажутся в подвалах казначейства, будет счастливым днем для страны.

А теперь... Однако приближается новый нищий. Я выйду, чтобы уничтожить его, а потом вернусь и напишу еще одну ругательную главу.

Пожрав одинокого сироту, разогнав его товарищей, успокоившись и впад в задумчивость, я чувствую теперь прилив добродушия. Я полагаю, что, высказавшись так откровенно о священниках и церквях, я обязан теперь во имя справедливости сказать о них что-нибудь хорошее, — если мне известно что-нибудь хорошее. Мне действительно приходилось слышать много похвального о духовенстве, но из того, что я помню, самое замечательное — это благочестие, проявленное одним из нищенствующих орденов во время прошлогодней эпидемии холеры. Я говорю о доминиканцах — о тех людях, которые, несмотря на жаркий климат, ходят в тяжелых коричневых плащах из грубой материи и в капюшонах и никогда не носят обуви. Они, насколько я знаю, живут только подаянием. Следует признать, что они преданы своей религии, если готовы столько претерпевать во имя ее. Когда в Неаполе свирепствовала холера, когда каждый день умирали сотни людей, когда забота об общественном благополучии была забыта ради эгоистических личных интересов и каждый гражданин думал только о собственном спасении, доминиканцы ухаживали за больными и хоронили умерших. Их благородные усилия многим из них стоили жизни. Они расставались с ней легко, без страха, — и это понятно. Вера, вымеренная с математической точностью, мельчайшие тонкости доктрины абсолютно необходимы для спасения душ определенного сорта, но нет сомнения, что милосердие, чистота помыслов и самоотверженность, преисполняющие сердца подобных людей, спасут их души, хотя они и

заблуждаются в вопросе об истинной религии, поскольку истинная религия — наша.

Один из этих жирных босоногих плутов ехал с нами сюда, в Чивита-Веккию, на французском пароходике. Во втором классе нас было человек шесть. Он ехал в третьем. Он был душой корабля, этот кровожадный сын инквизиции! Вместе с дирижером оркестра с французского военного корабля они по очереди играли на фортепьяно и распевали оперные арии; они исполняли дуэты; они экспромтом сооружали театральные костюмы и развлекали нас нелепыми фарсами и пантомимами. Мы очень сошлись с этим монахом и без конца с ним болтали, хотя он не понимал нас, а уж мы, конечно, не понимали ни единого его слова.

Такого замечательного скопления грязи, насекомых и невежества, как эта Чивита-Веккия, нам видеть еще не приходилось, если не считать африканской язвы, которая называется Танжером и точь-в-точь такая же. Здешние жители обитают по проулкам в два ярда шириной; эти проулки обладают своеобразным запахом, который, однако, мало привлекателен. Очень хорошо, что эти проулки так узки, потому что в них содержится как раз такое количество запаха, какое может выдержать человек, а будь они шире, запаха в них вмещалось бы больше, и люди бы мерли. Они вымощены булыжником и выстланы скончавшимися кошками, истлевшим тряпьем, сгнившими обрезками овощей и останками старой обуви; все это пропитано помоями, а жители сидят у дверей на табуретках и блаженствуют. Они, как правило, ленивы, но развлечений у них немного. Обыкновенно они работают не надрываясь часа два-три, а потом предаются ловле мух. Для нее не требуется особого таланта: охотнику достаточно взмахнуть рукой, — если он не поймает той, которую наметил, то поймает другую. Им все равно. У них нет особых пристрастий. Их удовлетворяет любая пойманная муха.

У них есть и другие насекомые, но это не делает их надменными. Все они люди тихие и скромные. Хотя такой живности у них больше, чем в любом другом месте, они этим не хвастают.

Они очень нечистоплотны, эти люди; их лица, руки и одежда одинаково грязны. Если они видят на ком-нибудь чистую рубашку, то проникаются к нему глубочайшим презрением. Женщины полдня занимаются стиркой у общественных водоемов, но, вероятно, они стирают чужое белье. А может быть, у них одна смена для носки, а другая для стирки; как бы то ни было, в стираном белье они не ходят. Когда женщина не стирает, она сидит в проулке и по очереди кормит своих детенышей. Пока она кормит одного замурзанного котенка, остальные почесывают

спины о косяк двери и счастливы.

Вся эта область входит в Папские владения^[87]. Школ здесь, по-видимому, нет совсем, а бильярд только один. Образование здесь не в почете. Часть мужчин идет в военные, другая — в священники, а остальные — в сапожники.

Здесь существует паспортная система; впрочем, она существует и в Турции. Это показывает, что Папские владения столь же развиты, как и Турция. Одного этого факта достаточно, чтобы заставить умолкнуть самых злобных клеветников. Я еще во Флоренции позаботился запастись визой на въезд в Рим, но мне все-таки не разрешили сойти здесь на берег, пока полицейский на пристани не изучил мой паспорт и не прислал мне пропуск. Кроме того, в течение двенадцати часов они боялись вернуть мне паспорт — таким грозным я выглядел. Они сочли за благо дать мне поостыть. Кажется, они решили, что я собираюсь прикарманить их город. Плохо они меня знают! Я бы его и даром не взял. На вокзале они осмотрели мой багаж. Они взяли одну из моих лучших шуток и внимательно прочли ее два раза, а потом сзади наперед. Но она оказалась им не по зубам. Ее пустили по кругу, и каждый пытался в ней разобраться, по никто не смог.

Это была не простая шутка. Наконец один из них, старик жандарм, медленно прочел ее по складам, три или четыре раза покачал головой и сказал, что, по его мнению, это крамола. Тут я в первый раз встревожился. Я немедленно предложил объяснить этот документ, и они сгрудились вокруг меня. Я объяснял, объяснял, объяснял, а они записывали все, что я говорил, но чем больше я объяснял, тем меньше они ее понимали, и когда наконец они отчаялись, я уже сам перестал ее понимать. Они сказали, что, по их мнению, это подстрекательный документ, нацеленный на правительство. Я клятвенно это отрицал, но они только покачивали головами и отказывались мне верить. Потом они долго совещались и в конце концов конфисковали ее. Я очень огорчился, потому что долго работал над этой шуткой и гордился ею, а теперь, наверное, я ее больше никогда не увижу. Наверное, ее перешлют в Рим и подожьют в полицейском архиве, где она так и будет считаться таинственной адской машиной, которая взорвалась бы и развеяла бы доброго папу по ветру, если бы не чудесное вмешательство провидения. И наверное все то время, которое я пробуду в Риме, полиция будет следовать за мной по пятам, потому что я считаюсь здесь опасной личностью.

В Чивита-Веккии ужасно жарко. Улицы тут делают узкие, а дома высокие и с толстыми стенами, чтобы спастись от жары. Это первый итальянский город из тех, что мне довелось увидеть, у которого, кажется,

нет своего небесного патрона. Я думаю, что выдержать здешний климат мог бы только тот святой, который был вознесен на небо в огненной колеснице.

Осматривать здесь нечего. Здесь нет даже собора, где в кладовой хранились бы отлитые из серебра архиепископы весом в одиннадцать тонн; здесь путешественникам не показывают ни обомшелых зданий, которым по семь тысяч лет, ни прокопченных каминных экранов, именуемых шедеврами Рубенса или Симпсона, Тициана или Фергюсона или кого-нибудь еще из той же компании; здесь нет засоленных кусочков святых мучеников, нет даже гвоздика из креста Господня. Пора ехать в Рим. Здесь осматривать нечего.

**Глава XXVI. Величие собора св. Петра. —
Священные реликвии. — Прекрасный вид с купола.
— Святая инквизиция. — Монашеские подделки.
— Колизей. — Старинная афиша представления в
Колизее.**

В чем источник самого высокого наслаждения? Что переполняет грудь человека гордостью большей, чем любое другое его деяние? Открытие! Знать, что ты идешь там, где до тебя не ступал еще никто, что ты видишь то, чего еще не видел глаз человеческий, что ты вдыхаешь девственный воздух! Породить идею, открыть великую истину, обнаружить самородок мысли в поле, по которому уже много раз проходил плуг чужого ума. Найти новую планету, изобрести новый винтик, найти способ заставить молнию передавать вести. Быть первым — вот в чем соль. Сделать что-то, сказать что-то, увидеть что-то раньше всех остальных — вот блаженство, перед которым любое другое удовольствие кажется пресным и скучным, любое другое счастье — дешевым и пошлым. Морзе, когда покоренная молния доставила ему первую телеграмму; Фультон в то бесконечное мгновение напряженного ожидания, когда он положил руку на рукоятку регулятора и пароход двинулся вперед; Дженнер, когда его пациент с коровьей оспой в крови безнаказанно ходил по палатам, где лежали больные черной оспой; Хау^[88], когда его осенила мысль, что сто двадцать людских поколений просверливали ушко не в том конце иглы; тот безымянный гений, который в давно забытые времена положил свой резец и, торжествуя, посмотрел на законченного Лаокоона^[89]; Дагер, когда он повелел стоявшему в зените солнцу отпечатать пейзаж на маленькой, покрытой серебром пластинке и оно повиновалось; Колумб, когда он на вантах «Пинты»^[90] взмахнул шляпой над сказочным морем, увидев раскрывающийся перед ним неизвестный мир! Эти люди жили понастоящему, они познали счастье, они слили радости целой жизни в единый миг.

Что я могу увидеть в Риме такого, чего до меня не видели бы другие? Чего я могу здесь коснуться, до чего не касались бы прежде меня другие? Что я могу здесь почувствовать, узнать, услышать, понять такого, что восхитило бы меня прежде, чем восхитить других? Ничего. Совсем ничего. В Риме путешествие теряет одну из своих главных прелестей. Но если бы я

был римлянином! Если бы, помимо моей собственной лени, моего суеверия и невежества, я был бы еще наделен ленью, суеверием и беспредельным невежеством современного римлянина — какой изумительный мир неизвестных чудес мог бы я открыть! Ах, будь я жителем Кампаньи, живи я в двадцати пяти милях от Рима! Вот тогда бы я попутешествовал!

Я съездил бы в Америку, поучился бы там уму-разуму, а потом вернулся бы в Кампанью и предстал бы перед моими соотечественниками великим открывателем новых миров. Я сказал бы:

«Я видел страну, над которой не нависла тень святой матери-церкви, но люди там все-таки живут. Я видел там правительство, которое никогда не прибегает к защите чужеземных войск, обходящейся дорожке содержания самого правительства. Я видел простых мужчин и женщин, которые умеют читать; я видел даже, как маленькие дети простых крестьян читают книги; я бы сказал даже, что они умеют писать, только боюсь, что вы мне не поверите. В тамошних городах я видел, как люди пьют восхитительный напиток, приготовленный из мела и воды, но я ни разу не видел козьего стада на их Бродвее, Пенсильвания-авеню или Монтгомери-стрит, и не видел, чтобы у порогов их домов доили коз. Я видел настоящее стекло даже в окнах самых бедных жилищ. Там есть дома, построенные не из камня и даже не из кирпича, — торжественно клянусь, что они построены из дерева. Иногда тамошние дома загораются, — да, да, загораются и сгорают дотла. Я не отрекись от своих слов и на смерч ном одре. И в доказательство того, что такие случаи нередки, я скажу вам, что у тамошних жителей есть особая штука, которую они называют пожарной машиной: она выбрасывает огромные струи воды и в любое время дня и ночи готова помчаться к загоревшимся домам. Вы можете подумать, что одной такой машины совершенно достаточно, а там в больших городах их бывает несколько сотен; там нанимают крепких людей и платят им ежемесячно только за то, что они тушат пожары. А другие люди, если вы дадите им денег, страхуют ваш дом, чтобы он не сгорел, а если он сгорит, они заплатят вам за него. Там есть сотни и тысячи школ, и каждый может пойти учиться и стать мудрым, как священник. Если в этой необычайной стране богач умрет нераскаянным грешником, он отправляется в ад; он не может купить спасенье, завещав деньги на мессы. Быть богатым в этой стране — бесполезно. То есть бесполезно для того света, но зато очень-очень полезно для этого, потому что богатого все почитают и он может стать законодателем, губернатором, генералом, сенатором, каким бы невежественным ослом он ни был, — ведь и в нашей любимой Италии лучшие посты занимают знатные особы, хотя многие из них так и родились знатными идиотами. Там, если человек богат,

ему преподносят дорогие подарки, его приглашают на пиры, потчуют замысловатыми напитками; но если он беден и в долгу, его заставляют расплачиваться за все. Женщины чуть ли не каждый день надевают новые платья — из хорошей материи, но нелепого фасона; а фасоны и моды меняются два раза в сто лет, и если бы я только хотел прослыть бессовестным выдумщиком небылиц, я бы сказал, что они меняются даже чаще. Волосы американских женщин растут не на их головах: искусные ремесленники изготавливают эти волосы в мастерских, завивая и прижигая их, пока они не примут непристойный и кошунственный вид. Есть там люди, носящие стеклянные глаза, которыми, наверное, хорошо видят, а то бы они не стали их надевать; а у некоторых во рту есть зубы, сделанные святотатственной рукой человека. Мужчины одеваются нелепо и смешно. Обычно они не ходят ни с ружьем, ни с пикой, они не носят ни широких плащей на зеленой подкладке, ни остроконечных шляп из черного войлока, ни кожаных гетр по колено, ни штанов из козьих шкур мехом наружу, ни башмаков, подбитых гвоздями, ни длинных шпор. Они носят шляпы, похожие на печные трубы и называемые «цилиндрами», куртки самого мрачного черного цвета, очень неудобные рубашки, на которых грязь так заметна, что их приходится менять ежемесячно, и какие-то «панталоны», которые держатся на лямках, а на ногах они носят башмаки нелепого вида и непрочные. И все же, сами одетые в такой шутовской наряд, они смеялись над *моей* одеждой. В этой стране книг так много, что их не считают диковинками. Газет тоже много. Там есть большая машина, которая печатает их тысячи за час.

Я видел там простых людей — не князей и не священников, — и все же земля, которую они обрабатывали, принадлежала им. Она не была арендована ни у сеньора, ни у церкви. Я готов присягнуть, что говорю правду. В этой стране вы могли бы три раза выпасть из окна третьего этажа и все-таки не раздавить ни солдата, ни священника. Они там попадают удивительно редко. В тамошних городах на каждого солдата приходится десяток штатских, и столько же — на каждого священника или проповедника. С евреями там обращаются как с людьми, а не как с собаками. Они могут заниматься любым ремеслом; они могут, если захотят, продавать совершенно новые товары; они могут держать аптеки; они могут лечить христиан; они могут даже, если им вздумается, пожимать христианам руки; они могут общаться с ними, как обыкновенные люди с обыкновенными людьми; они не обязаны жить в определенной части города, они могут жить там, где хотят; говорят, что они даже имеют право покупать землю и дома и владеть ими, — но в этом я сомневаюсь; им не

приходится нагишом бегать по улицам вперегонки с ослами, чтобы позабавить народ во время карнавала; в этой стране их не загоняли в церковь каждое воскресенье в течение многих сотен лет, чтобы они выслушивали анафему себе и своей религии; в этой странной земле еврей имеет право голоса, может быть избран, может даже подняться на трибуну посреди улицы и высказать свое мнение о правительстве, если правительство ему не по вкусу! Все это поистине удивительно. Простые люди там знают очень много; у них даже хватает наглости жаловаться, если ими плохо управляют, вмешиваться в дела управления и указывать правительству; если бы у них был такой закон, как у нас, по которому из каждых трех долларов, вырученных за урожай, один идет казне в виде налога, они изменили бы этот закон; вместо того чтобы платить налоги из расчета тридцать три доллара на каждую сотню, они жалуются, если им приходится отдавать семь. Это странные люди. Они не сознают собственного благополучия. Нищенствующие монахи не шляются с корзинами у них под окнами, кланча на церковь и пожирая их запасы. Там редко приходится видеть, чтобы служитель Господа ходил босиком, с корзиной и просил милостыню. Проповедники в этой стране не похожи на монахов наших нищенствующих орденов: у них бывает по несколько костюмов, и иногда они умываются. В этой земле есть горы, которые намного выше Альбанских; огромная Римская Кампанья, распростершаяся на сто миль в длину и на целых сорок в ширину, не так уж велика, если сравнить ее с Соединенными Штатами Америки; наш прославленный Тибр — протянувшаяся почти на двести миль полноводная река, через которую в Риме не всякий мальчишка сумеет перебросить камешек, — короче и уже американской реки Миссисипи, короче и уже Огайо и даже Гудзона. В Америке люди намного умнее и мудрее своих отцов и дедов. Уж они-то не пахут заостренным колом или трехугольной доской, которая только царапает землю. Я думаю, мы пашем так потому, что так пахали наши праотцы три тысячи лет тому назад. Но эти люди не чтут священную память предков. Они пахут плугом — острым железным лезвием, которое врежется в землю на полных пять дюймов. И это еще не все. Они жнут с помощью отвратительной машины, которая за один день убирает все поле. Если бы я посмел, я сказал бы, что иногда они пользуются святотатственным плугом, который работает на огне и паре и поднимает акр земли всего за час, но... но... я вижу по вашим лицам, что вы не верите моим словам. Увы, моя репутация погибла, отныне я буду заклеямен именем лжеца!»

Разумеется, мы часто бываем в огромном соборе св. Петра. Я знал его размеры. Я знал, что это грандиозное сооружение. Я знал, что по длине он

примерно равен вашингтонскому Капитолию, — что-то около семисот тридцати футов. Я знал, что его ширина равна тремстам шестидесяти четырем футам и, следовательно, больше ширины Капитолия. Я знал, что крест на куполе собора находится в четырехстах тридцати восьми футах над землей, то есть футов на сто — сто двадцать пять выше купола Капитолия. Таким образом, у меня был определенный масштаб. Мне хотелось как можно точнее представить себе, как он выглядит; мне было любопытно узнать, насколько я ошибусь. Я ошибся сильно. Собор св. Петра показался мне снаружи значительно меньше Капитолия и далеко не таким красивым.

Когда мы приблизились к дверям собора и вошли внутрь, невозможно было поверить, что это здание так велико. Чтобы осознать его размеры, мне пришлось прибегнуть к вычислениям. Я рылся в памяти, прикидывая, с чем еще можно его сравнить. Собор св. Петра огромен. Его высота и площадь равнялись бы двум вашингтонским Капитолиям, поставленным друг на друга, — если бы Капитолий был пошире; или двум-трем кварталам обыкновенных домов, поставленных друг на друга. Вот каков собор св. Петра; но, глядя на него, нельзя поверить, что он так велик. Дело в том, что любая деталь собора соразмерно колоссальна, так что сравнить их величину можно было бы только с людьми, — а людей я не разглядел. Так, какие-то козявки. Статуи детей, держащих чаши со святой водой, были грандиозны, если судить по цифрам, — но грандиозно было и все, что их окружало. Гигантские мозаичные картины, украшающие своды, сделаны из миллионов стеклянных кубиков, каждый величиной в сустав моего мизинца, но эти пестрые картины кажутся сделанными из одного куска и вполне соответствуют размерам купола. Очевидно, в качестве мерил не годились и они. В дальнем конце собора (я был совершенно уверен, что это дальний конец, но оказалось, что это центральная его часть под самым куполом) стоит сооружение, которое здесь называют baldacchino, — большая решетчатая рама из бронзы, вроде тех, на которые натягивают москитную сетку. Больше всего она напоминала сильно увеличенную раму кровати, только и всего. Однако я знал, что высотой она в половину Ниагарского водопада. Но она не производила впечатления большой — слишком велик был купол, уходивший над ней ввысь. Никакие сравнения не помогли мне осознать истинные размеры четырех огромных квадратных столпов — или колонн, — которые стоят на равном расстоянии друг от друга и поддерживают свод. Я знал, что каждая их грань равна по ширине фасаду большого жилого дома (пятьдесят — шестьдесят футов) и что они вдвое выше обыкновенного трехэтажного здания, но все-таки они казались

маленькими. Я всеми доступными мне способами старался заставить себя понять, как огромен собор св. Петра, однако у меня ничего не выходило. Апостол на мозаичной картине, который пишет шестифутовым пером, казался самым обыкновенным апостолом.

Через некоторое время я стал наблюдать за людьми. Когда стоишь в дверях собора св. Петра и смотришь на тех, кто находится в его дальнем конце — за два квартала от тебя, — то видишь их сильно уменьшенными; среди грандиозных статуй и картин, затерянных в бесконечном пространстве, они выглядят более крохотными, чем если бы находились на расстоянии двух уличных кварталов. Я «прикинул на глазок» проходившего мимо меня человека и стал наблюдать, как он удалялся по направлению к baldacchino, постепенно стал похож на маленького школьника и наконец затерялся среди пигмеев, беззвучно бродивших в глубине собора. Незадолго до нашего посещения собор был украшен по поводу торжественной службы в честь святого Петра, и теперь рабочие снимали цветы и золотую бумагу со стен и колонн. Никакие лестницы не годились для подобной высоты, и рабочие спускались на веревках с балюстрад и капителей пилястров. От пола собора до верхней галереи, проходящей внутри купола, двести сорок футов, — в Америке не много колоколен, которые достали бы до нее. Посетители собора всегда поднимаются на галерею, потому что оттуда можно получить лучшее представление о его высоте и протяженности. Пока мы стояли внизу, один из рабочих повис на длинной веревке, привязанной к балюстраде этой галереи. Я ни за что не поверил бы раньше, что человек может быть так похож на паука. Его почти не было видно, а веревка казалась не толще нитки. Увидев, как мало места он занимает, я готов был поверить тому, что когда-то десяти тысячное войско явилось на мессу в собор св. Петра, а главнокомандующий, прибыв немного позже, не сумел отыскать своих солдат и решил, что они опоздали. Однако солдаты давно уже были в соборе — они стояли в одном из трансептов. Около пятидесяти тысяч человек собралось в соборе св. Петра, чтобы выслушать провозглашение догмата о непорочном зачатии. Считается, что в соборе хватит места для... для большого числа людей; точную цифру я позабыл. Но не важно — и это достаточно точно.

В соборе св. Петра имеется двенадцать маленьких колонн, которые раньше находились в храме Соломона^[91], а кроме того, — что для меня гораздо интереснее, — обломок креста Господня, несколько гвоздей и кусок тернового венца.

Разумеется, мы поднялись на купол, а также, разумеется, залезли и в медный позолоченный шар, который находится над ним. Если потесниться,

там хватило бы места человек на двенадцать; в нем было душно и жарко, как в печке. До нас там побывало несколько посетителей той породы, которые любят расписываться на исторических памятниках, — по моим расчетам, миллиона два. С купола св. Петра видны все наиболее известные строения Рима — от замка Святого Ангела до Колизея. Оттуда можно различить семь холмов, на которых построен Рим^[92]. Оттуда виден Тибр и то место, где находился мост, который «в дни гордой старины» Гораций^[93] защищал от наступающего войска Ларса Порсены. Оттуда видно место, где произошел прославленный поединок между Горациями и Куриациями^[94]. Оттуда видна обширная зеленая Кампанья, протянувшаяся до самых гор, и разбросанные по ней древние арки и разрушенные акведуки — живописные седые развалины, красиво увитые виноградными лозами. Оттуда видны Альбанские и Сабинские горы, Апеннины и синее Средиземное море. Оттуда видна широкая, разнообразная, ласкающая взор панорама — самая прославленная в истории Европы. Внизу простираются руины города, некогда насчитывавшего четыре миллиона жителей, где среди современных зданий высятся развалины храмов, колонн и триумфальных арок, видевших цезарей и полдень римского могущества, а рядом — памятник непревзойденной прочности, сложенный из тяжелых каменных арок, — водопровод, сохранившийся от старого города^[95], который стоял тут еще до рождения Ромула и Рема, еще до того, как был задуман Рим. Аппиева дорога еще цела; она осталась прежней, такой же, какой была, когда по ней проходили триумфальные шествия императоров, приводивших пленных вождей из самых отдаленных уголков земли. Мы не видели длинной вереницы колесниц и одетых в панцири солдат, сгибающихся под тяжестью трофеев, но наше воображение нарисовало нам это зрелище. С купола св. Петра видно много интересного; и, наконец, почти у самых наших ног мы заметили здание, где раньше помещалась инквизиция. Как сильно изменились нравы с течением времени! Семнадцать-восемнадцать веков тому назад непросвещенные римляне охотно отправляли христиан на арену виднеющегося вон там Колизея и для потехи выпускали на них диких зверей. Впрочем, не только для потехи, но и в назидание. Народу старались внушить отвращение и страх к новой вере, которую проповедовали последователи Христа. В мгновение ока звери раздирали несчастных на части, превращая их в жалкие, изуродованные трупы. Но когда к власти пришли христиане, когда святая мать-церковь подчинила себе варваров, она не стала прибегать к подобным средствам, чтобы доказать им ошибочность их взглядов. О нет,

она передавала их милейшей инквизиции и, указывая на благословенного Искупителя, который был кроток и милосерден ко всем людям, убеждала варваров возлюбить его; и дабы убедить их возлюбить его и склониться перед ним, инквизиция делала все, что было в ее силах: сперва с помощью винта им выламывали пальцы из суставов, затем пощипывали их тело щипцами — докрасна раскаленными, потому что так приятнее в холодную погоду, затем слегка обдирали их заживо и наконец публично поджаривали. Инквизиторам всегда удавалось убедить неверных. Истинная религия, если ее подать как следует, — а мать-церковь это умела, — очень, очень целительна. И необыкновенно убедительна к тому же. Одно дело — скармливать людей диким зверям, и совсем другое — при помощи инквизиции пробуждать в них лучшие чувства. Первая система изобретена жалкими варварами, вторая — просвещенными, цивилизованными людьми. Как жаль, что шалунья инквизиция более не существует!

Я не стану описывать собор св. Петра. Это уже делалось до меня. Прах апостола Петра, ученика Спасителя, покоится в крипте под baldacchino. Мы благоговейно постояли там и так же благоговейно осмотрели Мамертинскую тюрьму, где он томился в заключении, где обратил солдат в христианство и где, как гласит предание, он иссек из стены источник, чтобы окрестить их. Но когда нам показали отпечаток его лица на твердом камне тюремной стены и объяснили, что он появился после того, как Петр наткнулся на эту стену, мы усомнились. И когда монах в церкви св. Себастьяна, показав нам большую плиту, на которой отпечатались две огромных ступни, сказал, что эти следы оставил Петр, мы еще раз испытали сомнение. Такие вещи не убедительны. Монах сказал, что в тюрьму ночью явились ангелы и освободили Петра и он бежал из Рима по Аппиевой дороге. Его встретил Спаситель и велел ему вернуться, что он и сделал. Следы Петра отпечатались на камне как раз во время этой встречи. Монах не объяснил нам, каким образом было установлено, кому принадлежат эти следы, — ведь свидание произошло тайно и ночью. Отпечаток лица в тюрьме принадлежит человеку среднего роста, а следы — великану футов эдак в двенадцать. Это «несоответствие» укрепило нас в наших сомнениях.

Разумеется, мы посетили Форум, где был убит Цезарь^[96], а также Тарпейскую скалу^[97]. В Капитолии мы видели «Умирающего гладиатора»^[98], и мне кажется, что даже мы оценили это чудо искусства, — так же как в Ватикане мы оценили высеченную из мрамора трагедию — «Лаокоона». А еще мы были в Колизее.

Кому не известны изображения Колизея? Все немедленно узнают эту шляпную картонку, всю в амбразурах и окнах, с отгрызенным боком. Он стоит особняком — и поэтому более выгодно, чем остальные памятники древнего Рима. Даже красавец Пантеон^[99], на чьем языческом алтаре ныне водворен крест и чья Венера, изукрашенная священной мишурой, с неохотой исполняет обязанности девы Марии, со всех сторон окружен жалкими домишками, от чего его величие сильно пострадало. Но царь всех европейских развалин Колизей пребывает в надменном и гордом уединении, подобающем его высокому сану. Цветы и травы растут на его массивных арках и среди скамей амфитеатра, дикий виноград фестонами свисает с его высоких стен. Торжественная тишина окутывает огромное сооружение, где в далекие дни собирались бесчисленные толпы зрителей. Бабочки сменили цариц красоты и моды, блиставших здесь восемнадцать столетий назад, и ящерицы греются на солнце в священной ложе императора. Ни один исторический труд не может рассказать о величии и падении Рима так живо, как об этом рассказывает Колизей. Трудно найти более достойное воплощение и того и другого. Бродя по современному Риму, мы могли бы усомниться в его былом величии, в том, что он когда-то насчитывал миллионы жителей; но, глядя на это упрямое свидетельство того, что для любителей развлечений среди своих граждан городу пришлось выстроить театр на восемьдесят тысяч сидячих и двадцать тысяч стоячих мест, легче поверить в его прошлое. Длина Колизея превышает тысячу шестьсот футов, ширина его — семьсот пятьдесят футов, а высота — сто шестьдесят пять. Он имеет форму овала.

В Америке, наказывая преступников, мы извлекаем из них пользу. Мы отдаем их внаймы фермерам или заставляем делать бочки и строить дороги, что приносит государству доход. Так мы сочетаем коммерцию с воздаянием за грехи — и все довольны. А древние римляне сочетали религию и развлечение. Поскольку возникла необходимость уничтожить новую секту, так называемых христиан, они сочли за благо сделать это таким образом, чтобы государство получило выгоду, а публика — удовольствие. К поединкам гладиаторов и другим зрелищам прибавился еще один номер — на арену Колизея стали иногда выводить членов ненавистной секты и выпускать на них диких зверей. Считается, что в Колизее приняли мученический венец семьдесят тысяч христиан. Поэтому его арена стала в глазах последователей Христа священным местом. И это справедливо; ибо если цепь, которой был скован святой, и следы, которые он оставил, наступив на камень, овеяны святостью, то несомненно свято место, где человек отдал жизнь за свою веру.

Семнадцать-восемнадцать столетий назад Колизей был главным театром Рима, а Рим был владыкой мира. Здесь устраивались великолепные празднества, на которых присутствовал сам император, первые вельможи государства, знать и толпы граждан поплотнее. Гладиаторы сражались с гладиаторами, а иногда с пленными воинами из далеких стран. Это был главный театр Рима — то есть всего мира, и светский щеголь, который не мог при случае бросить небрежно: «Моя ложа в Колизее», не бывал принят в высших кругах. Когда торговец платьем хотел заставить соседа-бакалейщика позеленеть от зависти, он покупал нумерованные места в первом ряду и рассказывал об этом каждому встречному. Когда неотразимый приказчик галантерейной лавки, повинувшись врожденному инстинкту, жаждал поражать и ослеплять, он одевался не по средствам и приглашал в Колизей чужую даму сердца, а потом, довершая уничтожение соперника, угощал ее в антрактах мороженым или, подойдя к клеткам, тросточкой из китового уса дразнил мучеников для расширения ее кругозора. Римский денди чувствовал себя в своей стихии, только когда, прислонившись к колонне, он покручивал усы и не замечал дам; когда он разглядывал в лорнет кровавые поединки; когда, вызывая зависть провинциалов, он презрительно цедил замечания, которые показывали, что он в Колизее завсегдатай и ничто ему здесь не в диковинку; когда, зевнув, он отворачивался со словами: «И это — звезда! Размахивает мечом, как бандит-недоучка! В деревне он еще как-нибудь мог бы сойти, но — в столице!?»

Счастлив бывал безбилетник, пробравшийся в партер на утреннее представление в субботу; и счастлив бывал римский уличный мальчишка, который грыз орехи на галерке и с ее головокружительной высоты отпускал шуточки по адресу гладиаторов.

Мне принадлежит высокая честь открытия в мусоре Колизея единственной афиши этого заведения, которая уцелела до наших дней. Она все еще хранит многозначительный запах мятных леденцов; уголок ее, видимо, жевали, а сбоку на самой изысканной латыни, изящным женским почерком начертаны следующие слова:

«Милый, жди меня на Тарпейской скале завтра вечером, ровно в семь. Мама собирается навестить друзей в Сабинских горах.

Клодия».

Ах, где ныне тот счастливец и где нежная ручка, писавшая это прелестное послание? Тлен и прах уже целых семнадцать веков!

Вот эта афиша:

РИМСКИЙ КОЛИЗЕЙ
НЕСРАВНЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
НОВЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ! НОВЫЕ ЛЬВЫ! НОВЫЕ
ГЛАДИАТОРЫ!

С УЧАСТИЕМ ЗНАМЕНИТОГО
МАРКА МАРЦЕЛЛА ВАЛЕРИАНА!

Только шесть спектаклей!

Дирекция предлагает почтеннейшей публике зрелище, превосходящее своим великолепием все, что когда-либо показывалось на подмостках. Дирекция не пожалела затрат, чтобы открытие нового сезона было достойно того милостивого внимания, которым, как она надеется, уважаемая публика вознаградит ее старания. Дирекция с радостью сообщает, что ей удалось собрать

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ.

ЕЩЕ НЕВИДАННОЕ В РИМЕ!

Вечернее представление откроется

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ БИТВОЙ НА МЕЧАХ

между двумя молодыми, многообещающими любителями и прославленным парфянским гладиатором — пленником, только что присланным из лагеря Вера^[100].

Затем последует весьма нравоучительная

СХВАТКА НА СЕКИРАХ!

Между знаменитым Валерианом (с одной рукой, привязанной за спиной) и двумя гигантами дикарями из Британии.

После чего прославленный Валериан (если он останется жив) будет драться на мечах

ЛЕВОЙ РУКОЙ!

С шестью второкурсниками и одним первокурсником Колледжа гладиаторов!

Затем последует целый ряд блестящих поединков, в которых примут участие лучшие таланты империи.

После чего всемирно известный чудо-ребенок

«ЮНЫЙ АХИЛЛ»

сразится с четырьмя тигрятами, вооруженный лишь

маленьким копьем!

В заключение представления состоится высоконравственная
и элегантная

ВСЕОБЩАЯ РЕЗНЯ!

В которой тринадцать африканских львов и двадцать два
пленных варвара будут биться до полного истребления друг
друга!

Касса открыта

Бельэтаж—один доллар;

детям и слугам — пятьдесят процентов скидки.

Многочисленный отряд полицейских будет наготове, чтобы
поддерживать порядок и препятствовать диким зверям прыгать
через барьер и беспокоить зрителей.

Двери открываются в семь часов; представление начнется в
восемь.

Никаких контрамарок!

Типография Диодора.

Необыкновенно удачной и приятной была и другая находка: в мусоре, покрывавшем арену, я обнаружил грязный и изорванный номер «Римской Ежедневной Боевой Секиры», в котором оказался критический разбор именно этого представления. Как источник новостей газета устарела на много столетий, и я публикую здесь перевод этой статьи только для того, чтобы показать, сколь мало изменились стиль и фразеология театральных критиков за века, которые успели миновать с тех пор, как почтальоны доставили эту еще пахнущую типографской краской газету подписчикам «Римской Ежедневной Боевой Секиры».

«ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В КОЛИЗЕЕ. — Несмотря на неблагоприятную погоду, избранное общество города чуть ли не в полном составе собралось здесь вчера вечером, чтобы присутствовать при первом появлении на подмостках столицы юного трагика, стяжавшего за последнее время столько похвал в провинциальных амфитеатрах. Зрителей было около шестидесяти тысяч, и вполне вероятно, что, не будь улицы в столь непроходимом состоянии, театр не смог бы вместить всех желающих. Его августейшее величество император Аврелий занимал императорскую ложу, и взоры всех присутствующих были обращены к нему. Спектакль почтили своим присутствием многие знатнейшие вельможи и прославленные генералы, и не последним среди зрителей был молодой лейтенант из

патрицианской семьи, на челе которого еще не успели увянуть лавры, добытые в рядах «Гремящего легиона». Приветственные крики, раздавшиеся при его появлении, можно было услышать за Тибром!

Недавний ремонт и отделка немало способствовали увеличению удобства и уюта Колизея. Подушки вместо твердых мраморных сидений, которые мы столько времени терпели, — очень удачное нововведение. Теперешняя дирекция заслуживает благодарности публики. Она возвратила Колизею позолоту, пышные драпировки и вообще все то великолепие, которое, как сообщили нам старые завсегдатаи Колизея, составляло гордость Рима пятьдесят лет тому назад.

Первый номер — битва на мечах между двумя молодыми любителями и знаменитым парфянским гладиатором, которого недавно взяли в плен, — был превосходен. Старший из юных джентльменов владел мечом с изяществом, говорившим о незаурядном таланте. Его ложный выпад, за которым последовал молниеносный удар, сбивший с парфянца шлем, был встречен дружными аплодисментами. Его удары слева оставляли желать лучшего, но многочисленным друзьям юного дебютанта будет приятно узнать, что со временем он несомненно преодолел бы этот недостаток. Впрочем, он был убит. Его сестры, которые присутствовали на спектакле, выказали глубокое огорчение. Его мать покинула Колизей. Второй юноша продолжал бой с такой храбростью, что неоднократно вызывал бешеные взрывы рукоплесканий. Когда наконец он пал мертвым, его престарелая мать с воплем кинулась к арене. Волосы ее растрепались, из глаз струились потоки слез, и едва ее руки вцепились в барьер, как она лишилась чувств. Полиция немедленно удалила ее. При данных обстоятельствах поведение этой женщины, может быть, извинительно, но мы считаем подобные сцены прискорбным нарушением декорума, который следует неуклонно поддерживать во время представлений, не говоря уже о том, что в присутствии императора они тем более неприличны. Парфянский пленник сражался смело и искусно, что вполне понятно, ибо он сражался за свою жизнь и свободу. Его жена и дети, присутствовавшие в театре, придавали своей любовью силу его мышцам и напоминали ему о родине, которую он увидит, если выйдет победителем. Когда пал его второй противник, жена прижала детей к груди и заплакала от радости. Но счастье это оказалось недолговечным. Пленник, шатаясь, приблизился, и она увидела, что свобода, которую он завоевал, завоевана слишком поздно: раны его были смертельны. Так, ко всеобщему удовольствию, окончилось первое действие. По требованию публики директор вышел на сцену, поблагодарил зрителей за оказанную ему честь в речи, исполненной остроумия и юмора,

и заканчивая ее, выразил надежду, что его скромные усилия доставить веселое и поучительное развлечение римским гражданам будут и впредь заслуживать их одобрение.

Затем появилась звезда, встреченная громовыми аплодисментами и дружным взмахом шестидесяти тысяч носовых платков. Марк Марцелл Валериан (сценическое имя; настоящая его фамилия — Смит) обладает великолепным сложением и выдающимся актерским дарованием. Секирой он владеет виртуозно. Его заразительная веселость неотразима в комедии и все же уступает высоким образам, которые он создает в трагедии. Когда его секира описывала сверкающие круги над головами опешивших варваров точно в том же ритме, в каком он сам изгибался и прыгал, зрительный зал неудержимо хохотал; но когда он обухом проломил череп одного из своих противников, а лезвием почти в ту же секунду рассек надвое тело второго, ураган рукоплесканий, потрясший здание, показал, что взыскательное собрание признало его мастером благороднейшего из искусств. Если у него и есть какой-нибудь недостаток (мы с большим сожалением допускаем такую возможность), то это лишь привычка поглядывать на зрителей в самые захватывающие моменты спектакля, как бы напрашиваясь на восхищение. То, что он останавливался в разгар боя, чтобы раскланяться за брошенный ему букет, также несколько отдает дурным вкусом. Во время великолепного боя левой рукой он, казалось, чуть не все время смотрел на публику, вместо того чтобы крошить своих противников; а когда, сразив всех второкурсников, он забавлялся с первокурсником, то, нагнувшись, подхватил брошенный ему букет и протянул его противнику, когда тот обрушивал на его голову удар, обещавший стать последним. Такая игривая развязность, быть может, вполне приемлема в провинции, но она неуместна в столице. Мы надеемся, что наш юный друг не обидится на наши замечания, продиктованные исключительно заботой о его благе. Всем, кто нас знает, известно, что, хотя мы порою проявляем справедливую требовательность к тиграм и мученикам, мы никогда намеренно не оскорбляем гладиаторов.

Чудо-ребенок совершал чудеса. Он легко справился со своими четырьмя тигрятами, не получив ни единой царапины, если не считать потери кусочка скальпа.

Исполнение всеобщей резни отличалось большой верностью деталей, что служит доказательством высокого мастерства ее покойных участников.

Подводя итоги, можно сказать, что вчерашнее представление делает честь не только дирекции Колизея, но и городу, который поощряет и поддерживает подобные здоровые и поучительные развлечения. Нам

хотелось бы только указать, что вульгарная привычка мальчишек на галерке швырять орехи и жеваную бумагу в тигров, кричать «уйюй!» и выражать свое одобрение или негодование возгласами вроде: «Давай, давай, лев!», «Наподдай ему, медная башка!», «Сапожник!», «Марала!», «Эх ты чучело!» — чрезвычайно неуместна, когда в зале присутствует император, и полиции следовало бы это прекратить. Вчера, каждый раз, когда служители выходили на арену, чтобы убрать трупы, юные негодяи на галерке вопили: «Подчищай!» или еще: «Мундирчик-то фу-ты ну-ты!», а также: «Убирай, не зевай!» и выкрикивали множество других насмешливых замечаний. Все это очень неприятно для публики.

На сегодня обещано дневное представление для юных зрителей, во время которого несколько мучеников будут съедены тиграми. Спектакли будут продолжаться ежедневно, до особого уведомления. Каждый вечер — существенные изменения программы. Бенефис Валериана — 29-го, во вторник, если он доживет».

В свое время я сам был театральным критиком и часто удивлялся, насколько больше Форреста^[101] я знаю о Гамлете; и я с удовлетворением замечая, что мои античные собратья по перу разбирались в том, как надо драться на мечах, гораздо лучше гладиаторов.

Глава XXVII. «Зарезан на потеху римской черни».
— **Тема, выводящая из себя. — Ослоподобные гиды.**
— **Римские катакомбы. — Святой, грудь которого**
не выдержала пылкой веры. — Чудо
кровооточающего сердца.

Пока все идет прекрасно. Если у кого-нибудь есть право гордиться собой и быть довольным, так это у меня. Ибо я описал Колизей и гладиаторов, мучеников и львов — и ни разу не процитировал: «Зарезан на потеху римской черни». Я единственный свободный белый, достигший совершеннолетия, которому это удалось с тех пор, как Байрон создал эту строку.

«Зарезан на потеху римской черни» — звучит хорошо, когда встречаешь эти слова в печати первые семнадцать — восемнадцать тысяч раз, но потом они начинают приедаться. Они попадают мне во всех книгах, где говорится о Риме, и последнее время то и дело напоминают мне о судьбе Оливера. Оливер, молодой, свежеиспеченный юрист, отправился начинать жизнь к нам в пустыни Невады. Он обнаружил, что наши обычаи и образ жизни в те далекие дни отличались от тех, которые приняты в Новой Англии или Париже. Однако он надел фуфайку, прицепил к своей особе револьвер флотского образца, пристрастился к местным бобам со свининой и решил в Неваде жить и по-невадски выть. Оливер настолько безоговорочно принял все последствия своего решения, что, хотя на его долю, вероятно, выпадали тяжкие испытания, он никогда не жаловался, — вернее, пожаловался только один раз. Он, еще двое и я отправились на недавно открытые месторождения серебра в горах Гумбольдт; он — чтобы занять должность судьи округа Гумбольдт, а мы — как старатели. Нам предстояло проехать двести миль. Была середина зимы. Мы купили пароконный фургон и погрузили в него тысячу восемьсот фунтов сала, муки, бобов, динамита, кайл и лопат; мы купили пару ободранных мексиканских кляч, у которых шерсть свалялась и вытерлась, а углов на теле было больше, чем у мечети Омара^[102]; мы запрягли их в фургон и тронулись в путь. Поездка была ужасной. Но Оливер не жаловался. Лошади оттащили фургон на две мили от города и стали. Затем мы втроем на протяжении семи миль толкали фургон, а Оливер шел впереди и тянул

лошадей под уздцы за собой. Мы жаловались — Оливер нет. Мы спали на ледяной земле, и у нас леденели спины; ветер бил в лицо и обмораживал наши носы. Оливер не жаловался. После того как мы толкали фургон пять дней и мерзли пять ночей, мы добрались до самого тяжелого участка пути — Сорокамильной, или, если угодно, Великой американской пустыни. А этот наивежливейший человек так ни разу и не пожаловался. Мы начали переход в восемь часов утра и весь день толкали фургон по бездонным пескам, мимо обломков тысячи фургонов и скелетов десяти тысяч волов, мимо колесных ободьев, которых хватило бы на то, чтобы обить монумент^[103] Вашингтона снизу и до самого верха, мимо цепей от воловьих запряжек, которыми можно было бы опоясать Лонг Айленд^[104], мимо могильных холмиков; наши глотки пересохли от жажды, солончаковая пыль до крови разъедала нам губы, нас мучили голод и усталость — такая усталость, что каждый раз, когда, протащившись пятьдесят ярдов, мы ложились на песок, чтобы дать отдохнуть лошадям, нам приходилось бороться со сном. Но жалоб Оливера не было слышно. Не было слышно их и в три часа ночи, когда мы, измученные до смерти, перешли наконец пустыню. Два дня спустя, когда мы ночевали в узком ущелье, нас разбудил снегопад, и мы, боясь, что будем погребены заживо, запрягли лошадей и толкали фургон, пока в восемь часов не миновали водораздел и не поняли, что спасены. Никаких жалоб. Нам понадобилось пятнадцать дней трудов и лишений, чтобы преодолеть эти двести миль, но судья так ни разу и не пожаловался. Нам начинало казаться, что вывести его из себя невозможно. Мы построили гумбольдтовский домик. Его строят так: в основании крутого склона делают ровную площадку, вбивают два столба и кладут на них две перекладины. Затем от того места, где перекладины упираются в склон, натягивают большой кусок парусины, который свисает до земли, — это крыша и фасад особняка. Заднюю и боковые стены образует сырая земля срезанного склона. Для устройства дымохода не требуется большого труда — достаточно отвернуть уголок крыши. Как-то вечером Оливер сидел один в этой унылой берлоге у костра, в котором потрескивала полынь, и писал стихи. Он любил выкапывать из себя стихи или — если дело шло туго — вырывать их динамитом. Он услышал, что возле крыши ходит какое-то животное; сверху упал камень и несколько комьев грязи. Ему стало не по себе, и он то и дело покрикивал: «Эй, пошел, пошел отсюда!» Потом он задремал, и тут в дом через дымоход свалился мул! Горящие угли были разбросаны во все стороны, а Оливер полетел кувыркком. Дней через десять после этого он опять обрел

уверенность в себе и снова сел писать стихи. Снова он задремал, и снова через дымоход свалился мул. На этот раз его сопровождала половина боковой стены. Стараясь подняться на ноги, мул затоптал свечу, переломал почти всю кухонную утварь и наделал много других бед. Столь внезапные пробуждения, вероятно, были неприятны Оливеру, но он ни разу не пожаловался. Он переехал в особняк на другом склоне ущелья, так как заметил, что мулы туда никогда не заглядывают. Однажды вечером, около восьми часов, он пытался закончить свое стихотворение, но тут в дом вкатился камень, затем под парусину просунулось копыто, а затем часть коровы — задняя часть. В испуге он отшатнулся и закричал: «Эй! Эге-гей! Убирайся отсюда!» Корова благородно старалась удержаться, но постепенно теряла почву под ногами, грязь и пыль сыпались вниз, и прежде чем Оливер успел отскочить, корова появилась вся целиком и грохнулась прямо на стол, раздавив его в лепешку.

И тут — если не ошибаюсь, в первый раз в жизни — Оливер пожаловался. Он сказал:

— Это уже становится однообразным!

Затем он подал в отставку и уехал из округа Гумбольдт. «Зарезан на потеху римской черни», по моему мнению, уже становится однообразным.

В связи с этим мне хочется сказать несколько слов о Микеланджело Буонаротти. Я всегда преклонялся перед могучим гением Микеланджело — перед человеком, который был велик в поэзии, в живописи, в скульптуре, в архитектуре, — велик во всем, за что бы ни брался. Но я не хочу Микеланджело на завтрак, на обед, на ужин и в промежутках между ними. Я иногда люблю перемены. В Генуе все создано по его замыслу; в Милане все создано по его замыслу или по замыслу его учеников; озеро Комо создано по его замыслу; в Падуе, Вероне, Венеции, Болонье гиды только и твердят, что о Микеланджело. Во Флоренции все без исключения расписано им и почти все создано по его замыслу, а то небольшое, что было создано не по его замыслу, он имел обыкновение разглядывать, сидя на любимом камне, — и нам обязательно показывали этот камень. В Пизе все было создано по его замыслу, кроме косой дроболитной башни, — они бы и ее приписали ему, но только она очень уж невертикальна. По его замыслу созданы мол в Ливорно и таможенные правила Чивита-Веккии. Но здесь — здесь это переходит все границы. По его замыслу создан собор св. Петра; по его замыслу создан папа; по его замыслу созданы Пантеон, форма папской гвардии, Тибр, Ватикан, Колизей, Капитолий, Тарпейская скала, дворец Барберини, церковь св. Иоанна Латеранского, Кампанья, Аппиева дорога, семь холмов, термы Каракаллы, акведук Клавдия, Большая

Клоака^[105], — вечный надоеда создал Вечный город и, если только люди и книги не лгут, все расписал в нем! Дэн на днях сказал гиду:

— Ну, хватит, хватит! Все ясно! Скажите раз и навсегда, что Бог создал Италию по замыслу Микеланджело!

Вчера я преисполнился восторга, блаженства, радости и неизреченного покоя: я узнал, что Микеланджело нет в живых.

Мы таки заставили гида проговориться. Он таскал нас мимо бесконечных картин и скульптур по огромным галереям Ватикана и мимо бесконечных картин и скульптур еще в двадцати дворцах; он показал нам в Сикстинской капелле большую картину и столько фресок, что их хватило бы на все небеса, — и все это, за малым исключением, принадлежит кисти Микеланджело. И мы сыграли с ним игру, которой не выдержал еще ни один гид, — в слабоумие и идиотские вопросы. Эти субъекты все принимают всерьез, они не имеют ни малейшего представления об иронии.

Он показывает нам статую и говорит:

— Стату брунзо (бронзовая статуя).

Мы равнодушно поглядываем на нее, и доктор спрашивает:

— Работа Микеланджело?

— Нет. Неизвестно кто.

Потом он показывает нам древний римский форум. Доктор спрашивает:

— Микеланджело?

Гид удивленно смотрит на него.

— Нет. Одна тысяча лет раньше, как он родился.

Затем — египетский обелиск. Снова:

— Микеланджело?

— О, как можно, господа! Два тысяча лет раньше, как он родился!

Ему так надоедают эти бесконечные вопросы, что он уже боится вообще что-нибудь нам показывать. Он всячески пробовал объяснить нам, что Микеланджело ответствен за сотворение только части вселенной, но почему-то до сих пор это ему не удалось. Переутомленным глазам и мозгу крайне необходимо дать отдых от непрерывного осмотра всяких достопримечательностей, иначе нам действительно грозит идиотизм. Поэтому наш гид будет страдать и дальше. Если это ему не нравится — тем хуже для него. Нам это нравится.

Тут я, пожалуй, настрочу наконец главу об этом неизбежном зле — европейских гидах. Сколько людей мечтало о том, чтобы обойтись без гида! Но, зная, что это невозможно, каждый из них мечтал извлечь из него хоть какое-нибудь удовольствие, хоть чем-нибудь возместить страдания,

причиняемые его обществом. Мы нашли способ, как этого достичь, и если наш опыт может оказаться кому-нибудь полезным, мы рады им поделиться.

Познания гидов в английском языке как раз достаточны, чтобы запутать любое объяснение настолько, что разобраться в нем совершенно невозможно. Они знают историю каждой статуи, картины, собора и любого другого чуда, которое нам показывают. Они знают ее наизусть и рассказывают ее, как попугай, — если прервать их, они сбиваются и принуждены начинать сначала. Всю свою жизнь они занимаются тем, что показывают редкости иностранцам и выслушивают их восхищенные возгласы. Каждый человек любит вызывать восхищение. Именно поэтому дети всячески стараются острить и «выламываться» в присутствии гостей; именно поэтому присяжные сплетники готовы в дождь и в бурю бежать к соседям, лишь бы успеть первыми рассказать удивительную новость. Нетрудно понять, что для гида, привилегия которого каждый день показывать чужестранцам чудеса, приводящие их в экстаз, это становится страстью. Он так привыкает к этому, что уже не может существовать в более трезвой атмосфере. Как только мы открыли это, мы перестали впадать в экстаз, мы больше ничем не восхищались; какие бы замечательные чудеса ни показывал нам гид, мы оставались тупо-равнодушными, и на наших лицах не отражалось ничего. Мы нашли уязвимое место этого сословия. С тех пор мы неоднократно пускали наше открытие в ход. Кое-кого из них нам удалось разозлить, но сами мы сохраняли невозмутимое благодушие.

Вопросы обычно задает доктор, потому что он хорошо владеет своим лицом и как никто умеет принять слабоумный вид и говорить идиотским голосом. У него это получается очень естественно.

Генуэзские гиды обожают американских туристов, потому что американцы всегда готовы изумиться, расчувствоваться и прийти в восторг при виде любой реликвии, связанной с Колумбом. Наш тамошний гид был преисполнен нетерпения и воодушевления. Он сказал:

— Идите со мной, господа! Идите! Я показать вам письмо, писанное Христофор Колумбо! Сам писать! Писать своей рукой! Идите!

Он повел нас в ратушу. После долгой внушительной возни с ключами и замками перед нами был развернут старый, пожелтевший от времени документ. Глаза гида засияли. Он плясал вокруг нас и стучал по пергаменту пальцем:

— Что я вам говорить, господа? Не так ли это? Смотрите! Почерк Христофор Колумбо! Сам писать!

Мы симулировали равнодушие. В течение долгой мучительной паузы

доктор внимательно рассматривал документ. Затем он сказал, не проявляя ни малейшего интереса:

— А... как... как вы назвали субъекта, который написал это?

— Христофор Колумбо! Великий Христофор Колумбо!

Доктор снова внимательно исследует письмо.

— А... он его сам написал? Или... или... как?

— Он писать сам! Христофор Колумбо! Его собственный почерк, написан им самим!

Затем доктор положил письмо и сказал:

— В Америке я видывал четырнадцатилетних мальчишек, которые пишут лучше.

— Но это же великий Христо...

— Меня не интересует, кто это писал. Худшего почерка мне не приходилось видеть. Не думайте, пожалуйста, что вы можете нас дурачить, раз мы иностранцы. Мы не потерпим подобного обращения. Если у вас есть образчики настоящей каллиграфии, мы будем рады с ними ознакомиться, а если нет, то незачем здесь задерживаться.

Мы отправились дальше. Гид был сильно обескуражен, но сделал еще одну попытку. У него было в запасе нечто, чем он собирался нас поразить. Он сказал:

— Ах, господа, вы идти со мной. Я показывать вам прекрасный... о, великолепный бюст Христофор Колумбо! Чудесный, замечательный, великолепный!

Он подвел нас к прекрасному — действительно прекрасному! — бюсту и, отступив, встал в позу:

— Ах, взгляните, господа! Прекрасный, чудесный бюст — бюст Христофор Колумбо! Прекрасный бюст, прекрасный постамент!

Доктор приставил к глазам лорнет, купленный специально для таких okazji.

— А... как вы назвали этого джентльмена?

— Христофор Колумбо! Великий Христофор Колумбо!

— Христофор Колумбо... великий Христофор Колумбо. Ну, а чем же он знаменит?

— Открыл Америку! Открыл Америку! Черт побери!

— Открыл Америку? Тут какое-то недоразумение. Мы только что из Америки и ничего об этом не слышали. Христофор Колумбо... красивое имя... А... а он умер?

— О, *corpo di Vasso!* [\[106\]](#) Триста лет назад!

— А отчего он умер?

— Не знаю. Не могу сказать.
— От оспы, а?
— Я не знаю, господа! Я не знаю, отчего он умер.
— От кори, должно быть?
— Может быть, может быть... Я не знаю... Наверное, он умер от чего-нибудь.
— А родители живы?
— Невозможно!
— А... а что здесь — бюст, а что — постамент?
— Санта Мария! Вот это — бюст, а вот это — постамент!
— Ага, понимаю, понимаю. Удачное сочетание. Весьма удачное. Но бюст не очень пышный.

Иностранец не понял этой шутки: гидам недоступны тонкости нашего американского остроумия.

Мы не даем скучать нашему римскому гиду. Вчера мы снова провели около четырех часов в Ватикане, этом удивительном хранилище редкостей. Несколько раз мы чуть было не выказали интереса, даже восхищения — удержаться, казалось, невозможно. Все же нам это удалось. Гид был совсем уничтожен и не знал, что делать. Он сбился с ног, выискивая всякие диковинки, истощил весь запас своей изобретательности, но у него так ничего и не вышло: мы не проявили интереса ни к чему. Под конец он пустил в ход свой главный козырь — царственную египетскую мумию, пожалуй лучшую из существующих. Он повел нас к ней. На этот раз он был так уверен в успехе, что обрел часть прежнего энтузиазма.

— Взгляните, господа! Мумия! Мумия!

Лорнет приставляется к глазам с обычной хладнокровной медлительностью.

— А... как, вы сказали, зовут этого джентльмена?
— Зовут? Его никак не зовут! Мумия! Египетская мумия!
— Так, так. Здешний уроженец?
— Нет! *Египетская* мумия!
— Ах, вот как. Значит, француз?
— Нет же! Не француз, не римлянин! Родился в Египта!
— В Египта. В первый раз слышу об этой Египте. Какая-то заграничная местность, по-видимому. Мумия... мумия. Как он хладнокровен, как сдержан. А... он умер?
— О, *sacre bleu!* ^[107] Три тысячи лет назад!
Доктор свирепо обрушился на него:
— Эй, бросьте ваши штучки! Считаете нас за простофиль, потому что

мы иностранцы и проявляем любознательность! Подсовываете нам каких-то подержанных покойников! Гром и молния! Берегитесь, не то... если у вас есть хороший *свежий* труп, тащите его сюда! Не то, черт побери, мы разобьем вам башку!

Да, мы не даем скучать этому французу. Однако он с нами отчасти сквитался, сам того не подозревая. Сегодня утром он явился в отель узнать, не встали ли мы, и постарался описать нас как можно точнее, чтобы хозяин понял, о ком идет речь. Заканчивая свое описание, он мимоходом заметил, что мы сумасшедшие. Это было сказано так простодушно и искренне, что шутка для гида получилась недурная.

Есть один уже упоминавшийся вопрос, который неизменно доводит гидов до белого каления. Мы пускаем его в ход всякий раз, когда не можем придумать ничего другого. После того как они истощат все запасы своего энтузиазма, восхваляя красоты какого-нибудь древнего бронзового истукана или колченогой статуи, мы начинаем молча, с глупым видом рассматривать эту диковинку пять, десять, пятнадцать минут — словом, сколько сумеем выдержать, а потом спрашиваем:

— А... а он умер?

Это прониимает самого добродушного из них. Они никак этого не ждут — особенно новые, еще не знающие нас. Наш многострадальный римский Фергюсон, пожалуй, наиболее терпеливый и доверчивый из всех гидов, которые до сих пор нам попадались. Жаль будет расставаться с ним. Нам очень нравится его общество. Мы надеемся, что ему нравится наше, но нас терзают сомнения.

Мы побывали в катакомбах. Впечатление такое, что спускаешься в глубокий погреб, только этот погреб тянется бесконечно. Вы идете по узким, пробитым в скале коридорам, где по обеим сторонам одна над другой выдолблены от трех до четырнадцати полок; на каждой из них прежде лежал покойник. Почти на всех саркофагах вырезаны имена, христианские символы и молитвы или изречения. Даты, разумеется, восходят к заре христианской эры. Здесь, в этих подземных норах, первые христиане иногда скрывались от преследований. Ночью они крадучись выходили за пищей, а днем прятались в своем убежище. Священник сказал нам, что, когда святого Себастьяна разыскивали, он некоторое время прожил в катакомбах; но однажды он вышел из подземелья, солдатня схватила его и расстреляла из луков. Пять или шесть первых пап, которые занимали престол святого Петра около шестнадцати веков тому назад, держали свой папский двор в недрах земли и там же давали наставления духовенству. В течение семнадцати лет — с 235 по 252 год — папы вообще

не выходили из-под земли. За этот период святой престол занимало четверо пап — около четырех лет на душу. Это указывает на то, что подземное кладбище недостаточно здоровое место для постоянного проживания. В дальнейшем один из пап провел в катакомбах все время своего понтификата — восемь лет. Другого папу отыскивали там и убили прямо на его епископском кресле. В те дни святейшим отцам жилось несладко. У них было слишком много неприятностей. Под Римом расположено сто шестьдесят катакомб — лабиринты узких перекрещивающихся коридоров, — и стены каждого коридора сверху донизу и во всю его длину состоят из выдолбленных могил. По точному подсчету общая длина этих подземных проходов достигает девятисот миль, и в них находится семь миллионов могил. Мы не обошли все коридоры всех катакомб. Нам очень хотелось это сделать, и мы уже закончили необходимые приготовления, но из-за нехватки времени нам пришлось отказаться от нашего плана. И мы только побродили по унылому лабиринту св. Каликста под церковью св. Себастьяна. Во многих катакомбах попадаются маленькие, выбитые в скале часовни, где первые христиане нередко отправляли церковные службы при тусклом, призрачном свете. Представьте себе обедню и проповедь в глубине этих подземных пещер!

В катакомбах были погребены святая Цецилия, святая Агнеса и некоторые другие прославленные святые. В катакомбах св. Каликста святая Бригитта часами простаивала в священном экстазе, а святой Карло Борромео часто проводил там в молитве целые ночи. Кроме того, там произошло чудо:

«Здесь сердце святого Филиппа Нери так воспылало божественной любовью, что разорвало ему грудь».

Это торжественное заявление я нашел в книге, которая была издана в Нью-Йорке в 1858 году. Ее написал «преподобный Уильям Г. Нелиген, доктор прав, магистр искусств, преподаватель Тринити колледжа в Дублине, член Археологического общества Великобритании». Поэтому я поверил. А то бы я не смог поверить. При иных обстоятельствах я поинтересовался бы, что святой Филипп съел за обедом.

Вообще этот автор то и дело подвергает мою доверчивость испытанию. Он рассказывает о некоем святом Иосифе Каласанктии, чей дом в Риме он посетил; он посетил только дом — хозяин умер двести лет тому назад. Он говорит, что этому святому являлась дева Мария. Затем он продолжает:

«Его язык и сердце, которые были найдены в целости почти через столетие после его смерти, когда его тело было выкопано перед его

канонизацией, до сих пор хранятся в стеклянном ларце, и два столетия спустя сердце все еще цело. Когда в Рим вступили французские войска^[108] и когда был насильственно увезен Пий VII^[109], оно источало кровь».

Прочсть это в книге, написанной монахом в далекие дни средневековья, было бы не удивительно; такой рассказ прозвучал бы естественно и уместно. Но когда подобную вещь с полной серьезностью сообщает в середине девятнадцатого столетия образованный человек, доктор прав, магистр искусств и светило археологии, это звучит довольно странно. При всем при том я с радостью обменял бы мое неверие на веру Нелигена, приняв даже самые жесткие и невыгодные условия.

Не знающая сомнений, безоговорочная простота этого почтенного джентльмена в прозаический век железных дорог и телеграфа производит впечатление необычайной свежести. Послушайте, что он говорит о церкви Арацели:

«На потолке этой церкви, над самым алтарем, начертано: Regina Coeli laetere, alleluia!^[110] В шестом столетии Рим опустошала ужасная моровая язва. Григорий Великий убеждал народ покаяться. Огромная процессия двинулась от Арацели к собору св. Петра. Когда она проходила мимо мавзолея Адриана, ныне замка Святого Ангела, слышалось пение небесных голосов (было пасхальное утро): Regina Coeli, laetere! Alleluia! Quia quern meruisti portera, alleluia! Resurrexit sicut dixit; alleluia!^[111] Папа, который нес в руках изображение пресвятой девы (висящее над главным алтарем и, как говорят, принадлежащее кисти святого Луки), ответил вместе с изумленным народом: Ora pro nobis Deum, alleluia!^[112] В этот миг многие видели, как ангел поднял вложенный в ножны меч, — и мор в тот же самый день утих. Четыре обстоятельства *подтверждают*^[113] это чудо: ежегодная процессия, которую устраивает западная церковь в день святого Марка; статуя архангела Михаила, установленная на мавзолее Адриана, который с тех пор стал называться замком Святого Ангела; антифон Regina Coeli, который поется в католических храмах на пасху; и надпись в церкви Арацели».

КНИГА ВТОРАЯ



Глава I. Монастырь капуцинов. — Веселое общество мертвецов. — Чудесный Ватиканский музей. — Искусство под защитой Папы. — Римский табель о рангах божественных особ.

От кровавых забав святой инквизиции, от кровопролитий на арене Колизея, от мрачных склепов катакомб вполне естественно перейти к живописным ужасам монастыря капуцинов. Мы задержались на несколько минут в небольшой капелле монастырской церкви, чтобы полюбоваться картиной, на которой архангел Михаил побеждает Сатану, — картиной настолько прекрасной, что, по моему твердому убеждению, она принадлежит презируемому Ренессансу, хотя нам, если не ошибаюсь, сообщили, что ее написал один из ранних старых мастеров, — а затем спустились в обширный сводчатый склеп.

Замечательное зрелище для слабонервных! Очевидно, здесь поработали старые мастера. Огромный покой разделен на шесть помещений, каждое из которых украшено в своем стиле, — и все до единого украшения сделаны из человеческих костей! Мы видели изящные арки, возведенные из одних берцовых костей; удивительные пирамиды, сложенные из ухмыляющихся черепов; причудливые строения из голеней и предплечий; стены, украшенные искусными рисунками, на которых изящно изгибаются виноградные лозы из скрепленных человеческих позвонков с усиками из человеческих жил и сухожилий и цветами из коленных чашечек и ногтей. Каждая не подверженная разложению часть человеческого тела нашла свое место в этих сложных узорах (созданных, я полагаю, по замыслу Микеланджело), и тщательность, с которой была продумана и выполнена каждая деталь, говорила о несомненной любви художника к своей работе и о его высоком умении. Я спросил у добродушного монаха, который сопровождал нас, кто все это создал. И он сказал: «Мы», имея в виду себя и братию наверху. Сразу было видно, что старик капуцин очень гордится своей редкостной коллекцией. Он говорил охотно, так как мы проявили живой интерес, чего никогда не позволяли себе с гидами.

— А кто все эти люди?

— Мы... наверху... монахи ордена капуцинов... мои братья.

— Сколько потребовалось усопших монахов, чтобы украсить так шесть комнат?

— Здесь кости четырех тысяч.

— И много времени понадобилось, чтобы накопить достаточно костей?

— Много, много веков.

— Их основательно рассортировали — черепа в одном месте, ноги — в другом, ребра — в третьем. Ну и суматоха здесь поднимется, когда загремит труба архангела! Некоторые братья могут в неразберихе ухватить чужую ногу и чужой череп, а потом будут хромать и глядеть на мир глазами, расставленными шире или уже, чем они привыкли. Наверное, вы не разбираетесь, кто здесь кто?

— О нет, я многих из них знаю. — Он коснулся пальцем одного из черепов. — Это был брат Ансельм... умер триста лет тому назад... хороший человек.

Он коснулся другого. — Это был брат Александр... умер двести восемьдесят лет тому назад. Это был брат Карло... умер примерно тогда же.

Затем он поднял один из черепов и, держа его в руке, задумчиво посмотрел на него, как шекспировский могильщик, повествующий о Йорике^[114].

— Это, — сказал он, — был брат Фома. Он был молодым князем, отпрыском гордой семьи, которая могла проследить своих предков до славных дней древнего Рима — почти на две тысячи лет назад. Он полюбил девушку ниже себя по положению. Родные разгневались на него, и на девушку тоже. Они изгнали ее из Рима. Он кинулся за ней; он искал ее повсюду; он нигде не нашел ее следов. Он вернулся, возложил свое страдавшееся сердце на наш алтарь и посвятил свою разбитую жизнь служению Господу. Но слушайте. Вскоре после этого умер его отец, а затем и мать. Девушка, возрадовавшись, вернулась в Рим. Она всюду искала того, чьи глаза когда-то нежно смотрели на нее из этого бедного черепа, но не могла его найти. Наконец она на улице узнала его под грубой рясой, какие мы носим. Он узнал ее. Слишком поздно. Он упал как подкошенный. Его подняли и принесли сюда. Он больше не сказал ни слова. Через неделю он умер. Вы можете видеть по этой чуть выцветшей пряди, которая до сих пор сохранилась на виске, какого цвета были у него волосы. Это (поднимая берцовую кость) — тоже его. Прожилки листа в узоре над вашей головой были сто пятьдесят лет тому назад суставами его пальцев.

Он деловито иллюстрировал трогательную любовную историю, разложив перед нами несколько костей, оставшихся от влюбленного, и называя их, — это было таким чудовищным гротеском, какого мне еще не доводилось видеть. Я не знал, улыбаться мне или содрогаться от

отвращения. Пользоваться бесстрастными физиологическими названиями и хирургическими терминами, описывая назначение и функции некоторых из мускулов и нервов нашего организма — святотатство. Именно это я почувствовал, слушая рассказ монаха. Представьте себе, что хирург своим пинцетом подцепляет и показывает сухожилия, мускулы и прочие части сложного организма трупа, говоря при этом:

«Вот этот небольшой нерв трепещет, вибрация передается вот этой мышце, отсюда она переходит на эту волокнистую ткань; здесь ее элементы разделяются благодаря химическому воздействию крови — одна их часть притекает к сердцу, раздражая его, что в просторечии называется чувством, другая вот по этому нерву следует к мозгу и сообщает ему неожиданные и неприятные сведения, а третья скользит по этому сосуду и касается пружинки, соединенной с наполненными жидкостью железами, которые лежат в уголке глаза. Посредством этого простого и изящного процесса субъект узнает о смерти своей матери и плачет».

Отвратительно!

Я спросил у монаха, все ли братья наверху предполагают попасть в этот склеп, когда умрут. Он спокойно ответил:

— Мы все будем лежать здесь.

Посмотрите, к чему можно привыкнуть! Мысль о том, что в один прекрасный день его разберут на части, как машину, часы или дом, покинутый владельцем, и превратят в арки, пирамиды и омерзительные рисунки, нисколько не угнетала монаха! Мне даже показалось, что он не без удовольствия думает о том, как хорошо будет выглядеть его череп на вершине кучи, и как его ребра придадут рисункам ту прелесть, которой им сейчас, быть может, еще не хватает.

Там и сям в изукрашенных нишах на ложах из костей лежали мертвые высохшие монахи, чьи тощие тела были одеты в черные сутаны, какие обычно носят священники. Одного из них мы рассмотрели поподробнее. Его костлявые руки были сложены на груди; два пучка потускневших волос прилипли к черепу; кожа побурела и съежилась, она туго обтягивала торчащие скулы; высохшие глаза глубоко ушли в глазницы; ноздри зияли, так как кончик носа отвалился; безгубый рот скалил желтые зубы — перед нами был окаменевший, сохранившийся в круговороте лет жуткий смех вековой давности!

Трудно вообразить что-нибудь более веселое и вместе с тем более страшное, чем этот смех. Наверное, подумал я, почтенный старец неплохо состриг, когда испускал последний вздох, если он до сих пор все еще смеется своей шутке.

У меня кружится голова при одной мысли о Ватикане — этом лабиринте статуй, картин и всевозможных редкостей всех времен и народов. Старые мастера (особенно в скульптуре) там так и кишат. Я не могу писать о Ватикане. Кажется, у меня не останется никаких ясных воспоминаний о том, что я там видел, за исключением мумий, «Преображения» Рафаэля и еще нескольких вещей, о которых сейчас говорить не стоит. Я буду помнить «Преображение» отчасти потому, что оно висит в особой комнате, отчасти потому, что его считают лучшей картиной мира, а отчасти потому, что оно прекрасно. Краски свежие и яркие, «экспрессия», как мне сказали, чудесная, «чувство» живое, «тон» хороший, «глубина» бездонная, а ширина на глаз — фута четыре с половиной. Эта картина покоряет; ее красота неотразима. Она так хороша, что могла бы принадлежать Ренессансу. То, что я написал несколько минут назад, наводит меня на мысль — на обнадеживающую мысль: не потому ли я обнаружил столько прелести в этой картине, что она не тонет в сумасшедшем хаосе остальных галерей? Если некоторые другие картины повесить отдельно, не окажутся ли и они прекрасными? Если бы и эту картину повесить в самую гущу полотен, теснящихся на стенах длинных галерей римских дворцов, — показалась бы она мне такой красивой или нет? Если бы до сих пор я видел в каждом дворце только одного старого мастера, а не целые акры стен и потолков, буквально оклеенных ими. — не сложилось ли бы у меня более цивилизованное мнение о старых мастерах? Пожалуй, да. Когда я был школьником, то, выбирая перочинный нож, я никогда не мог решить, какой ножик в витрине самый лучший, и ни один из них мне особенно не нравился, так что я делал свой выбор с тяжелым сердцем. Но когда я рассматривал свою покупку дома, где с моим ножиком не соперничали другие блестящие лезвия, я с удивлением обнаруживал, что он очень хорош. И по сей день мои новые шляпы, когда я выношу их из магазина, кажутся мне гораздо красивее, чем на прилавке, рядом с другими новыми шляпами. Меня вдруг осенило: может быть, то, что я считал в галереях общим безобразием, на самом деле все-таки было общей красотой? Искренне надеюсь, что другие видят это именно так, но я вижу по-другому. Быть может, я любил посещать Нью-Йоркскую академию изящных искусств потому, что в ней только несколько сот картин, и, осмотрев их все, я не успевал пресытиться. Мне кажется, что академия — это бобы со свиной в Сорокамильной пустыне, а любая европейская галерея — банкет из тринадцати блюд. Обед из одного блюда съедаешь без остатка, но тринадцать отбивают аппетит и не доставляют никакого удовольствия.

Впрочем, в одном я убежден. Несмотря на всех Микеланджело, Рафаэлей, Гвидо Рени и прочих старых мастеров, величественная история Рима так и не была запечатлена на холсте! Они написали столько пресвя-тых дев, столько Пап, столько святых чучел, что их хватило бы, пожалуй, для заселения всего рая, но кроме этого они не писали ничего. «Нерон, бренчащий на кифаре^[115], пока пылает Рим»; убийство Цезаря; захватывающее зрелище сотни тысяч людей в Колизее, жадно вытягивающих шеи, чтобы получше рассмотреть, как два искусных гладиатора кромсают друг друга или как тигр прыгает на коленопреклоненного мученика, — все это и тысячи других событий, о которых мы читаем с живейшим интересом, можно найти только в книгах, а не в мусоре, оставленном старыми мастерами, которых, — о чем я вспоминаю с радостью, — уже нет в живых.

Правда, одну историческую сцену они увековечили и на холсте и в мраморе — только одну (из всех, прославленных историей). Но какую? И почему они выбрали именно ее? «Похищение сабинянок». А выбрали они ее ради ножек и бюстов.

Однако я люблю смотреть на статуи, и я также люблю смотреть на картины — даже изображающие монахов, которые в благочестивом экстазе поднимают очи горе, монахов, которые, погрузившись в размышления, опускают очи долу, и монахов, которые промышляют себе что-нибудь поесть, — и потому перестаю ворчать, чтобы поблагодарить папское правительство за ревностную охрану и прилежное накопление этих сокровищ и за позволение, данное мне, чужестранцу, и к тому же не вполне дружески настроенному, бродить среди них по своей воле и без всяких помех, за позволение данное даром и только с одним условием — вести себя так же прилично, как полагается вести себя в любом чужом доме. Я от всего сердца благодарю святейшего отца и желаю ему долгой жизни и много счастья.

Папы издавна были патронами и покровителями искусств, точно так же, как наша молодая практичная республика поощряет и поддерживает технику. В их Ватикане собрано все любопытное и прекрасное в искусстве; в нашем Бюро патентов хранится все любопытное или полезное в технике. Когда кто-нибудь изобретает новый тип шлеи или открывает новый, лучший способ передачи телеграмм, наше правительство выдает ему патент, который стоит целого состояния; когда кто-нибудь выкапывает в Кампанье античную статую, папа награждает его состоянием в золотой монете. Иногда можно понять характер человека по форме его носа. Ватикан и Бюро патентов — правительственные носы, и очень

характерные.

Гид показал нам в Ватикане колоссальную статую Юпитера, которая, как он объяснил, так грязна и повреждена — настоящий бог бродяг — потому, что ее только недавно выкопали в Кампанье. Он спросил, во сколько мы оценили бы этого Юпитера. Я, со свойственной мне сообразительностью, ответил, что он стоит четыре доллара, может быть четыре с половиной. «Сто тысяч долларов!» — сказал Фергюсон. Фергюсон далее сообщил, что Папа не разрешает вывозить из своих владений произведения античного искусства. Для осмотра и оценки подобных находок он назначает комиссию. Затем Пана выплачивает нашему полковнику половину объявленной цены и забирает статую. Фергюсон сказал, что этот Юпитер был выкопан в поле, недавно купленном за тридцать шесть тысяч долларов, и, таким образом, новый владелец собрал недурной первый урожай. Не знаю, всегда ли Фергюсон говорит правду, но полагаю, что всегда. Я знаю, что вывоз картин старых мастеров облагается неслыханной пошлиной, чтобы воспрепятствовать продаже их в частные коллекции. Я убежден, что в Америке вряд ли найдутся подлинные старые мастера, так как самые заурядные и дешевые из них стоят дороже хорошей фермы. Я сам собирался купить один пустячок Рафаэля, но цена была восемьдесят тысяч долларов, а вместе с пошлиной это обошлось бы мне в сто с лишним тысяч долларов, так что я посмотрел, посмотрел — и решил не покупать.

Тут я хочу, пока не забыл, упомянуть одну надпись, которую мне случилось увидеть:

«Слава в вышних Богу, на земле мир и в человецех благоволение!» Кажется, это точно по Священному Писанию, и уж во всяком случае это католично и человечно.

Это начертано золотыми буквами вокруг апсиды мозаичной группы, сбоку от *scala santa* церкви св. Иоанна Латеранского — матери и госпожи всех католических церквей мира. Группа представляет Спасителя, святого Петра, Папу Льва, святого Сильвестра, Константина и Карла Великого. Петр подает Папе палиум, а Карлу Великому — знамя. Спаситель подает ключи святому Сильвестру и знамя — Константину. К Спасителю никакой молитвы не обращено — в Риме он, видимо, не в почете; зато надпись внизу гласит: «Пресвятой Петр, ниспошли жизнь Папе Льву и победу королю Карлу». Там не сказано: «Будь ходатаем нам перед Спасителем, да испросит он для нас у отца эту милость», а сказано: «Пресвятой Петр, ниспошли ее нам».

Со всей серьезностью, отнюдь не легкомысленно, отнюдь не

дерзновенно и, главное, отнюдь не богохульствуя, а просто делая выводы из виденного и слышанного мной, я утверждаю, что божественные особы почитаются в Риме в следующем порядке:

Во-первых — богородица, другими словами — дева Мария;
во-вторых — Бог-отец;
— в-третьих, — Петр;
— в-четвертых — около пятнадцати канонизированных Пап и мучеников;

в-пятых — Иисус Христос, Спаситель (но всегда в облике младенца).

Может быть, я не прав — мои суждения часто бывают ошибочными, так же как и суждения любого другого человека, — но, прав я или не прав, таково мое мнение.

Я хочу упомянуть здесь об одном любопытном явлении. В Риме нет «Христовых церквей» и нет «церквей Святого Духа» — по крайней мере мне они не попадались. Всего здесь около четырехсот церквей, но из них около четверти названы в честь мадонны или святого Петра. Церквей, названных в честь девы Марии, столько, что их — если я правильно понял — приходится различать по всевозможным добавлениям. Кроме того, имеются церкви св. Людовика, св. Августина, св. Агнессы, св. Каликста, св. Лоренцо в Лючине, св. Лоренцо в Дамазо, св. Цецилии, св. Афанасия, св. Филиппа Нери, св. Екатерины, св. Доминика и множества меньших святых, чьи имена почти неизвестны миру; и в самом конце списка, после всех церквей, есть две больницы; одна из них названа в честь Спасителя, а другая — в честь Духа Святого!

День за днем и ночь за ночью мы бродили среди разрушающихся чудес Рима; день за днем и ночь за ночью мы питались прахом и пылью двадцати пяти столетий, размышляли о них днем и видели их во сне ночью, пока наконец нам не стало казаться, что мы сами рассыпаемся в прах, утрачиваем одну за другой черты лица, теряем руки и ноги и в любую минуту можем стать добычей какого-нибудь антиквария, и тогда нам подштопают ступни, «реставрируют» нас, прибавив безобразный нос, неверно определяют, неправильно датируют и поставят в Ватикане на веки вечные, чтобы поэты распускали слюни, а всяческие вандалы расписывались на нас.

Но лучший способ перестать писать о Риме — это перестать писать. Я хотел было написать об этом интереснейшем городе настоящую «главу из путеводителя», но не смог, потому что все время чувствовал себя, как мальчик в кондитерской лавке: глаза разбегаются, и не знаешь, что выбрать. Я исписал больше ста страниц, но так и не решил, с чего начать. Ну, так я

вовсе не начну. Наши паспорта уже проверены. Мы едем в Неаполь.

Глава II. Неаполь. — Аннунциата. — Подъем на Везувий. — Монашеские чудеса. — Иностранец и извозчик. — Вид на ночной Неаполь с горного склона. — Подъем на Везувий (продолжение)

«Квакер-Сити» стоит здесь, в порту Неаполя, в карантине. Карантин длится уже несколько дней и кончится не раньше чем через неделю. Мы избежали этого несчастья, потому что приехали из Рима по железной дороге. Конечно, никому не разрешается посещать корабль или съезжать на берег. Сейчас «Квакер-Сити» — это тюрьма. Пассажиры, наверное, проводят долгие знойные дни, поглядывая из-под палубных тентов на Везувий, на красавец город и чертыхаясь. Представьте себе, каково провести в подобных занятиях десять дней! Мы каждый день подплываем к ним на лодке и приглашаем их на берег. Это их успокаивает. Мы покачиваемся в десяти шагах от корабля и рассказываем им, как чудесен город; и как хорошо кормят в здешних отелях — лучше, чем где-либо в Европе; и как там прохладно; и какие там подают глыбы мороженого; и как великолепно мы проводим время, совершая экскурсии по окрестностям и на острова залива. Это их умиротворяет.

ПОДЪЕМ НА ВЕЗУВИЙ

Я долго буду помнить эту поездку на Везувий — отчасти потому, что это была интересная поездка, но главным образом потому, что она была очень утомительна.

Мы втроем отдыхали два дня среди мирной и красивой природы острова Искья, расположенного в восемнадцати милях от Неаполя; мы говорим — «отдыхали», но теперь я уже не помню, из чего состоял этот отдых, ибо, когда мы вернулись в Неаполь, оказалось, что мы не спим уже третьи сутки. Мы как раз собирались лечь пораньше и наверстать часть упущенного сна, когда услышали об этой экспедиции на Везувий. Нас набралось восемь человек, и нам предстояло выехать из Неаполя в полночь. Мы запаслись на дорогу провизией, наняли экипажи, которые должны были доставить нас в Аннунциату, и, чтобы не заснуть, решили побродить по городу до двенадцати часов. Мы тронулись в путь точно в назначенное

время и через полтора часа добрались до городка Аннунциаты. Второй такой дыры на свете нет. В других итальянских городах жители, разлегшись на солнышке, спокойно дожидаются, пока вы не обратитесь к ним с вопросом или не совершите еще какой-нибудь поступок, за который с вас можно будет потребовать вознаграждение, но обитатели Аннунциаты лишены и этих остатков деликатности. Они хватают шаль, которую дама положила на стул, подают ее и требуют вознаграждения — медную монетку; они открывают перед вами дверцу экипажа и требуют вознаграждения; закрывают ее, когда вы вылезете, и требуют вознаграждения; они помогают вам снять плащ — два цента; чистят ваш костюм, от чего он становится только грязнее, — два цента; улыбаются вам — два цента; сняв шляпу, кланяются с заискивающей миной — два цента; они спешат сообщить вам всевозможные сведения, например что мулов сейчас приведут, — два цента; теплый день, синьор — два цента; подъем продолжается четыре часа — два цента. И так без конца. Они набрасываются на вас, пристают к вам, назойливо вьются вокруг, потеют и пахнут самым возмутительным образом. Они готовы на любые унижительные услуги, лишь бы за них платили. У меня не было возможности по личным наблюдениям составить мнение о высших классах, но я кое-что слышал о них, и, судя по всему, отсутствие у них некоторых скверных привычек, свойственных черни, с лихвой возмещается другими, еще худшими. Какие попрошайки эти итальянцы! А некоторые из них к тому же хорошо одеты.

Я сказал, что по собственным наблюдениям ничего дурного о высших классах сказать не могу. Я ошибся. То, что вчера вечером на моих глазах проделывал цвет их общества, — в других, более великодушных странах, по-моему, постыдились бы делать даже подонки. Зрители собрались сотнями — даже тысячами — в огромном театре Сан-Карло для... для чего? Для того, чтобы поиздеваться над старой женщиной, чтобы освистать, оскорбить, поднять на смех актрису, которой когда-то поклонялись, но чья красота теперь увяла, а голос потерял былую прелесть. Все говорили, что спектакль обещает быть очень интересным. Предсказывали, что театр будет набит битком, потому что поет Фредзолини. Нам объяснили, что теперь она поет плохо, но что публика ее все равно любит. И вот мы пошли. И всякий раз, когда она начинала петь, они свистели и смеялись — весь блистательный зал, — а как только она уходила со сцены, они вызывали ее аплодисментами. Дважды она бисировала по пять-шесть раз подряд, и каждый раз ее встречали свистом, а когда она заканчивала, провожали свистом и смехом, но тут же публика требовала повторения и сыпался

новый град насмешек! С каким восторгом высокорожденные негодяи предавались этой потехе! Господа в белых лайковых перчатках и элегантные дамы смеялись до слез и восторженно рукоплескали, когда несчастная старуха покорно выходила в шестой раз, чтобы терпеливо выдержать новый ураган свиста! Это было так жестоко, так бессмысленно и бездушно! Если бы этот зал был заполнен американскими хулиганами, она покорила бы их своим мужественным, невозмутимым спокойствием (она бисировала снова и снова, улыбалась, любезно кланялась, пела как могла лучше, кланялась, уходила со сцены и, несмотря на непрерывный свист и насмешки, ни на минуту не теряла самообладания); и, разумеется, в любой другой стране, кроме Италии, ее пол и ее беспомощность послужили бы ей достаточной защитой — другой ей и не понадобилось бы. Сколько же мелких душонок набилось вчера в театр! Если бы директор театра мог собрать в своем зале только души неаполитанцев, без их тел, он нажил бы не менее девяноста миллионов долларов. Какой душой должен обладать человек, чтобы с удовольствием помогать трем тысячам подлецов освистывать, оскорблять и подымать на смех одинокую старуху, бесстыдно подвергать ее невыносимому унижению? Он должен обладать *всеми* скверными душевными качествами, какие только существуют. Мои наблюдения убеждают меня (я не рискую выходить за пределы личных наблюдений), что высшие классы Неаполя наделены этими качествами в избытке. В остальном это, возможно, очень хорошие люди; я не берусь судить.

ПОДЪЕМ НА ВЕЗУВИЙ (продолжение)

Неаполитанцы и по сей день глубоко верят одному из гнуснейших религиозных обманов, какие только существуют в Италии, — верят в чудесное разжижение крови святого Януария. Дважды в год попы собирают народ в храме и, выставив сосуд со свернувшейся кровью, показывают присутствующим, как она медленно расплзается и становится жидкой. Этот жалкий фарс повторяется ежедневно в течение восьми дней; и пока он длится, священники обходят толпу и собирают плату за зрелище. В первый день кровь разжижается за сорок семь минут — храм переполнен, и надо дать сборщикам время сделать обход; затем с каждым днем, по мере того как сокращается число зрителей, она разжижается все быстрее и быстрее, и наконец на восьмой день, когда чудо уже не привлекает и сотни человек, она разжижается за четыре минуты.

Кроме того, до последнего времени здесь ежегодно устраивалась большая процессия: священники, горожане, солдаты, моряки и муниципальные советники отправлялись брить голову изображению мадонны — набитому и раскрашенному чучелу, похожему на манекен модистки, — волосы которого чудесным образом отрастали за двенадцать месяцев до прежней длины. Этот бритвенный обряд совершался еще лет пять-шесть тому назад. Он приносил большие доходы той церкви, которая владела этой замечательной мадонной, и церемония ее публичного бритья всегда проводилась с великим блеском и помпой — чем пышнее, тем лучше, так как чем больше был шум вокруг этого обряда, тем более многочисленная собиралась толпа и тем крупнее были доходы от него; но наконец пришел день, когда папа и его слуги оказались в немилости у неаполитанцев, и городские власти запретили ежегодные представления с участием мадонны.

Эти два примера хорошо характеризуют неаполитанцев — два глупейших обмана, которым одна половина жителей верит свято и безусловно, а другая либо тоже верит, либо молчит, способствуя таким образом мошенничеству. Я склонен думать, что неаполитанцы все верят в эти жалкие, дешевые чудеса, — люди, которые требуют два цента каждый раз, когда кланяются вам, люди, бесстыдно оскорбляющие женщину, по моему мнению, вполне на это способны.

ПОДЪЕМ НА ВЕЗУВИЙ (продолжение)

Эти неаполитанцы всегда запрашивают вчетверо, но если вы не торгуясь платите эту цену, им становится стыдно, что они так продешевили, и они немедленно запрашивают больше. Получение или выплата денег неизменно сопровождается бурной перебранкой и усиленной жестикуляцией. Стоит купить ракушек на два цента, и при этом непременно произойдет ссора и скандал. Один «конец» в пароконном экипаже стоит франк — это закон, но кучер под тем или иным предлогом всегда запрашивает больше, и если ему платят не торгуясь, тут же предъявляет новое требование. Рассказывают, что какой-то иностранец нанял в один конец одноконный экипаж; тариф — полфранка. В качестве опыта он дал кучеру пять франков. Тот потребовал еще — и получил еще франк. Он потребовал еще — и получил еще франк, потребовал еще — и получил отказ. Он стал настаивать, выслушал еще один отказ и принялся скандалить. Иностранец сказал: «Хорошо, верните мне семь франков, и

тогда посмотрим», а когда получил деньги обратно, дал кучеру полфранка, и тот немедленно попросил два цента на водку. Могут подумать, что я предубежден. Не спорю. Мне было бы стыдно за себя, если бы я не был предубежден.

ПОДЪЕМ НА ВЕЗУВИЙ (продолжение)

Ну, как я уже говорил, проторговавшись с населением Аннунциаты полтора часа, мы наняли мулов и лошадей и, клюя носом, направились в гору; за хвост каждого мула держался бродяга, притворявшийся, что погоняет животное, хотя на самом деле он просто висел на нем. Сперва я продвигался очень медленно, но потом мне расхотелось платить пять франков моему провожатому за то, что он тянет моего мула за хвост и мешает ему взбираться по склону, и я уволил его. После этого я поехал быстрее.

Когда мы поднялись достаточно высоко, перед нами открылся великолепный вид на Неаполь. Мы, разумеется, видели только газовые фонари — полукруг по краю залива, алмазное ожерелье, поблескивающее вдали сквозь мрак, не такое яркое, как звезды над головой, но мягко переливающееся и гораздо более красивое; цепочки огней скрещивались и перекрещивались по всему городу, образуя прихотливые сверкающие узоры. А за городом, на обширной ровной кампанье, отмечая места, где во мраке прятались деревушки, были разбросаны ряды, круги и гроздь мерцающих, как драгоценности, огней. Примерно в эту минуту парень, который висел на хвосте лошади передо мной и без всякого повода то и дело терзал бедное животное, был отброшен копытом футов на двести пятьдесят; это происшествие в совокупности с волшебным зрелищем далеких огней привело меня в состояние безмятежного блаженства, и я был рад, что отправился на Везувий.

ПОДЪЕМ НА ВЕЗУВИЙ (продолжение)

Эта тема представляет собой великолепный материал для целой главы, которую я и напишу завтра или послезавтра.

Глава III Подъем на Везувий (продолжение). — Знаменитые места по берегам Неаполитанского залива. — Окаменевшее море лавы. — Подъем (продолжение). — На вершине. — Кратер. — Спуск с Везувия.

ПОДЪЕМ НА ВЕЗУВИЙ (продолжение)

«Увидеть Неаполь и умереть»^[116]. Не думаю, что человек обязательно умрет только оттого, что увидит его; но если он попробует в нем поселиться, это может кончиться печально. Увидеть Неаполь так, как мы увидели его на рассвете со склона Везувия, — значит увидеть картину удивительной красоты. На этом расстоянии его грязные здания кажутся белыми, и ряд за рядом балконы, окна, кровли поднимаются все выше над морской синевой, пока наконец величественная белая пирамида не увенчивается огромным замком Сант-Эльмо, который придает всей картине гармоническую завершенность. А когда лилии Неаполя превратились в розы, когда он зарделся от первого поцелуя солнца, красоту его уже нельзя было описать никакими словами. В эту минуту можно было с полным правом сказать: «Увидеть Неаполь и умереть». И обрамление этой картины тоже было чарующим. Впереди — бесконечная многоцветная мозаика морской глади, и в отдалении — горделивые острова, купающиеся в сонной дымке; а с нашей стороны — величавая двойная вершина Везувия, его мощные черные отроги и лавовые потоки, спускающиеся к безграничным просторам ровной кампаньи — зеленого ковра, который пленяет взор и манит его за собой все дальше и дальше, мимо роц, одиноких домиков, белоснежных деревушек, и заканчивается на горизонте смутной дымчатой бахромой. Именно отсюда, из «Эрмитажа» на склоне Везувия, следует «увидеть Неаполь и умереть».

Только не вступайте в пределы города и не рассматривайте его в подробностях, — это лишит его романтического ореола. Жители нечистоплотны, и поэтому улицы грязны, полны неаппетитных запахов и зрелищ. Неаполитанцы страшно предубеждены против холеры. На это, впрочем, у них есть все основания. Когда холера поражает неаполитанца,

она с ним быстро разделяется, потому что, как вы сами понимаете, пока доктор раскопает грязь и доберется до болезни, пациент успевает скончаться. Высшие классы каждый день купаются в море и выглядят вполне прилично.

Улицы обычно достаточно широки, чтобы по ним могла проехать телега, и кишмя кишат людьми. Каждая улица, каждый двор, каждый проулок — это Бродвей! Бесконечные, густые, шумные, торопящиеся, суетливые толпы! Нам еще не приходилось видеть ничего подобного — даже в Нью-Йорке. Тротуары попадаются редко, и они так узки, что обойти встречного, не задев его, невозможно. Поэтому все ходят по мостовой, а там, где позволяет ширина улицы, по ней то и дело проносятся кареты. Почему каждый день под колеса не попадают тысячи прохожих, остается тайной, которую не может разгадать никто.

Если восьмое чудо света^[117] существует, то это — жилые дома Неаполя. Честное слово, я убежден, что большинство здешних домов — в сто футов высотой! А сплошные кирпичные стены имеют толщину в семь футов. Прежде чем добраться до «второго» этажа, проходишь девять лестничных маршей. Ну, может быть, не девять, но что-то в этом роде. Окна, перед каждым из которых торчит птичья клетка балконных прутьев, уходят ввысь, в вечные облака, где находится крыша, и из каждого окна непременно кто-то выглядывает: люди нормального роста — из окон первого этажа, люди чуть поменьше — из окон второго, люди еще чуть поменьше — из окон третьего, и с каждым этажом они кажутся пропорционально все меньше и меньше, так что люди, выглядывающие из окон верхних этажей, больше всего похожи на ласточек, высунувшихся из очень высокого гнезда. Такая улица-ущелье, где вереницы высоких домов тянутся вдаль, сходясь на горизонте, как железнодорожные рельсы; где с бельевых веревок, пересекающих ее на всех высотах, свисают над людскими толпами знамена лохмотьев; где на железных балкончиках, рядами уходящих от тротуара под самые небеса, сидят одетые в белое женщины, — такая улица стоит того, чтобы рассмотреть Неаполь поподробнее.

ПОДЪЕМ НА ВЕЗУВИЙ (продолжение)

В Неаполе и его предместьях живет шестьсот двадцать пять тысяч человек, но я уверен, что он занимает не большую площадь, чем американский город с населением в сто пятьдесят тысяч. Впрочем, высотой

он в три таких американских города — и в этом весь секрет. Замечу мимоходом, что контрасты между богатством и нищетой, великолепием и убожеством здесь разительнее даже парижских и встречаются чаще. В Париже приходится ездить в Булонский лес, чтобы увидеть модные туалеты, дорогие экипажи и пышные ливреи, и в предместье Сент-Антуан — чтобы увидеть порок, нищету, голод, лохмотья, грязь; но на улицах Неаполя все это слито воедино. Голые девятилетние мальчуганы — и разодетые дети богачей; лохмотья — и блестящие мундиры; запряженные ослиами тележки — и роскошные кареты; нищие, князья, епископы толкуются бок о бок на каждой улице. Каждый вечер в шесть часов весь Неаполь отправляется кататься по Riviera di Chiaja^[118] (что бы это ни значило), и в течение двух часов там можно наблюдать самую пеструю и самую смешанную процессию, какую только в силах представить себе человек. Князья (в Неаполе князей больше, чем полицейских; город просто наводнен ими), которые живут на седьмом этаже и не владеют никакими княжествами, голодают, но непременно держат экипаж; приказчики, ремесленники, модистки и проститутки отказывают себе в обеде и не жалеют денег, только бы прокатиться на извозчике по Кьяе; городская чернь набивается по двадцать — тридцать человек в ветхую тележку, запряженную осликом величиной с кошку, и тоже отправляется кататься по Кьяе; туда же съезжаются герцоги и банкиры в пышных каретах с разодетыми кучерами и лакеями, — вот как составляется эта процессия. В течение двух часов знатность и богатство, безвестность и бедность во всю прыть мчатся бок о бок в нелепой процессии, а потом разъезжаются по домам довольные, счастливые, торжествующие!

На днях я разглядывал великолепную мраморную лестницу королевского дворца, которая, как говорят, обошлась в пять миллионов франков, а по моему мнению, стоит никак не меньше пятисот тысяч. Я решил, что, наверное, очень приятно жить в стране, где существуют такие комфорт и роскошь. А потом я в задумчивости вышел на улицу и чуть не наступил на бродягу, который, сидя на краю тротуара, поедая свой обед — ломоть хлеба и гроздь винограда. Когда я узнал, что это травоядное работает приказчиком во фруктовой лавке (она была рядом с ним, в корзине) за два цента в день и что у него совсем нет дворца, восхищение, которое я испытывал, думая о прелестях итальянской жизни, несколько потускнело.

Это, естественно, наталкивает меня на мысль о здешних заработках. Лейтенанты в итальянской армии получают примерно доллар в день, а солдаты — несколько центов. Единственный конторщик, которого я знаю,

получает четыре доллара в месяц. Печатники получают шесть с половиной; но я слышал о мастере, который получает тринадцать. Такие неожиданные и бешеные деньги, естественно, превратили его в надменного аристократа. Его высокомерие просто невыносимо.

Говоря о заработках, я не могу не упомянуть о здешних ценах. В Париже у Жувена дюжина лучших лайковых перчаток стоит двенадцать долларов, — здесь перчатки примерно того же качества продаются по три-четыре доллара дюжина. В Париже рубашки из тонкого полотна стоят пять-шесть долларов штука, — здесь и в Ливорно — два с половиной. В Марселе за хороший фрак, сшитый первоклассным портным, приходится платить сорок долларов, а в Ливорно за те же деньги можно приобрести целый костюм. Здесь можно купить прекрасный сюртук за десять или двадцать долларов, а в Ливорно за пятнадцать долларов можно купить пальто, которое в Нью-Йорке обошлось бы вам в семьдесят. Хорошие замшевые башмаки стоят в Марселе восемь долларов, а здесь — четыре. Лионский бархат ценится в Америке дороже генуэзского, однако большая часть лионского бархата, который вы покупаете в Соединенных Штатах, производится в Генуе, откуда его ввозят в Лион, где на него наклеивают лионские ярлыки, а затем экспортируют в Америку. В Генуе за двадцать пять долларов можно купить столько бархата, что из него в Нью-Йорке выйдет пятисотдолларовая накидка, — так мне говорили дамы. Понятно, что после всего этого мне, вполне естественно, вспоминается

ПОДЪЕМ НА ВЕЗУВИЙ (продолжение)

что наталкивает меня на мысль о чудесном Голубом гроте. Он находится на острове Капри, в двадцати двух милях от Неаполя. Мы наняли пароходик и отправились туда. Конечно, к нам на борт явилась полиция и, прежде чем разрешить нам сойти на берег, проверила наше здоровье и выяснила наши политические взгляды. Важность, которую напускают на себя эти крохотные насекомообразные правительства, нелепа до смешного. На наш пароходик был даже прислан специальный полицейский, чтобы присматривать за нами, пока мы будем находиться в каприйских владениях. Здешние власти, очевидно, считали, что мы собираемся украсть грот. А украсть его стоило. Вход в пещеру — четыре фута в высоту и четыре фута в ширину. Он расположен в огромном отвесном утесе, который обрывается в море. Туда ездят на маленьких лодочках, и протиснуться сквозь входное отверстие не так-то просто; во время прилива туда вообще нельзя попасть.

Очутившись внутри, вы оказываетесь в сводчатой пещере длиной в сто шестьдесят футов, шириной в сто двадцать и высотой в семьдесят. Ее глубины не знает никто. Пещера тянется до морского дна. Воды этого тихого подземного озера отливают изумительной лазурью. Они прозрачны, как зеркальное стекло, а их цвет посрамил бы ярчайшее итальянское небо в самый солнечный день. Трудно вообразить более чарующий оттенок, более великолепное свечение. Стоит бросить в воду камешек, и мириады ослепительных пузырьков засверкают, как голубой бенгальский огонь. Стоит погрузить в воду весло, и оно засияет чудесным матовым серебром, отливающим голубизной. Человек, прыгнувший в воду, мгновенно одевается такой великолепной броней, какой не было ни у одного из королей-крестоносцев.

Затем мы поехали на Искью, но я уже побывал там раньше и устал до смерти, «отдыхая» двое суток и изучая на хозяине гостиницы «Гранде Сентинелле» глубины человеческого злодейства. Поэтому мы отправились на Прочиду, а оттуда в Поццуоли^[119], где высадился святой Павел, приплыв с Самоса. Я сошел на берег точно в том же месте, где когда-то сходил святой Павел, и Дэн и все остальные — тоже. Это было замечательное совпадение. Прежде чем отправиться в Рим, святой Павел семь дней проповедовал перед здешними жителями.

Баньи-ди-Нероне, развалины Байи^[120], храм Сераписа^[121], Кумы, где кумская сивилла^[122] толковала пророчества оракулов, озеро Аньяно^[123], в глубинах которого еще виден древний затопленный город, — все это, а также множество других интересных мест мы осмотрели с видом недоверчивых идиотов, но больше всего нас влекла Собачья пещера, потому что мы столько слышали и читали о ней. Кто только не писал о Гротта-дель-Кано и его ядовитых испарениях, начиная от Плиния и кончая Смитом! Каждый турист, держа собаку за ноги, опускал ее к полу, чтобы проверить свойства этой пещеры. Собака околеваает через полторы минуты, курица — мгновенно. Как правило, иностранцы, которые устраиваются там на ночлег, не просыпаются, пока их не окликнут. Но и тогда они тоже не просыпаются. Иностранец, который рискнет заснуть там, заключает бессрочный контракт. Я жаждал увидеть эту пещеру. Я твердо решил взять собаку и самому подержать ее над полом, отравить ее немного и засечь время, отравить ее еще и прикончить. Мы добрались до пещеры около трех часов и немедленно принялись за опыты. Но тут же столкнулись с непредвиденным препятствием: у нас не было собаки.

ПОДЪЕМ НА ВЕЗУВИЙ (продолжение)

«Эрмитаж» находится на высоте в полторы-две тысячи футов над уровнем моря, и подъем к нему очень крут. Следующие две мили дорога была весьма неровной — подъем был то крутым, то пологим, но в одном отношении она не менялась: на всем протяжении неуклонно, неизменно, без малейших вариаций она была одинаково и невыразимо отвратительна. Мы ехали по еле заметной узкой тропе через древний лавовый поток — через черный океан, застывший в тысячах фантастических форм; дикий хаос разрушения, уныния и бесплодия, лабиринт ребристых волн, бешеных водоворотов, разорванных пополам миниатюрных гор, исковерканных, узловатых, сморщенных и скрученных черных масс, напоминавших клубки корней, мощные лозы, древесные стволы, перепутанные и перемешанные между собой, — и все эти словно порожденные кошмаром фигуры, вся эта бушующая панорама, вся эта бурлящая, широко раскинувшаяся черная пустыня, исполненная пугающего подобия жизни, действия, кипения, борения, яростного движения, — все это было каменным! Холод и смерть поразили этот хаос в миг самой бешеной пляски, сковали его, парализовали и бросили, чтобы он вечно грозил небесам в бессильной ярости!

Наконец мы очутились в ровной узкой долине, где по обеим сторонам высятся две обрывистые вершины Везувия. Та, на которую нам предстояло взобраться, — та, где действующий вулкан, — на глаз достигала тысячи футов в высоту и была такой отвесной, что казалось, ни один человек не может на нее вскарабкаться, а уж мул со всадником тем более. Четверо местных пиратов, если вы пожелаете, втащат вас наверх на носилках; но предположим, что они поскользнутся и вы покатитесь вниз, — где вы остановитесь? Пожалуй, только по ту сторону вечности. Мы слезли с мулов, наточили ногти и без двадцати шесть утра начали подъем, о котором я так давно пишу. Тропинка вела прямо вверх по неровной осыпи обломков пемзы, и мы, сделав два шага вверх, соскальзывали на один вниз. Она была так крута, что через каждые пятьдесят — шестьдесят шагов мы должны были останавливаться и отдыхать. Нам приходилось смотреть прямо вверх, чтобы увидеть своих товарищей, идущих впереди, и прямо вниз, чтобы увидеть тех, кто шел позади. Наконец мы добрались до вершины — на это потребовалось час пятнадцать минут.

Там мы увидели круглый кратер — или, если угодно, кольцевую канаву — глубиной футов в двести и шириной около пятисот; его внутренняя стенка имеет около полумили в окружности. В центре этой

гигантской цирковой арены виднеется обрывистый зубчатый бугор в сто футов высоты, сплошь покрытый серной коркой, отливающей множеством ярких красок, и канава окружает его, как замковый ров, или обегает его, как речка островок, если такое сравнение более удачно. Сера, густым слоем покрывающая этот остров, переливалась всеми цветами радуги, смешавшимися в хаос красок — красных, синих, коричневых, черных, желтых, белых; здесь были представлены, насколько я мог судить, все оттенки, все сочетания цветов; и когда солнце, разорвав утренний туман, озарило это пестрое великолепие, бугор заблистал, словно осыпанная драгоценными камнями корона, венчающая царственный Везувий!

Сам кратер — ров — был окрашен не столь разнообразно, но благодаря мягкости, сочности и изящной простоте своих тонов он еще более привлекал и чаровал взоры. В его аристократической элегантности не было ничего кричащего. Красив ли он? Можно неделю смотреть на него не уставая. Он напоминает прекрасный луг, на котором бледная зелень припудренных сияющей пылью нежных трав и бархатистых мхов постепенно переходит в самый темный оттенок апельсинового листа, затем сгущается в коричневый, выцветает в оранжевый, сменяется ярко-золотистым и растворяется в пленительном багрянце только что распустившейся розы. Там, где на этом лугу виднелись торосы, словно на ледяном поле, или провалы, зазубренные края первых и зияющие пропасти вторых были одеты кружевами нежноокрашенных кристалликов серы, которые превращали их уродливые изломы в формы, полные изящества и красоты.

Стенки кратера переливались желтизной сернистых отложений, разноцветной лавой и пемзой. Огня нигде не было видно, однако каждый порыв ветра доносил до нас запах серных паров, которые невидимо и неслышно пробивались сквозь тысячи трещин и трещинок в кратере. Но мы закрывали носы платками, и опасность задохнуться нам не грозила.

Кое-кто из нашей компании зажигал длинные полоски бумаги, засовывая их в отверстия, и таким образом гордо прикуривал сигару от пламени Везувия, а другие пекли яйца над трещинами и были счастливы.

Вид с вершины был бы великолепен, если бы не туман, сквозь который солнце пробивалось лишь изредка. Поэтому мы только урывками могли любоваться величественной панорамой, открывавшейся внизу, что было весьма досадно.

СПУСК

На спуск с горы понадобилось только четыре минуты. Вместо обрывистой тропы, по которой мы поднимались, мы выбрали другую, засыпанную толстым слоем пепла, и спускались гигантскими шагами, успешно соперничая с владельцем семимильных сапог.

Везувий в наши дни — не такое уж удивительное чудо, если сравнить его с могучим вулканом Килауэа на Сандвичевых островах, но я рад, что побывал на нем.

Говорят, что во время одного из больших извержений Везувий выбрасывал огромные глыбы, весившие много тонн, на тысячу футов вверх, что чудовищные столбы пара и дыма вздымались к небесам на тридцать миль, а пепел тучами разносился повсюду и падал на палубы кораблей, находившихся в семистах пятидесяти милях от вулкана! С некоторой скидкой я возьму пепел, если кто-нибудь согласится взять тридцать миль дыма, но принять всю историю по нарицательной стоимости я не решаюсь.

**Глава IV. Погребенный город Помпея. — Судилище.
— Запустение. — Следы умерших. — Скелеты,
сохранившиеся благодаря золе и пеплу. — Стойкий
мученик долга. — Недолговечность славы.**

ПОГРЕБЕННЫЙ ГОРОД ПОМПЕЯ^[124]

Это название произносится здесь «Пом-пей-и». Я всегда думал, что в Помпею спускаются с факелами по сырой темной лестнице, как, скажем, в серебряные рудники, и бродят по мрачным туннелям, где над головой лава, а по сторонам какие-то полуразвалившиеся, выковырянные из слежавшейся земли темницы, которые отдаленно напоминают дома. Оказалось, ничего подобного. Больше половины погребенного города раскопано и совершенно открыто дневному свету; длинные ряды крепких кирпичных домов (без крыш) стоят, нагретые пылающим солнцем, как они стояли восемнадцать столетий тому назад; полы в них чисто выметены, и по-прежнему ярка сохранившаяся без единого изъяна мозаика, запечатлевшая цветы, зверей и птиц, которых мы теперь изображаем на недолговечных коврах; по-прежнему Венеры, Вакхи и Адонисы предаются любви и пьянству на многоцветных фресках, покрывающих стены гостиных и спален; узкие мостовые и узенькие тротуары, вымощенные плитами из добротной твердой лавы, все еще сохраняют глубокие выбоины — первые от колес повозок, а вторые от тысяч ног, ступавших по ним в давно прошедшие времена; целы пекарни, храмы, суды, бани, театры; все здесь чисто прибрано и аккуратно, и ничто не напоминает серебряный рудник в недрах земли. Лежащие там и сям разбитые колонны, входы, лишённые дверей, и лабиринт стен с осыпавшимся верхом — все показалось мне удивительно похожим на пожарище в каком-нибудь из наших городов; и если бы тут были обуглившиеся балки, разбитые стекла, кучи мусора и покрывающая все черная копоть, сходство было бы полным. Но нет — солнце заливает древнюю Помпею таким же ярким светом, как в те дни, когда в Вифлееме родился Христос, а улицы города в сто раз чище, чем их видели помпейцы в годы его расцвета. Я знаю, что говорю, — разве не видел я собственными глазами, что на главных улицах города (Торговой улице и улице Фортуны) мостовая не чинилась по крайней мере двести лет

и что в толстых плитах мостовой колесами повозок, принадлежавших поколениям и поколениям обжуженных налогоплательщиков, были выбиты колеи в пять и даже в десять дюймов глубиной? И разве эти признаки не говорят достаточно ясно, что помпейские инспекторы по благоустройству города забывали о своих обязанностях и что раз они не чинили мостовые, то они их и не убирали? И кроме того — разве каждому инспектору по благоустройству города не присуща с рождения склонность отлынивать от своих обязанностей? Хотел бы я знать фамилию последнего из занимавших эту должность в Помпее, чтобы проклясть его память. Эта тема так задевает меня за живое потому, что я чуть не вывихнул ногу в такой колее, и грусть, охватившая меня, когда я увидел первый жалкий скелет, к которому пристали пепел и лава, была сильно смягчена мыслью, что это, быть может, останки инспектора по благоустройству города.

Нет, Помпею не назовешь погребенным городом. Это город многих сотен домов, лишенных крыш, и лабиринта улочек, в котором без проводника легко заблудиться, — и тогда придется ночевать в каком-нибудь населенном призраками дворце, где с той ужасной ноябрьской ночи вот уже восемнадцать столетий не было живых обитателей.

Мы прошли через ворота, выходящие на Средиземное море (их называют «Морскими воротами»), миновали запыленную, разбитую статую Минервы, все еще неусыпно охраняющую город, который она была бессильна спасти, и по длинной улице добрались до форума правосудия. Пол здесь ровен и чист, а по правую и левую руку тянутся разбитые колонны благородного портика, рядом с которыми лежат их красивые ионические и коринфские капители. В дальнем конце стоят пустые судейские кресла, а за ними — лестница; по ней мы спустились в темницу, где в ту памятную ноябрьскую ночь зола и пепел настигли двух прикованных к стене узников и предали их мучительной казни. Как они, должно быть, рвались из безжалостных цепей, когда вокруг них забушевало пламя!

Затем мы бродили по пышным особнякам, куда раньше, когда в них еще жили их владельцы, мы не смогли бы попасть без приглашения на непонятном латинском языке, — а его мы, вероятно, не получили бы. Эти люди строили свои дома примерно по одному образцу. Полы делались из разноцветного мрамора со сложными мозаичными узорами. У входа иногда видишь латинское приветствие или изображение собаки с надписью: «Берегись собаки», а иногда изображение медведя или фавна без всякой надписи. Затем попадаешь во что-то вроде вестибюля, где, как я полагаю, находилась вешалка для шляп, а затем в комнату с большим мраморным бассейном посередине и трубами для фонтана, по обеим сторонам ее —

спальни, за фонтаном — гостиная, за ней — садик, столовая и так далее. Полы все мозаичные, стены оштукатурены, расписаны или украшены барельефами; там и сям виднелись большие и маленькие статуи, крохотные бассейны для рыб, а из тайников в красивой колоннаде вокруг двора вырывались сверкающие водяные каскады, освежавшие цветы и охлаждавшие воздух. Помпейцы, несомненно, очень любили роскошь и комфорт. Среди бронзовых изделий, которые нам довелось увидеть в Европе, лучшие найдены при раскопках Геркуланума и Помпеи, так же как и прекраснейшие камеи и изысканные геммы; здешние картины, которым уже девятнадцать веков, часто гораздо приятнее прославленных кошмаров, вышедших из-под кисти старых мастеров всего триста лет назад. Искусство здесь было в расцвете. После того как в первом веке были созданы эти шедевры, и вплоть до одиннадцатого искусство, казалось, прекратило свое существование — по крайней мере от него не осталось никаких следов, — и странно видеть, насколько (во всяком случае в некоторых отношениях) эти древние язычники превзошли грядущие поколения художников. Статуи, которыми больше всего гордится мир, — это находящиеся в Риме «Лаокоон» и «Умиравший гладиатор». Они старые, как Помпея, были выкопаны из земли, как Помпея, и можно только догадываться, сколько им столетий и кто их создал. Но и старые, потрескавшиеся, лишенные истории, покрытые пятнами, которые оставили на них бесчисленные века, они все-таки отвечают немой насмешкой на все попытки повторить их совершенство.

Так странно и необычно было бродить по безмолвному городу мертвых, по древним пустынным улицам, где некогда тысячи людей покупали и продавали, гуляли и ездили верхом, где всюду царили шум, оживленное движение и веселье. Эти люди не были ленивы. В те дни умели беречь время. У нас есть тому доказательства. На одном углу стоит храм, и с одной улицы на другую можно попасть либо обойдя его, либо напрямик — через колоннаду; и в каменных плитах иола протоптана дорожка, которая становилась все глубже с каждым поколением экономивших время людей, — они не ходили кругом, когда ближе было идти напрямик.

Всюду видны свидетельства того, как стары были эти старые дома в ночь катастрофы, — свидетельства, которые воскрешают перед вами давно умерших жителей города. Например, ступеньки (лавовые плиты толщиной в два фута), ведущие из школы, и такие же ступеньки, ведущие в верхний ряд самого большого городского театра, почти совершенно истерты! Век за веком из этой школы торопливо выбегали мальчуганы, век за веком их родители торопливо входили в театр, и спешащие ноги, которые стали

прахом восемнадцать столетий назад, оставили эту запись, которую мы читаем сегодня. Мне почудилось, что в театр толпою входят благородные господа и дамы с билетами на нумерованные места в руках, и я прочел висевшее на стене воображаемое, но безграмотное объявление: «Никаких контрамарок, кроме представителей прессы!» У входа, божась и ругаясь, околачивались (фантазировал я) помпейские уличные мальчишки, выжидавшие удобной минуты, чтобы проскочить внутрь. Я вошел в театр, сел на одну из длинных каменных скамей амфитеатра, оглядел площадку для оркестра, разрушенную сцену, огромный полукруг пустых лож и подумал: «Никакого сбора». Я пытался вообразить, что музыка гремит вовсю, дирижер размахивает палочкой, а «высокоталантливый» имярек (который «только что вернулся из весьма успешного турне по провинции для прощальных гастролей, — только шесть выступлений на помпейских подмостках, — после чего он отбудет в Геркуланум») мечется по сцене и рвет страсть в ключья, — но при таком сборе воображение отказывалось мне служить: пустые скамьи безжалостно возвращали меня к действительности. Я сказал себе, что люди, которым следовало бы заполнить их, умерли, рассыпались в прах, смешались с землей много веков назад, и их больше не влекут пустые забавы и суэта жизни. «Ввиду непредвиденных обстоятельств и т. д. И т. д., сегодняшнее представление не состоится». Опустите занавес. Гасите огни.

Мы повернули и пошли по длинной Торговой улице, переходя из лавки в лавку, со склада на склад, мысленно требуя товары Рима и Востока, но купцы умерли, рынок молчал, на прилавках не было ничего, кроме разбитых кувшинов, впаянных в окаменевший пепел и золу, а вино и масло, некогда наполнявшие их, исчезли вместе с их владельцами.

В пекарне сохранилась мельничка для размолы зерна и печи для выпечки хлеба; и говорят, что в этих печах люди, раскапывавшие Помпею, нашли хорошо пропеченные булки, которые пекарь не успел вынуть перед тем, как покинуть свое заведение, так как обстоятельства вынуждали его торопиться.

В одном из домов (единственном здании Помпеи, куда теперь не допускаются женщины) много маленьких комнатушек и коротких каменных кроватей, которые время совсем не изменило, а картины на стенах сохранились так хорошо, что кажется, будто художник создал их только вчера; но ни у какого пера не хватит дерзости описать их; там и сям видны латинские надписи — непристойные блестящие остроумия, начертанные руками, которые, возможно, еще до истечения ночи были среди огненной бури воздеты к небу с мольбой о спасении.

На одной из главных улиц находится цистерна с желобом, по которому в нее стекала вода, и там, где усталые, разгоряченные труженики из кампании клали правую руку, когда нагибались, чтобы приблизить губы к желобу, в твердом камне образовалась широкая выемка глубиной дюйма в два. Подумайте, сколько тысяч рук должно было коснуться этого места в давнопрошедшие века, чтобы оставить след на камне, который тверже железа!

В Помпее имелась большая общественная доска для объявлений, на которой помещались афиши о гладиаторских играх, о выборах и тому подобном, — афиши не на непрочной бумаге, но вырезанные на вечном камне. Некая дама — богатая, я полагаю, и строгих правил — объявляла о сдаче внаем дома с ваннами и со всеми новейшими удобствами и нескольких сот лавок, с неременным условием, что эти здания не будут использованы для безнравственных целей. Легко можно узнать имена владельцев многих домов, потому что к дверям прикреплены каменные таблички; точно так же вы узнаете фамилию того, кто лежит в могиле. Всюду предметы, которые повествуют об обычаях и жизни этих забытых людей. А что осталось бы от американского города, если бы какой-нибудь вулкан засыпал его пеплом? Ни знака, ни приметы, которые могли бы поведать о нем.

В одном из длинных помпейских вестибюлей был найден скелет человека с десятью золотыми монетами в одной руке и большим ключом в другой. Он схватил свои деньги и кинулся к дверям, но огненная буря застигла его на самом пороге, он упал и погиб. Еще одна бесценная минута, и он успел бы спастись. Я видел скелеты мужчины, женщины и двух девочек. Руки женщины широко раскинуты, как будто в смертельном ужасе, и мне показалось, что на ее лице еще можно прочесть безумное отчаяние, исказившее его, когда столько веков тому назад небеса обрушили на эти улицы огненный дождь. Девочки и мужчина лежат ничком, как будто они пытались защитить лицо от заносившего их жгучего пепла. В одном доме было найдено восемнадцать скелетов в сидячем положении, и пятна копоти на стенах, словно тени, до сих пор сохраняют форму их тел. На шейных позвонках одного из них — женского — было найдено ожерелье, на котором вырезано имя владелицы — Юлия ди Диомеда.

Но, пожалуй, из всего, что открыли современные раскопки в Помпее, наиболее романтична величавая фигура римского воина в полном вооружении, который, не изменив долгу, не посрамив гордого имени солдата Рима, исполненный сурового мужества, прославившего это имя, не дрогнув оставался на посту у городских ворот, пока бушевавший вокруг ад

не *выжес* бесстрашный дух, не склонившийся пред ним.

Когда мы читаем о Помпее, мы всегда вспоминаем этого солдата; когда мы пишем о Помпее, мы не можем удержаться и не воздать ему должное. Вспомним же, что он был солдатом — не полицейским, — и поэтому восхвалим его. Он был солдатом — и остался на посту, потому что доблесть воина мешала ему обратиться в бегство. Будь он полицейским, он тоже остался бы — потому что спал бы крепким сном.

В Помпее не найдется и шести лестниц, и нет никаких других доказательств, что дома там строились выше одного этажа. Здешние жители не селились в облаках, как современные венецианцы, генуэзцы и неаполитанцы.

Мы вышли из таинственного города седой старины, из города, погибшего вместе со своими древними, чуждыми нам нравами и обычаями в незапамятные времена, когда апостолы проповедовали новую веру, которая теперь представляется нам старой, как мир; в задумчивости мы отправились бродить под деревьями, растущими на бесчисленных акрах еще погребенных улиц и площадей, как вдруг резкий свисток и возглас: «По вагонам — последний поезд в Неаполь!» заставили меня очнуться, напомнив, что я человек девятнадцатого столетия, а не пыльная мумия под корой золы и пепла восемнадцативековой давности. Переход был очень резок. Железная дорога до древней мертвой Помпеи и непочтительно свистящий, шумно и деловито сзывающий пассажиров паровоз производили крайне странное впечатление — и столь же прозаическое и неприятное, как и странное.

Сравните этот безмятежный солнечный день с теми ужасами, которые видел здесь Плиний Младший^[125] девятого ноября 79 года нашей эры, когда он с таким мужеством старался вынести свою мать в безопасное место, а она с истинно материнским самоотвержением умоляла его бросить ее и спастись самому:

«К этому времени мутный мрак так сгустился, что казалось, будто наступила черная безлунная ночь или что мы попали в комнату, где погашены все светильники. Повсюду слышались причитания женщин, плач детей и крики мужчин. Один звал отца, другой — сына, третий — жену, но только по голосам они могли узнать друг друга. Многие в отчаянии молили о смерти, которая окончила бы их страдания.

Иные взывали к богам о спасении, иные считали, что настала последняя, вечная ночь, которая должна поглотить вселенную!

Так думал и я, и перед лицом приближающейся смерти я утешался мыслью: «Узи — вот конец мира!»

Побродив среди величественных развалин Рима, Байи, Помпеи, наспех осмотрев длинные ряды изуродованных и безыменных императорских бюстов в галереях Ватикана, я с новой силой почувствовал, как эфемерна и непрочна слава. В древности люди жили долго и всю жизнь трудились, не зная отдыха, как рабы, лихорадочно стремясь преуспеть в красноречии, в военном искусстве или в литературе, а потом расставались с жизнью в счастливом сознании, что имя их бессмертно и память о них сохранится вечно. Проносится двадцать кратких веков — и что остается от всего этого? Растрескавшаяся надпись на каменной плите, над которой обсыпанные табаком археологи ломают голову, путаются, и наконец разбирают только имя (которое читают неверно), лишенное истории, поэтических преданий и поэтому не возбуждающее и мимолетного интереса. Что останется от славного имени генерала Гранта^[126] через сорок столетий? В Энциклопедии 5868 года, возможно, будет написано:

«Урия С. (или З.) Граунт — популярный древний поэт в ацтекских провинциях Соединенных Штатов Британской Америки. Некоторые исследователи относят расцвет его творчества к 742 г. н. э.; однако знаменитый ученый А-а Фу-фу утверждает, что он был современником Шаркспайра, английского поэта, и относит время его расцвета к 1328 г. н. э. — через три века *после* Троянской войны, а не *до* нее. Он написал «Убаюкай меня, мама».

От этих мыслей мне становится грустно. Я иду спать.

**Глава V. Стромболи. — Сицилия в лунном свете.
— Мы огибаем Греческие острова. — Афины. —
Акрополь. — Неудача. — Среди величественных
памятников старины. — В мире разбитых
статуй. — Волшебный вид. — Прославленные
места.**

Снова дома! Впервые за много недель на юте собралось и обменивается приветствиями все наше многочисленное семейство. Путешественники побывали в разных краях, в разных странах, но никто не отстал дорогой, все живы-здоровы, ничто не омрачает встречи. Снова вся паства в полном составе высыпала на палубу послушать дружные крики матросов, поднимающих якорь, послать прощальный привет остающемуся за кормой Неаполю.

Опять за обедом все места заняты, все любители домино в сборе, и на залитой лунным светом верхней палубе шумно и оживленно, как в доброе старое время; прошло всего несколько недель, но они были так полны приключений, происшествий, неожиданностей, что кажется — пронесли годы. На борту «Квакер-Сити» жизнь бьет ключом. На сей раз на корабле нет ничего квакерского.

В семь часов вечера, когда затонувшее солнце еще золотило горизонт, и вдали на западе чернели крохотные точки кораблей, и полная луна плыла высоко над головой, а море стало иссиня-черным, в причудливом свете заката, в смешении ярких красок, света и тьмы мы увидели великолепный Стромболи. Как величественно вставал из моря этот одинокий царь островов! Даль окутала его темным пурпуром, мерцающим покровом тумана смягчила суровые черты, и мы видели его словно сквозь паутину серебряной дымки. Факел его погас, огонь едва тлел где-то в глубине, и лишь столб дыма, поднимавшийся высоко в небо и таявший в лунном свете, один свидетельствовал, что перед нами живой самодержец моря, а не призрак мертвого владыки.

В два часа ночи мы вошли в Мессинский пролив и в ослепительном свете луны берег Италии по левую руку и Сицилийский по правую были так отчетливо видны, словно мы проезжали неширокой улицей. Мессина, молочно-белая, вся в звездной россыпи газовых фонарей, была сказочно

прекрасна. Почти все пассажиры собрались на палубе, курили, громко разговаривали, всем не терпелось увидеть знаменитые Сциллу и Харибду^[127]. Явился и Оракул со своей неизменной подзорной трубой, и вот он уже высится на палубе, словно новый Колосс Родосский. Мы никак не ожидали увидеть его на палубе в столь поздний час. Никто не думал, что его занимают такие древние легенды, как легенда о Сцилле и Харибде.

— Послушайте, доктор, — обратился к нему один из нас, — что вы здесь делаете среди ночи? Вас-то что интересует?

— Меня? Плохо же вы меня знаете, молодой человек, если задаете мне такие вопросы. Я хочу увидеть все места, которые упоминаются в Библии, все до одного.

— Чепуха... Это место вовсе не упоминается в Библии.

— Не упоминается в Библии! Это место не... Ну, если уж вы так хорошо все знаете, скажите мне, что это за место?

— Извольте, это Сцилла и Харибда.

— Сцилла и Хар... Тьфу пропасть! Я-то думал — это Содом и Гоморра.

И, сложив подзорную трубу, он отправился вниз. Этот случай стал на корабле притчей во языцех. Правда, вполне возможно, что все это лишь досужий вымысел, ибо Оракул вовсе не интересовался святыми местами и не изучал специально географию тех мест, о которых говорится в Священном Писании. Говорят, недавно, в самую жару, Оракул жаловался, что у нас на корабле один только сносный напиток — масло. Он, конечно, не то хотел сказать, но, поскольку у нас уже нет льда и масло растаяло, будет только справедливо заметить, что в кои-то веки Оракул правильно употребил слово, состоящее из целых трех слогов. Сказал же он в Риме, что папа хоть и почтенный с виду поп, но его Илиада немногого стоит^[128].

Весь день мы шли мимо Греческих островов и любовались берегами. Острова гористые, крутые склоны их то серые, то красновато-бурые. Белые деревушки прячутся в долинах среди деревьев или лениятся на отвесных прибрежных скалах.

Закат был прекрасен — небо на западе залилось алым румянцем, и пунцовый отблеск лег на море. Яркие закаты редкость в этих широтах, во всяком случае такие ослепительные. Обычно они здесь прелестные, мягкие, чарующие, от них веет изысканностью, утонченностью, изнеженностью. Ни разу мы не видели здесь таких многоцветных пожаров, какие пылают в нашем северном небе, отмечая путь уходящего солнца.

Но что нам солнечные закаты, когда, сгорая от нетерпения, мы предвкушаем встречу с самым прославленным городом мира! Что нам

пейзажи, когда перед нашим внутренним взором торжественно шествуют Агамемнон, Ахиллес и еще сотни великих героев легендарного прошлого! Что нам закаты — нам, готовым вступить в древний город Афины, дышать его воздухом, жить его жизнью, погрузиться в глубь веков, покупать рабов на рыночной площади — Платона и Диогена^[129], или судачить с соседями об осаде Трои или блестящей победе при Марафоне^[130]! Мы не снисходили до закатов.

Наконец-то мы вошли в древнюю гавань Пирей. Мы бросили якорь в полумиле от селения. Вдалеке, на волнистой равнине Аттики, виднелся невысокий холм с плоской вершиной, и на ней неясные очертания каких-то зданий; в бинокли мы скоро увидели, что это руины Афинской цитадели, и среди них выделялись благородные очертания древнего Парфенона. Воздух здесь так необычайно чист и прозрачен, что в подзорную трубу мы различали каждую колонну этого величественного храма и разглядели даже развалины небольших соседних строений. И это на расстоянии пяти-шести миль! В долине у подножья Акрополя (холма с плоской вершиной, о котором сказано выше) в подзорную трубу можно разглядеть и Афины. Всем не терпелось сойти на берег и как можно скорее очутиться в этом краю классической древности. Ни одна страна из тех, что мы повидали, еще не вызывала такого единодушного интереса пассажиров.

Но нас ждали плохие вести. Прибыл на своем боте комендант Пирея и сказал, что мы должны либо совсем покинуть гавань, либо стать в карантин на внешнем рейде и одиннадцать дней не сходить на берег! Пришлось нам поднять якорь и выйти на внешний рейд, чтобы за десять — двенадцать часов пополнить запасы и идти в Константинополь. Такого горького разочарования мы еще не испытывали. Простоять целый день в виду Акрополя и уйти, так и не побывав в Афинах! Нет, слово «разочарование» никак не способно передать всего, что мы при этом чувствовали.

Весь день мы не покидали палубу; вооружившись книгами, картами, подзорными трубами, мы пытались определить, на каком скалистом хребте заседал Ареопаг^[131], какой из пологих холмов Пникс^[132], где холм Муссейон и так далее. Мы скоро запутались. Разгорелся спор, и каждый с жаром отстаивал свое. Одни с глубоким волнением взирали на холм, с которого, как они утверждали, проповедовал святой Павел, другие клялись, что это Гиметский холм, а третьи, что это гора Пентеликон! Как бы мы ни горячились, наверняка мы знали только одно: холм с плоской вершиной — это Акрополь, и величественные руины, венчающие его, — Парфенон, знакомый нам с детства по картинкам в школьных учебниках.

Каждого, кто приближался к кораблю, мы расспрашивали, есть ли в Пирсе охрана, очень ли она придирчива, могут ли нас задержать, если мы ускользнем с корабля, и что нам грозит, если мы и вправду решимся на это. Ответы не обнадеживали. В гавани сильная полицейская охрана; Пирей невелик, и всякий новый человек немедленно будет замечен и непременно задержан. Комендант сказал, что наказание будет строгое, а на вопрос: «Какое именно?» — ответил: «Очень суровое». Больше мы ничего от него не добились.

В одиннадцать часов вечера, когда большинство пассажиров уже улеглось, мы вчетвером потихоньку съехали в шлюпке на берег — луна весьма любезно спрягалась за облака — и, чтобы не попасться на глаза полиции, разбились по двое и решили с двух сторон обойти невысокий холм и город. Когда мы вдвоем крадучись пробирались по каменистому, заросшему крапивой холму, я почувствовал себя воришкой, вышедшим на промысел. Мы вполголоса разговаривали о карантинных правилах и наказаниях за их нарушение, и это не прибавляло нам бодрости. У меня имелись самые достоверные сведения на этот счет. Всего несколько дней назад наш капитан рассказал мне о человеке, которого на полгода заключили в тюрьму за то, что он переплыл на берег с судна, стоящего в карантине; а несколько лет назад, в Генуе, капитан судна, стоявшего в карантине, подъехал в лодке к кораблю на внешнем рейде, уходящему в плавание, — он хотел переслать письмо своей семье, — за это его на три месяца заключили в тюрьму, потом вывели его корабль в открытое море, а самого предупредили, чтобы он никогда больше здесь не показывался.

От подобных разговоров храбрые нарушители карантина несколько приуныли и оставили эту тему. Мы обошли город стороной и повстречали лишь одного человека, который удивленно поглядел на нас, но ничего не сказал, да еще человек десять спали на земле и так и не проснулись, когда мы проходили мимо; зато мы перебудили всех собак, и постоянно не одна так другая, а иногда и целый десяток, с лаем бежали за нами но пятам. Они лаяли так оглушительно, что, как потом оказалось, на борту долгое время следили за нами и всякую минуту могли определить, где мы находимся. Луна все еще была с нами заодно. Она вынырнула и залила все ярким сиянием лишь после того, как, сделав полный круг, мы проходили мимо домов на другом краю города и уже не боялись света. Нам захотелось пить, и мы подошли к колодцу возле дома, но хозяин, взглянув на нас, тотчас повернулся и скрылся за дверью. Он ушел, оставив мирно спящий город в наших руках. И я с гордостью могу сообщить, что мы не сделали городу ничего худого.

Дороги нигде не было видно, и, заметив вдалеке, слева от Акрополя, высокий холм, мы стали пробираться к нему напрямик через все препятствия, по такому уж отчаянному бездорожью, какого не сыщешь в целом свете, разве что в штате Невада. Сперва мы шли по мелкому осыпающемуся щебню, ступая сразу на пять или шесть камешков, и все они тут же ускользали из-под ног. Потом пересекли сухое, рыхлое, свежевспаханное поле. Потом перед нами оказались виноградники, которые мы приняли за куманику, и мы долго с трудом продирались сквозь спутанную лозу. Если не считать виноградников, равнина Аттики бесплодна, пустынна и неприглядна; хотел бы я знать, какова она была в золотой век Греции, за пять столетий до рождения Христа?

Около часу ночи, когда, разгоряченные быстрой ходьбой, мы изнывали от жажды, Дэнни вдруг воскликнул: «Слушайте, да ведь мы же идем по винограднику!» И мы в пять минут нарвали целые охапки тяжелых белых, чудесных гроздей, и нам все было мало, — но тут словно из-под земли выросла какая-то таинственная тень и окликнула нас. Пришлось уйти.

Минут через десять мы наткнулись на великолепную дорогу, и, не в пример другим, которые уже попадались нам, она вела как раз туда, куда надо. Мы пошли по ней. Дорога была прекрасная — широкая, ровная, белая, в отличном состоянии, на протяжении мили обсаженная по сторонам тенистыми деревьями и окаймленная богатыми виноградниками. Дважды мы отправлялись за виноградом, но во второй раз кто-то невидимый закричал на нас из темноты. И нам снова пришлось уйти. Больше мы уже не помышляли о винограде в этих краях.

Вскоре мы подошли к древнему акведуку, опирающемуся на каменные арки, и с этой минуты нас обступили руины — мы приближались к цели нашего путешествия. Теперь мы потеряли из виду и Акрополь и тот высокий холм, и я предложил не сходить с дороги, пока мы не доберемся до них, но остальные не согласились, и мы стали карабкаться на каменистый холм, высившийся перед нами, с его вершины увидели другой холм, взобрались на него — и увидели еще один! За час мы выбились из сил. Но вот перед нами длинный ряд открытых могил, высеченных в скале (одна из них некоторое время служила темницей Сократу), мы обогнули гору — и внезапно пред нами предстали руины цитадели во всем их великолепии! Мы бегом спустились в лощину, извилистой тропой поднялись вверх — и вот мы у Акрополя, и над нашими головами величаво вздымаются к небу древние стены цитадели. Мы не стали осматривать гигантские мраморные глыбы, не стали измерять их высоту или гадать, какова их толщина, — мы, не задерживаясь, прошли огромным сводчатым переходом, похожим на

железнодорожный туннель, и оказались перед воротами, которые вели к древним храмам. Но ворота были на запоре! Неужели нам так и не суждено увидеть лицом к лицу великий Парфенон? Мы обогнули стену и увидели невысокий бастион — восемь футов снаружи и десять — двенадцать с внутренней стороны. Дэнни решил взобраться на бастион, мы готовы были последовать за ним. С величайшим трудом он вскарабкался на стену и уселся верхом, но тут сорвалось и с грохотом обрушилось во двор несколько камней. Тотчас захлопали двери, раздался крик. Дэнни точно сдуло со стены, и мы в беспорядке отступили к воротам. За четыреста восемьдесят лет до рождения Христа Ксеркс взял эту могучую цитадель, вторгшись в Грецию с пятимиллионным войском^[133], и если бы в нашем распоряжении оказалось лишних пять минут, мы, четверо бродяг, тоже завладели бы ею.

Появился гарнизон — четыре грека. Мы стали громко требовать, чтобы наспустили, — и ворота открылись (подкуп и продажность).

Мы пересекли широкий двор, вошли в огромные двери и ступили на плиты чистейшего белого мрамора, истертые множеством ног. Омытые лунным светом, перед нами предстали самые благородные из всех когда-либо виденных нами руин — Пропилеи, маленький храм Минервы, храм Геркулеса и величественный Парфенон. Все они сложены из белоснежного пентеликонского мрамора, но от времени он приобрел розоватый оттенок. Однако там, где излом еще свеж, мрамор сверкает белизной, точно первосортный рафинад. Шесть кариатид, шесть мраморных женщин в ниспадающих мягкими складками одеяниях, поддерживают портик храма Геркулеса, но другие храмы окружены массивными дорийскими и ионийскими колоннами, чьи каннелюры и капители еще не совсем утратили былую красоту, хотя над ними и пронеслись века и они претерпели не одну осаду. Парфенон, длина которого двести двадцать шесть футов, ширина — сто и высота — семьдесят, был некогда со всех сторон окружен колоннами: по два ряда, из восьми колонн каждый, по обеим коротким сторонам и по ряду, из семнадцати колонн каждый, на длинных сторонах; он был одним из самых величественных и неповторимо прекрасных созданий рук человеческих.

Большинство величавых колонн Парфенона еще стоит, но кровли нет. Двести пятьдесят лет тому назад он был в полной сохранности, но артиллерийский снаряд попал в расположенный поблизости венецианский пороховой погреб^[134], и взрывом храм был разрушен и лишен кровли. Я мало что помню о Парфеноне. Несколько фактов и цифр, которые я привел

здесь ради людей с плохой памятью, взяты мною из путеводителя.

В задумчивости бродили мы по вымощенному мрамором величественному храму, и мир, окружавший нас, завладел нашим воображением. Повсюду во множестве белели статуи богов и богинь на мраморных постаментах — одни без рук, другие без ног, третьи без головы, но в лунном свете все они казались скорбными и пугающе живыми! Со всех сторон они обступали незваного полночного гостя, глядели на него каменными очами из самых неожиданных уголков и ниш, всматривались в него из-за груды обломков в пустынных переходах, преграждали ему путь к сердцу форума и, безрукие, властно указывали ему выход из святилища; в лишенный кровли храм с небес заглядывала луна и бросала косые черные тени колонн на усыпанный обломками пол и разбитые статуи.

Целый мир разрушенных скульптур окружает нас! Сотни искалеченных статуй, больших и малых, искусно изваянных, установлены рядами, свалены в кучи, разбросаны по всему Акрополю; тут же лежат огромные глыбы мрамора, составляющие когда-то антаблемент, и в высеченных на них барельефах увековечены сражения, осады, военные корабли с тремя-четырьмя ярусами весел, праздничные шествия, процессии — чего только там нет! Мы знаем из истории, что храмы Акрополя были украшены прекраснейшими творениями Праксителя, Фидия и еще многих великих ваятелей, и подтверждением тому, бесспорно, служит изящество этих обломков.

Мы вышли на заросшую травой, усеянную обломками площадь за Парфеноном. Всякий раз, как в траве внезапно забелеет каменное лицо и уставится на нас неживой взор каменных глаз, мы вздрагивали. Казалось, мы попали в мир призраков и вот-вот из мрака выступят афинские герои, жившие двадцать веков назад, и проскользнут в древний храм, который им так хорошо знаком и которым они так безмерно гордились.

Полная луна поднялась уже высоко в безоблачном небе. Незаметно мы подошли к высокому зубчатому краю цитадели, заглянули вниз — и обмерли! Что за зрелище! Афины в лунном свете! Когда Иоанн Богослов возвестил, что ему открылся «святый град», уж конечно он видел не Новый Иерусалим, но Афины! Город раскинулся по равнине у наших ног и был виден весь, как будто мы глядели на него с воздушного шара. Мы не могли различить улиц, но каждый дом, каждое окно, каждая льнущая к стене виноградная лоза, каждый выступ были ясно, отчетливо видны, словно среди бела дня; и при этом ни ослепительного блеска, ни сверкания, ничего крикливого, ничто не режет глаз, — безмолвный город, весь облитый нежнейшим лунным светом, был словно живое существо, погруженное в

мирный сон. В дальнем конце — небольшой храм, его стройные колонны и богато украшенный фасад так и сияли, и от него нельзя было оторвать глаз; ближе к нам, посреди обширного сада, белеют стены королевского дворца, сад весь озарен янтарными огнями, но в ослепительном лунном сиянии его золотой убор меркнет, и огни его мягко мерцают среди зеленого моря листвы, словно бледные звезды Млечного Пути. Над нами вздымаются к небу полуразрушенные, но все еще величественные колонны, у наших ног дремлющий город, вдали серебрится море. В целом свете не сыщешь картины прекрасней.

Когда, возвращаясь, мы опять проходили через храм, я всем сердцем желал, чтобы нашим ненасытным взорам явились великие мужи, которые посещали его в те далекие времена, — Платон, Аристотель, Демосфен, Сократ, Фокион, Пифагор, Эвклид, Пиндар, Ксенофонт, Геродот, Пракситель, Фидий, живописец Зевксис. Какая плеяда прославленных имен! Но больше всего мне хотелось, чтобы старик Диоген, который так усердно и терпеливо днем с огнем пытался найти в мире хотя бы одного честного человека, встал из гроба и повстречался с нами. Может быть, мне и не следовало бы так говорить, — но все же я полагаю, что тогда он погасил бы свой фонарь.

Мы вышли из цитадели, предоставив Парфенону охранять Афины, как он охранял их уже две тысячи триста лет. Вдали виднелся древний, но все еще безупречно прекрасный Тезейон, а рядом обращенная на запад Бема^[135], с которой Демосфен обрушивал свои филиппики и воспламенял любовью к родине сердца своих нестойких соотечественников. Справа возвышался Марсов холм^[136], где некогда заседал ареопаг и апостол Павел провозгласил свое кредо, а ниже — рыночная площадь, где он рассуждал ежедневно со словоохотливыми афинянами. Мы взобрались по каменным ступеням, по которым всходил апостол Павел, и, остановившись на площади, с которой он проповедовал, пытались вспомнить, что говорится об этом в Библии, но почему-то не могли припомнить эти слова. Я отыскал их после:

В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов.

Итак, он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога и ежедневно на площади со встречающимися.

.....

И, взявши его, привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою?

.....

И, став среди ареопага, Павел сказал: «Афиняне! По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны.

Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: «неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». («Деяния апостолов», гл. XVII.)

Немного погодя мы спохватились, что, если мы хотим воротиться до свету, пора отправляться в путь. И мы поспешили домой. Мы оглянулись, чтобы еще раз на прощанье увидеть омытую лунным светом колоннаду Парфенона с посеребренными лунной капителями. Таким он и остался в нашей памяти — торжественный, величавый и прекрасный.

Чем ближе к дому, тем меньше одолевали нас страхи, и мы уже почти не боялись ни карантинной полиции, ни кого бы то ни было. Мы осмелели и забыли думать об осторожности; окончательно расхрабрившись, я даже запустил камнем в собаку. Хорошо, что я не попал в нее, а то вдруг бы ее хозяин оказался полицейским! Вдохновленная столь счастливой неудачей, доблесть моя выиграла, и я стал даже посвистывать, правда не очень громко. Но отвага рождает отвагу, и вскоре, не постеснявшись яркого лунного света, я забрался в виноградник и нарвал огромную охапку превосходных гроздей, не обращая ни малейшего внимания на крестьянина, проезжавшего мимо на своем муле. Дэнни и Берч последовали моему примеру. Теперь винограду хватило бы на десятерых, но Джексона так и распирало от храбрости, и он просто не мог не войти в виноградник. Однако стоило ему ухватить первую кисть — и пошли беды. Всклопоченный, бородатый разбойник с криком выскочил на залитую лунной дорожку, размахивая мушкетом. Мы бочком-бочком — и зашагали к Пирею, не побежали, конечно, а просто двинулись попроворнее. Разбойник снова закричал, но мы шли и шли. Становилось поздно, и нам недосуг было тратить время на каждого осла, которому вздумалось приставать к нам со всяким греческим вздором. Мы бы, может, еще и поболтали с ним, когда бы не так спешили. Но вдруг Дэнни сказал: «За нами гонятся!»

Мы обернулись, — так и есть, вон они, трое самых настоящих пиратов с ружьями. Мы замедлили шаг, поджидая их, а я тем временем не без сожаления, но решительно избавился от своей ноши, побросав виноградные кисти в тень у дороги. Я не испугался. Просто я почувствовал, что не хорошо воровать виноград, да еще когда хозяин поблизости, и не только сам хозяин, но и его друзья. Негодяи подошли, тщательно осмотрели

сверток доктора Берча и, не обнаружив в нем ничего, кроме священных камней с Марсова холма, нахмурились: это ведь не контрабанда. Они, видно, подозревали, что он ловко провел их, и, казалось, были склонны снять скальпы со всех, кто шел вместе с ним. Но в конце концов они отпустили нас, сказав — надо полагать, на отличном греческом языке — несколько слов предостережения, и, замедлив шаг, понемногу отстали от нас. Пройдя за нами еще триста ярдов, они остановились, а мы, повеселев, продолжали путь. Но тут на смену им из тьмы выступил другой вооруженный мошенник и ярдов двести следовал за нами по пятам. Потом он уступил место третьему злодею, который взялся невесть откуда, а тот, в свою очередь, еще одному! Добрых полторы мили нас все время с тылу охраняли вооруженные люди. Никогда в жизни я не путешествовал с таким почетом.

Не скоро мы вновь рискнули покуситься на виноград, но при первой же попытке подняли на ноги еще одного бандита и больше ни о чем таком уже не помышляли. Тот крестьянин, верхом на муле, должно быть, предупредил о нас всех стражей от Афин до Пирея.

Каждое поле по этой длинной дороге охранял вооруженный сторож; конечно, не все они бодрствовали, однако в случае чего были под рукой. Это как нельзя лучше характеризует современную Аттику: ее населяют всякие темные личности. Сторожа охраняли свою собственность не от иностранцев, но друг от друга; ведь чужеземцы редко заглядывают в Афины и Пирей, а если и заглядывают, то среди бела дня, когда можно за гроши купить сколько угодно винограду. Жители современной Аттики отъявленные воры и лгуны, если верно то, что о них рассказывают, а я охотно этому верю.

Едва небо на востоке зарумянилось и колоннада Парфенона, будто сломанная арфа, повисла над жемчужным горизонтом, мы закончили наш тринадцатимильный поход по нелегким окольным путям и вышли к морю неподалеку от причала, сопровождаемые обычным эскортом из полутора тысяч пирейских псов, завывающих на все голоса. Мы окликнули лодку, которая стояла ярдах в трехстах от берега, и в ту же минуту поняли, что это полицейский бот, подстерегающий возможных нарушителей карантина. Мы поспешно ретировались — нам уже было не привыкать к этому, — и когда полицейские подъехали к месту, где мы только что стояли, нас уже и след простыл. Они пошли вдоль берега, но не в ту сторону, а тем временем из полумрака вынырнула наша лодка и взяла нас на борт. На корабле слышали наш сигнал. Мы гребли бесшумно и успели добраться до дому раньше, чем вернулась полицейская лодка.

Еще четверо наших пассажиров жаждали побывать в Афинах; они отправились спустя полчаса после нашего возвращения, но полиция заметила их, как только они высадились на берег, и тут же погналась за ними, так что они едва успели добраться до своей лодки, — на этом дело и кончилось. От дальнейших попыток они отказались.

Сегодня мы отплываем в Константинополь, но кое-кто из нас ничуть не жалеет об этом. Мы повидали все, что есть интересного в этом древнем городе, появившемся на свет за шестнадцать столетий до рождения Христа и успевшем состариться ко времени основания Трои, — и мы видели этот город во всей его красе. Так чего ж нам огорчаться?

Еще двоим пассажирам удалось ночью прорвать блокаду и съехать на берег. Мы узнали об этом наутро. Они ускользнули так незаметно, что на корабле их хватились лишь через несколько часов. Едва стало смеркаться, у них достало смелости отправиться в Пи-рей и нанять экипаж. Ко всем прочим приключениям во время «Увеселительной поездки в Святую Землю» они рисковали прибавить еще и три месяца тюрьмы. Я восхищаюсь «дерзкой отвагой»^[137]. Но все обошлось благополучно, они так и не высунули носа из своего экипажа.

Глава VI. Современная Греция. — Архипелаг и Дарданеллы. — Следы истории. — Константинополь. — Огромная мечеть. — Тысяча и одна колонна. — Большой стамбульский базар.

От Афин мы шли мимо островов Греческого архипелага, и повсюду видели лишь нагромождение камней и пустынные горы, кое-где увенчанные тремя-четырьмя стройными колоннами разрушенного древнего храма, — одинокий, заброшенный, он являл собой символ запустения и упадка, ставших уделом Греции в последние столетия. Ни вспаханных полей, ни деревьев, ни пастбищ, почти никакой зелени; лишь изредка перед нами проплывали селения, еще реже сиротливый дом. Современная Греция — это унылая, безрадостная пустыня, там, видимо, нет ни сельского хозяйства, ни промышленности, ни торговли. Чем держится ее бедствующее население, ее правительство — просто непостижимо.

Древняя Греция и Греция современная представляют собою столь разительный контраст, что другого такого, мне кажется, не знает история. Восемнадцатилетний Георг I и целая туча чиновников иностранного происхождения занимают места Фемистокла, Перикла, прославленных ученых и полководцев золотого века Греции. Флот, который в дни возведения Парфенона изумлял весь мир, ныне превратился в горсточку жалких рыбацких суденышек, а отважный народ, который совершал чудеса доблести на Марафонском поле, — в племя ничтожных рабов. Река Иллис^[138], воспетая древними, иссякла, и та же судьба постигла все источники греческого богатства и величия. Греков теперь насчитывается всего каких-нибудь восемьсот тысяч душ, а бедности, нищеты, жульничества с избытком хватило бы на сорок миллионов. При короле Оттоне в казне было пять миллионов долларов — они составлялись из налога на крестьян, равного десятой доле всего, что получал крестьянин со своего хозяйства (причем он обязан был доставить это на мулах в королевские амбары, если они были расположены не дальше чем в двадцати милях), и из непомерных налогов на ремесла и торговлю. На эти пять миллионов маленький тиран пытался содержать десятитысячную армию, оплачивать сотни никому не нужных главных конюших, первых камергеров, лордов канцлеров лопнувшего казначейства и прочие нелепости, которыми тешат себя в игрушечных королевствах, подражая ве-

ликим монархиям; да сверх того он задумал построить дворец из белого мрамора, который один стал бы ему в пять миллионов. Итог был прост: из пяти миллионов десять не вычтешь, а уж об остатке и говорить не приходится. При таком размахе пятью миллионами не обойтись, и злополучному Отгону пришлось тужо^[139].

На греческий престол с его многообещающим приложением в виде нищих, но изобретательных на всякое мошенничество подданных, которые восемь месяцев в году болтались без дела, потому что здесь мало что можно было позаимствовать и еще меньше присвоить, а также голых бесплодных гор и заросших плевелом пустынь, долгое время не находилось претендента. Сперва его предложили одному из сыновей королевы Виктории, потом разным другим младшим королевским сыновьям, которые за отсутствием тронов оставались не у дел; однако все они были столь совестливы, что отклонили этот почетный, но тягостный долг, — они так глубоко чтили бывшее величие Греции, что в дни ее унижения не хотели глумиться над ее убожеством и бесчестьем, взойдя на этот мишурный трон; но вот наконец очередь дошла до юного Георга Датского, и он не побрезговал этой честью. Он достроил роскошный дворец, который я видел недавно в сияющем свете луны, и, говорят, делает еще многое другое во имя спасения Греции.

Мы миновали пустынный Архипелаг и вошли в узкий пролив, который иногда называют Дарданеллами, а иногда Геллеспонтом. Эта часть страны богата историческими воспоминаниями, всем остальным она бедна, как Сахара. Подходя к Дарданеллам, мы плыли мимо Троянской равнины и устья Скамандра; вдалеке мы увидели то место, где стояла некогда Троя и где ее уже нет, — город, погибший, когда мир был еще молод. Бедных троянцев ныне уже нет в живых. Они родились слишком поздно, чтобы увидеть Ноев ковчег, и умерли слишком рано, так и не увидев наш зверинец^[140]. Мы проехали мимо того места, где сошлись корабли Агамемнона, и в отдалении разглядели гору, — судя по карте, это была Ида^[141]. Проходя Геллеспонт, мы увидели, где был осуществлен первый упоминаемый в истории недобросовестно выполненный подряд и где Ксеркс сделал кроткое внушение «представителям другой стороны». Я имею в виду знаменитый мост из лодок, который Ксеркс приказал установить в самой узкой части Геллеспонта (ширина пролива здесь всего две-три мили). Не слишком сильный ветер разрушил недобросовестно сработанный мост, и, решив, что публичное внушение подрядчикам послужит хорошим уроком их преемникам, царь поставил их перед строем

и приказал отсечь им головы. А уже через десять минут заключил новый контракт на постройку моста. Древние авторы утверждают, что новый мост был хоть куда. Ксеркс переправил на нему свое пятимиллионное войско, и, если бы потом намеренно не разрушил его, мост, наверно, стоял бы и по сей день. Если бы наше правительство время от времени делало внушения кое-кому из наших недобросовестных подрядчиков, это было бы очень и очень полезно. Видели мы и то место, где Леандр и лорд Байрон переплывали Геллеспонт^[142] — один, чтобы оказаться рядом с той, которую он любил всем сердцем, и только смерть могла положить конец этой любви; другой — просто «для шику», как говорит Джек. Миновали мы и две знаменитые могилы. На одном берегу мирно спал Аякс, на другом — Гекуба.

Мы шли Геллеспонтом, а справа и слева высились береговые батареи и форты, над которыми развевался малиновый турецкий флаг с белым полумесяцем, изредка мелькала деревушка или караван верблюдов; мы глядели на все это, пока не вошли в Мраморное море, но тут берега расступились, а затем и вовсе скрылись из виду, и мы опять засели за юкр и вист.

Ранним утром мы бросили якорь у входа в Золотой Рог. Лишь каких-нибудь три-четыре пассажира поднялись, чтобы поглядеть на столицу Оттоманской Порты. Уже миновали дни, когда мы в самые неурочные часы вскакивали с постели, чтобы поскорей полюбоваться на диковинные чужеземные города. Пассажиры уже по горло сыты всем этим. Окажись мы теперь в виду египетских пирамид, они и то не выйдут на палубу, пока не позавтракают.

Золотой Рог — это узкий залив, который отходит от Босфора (подобия широкой реки, соединяющей Мраморное море с Черным) и, изогнувшись, делит Константинополь пополам. Галата и Пера расположены по одну сторону Босфора и Золотого Рога, а Стамбул (древняя Византия) по другую. На противоположном берегу Босфора — Скутари и другие предместья Константинополя. В этом огромном городе миллион жителей, но улицы его так узки, так тесно жмутся друг к другу дома, что весь он лишь немногим больше половины Нью-Йорка. Нет города прекрасней, если смотреть на Константинополь с якорной стоянки или с Босфора, когда добрая миля отделяет вас от него. Дома теснятся у самого моря, взбираются на многочисленные холмы, ими усеяны все вершины; разбросанные повсюду сады, купола мечетей, несчетные минареты сообщают столице ту причудливую красочность, полюбоваться которой мечтает каждый, читая описания путешествий на Восток. Константинополь

необычайно живописен.

Но кроме живописности, он не радует ничем. С той минуты, когда покидаешь корабль, и до самого возвращения не устаешь проклинать этот город. Лодка, на которой съезжаешь на берег, годится для чего угодно, только не для этого. Она красиво, богато отделана, но никому не под силу искусно переправить ее через бурный поток, который устремляется в Босфор из Черного моря, и даже в тихих водах лишь немногие совладают с ней. Это длинная и легкая лодка (каик) с широкой кормой и носом, узким, словно лезвие ножа. Можно себе представить, как кипящее ключом течение подкидывает и вертит лодку с таким длинным узким носом. Эти каики обычно двухвесельные, иногда четырехвесельные, но всегда без руля. Ты хочешь высадиться в определенном месте на берегу, но куда только тебя не заносит, пока ты наконец доберешься до него. Гребут то одним веслом, то другим и почти никогда — обоими сразу. Нетерпеливого человека такое плавание в неделю сведет с ума. А лодочники до того неловки, неумелы и бестолковы, что хуже и вообразить невозможно.

На берегу попадаешь — как бы это сказать — в самый настоящий цирк. Людей в узких улочках — как пчел в улье, и одеты они в такие чудовищные, ошеломляющие, несуразные, крикливые наряды, какие может измыслить разве что портной в белой горячке. В одежде здесь дают волю самой дикой фантазии, мирятся с самыми причудливыми нелепостями, не гнушаются самыми сверхъестественными отрепьями. Тут не встретишь и двух одинаково одетых людей. Это какой-то фантастический маскарад, на котором представлены поистине невообразимые костюмы, любой человеческий водоворот на любой улице просто оглушает контрастами. Некоторые почтенные старцы носят внушающие благоговейный трепет тюрбаны, по большинство толпящихся всюду басурманов ходит в огненно-красных ермолках, которые здесь называют фесками. Все остальное в их костюмах никак не поддается описанию.

Здесьние магазины — это просто-напросто курятники, каморки, закутки, чуланчики — называйте их как угодно, и ютятся они в полуподвалах. В этих лавках турки сидят скрестив ноги, мастерят что-то, торгуют, курят свои длинные трубки и пахнут... пахнут турком. Этим все сказано. Перед лавками на узких улочках толпятся нищие, и они вечно кланчат, но никогда ничего не получают; вас обступают калеки, изуродованные чуть ли не до потери человеческого образа; оборванцы погоняют тяжело нагруженных ослов; носильщики тащат на спине огромные, как дома, ящики с галантерейным товаром, разносчики вопят как одержимые, на все лады расхваливая свои яства — виноград, горячую кукурузу,

тыквенные семечки, — все что угодно; а под ногами у снующих толп мирным, безмятежным сном спокойно спят знаменитые константинопольские собаки; в толпе бесшумно проплывает стайка турчанок, закутанных с головы до пят в ниспадающие мягкими складками покрывала; видны лишь блестящие глаза под снежно-белой чадрой да смутно угадываются черты лица. Они скользят в отдалении, под сумрачными сводами Большого базара, наводя на мысль о закутанных в саван мертвецах, что восстали из могил, когда буря, гром и землетрясение обрушились на Голгофу в страшную ночь распятия Христа. На улицы Константинополя стоит поглядеть один раз в жизни — но не более.

Нам повстречался торговец гусями — он гнал целую сотню их через весь город на продажу. В руках он держал шест десяти футов длиной с крюком на конце; порою какой-нибудь гусь отбивался от стаи и, растопырив крылья и изо всех сил вытягивая шею, спешил завернуть за угол. Думаете, это тревожило хозяина? Ничуть не бывало. Он с неописуемым спокойствием поднимал свой шест, зацеплял крюком шею беглеца и в два счета водворял его на место. Этим шестом он правил гусями, как лодочник правит яликом. Через несколько часов на шумной и людной улице мы снова увидели этого продавца гусей: усевшись в углу, он крепко спал на солнышке, а гуси — одни расселись вокруг него, другие бродили по улице, то и дело увертываясь от пешеходов и ослов. Примерно через час мы снова прошли мимо него: он подсчитывал свой товар, проверяя, не отбил ли который-нибудь из гусей, не украден ли. Его способ подсчета был единственный в своем роде. Он протянул шест дюймах в восьми от каменной степы и заставил гусей проходить поодиночке в образовавшийся коридор. Они проходили, а он считал их. Увильнуть было нельзя.

Если вы хотите увидеть карликов — нескольких карликов, просто из любопытства, — поезжайте в Геную. Если пожелаете купить их оптом, для продажи в розницу, поезжайте в Милан. В Италии повсюду множество карликов, но, по-моему, самый большой урожай на них в Милане. Если бы вам вздумалось поглядеть на обычный, хорошо подобранный ассортимент калек, поезжайте в Неаполь или отправляйтесь путешествовать по Романье. Но если вам вздумается побывать на родине, в самом средоточии калек и уродов, отправляйтесь в Константинополь. Нищий, выставляющий ступню, которая вся ссохлась в один чудовищный палец с бесформенным ногтем, в Неаполе становится богачом, а в Константинополе его попросту никто не заметит, и он умрет с голоду. Кто станет обращать внимание на подобные пустяки, когда на мостах Золотого Рога, у сточных канав Стамбула выставляют напоказ свое безобразие целые толпы редкостных уродов.

Несчастный самозванец! Где ему тягаться с трехногой женщиной или с человеком, у которого глаз посреди щеки? Не посрамит ли его человек, у которого пальцы на локте? Куда бы он спрятался, если б сюда пожаловал во всем своем величии карлик о семи пальцах на каждой руке, без верхней губы и без нижней челюсти! Алла Бисмилла!^[143] Калеки Европы — это чистый обман и мошенничество. Настоящие таланты расцветают пышным цветом лишь в закоулках Перы и Стамбула.

Трехногая женщина лежит на мосту, выставив на всеобщее обозрение свой основной капитал: каждому сразу бросается в глаза одна обыкновенная нога и две длинные, вывернутые, тонкие, точно руки, заканчивающиеся ступнями. Тут же человек без глаз, лицо сизо-багровое, словно засиженный мухами кусок мяса, в глубоких складках и бороздах, сморщенное, искривленное, как обломок застывшей лавы; все черты так смяты и перекошены, что нарост, торчащий вместо носа, не отличишь от скул. Есть еще в Стамбуле человек с головой великана и невероятно длинным туловищем на коротеньких восьмидюймовых ножках со ступнями как охотничьи лыжи. Он не мог бы передвигаться, если бы вдобавок не опирался на руки, как на костыли, но и при этом он шатается и качается, будто его оседлал Колосс Родосский. Что и говорить, чтобы добывать пропитание в Константинополе, нищий должен выставить напоказ что-нибудь из ряда вон выходящее. Человека с сипим лицом, который только и может похвастать тем, что он пострадал при взрыве в шахте, здесь сочтут просто наглецом, а какому-нибудь солдату на костылях не подадут ни гроша.

Главная достопримечательность Константинополя — мечеть св. Софии. Попад в город, надо первым делом получить фирман^[144] султана и тут же бежать туда. Мы и побежали. Только вместо султанского фирмана каждый из нас предъявил при входе несколько франков, что прекрасно его заменило.

Я не в восторге от мечети св. Софии. Наверно, я просто ничего в этом не понимаю. Но тут уж ничего не поделаешь. Во всем языческом мире нет казармы уродливей. Я думаю, она вызывает такой большой интерес прежде всего потому, что воздвигли ее как христианскую церковь, а потом завоеватели магометане, почти не перестраивая, превратили ее в мечеть. Меня заставили снять башмаки и вступить в мечеть в одних носках. Я простудился, и на ноги мне налипло столько смолы, грязи и всякой гадости, что я в этот вечер извел добрых две тысячи рожков, прежде чем мне наконец удалось снять башмаки, да и то лишился при этом некоторого

количества собственной кожи. Я не преувеличиваю ни на один рожок.

Эта исполинская церковь стоит уже тринадцать или четырнадцать веков, но вид у нее такой неприглядный, как будто она гораздо старше. Говорят, с ее огромным куполом не сравнится даже великолепный купол св. Петра в Риме, но еще больше поражает здесь ни с чем не сравнимая грязь, хотя об этом никто и не упоминает. В церкви сто семьдесят колонн, все они высечены из дорогого мрамора разных сортов, каждая из одного куска, но их привезли сюда из древних храмов Баальбека, Гелиополиса, Афин и Эфеса, и от былой их красоты не осталось и следа. Когда построили церковь, колоннам этим минуло уже тысячу лет, и если бы зодчие Юстиниана ^[145] не потрудились над ними, глаз не вынес бы этого контраста. Купол изнутри разукрашен диковинными турецкими письменами, выложенными золотой мозаикой, и весь сверкает и блещет, как цирковая афиша; панели и балюстрады исковерканы и все в грязи; куда ни глянь — все точно сеткой затянуто: с головокружительной высоты купола свисают бесчисленные веревки, и на них, в шести или семи футах над полом, подвешены закопченные масляные светильники и страусовые яйца. И тут и там, впереди и сзади, вблизи и вдалеке тесными кучками, скрестив ноги, сидят одетые в лохмотья турки, читают, слушают проповеди, а то и наставления, как малые дети, а сотни других снова и снова кладут поклоны, лобызают камень и шепчут молитвы; и кажется, им давно уже пора бы выбиться из сил, а они все продолжают свои гимнастические упражнения.

Повсюду грязь, пыль, копоть, мрак; повсюду следы седой древности, но она не трогает сердца, не прельщает взора; повсюду толпы дикого вида язычников, над головой крикливо-пышная мозаика и светильники на веревках, но ничто здесь не вызывает ни любви, ни восхищения.

Люди, которые восторгаются св. Софией, вероятно черпают свои восторги из путеводителя (в котором о каждой церкви сказано, что «по мнению признанных ценителей искусства, это во многих отношениях замечательный архитектурный памятник, не имеющий себе равных»), или это те пресловутые знатоки из захолустья Нью-Джерси, которые с трудом постигают разницу между росписью и распиской и, уяснив ее, уверены, что отныне они вправе изливать благоглупости на все, что подарили миру живопись, скульптура и зодчество.

Мы побывали у вертящихся дервишей. Их было счетом двадцать один. Все были одеты в широкие, длинные до пят, светлые балахоны. Они стояли на круглой площадке, обнесенной перилами; каждый по очереди подходил к священнику, низко кланялся, потом, исступленно завертевшись,

возвращался на свое место в кругу и там продолжал вертеться. Заняв свои места — в пяти-шести футах друг от друга, — каждый продолжал вертеться волчком, и весь этот изуверский хоровод трижды обошел комнату. Это продолжалось двадцать пять минут. Кружась на левой ноге, они то и дело быстро выбрасывали вперед правую и, отталкиваясь ею, скользили все дальше по навощенному полу. Кое-кто развивал совершенно невероятную скорость. Большинство делало сорок оборотов в минуту, а один ловкач ухитрялся делать даже шестьдесят — и так все двадцать пять минут; балахон его раздулся и стал точно воздушный шар.

И все это в совершенном безмолвии, закинув голову, сомкнув веки, в каком-то религиозном исступлении. Время от времени раздавалась режущая слух музыка, но музыкантов не было видно. В круг никому нет доступа, кроме вертящихся дервишей. Если ты не кружишься, тебе там не место. Это, пожалуй, самое варварское зрелище из всего виденного нами до сих пор. Пришли больные, легли на пол, рядом с ними женщины положили больных детей (среди них был один грудной младенец), а патриарх дервишей прошел по телам лежащих. Предполагается, что, топча им грудь, спину или наступая на затылок, он исцеляет их недуги. Чего еще можно ждать от людей, которые воображают, будто все, что с ними случается, и хорошее и плохое, дело незримых духов — великанов, гномов, джиннов, — и которые и по сей день верят всем буйным вымыслам «Тысячи и одной ночи». Во всяком случае, так объяснил мне один миссионер, человек очень умный.

Мы посетили Тысячу и одну колонну^[146]. Я не знаю, для чего они предназначались, — говорят, для водоема. Расположены они в центре Константинополя. Спускаешься по каменным ступеням посреди пустынной площади — и вот они перед тобой. Ты оказываешься в сорока футах под землей, и тебя обступает целый лес высоких, стройных гранитных колонн в византийском стиле. Стой, где хочешь, или сколько угодно переходи с места на место — ты все равно всегда будешь в центре, от которого во все стороны расходятся десятки длинных сводчатых коридоров и колоннад, теряющихся вдаль, в угрюмом сумраке подземелья. В этом древнем пересохшем водоеме обитает теперь несколько тощих ремесленников, они плетут шелковые кушаки; один из них показал мне крест, высеченный высоко на капители. Он, кажется, хотел дать мне понять, что крест этот был здесь еще до того, как турки завладели городом; помнится, он что-то такое сказал, но он, должно быть, шепелявил или был косноязычен, и я его не понял.

Мы разулись и вошли в мраморный мавзолей султана Махмуда, внутри

он был удивительно хорош, ничего подобного за последнее время мне не приходилось видеть. На гробнице Махмуда — искусно расшитый черный бархатный покров; она окружена затейливой серебряной решеткой, а по углам серебряные подсвечники, каждый весом больше сотни фунтов, и в них огромные, толщиной с человеческую ногу, свечи; на крышке саркофага — феска, вся изукрашенная алмазами, цена которым, как не замедлил нам соврать служитель, сто тысяч фунтов. В этом же мавзолее покоится вся семья Махмуда.

Побывали мы, конечно, и на Большом стамбульском базаре; не стану его описывать подробно, скажу только, что это гигантский улей — тысячи лавчонок лепятся здесь под одной кровлей, разделенные на бесчисленные ряды узкими крытыми улочками. В каждом ряду торгуют только каким-нибудь одним товаром. Если вам вздумалось купить пару туфель — вот они все перед вами, в одном ряду, вам незачем рыскать по всему базару. То же и с шелками, и со старинными вещицами, и с шаями, и со всем остальным. Здесь с утра до ночи толпится народ, перед каждой лавкой в изобилии разложены пестрые восточные материи, и, право же, Стамбульский базар стоит посмотреть. Он полон жизни, движения, кипучей деятельности, грязи, нищих, ослов, вопящих торговцев, посыльных, дервишей, высокородных покупательниц турчанок, греков, фантастического вида магометан в фантастических одеждах — пришельцев с гор или из далеких провинций; одного только не сыщешь на Большом базаре: ни единой вещи, которая не издавала бы зловония.

Глава VII. Нехватка нравственности и виски. — Бюллетень девичьего рынка. — Оклеветанные константинопольские псы. — Турецких завтраков больше не требуется. — Турецкие бани — обман.

Мечетей много, церквей сколько угодно, кладбищ хоть отбавляй, а вот нравственности и виски маловато. Коран не разрешает правоверным потреблять спиртные напитки. Природные склонности не разрешают им быть нравственными. Говорят, у султана восемьсот жен. Это, пожалуй, ничем не лучше двоеженства. Мы вспыхнули от стыда, узнав, что в Турции разрешаются подобные вещи. Однако мы относимся к ним куда снисходительней, когда они происходят в Солт-Лейк-Сити^[147].

Черкесы и грузины все еще продают в Константинополе своих дочерей, но уже не в открытую. Пресловутые невольничьи рынки, о которых все мы столько читали и где молоденьких девушек раздевали у всех на глазах и осматривали и обсуждали, словно лошадей на ярмарке, не существуют более. Теперь и выставка товара и сделки происходят тайно, частным образом. Цены стоят высокие, особенно в последнее время: отчасти потому, что спрос увеличился в связи с недавним возвращением султана и его свиты от европейских дворов; отчасти из-за необычного избытка хлеба — голод не мучает продавцов, и они не спешат сбавлять цену; а отчасти потому, что теперешнему покупателю не по плечу играть на понижение, а купец только и ждет, как бы сыграть на повышение. Если бы в Константинополе выходили крупные американские газеты, то в этих условиях их очередной биржевой бюллетень, наверно, выглядел бы примерно так:

НА ДЕВИЧЬЕМ РЫНКЕ

Отборные черкешенки урожая 1850 г. — 200 ф. Стерл., 1852 г. — 250 ф. Стерл., 1854 г. — 300 ф. Стерл. Отборные грузинки — предложения не было; второй сорт, 1851 г. — 180 ф. Стерл. Девятнадцать валахских девушек среднего качества по 130—150 ф. Стерл. За штуку, спроса не было; шестнадцать прима распроданы небольшими партиями, цены неизвестны.

Распродается партия черкешенок, от прима до хороших, урожая 1852—1854 гг., — от 240 до 242.5 ф. Стерл.; одна — 1849

г. — выбракованная, идет за 23 фунта.

Несколько грузинок отличного качества урожая 1852 г. перешли к другому владельцу. Грузинки, имеющиеся сейчас в наличии, главным образом остатки прошлогоднего урожая, который был необычайно скуден. Новая партия несколько запаздывает, но скоро прибудет. Что касается ее количества и качества, отзывы самые обнадеживающие. В связи с этим можно с уверенностью сказать, что виды на черкешенок превосходные. Его величество султан уже распорядился сделать крупные закупки для нового гарема, который будет достроен за две недели, — это, естественно, укрепило рынок и способствовало повышению цен на черкешенок. Воспользовавшись тем, что цены на рынке подскочили, многие наиболее проницательные дельцы перепродают товары, которых у них еще нет в наличности. Есть основания ждать ажиотажа с валашками.

С нубианками без изменений. Распродажа идет медленно.

Евнухи. — Предложений не было, однако сегодня ожидается крупный груз из Египта.

По-моему, так выглядел бы этот бюллетень. Цены сейчас сравнительно высокие, и владельцы товара не уступают; но два-три года назад умирающие с голоду родители привозили сюда своих юных дочерей и отдавали их за какие-нибудь двадцать — тридцать долларов, если не могли взять больше, лишь бы спасти и себя и девушек от голодной смерти. Грустно думать о такой горькой нужде; и что касается меня, то я от души рад, что нынче цены опять поднялись.

В торговле моральные устои особенно шатки. С этим спорить не приходится. Для грека, турка или армянина вся добродетель заключается в том, чтобы аккуратно посещать храм Божий в день субботний и нарушать десять заповедей во все остальные дни. Они и от природы склонны ко лжи и обману, а постоянными упражнениями достигают в этом искусстве совершенства. Уговаривая купца взять его сына в приказчики, отец не говорит, что сын его порядочный, нравственный, честный, правдивый мальчик и посещает воскресную школу, — нет, он аттестует его так: «Парнишке цены нет — вот увидите, он всякого обведет вокруг пальца; а уж лгуна такого не сыщешь нигде от Евксина^[148] до самого Мраморного моря!» Какова рекомендация? Миссионеры рассказывали мне, что подобные панегирики здесь можно услышать ежедневно. О человеке, который приводит здешних жителей в восхищение, тут говорят так: «Ах, это

прелесть что за жулик, а какой великолепный враль!»

Все лгут и плутуют — во всяком случае, все, кто занимается коммерцией. Даже иностранцы и те вскоре опускаются до этого местного обычая и, продавая и покупая в Константинополе, быстро научаются лгать и обманывать, как заправские греки. Я говорю: «как греки», потому что считается, что они больше всех грешат этим. Несколько американцев, давно живущих в Константинополе, утверждают, что большинство турков заслуживает кой-какого доверия, но мало кто поручится, что у греков можно обнаружить хоть какую-нибудь добродетель, — во всяком случае, без испытания огнем.

Я склоняюсь к мысли, что знаменитых константинопольских псов выставляли в ложном свете — их просто оклеветали. Меня приучили думать, что на улицах они кишмя кишат, так что ни пройти, ни проехать; что они передвигаются чуть ли не стройными взводами, ротами, батальонами и решительно и свирепо атакуют все, что им ни приглянется; и что по ночам их дикий вой заглушает все остальные звуки. Но собаки, которых я здесь увидел, совсем другие.

Я встречал их повсюду, но вовсе не такими мощными отрядами. Больше десятка или двух за раз мне не попадалось. И, днем ли, ночью ли, добрая половина их спала крепким сном, а у остальных тоже глаза слипались. Еще никогда в жизни не видел я таких убогих, изголодавшихся, убитых горем дворняг, с такими скорбными физиономиями. Жестоко насмеются над ними те, кто обвиняет их, будто они захватывают добычу силою оружия. Да у них едва ли достанет энергии или дерзости перейти на другую сторону улицы, — по крайней мере я, кажется, ни разу не видел, чтобы хоть одна из них отправилась в столь далекое путешествие. Они все изувеченные, шелудивые, облезлые, у иной шерсть местами так спалена, что в ней пролегли широкие дороги, словно это вовсе и не шкура, а карта наших новых территорий. Это самые жалкие, самые униженные и самые несчастные существа на свете. Морды у них неизменно меланхолические и безнадежно унылые. Константинопольские блохи облюбовали пролысины покрытых коростой псов и предпочитают их обширным пастбищам здоровых псов; эти лишенные растительности пятна пришлись им как нельзя более по вкусу. Однажды я видел, как шелудивый пес собрался расправиться с блохой, но тут его внимание отвлекла муха, и он попытался поймать ее, но блоха снова напомнила о себе, и он совсем расстроился, горестно поглядел сперва на свой блошиный выгон, потом на проплешины, потом испустил тяжелый вздох и уронил голову на лапы. Задача оказалась ему не по зубам.

Псы спят на улицах по всему городу. По-моему, на каждый квартал приходится в среднем по восемь — десять штук. Бывает, конечно, и пятнадцать и двадцать на квартал. У них нет хозяев, и непохоже, чтобы их связывали узы дружбы. Но весь город они поделили между собой на участки, и псы каждого участка, будь то полквартала или десять кварталов, не выходят за его пределы. Горе псу, нарушившему границу! Соседи в два счета выдерут у него остатки шерсти. По крайней мере так говорят. Но по их виду этого не скажешь.

Целыми днями они спят на улицах. Они служат мне компасом и проводником. Видя, как мирно они спят посреди улицы, а пешеходы, овцы, гуси — все, что движется, — обходят их стороной, я понимаю, что это еще не та большая улица, где стоит наш отель, и иду дальше. На главной улице собаки явно все время настороже: видно, им приходится каждый день уступать дорогу многочисленным экипажам, — и эту настороженность сразу прочтешь на их мордах. Она свойственна лишь собакам этой улицы. Все остальные спят мирно и безмятежно. Они не двинутся с места, появишься здесь хоть сам султан.

На одной узкой улочке (впрочем, они все нешироки) я видел трех собак, — свернувшись в клубок, они лежали на расстоянии одного-двух футов друг от друга. Они занимали всю ширину улочки, от одной сточной канавы до другой. Появилась отара овец голов в сто. Передние овцы стали шагать прямо по собакам, задние нетерпеливо напирали. Псы лениво подняли головы, вздрогнули разок-другой, когда овцы наступали на их ободранные спины, — и со вздохом вновь погрузились в сонное оцепенение. Яснее, кажется, и словами не скажешь. Итак, одни овцы перепрыгивали через них, другие пробирались между ними, время от времени наступая острыми копытами им на ноги, а когда, подняв облако пыли, все стадо прошло по ним, собаки чихнули разок-другой, но так и не сдвинулись с места. Я всегда считал себя лентяем, но по сравнению с константинопольскими псами я настоящий паровоз. Ну не удивительная ли картинка для города с миллионным населением?

Эти псы — городские мусорщики. Таково их официальное положение, и оно не из легких. Однако это их защита. Если бы не то, что они приносят пользу, хоть отчасти очищая ужасные стамбульские улицы, их не стали бы долго терпеть. Они поедают все, что им ни попадется, — дынные корки, гнилой виноград, всевозможные отбросы и нечистоты, даже останки своих друзей и родичей, — и, однако, они всегда тощие, всегда голодные, всегда унылые. Люди не желают убивать их — и никогда не убивают. Говорят, у турков врожденное отвращение к убийству бессловесных тварей. Но они

поступают хуже: они способны повесить несчастного пса, пинать его ногами, закидывать камнями, ошпарить кипятком и, истерзав до полусмерти, не приканчивают, а предоставляют ему жить и мучиться.

Однажды султан пожелал уничтожить всех псов, и началась бойня, но население Константинополя, ужаснувшись, подняло такой крик, что пришлось отказаться от этой затеи. Немного погодя он решил переправить всех собак на один из островов в Мраморном море. Никто не возражал, и первый корабль, груженный псами, отправился из города. Но когда разнеслась весть, что собаки до острова почему-то не доехали, а ночью все оказались за бортом и погибли, снова поднялся крик, и план выселения их из города был оставлен.

Итак, псы по-прежнему владеют завоеванными без боя улицами Константинополя. Я не говорю, что они не воют по ночам и не кусают людей без красной фески на голове. Скажу только, что с моей стороны было бы низостью обвинять их в столь неподобающих поступках, поскольку сам я не видел этого своими глазами и не слышал своими ушами.

Я был слегка удивлен, увидав турок и греков, продающих здесь газеты, — здесь, в таинственном краю, где некогда обитали великаны и джинны из «Тысячи и одной ночи», где крылатые кони и многоголовые драконы охраняли заколдованные замки, где принцы и принцессы летали по воздуху на коврах, послушных волшебному талисману, где по мановению руки волшебника за одну ночь вырастали города с домами, сложенными из драгоценных камней, и где, покорные чарам, внезапно замирали оживленные торжища и каждый застывал, как был — лежал ли он, сидел ли, кто на ходу, кто взмахнув мечом, безмолвные, неподвижные, — ожидая, когда время отсчитает сто лет!

В этом царстве сна странно видеть мальчишек, продающих газеты. И, по правде говоря, они появились тут не так давно. Продажа газет родилась в Константинополе с год назад, она дитя прусско-австрийской войны^[149].

Тут издается одна газета на английском языке — «Левант Геральд», несколько на французском, но больше всего на греческом. Они выходят, закрываются, пытаются продержаться и вновь закрываются. Правительство султана не жалуется на газеты. Оно не понимает журналистов и журналистики. «Неизвестность всегда пугает», — говорит пословица. По мнению султанского двора, газета — штука загадочная и подлая. Двору знакома чума, время от времени она посещает город и косит людей, унося по две тысячи человек в день, — и газета, на взгляд государственных мужей, та же чума, только в более легкой форме. Когда газета заходит слишком далеко,

ее закрывают — набрасываются без предупреждения и душат. Если же она долго не переступает дозволенных границ, ее все равно прикрывают, подозревая, что она замышляет какие-то дьявольские козни. Представьте себе великого визиря, собравшего на торжественный совет первых вельмож империи, — он по складам читает ненавистную газету и наконец выносит мудрый приговор: «Листок этот вреден, смысл его темен, он подозрительно безобиден — закрыть его! Предупредить издателя, что мы этого не потерпим, редактора заточить в тюрьму!»

С изданием газет в Константинополе связаны кое-какие неудобства. В несколько дней были закрыты одна за другой две греческие и одна французская газеты. Султан запретил сообщать о победах критян^[150]. Время от времени великий визирь посылает в различные редакции сообщения о том, что критский мятеж окончательно подавлен; и хотя редакторы прекрасно знают истинное положение дел, им приходится печатать это сообщение. «Левант Геральд» лестно отзывается об американцах, а потому не пользуется любовью султана, которому не по вкусу наше сочувствие критянам; чтобы избежать неприятностей, газете приходится быть сугубо осмотрительной. Однажды рядом с официальным сообщением о разгроме критян редактор напечатал письмо американского консула на Крите, совсем по-иному освещавшее события, и был оштрафован за это на двести пятьдесят долларов. Вскоре он напечатал еще одно письмо в том же духе — и наградой ему было трехмесячное тюремное заключение. Я, наверно, мог бы стать в «Левант Геральд» помощником редактора, но уж как-нибудь постараюсь прожить без этого.

Когда здесь закрывают газету, это означает почти полное разорение издателя. А в Неаполе, по-моему, на подобных злоключениях ловко спекулируют. Там каждый день закрывают газеты, но на завтра же они выходят под новым названием. За те десять — двенадцать дней, что мы провели там, одну газету убивали дважды, и она дважды воскресала на наших глазах. Разносчики газет там плуты, как, впрочем, и повсюду. Они играют на человеческих слабостях. Чувствуя, что им едва ли удастся распродать свой товар, они с таинственным видом шепчут прохожему: «Последний экземпляр, сэр. Двойная цена. Газету только что закрыли!» Человек, конечно, покупает газету и не находит в ней никакой крамолы. Говорят — я не ручаюсь, но так говорят, — что иногда издатели какой-нибудь газеты печатают ультрамятежную статью, весь тираж быстро раздают газетчикам, а сами скрываются, пока гнев правительства не остынет. Это прекрасно окупается. Конфискация особого ущерба не наносит. Шрифт и печатные станки не стоят того, чтобы о них

беспокоиться.

В Неаполе только одна английская газета. У нее семьдесят подписчиков. Издатель наживает состояние медленно, очень медленно.

Я один раз пытался позавтракать по-турецки, и второго такого завтрака мне уже до самой смерти не захочется. Двери маленькой закуской у самого базара были открыты настежь; тут и стряпали и ели. Повар был грязен, ничем не покрытый стол — тоже. Повар нанизал колбасу на проволоку и положил ее на жаровню. Когда блюдо было готово, он отложил его в сторонку, но тут вошел печальный, задумчивый пес и ухватил кусок; впрочем, сперва он обнюхал жаркое и, верно, признал в нем покойного друга. Повар отобрал мясо у пса и подал его нам. Джек сказал: «Я пас», — он иногда играет в карты, — и все мы спасовали вслед за ним. Потом повар испек большую плоскую пшеничную лепешку, положил на нее жареную колбасу и направился к нам. По дороге он уронил ее в грязь — поднял, вытер о штаны и подал нам. Джек сказал: «Я пас». И все мы спасовали. Повар вылил на сковороду несколько яиц и задумчиво поковырял вилкой в зубах, вытаскивая застрявшие куски мяса, — потом той же вилкой он перевернул яичницу и поднес ее нам. Джек сказал: «Опять пас». Все последовали его примеру. Что же было делать? Мы снова заказали колбасу. Повар вытащил проволоку, отделил соответствующую порцию колбасы, поплевал на руки и принялся за работу. Тут мы все разом спасовали. Мы расплатились и вышли. Вот и все, что я узнал о турецких завтраках. Турецкий завтрак, без сомнения, хорош, но он не лишен некоторых недостатков.

Когда я думаю о том, какую злую шутку сыграли со мной книги о путешествиях по Востоку, мне всегда хочется позавтракать каким-нибудь из этих авторов. Годами мечтал я о чудесах турецкой бани, годами обещал себе вкусить этого блаженства. Сколько раз представлял я себе, что вот лежу я в мраморном водоеме и вдыхаю разлитый в воздухе дурманящий аромат восточных благовоний, потом орава обнаженных дикарей, едва различимых в клубах пара, яростно накидывается на меня, они похлопывают меня, и мнут, и обливают водой, и трут, и скребут, а потом, пройдя через весь этот иску, я покоюсь некоторое время на диване, достойном самого султана, потом прохожу еще через одно тяжкое испытание, куда более устрашающее, чем первое, и наконец меня закутывают в мягкие ткани, переносят в царственный покой и укладывают на ложе гагачьего пуха; пышно разодетые евнухи обмахивают меня опахалами, а я дремлю и грежу или любуюсь на богатые занавеси, пушистые ковры, роскошную мебель, картины, и пью восхитительный

кофе, и курю умиротворяющий наргиле, и наконец, убаюканный неземными благовониями, струящимися из невидимых курильниц, легким персидским табаком и нежным журчаньем фонтанов, напоминающим шум летнего дождя, погружаюсь в мирный сон.

Такую картину рисовал я себе, начитавшись зажигательных книг о путешествиях. Но это оказалось возмутительным, бесстыдным обманом. Это так же похоже на правду, как нью-йоркские трущобы на сады Эдема. Меня ввели в большой двор, мощный мраморными плитами; вокруг тянулись одна над другой широкие галереи, устланные протертыми циновками, обнесенные некрашеными перилами и обставленные чем-то вроде колченогих кушеток, на которых лежали грязные старые тюфяки, продавленные девятью поколениями сменявших друг друга клиентов. Здесь пусто, голо, мрачно; двор — как конюшня, а галереи — стойла для людей. Прислуживают здесь полуголые, тощие, как скелеты, жулики, в них нет ни на грош поэзии, романтики, восточного великолепия. От них не исходит благоухание — как раз наоборот. Их голодные глаза и отчаянная худоба откровенно и красноречиво говорят о том, что им насущно необходимо плотно поесть.

Я вошел в одну из каморок, разделся. Грязный заморыш повязал вокруг своих бедер что-то вроде пестрой скатерти и накинул мне на плечи белую тряпку. Если бы там была ванна, то мне было бы самое время помыться, но меня препроводили вниз по лестнице в сырой, скользкий двор, и тотчас мои пятки сверкнули в воздухе; но никто и глазом не моргнул: они этого, конечно, ждали, это входит в перечень размягчающих душу наслаждений, свойственных сему приюту восточной неги. Это, разумеется, достаточно размягчало, но не способствовало хорошему самочувствию. Затем мне дали деревянные башмаки, вернее деревянные скамеечки, которые привязывались к ногам кожаными ремешками (все бы ничего, да только я не ношу обувь пятидесятого размера). Когда я поднимал ногу, скамейки болтались на ремешках, когда опускал, они становились на пол под самым неожиданным и неудобным углом, а иногда и вовсе ложились набок, так что мне грозил вывих лодыжки. Но ведь это все были восточные наслаждения, и я изо всех сил старался наслаждаться.

Меня отвели в другую часть конюшни и уложили на нечто вроде старого соломенного тюфяка, крытого отнюдь не парчой и не персидской шалью, — это была самая обыкновенная подстилка, какие мне случалось видеть в негритянских кварталах Арканзаса. В этой мраморной темнице не было ничего, кроме пяти таких же гробов. Мрачноватая обстановка, что и говорить. Я надеялся, что вот теперь пряные арабские благовония окутают

и разнежат меня, — но нет; скелет, обтянутый медно-красной кожей и опоясанный какой-то тряпкой, принес мне воды в стеклянном графине, в горлышко которого была воткнута зажженная курительная трубка с гибким черенком в ярд длиной и медным мундштуком.

Вот оно наконец, знаменитое наргиле, то самое, которое на всех картинках курит турецкий султан. Это уже походило на восточное наслаждение. Я сделал одну затяжку — и этого оказалось вполне достаточно. Дым ворвался в мой желудок, в легкие, заполнил все мои внутренности. Я кашлянул что было сил — и тут началось извержение Везувия. Добрых пять минут я весь дымился, как деревянный дом, в котором бушует пламя. Нет, хватит с меня наргиле! Вкус у дыма мерзостный, а вкус следов, оставленных устами тысяч язычников на медном мундштуке, и того мерзостнее. Я несколько упал духом. Если я теперь когда-нибудь увижу на пачке коннектикутского табака турецкого султана, который сидит по-турецки и курит наргиле с таким видом, словно он и в самом деле блаженствует, я буду знать, что он бесстыдный обманщик.

Воздух в этой мраморной темнице горячий. Когда я основательно прогрелся, меня повели в другую мраморную камеру — сырую, скользкую, насыщенную паром, и уложили на возвышение посередине. Там было очень жарко. Вскоре мой банщик усадил меня подле лоханки с горячей водой, хорошенько окатил меня, надел жесткую рукавицу и стал надраивать меня ею с головы до пят. От моей кожи пошел неприятный запах. Чем больше он тер, тем хуже от меня пахло. Я встревожился и говорю ему:

—Послушайте, я вижу — дела мои плохи. Чем скорее меня похоронят, тем лучше. Зовите моих друзей — ведь на дворе жарко, я того гляди совсем испорчусь.

А он все скреб и скреб как ни в чем не бывало. Немного погодя я заметил, что от его стараний я спал с тела. Он изо всех сил нажимал на рукавицу, и из-под нее выкатывались какие-то трубочки вроде макарон. Для грязи они были слишком белые. Он долго обрабатывал меня, и я становился все тоньше. Наконец я сказал:

—Это тяжкий труд. Чтобы обтесать меня до нужного вам размера, потребуется немало времени. Не проще ли сходить за рубанком. Я обожду.

Он будто не слышал.

Немного погодя, он принес таз, мыло и что-то вроде конского хвоста. Взбил гору пены, окатил меня ею с головы до пят, даже не предупредив, чтобы я зажмурил глаза, и стал яростно надраивать меня этим конским хвостом, точно шваброй. Потом он вдруг ушел, а я так и остался лежать —

белоснежная статуя из мыльной пены. Когда мне надоело ждать, я отправился на розыски. Я нашел его в соседней комнате. Он спал, подпирая стенку. Я разбудил его. Он нимало не смутился. Мы пошли обратно, он облил меня горячей водой, намотал чалму вокруг моей головы, закутал меня в сухую скатерть и, приведя в зарешеченный курятник на галерее, ткнул пальцем в одно из арканзасских лож. Я взгромоздился на него, все еще в глубине души надеясь вдохнуть арабские благовония. Но тщетны были мои надежды.

Пустая, ничем не убранная клетушка никак не располагала к той восточной неге, о которой столько написано. Она больше всего походила на больничную палату. Мой тощий банщик принес наргиле, но я сразу же велел унести его. Потом он принес прославленный на весь мир турецкий кофе, воспетый многими поколениями поэтов, и я ухватился за него, как за последнюю надежду, — только одна она и осталась от всех моих мечтаний о роскоши и неге Востока. И снова обман. Из всех варварских напитков, какие мне когда-либо случалось пробовать, ничего нет хуже турецкого кофе. Чашечка крохотная, вся вымазанная гущей, кофе черный, густой, скверно пахнет и отвратителен на вкус. Гуща оседает в чашке на полдюйма; когда пьешь, она застревает в глотке, щекочет, немилосердно дерет, и потом целый час только и делаешь, что кашляешь да отплевываешься.

На этом окончилось мое знакомство с прославленными турецкими банями, на этом пришел конец и моей мечте о блаженстве, которым там упивается смертный. Это злостное надувательство. Человек, способный наслаждаться этим, способен наслаждаться всякой мерзостью; и тот, кто окружает это ореолом очарования и поэзии, не постесняется воспеть все, что есть в мире скучного, дрянного, унылого и тошнотворного.

**Глава VIII. Плавание по Босфору и Черному морю.
— «Новоявленный Моисей». — Печальный
Севастополь. — Радушный прием в России. —
Охота за сувенирами. — Как путешественники
составляют свои коллекции.**

Мы оставили десяток пассажиров в Константинополе и прошли несравненным Босфором в Черное море. Мы оставили их в когтях знаменитого турецкого гида по прозвищу «Новоявленный Моисей», который уж непременно уговорит их закупить полный трюм розового масла, великолепных турецких одежд и всевозможных занятных, но совершенно бесполезных вещей. «Новоявленный Моисей» упоминается в неоценимых путеводителях Муррея, и ему всегда обеспечен кусок хлеба. Сознание того, что он признанная знаменитость, каждый день приносит ему все новые радости. Однако мы не станем изменять своим привычкам для того только, чтобы потакать капризам гидов; мы ни для кого не станем делать исключение. И невзирая на громкую славу этого гида и на хитрое имя, которым он так гордится, мы называли его, как и всех прочих гидов, Фергюсоном. Из-за этого он все время злился на нас. Между тем мы и не думали его обижать. С тех пор как, не щадя затрат, он вырядился в яркие широчайшие шальвары, желтые, с загнутыми носами туфли, огненную феску, голубую шелковую куртку, подпоясался широким кушаком из узорчатой персидской материи, заткнул за него целую батарею оправленных в серебро огромных пистолетов и подвесил на ремне устрашающую кривую саблю, — он стал считать невыразимым оскорблением, если его называли Фергюсон. Но что ж тут поделаешь? Мы всех гидов зовем Фергюсонами. Ведь нам не под силу выговаривать ужасающие иностранные имена.

Наверно, ни один из городов в России, да и не только в России, не был так сильно разрушен артиллерийским огнем, как Севастополь. И, однако, мы должны быть довольны тем, что побывали в нем, ибо еще ни в одной стране нас не принимали с таким радушием, — здесь мы чувствовали, что достаточно быть американцем, никаких других виз нам уже не требовалось. Не успели мы бросить якорь, как на борт явился посланный губернатором офицер, который осведомился, не может ли он быть нам чем-нибудь

полезен, и просил нас чувствовать себя в Севастополе как дома! Если вы знаете Россию, вы поймете, что это было верхом гостеприимства. Русские обычно с подозрением относятся к чужеземцам и терзают их бесконечными отсрочками и придирками, прежде чем выдадут паспорт. Будь мы из любой другой страны, нам и за три дня не удалось бы получить разрешения войти в Севастопольский порт, нашему же пароходу было позволено входить в гавань и покидать ее в любое время. В Константинополе все предупреждали нас быть поосторожнее с паспортами, следить, чтобы все было записано согласно форме и чтобы паспорта всегда были при нас; нам рассказывали о многочисленных случаях, когда англичан и других иностранцев многие дни, недели, даже месяцы задерживали в Севастополе из-за пустяковых неточностей в паспорте, в чем они к тому же не были виноваты. Я потерял свой паспорт и отправился в Россию с паспортом своего соседа по каюте, который остался в Константинополе. Прочитав его приметы в паспорте и взглянув на меня, всякий сразу увидел бы, что у меня с ним сходства не больше, чем с Геркулесом. Поэтому я прибыл в севастопольскую гавань, дрожа от страха, почти готовый к тому, что меня уличат и повесят. Но все время, пока мы были там, мой истинный паспорт величаво развевался над нашими головами — то был наш флаг. И у нас ни разу не спросили иного.

Сегодня у нас на борту побывало множество русской и английской публики, и время прошло очень весело. Все они были прекрасно настроены, и никогда еще наш родной язык не был мне так мил, как в устах англичан в этом далеком краю. Я много разговаривал с русскими просто из дружеского расположения, и то же чувство побуждало их говорить со мной; и я уверен, что беседа доставила удовольствие обеим сторонам, хотя никто из нас не понимал друг друга. Впрочем, я больше разговаривал с англичанами и очень жалею, что мы не можем прихватить кой-кого из них с собой.

Где только мы не побывали сегодня — и всюду встречали радушие и внимание. И никто не спрашивал нас о паспортах.

Несколько высших чиновников предложили нам отправиться морем на небольшой курорт в тридцати милях отсюда и нанести визит императору. Он сейчас отдыхает там. Чиновники обещали позаботиться, чтобы нам был оказан самый сердечный прием. Они обещали, что, если мы согласимся, они не только известят императора телеграммой, но даже пошлют специального курьера, чтобы предупредить о нашем посещении. К сожалению, времени у нас было в обрез, и главное — уголь был на исходе, поэтому мы сочли за благо отказаться от редкостного удовольствия завязать

знакомство с настоящим императором.

Помпея сохранилась куда лучше Севастополя. В какую сторону ни глянь, всюду развалины, одни только развалины! Разрушенные дома, обвалившиеся стены, груды обломков — полное разорение. Будто чудовищное землетрясение всей своей мощью обрушилось на этот клочок суши. Долгих полтора года война бушевала здесь и оставила город в таких развалинах, печальнее которых не видано под солнцем. Ни один дом не остался невредимым, ни в одном нельзя жить. Трудно представить себе более ужасное, более полное разрушение. Дома здесь были сооружены на совесть, сложены из камня, но пушечные ядра били по ним снова и снова, срывали крыши, разрубали стены сверху донизу, и теперь на полмили здесь тянутся одни разбитые печные трубы. Даже угадать невозможно, как выглядели эти дома. У самых больших зданий снесены углы, колонны расколоты пополам, карнизы разбиты вдребезги, в стенах зияют дыры. Иные из них такие круглые и аккуратные, словно их просверлили дрелью. Другие пробиты не насквозь, и в стене остался такой ровный, гладкий и четкий след, словно его нарочно шлифовали. Тут и там ядра застряли в стенах, и ржавые слезы сочатся из-под них, оставляя на камне темную дорожку.

От одного поля сражения до другого рукой подать. Малаховский редут был на кургане, что стоит на краю города. Редан — на расстоянии ружейного выстрела от Малахова кургана; до Инкермана — миля, до Балаклавы всего час езды. Траншеи, по которым французы подошли к Малахову кургану и обложили его, были подведены вплотную к его отлогим склонам, так что русские артиллеристы могли бы попасть в противника просто камнем. Снова и снова французы кидались на маленький Малахов курган и всякий раз с огромными потерями откатывались назад. Наконец они выбили русских и захватили курган; русские попытались отступить к городу, но англичане уже завладели Реданом, и огненная стена преградила путь русским, им оставалось лишь вернуться и либо снова завладеть Малаховым курганом, либо погибнуть под огнем его пушек. И они вернулись — и взяли курган, и брали его два или три раза; но даже их отчаянная доблесть была напрасна, и в конце концов им пришлось уступить.

На этом страшном поле брани, где с таким неистовством бушевала смерть, теперь все спокойно — ни звука, ни живой души, кругом безлюдно, безмолвно, на всем печать запустения.

Больше тут нечего было делать, и началась охота за сувенирами. «Квакер-Сити» завалили грудями реликвий. Их тащили с Малахова

кургана, с Редана, из Инкермана, из Балаклавы — отовсюду. Тащили пушечные ядра, сломанные шомполы, осколки шрапнели — железного лома хватило бы на целый шлюп. Некоторые приносили даже кости, тащили их издалека, с трудом — и не на шутку огорчались, когда доктор объявлял, что это кости мула или вола. Я был уверен, что уж кто-кто, а Блюхер не упустит такого случая. Он принес на борт полный мешок сувениров и собрался за другим. Но я уговорил его не ходить. Его каюта и так уже превратилась в настоящий музей всякой дряни, собранной им во время путешествия. Теперь он наклеивает ярлыки на свои трофеи. Недавно один из них попался мне на глаза, ярлычок гласил: «Обломок русского генерала». Я вынес его на свет, чтобы лучше разглядеть, — это был обломок лошадиной челюсти с двумя уцелевшими зубами.

— Обломок русского генерала! — сказал я сердито. — Экая чепуха. Неужели вы так ничему и не научитесь?

— Не кипятитесь, старушка ничего не заметит, — только и ответил он, имея в виду свою тетушку.

Блюхер в последнее время не церемонится со своими экспонатами. Пренебрегая всеми правилами, он сваливает их в кучу, а потом преспокойно наклеивает какие попало ярлычки, нимало не заботясь об истине, достоверности или хотя бы правдоподобии. Я сам видел, как он расколол камень пополам и на одну половину наклеил ярлычок «Обломок кафедры Демосфена», а на другую: «Покров с гробницы Абеяра и Элоизы». Случалось, он набирал по обочине дороги горсть мелких камней, приносил их на корабль, и, когда наклеивал на них ярлыки, оказывалось, что они добыты из двадцати знаменитых мест, лежащих друг от друга за тридевять земель. Я, конечно, протестовал против столь грубого посягательства на истину и разум, но все было напрасно. Всякий раз он преспокойно отвечал:

«Это не имеет значения — старушка ничего не заметит». Что тут возразишь? С тех пор как мы, четверо счастливых, совершили ночную вылазку в Афины, ему доставляет истинное удовольствие оделять всех и каждого на корабле камешками с Марсова холма, где проповедовал апостол Павел. Он подобрал все эти камешки на берегу, напротив того места, где стоял наш корабль, но уверяет, будто раздобыл их у одного из нашей четверки. Впрочем, мне незачем изобличать обман — Блюхеру от этого удовольствие, а остальным никакого вреда. Он говорит, что до тех пор, пока берег в пределах досягаемости, его запас сувениров с Марсова холма не иссякнет. Что ж, он ничуть не хуже других. Как я не раз замечал, все путешественники восполняют пробелы в своих коллекциях подобным же

образом. Теперь у меня до самой смерти не будет доверия ко всяким сувенирам и реликвиям.

**Глава IX. Девять тысяч миль на восток. —
Российское подобие американского города. —
Запоздалая благодарность. — Мы посетили
самодержца всея Руси.**

Мы заехали так далеко на восток — на сто пятьдесят пять градусов долготы от Сан-Франциско, — что моим часам уже не под силу угнаться за временем. Они совсем сбились с толку и остановились. По-моему, они поступили мудро. Между Севастополем и Тихоокеанским побережьем разница во времени огромная. Когда здесь шесть часов утра, в Калифорнии идет еще позапрошлая неделя. Вполне извинительно, что мы немного запутались во времени. Эти неурядицы и волнения из-за дней и часов вконец измучили меня, я опасался, что это не пройдет мне даром и ко мне уж никогда не вернется чувство времени; но когда оказалось, что я безошибочно угадываю время обеда, блаженное спокойствие снизошло на меня и всем страхам и сомнениям пришел конец.

От Севастополя до Одессы часов двадцать пути; Одесса — самый северный порт на Черном море. Мы вошли сюда главным образом за углем. В Одессе сто тридцать три тысячи жителей, и она растет быстрее любого небольшого города вне Америки. Одесса открытый порт и крупнейший в Европе хлебный рынок. Одесский рейд полон кораблей. Сейчас ведутся работы по превращению открытого рейда в обширную искусственную гавань. Она будет со всех сторон окружена массивными каменными причалами, один из них будет выдаваться в море по прямой линии более чем на три тысячи футов.

Сойдя на берег, я ступил на мостовые Одессы, и впервые после долгого-долгого перерыва наконец почувствовал себя совсем как дома. По виду Одесса точь-в-точь американский город: красивые широкие улицы, да к тому же прямые; невысокие дома (в два-три этажа) — просторные, опрятные, без всяких причудливых украшений; вдоль тротуаров наша белая акация; деловая суeta на улицах и в лавках; торопливые пешеходы; дома и все вокруг новенькое с иголочки, что так привычно нашему глазу; и даже густое облако пыли окутало нас словно привет с милой нашему сердцу родины, — так что мы едва не пролили благодарную слезу, едва удержались от крепкого словца, как то освящено добрым американским обычаем. Куда ни погляди, вправо, влево, — везде перед нами Америка! Ничто не

напоминает нам, что мы в России. Мы прошли немного, упиваясь знакомой картиной, — но вот перед нами выросла церковь, пролетка с кучером на козлах, — и баста! — иллюзии как не бывало. Купол церкви увенчан стройным шпилем и закругляется к основанию, напоминая перевернутую репу, а на кучере надето что-то вроде длинной нижней юбки без обручей. Все это заграничное, и экипажи тоже выглядят непривычно, но все уже слышаны об этих диговинках, и я не стану их описывать.

Пароход должен был простоять здесь всего сутки, чтобы запастись углем; из путеводителей мы с радостью узнали, что в Одессе совершенно нечего осматривать, — итак, перед нами целый свободный день, спешить некуда и можно сколько угодно бродить по городу и наслаждаться бездельем. Мы слонялись по базарам и с неодобрением отзывались о нелепых и удивительных нарядах крестьян из дальних деревень, изучали жителей города, насколько это возможно по внешнему виду, и в довершение всех удовольствий до отвала наелись мороженым. В пути мы не часто лакомимся мороженым, и уж дорвавшись до него — кутим вовсю. Дома мы никогда не соблазнялись мороженым, но теперь взираем на него с восторгом, ибо в этих пышущих жаром восточных странах его не часто встретишь.

Нам попались всего-навсего два памятника, и это тоже было истинное благодеяние. Один — бронзовая статуя герцога де Ришелье^[151], внучатого племянника прославленного кардинала. Он стоит над морем на широком красивом проспекте, а от его подножья вниз к гавани спускается гигантская каменная лестница — в ней двести ступеней, каждая пятидесяти футов длиной, и через каждые двадцать ступеней — просторная площадка. Это великолепная лестница, и когда люди взбираются по ней, они кажутся издали просто муравьями. Я упоминаю об этой статуе и лестнице потому, что у них есть своя история. Ришелье основал Одессу, отечески заботился о ней, посвятил ей свой изобретательный ум, умел мудро рассудить, что послужит ей на благо, не скупясь отдавал ей свое богатство, привел ее к подлинному процветанию, так что она, пожалуй, еще сравняется с величайшими городами Старого Света, на собственные деньги выстроил эту великолепную лестницу и... И что же! Люди, для которых он столько сделал, равнодушно смотрели, как он однажды спускался по этим самым ступеням, — он был стар, беден, у него ничего не осталось, — и никто не помог ему. А когда много лет спустя он умер в Севастополе, почти нищий, всеми забытый, они устроили собрание, щедро жертвовали по подписке и вскоре воздвигли этот прекрасный памятник — подлинное произведение искусства — и назвали его именем одну из главных улиц города. Это

напоминает мне слова матери Роберта Бернса, — когда ему воздвигли величественный памятник, она сказала: «Ах, Робби, ты просил у людей хлеба, а они тебе подали камень».

В Одессе, как и в Севастополе, нам горячо советовали посетить императора. Его величеству послали телеграмму, и он выразил готовность удостоить нас аудиенции. Итак, мы снимаемся с якоря и отплываем к императорской резиденции. Какая теперь поднимется суматоха! Какие пойдут торжественные совещания, сколько будет создано важных комитетов!.. Как все примутся начищать и наглаживать фраки и белые шелковые галстуки! Стоит мне вообразить, сколь устрашающее и грандиозное испытание нам предстоит, как мое пылкое желание побеседовать с настоящим императором заметно остывает. Куда девать руки? А ноги? А с самим собой что прикажете делать?

**Глава X. Летний дворец царя. — Готовимся к
тяжелому испытанию. — На приеме у
императора. — В гостях у великого князя. —
Очаровательная вилла. — Визит генерал-
губернатора. — Высокопоставленные гости.**

Уже три дня, как мы бросили якорь в Ялте. Место это живо напомнило мне Сьерра-Неваду. Высокие суровые горы стеной замыкают бухту, их склоны щетинятся соснами, прорезаны глубокими ущельями, то здесь, то там вздымается к небу седой утес, длинные прямые расселины круто спускаются от вершин к морю, отмечая путь древних лавин и обвалов, — все как в Сьерра-Неваде, верный ее портрет.

Деревушка Ялта гнездится внизу амфитеатра, который, отступая от моря, понемногу подымается и переходит в крутую горную грядку, и кажется, что деревушка эта тихо соскользнула сюда откуда-то сверху. В низине раскинулись парки и сады знати, в густой зелени то там, то тут вдруг сверкнет, словно яркий цветок, какой-нибудь дворец. Очень красивое место.

У нас на борту побывал консул Соединенных Штатов — одесский консул. Мы собрались в салоне и потребовали, чтобы он объяснил, да поскорее, как нам вести себя, чтобы не ударить лицом в грязь. Он произнес целую речь. И первые же его слова развеяли в прах все наши надежды: он ни разу не присутствовал на дворцовых приемах (троекратное «увы» консулу). Однако он бывал на приемах у одесского генерал-губернатора и не раз беседовал с людьми, принятыми при русском и иных дворах и, уж поверьте, прекрасно представляет себе, что за испытание нам предстоит (новая вспышка надежды). Он сказал, что нас много, а летний дворец невелик — просто большой особняк, поэтому нас, наверное, примут полетнему — в саду; мы должны будем стать все в ряд — мужчины во фраках, белых лайковых перчатках и при белых галстуках, дамы в светлых платьях, шелковых или еще каких-нибудь; в положенное время — ровно в полдень — появится император, окруженный свитой в блестящих мундирах, и медленно пройдет вдоль строя, — одному кивнет, другому скажет несколько слов. Едва император появится, все лица должны мгновенно озариться радостной, восторженной улыбкой — улыбкой любви,

благодарности, восхищения, — и все разом должны поклониться, без подобострастия, но почтительно и с достоинством; через пятнадцать минут император удалится во дворец, и мы можем отправляться домой. У нас словно гора упала с плеч. Видимо, это не так уж трудно. Никто из нас не усомнился, что сумеет, поупражнявшись немного, стоять в шеренге, особенно когда рядом стоят другие; никто не усомнился, что сумеет поклониться, не наступив на фалды фрака и не сломав себе шею, — короче говоря, мы уверовали, что сумеем разыграть все номера этого представления — кроме универсальной улыбки. Консул сказал также, что нам следует составить небольшой адрес его величеству и вручить его кому-нибудь из адъютантов, а уж тот в надлежащую минуту поднесет этот адрес императору. Итак, пяти джентльменам было поручено подготовить сей документ, остальные пятьдесят с бледными улыбками бродили по кораблю — репетировали. Весь следующий день у всех у нас был такой вид, словно мы на похоронах, где все огорчены чьей-то смертью, но рады, что это уже позади; где все улыбаются — и, однако, убиты горем.

Особый комитет съехал на берег и нанес визит его превосходительству генерал-губернатору, дабы узнать нашу судьбу. Три часа нетерпеливого ожидания и неизвестности, и вот они вернулись и сообщили, что император примет нас завтра в полдень, пришлет за нами экипажи и самолично выслушает адрес. Кроме того, мы получили приглашение посетить дворец великого князя Михаила. Каждому было ясно, что нам дают понять, сколь искренни дружеские чувства России к Америке, если уж даже частных лиц удостоивают такого любезного приема.

Мы проехали в экипажах три мили и в назначенный час собрались в прекрасном саду, перед императорским дворцом.

Мы стали в круг под деревьями у самых дверей, ибо в доме не было ни одной комнаты, где можно было бы без труда разместить больше полусотни человек; через несколько минут появился император с семейством; раскланиваясь и улыбаясь, они вошли в наш круг. С ними вышло несколько первых сановников империи, но не в парадных мундирах. Каждый поклон его величество сопровождал радушными словами. Я воспроизведу его слова. В них чувствуется характер, русский характер: сама любезность, и притом неподдельная. Француз любезен, но зачастую это лишь официальная любезность. Любезность русского идет от сердца, это чувствуется и в словах и в тоне, — поэтому веришь, что она искренна. Как я уже сказал, царь перемежал свои слова поклонами.

— Доброе утро... Очень рад... Весьма приятно... Истинное удовольствие... Счастлив видеть вас у себя!

Все сняли шляпы, и консул заставил царя выслушать наш адрес. Он стерпел это не поморщившись, затем взял нашу нескладную бумагу и передал ее одному из высших офицеров для отправки ее в архив, а может быть и в печку. Он поблагодарил нас за адрес и сказал, что ему очень приятно познакомиться с нами, особенно потому, что Россию и Соединенные Штаты связывают узы дружбы. Императрица сказала, что в России любят американцев, и она надеется, что в Америке тоже любят русских. Вот и все речи, какие были тут произнесены, и я рекомендую их как образец краткости и простоты всем начальникам полиции, когда они награждают полисменов золотыми часами. Потом императрица запросто (для императрицы) беседовала с дамами; несколько джентльменов затеяли довольно бессвязный разговор с императором; князья и графы, адмиралы и фрейлины непринужденно болтали то с одним, то с другим из нас, а кто хотел, тот выступал вперед и заговаривал с маленькой скромной великой княжной Марией, царской дочерью. Ей четырнадцать лет, она светловолоса, голубоглаза, застенчива и миловидна. Говорили все по-английски.

На императоре была фуражка, сюртук, панталоны — все из какой-то гладкой белой материи, бумажной или полотняной, без всяких драгоценностей, без орденов и регалий. Трудно представить себе костюм, менее бросающийся в глаза. Император высок, худощав, выражение лица у него решительное, однако очень приятное. Нетрудно заметить, что он человек добрый и отзывчивый. Когда он снимает фуражку, в лице его появляется какое-то особенное благородство. В его глазах нет и следа той хитрости, которую все мы заметили у Луи-Наполеона.

На императрице и великой княжне были простые фуляровые платья (а может быть, и из шелкового фуляра — я в этом не разбираюсь) в голубую крапинку и с голубой отделкой; на обеих — широкие голубые пояса, белые воротнички, скромные муслиновые бантики у горла; соломенные шляпы с низкими тульями, отделанные голубым бархатом, небольшие зонтики и телесного цвета перчатки. На великой княжне — туфли без каблучков. Об этом мне сказала одна из наших дам, сам я не заметил, так как не смотрел на ее туфли. Я с удовольствием увидел, что волосы у нее свои, а не накладные, заплетены в тугие косы и уложены на затылке, а не падают беспорядочной гривой, которую принято называть «водопадом» и которая так же похожа на водопад, как окорок на Ниагару. Глядя на доброе лицо императора и на его дочь, чьи глаза излучали такую кротость, я подумал о том, какое огромное усилие над собою пришлось бы, верно, сделать царю, чтобы обречь какого-нибудь преступника на тяготы ссылки в ледяную

Сибирь, если бы эта девочка вступилась за него. Всякий раз, когда их взгляды встречались, я все больше убеждался, что стоит ей, такой застенчивой и робкой, захотеть, и она может забрать над ним огромную власть. Сколько раз ей представляется случай управлять самодержцем всея Руси, каждое слово которого закон для семидесяти миллионов человек! Она просто девочка, я видел таких сотни, но никогда еще ни одна из них не вызывала во мне такого жадного интереса. В наших скучных буднях новые, непривычные ощущения — редкость, но на сей раз мне посчастливилось. Все здесь вызывало мысли и чувства, в которых ничто еще не поблекло, ничто не приелось. Право же, странно, более чем странно сознавать, что вот стоит под деревьями человек, окруженный кучкой мужчин и женщин, и запросто болтает с ними, человек как человек, — а ведь по одному его слову корабли пойдут бороздить морскую гладь, по равнинам помчатся поезда, от деревни к деревне поскачут курьеры, сотни телеграфов разнесут его слова во все уголки огромной империи, которая раскинулась на одной седьмой части земного шара, и несметное множество людей кинется исполнять его приказ. У меня даже было смутное желание лучше разглядеть его руки, чтобы убедиться, что он, как все мы, из плоти и крови. Вот он передо мной — человек, который может творить такие чудеса, — и однако, если я захочу, я могу сбить его с ног. Дело простое, и все же явно ни с чем не сообразное, — все равно что опрокинуть гору или стереть с лица земли целый континент. Подверни он ногу, и телеграф понесет эту весть над горами и долами, над необитаемыми пустынями, по дну морскому, и десять тысяч газет раззвонят об этом по всему свету; заболит он тяжело — и не успеет еще заняться новый день, а во всех странах уже будут знать об этом; упади он сейчас бездыханный — и от его падения закачаются троны полумира! Если бы я мог украсть его сюртук, я не колебался бы ни секунды. Когда я встречаю подобного человека, мне всегда хочется унести что-нибудь на память о нем.

Мы уже привыкли, что дворцы нам показывает какой-нибудь ливрейный лакей, весь в бархате и галунах, и требует за это франк, но, побеседовав с нами полчаса, император всероссийский и его семейство сами провели нас по своей резиденции. Они ничего не спросили за вход. По-видимому, им доставляло удовольствие показывать нам свои покои.

Полчаса мы бродили по дворцу, восхищаясь уютными покоями и богатой, но совсем не парадной обстановкой; и наконец царская фамилия сердечно распрощалась с нами и отправилась считать серебряные ложки.

Мы получили приглашение посетить расположенный по соседству дворец цесаревича, наследника русского престола. Сам он был в отъезде,

но князя, графини, графы — так же непринужденно, как император в своем дворце, — показали нам его апартаменты, ни на минуту не прерывая оживленной беседы.

Шел второй час. Великий князь Михаил еще прежде пригласил нас в свой дворец, находящийся в миле от царского ^[152], и мы отправились туда. Дорога отняла у нас всего двадцать минут. Здесь прелестно. Красивый дворец со всех сторон обступают могучие деревья старого парка, раскинувшегося среди живописных утесов и холмов; отсюда открывается широкий вид на покрытое рябью море. По всему парку в укромных тенистых уголках расставлены простые каменные скамьи; тут и там струятся прозрачные ручейки, а озерца с поросшими шелковистой травой берегами так и манят к себе; сквозь просветы в густой листве сверкают и блещут прохладные фонтаны, — они устроены так искусно, что бьют, кажется, прямо из стволов могучих деревьев; миниатюрные мраморные храмы глядят вниз с серых древних утесов; из воздушных беседок открывается широкий вид на окрестности и на морской простор. Дворец построен в стиле лучших образцов греческой архитектуры, великолепная колоннада охватывает внутренний двор, обсаженный редкостными благоухающими цветами, а посередине бьет фонтан — он освежает жаркий летний воздух и, может быть, разводит комаров, а пожалуй, что и нет.

Великий князь с супругой вышли нам навстречу, и церемониал представления был так же прост, как у императора. Через несколько минут беседа снова потекла как по маслу. На веранде появилась императрица, а великая княжна вошла в толпу гостей. Они приехали сюда раньше нас. Еще через несколько минут прибыл верхом и сам император. Это было очень приятно. Вы вполне оцените такое внимание, если вам случалось бывать в гостях у монархов и чувствовать, что вы, пожалуй, успели надоесть хозяину, — впрочем, я полагаю, столь высокие особы не стесняясь отделаются от вас, когда вы им больше не будете нужны.

Великий князь Михаил — третий по старшинству брат императора, ему лет тридцать семь, и у него такая царственная наружность, как ни у кого в России. Ростом он выше самого императора, прямизною стана настоящий индеец, а осанкой напоминает одного из тех гордых рыцарей, что знакомы нам по романам о крестовых походах. По виду это человек великодушный — он в два счета столкнет в реку своего врага, но тут же и сам прыгнет за ним и, рискуя жизнью, выудит его на берег. Судя по рассказам, он смел и у него благородная натура. Он, видно, хотел показать нам, что американцы — желанные гости русской императорской семьи, ибо всю дорогу от Ялты до царского дворца он сопровождал нас верхом, выс-

лал вперед своих адъютантов, приказав им позаботиться, чтобы ничто не помешало нашему проезду, и всякий раз, когда в том была надобность, спешил предложить свою помощь. Мы обращались с ним запросто, так как еще не знали, кто он такой. Теперь мы узнали его, оценили и его дружеское расположение и оказанное нам покровительство, чего мы, без сомнения, не дождались бы ни от одного великого князя в целом свете. Он мог послать с нами любого из своих бесчисленных приближенных, но предпочел взять этот труд на себя.

На великом князе был красивый яркий мундир казачьего офицера, на великой княгине — белое платье из альпака, отделанное черной зубчатой тесьмой, и серая шляпка с серым пером. Она молода и миловидна, скромна и без претензий, и притом обаятельно любезна.

Нас провели по всему дому, потом в сопровождении титулованных особ мы обошли весь парк и наконец, около половины третьего, вернулись во дворец завтракать. У них это называется завтраком, но по-нашему — это холодная закуска. Нам подали вино двух сортов, чай, хлеб, сыр, холодное мясо, и все это сервировали на столах посреди гостиной и на верандах — всюду, где было удобно. Трапеза прошла без всяких церемоний. Это было нечто вроде пикника. Я еще раньше слышал, что нас собираются угощать завтраком, но Блюхер уверял меня, что это сын Бэйкера надоумил его императорское высочество. Едва ли, хотя это очень на него похоже. По милости Бэйкера-младшего все мы на корабле живем под страхом голодной смерти: он вечно голоден. Говорят, он ходит по каютам в отсутствие хозяев и пожирает все мыло. Говорят, он ест даже паклю. Говорят, в часы досуга он не брезгует ничем, но всему предпочитает паклю. За обедом он обходится без пакли, но на закуску или когда он ничем не занят — только подавай. Разговаривать с ним неприятно, его дыхание отдает горечью, и на зубах налип вар. Мальчишка, конечно, мог попросить, чтобы нас покормили завтраком, но я все-таки надеюсь, что он этого не делал. Как бы там ни было, все сошло гладко. Высокородный хозяин переходил от группы к группе, помогал справляться с угощением и не давал угаснуть беседе, а великая княгиня поддерживала разговор с теми, кто устроился на веранде или, насытившись, покидал гостиную.

Княжеский чай был отменно хорош. В него выжимали лимон или подливали ледяного молока — кому как нравилось. С лимоном вкуснее. Чай привозят из Китая сушей, морское путешествие ему вредно.

Когда пришло время уходить, мы распрощались с нашими высокопоставленными хозяевами, и они, счастливые и довольные, отправились пересчитывать свои серебряные ложки.

Мы провели в гостях у царских особ добрых полдня и чувствовали себя все время так же легко и непринужденно, как на нашем корабле. А я-то был уверен, что в императорском дворце разгуляешься не больше, чем в лоне Авраамовом. Я думал, что императоры люди страшные. Я думал, они только и делают, что восседают на тронах, увенчанные великолепными коронами, в красных бархатных халатах с нашитыми на них горностаевыми хвостиками, и хмурым взглядом озирают своих приближенных и подданных и посылают на казнь великих князей и княгинь. Однако, когда мне посчастливилось проникнуть за кулисы и посмотреть на них дома, в кругу семьи, оказалось, что они до удивления похожи на простых смертных. Дома они куда приятнее, чем во время пышных приемов. Одеваться и вести себя, как все, для них так же естественно, как для любого из нас положить себе в карман карандаш, который мы на минутку взяли у приятеля. Но отныне я уже не смогу верить в сверкающих мишурой театральных королей. И это очень прискорбно. Бывало, при их появлении я так восхищался. Но теперь я лишь отвернусь печально и промолвлю:

— Нет, не то... не те это короли, в обществе которых я привык вращаться.

Когда, напыщенные и важные, они будут шествовать по сцене в сверкающих алмазами коронах и в пышных одеждах, я вынужден буду заметить, что все монархи, с которыми я знаком, носили самое обыкновенное платье и не шествовали, а ходили. А когда они появятся на сцене, со всех сторон окруженные телохранителями-статистами в шлемах и жестяных нагрудниках, моя святая обязанность будет довести до сведения невежд, — и я с удовольствием сделаю это, — что ни возле моих знакомых коронованных особ, ни в их домах я никогда не видел солдат.

Могут подумать, что мы слишком засиделись в гостях или вообще вели себя неподобающим образом, но ничего такого не произошло. Все чувствовали ответственность, возложенную на нас этой необычной миссией, — ведь мы представляли не правительство Америки, а ее народ, — поэтому каждый из всех сил старался как можно лучше исполнить этот высокий долг.

Со своей стороны царская фамилия несомненно считала, что, принимая нас, она может выказать свое отношение к народу Америки куда лучше, чем если бы осыпала любезностями целый взвод полномочных послов; и потому они со всем вниманием отнеслись к этому приему, который должен был знаменовать их доброе расположение и дружеские чувства к нашей стране. И мы так и поняли их приветливость, поняли, что она адресована не лично нам. Но не скрою, каждый из нас был исполнен

гордости оттого, что его принимают как представителя нации; и без сомнения, каждый гордился своей страной, гражданам которой здесь оказывают столь радушный прием.

С тех самых пор, как мы бросили якорь в Ялте, наш поэт вынужден был наложить печать молчания на уста свои. Сперва, когда стало известно, что нас примет русский император, его красноречие забило фонтаном, и он круглые сутки обрушивал на нас несусветный вздор. Если раньше мы тревожились, не зная, как держаться и что делать с собой, то тут нами овладела иная тревога: что делать с нашим поэтом. В конце концов мы решили эту задачу. Мы предложили ему выбор: либо он поклянется страшной клятвой, что не произнесет ни единой строчки своих стихов, пока мы находимся в царских владениях, либо останется под стражей на борту, пока мы не вернемся в Константинополь. Он долго не хотел примириться с этим, но наконец сдался. Мы вздохнули с облегчением. Быть может, свирепый читатель захочет познакомиться с образчиком его творчества? Я никого не хочу обидеть этим эпитетом. Я употребил его лишь потому, что обращение «благодарный читатель» давно приелось и любая замена, по-моему, будет приятным разнообразием.

Помилуй и сохрани нас и последи засим,
Чтоб сладко мы ели и пили по дороге в Иерусалим.
Человек ведь предполагает, и так тому быть как раз,
А время ждать не станет никого — и даже нас.

Море весь день было непривычно бурное. Однако это не помешало нам приятно провести время. Посетители наводнили наш корабль. Приехал генерал-губернатор, и мы салютовали ему девятью выстрелами. Он явился в сопровождении своего семейства. По пути его следования — от кареты до мола — расстелили ковры, хотя я уже видел, что, когда он был не при исполнении служебных обязанностей, он прекрасно обходился без всяких ковров. Быть может, подумал было я, он навел на свои башмаки какой-нибудь сверхъестественный глянец и хочет во что бы то ни стало сохранить его? Но я смотрел с пристрастием и не заметил, чтобы они сияли больше обычного. А может быть, в прошлый раз он просто позабыл захватить с собой ковер, во всяком случае он обошелся без него. Генерал-губернатор чрезвычайно приятный старый джентльмен; он всем нам понравился, особенно Блюхеру. Когда он прощался с нами, Блюхер просил его снова побывать у нас и непременно прихватить с собой ковер.

К нам приехал и князь Долгорукий с двумя высшими офицерами флота, которых мы видели вчера на приеме. Поначалу я был с ними довольно холоден, ибо, раз уж я бываю у императоров, мне не пристало держаться чересчур фамильярно с людьми, о которых я знаю только понаслышке и с чьим нравственным обликом и положением в обществе не имею возможности досконально ознакомиться. Итак, на первых порах я считал за благо быть посдержаннее. Князя, графы, адмиралы — все это очень хорошо, сказал я себе, но ведь они не то, что императоры, а разборчивость в знакомствах никогда не помешает.

Приехал и барон Врангель. Одно время он был русским послом в Вашингтоне. Я рассказал ему о своем дядюшке, который в прошлом году упал в шахту и переломился пополам. Это чистейшая выдумка, но я не мог позволить себе только из-за недостатка изобретательности спастись перед первым встречным, который на манер Мюнхгаузена будет хвастаться передо мной своими поразительными приключениями. Барон очень приятный человек и, по слухам, пользуется величайшим доверием и уважением императора.

Среди гостей был и барон Унгерн-Штернберг, шумный старый вельможа, душа нараспашку. Это деятельный, предприимчивый человек, сын своего времени. Он главный директор русских железных дорог — в некотором роде железнодорожный король. Благодаря его энергии Россия в этой области достигла прогресса. Он много путешествовал по Америке. Говорит, что очень успешно использует на своих дорогах труд каторжников. Они работают хорошо, ведут себя тихо и мирно. Теперь у него работают около десяти тысяч каторжников. Я воспринял это как новый вызов моей находчивости и не ударил лицом в грязь. Я сказал, что в Америке на железных дорогах работают восемьдесят тысяч каторжников — все приговоренные к смертной казни за убийство с заранее обдуманной намерением. И пришлось ему прикусить язык. Нас посетил и генерал Тотлебен (знаменитый защитник осажденного Севастополя) и множество менее высоких армейских и флотских чинов, а также немало неофициальных гостей — русских дам и господ. К завтраку, разумеется, подали шампанское, но человеческих жертв не было. Тостам и шуткам не было конца, однако речей не произносили, если не считать той, в которой благодарили генерал-губернатора, а в его лице царя и великого князя, за гостеприимство, и ответного слова генерал-губернатора, в котором он от лица царя благодарил за эту речь, и пр. и пр.

**Глава XI. Возвращение в Константинополь. —
Наш визит к императору в изображении
матросов. — Древняя Смирна. — Восточное
великолепие — обман. — Пророчества ученых
паломников. — Обходительные армянские
девушки.**

Мы вернулись в Константинополь и, проведя день-два в утомительных хождениях по городу и поездках в каиках по Золотому Рогу, пошли дальше. Мы миновали Мраморное море и Дарданеллы и направились к новым землям — во всяком случае, новым для нас — к берегам Азии. До сих пор знакомство у нас с ней было только шапочное, во время очень приятных поездок в Скутари и по его окрестностям.

Мы прошли между Лемносом и Митиленой и разглядели их не лучше, чем Эльбу и Балеарские острова, — едва видимые сквозь нависшую над ними дымку, они казались нам издали двумя огромными, маячащими в тумане китами. Отсюда мы повернули на юг и принялись изучать по путеводителям прославленную Смирну.

А на баке матросы день и ночь забавлялись и изводили нас, разыгрывая в лицах наш визит к императору. Наш адрес императору начинался так:

«Мы — горсточка частных граждан Америки, путешествующих единственно ради собственного удовольствия, скромно, как и приличествует людям, не занимающим никакого официального положения, и потому ничто не оправдывает нашего появления перед лицом вашего величества, кроме желания лично выразить признательность властителю государства, которое, по свидетельству доброжелателей и недругов, всегда было верным другом нашего любимого отечества».

Третий помощник кока, увенчанный блестящей жестяной миской и царственно задрапированный в скатерть, сплошь усеянную сальными и кофейными пятнами, держа в руках скипетр, до странности похожий на скалку, прошепствовал по ветхому ковру и взгромоздился на якорную лебедку, не обращая внимания на обдававшие его брызги, а камергеры, князья и адмиралы, перемазанные смолой, с обветренными загорелыми лицами, окружили его, вырядившись со всем шиком, какой только может

быть достигнут при помощи лоскутов брезента и отрывков старых парусов. Потом, соорудив на скорую руку некое подобие «водопадов», кринолинов, белых лайковых перчаток и фраков, свободные от вахты матросы превратились в малопривлекательных красавиц и неуклюжих паломников, с важностью поднялись по трапу и, низко кланяясь, стали расплываться в таких немислимых, в таких замысловатых улыбках, которые свели бы в гроб любого монарха. Потом перемазанный с головы до пят палубный матрос, изображавший консула, вытащил какой-то грязный клочок бумаги и принялся по складам читать:

«Его императорскому величеству, Александру II, русскому императору: Мы — горсточка частных граждан Америки, путешествующих единственно ради собственного удовольствия, скромно, как и приличествует людям, не занимающим никакого официального положения, и потому ничто не оправдывает нашего появления перед лицом вашего величества...»

Император. Так за каким чертом вы сюда пожаловали?

«...кроме желания лично выразить признательность властителю государства, которое...»

Император. А ну вас с вашим адресом... Прочтите его полиции. Господин камергер, отведите этих людей к моему брату, великому князю, да накормите получше. Адью! Я счастлив... Я весьма рад. Я в восторге... Вы мне надоели. Адью, адью... Убирайтесь! Первый царский казначей пусть проверит, все ли серебряные ложки целы.

На этом представление заканчивается, но когда сменяется вахта, все начинается сначала, причем каждый раз спектакль обрastaет новыми выдумками и остротами. С утра до ночи только и слышишь избранные места из всем надоевшего адреса. Обожженные солнцем матросы спускаются с верхней площадки фокмачты и скромно рекомендуются «горсточкой частных граждан Америки, путешествующих единственно ради собственного удовольствия» и т. д., хлопочущие у топок в недрах корабля кочегары, словно извиняясь за свои черные лица и неказистую одежду, просят не забывать, что они горсточка частных граждан Америки, путешествующих единственно ради собственного удовольствия и т. д., и когда в полночь на корабле раздается крик: «Восемь склянок! Вахтенные левого борта, подъем!» — вахтенные левого борта, зевая и потягиваясь, появляются на палубе все с той же неизменной присказкой: «Есть, есть, сэр! Мы — горсточка частных граждан Америки, путешествующих единственно ради собственного удовольствия, скромно, как и приличествует людям, не занимающим никакого официального

положения...»

Так как я был членом комитета, составлявшего адрес, эти насмешки глубоко уязвляли меня. И всякий раз, как я слышал, что какой-нибудь матрос объявляет себя горсточкой частных граждан Америки, путешествующих единственно ради собственного удовольствия, я от души желал ему свалиться за борт, чтоб в его горсточке стало хоть одним гражданином меньше. Никогда еще ни одна фраза не была мне так ненавистна, как начало этого адреса императору! — и все по милости наших матросов.

В портовом городе Смирне, где началось наше знакомство с достопримечательностями Азии, сто тридцать тысяч жителей; дома в нем тесно лепятся друг к другу; и, так же как в Константинополе, здесь нет пригородов. На окраинах, как и в центре, жилища жмутся одно к одному, и за последними домами сразу начинается голая, без всяких построек, равнина. Смирна ничем не отличается от других городов Востока. Иными словами, жилища мусульман и здесь темны, мрачны и неуютны, как могилы; улицы кривые, мощенные нетесаным камнем и узкие, как черная лестница! Они постоянно увлекают вас не туда, куда вам нужно, и выводят на самые неожиданные места; почти вся торговля сосредоточена на больших крытых базарах, где, как ячейки в сотах, лепятся друг к другу бесчисленные лавчонки, каждая не больше самого обыкновенного чулана, и весь этот улей прорезан сетью узких проходов, по которым с трудом протискивается навьюченный верблюд и которые словно только для того и существуют, чтобы чужестранец окончательно сбился и запутался; всюду грязь, блохи, тощие, унылые псы; всюду толпится народ; куда ни взглянешь — всюду, как на каком-то буйном маскараде, самые нелепые наряды; двери лавок распахнуты, и с улицы видны мастеровые за работой; от многоголосого нестройного шума звенит в ушах; и все звуки перекрывает крик муэдзина, который с высокого минарета призывает к молитве правоверных бездельников; но сильнее чем призывы к молитве, и уличный шум, и диковинные одежды, вас поразит и запомнится вам на всю жизнь букет магометанских ароматов, по сравнению с которым даже дух китайского квартала покажется сладостным, точно благоухание зажаренного тельца, щекочущие ноздри блудного сына. Вот она восточная роскошь, вот оно восточное великолепие! Мы всю жизнь читаем о них, но постичь их можно, лишь увидев собственными глазами. Смирна очень древний город. Он не раз упоминается в Библии, в нем побывали один-два апостола, и здесь стояла одна из семи церквей, о которых говорится в апокалипсисе. В Священном Писании символом этих церквей служат семь светильников, и предначертано, что Смирне будет дан «венеч жизни», но

при одном условии. А условие гласит: «быть верной до смерти». Смирна не сохранила непоколебимой веры, но паломники, посещающие ее, считают, что она лишь чуть-чуть погрешила против этого условия, ведь недаром она теперь носит венец жизни: она стала большим городом, здесь процветает торговля, кипит деятельность, в то время, как другие города, в которых стояли остальные шесть церквей и которым не был обещан венец жизни, исчезли с лица земли. С деловой точки зрения Смирна и в самом деле все еще владеет венцом жизни. За восемнадцать столетий счастье попеременно то улыбалось ей, то изменяло, ею правили государи, исповедовавшие самые разные веры, но, насколько нам известно, в ней все это время (за исключением тех периодов, когда она оставалась совсем безлюдной) сохранялась хотя бы небольшая община христиан, «верных до смерти». Смирнская церковь единственная, которой апокалипсис не сулит никаких бед, и, единственная из всех, она стоит по сей день.

Судьба Эфеса, расположенного в сорока милях отсюда, где стояла вторая из этих церквей, сложилась по-иному. «Светильник» был удален из города. Огонь его погашен. Паломники, всегда готовые находить в Библии пророчества, даже когда их там и нет, бодро и с удовлетворением говорят, что несчастный, разрушенный Эфес пал жертвой пророчества. А ведь в Библии нигде прямо, без оговорок, не предсказывается разрушение Эфеса. Вот что там говорится:

Итак, вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься.

И больше ничего, а все прочие стихи чрезвычайно лестны для Эфеса. Угроза смягчена оговорками. Ведь никто не может доказать, что Эфес не покался. Но у современных ученых пророков есть жесточайший обычай без всякого стеснения оделять пророчествами не тех, кому они предназначены. Делают они это, не считаясь с логикой и очевидными фактами. Оба случая, о которых я только что рассказал, прекрасные тому примеры. «Пророчества» совершенно явно направлены против «церквей Эфесской, Смирнской» и так далее, и, однако, паломники упорно относят их к самим городам. Венец жизни был обещан не Смирне и ее торговле, но горсточке христиан, составлявших ее «церковь». Если они были верны до смерти, они уже получили свой венец, но что касается самого города — никакая верность даже вкупе с ухищрениями крючкотворов не в силах одарить его благами, обещанными пророчеством. Торжественные слова

Библии говорят о венце жизни, который не померкнет под солнцем долгие века, вечность, а не краткий день, отпущенный городу, что построен руками человеческими и вместе со своими строителями обратится в прах и будет забыт еще прежде, чем истечет ничтожный срок, отпущенный нашему миру от колыбели до могилы.

Выискивать исполнение пророчества там, где вместо него одни только если бы да кабы, чистейшая нелепица. Предположим, что через тысячу лет на месте неглубокой гавани Смирны образуется малярийное болото или что-нибудь иное погубит город; предположим далее, что примерно за то же время гнилое болото, которое затянуло прославленную эфесскую гавань и превратило цветущий город в мертвую пустыню, станет твердой почвой, благоприятной для жизни; предположим, что все пойдет естественным ходом, а именно: Смирна превращается в унылые развалины, а Эфес восстает из праха. Что тогда станут говорить ученые пророки? Они без всякого стеснения скинут со счетов наше время и скажут: «Смирна не была верна до смерти, и ей отказано в венце жизни; Эфес покался, и взгляните — светильник не был сдвинут с места его. Смотрите и уверуйте, как чудесно сбылось пророчество!»

Шесть раз Смирна была сравнена с землей. Если бы вместо «венца жизни» она обладала страховым полисом, она бы уже давно успела получить по нему. Но она продолжает владеть венцом жизни, пользуясь тем, что грамматика позволяет по-разному толковать слова пророка, которые на самом деле к ней и не относятся. Должно быть, всякий раз объявлялся какой-нибудь любитель пророчеств и, к величайшему негодованию Смирны и ее жителей, изрекал: «Дивитесь! Сбылось пророчество! Смирна не была «верна до смерти», и вот — венец жизни упал с ее главы. Истинно говорю вам — это достойно изумления!»

Подобные примеры плохо влияют на людей. Они побуждают неуважительно говорить о священных предметах. Тупоголовые истолкователи Библии и безмозглые проповедники и учителя наносят больший ущерб религии, чем при всем старании могут возместить здравомыслящие, благонамеренные священники. Не слишком разумно присуждать венец жизни городу, который разрушали шесть раз. А те мудрецы, которые выворачивают пророчество наизнанку, уверяя, что город обречен гибели и запустению, поступают ничуть не умнее, ибо, к несчастью для них, Смирна сейчас процветает. Все это только льет воду на мельницу неверия.

Значительная часть города безраздельно принадлежит туркам, евреи живут в своих особых кварталах, франки в своем, также и армяне.

Последние, разумеется, исповедуют христианскую веру. Дома у них большие, чистые, просторные, полы красиво выложены черными и белыми мраморными плитами, во многих есть внутренние дворики с великолепным цветником и искрящимся на солнце фонтаном, куда выходят двери всех комнат. Просторная прихожая ведет к парадной двери, и здесь женщины проводят чуть ли не весь день. Когда спадает дневной зной, они наряжаются в свои лучшие одежды и появляются в дверях. Все они милостивые, необыкновенно чистенькие и опрятные, и вид у них такой, будто их только что вынули из коробки. Некоторые молодые женщины — я бы даже сказал многие — очень красивы; как правило, они чуть-чуть красивее американок, — да простится мне эта антипатриотическая похвала. Они очень общительны, отвечают улыбкой на улыбку незнакомца, кланяются в ответ на его поклон и не прочь поболтать, когда с ними заговаривают. Церемонных представлений не требуется. Завязать беседу у дверей с хорошенькой девушкой, которую видишь в первый раз, очень легко и весьма приятно. Я знаю это по собственному опыту. Я говорю только по-английски, а моя собеседница изъяснялась то ли по-гречески, то ли по-армянски, то ли еще на каком-то столь же варварском наречии, но это нам нисколько не мешало. Я убедился, что, если в подобных случаях люди не понимают друг друга, беда невелика. В русском городе Ялте я целый час танцевал удивительный танец, о котором никогда прежде не слыхал, с прелестной девушкой; мы болтали без умолку, от души хохотали, и при этом ни один из нас не понимал, куда гнет другой. Но какое это было удовольствие! Танцевало двадцать человек, и танец был очень быстрый и сложный. Он и без меня был далеко не прост, а уж при моем участии и говорить нечего. Время от времени, ко всеобщему изумлению, я откалывал самые неожиданные коленца. Я до сих пор вспоминаю эту девушку. Я писал к ней, но все еще не отправил свое послание, ибо у нее, как это положено в России, замысловатое имя в добрый десяток слогов и на него не хватит букв в нашем алфавите. Наяву я не отваживаюсь произнести его, но во сне пускаюсь во все тяжкие и просыпаюсь по утрам со сведенной челюстью. Я чахну. Я уже перестал вовремя обедать и ужинать. Ее сладостное имя все еще преследует меня по ночам. Об него все зубы можно обломать. Слетая с моих уст, оно всякий раз уносит с собой какой-нибудь обломок. И тут еще сводит судорогой челюсть и последние слог-другой так и остаются во рту, но на вкус они недурны.

Когда мы шли Дарданеллами, мы следили в подзорные трубы за караванами верблюдов, но вблизи не видели ни одного, пока не добрались до Смирны. Здешние верблюды куда крупнее, чем их хилые собратья,

которых нам показывают в зверинце. Тяжело навьюченные, они шагают по тесным улицам гуськом, по десятку в каждом караване, а впереди на ослике, крохотный и незаметный по сравнению с этими великанами, едет негр в живописном турецком костюме или араб. Караван верблюдов, груженных пряностями Аравии и редкостными персидскими шелками, шествующий по узким базарным рядам среди носильщиков с громоздкой кладью, менял, продавцов фонариков, торговцев стеклянной посудой, дородных турков, которые, скрестив ноги, покуривают знаменитый наргиле, среди неторопливого потока людей в причудливых азиатских одеждах, — это и есть настоящий Восток.

К этой картине нечего прибавить. Она мгновенно переносит вас в давно забытое отрочество, и вот вы вновь погружаетесь в чудеса «Тысячи и одной ночи»; вы снова среди принцев, как повелитель калиф Гарун-аль-Рашид, и вам покорны грозные великаны и джинны, которые появляются из дыма при блеске молний и раскатах грома и исчезают в ревущем урагане!

Глава XII. Достопримечательности Смирны. — Мученик Поликарп. — «Семь церквей». — Остатки шести Смирн. — Загадочные залежи устриц. — Здешние Миллеры. — Железная дорога в непривычной обстановке.

Нам сказали, что достопримечательности Смирны — это прежде всего развалины древней крепости, чьи полуразрушенные гигантские башни хмуро глядят с высокой горы на город, лежащий у самого ее подножия (это и есть гора Пагус, о которой говорится в священном писании); затем — место, где в первом веке христианской эры стояла одна из семи апокалипсических церквей; и наконец — могила великомученика Поликарпа, который около восемнадцати столетий тому назад здесь, в Смирне, пострадал за веру.

Мы наняли осликов и пустились в путь. Посмотрев могилу Поликарпа, мы поспешили дальше.

Теперь на очереди были «семь церквей», как здесь выражаются для краткости. Мы добрались туда вконец измученные, проделав полторы мили под палящим солнцем, и осмотрели греческую церквушку, которая, говорят, построена на месте древней церкви; за скромное вознаграждение священнослужитель оделил нас маленькими восковыми свечками в память о пребывании здесь; я спрятал свою свечку в шляпу, но солнце растопило ее, воск потек мне за воротник, и остался мне на память один фитиль, да и тот жалкий, съезжившийся.

Кое-кто из нас как умел старался доказать, что «церковь», о которой сказано в Библии, — это христианская община, а не здание, что те христиане были очень бедны, — столь бедны и столь гонимы (пример — мученичество Поликарпа), что, во-первых, им не на что было построить церковь, а во-вторых, они никогда не осмелились бы строить ее у всех на виду; и наконец, если уж у них была бы возможность построить ее, всякому здравомыслящему человеку ясно, что они возвели бы ее поближе к городу. Но старейшины «Квакер-Сити» не приняли во внимание наши доводы, за что возмездие и не миновало их. Немного погодя они убедились, что были введены в заблуждение и сбились с пути, — как оказалось, место, на котором, по общему мнению, стояла настоящая церковь, находится в самом

городе.

Проезжая по улицам, мы видели остатки всех шести Смирн, которые некогда существовали здесь и либо погибли в пламени пожаров, либо были разрушены до основания землетрясением. Горы и скалы там и тут в трещинах и расселинах, раскопки обнажают остатки каменных зданий, которые веками были погребены под землей; жалкие домишки и ограды сегодняшней Смирны, мимо которых мы проезжали, испещрены белыми пятнами мрамора, — на их постройку пошли обломки колонн, капителей, осколки изваяний, украшавших пышные дворцы, которыми некогда славилась Смирна.

Подъем в гору к крепости очень крут, и мы двигались медленно. Но зато здесь было на что посмотреть. В одном месте, в пятистах футах над уровнем моря, дорога проходит вдоль отвесной стены в десять — пятнадцать футов высотой, и на обнаженном срезе видны три жилы устричных раковин, — точь-в-точь как кварцевые жилы на горных дорогах Невады или Монтаны. Жилы эти, дюймов по восемнадцать толщиной, расположены в двух-трех футах друг от друга и тянутся наискось сверху вниз футов на тридцать, до того места, где стена смыкается с дорогой. Если начать разрабатывать жилу, одному Богу известно, куда она заведет. Раковины большие, красивые, — словом, самые обыкновенные устричные раковины. Все они лежат плотным слоем, и ни одна не выступает за пределы жилы. Все три жилы очень четко очерчены и не имеют никаких ответвлений. Мне тут же захотелось написать обычную в таких случаях —

Заявку

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем свое право на пять участков (и один за открытие), в двести футов каждый, по устричной жиле, или залежи, со всеми ее сбросами, пластами, ответвлениями и изгибами, а также на пятьдесят футов по обе стороны от вышеозначенного месторождения — на предмет разведки, разработок и пр. и пр., согласно приисковым законам, действующим в Смирне.

С виду это были самые настоящие залежи, и мне стоило большого труда не застолбить их. Меж устричных раковин здесь и там попадались черепки древней глиняной посуды. Но как могли попасть сюда все эти устрицы? Понять не могу. Обломки глиняной посуды и устричные

раковины наводят на мысль о ресторане, но, с другой стороны, в наше время никто не стал бы открывать подобное заведение так далеко от жилья, да еще на высокой горе. В этой унылой каменной пустыне ресторан просто не окупил бы себя. А кроме того, мы не увидели среди раковин ни одной пробки от шампанского. Если тут когда-нибудь и был ресторан, то разве что в дни расцвета Смирны, когда повсюду на этих горах блистали богатые дворцы. В таком случае я могу поверить, что здесь был один ресторан. Но три? Может быть, у них тут стояли рестораны в три разные эпохи? Ведь между устричными жилами залегает плотный слой земли в два-три фута толщиной. Нет, видно ресторанный гипотеза отпадает.

Быть может, когда-нибудь эта гора была морским дном и во время землетрясения она поднялась вместе со своими устричными залежами, — но откуда же тогда взялись черепки? Более того, откуда же тогда не одна, а три устричных залежи, отделенные друг от друга толстыми пластами доброй, честной земли?

Итак, эта теория не годится. Тогда, может, это и есть та самая гора Арарат, на которой покоился Ноев ковчег? Ной ел устрицы, а раковины бросал за борт. Но нет, и это не годится. Ведь устричных-то слоев три, а между ними земля; и кроме того, семейство Ноя состояло всего лишь из восьми человек, и за те два-три месяца, что они провели на вершине горы, им нипочем было не съесть столько устриц. Уж не твари ли?.. Впрочем, смешно и думать, чтобы Ной сваял такого дурака и стал подавать им на ужин устрицы.

Это обидно, это просто унижительно, но мне ничего не остается, кроме весьма шаткой теории: что устрицы сами, по доброй воле, взобрались сюда. Но зачем? Что им здесь понадобилось? Чего ради устрица вдруг полезет на гору? Ведь для нее это конечно же весьма тяжелое и утомительное путешествие. Всего естественней было бы предположить, что устрицы влезли сюда, чтобы полюбоваться видом. Но когда поразмыслишь над характером устрицы, становится ясно, что ее вряд ли интересуют красивые виды, у нее нет вкуса к подобным вещам, ей нет дела до красот природы. Устрица склонна к уединению, не отличается живым, бойким нравом, меланхолична и отнюдь не предприимчива. Но главное, ее нимало не занимают пейзажи, она презирает их. Итак, к чему же я пришел? К тому, с чего начал, а именно: здесь, на горе, в пятистах футах над уровнем моря, существуют самые настоящие устричные залежи, и никому не известно, как они сюда попали. Я перерыл все путеводители, и суть того, что там сказано, такова: «Они там есть; но как они туда попали — тайна».

Двадцать пять лет тому назад множество американцев облачились в

белые одежды, в слезах распрощались с друзьями и приготовились при первом же звуке трубы архангела вознестись на небо. Но архангел не затрубил. Предсказанное Миллером пришествие^[153] не состоялось. И его последователи были возмущены до глубины души. Я бы никогда не подумал, что в Малой Азии есть свои Миллеры, но мне рассказали, что однажды, года три тому назад, в Смирне уже собрались встретить конец света. Задолго до этого дня было много шуму и приготовлений, и в назначенный день всеобщее волнение достигло предела. Рано поутру толпы народа поднялись на крепостной вал, чтобы избежать всеобщей гибели, а многие одержимые позакрывали свои лавки и удалились от всех земных дел. Но самое странное то, что часа в три пополудни, когда мой собеседник обедал с приятелями в отеле, разразился ужасающий ливень, загремел гром, засверкала молния, и гроза неистовствовала свыше двух часов кряду. Ничего подобного в такое время года в Смирне никогда не бывало, и это напугало даже самых отъявленных скептиков. По улицам неслись бурные потоки. Вода залила в отеле пол. Пришлось прервать обед. А когда ураган стих и все стояли насквозь промокшие, мрачные, по колено в воде, адвентисты сошли с горы сухие, как воскресная проповедь! Они глядели сверху, как бушевал ураган, искренне считая, что предсказанное ими светопреставление разыгрывается как по нотам.

Здесь, в Азии, в сонном царстве Востока, в сказочной стране «Тысячи и одной ночи», странно думать о железной дороге. И однако здесь уже есть одна железная дорога, и строится другая. Действующая дорога прекрасно построена и прекрасно управляется английской компанией, но не приносит особенного дохода. В первый год она перевезла немало пассажиров, но в списке перевезенных грузов числится лишь восемьсот фунтов фиг!

Дорога подходит почти к самым воротам Эфеса — города, который остался великим в веках, города, который знаком всем, кто читал Библию, и который был уже древен, как мир, в те дни, когда ученики Христа проповедовали на его улицах. Он был основан в далекие времена, известные нам лишь по преданиям, и стал родиной богов, воспетых в греческих мифах. Нелепой кажется сама мысль о паровозе, который врывается в этот город, населенный призраками далекого романтического прошлого, тревожа их многовековой сон.

Завтра мы отправимся туда и посетим знаменитые руины.

Глава XIII. Поездка в древний Эфес. — Древний Айсалук. — Мерзкий осел. — Фантастическая процессия. — Былое великолепие. — Из прошлого. — Легенда о семи спящих.

День выдался беспокойный. Начальник станции предоставил в наше распоряжение целый поезд, — мало того, он оказался так любезен, что решил сопровождать нас до Эфеса, чтобы избавить от всех хлопот. Мы погрузили в товарные вагоны шестьдесят крошечных осликов, так как нам предстояло побывать во многих местах.

Дорогой мы встречали людей в самых причудливых одеждах, какие только можно себе вообразить. К счастью, их все равно не опишешь никакими словами, не то у меня, пожалуй, хватило бы глупости попробовать.

В древнем Айсалуке, лежащем среди безрадостной пустыни, мы наткнулись на полуразрушенный акведук и другие остатки грандиозных зданий, которые яснее слов говорили, что мы приближаемся к тому, что некогда было столицей. Мы сошли с поезда и вместе с нашими гостями — приятными молодыми людьми, офицерами американского военного корабля — уселись верхом на осликов.

Седла на осликах были очень высокие, чтобы ноги седока не волочились по земле, но среди наших паломников были такие долговязые, что и эта предосторожность не помогла. Поводьев не было, их заменяла самая обыкновенная веревка, привязанная к удилам, однако и она служила разве что для украшения, потому что осел не обращал на нее ни малейшего внимания. Раз уж его понесло вправо, вы можете сколько угодно тянуть влево, если вам это доставляет удовольствие, но он все равно пойдет вправо. Есть только одна возможность настоять на своем: слезть с осла, поднять его за задние ноги и поворачивать до тех пор, пока вы не нацелите его носом в нужном направлении; или взять его под мышку и оттащить в такое место, где он уж при всем желании не сможет свернуть с дороги, разве что полезет по отвесному склону. Было жарко, как в пекле, шарфы, вуали и зонтики служили плохой защитой от солнца, зато благодаря им у нашей кавалькады вид был самый фантастический — ибо, да будет вам известно, все наши дамы ехали по-мужски, потому что на этих нескладных седлах невозможно удержаться боком; мужчины обливались потом и

злились, ноги их ударялись о камни; ослы кидались во все стороны, только не туда, куда надо, и были за это биты дубинками; и то и дело какой-нибудь зонтик валялся на землю, извещая всех о том, что еще один путник повержен во прах. Вряд ли в этих пустынных местах можно было увидеть другую такую нелепую кавалькаду. По-моему, из всех ослов на свете эти самые несговорчивые и отличаются самыми дурными наклонностями. Время от времени мы так выбивались из сил, воюя с ослами, что оставляли их в покое, и они тут же переходили на неторопливый шаг. От их медлительного аллюра, от усталости, от жары седока клонило ко сну, но стоило ему задремать, и осел тотчас ложился. Моему ослу уже не видать отчего дома, он слишком часто укладывался. Не сносить ему головы!

Мы постояли в гигантском театре древнего Эфеса, вернее — в амфитеатре с каменными скамьями, позируя фотографу. По-моему, выглядели мы здесь столь же естественно, как в любом другом месте, и не очень украсили эту мрачную пустыню. Наши зеленые зонты и наши ослики придают некоторое благородство величественным руинам, но большего мы сделать не в силах. Впрочем, намерения у нас самые лучшие.

Постараюсь коротко рассказать о том, как выглядит Эфес.

На склоне высокой крутой горы, обращенном к морю, громоздятся глыбы серого мрамора; предание гласит, что это остатки темницы, в которую восемнадцать столетий назад был заключен апостол Павел. С этих развалин открывается прекрасный вид на безлюдную равнину, где некогда стоял Эфес, самый пышный город древности. Прекрасный храм Дианы Эфесской, творение несравненных зодчих и ваятелей, по справедливости почитался не последним из семи чудес света.

За нами — море, а впереди раскинулась плоская зеленая низина (вернее, болото), которая уходит вдаль и теряется среди гор; по правую руку, высоко на горе, стоит древняя крепость Айсалук; неподалеку от нее, на равнине, — разрушенная мечеть султана Селима (она построена на могиле святого Иоанна и прежде была христианской церковью); дальше, прямо перед нами, Пионский холм, вокруг которого теснятся еще не рассыпавшиеся в прах руины древнего Эфеса; узкая долина отделяет их от голой, скалистой горы Коресс. Вид хорош, но безрадостен, — ведь на этой широкой равнине не может жить человек, и здесь нет никаких признаков жилья. Если бы не обвалившиеся своды, исполинские контрфорсы и разрушенные стены, которые поднимаются у подножия Пионского холма, невозможно было бы поверить, что некогда здесь стоял город, чья слава разнеслась по свету прежде, чем имя его вошло в историю христианства. Не верится, что многое из того, что сегодня так же знакомо и привычно

всем людям во всем мире, как самые простые, обыденные слова, рождено историей этого безмолвного, пустынного и скорбного края с его туманными преданиями. Мы говорим об Аполлоне и Диане — они родились здесь; о превращении нимфы Сиринги в тростник^[154] — это случилось здесь; о великом Пане — он жил в пещерах Коресса; об амазонках^[155] — тут был их любимый приют; о Вакхе и Геркулесе — оба сражались здесь с этими воинственными женами; о Циклопах^[156] — это они сложили из гигантских мраморных глыб вон те, ныне обвалившиеся, стены; о Гомере — Эфес один из многих городов, где он родился^[157]; о Тимоне Афинском^[158], об Алкивиаде, Лизандре, Агесилае — они бывали здесь, так же как и Александр Великий, Ганнибал, Антиох, Сципион, Лукулл и Сулла, Брут, Кассий, Помпей, Цицерон и Август; Антоний был здесь судьей, и однажды, не дослушав словопрений, он вскочил с места и устремился вдогонку за мелькнувшей в дверях Клеопатрой; отсюда они вместе отправлялись в увеселительные прогулки на галерах с серебряными веслами и надушенными парусами, и прекрасные девы служили им, а певцы и музыканты забавляли их; и кажется, совсем недавно (ведь когда возникло христианство, он был уже древен) в этом городе апостолы Павел и Иоанн проповедовали новую веру; и здесь, как полагают, Павел был брошен на съедение диким зверям, ибо в «Первом послании коринфянам» (гл. XV, стих 32) он говорит:

По рассуждению человеческого, когда я боролся со зверями в Эфесе..

И тогда еще живы были многие, лицезревшие Христа: здесь умерла Мария Магдалина, здесь дева Мария провела остаток своих дней, и Иоанн не покидал ее (правда, Рим рассудил за благо указать ее могилу в другом месте); всего каких-нибудь шесть-семь веков назад — все равно что вчера — эти улицы наводнили полчища одетых в кольчуги крестоносцев; и уж если перейти к пустякам, мы вдруг по-новому восприняли хорошо знакомые слова — «извилистый ручей», когда оказалось, что они появились в нашем словаре благодаря вон той выющейся по долине речке Извилине. Глядя на эти замшелые руины, на это запустение, овеванное дыханием истории, я невольно почувствовал себя старым, как этот безотрадный край. Можно читать Священное Писание и верить каждому слову, но не всякий может прийти и стать здесь, в разрушенном амфитеатре, и мысленно вновь населить его давно исчезнувшими толпами, которые окружили последователей апостола Павла и кричали в один голос: «Да славится Диана

Эфесская!»^[159] А сейчас страшно даже подумать о том, чтобы закричать в таком безлюдье.

Удивительный это был город — Эфес. В какую сторону ни пойдешь, повсюду на широкой равнине, среди пыли и сорных трав, валяются обломки чудеснейших мраморных статуй; покрытые тончайшими каннелюрами колонны из порфира и ценных сортов мрамора распростерлись на земле или поднимаются из нее; на каждом шагу капители с тонкой резьбой, массивные пьедесталы и греческие надписи на полированном камне. Целый мир драгоценных реликвий, россыпи искалеченных, погубленных сокровищ. Но что все это по сравнению с теми чудесами, что погребены под землей? В Константинополе, в Пизе, в городах Испании мечети и соборы украшены прекраснейшими колоннами, вывезенными из эфесских храмов и дворцов, и, однако, стоит лишь поскрести здесь землю, чтобы обнаружить другие, не менее прекрасные. Пока миру не откроется вновь этот величественный город, нам не узнать, что такое истинное великолепие.

Здесь, в старом эфесском амфитеатре, который прославлен бунтом апостола Павла, мы увидели прекраснейшую статую, и она произвела на нас неизгладимое впечатление (а ведь мы не знатоки искусства и не так-то часто приходим от него в восторг). Это всего лишь безглавый воин в кольчуге, и на его нагруднике изображена голова Медузы, но мы убеждены, что никогда еще камень не был так величав, никогда не воплощалось в нем столько благородства.

А какие удивительные зодчие были эти древние греки! Массивные арки, кое-где сохранившиеся, покоятся на столбах толщиной в пятнадцать футов, высеченных из цельных глыб мрамора, некоторые из них величиною с добрый дорожный сундук, а другие — не меньше дивана в меблированных комнатах. Это не просто каменная обшивка, набитая трухой, но столбы из сплошного камня. Так же сложены и громадные арки, которые, быть может, были когда-то городскими воротами. Целых три тысячелетия обрушивались на них ураганы, осады, землетрясения, но они устояли и стоят по сей день. Когда рядом с ними начинают копать землю, глазу открывается массивная каменная кладка, которая так великолепно сохранилась, словно исполины-циклопы только сегодня закончили ее. Одна английская компания намерена взяться за раскопки Эфеса^[160] — и тогда...

А теперь мне вспоминается *Легенда о семи спящих*.

Вон там, в склоне горы Пион, видна пещера семи спящих. Давным-давно, полторы тысячи лет тому назад, жили-были в Эфесе по соседству друг от друга семеро юношей, принадлежавших к презираемой секте

христиан. Случилось так, что добрый король Максимилиан (я рассказываю эту сказку для примерных мальчиков и девочек)... Так вот, случилось так, что доброму королю Максимилиану вздумалось преследовать христиан, и скоро им совсем не стало житья. И сказали семеро юношей друг другу: «Давайте отправимся странствовать по свету». И они собрались и отправились в путь. Второпях они не простились ни с отцом, ни с матерью, ни с друзьями-товарищами. Прихватили они отцовские деньги да одежду друзей-товарищей, чтобы вспоминать о них на чужбине; со двора соседа Малкуса свели собаку по кличке Кетмер, потому что пес неосторожно всунул голову в ошейник, который как раз оказался у одного из молодых людей, а снимать ошейник им было недосуг; еще они захватили с собою несколько кур, которым, видно, скучно было в соседских курятниках, да из лавки бакалейщика несколько бутылок заморского напитка, что стояли поближе к окну, — после чего отбыли из Эфеса. Шли они, шли — и увидели чудесную пещеру в горе Лионской, вошли в нее, попиروвали и поспешили дальше. А про бутылки с заморскими напитками забыли, так они и остались в пещере. Где только путники не побывали, какие только чудеса с ними не приключались! Были они юноши добродетельные и никогда не упускали случая заработать на пропитание. Был у них такой девиз: «Мешканьем беды не избудеешь». Потому стоило им набрести на одинокого странника, как они говорили: «Глядите, вон человек с богатой казной, потрясем-ка его». И трясли. Так прошло пять лет, и наконец им прискучили странствия и приключения и захотелось вновь поглядеть на отчий дом, услышать милые с детства голоса, увидеть милые с детства лица. И посему они обшарили карманы у всех, кто оказался у них под рукой, и пустились в обратный путь. Добрый король Максимилиан в ту пору уже был обращен в новую веру, и христиане возликовали, ибо отныне их уже не преследовали. В один прекрасный день, на закате, путники подошли к пещере в горе Пионской и сказали друг другу: «Переночуем здесь, братия, а когда настанет день, пойдем пировать и веселиться с друзьями». И каждый из семерых возвысил свой голос и молвил: «Подходяще!» Вошли они в пещеру и видят — бутылки заморского напитка лежат на том самом месте, где они их оставили; и рассудили они, что с годами вино не становится хуже. Это их суждение было разумное и справедливое. Итак, каждый из странников выпил по шести бутылок, после чего их одолела великая усталость, и они легли и уснули крепким сном.

Когда они пробудились, один из них, Иоанниус, по прозванию Смитус, сказал: «Мы наги». И так оно и было. Вся их одежда исчезла, а монеты, которые они позаимствовали у прохожего, когда приближались к городу,

валялись на земле — потемневшие, стертые, заржавленные. Исчез и пес Кетмер, остались только медные скрепы его ошейника. Думали они, думали, что же такое случилось, да так ни до чего и не додумались. Однако подобрали деньги, прикрыли наготу свою листьями и поднялись на вершину горы. Глядят — и глазам своим рге верят. Прекрасного храма Дианы как не бывало, здесь и там высятся огромные здания, которых они не видали прежде; по улицам ходят люди в странных одеждах — города не узнать.

И сказал Иоанниус: «Да Эфес ли это? Однако вот он, большой стадион, вот громадный театр, в котором, помню, сходилось семьдесят тысяч человек, а вон Агора и источник, в который Иоанн Креститель погружал новообращенных; а там темница, где томился наш добрый апостол Павел, — все мы ходили туда, чтоб коснуться древних цепей, которыми он был окован, и исцелить беспокойный дух свой. Я вижу могилу апостола Луки, а там дальше церковь, где покоится прах святого Иоанна и куда дважды в год приходят эфесские христиане, чтобы подобрать горсть праха с его могилы, ибо она излечивает телесные недуги и очищает от грехов души. Но глядите, как далеко выдались в море пристани и сколько кораблей теснятся у берега. Глядите, как широко раскинулся город, — он захватил долину за Пионом и подступил к самым стенам Айсалука. Взгляните, повсюду на горах мраморные столпы, повсюду белеют дворцы. Сколь умножилось могущество Эфеса!»

И, дивясь тому, что увидели их глаза, они спустились в город, купили разного платья и оделись. И когда они уже собрались уходить, купец попробовал на зуб монеты, которые они ему дали, и стал вертеть их в руках и с любопытством разглядывать, потом кинул на прилавок, прислушался, так ли они звенят, и наконец сказал: «Это фальшивые деньги». Но странники ответили ему: «Отыди, сатана!» — и пошли своей дорогой. Вскоре они завидели свои дома и узнали их, хотя дома и показались им обветшавшими и жалкими. И возрадовались они и были счастливы. И каждый подбежал к отчему порогу и постучался в дверь, и чужие люди отворили им и встретили их вопрошающим взглядом. И великое волнение охватило их, и сердца их забились, и кровь прилила к их лицам и вновь отхлынула, и каждый спросил: «Где отец мой? Где мать моя? Где Дионис, Серапион, Перикл и Деций?» И чужие люди, что отворили им дверь, отвечали: «Мы их не знаем». — «Как же вы не знаете их? — спросили семеро. — Давно ли вы живете здесь, и куда делись те, что жили здесь до вас?» И отвечали чужие люди: «Вы смеетесь над нами, молодые люди. И мы, и наши отцы, и деды — шесть поколений наших сменилось под этим

кровом. Имена, что вы назвали, почти уже стерлись на могильных плитах, а те, что звались этими именами, давно отжили свой короткий век, отпели и отсмеялись, претерпели все горе и все тяготы, что были отпущены на их долю, и обрели покой. Сто восемьдесят раз весна сменялась летом и падали осенние листья с тех пор, как розы увяли на их ланитах и они уснули вечным сном».

Тогда семеро путников отворотились от отчего дома, и чужие люди захлопнули дверь. Велико было удивление странников, и они заглядывали в лицо каждому встречному, надеясь увидеть хоть одно, которое было бы знакомо им; но все здесь были чужие им и проходили мимо, и никто не молвил им дружеского слова привета. И предались они скорби и унынию. Наконец они заговорили с одним горожанином и спросили его: «Кто царствует в Эфесе?» И горожанин отвечал: «Откуда явились вы, если не знаете, что великий Лаэрт правит в Эфесе?» В безмерном смущении поглядели они друг на друга и вновь спросили: «А где же добрый король Максимилиан?»

Горожанин отодвинулся подальше, словно бы испугавшись, и сказал: «Воистину эти люди безумны и грезят наяву, не то как же им не знать, что король, о коем они спрашивают, умер двести с лишком лет назад».

Тогда пелена спала с глаз семерых, и один из них сказал: «Горе нам, зачем испили мы того заморского напитка! Он отнял у нас силы, и двести лет мы проспали сном без сновидений. Дома наши опустели, друзья сошли в могилу. Игра окончена — нам остается только умереть». И в тот же день они пошли, и легли, и умерли. В тот самый день, когда семеро появились в Эфесе, они и исчезли, ибо семеро, что восстали от сна, снова погрузились в сон и отошли в иной мир. Вот имена их, сохранившиеся на могильных плитах и по сей день: Иоанниус Смитус, Козырь, Туз, Бита, Пас, Валет, Иг-ра. И рядом со спящими лежат бутылки, в которых некогда был заморский напиток, а над ними выведены старинными письменами такие слова (быть может, это имена древних языческих богов): Ром-Пунш, Бренди-Джин и Глинтвейн.

Такова легенда о семи спящих (с небольшими изменениями), и я знаю, что все в ней истина: ведь я сам видел пещеру.

Древние так непоколебимо верили этой легенде, что еще восемь-девять веков назад даже ученые путешественники в суеверном страхе останавливались перед знаменитой пещерой.

Двое из них сообщают, что они отважились войти туда, но тотчас же выбежали обратно, не решаясь задерживаться там, чтобы не уснуть и не пережить своих правнуков на столетие-другое. Даже и в наши дни

невежественные обыватели тех мест стараются не засыпать в этой пещере.

Глава XIV. Приближаемся к Святой Земле! — В лихорадке сборов. — Дальний поход одобрен. — В Сирии. — Несколько слов о Бейруте. — Снаряжение экспедиции. — Жалкие клячи. — «Стиль» паломничества.

Последний раз я брался за свой путевой дневник в Эфесе. Теперь мы в Сирии и раскинули лагерь в Ливанских горах. Позади осталось немало и дней и миль. Из Эфеса мы не увезли ни единой реликвии! Как старательно собирали мы обломки мраморных статуй, отбивали по кусочку от внутреннего орнамента мечетей, с каким трудом, вконец измучившись, довели их на мулах за пять миль к железнодорожной станции! И после всех хлопот правительственный чиновник заставил нас расстаться с нашими сокровищами! Он получил приказ из Константинополя присматривать за нами и следить, чтобы мы ничего не вывезли отсюда. Это был мудрый, справедливый и вполне заслуженный урок, но он возбудил всеобщее негодование. Всякий раз, как мне удастся устоять перед искушением залезть в чужой карман, я ужасно горжусь собой. На сей раз я был невыразимо горд. Среди бури упреков, которыми осыпали оттоманское правительство столь оскорбленные им достопочтенные леди и джентльмены, путешествующие ради собственного удовольствия, я сохранял невозмутимое спокойствие. Я сказал: «Нас, у которых совесть чиста, это не касается». Но для всех это был удар, и удар жестокий; главный пострадавший узнал, что правительственный приказ был вложен в конверт с печатью британского посольства в Константинополе и, очевидно, за ним стоял представитель королевы английской. Это было худо, очень худо. Если бы он исходил только от турецких властей, это просто-напросто лишний раз свидетельствовало бы о ненависти турок к христианам, ненависти, которую они в своем невежестве не умеют выразить в более деликатной форме; но раз он исходит от исповедующей христианскую веру, просвещенной и политической британской миссии, это означает, что нас отнесли к той породе путешественников, за которыми нужен глаз да глаз. Так это все и восприняли и страшно вознегодовали. Но на самом деле те же меры предосторожности несомненно были бы приняты против любых путешественников, потому что английская компания, которая приобрела

право производить раскопки в Эфесе и заплатила за это немалые деньги, нуждалась в защите и покровительстве, и вполне того заслуживала. Нельзя же позволять путешественникам злоупотреблять гостеприимством, да еще когда общеизвестно, что они ведут себя бессовестно.

Мы отплыли из Смирны, обуреваемые нетерпением, ибо до главной цели нашей экспедиции, до гвоздя программы, было уже рукой подать, — мы приближались к Святой Земле! В трюме, где долгие недели — да что там — месяцы! — покоились наши чемоданы, теперь было все разрыто и перерыто; все суетились и бегали взад-вперед, лихорадочно упаковывали и распаковывали вещи; в каютах повсюду валялись брюки, юбки, самый неопиcуемый и непонятный хлам; все увязывали узлы, доставали зонтики, зеленые очки и густые вуали; придирчиво осматривали новенькие седла и уздечки, которых не знавала еще ни одна лошадь; старательно чистили и заряжали револьверы, проверяли, хорошо ли наточены охотничьи ножи; подшивали прочной оленьей кожей штаны для верховой езды; изучали старинные карты, читали Библию и путешествия по Палестине; намечали маршруты; горячо спорили о том, как лучше разделить на небольшие группы, состоящие из родственных душ, чтобы долгое и утомительное путешествие обошлось без ссор; с раннего утра до поздней ночи собирались по кагатам, произносили пылкие речи, засыпали друг друга мудрыми советами, волновались, спорили до хрипоты, вламывались в амбицию из-за каждого пустяка. Нет, такого еще никогда не бывало на нашем корабле.

Но теперь все это позади. Мы разбились на группы по шесть — восемь человек, и теперь уже разъехались кто куда. Но только одна наша партия отважилась пуститься по длинному маршруту — иначе говоря, по Сирии, — через Баальбек и Дамаск и далее через всю Палестину. Это утомительное и даже рискованное путешествие, да еще в такое жаркое время года, оно под силу лишь крепким, выносливым людям, привыкшим к трудной, суровой жизни под открытым небом.

Другие группы избрали более короткие маршруты.

Последние два месяца одна сторона предстоящего путешествия но Святой Земле не переставала заботить нас: как мы будем передвигаться. Мы прекрасно знали, что в Палестине не очень-то налажено пассажирское сообщение, и каждый, кто был хоть сколько-нибудь осведомлен, давал нам понять, что едва ли хотя бы половине из нас удастся обзавестись драгоманами и лошадьми. Еще в Константинополе все кинулись телеграфировать американским консулам в Александрии и Бейруте, предупреждая их, что нам необходимы драгомены и средства

передвижения. С отчаяния мы соглашались передвигаться на лошадях, осликах, жирафах, кенгуру — на чем угодно. Из Смирны полетели новые телеграммы. А кроме того, мы по телеграфу заказали множество мест в дилижансе, отправлявшемся в Дамаск, и целый табун лошадей, которые должны были доставить нас к руинам Баальбека.

Как и следовало ожидать, по Сирии и Египту распространился слух, что в Святую Землю собираются все жители американской провинции в полном составе (турки полагают, что Америка — это какое-то захолустье где-то на краю света), — поэтому, когда мы вчера прибыли в Бейрут, он так и кишел драгоманами со всем их снаряжением. Мы намеревались ехать дилижансом до Дамаска, заглянуть по дороге в Баальбек, затем вернуться на корабль, дойти до горы Кармель^[161], а потом опять гулять на свободе. Но когда наша маленькая компания из восьми человек узнала, что есть полная возможность отправиться по длинному маршруту, мы решили не упускать удобного случая. До сих пор мы ни в одном городе не были обузой для нашего консула, но бейрутскому консулу мы доставили немало хлопот. Я упоминаю об этом потому, что не могу не отдать должное его терпению, изобретательности и искусству всех примирить и все уладить. Я упоминаю об этом также и потому, что, мне кажется, некоторые из пассажиров еще не оценили по достоинству его помощь.

Итак, мы доверили троим из нашей восьмерки позаботиться обо всем необходимом. Остальные могли вволю любоваться прекрасным городом Бейрутом — светлыми домами, недавно выстроенными среди зеленого кустарника, которым поросло нагорье, отлого спускающееся к морю; глядеть на Ливанские горы, обступающие его, или купаться в прозрачно-голубом Средиземном море, на волнах которого мягко покачивался наш корабль (мы еще не знали, что здесь водятся акулы). Нам предстояло также побродить по городу и посмотреть на здешние наряды, — они живописны и причудливы, но не так разнообразны, как в Константинополе и Смирне. Женщины Бейрута наводят ужас! Если в Константинополе и Смирне представительницы прекрасного пола носят тонкие покрывала, сквозь которые можно разглядеть их лица (и нередко выставляют напоказ ножку), то здесь они наглухо закрывают лица темной или черной материей, так что их можно принять за мумии, и выставляют на всеобщее обозрение грудь. Некий молодой человек (если не ошибаюсь, грек) вызвался показать нам город, — он сказал, что это доставит ему огромное удовольствие, так как он изучает английский язык и рад случаю попрактиковаться. Однако, когда прогулка подошла к концу, он потребовал вознаграждения: он сказал, что джентльмены, верно, дадут ему какую-нибудь малость, хотя бы несколько

пиастров (пиастр соответствует нашей пятицентовой монете). Мы дали. Консул был удивлен, услышав об этом: оказалось, что он хорошо знаком с семьей этого молодца, — это старинное, в высшей степени почтенное семейство и обладает состоянием в добрых сто пятьдесят тысяч долларов! На месте этого молодого человека многие постыдились бы выступить в подобной роли, да еще так навязываться.

В должный срок наш комитет сообщил, что к поездке все готово, — мы выступаем сегодня; с лошадьми, выючными мулами и шатрами двигаемся к Баальбеку, Дамаску, Тивериадскому озеру, оттуда сворачиваем на юг, посещаем то место, где Иаков видел сон^[162], и другие наиболее известные библейские места; затем — Иерусалим, откуда, быть может, направимся к Мертвому морю, а потом прямой дорогой на океан, и по прошествии месяца прибудем в Яффу, где нас будет ждать наш корабль. Условия такие: по пять долларов золотом в день с головы, а все прочее — забота драгоманов. Они обещают, что мы будем жить не хуже, чем в отеле. О подобных вещах я читал прежде в книгах и уж конечно не был так глуп, чтобы поверить хоть одному слову. Я, разумеется, ничего не сказал, но захватил с собой одеяло и плед, чтоб было чем укрываться, курительные трубки и табак, две-три шерстяные рубашки, портфель, путеводитель и Библию. Взял я и полотенце и кусок мыла, чтобы внушить арабам почтение, — пусть думают, что я переодетый король.

В три часа пополудни мы должны были выбирать лошадей. Авраам, один из наших драгоманов, торжественно провел их перед нами. Со всей ответственностью заявляю здесь, что более жалких одров мне еще встречать не приходилось, и вся сбруя совершенно гармонировала с их внешностью. Один конь кривой; у другого обрубленный хвост, куцый, как у кролика, — и, кажется, он этим очень гордится; у третьего костлявый хребет выступает, точно разрушенный акведук из тех, что мы осматривали в окрестностях Рима, и шея тонкая, как бушприт; все они прихрамывают, спины у них стерты, кровоточат, и повсюду блестят старые проплешины, как медные гвозди на кожаном сундуке; их аллюр бесподобен и никак не наскучит однообразием — на ходу они точно флотилия в бурном море. Зрелище устрашающее.

Блюхер покачал головой:

— Этому дракону даром не пройдет, что он увел из больницы таких калек, если у него нет особого разрешения.

Я промолчал. Все шло в точности так, как было обещано в путеводителе, а разве мы путешествуем не по путеводителю? Я выбрал лошадь, которая шархнула от чего-то в испуге, потому что лошадь, у

которой хватает резвости, чтобы шарахнуть, еще не совсем безнадежна.

В шесть часов мы сделали привал на овеваемой ветром с моря красивой горной вершине; отсюда открывался вид на живописную долину, где некогда обитали иные из тех предприимчивых древних финикийцев, о которых мы столько читали; вокруг нас — бывшие владения Хирама, царя Тирского, который доставлял кедры с этих Ливанских гор для храма, воздвигаемого царем Соломоном.

Вскоре после шести часов прибыл и наш обоз. Я видел его впервые, и у меня были все основания прийти в изумление: у нас оказалось девятнадцать слуг и двадцать шесть вьючных мулов. Внушительный караван! И выглядел он внушительно, когда, извиваясь, пробирался меж скал. Понять невозможно, чего ради для восьми человек понадобилось такое снаряжение? Некоторое время я с недоумением смотрел на все это, но скоро затосковал по дымящимся бобам с салом, аппетитно поданным в жестяной миске. На своем веку я много раз ночевал под открытым небом и поэтому прекрасно знал, чего можно ждать. Ни на кого не надеясь, я расседлал лошадь и вымыл, как умел, ее выпирающие ребра и костлявую спину, а покончив с этим, оглянулся и не поверил своим глазам — здесь уже раскинулись пять величественных круглых шатров! Внутри они были богато убраны голубыми, золотистыми и алыми шелками! Я онемел. Потом слуги принесли восемь железных кроватей, поставили их в шатры и на каждую положили мягкие тюфяки, подушки, хорошие одеяла и по две белоснежные простыни. Вслед за этим вокруг центрального шеста, поддерживающего шатер, пристроили стол и на нем разместили оловянные кувшины, тазы, мыло и сияющие белизной полотенца — каждому отдельный набор; нам показали удобные карманы на внутренних стенах, пояснив, что мы можем положить туда всякую мелочь, а если нам понадобятся булавки или иголки, они понатыканы тут же. И в довершение всего по полу был раскинут ковер! «Если это называется ночевкой под открытым небом, — сказал я, — прекрасно, но я ни к чему такому не привык. Мои личные запасы совершенно обесценены».

Стемнело, и слуги поставили на столы свечи, да не какие-нибудь, а в новеньких блестящих бронзовых подсвечниках. Вскоре зазвенел колокольчик — самый настоящий, — и нас пригласили в «салон». Сперва я подумал, что по крайней мере один шатер у нас лишний, но теперь и ему нашлось применение: это, оказывается, столовая. Как и все прочие шатры, он был так высок, что тут могло бы поселиться семейство жирафов, внутри все так и сверкало и радовало глаз ярким убранством. Не шатер, а жемчужина! Стол на восемь персон, восемь парусиновых стульев, скатерть

и салфетки такие тонкие и белоснежные, что рядом с ними те, к которым мы привыкли на нашем пароходе, покраснели бы со стыда; ножи, вилки, глубокие и мелкие тарелки — все в лучшем вкусе. Чудеса да и только! И это у них называется ночлег под открытым небом. Статные молодцы в широких шальварах и тюрбанах подали нам на обед жареного барашка, жареную курицу, жареного гуся, картофель, хлеб, чай, пудинг, яблоки и восхитительный виноград; яства были приготовлены превосходно, таких мы давно не едали, и давно не приходилось нам сидеть за таким красиво сервированным столом, украшенным среди многого другого большими мельхиоровыми подсвечниками. И однако наш учтивый Авраам вошел, низко кланяясь, и просил прощения, если что не так, — ведь снарядиться в такой далекий путь дело сложное, за всем не углядишь; но впредь он постарается, чтобы все было лучше.

Уже полночь, а в шесть утра мы снимаемся с лагеря.

У них это называется ночевать под открытым небом! При таких условиях паломничество в Святую Землю — истинное удовольствие.

**Глава XV. Джексонвил в Ливанских горах. —
Удивительный скакун Иерихон. — Паломничество
на новый лад. — Библейские места: гора Хермон,
поля сражений Иисуса Навина и т. д. — Гробница
Ноя.**

Мы расположились лагерем неподалеку от Темин-эль-Фока; мои спутники изрядно упростили это название, иначе нам бы его и не выговорить. Они назвали его Джексонвил. Здесь, в Ливанской долине, это звучит несколько странно, но зато запоминается куда легче арабского названия.

И музыкой ночь мы наполним,^[163]
И стая дневных забот
Свернет шатры, как арабы,
И так же бесшумно уйдет^[164].

Ночь я проспал крепким сном, однако услышал и колокольчик драгомана в половине пятого и его крик, разнесшийся по окрестным горам: «Через десять минут завтрак!» Я удивился: уже целый месяц я не слышал корабельного гонга, сзывающего пассажиров к завтраку, и всякий раз, как мы утром салютовали кому-нибудь, я узнавал об этом случайно, с чужих слов. Но проведя ночь под открытым небом, даже если над твоей головой раскинут пышный шатер, утром встаешь свежий и бодрый, особенно если дышишь свежим горным воздухом.

Не прошло и десяти минут, как я оделся и вышел из шатра. Стены салона были сняты, осталась только крыша, поэтому, сидя за столом, мы могли любоваться величественной панорамой гор, моря и подернутой дымкой долиной. Пока мы завтракали, неторопливо взошло солнце, и в его лучах все вокруг засияло и заискрилось всеми цветами радуги.

Горячие бараньи котлеты, жареная курица, омлет, жареный картофель и кофе — и все превосходное. Таково было меню. Приправой служил зверский аппетит — следствие трудного переезда накануне и освежающего сна на чистом воздухе. Спросив вторую чашку кофе, я оглянулся через

плечо — и... О чудо! Наш белый лагерь исчез, точно по волшебству!

Поразительно, с какой быстротой эти арабы «свернули шатры», и еще поразительнее, с какой быстротой они собрали все хозяйство, не забыв ни одной мелочи, и исчезли.

В половине седьмого мы уже были в пути, и казалось, вся Сирия тоже пустилась в путь. По дороге нескончаемой чередой тянулись караваны мулов и верблюдов. Кстати, все это время мы пытались понять, на что похож верблюд, и теперь наконец поняли. Когда он опускается на все четыре колена и прижимается грудью к земле, чтобы удобнее было его навьючить, он, пожалуй, похож на плывущего гуся, а стоя напоминает страуса с лишней парой ног. Верблюды не красавцы, а выпяченная нижняя губа придает им чрезвычайно нахальное выражение^[165]. Ступня у них громадная, плоская, раздвоенная и оставляет в пыли след, точно от пирога, из которого уже вырезан кусок. Верблюд неразборчив в еде. Будь ему по зубам могильный камень, он бы и камень сжевал. Здесь повсюду растет чертополох, весь в таких иглах, которые, по-моему, проколют любой ремень; если напорешься на такую колючку, поможет разве что крепкое словцо. Верблюд не брезгует и чертополохом. И по всему видно, что блюдо это ему приятно. По-моему, если подать верблюду на ужин бочонок гвоздей, это будет для него царское угощение.

Раз уж я заговорил о четвероногих, упомяну, что моего теперешнего коня зовут Иерихон. Он — кобыла. На своем веку я повидал немало замечательных лошадей, но такой еще не встречал. Я хотел заполучить пугливую лошадь, и эта вполне отвечает требованию. Мне казалось, что раз лошадь шарахается, значит она горяча. Если я прав, то другой такой горячей лошади нет на свете. Она пугается всего без разбору. Она смертельно боится телеграфных столбов; на мое счастье, они тянутся по обеим сторонам дороги, не то я всегда падал бы на один бок. А это скоро прискучило бы. Иерихон шарахался от всего, что нам попадалось на пути, кроме копны сена, — к ней, мне на удивление, он подошел с самой безрассудной отвагой. И кто не отдал бы дань восхищения присутствию духа, которое он сохранял при виде мешка с ячменем! Когда-нибудь эта сверхъестественная дерзость будет стоить ему жизни.

Резвостью он не отличается, но, я думаю, он все-таки пронесет меня по всей Святой Земле. Одно нехорошо: хвост у него куцый — не то его отрубили, не то Иерихон случайно сам отсидел его, и с мухами он воюет при помощи копыт. Все бы ничего, но когда он пытается задней ногой лягнуть муху, сидящую у него на голове, это уже слишком. В один прекрасный день это доведет его до беды. У него есть еще привычка —

оборачиваться и кусать меня за ноги. Я бы ничего не имел против, да только не люблю чересчур фамильярных лошадей.

По-моему, владелец эту сокровища ложно судил о нем. Он воображал, будто его конь — гордый, необъезженный скакун, — но это ошибка. Я знаю, что тот араб думал именно так, потому что, когда он вывел Иерихона на смотр в Бейруте, он все дергал его за поводья и покрикивал по-арабски: «Ну-ну, шалишь? Удрать норовишь, бешеный, шею сломать захотел?» А Иерихон ни о чем подобном и не помышлял, и вид у него был такой, словно он хочет прислониться к чему-нибудь и подумать на покое. К этому он склонен и сейчас, когда не шарахается от собственной тени и не воюет с мухами. Вот удивился бы его хозяин, когда бы знал это.

Весь день мы ехали по историческим местам. В полдень сделали трехчасовой привал в Мексехе — там, где Ливанские горы сходятся с горами Эль Кинейсех, и позавтракали, глядя вниз на необъятную ровную Ливанскую долину, похожую на цветущий сад. Вечером мы остановились неподалеку от этой долины, и теперь вся она открыта нашим взорам. Нам виден длинный, как спинной хребет кита, гребень горы Хермон, поднимающийся над горами на востоке. И сейчас на нас падают «слезы Хермона», и шатры наши промокли насквозь.

По ту сторону дороги, высоко над долиной, мы разглядели в подзорные трубы смутные очертания знаменитых руин Баальбека, предполагаемого библейского Ваал-Гада. Иисуса Навина и еще кого-то сыны Израилевы послали соглядатаями в землю Ханаанскую^[166], чтобы они разузнали, какова она, эта земля, — и они отозвались о ней наилучшим образом. Возвращаясь, они прихватили виноградную гроздь, и в детских книжках их всегда изображают несущими на шесте исполинскую кисть винограда, — такой груз, что хоть на мула навьючивай. Но книжки, по которым обучают в воскресной школе, несколько преувеличивают. Виноград здесь и по сей день превосходный, но кисти не так велики, как на картинках. Я был удивлен и огорчен, увидев, каковы они на самом деле, ибо те колоссальные гроздья были одной из самых сладостных иллюзий моего детства.

Итак, Иисус Навин отозвался о земле этой наилучшим образом, и сыны Израиля отправились в путь под предводительством Моисея, верховного правителя, а Иисус Навин командовал армией из шестисот тысяч воинов. С ними шло и несметное множество женщин, детей и прочего гражданского люда. И среди всего этого воинства, если не считать двух верных соглядатаев, не было ни одного, чья нога ступила бы на землю обетованную. Сорок лет эти люди и их потомки блуждали в пустыне, а

потом Моисей, талантливый воин, поэт, государственный деятель и философ, взшел на вершину Фасги, и там свершился его таинственный жребий. Никто не знает, где его похоронили.

Не людям было суждено^[167]
Могилу ту копать —
Бог ангелам велел своим
Земле его предать^[168].

Тогда Иисус Навин совершил грозный набег, и словно дух разрушения пронесся от Иерихона до самого Ваал-Гада. Он вырезал людей, опустошил их поля и города их сравнял с землей. Тридцать одно царство из-за него лишилось царей. Можно, конечно, и так сказать, хотя, но правде говоря, едва ли это было лишением: в те времена царей было хоть отбавляй. Во всяком случае, он перебил тридцать одного царя и земли их разделил меж сынов Израилевых. Он разделил эту долину, которая простирается пред нами: итак, некогда она принадлежала евреям. Однако от евреев тут уже давно и следа не осталось.

А вон там, позади, в часе езды отсюда, лежит арабское селение, которое мы проезжали; дома похожи на каменные ящики из-под галантереи, и здесь находится гробница Ноя (того самого, что построил ковчег). Над этими древними горами и долами некогда носился ковчег, на котором приютилось все, что уцелело от исчезнувшего мира.

Я не приношу извинений за то, что позволил себе сообщить эти подробности. Кое-кому из моих читателей они безусловно неведомы.

Гробница Ноя каменная, и над нею возведено длинное каменное здание. Бакшиш отворил нам двери. Здание не могло быть короче, ибо гробница высокочтимого древнего мореплавателя занимает в длину целых двести десять футов! Правда, высота ее всего фута четыре. Должно быть, Ной отбрасывал такую же узкую и длинную тень, как громоотвод. Лишь чрезвычайно недоверчивые люди могут усомниться в том, что Ной был похоронен именно здесь. Доказательства самые неопровержимые: Сим, сын Ноя, сам присутствовал на похоронах и указал на это место своим потомкам, те в свою очередь передали об этом своим потомкам, и прямые потомки этих потомков представились сегодня нам. Очень приятно было познакомиться с членами столь почтенной семьи. Тут есть чем гордиться. Это почти все равно, что свести знакомство с самим Ноем.

Отныне я всегда буду чувствовать себя причастным к памяtnому

плаванию Ноя.

Если есть на свете угнетенный народ, так это тот, который изнывает здесь под тиранической властью Оттоманской империи. Очень бы я хотел, чтобы Европа позволила России слегка потрепать турков, — не сильно, но настолько, чтобы нелегко было отыскать Турцию без помощи водолазов или магов с волшебной палочкой. Сирийцы очень бедны, и все же на них навалено такое бремя налогов, какого не стерпел бы никакой другой народ. В прошлом году налоги были поистине достаточно высоки, но в этом году они еще возросли: сверх обычных жители должны были выплатить еще те налоги, которые им простили в прошлые, голодные годы. Да кроме того правительство взимает одну десятую со всех доходов, которые приносит крестьянину земля. Но и это еще не все. Паша не утруждает себя назначением сборщиков налогов. Он подсчитывает, сколько всего ему следует получить с того или иного округа, а потом отдает сбор налогов на откуп. Он созывает богачей, и тот, кто предложит больше всех, тут же отдает ему деньги и получает на откуп весь округ; потом он распродает его рыбешке помельче, а та в свою очередь распродает его шайке совсем уже мелких разбойников. К тому же эти разбойники заставляют крестьян самих привозить свой жалкий урожай в селение. Там его должны взвесить, отобрать все, что идет в счет различных налогов, а остатки возвратить хозяину. Но сборщики не торопятся, они откладывают окончательный расчет со дня на день, а тем временем семья крестьянина погибает с голоду; и под конец бедняга, который отлично понимает, в чем тут соль, говорит: «Ладно, берите четверть, берите половину, берите хоть две трети, только отпустите меня!» Может ли быть что-нибудь возмутительнее!

Народ здесь по природе своей умный и добросердечный, и, будь он свободен, будь ему доступно образование, он жил бы в довольстве и счастье. Местные жители часто спрашивают чужестранцев: неужели Европа не придет им на помощь и не спасет их? Султан без счету сорил деньгами в Англии и Париже, а теперь его подданные расплачиваются за это.

Наши «ночлеги под открытым небом» приводят меня в полнейшее недоумение. У нас уже есть приспособление, чтобы стаскивать сапоги, есть ванна, а вскрыты еще далеко не все таинственные тюки, навьюченные на мулов. Чем еще они нас порадуют?

**Глава XVI. Патриархальные права. —
Величественный Баальбек. — Описание руин. —
Самовлюбленные Смиты и Джонсы. —
Приверженность паломников букве закона. —
Почитаемый источник, из которого пила
Валаамова ослица.**

Пять долгих часов мы тащились под палящим солнцем по Ливанской долине. Она оказалась не таким уж цветущим садом, каким представлялась нам с вершины горы. Это пустыня, голая, поросшая плевелом и густо усыпанная камнями величиной с кулак. Кое-где местные жители вспахали землю, и там взошли хилые колосья пшеницы, но большая часть долины отдана горстке пастухов, чьи стада честно стараются добыть себе пропитание, хотя это им плохо удается. То и дело по обочинам дороги нам попадались груды камней — так еще во времена Иакова обозначали межи. Ни стен, ни заборов, ни живых изгородей — ничто, кроме этих каменных груд, не охраняет земельной собственности. Для израильтян древних, патриархальных времен такие межевые знаки были священны, а нынешние арабы, их прямые потомки, следуют их примеру. При такой вольной системе ограждений любой заурядного ума американец вскоре значительно расширил бы свои владения, потрудившись ночку-другую.

Землю здесь пашут просто-напросто заостренным колом, подобным тому, который служил плугом еще Аврааму, и зерно веют, как веял он: ссыпают его на крышу, а потом подкидывают лопатами в воздух до тех пор, пока ветер не сдует всю мякину.

Целую милю мы состязались в резвости с арабом, ехавшим на верблюде. Некоторые лошади шли хорошо и показали отличное время, но верблюды без всякого труда обошел их. Все участники скачки вопили, кричали, нахлестывали своих коней и поднимали их в галоп, — словом, много было волнения, смеху, а главное — шума.

В одиннадцать часов перед нами предстали стены и башни Баальбека, знаменитые руины, чья история — книга за семью печатями^[169]. Тысячелетия стоит он, удивляя и восхищая путешественников; но кто его строил и когда — этого, быть может, никто так и не узнает. Только одно несомненно. Ничто созданное руками человеческими за последние два

тысячелетия не сравнится по грандиозности замысла и тонкости исполнения с храмами Баальбека.

Величественный храм Солнца, храм Юпитера и несколько храмов поменьше стоят близко друг к другу посреди одной из жалких сирийских деревушек и странно выглядят в такой плебейской компании. Эти храмы покоятся на таких массивных фундаментах, что кажется, они выдержали бы чуть не весь земной шар; они сложены из каменных глыб величиной с добрый омнибус, — не знаю, найдется ли хоть одна меньше рабочего сундучка плотника, — и прорезаны туннелями, по которым без труда прошел бы железнодорожный состав. Ничего удивительного, что Баальбек стоит по сей день. Длина храма Солнца почти триста футов, ширина сто шестьдесят. Пятьдесят четыре колонны окружали его, но сейчас стоят только шесть, остальные повержены и превратились в беспорядочные живописные груды. Шесть устоявших колонн превосходны, в них все совершенно — и цоколь, и коринфские капители, и антаблемент. На свете нет колонн красивее. Вместе с антаблементом они достигают девяноста футов в высоту — это поистине неправдоподобная высота, — и однако, глядя на них, думаешь лишь о том, как они прекрасны и гармоничны; столбы стройны и изящны, а прекрасную скульптуру на антаблементе можно принять за искусные лепные украшения. Но когда глаза ваши устали и вы уже больше не можете глядеть вверх, вы бросаете взгляд на громадные обломки колонн, что валяются вокруг, и оказывается, что каждая из них восьми футов в поперечнике; тут же лежат прекрасные капители размером с небольшой коттедж и каменные плиты с мастерски высеченными горельефами, каждая четырех-пяти футов толщиной и такая огромная, что ею можно бы покрыть пол гостиной средней величины. Вы удивляетесь: откуда взялись эти громадины, и не сразу догадываетесь, что воздушное, грациозное сооружение, которое вздымается над вашей головой, сложено из таких же плит. В это просто невозможно поверить.

Развалины храма Юпитера не так велики, как те, о которых я только что рассказал, однако и они грандиозны. Храм довольно хорошо сохранился. В одном ряду все девять колонн почти не пострадали. Высота их шестьдесят пять футов, и они поддерживают нечто вроде портика или крыши, переходящей в крышу храма. Эта крыша-портик сложена из гигантских каменных плит, украшенных с внутренней стороны превосходной резьбой, и снизу кажется, что она покрыта фресками. Две или три плиты свалились, и снова я спрашивал себя: неужели эти громадные каменные глыбы, обработанные искусным ваятелем, лежащие у моих ног, не больше тех, что я вижу наверху? Внутренняя отделка храма изящна и в

то же время грандиозна. Каким чудом зодчества, чудом красоты и величия был, вероятно, этот храм, когда его только что построили! Как прекрасен он еще и сейчас, когда, залитый лунным светом, он поднимается вместе со своим еще более величественным собратом среди хаоса разбросанных вокруг гигантских обломков!

Я не могу постичь, как удалось доставить сюда из каменоломни эти гигантские глыбы, как их ухитрились поднять на такую головокружительную высоту. И однако эти плиты кажутся детскими игрушками по сравнению с грубо обтесанными глыбами, из которых сложена широкая веранда, или площадка, окружающая храм Солнца. Одна сторона этой площадки, длиной в двести футов, сложена из каменных глыб величиной с конку, а то и больше. Они увенчивают стену футов в десять-двенадцать вышиной. Эти глыбы казались мне огромными, но они до смешного малы по сравнению с теми, из которых сложен другой край площадки. Их три, и, по-моему, каждая длиной в три поставленных одну за другой конки, но при этом, конечно, втрое шире и выше. Пожалуй, два самых больших товарных вагона, поставленные друг за другом, дадут более правильное представление об их размерах. Общая длина этих трех глыб почти двести футов, ширина тринадцать футов; две глыбы — длиной по шестьдесят четыре фута, третья — шестьдесят девять. Они поднимаются над землей футов на двадцать, точно стена. Они здесь, эти глыбы, но как они сюда попали, понять невозможно. Однажды я видел пароход, который был меньше такого камня. И все эти громадные стены возведены так же тщательно и ровно, как наши сегодняшние шаткие постройки из обыкновенного кирпича. Должно быть, много веков назад Баальбек населяло племя богов или исполинов. Обыкновенному человеку нашего времени не под силу воздвигать подобные храмы.

Мы направились к каменоломне, откуда в Баальбек доставляли камень. Она под горой в четверти мили отсюда. В огромной яме лежит еще одна глыба — такая же, как самые большие из только что виденных нами. Она лежит здесь так, словно в те незапамятные времена какие-то исполины-строители внезапно оставили ее и ушли отсюда по чьему-то зову; лежит здесь тысячи лет, как красноречивый укор тем людям, которые имеют склонность смотреть свысока на наших далеких предков. Эта огромная глыба лежит там совсем готовая — четырнадцать футов в ширину, шестнадцать в толщину и почти семьдесят футов длиной, — лежит и дожидается, чтобы ее подняли! Если по ней провезти две вагонетки, поставив их рядом, то по обеим сторонам еще смогут пройти по два человека.

Можно поклясться, не боясь стать клятвопреступником, что все Джоны Смиты, Джорджи Уилкинсоны и прочая мелкая сошка, населяющая пространства между царством теней и Баальбеком, рада нацарапать свои безвестные имена на величественных руинах Баальбека да еще прибавить к ним название города, округа и штата, откуда они родом. Жаль только, что ни одна из древних развалин не обрушивается на кого-нибудь из этих жалких пресмыкающихся, дабы у всей их породы раз и навсегда пропала охота увековечивать свое имя на прославленных памятниках старины.

На наших клячах мы могли добраться до Дамаска в три дня. А нам непременно надо было проделать этот путь меньше чем за два. Это было необходимо потому, что трое наших паломников свято соблюдают день субботний. Мы все рады были не нарушать субботы, но бывают случаи, когда придерживаться буквы священного закона, дух которого неизменно справедлив, просто грешно, и такой случай был на сей раз. Мы заклинали пощадить усталых, замученных лошадей, убеждали, что они верой и правдой служат нам и вправе ожидать от нас взамен доброго отношения и сострадания к их тяжелой доле. Но разве тому, кто превыше всего гордится своей праведностью, ведома жалость? Что значили еще несколько долгих часов труда для измученных животных по сравнению с опасностью, грозившей душам наших праведников! В обществе людей, до такой степени приверженных религии, не слишком приятно путешествовать и мудро укрепиться в вере. Мы говорили им, что Спаситель, который жалел всякую бессловесную тварь и учил, что вола следует вытащить из трясины даже в день субботний, не одобрил бы этот ненужный и непосильный переход. Мы говорили, что наше путешествие утомительно, в такой палящий зной оно просто опасно даже при обычных переходах, а если мы будем упорствовать и не посчитаемся со своими силами, некоторые из нас могут пасть жертвой местной лихорадки. Но паломники оставались непреклонны — они *должны* спешить во что бы то ни стало. Пусть умирают люди и лошади, но на будущей неделе они должны ступить на священную землю, не запятнав себя нарушением субботы. Итак, они готовы были погрешить против духа религиозного закона, лишь бы не нарушить его буквы. Не стоило труда объяснять им, что «буква убивает». Люди, о которых я сейчас говорю, мои друзья, я питаю к ним самые теплые чувства, они честные граждане, вполне почтенные и добропорядочные, но, мне кажется, они неправильно понимают христианское учение. Они беспощадно осуждают наши недостатки и каждый вечер собирают нас и читают нам главы из Нового завета, который весь проникнут кротостью, милосердием и состраданием, а на завтра они с утра садятся в седло и не слезают с него до поздней ночи, то

взбираясь на вершины здешних суровых гор, то спускаясь в долины. Разве усталая, замученная, полудохлая кляча заслуживает, чтобы к ней отнеслись с евангельской кротостью, милосердием и состраданием? Вздор! Это все относится к человеку, которого Бог создал по своему образу и подобию, а не к бессловесной твари. Мое уважение к нашим исполненным праведности паломникам столь велико, что не разрешает мне вмешиваться, но если бы не они, а любой другой из наших спутников позволил себе хоть раз погнать лошадь на такие крутые горы, я бы не спустил ему этого.

Мы много раз подавали паломникам хороший пример, который мог бы пойти им на пользу, но все напрасно. Никогда они не слышали, чтобы кто-нибудь из нас сказал другому грубое слово, но сами они не раз всерьез бранились. Приятно послушать их перебранку после того, как они только что наставляли нас. Едва мы бросили якорь в Бейруте, они уселись в лодку и перессорились, еще не доехав до берега. Я говорил, что они хорошие люди, — они и в самом деле хорошие люди, но всякий раз, как они станут отчитывать меня, я намерен огрызаться в печати.

Мало им того, что пришлось удвоить наши обычные переходы, — нет, они еще свернули с дороги, чтобы поглядеть на какой-то дурацкий источник Фигия, потому что из него когда-то пила Валаамова ослица. Итак, мы ехали через непроходимые горы и пустыни, отыскивая эту почтенную лужу, из которой пила Валаамова ослица, покровительница всех паломников вроде нас. В своей записной книжке я отыскал только одну заметку об этом переходе:

Сегодня провели в седле в общей сложности тринадцать часов; сперва ехали пустыней, потом по голым, бесплодным горам и под конец среди диких скал; часов в одиннадцать сделали привал на берегу прозрачного ручья, близ сирийской деревушки. Не знаю ее названия и знать не хочу, хочу спать. Две лошади охромели (моя и Джека), остальные совершенно выбились из сил. Мы с Джеком миля четыре шли пешком по горам, ведя лошадей в поводу. Сомнительное развлечение.

Двенадцать-тринадцать часов в седле, даже если едешь по божеской земле и в божеском климате и притом на хорошем коне, и то дело нелегкое; но в таком пекле, как Сирия, да в неудобном и неустойчивом седле, которое ерзает по спине лошади во всех направлениях и качает тебя бортовой и килевой качкой, а лошадь у тебя загнанная, хромая и все-таки ее поминутно приходится подхлестывать и пришпоривать, пока не раздерешь ей бока в

кровь, и если ты не зверь, а человек, тебя всякий раз мучит совесть, — такое путешествие будешь вспоминать с отвращением и проклинать с жаром чуть не до самой смерти.

Глава XVII. Выдержки из путевого дневника. — Рай по Магомету— Красавец Дамаск. — Улица «так называемая Прямая». — Избиение христиан. — Дом Неемана. — Ужасы проказы.

Следующий день был поистине надругательством и над людьми и над животными. Опять был тринадцатичасовой переход (включая часовой полуденный привал). Мы ехали по таким бесплодным меловым горам и голым ущельям, какие даже в Сирии редкость. Воздух дрожал от зноя. В раскаленных ущельях нечем было дышать. Когда мы поднимались из ущелий, на высотах нас слепили залитые солнцем меловые склоны. Было жестоко понукать несчастных, покалеченных лошадей, но ничего не поделаешь — сегодня к вечеру надо было поспеть в Дамаск. Мы видели древние гробницы и причудливые храмы, высеченные в скалах высоко над пропастью, но у нас не было ни сил, ни времени взбираться туда и осматривать их. Краткие записи в моем путевом дневнике поведают обо всем, что еще произошло в этот день:

Снялись с лагеря в семь утра, был тяжелый переход по Зебданской долине и крутым горам; лошади хромают, а этот араб, накликающий на нас всякие беды, который громче всех поет и везет мехи с водой, конечно и сейчас уехал за сто миль вперед, и нам нечем утолить жажду, — неужели он никогда не сломит себе шею? Прелестный ручеек в глубокой расселине, по берегам пышно разрослись гранаты, фиги, оливы, айва; часовой привал в полдень у Фигии — источника знаменитой Валаамовой ослицы, он второй по величине в Сирии, вода ледяная, как в Сибири; в путеводителях не сказано, что Валаамова ослица пила здесь, — наверно, кто-нибудь подшутил над паломниками. Мы с Джеком окунулись и тотчас выскочили как ошпаренные: вода ледяная. Это главный источник, питающий реку Авана, он впадает в нее всего в полумиле отсюда. Место красивое, повсюду исполинские деревья, так здесь тенисто, прохладно, если бы только достало сил не уснуть; широкий поток стремительно вырывается прямо из-под горы, над ним древние развалины; история их никому не известна, предполагают, что некогда здесь поклонялись божееству

источника, или Валаамовой ослице, или еще кому-нибудь. У источника гнездится жалкий сброд; отрепья, грязь, впалые щеки, болезненная бледность, язвы, костлявые тела, тупое страдание в глазах, весь вид этих несчастных — красноречивое свидетельство неутолимого голода. Как накидывались они на кость, как грызли хлеб, который мы давали им! Они обступают тебя и жадно глядят тебе в рот и, сами того не замечая, поминутно глотают слюну, словно бы это им, а не тебе достался драгоценный кусок... Скорее в путь! В этой многострадальной стране я уже никогда не смогу есть в свое удовольствие. Подумать только, что еще три недели придется есть по три раза в день на глазах у голодных людей, — это хуже, чем весь день ехать верхом под палящим солнцем. Среди этих несчастных шестнадцать детей в возрасте от года до шести лет, ноги у них тонкие, как палочки. Уехали от источника в час дня (чтобы повидать его, нам пришлось пробыть в пути лишних два часа) и добрались до скалы, с которой Магомет смотрел на Дамаск, как раз вовремя, чтобы успеть насладиться видом. Устали ли мы? Спроси у ветра, что вдали по морю носит корабли!

На смену ослепительному дню пришли сумерки, а мы стояли и глядели вниз, на прославленную на весь мир картину. Сотни раз читал я о том, как еще простым погонщиком верблюдов Магомет пришел сюда и, впервые увидав Дамаск, сказал слова, ставшие потом знаменитыми. Человеку дано войти только в один рай, сказал он, так лучше я войду в рай небесный. И он сел тут и любовался земным раем — Дамаском, и потом пошел прочь, не вступив в его врата. И на этом месте воздвигли башню.

Когда смотришь с горы, Дамаск и в самом деле прекрасен. Он кажется прекрасным даже иностранцам, для которых пышная зелень не диво, — каким же несказанно прекрасным он должен казаться глазу, привыкшему к бесплодной и пустынной, забытой Богом Сирии. Не удивительно, если сирийцем овладевает неистовый восторг, когда ему впервые открывается эта картина.

Стоишь здесь, на высокой скале, и видишь, как перед тобой стеною встают мрачные, без единой травинки, раскаленные солнцем горы, они ограждают ровную пустыню — желтый, гладкий, как бархат, песок насколько хватает глаз прошит тонкими нитями дорог, и по ним медленно движутся точки: караваны верблюдов и путники; а посреди пустыни расплескались зеленые волны листовы, и в самом сердце ее, словно

жемчужно-опаловый остров в изумрудном море, мерцает белый город. Смотришь с высоты на эту картину, смягченную расстоянием, сияющую солнцем, поражающую воображение резкими контрастами, и над всем царит дремотный покой, придавая городу волшебную одухотворенность, словно это прекрасный выходец из таинственного мира сновидений, а не самый обыкновенный житель нашей грубой и скучной планеты. И, вспоминая оставшиеся позади мили и мили гиблого, окаянного, бесплодного, скалистого, выжженного солнцем, уродливого, мрачного, мерзкого края, думаешь: какая красота, прекраснее нет уголка во всей вселенной! Если бы мне предстояло вновь посетить Дамаск, я провел бы с неделю на горе Магомета — и уехал. Незачем входить в город. Сам того не подозревая, пророк поступил мудро, когда решил не спускаться в этот дамасский рай.

Старое, почтенное предание говорит, что сад, в котором стоит Дамаск, и есть Эдем, и современные писатели подобрали много всяких доказательств тому, что это в самом деле был Эдем и что реки Фарфар и Авана и есть те две реки, которые омывали рай, где пребывал Адам. Может, так оно и было, но теперь это отнюдь не рай. И у человека так же мало надежды обрести счастье в нем, как и вне его. Улочки его такие кривые, тесные, грязные, что даже поверить невозможно, будто это и есть тот прекрасный город, который ты видел с горной вершины. Сады прячутся за высокими глинобитными стенами, и «рай» стал настоящей клоакой для стока отбросов и нечистот. Впрочем, в Дамаске сколько угодно чистой, прозрачной воды, и одного этого довольно, чтобы арабы считали город прекрасным и благословенным. В обожженной солнцем Сирии вода ценится на вес золота. В Америке мы прокладываем железные дороги к большим городам; в Сирии проводят дороги так, чтобы они подходили к каждой жалкой луже, — здесь их называют источниками, и от одного до другого не меньше четырех часов езды. Но библейские реки Фарфар и Авана (вернее, не реки, а речушки) омывают Дамаск, и поэтому в каждом доме и в каждом саду есть свои искрящиеся на солнце источники и ручейки. Весь в зелени, изобильный водою Дамаск кажется чудом из чудес бедуину, жителю пустыни. А на самом деле — это всего лишь оазис. Вот уже четыре тысячи лет не иссякают его источники, не оскудевает плодородная почва. Теперь понятно, почему так долговечен этот город. Он не мог умереть. До тех пор, пока не пересохнут его воды, до тех пор будет он жить среди унылой пустыни и радовать взор усталого, томимого жаждой путника.

Древний, как сама история, ты свеж, как дыхание весны, ты цветешь, как твои утренние розы, и благоухаешь, как померанец, о Дамаск, жемчужина Востока!

Дамаск существовал еще до времен Авраама, это древнейший город на земле. Он был заложен Уцом, внуком Ноя. «Ранняя история Дамаска окутана туманом седой древности». Если не говорить о событиях, описанных в первых одиннадцати главах Ветхого завета, Дамаск был свидетелем всего, что происходило на земле и стало известно истории. Как далеко ни углубляйтесь в туманное прошлое, всегда вы найдете Дамаск. Вот уже четыре тысячи лет, как он упоминается и восхваляется в письменных памятниках всех веков. Для Дамаска годы подобны мгновениям, десятилетия быстротечны и мимолетны. Он измеряет время не днями, не месяцами, не годами, но империями, которые возвышались, процветали и рушились у него на глазах. Он из когорты бессмертных. Он видел рождение Баальбека, и Фив, и Эфеса. На его глазах эти селения превращались в могущественные города и поражали мир своим великолепием, и он дожил до дней, когда они опустели и обезлюдели и стали приютом одних лишь сов и летучих мышей. Он видел, как возникло царство Израиля и как оно было уничтожено. Он видел, как возвысилась, две тысячи лет процветала, а потом погибла Греция. Уже в старости он видел, как построили Рим, видел, как он затмил своей мощью весь мир, видел его гибель. Несколько столетий могущества и блеска Генуи и Венеции для старого степенного Дамаска были лишь короткой вспышкой, едва достойной воспоминания. Дамаск был воздвигнут в незапамятные времена, и он жив по сей день. Он глядел на обломки сотен империй и он переживет еще сотни. Хотя другую столицу зовут так^[170], но старый Дамаск должен по праву называться вечным городом.

Мы подъехали к городским воротам в час заката. Нас уверяют, что ночью бакшиш может ввести человека в любой город Сирии, только не в Дамаск. Дамаск, чтимый всем миром уже четыре тысячелетия, о многом мыслит старомодно. Там нет уличных фонарей, и закон велит всем, кто выходит из дому по ночам, зажигать свои собственные фонари, как делали в старину, когда герои и героини «Тысячи и одной ночи» расхаживали по улицам Дамаска или улетали в Багдад на коврах-самолетах.

Едва мы оказались в городских стенах, совсем стемнело, и мы долго ехали по невероятно кривым улицам футов восьми-девяти шириной, по обе стороны которых, скрывая сады, тянутся высокие глинобитные стены. Наконец мы добрались до улиц, на которых то здесь, то там мелькали

фонари, и поняли, что мы в самом сердце удивительного древнего города. В узкой улочке, забитой нашими выючными мулами и толпой ободранных арабов, мы спешили и через какой-то пролом в стене вошли в гостиницу. Мы оказались в просторном, вымощенном плитами дворе, у водоема, в который из множества труб лилась вода, а вокруг всюду были цветы и лимонные деревья. Потом мы пересекли двор и вошли в приготовленные для нас комнаты. Меж двух комнат, каждая из которых была рассчитана на четырех человек, — выложенный мрамором бассейн с чистой прохладной водой, которая вливается в него из шести труб. На этой обожженной солнцем, иссохшей земле ничто не порадует вас такой свежестью, как эта прозрачная вода, сверкающая в свете фонарей, ничто так не радует взор, не ласкает непривычный к подобным звукам слух, как этот искусственный дождь. Нам отвели большие, уютно обставленные комнаты, где полы покрыты мягкими яркими коврами. Приятно было снова увидеть ковер, ибо нет ничего на свете мрачнее выложенных камнем, точно гробницы, гостиных и спален Европы и Азии. Там волей-неволей все время думаешь о смерти. Очень широкий, пестрый диван футов четырнадцати длиной тянется по одной стене каждой комнаты, а напротив стоят односпальные кровати с пружинными матрацами. Есть тут и большие зеркала и мраморные столики. Вся эта роскошь была истинной благодатью для наших чувств и тел, изнуренных утомительным переходом, и притом совершенной неожиданностью, ибо никогда нельзя знать, что ждет тебя в турецком городе, даже если в нем четверть миллиона жителей.

Не могу утверждать, но боюсь, что из этого бассейна меж двух комнат берут воду для питья; я не думал об этом, пока не окунул свою опаленную солнцем голову в прохладные глубины. И тут-то меня осенило, и, как ни сладостна была ванна, я пожалел, что принял ее, и готов был пойти повиниться перед хозяином. Но в эту минуту вбежал мелкозавитой, благоухающий пудель и игриво тяпнул меня за икру; я тут же кинул его в бассейн, а завидев слугу с кувшином, поспешно скрылся, предоставив щенку выбиратья оттуда своими силами, что ему не очень-то удавалось. Утолив жажду мести, я почувствовал, что мне больше ничего не нужно для счастья, и совершенно убогатворенный явился к ужину в свой первый вечер в Дамаске. После ужина мы долго лежали на диванах, курили наргиле и трубки с длинными чубуками, вспоминали тяжелый дневной переход, и я лишний раз убедился, что время от времени не плохо выбиться из сил, потому что отдых тогда становится истинным наслаждением.

Наутро мы послали за осликами. Любопытно отметить, что нам пришлось именно *послать* за ними. Я уже говорил, что нравы в Дамаске

допотопные, и так оно и есть. В любом другом городе нас бы уже осаждала крикливая армия погонщиков ослов, гидов, уличных торговцев и попрошаек, но в Дамаске самый вид чужестранца-христианина вызывает такую ненависть, что никто не желает иметь с ним никакого дела; всего год-два назад ему небезопасно было появляться на улицах Дамаска. Это магометанское чистилище исполнено самого неистового во всей Аравии фанатизма. На каждого хаджи в зеленом тюрбане (почетный знак того, что сей счастливцев совершил паломничество в Мекку), которого вы встретите в любом другом городе, в Дамаске, я думаю, вам их попадется не меньше десятка. На вид жители Дамаска самые что ни на есть отвратительные и злобные негодяи. Почти все женщины, закутанные в покрывала, которых мы видели до сих пор, не прятали глаз, но лица большинства жительниц Дамаска совсем скрыты под черными покрывалами, и это делает их похожими на мумии. А если мы когда и встречали взгляд женских глаз, они тотчас прятались, дабы вид христианина не осквернил их; нищие и те обходили нас, не требуя бакшиша; торговцы на базарах не протягивали нам своих товаров и не кричали во всю глотку: «Эй, Джон!», или: «Как поживай, гляди!» Нет, они не говорили ни слова и только провожали нас хмурыми взглядами.

На узких улицах, точно пчелы в улье, кишат мужчины и женщины в странных восточных одеждах, а мы пробираемся меж ними, и наши ослы, понукаемые безжалостными погонщиками, расталкивают толпу. Погонщики часами бегут за ослиами и, понукая их криком и тычками, все время заставляют скакать гало-ном, и при этом сами никогда не выбиваются из сил и не отстают. Случалось, осел падал и седок летел через его голову; поднявшись, он снова садился верхом и поспешал дальше. Нас кидало то на острые выступы, то на носильщиков с грузом, то на верблюдов, а главное — на пешеходов, и мы так были поглощены этими бесконечными столкновениями, что не успевали смотреть по сторонам. Мы проехали полгорода и половину знаменитой «улицы, так называемой Прямой», почти ничего не увидав. Мы едва не вывихнули себе все суставы, бока у нас ныли от бесчисленных тумачков, злость в нас кипела. Нет, не по вкусу мне дамасский городской транспорт.

Мы направлялись к домам Иуды и Анании. Восемнадцать-девятнадцать веков назад Савл, родом из Тарса^[171], необычайно ожесточился против новой секты, называемой христианами; он ушел из Иерусалима и отправился по стране разыскивать и уничтожать их. Он шел, «дыша угрозами и убийствами на учеников Господа».

Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба.

Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему.

Савл! Савл! Что ты гонишь меня...

И когда он узнал, что это Иисус говорит с ним, он задрожал, удивился и сказал:

Господи, что повелишь мне делать?

Ему было велено встать и идти в древний город, где ему скажут, что делать. А меж тем люди, шедшие с ним, стояли пораженные ужасом, ибо они слышали таинственный голос, а не видели говорящего. Савл поднялся и тут же понял, что этот жгучий сверхъестественный свет ослепил его и он лишился зрения, и они «повели его за руку и привели в Дамаск». Так был он обращен в веру Христову.

Три дня ослепленный Савл лежал в доме Иуды, и все это время он не ел и не пил.

Один из жителей Дамаска, именем Анания, услышал голос, и сказано ему было:

Встань и пойдй на улицу так называемую Прямую и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савл: он теперь молится.

Анания сперва не хотел идти, потому что он уже прежде слышал о Савле и сомневался, тот ли это «избранный сосуд», который может возвещать имя Господа перед народами. Однако он повиновался, пошел на улицу «так называемую Прямую» (как ему удалось найти эту улицу и как он потом выбрался из нее, остается тайной, которую можно объяснить разве только тем, что он действовал по вдохновению свыше). Он отыскал Савла и вернул ему зрение и посвятил его в проповедники; и в этом старом доме, который мы разыскали на улице, по ошибке названной Прямой, начал он свой путь бесстрашного миссионера и остался верен ему до конца своих дней.

Это не был дом того ученика Иисуса, который продал его за тридцать сребреников. Я объясняю это, чтобы отдать должное Иуде, человеку совсем иного склада, чем упомянутый мною выше. Это совсем другой человек, и жил он в прекрасном доме. Жаль, что мы знаем о нем так мало.

Изложенные мною сведения предназначаются для людей, которые не

станут читать библейскую историю, если не принудить их к этому какой-нибудь хитростью. Надеюсь, что среди многих сторонников прогресса и образования не найдется ни одного, кто будет ставить мне палки в колеса при исполнении этой миссии.

Улица, называемая Прямой, несколько прямее штопора, но не сравнится в прямизне с радугой. Евангелист Лука не решается утверждать, что эта улица — прямая, но говорит осторожно: «улица *так называемая* Прямая». Это тонкая ирония; и по-моему, это единственная шутка во всей Библии. Мы проехали изрядный кусок по улице, так называемой Прямой, потом спешили и нанесли визит дому Анании. Часть старого дома несомненно сохранилась — это комната футах в двенадцати — пятнадцати под землей, — сразу видно, что его каменная кладка очень древняя. Если во времена апостола Павла Анания и не жил здесь, то уж непременно жил кто-нибудь другой, а это не составляет разницы. Я напился воды из Ананиева колодца, и, как это ни странно, вода оказалась такой свежей, словно его вырыли только вчера.

Мы отправились дальше, к северной окраине города, чтобы увидеть место, где темной ночью ученики Господа спустили Павла по ту сторону городской стены, — ибо он так бесстрашно проповедовал учение Иисуса, что жители Дамаска хотели убить его, как они сделали бы и сегодня, услышь они те же слова, — и ему пришлось ради спасения своего бежать в Иерусалим.

Потом мы посетили могилу детей Магометовых и могилу, в которой будто бы похоронен святой Георгий, убивший дракона, и добрались до пещеры под скалой, в которой скрывался Павел после своего побега, пока преследователи не перестали гнаться за ним; а потом нам показали мавзолей, воздвигнутый в память пяти тысяч христиан, которых турки вырезали в Дамаске в 1861 году. Говорят, по его узким улочкам несколько дней подряд потоками лилась кровь; мужчин, женщин, детей убивали без разбору, и сотни неубранных трупов валялись по всему христианскому кварталу; зловоние было ужасное. Все христиане, кто только мог, бежали из города, а магометане не желали пачкать руки, предавая земле «неверных собак». Жажда крови обуяла и горных жителей Хермона и Антиливана, и вскоре еще двадцать пять тысяч христиан были вырезаны, а имущество их разграблено. Как люто ненавидят христиан в Дамаске, да и по всей Турецкой империи! И как дорого они заплатят за это, когда Россия вновь наведет на них свои пушки!

На душе становится легче, когда поносишь Англию и Францию за их старания спасти Оттоманскую империю от гибели, которой она вполне

заслужила за минувшее тысячелетие. Мое самолюбие страдает, когда я вижу, что эти язычники отказываются отведать приготовленной для нас пищи, есть из тарелок, из которых ели мы, или пить из бурдюка, оскверненного прикосновением наших нечестивых уст, не процедив воду через тряпочку или через губку! Ни один китаец не вызывал у меня такой неприязни, как эти вырождающиеся турки и арабы, и я надеюсь, что, когда Россия будет готова снова пойти на них войной, Англия и Франция поймут, что их вмешательство и непристойно и безрассудно.

Жители Дамаска воображают, будто в целом свете нет других таких рек, как их жалкие Авана и Фарфар. Да они и всегда так думали. В «Четвертой книге царств», в пятой главе, Нееман сверх меры похвально им. Это было три тысячи лет назад. Он говорит: «Разве Авана и Фарфар, реки дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» Но кое-кто из моих читателей давным-давно забыл, кто такой Нееман. Нееман — сирийский военачальник. Он был любимец царя и пользовался большим почетом, «и человек сей был отличный воин, но прокаженный». Странное совпадение, что дом, в котором, как нас теперь уверяют, он некогда жил, отведен под больницу для прокаженных, и больные выставляют напоказ свои ужасные уродства и ко всякому входящему протягивают руки, выпрашивая бакшиш.

Пока не побываешь в древнем жилище Неемана в Дамаске и не поглядишь на все эти страшные язвы, не поймешь, как ужасен этот недуг. Искривленные, изуродованные кости, огромные наросты на лице и на теле, сгнившие, отваливающиеся суставы — чудовищное зрелище!

Глава XVIII. Холера. — Жара. — Могила Нимрода. — Самые величественные из всех развалин. — Мы переступаем границу Святой Земли. — Купанье в истоках Иордана. — В погоне за новыми реликвиями. — Кесария Филиппова. — Народ, среди которого проповедовали апостолы. — Чувствительный конь, боготворимый арабами.

В последние сутки нашего пребывания в Дамаске меня свалил сильнейший приступ холеры, и поэтому я с полным правом лежал на широком диване и пользовался совершенно законным отдыхом. Делать мне было нечего, я лишь слушал, как журчит вода в бассейне, да принимал лекарства, да извергал их обратно. Опасное развлечение, но все же куда более приятное, чем путешествие по Сирии. К моим услугам было сколько угодно снега с горы Хермон, и так как он не задерживался у меня в желудке, ничто не мешало мне есть его — всегда было место для новой порции снега. Я наслаждался жизнью. В путешествии по Сирии, как и по всякой другой стране, есть своя прелесть, а кроме того, для разнообразия можно сломать ногу или заболеть холерой.

Мы выехали из Дамаска в полдень, часа два ехали по равнине, потом ненадолго остановились отдохнуть в тени фиговых деревьев. Кажется, никогда еще не было такой жары — солнечные стрелы разили землю, точно струи огня, бьющие из паяльной лампы; казалось, лучи ливнем обрушиваются на голову и скатываются вниз, точно дождевые потоки с крыши. Мне чудилось, будто я всем телом ощущаю удары солнечных лучей, — вот один обрушился мне на голову, скатился по плечам, и вот уже меня настигает другой. Это было ужасно. Пустыня сверкала и слепила, и глаза мои непрестанно слезились. У моих спутников были белые зонтики на плотной темно-зеленой подкладке. Это бесценное благо. Я благодарил судьбу, что и у меня есть такой зонтик; правда, он был запакован и вместе со всем багажом опередил нас на десять миль. Мне сказали в Бейруте (есть люди, которые любят пичкать других советами), что надо быть сумасшедшими, чтобы разъезжать по Сирии без зонтика. Поэтому я и купил себе зонтик.

Но, по совести, я думаю, что там, где нужно спастись от солнца, зонтик только обуза. У арабской фески нет козырька, арабы не пользуются зонтиком и вообще ничем не защищают лицо и глаза и, однако, чувствуют себя на солнце как рыба в воде. Но никогда в жизни не видел я ничего смешнее нашего маленького каравана — уж очень нелепо выглядели мои спутники. Ехали они гуськом, шляпы у всех были обмотаны длинейшими белыми константинопольскими шарфами, свисающими на спину, все были в зеленых, с боковыми стеклами, очках, у всех над головой белые зонтики на зеленой подкладке, у всех без исключения слишком короткие стремяна — никудышная кавалькада, другой такой в целом свете не сыщешь; лошади все до единой движутся тихой рысью, и всадники тянутся друг за дружкой, глядя перед собой неподвижным взглядом и тяжело дыша; все высоко и не в лад подпрыгивают в седле, у всех затекли нелепо задранные колени, все машут локтями, точно петух, готовый закукарекать, и зонтики судорожно подсакивают над головами. Когда видишь средь бела дня это оскорбляющее глаз зрелище, поневоле спрашиваешь себя, почему боги не обрушили на эту безобразную кавалькаду грома небесные и не стерли ее с лица земли! Я смотрел и дивился. Будь моя воля, я бы не допустил, чтобы по моей земле разъезжали подобные караваны.

А когда солнце заходит и путники закрывают зонтики и засовывают их под мышку, картина только меняется, но не становится от этого менее нелепой.

Но, быть может, вы не понимаете, какой у нас дикий и несообразный вид. Окажись вы здесь, вы бы это поняли. Здесь вы все время чувствуете себя так, словно живете этак за тысячу двести лет до рождества Христова, или во времена патриархов, или чуть ближе к нашей эре. Вокруг нас библейские пейзажи, повсюду уклад жизни времен патриархов, те же люди в тех же развевающихся одеждах и сандалиях встречаются на вашем пути, те же нескончаемые вереницы величественных верблюдов проходят мимо, и, как в далекой древности, горы и пустыню объемлет та же молитвенная торжественность, то же безмолвие, — и вот в эту тишину и покой вторгаются шумливые янки в зеленых очках, с растопыренными локтями и подпрыгивающими зонтиками! Они здесь столь же к месту, как зеленый зонтик под мышкой у Даниила, брошенного на съедение львам^[172].

Мой зонтик остался в багаже, зеленые очки тоже — там они и останутся. Я не стану ими пользоваться. Я проявлю хоть немного уважения к извечной гармонии, не стану сочетать несочетаемое. Достаточно неприятно будет получить солнечный удар, но незачем при этом еще выставить себя на посмеище. Пусть я упаду, но по крайней мере я

сохраню человеческий образ.

Часах в четырех езды от Дамаска мы миновали то место, где так внезапно был обращен Савл, и здесь обернулись назад и глядели на выжженную пустыню; и в последний раз мелькнул перед нами прекрасный Дамаск в зеленом блистающем уборе. С наступлением ночи для нас раскинули шатры на краю дрянной арабской деревушки Джонсборо. Разумеется, настоящее ее название Эль и как-то там дальше, но мои спутники все еще не желали понимать и произносить арабские названия. Говоря, что это самая заурядная деревушка, я имею в виду, что все сирийские селения в радиусе пятидесяти миль от Дамаска очень похожи одно на другое, — так похожи, что обыкновенному смертному не постичь, чем они разнятся между собой. В сирийском селении хижины тесно жмутся одна к другой, как соты в улье, они все одноэтажные (высотой в человеческий рост) и квадратные, как ящик из-под галантерейного товара; хижины, включая и плоскую крышу, обмазаны глиной и кое-как побелены. Одна и та же крыша часто простирается на полдеревни, покрывая множество «улиц», каждая из которых обычно не шире ярда. Когда в полдень въезжаешь в такую деревушку, первым делом натыкаешься на унылого пса, который поднимает голову и безмолвно просит не переехать его, но при этом и не думает посторониться; потом попадаетесь навстречу нагой мальчишка, он протягивает руку и говорит: «Бакшиш!» — он, собственно, не рассчитывает получить монетку, но этому слову он выучился еще прежде, чем слову «мама», и теперь это стало неистребимой привычкой; потом встречаешь женщину, лицо ее закрыто черным покрывалом, а грудь обнажена; и наконец дети — дети с гноящимися глазами, хилые, всячески изувеченные; и тут же в пыли, прикрытый грязными лохмотьями, смиренно сидит жалкий калека, чьи руки и ноги искривлены и скрючены, как виноградная лоза. Пожалуй, больше никого и не встретишь. Остальные жители спят или пасут коз на равнинах и на склонах гор. Селение построено на берегу какой-нибудь чахоточной речушки, по берегам разрослась молодая, свежая зелень. А во все стороны от этого оазиса на многие мили тянутся одни пески и камень, поросшие кое-где серыми метелками, похожими на полынь. Зрелища более печального, чем сирийское селение, даже и вообразить невозможно, и окрестности его как нельзя более подходят к нему.

Я бы не стал вдаваться в подробное описание сирийских селений, если бы не то обстоятельство, что Нимрод, сильный зверолов, прославленный в Священном Писании, похоронен в Джонсборо, и я хотел бы, чтобы читатели знали это место. Его могилу, как и могилу Гомера, показывают в

самых разных местах, но только здесь покоится подлинный, неподдельный прах Нимрода.

Больше четырех тысяч лет назад, когда племена, первоначально населявшие этот край, были рассеяны по всей земле, Нимрод со многими спутниками ушел миль за четыреста и поселился на том месте, где потом вырос великий город Вавилон. Нимрод построил этот город. Это он начал возводить знаменитую Вавилонскую башню^[173], но ему не дано было ее достроить. Он возвел восемь ярусов, два из которых стоят и по сей день, — гигантская кирпичная кладка, рассевшаяся посредине от землетрясений, опаленная и наполовину расплавленная молниями разгневанного бога. Огромные развалины долго еще будут стоять как немой укор немощным строителям новых поколений. Они достались совам и львам, а старик Нимрод лежит всеми забытый в этой жалкой деревушке, вдали от мест, где он начал осуществлять свою грандиозную затею.

Ранним утром мы снялись с лагеря в Джонсборо. Мы ехали, ехали, ехали, томимые голодом и жаждой, и казалось, не будет конца этому пути по опаленной зноем пустыне и скалистым горам. Очень скоро в наших бурдюках не осталось ни капли воды. В полдень мы сделали привал неподалеку от жалкого арабского городишки Эль-Юба-Дам, примостившегося на склоне горы, но драгоман сказал, что, если мы спросим здесь воды, все племя нападет на нас, ибо здешние жители не любят христиан. Пришлось ехать дальше. Спустя два часа мы добрались до подножия одиноко стоявшей высокой горы, увенчанной разрушенным замком Баниас^[174]; насколько нам известно, это самые величественные на свете развалины такого рода. Замок занимает тысячу футов в длину и двести в ширину, и каменная кладка его необыкновенно симметрична и притом невероятно массивна. Внушительные башни и бастионы поднимаются на тридцать футов, а прежде высота их достигала шестидесяти. Разбитые башенки, которые возвышаются над остроконечной горной вершиной среди дубовых и оливковых рощ, необычайно живописны. Замок этот столь древен, что никому не ведомо, когда он построен и кем. Он совершенно неприступен, лишь в одном месте горная тропа вьется среди огромных камней и взбирается вверх к старому подъемному мосту. За многие сотни лет, пока замок был обитаем и охранялся силой оружия, лошадиные копыта пробили в скалах ямки глубиной в шесть дюймов. Три часа бродили мы по залам, склепам, подземным темницам этой крепости, и ноги наши ступали там, где звенели кованые каблуки многих и многих крестоносцев и где задолго до них шагали герои Финикии.

Нам казалось, что даже землетрясению не поколебать этих могучих каменных стен; какие же силы могли превратить Баниас в развалины? Но немного погодя мы нашли разрушителя, и удивление наше возросло стократ. Семена залетели в расщелины массивных стен, проросли, нежные, тоненькие ростки окрепли, они росли и росли, и под неуловимым, но упрямым напором каменные глыбы раздались, и гигантское сооружение, которое устояло даже против землетрясений, теперь непоправимо разрушается. Узловатые, корявые деревья поднялись из всех щелей и украсили и затенили серые зубчатые стены буйной листвой.

С древних башен мы смотрели вниз, на широко раскинувшуюся зеленую равнину, поблескивающую озерами и ручьями, из которых берет начало священная река Иордан. После бесконечной пустыни картина эта радовала глаз.

Вечерело, и мы стали спускаться с горы через библейские дубравы Васана (тут мы наконец перешли границу и впервые ступили на вождевленную Святую Землю) и у самого ее подножья вошли в отвратительную деревушку Баниас на краю широкой долины и расположились лагерем в большой оливковой роще у пенящегося потока, берега которого окаймляли фиги, гранаты и олеандры в пышном зеленом уборе. Если бы не близость деревушки, тут был бы настоящий рай.

Когда добираешься до привала измученный жарой и весь в пыли, больше всего на свете жаждешь искупаться. Мы поднялись по ручью и ярдах в трехстах от шатров, там, где он низвергается с горы, окунулись в ледяную воду; не знай я, что это главный источник священной реки, я мог бы подумать, что ванна эта мне даром не пройдет. Ведь по словам доктора Б. Я заболел холерой оттого, что в полдень искупался в ключевой воде Аваны, реки дамасской; впрочем, у меня от всякого купанья начинается холера.

Наши неисправимые паломники опять натащили полные карманы разных обломков и осколков. Пора бы уже положить конец этому злу. Они отбивали кусочки от гробницы Ноя, от прекрасных статуй баальбекских храмов, от дома Иуды и Анании в Дамаске, с могилы Нимрода, сильного зверолова, с древних стен баниасского замка, на которых еще не совсем стерлись греческие и римские надписи, а теперь они дробят и терзают древние арки, на которые взирал сам Иисус во плоти. Да сохранит небо священную могилу, когда они нагрянут в Иерусалим.

Здесьние руины ничем не примечательны. Тут сохранились массивные стены большого квадратного сооружения, которое было некогда крепостью; тут много древних тяжеловесных арок, которые почти совсем погребены

под осколками, так что их едва видно; тут в толстостенной трубе по сей день стремится свои воды кристальный ручей, от которого берет начало Иордан; в склоне горы сохранился фундамент мраморного храма, построенного Иродом Великим^[175], — еще можно увидеть обломки выложенного прекрасной мозаикой пола; тут диковинный каменный мост, возведенный, быть может, еще до Ирода; повсюду, на тропинках, и под деревьями, валяются коринфские капители, разбитые порфиновые колонны и мелкие обломки статуй; и вон там, наверху, на краю обрыва, с которого низвергается поток, уже почти совсем стерлись греческие и римские надписи, прославляющие лесного бога Пана, которому некогда поклонялись греки, а за ними и римляне. Но теперь на развалинах разрослись кусты и деревья; жалкие хижины горсточки грязных арабов прилепились к обвалившимся древним стенам; глядя на это сонное, оцепеневшее захолустье, с трудом веришь, что некогда, пусть даже две тысячи лет назад, здесь был оживленный, прочно выстроенный город. И однако именно здесь произошло событие ставшее источником многих деяний, которым посвящены страницы и томы истории человечества. Здесь, на этом самом месте, Христос сказал Петру:

Ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою^[176] и врата ада не одолеют ее;
и дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле то будет разрешено на небесах.

На этих кратких изречениях покоится все могучее здание римской церкви; в них заложена основа безмерной власти пап над мирскими делами и их божественное право предать душу проклятию или очистить ее от греха. Стремясь удержать за собой положение «единственной истинной церкви», на которое притязает католичество, римская церковь воюет и трудится вот уже много столетий и не ослабит усилий до скончания века. Пожалуй, лишь благодаря этим памятным словам, приведенным мною, разрушенный город и по сей день возбуждает в людях интерес.

Странное это ощущение — стоять на земле, по которой некогда ступала нога Спасителя. Все здесь вызывает чувство подлинности и осязаемости, а ведь это никак не вяжется с той неопределенностью, тайной, нереальностью, которые обычно нераздельны с представлением о божестве. У меня все еще не укладывается в голове, что я сижу на том самом месте, где стоял Бог, гляжу на тот ручей и на те горы, на которые

смотрел и он, и меня окружают смуглые мужчины и женщины, чьи предки видели его и даже разговаривали с ним запросто, как стали бы разговаривать с любим, самым обыкновенным чужестранцем. Непонятно мне это, — на мой взгляд, боги всегда были очень далеки от нас, грешных, и скрывались где-то в облаках.

Утром, когда мы завтракали, вдоль границы нашего лагеря, словно обведенного заколдованным кругом, как всегда, собрались бедняки, терпеливо ожидая крох, которые им, быть может, подадут, сжавившись над их убожеством и нищетой. Тут были старики и дети с коричневой и с желтой кожей. Среди мужчин есть рослые, крепкие (мало где увидишь таких силачей и красавцев, как на Востоке), но все женщины и дети старообразны, унылы, измучены голодом. Они напомнили мне индейцев. Они почти нагие, но их скудные одежды пестры и причудливы. Любое пустяковое украшение или побрякушку они пристраивают так, чтобы оно сразу же бросалось в глаза. Они сидели молча и с неистощимым упорством следили за каждым нашим движением, следили неотступно, как умеют одни только индейцы, — беззастенчиво и без жалоб; от этих взглядов белому становится не по себе, они будят в нем зверя, и он готов истребить все племя.

У этих людей есть и другие черты, которые я замечал у благородных краснокожих: на них кишат паразиты, и тела их покрыты корой запекшейся грязи.

Маленькие дети находятся в самом жалком состоянии — у всех гноятся глаза, и они страдают еще многими иными болезнями. Говорят, на всем Востоке не найти ребенка, который не страдал бы глазами, и каждый год тысячи детей слепнут на один, а то и на оба глаза. Я думаю, так оно и есть, потому что каждый день встречал множество слепых, и не помню, чтобы хоть раз видел ребенка со здоровыми глазами. Можете вы представить себе, чтобы в Америке женщина битый час держала своего ребенка на руках и не попыталась согнать тучи мух, облепивших его глаза? А здесь я это вижу каждый день. И всякий раз у меня кровь стынет в жилах. Вчера нам повстречалась женщина верхом на ослике, с младенцем на руках; издали мне показалось, что ребенок в очках, и я еще подумал, как эта женщина могла позволить себе такую роскошь. Но, подъехав ближе, мы увидели, что это не очки, а мухи, расположившиеся лагерем вокруг его глаз, а еще один отряд их производил разведку на носу. Мухи были в восторге, ребенок не протестовал, а потому и мать не вмешивалась.

Едва арабы прослышали, что среди нас есть врач, они стали стекаться к нам со всех сторон. Доктор Б. По доброте душевной взял ребенка у

сидевшей неподалеку женщины и чем-то промыл его больные глаза. Женщина ушла и подняла на ноги всех своих соплеменников — и уж тут было на что посмотреть! Увечные, хромые, слепые, прокаженные — все немощи, порожденные ленью, грязью и беззаконием, — все были представлены на этом конгрессе, созванном в какие-нибудь десять минут, и народ все еще прибывал. Каждая женщина принесла больного младенца — если уж не своего, то соседского. Какие почтительные, благоговейные взоры обращали они к этой пугающей, таинственной силе — Доктору! Они следили, как он доставал свои склянки и пузырьки, как отсыпал белый порошок, как отмерял по капле одну драгоценную жидкость за другой, они не пропускали ни единого его движения, не сводили с него зачарованных глаз, и ничто не могло разрушить это очарование. Без сомнения, они верили, что он всемогуществом равен Богу. Когда они получали свою долю лекарств, глаза их сияли радостью, — хотя по натуре это народ неблагодарный и бесстрастный, — на каждом лице была написана непоколебимая вера, что нет на свете силы, которая помешала бы теперь больному исцелиться.

Христос знал, чем привлечь сердца этого простодушного, суеверного, терзаемого недугами народа: он исцелял страждущих. В это утро, когда по всей округе разнеслась весть о том, что наш доктор, простой смертный, помог больному ребенку, люди сбегались к лагерю, окружили доктора и глядели на него с благоговением, хотя еще не знали, будет ли толк от его снадобий. Их предки, которые ничуть не отличались от них ни цветом кожи, ни одеждой, ни обычаями и нравами, ни простодушием, толпами стекались к Христу, — и не диво, что, когда на глазах у них он единым словом исцелял страждущего, они стали поклоняться ему. Не диво, что молва о его деяниях передавалась из уст в уста. Не диво, если толпы, следовавшие за ним, были столь велики, что однажды — в тридцати милях отсюда — больного пришлось спустить в дом через крышу, ибо невозможно было пробиться к двери; не диво, что в Галилее несчетные толпы собрались послушать его и ему пришлось проповедовать с лодки, которая отошла от берега; не диво, что, даже когда он удалился в пустыню близ Вифсаиды, пять тысяч человек последовали за ним и нарушили его уединение; и если бы он не накормил их при помощи чуда^[177], ему пришлось бы видеть, как они терпят голод из-за своей безграничной веры и преданности; не диво, что, когда в те дни в каком-либо городе начиналось волнение и сутолока, сосед объяснял соседу: «Говорят, пришел Иисус из Назарета!»

Итак, я уже сказал, что доктор оделял всех лекарствами до тех пор, пока было чем оделять, и он прославил себя этим по всей Галилее. Среди

пациентов был и ребенок дочери шейха, ибо даже у этой горстки оборванных нищих, погрязших в болезнях и грехе, есть его величество шейх — жалкая старая мумия, которую естественней было бы увидеть в богадельне, чем на посту верховного правителя этого племени несчастных, полуголых дикарей. Принцессе — я имею в виду дочь шейха — всего лет тринадцать-четырнадцать, у нее милое, хорошенькое личико. Это единственная из всех встреченных нами в Сирии женщин, которая не страшна как смертный грех, поэтому при виде ее праведник не осквернит бранью день субботний. Однако ребенок ее наводил на грустные размышления: бедняжка был ужасающе худ, кожа да кости, и смотрел на нас так жалобно, будто понимал, что если сейчас ему не посчастливится, то больше уж надеяться не на что; и все мы исполнились к нему самым искренним, неподдельным состраданием.

Но я слышу, что моя новая лошадь, видимо, решила сломать себе шею, натываясь на канаты, которыми закреплены наши шатры, и мне придется пойти ловить ее. С Иерихоном я распрощался. Новым конем тоже не очень-то похвастаешь. Одна задняя нога у него вихляет, а другая — прямая и негнущаяся, как жердь. Он почти совсем беззубый и слеп, как летучая мышь. Нос был когда-то перебит и теперь изогнут, как колено, нижняя губа отвисает, как у верблюда, уши коротко обрублены. Я не сразу подобрал ему имя, но в конце концов решил назвать его Баальбеком — за то, что он такая редкостная развалина. Я не могу не говорить о своих лошадях — ведь мне предстоит долгое, утомительное путешествие, и естественно, что я думаю о них почти столько же, сколько о вещах куда более значительных.

Мы ублаготворили наших паломников, проделав тяжкий путь от Баальбека до Дамаска, но лошади Дэна и Джека пришли в полную негодность, и надо было заменить их другими. Драгоман сказал, что лошадь Джека издохла. Я поменялся лошадьми с Магометом — царственного вида египтянином, адъютантом нашего Фергюсона. Фергюсоном я называю, разумеется, нашего драгомана Авраама. Я выбрал эту лошадь не потому, что она мне приглянулась, а потому, что не посмотрел на ее спину. Я не хочу видеть ее. Я видел спины всех остальных лошадей и заметил, что почти у всех они стерты и покрыты ужасными язвами, которые уже много лет никто не промывал и не смазывал. От одной мысли, что придется весь день подвергать лошадь этой немыслимой, мучительной пытке, становится тошно. Должно быть, моя лошадь ничем не отличается от остальных, но я хоть могу утешаться тем, что не знаю этого наверняка.

Надеюсь, что впредь я буду избавлен от восторгов и умилений по поводу арабов, которые будто бы боготворят своих лошадей. В детстве я

мечтал быть арабом, жителем пустыни, владеть прекрасной кобылицей по имени Селим, Вениамин или Магомет, мечтал, что буду кормить ее из своих рук, и она будет заходить в шатер, и я научу ее тереться об меня и ласково глядеть на меня своими большими нежными глазами; и я воображал, как в такую минуту появится чужестранец и предложит мне за нее сто тысяч долларов, чтобы я мог поступить, как истый араб, — соблазненный деньгами, я буду колебаться, но любовь к моей кобылице возьмет верх, и я наконец скажу: «Расстаться с тобой, красавица моя? Никогда в жизни! Прочь, искушитель, я презираю твое золото!» — и тут же вскочу в седло и как ветер помчусь по пустыне!

И вот теперь я вспоминаю свои мечты. Если арабы, о которых я читал в книгах, похожи на здешних арабов — их любовь к прекрасным кобылицам обман. У тех, которых я знаю, нет любви к лошадям, нет ни капли жалости, и они не знают, как обращаться с лошадыю, как заботиться о ней. В Сирии чепрак — это просто стеганая подстилка толщиной в два-три дюйма. Его никогда не снимают с лошади, ни днем, ни ночью. Он насквозь пропитан пóтом, грязен и облеплен шерстью. Он просто не может не разводить болячек. Этим разбойникам и в голову не приходит вымыть лошади спину. И в шатры лошадей не вводят, они остаются под открытым небом в любую погоду. Взгляните на моего Баальбека, на эту несчастную развалину с подрезанными ушами, и пожалейте о былых восторгах, которые вы попусту потратили на вымышленных Селимов!

**Глава XIX. Дан. — Васан. — Геннисарет. —
Обрывки истории. — Облик страны. — Бедуины-
настухи. — Бедуины мистера Граймса. — Поле
битвы Иисуса Навина. — Битва Барака. —
Запустение.**

После часа езды по неровной, каменистой полузатопленной дороге и по васанским дубравам мы прибыли в Дан.

Здесь на невысоком пригорке берет начало широкий прозрачный ручей, у подножья он образует неглубокое озеро и потом устремляется по равнине бурным полноводным потоком. Это озерцо — один из главных истоков Иордана. Берега его и берега ручья окаймлены цветущими олеандрами, но все же при виде этих невыразимых словами красот уравновешенный человек не станет биться в судорогах, как можно вообразить, начитавшись книг о путешествиях по Сирии.

Если с того места, о котором я говорю, выстрелить из пушки, ядро вылетит за пределы Святой Земли и упадет в трех милях от нее, на неосвященной почве. Всего час прошел, как мы перешли границу и оказались в Святой Земле, мы еще не успели проникнуться сознанием, что под ногами у нас совсем иная почва, чем та, к которой мы привыкли, а сколько исторических имен уже зазвучало вокруг! Дан, Васан, озеро Хула, истоки Иордана, море Галилейское^[178]. Отсюда они видны все, кроме последнего, но и до него рукой подать. Деревушка Васан некогда была царством, которое славилось своими тельцами и дубами, как о том поведало нам Священное Писание. Озеро Хула — это и есть библейские воды Мером. Дан стоял на северной границе Палестины, а Вирсавия на южной — вот откуда пошло выражение «от Дана до Вирсавии». Это все равно что наше «от Мэна до Техаса» или «от Балтиморы до Сан-Франциско». И наше речение и израильское, оба означают одно и то же — большое расстояние. На медлительных верблюдах и ослах путешествие от Дана до Вирсавии — миль полтора или немногим больше — отнимало семь дней, при этом израильтяне пересекали всю свою страну из конца в конец и пускались в путь только после долгих сборов и сложных приготовлений. Когда блудный сын отправился в «дальнюю сторону», похоже, что он ушел всего миль за девяносто, не больше. Ширина Палестины миль сорок, самое большее

шестьдесят. Из штата Миссури можно нарезать три Палестины, и земли еще останется, а пожалуй, хватит и на всю четвертую. От Балтиморы до Сан-Франциско несколько тысяч миль, но через два-три года я смогу проделать это путешествие поездом за те же семь дней^[179]. Если я буду жив, я непременно время от времени буду прибегать к услугам железной дороги, чтобы пересечь континент, но с меня вполне хватит одного путешествия от Дана до Вирсавии. Оно, вероятно, куда труднее. Итак, если мы услышим, что израильтянам расстояние от Дана до Вирсавии казалось огромным, не будем задирать нос, ибо это было и есть огромное расстояние, если к вашим услугам нет железной дороги.

На небольшом пригорке, о котором я уже упоминал, стоял некогда финикийский город Лэйш. Морские разбойники из Цоры и Эскола завладели им и жили там свободно и беспечно, поклоняясь богам собственного изделия, а когда они приходили в негодность, крали идолов у своих соседей. Иеровоам сделал золотого тельца^[180], чтобы привлечь народ свой и удержать его от опасных поездок в Иерусалим, которые могли кончиться тем, что сердце народа вновь обратится к истинному государю. При всем моем почтении к древним израильтянам я не могу не заметить, что они не всегда были столь добродетельны, чтобы устоять перед соблазном золотого тельца. Человеческая природа мало изменилась с тех пор.

Веков сорок тому назад арабские цари из Месопотамии разграбили город Содом и среди прочих пленников захватили патриарха Лота; они повели его в свои владения, а по дороге завернули в Дан. Они привели его сюда, и Авраам, который преследовал их, темной ночью неслышно прокрался меж шелестящих олеандров, скрываясь в тени величавых дубов, напал на спящих победителей и лязгом мечей пробудил их от сна. Он отнял у арабов Лота и всю прочую добычу.

Мы продолжали путь. Теперь мы ехали зеленой долиной, миль шести в ширину и пятнадцати в длину. Ручьи, которые считаются истоками Иордана, текут по ней и вливаются в озеро Хула; оно неглубокое, трех миль в поперечнике, и в южном конце его берет начало река Иордан. Озеро окружено обширной топью, поросшей тростником. Между топью и стеной гор лежит довольно широкая полоса плодородной земли; на краю долины, со стороны Дана, топь отступает, и добрая половина земли плодородна и орошается истоками Иордана. Земли здесь вполне хватило бы для одной фермы. Это почти оправдывает восторги тех соглядатаев, которые привели неутомимых искателей приключений в Дан. Они сказали: «Мы видели землю, и она прекрасна. Нет здесь недостатка ни в чем, и все там есть, чем

богата земля».

Их восторги оправданы хотя бы тем, что они никогда еще не видали такого благодатного края. Земля эта вполне могла прокормить шестьсот мужчин вместе с их семьями.

Когда мы спустились на равнинную часть фермы, оказалось, что здесь можно пустить лошадей рысью. Это выдающееся событие.

День за днем мы мучительно карабкались по бесконечным горам и скалам, и когда вдруг выехали на эту изумительную, совершенно ровную дорогу, каждый вонзил шпоры в бока своей лошади и поскакал с такой скоростью, о какой можно было только мечтать и какая в Сирии казалась совершенно недостижимой.

Местами земля здесь возделана; акр-другой плодородной почвы, на которой кое-где торчат сухие, не толще пальца, прошлогодние стебли кукурузы, — редкая картина в этой стране. Но в такой стране — это волнующее зрелище. Неподалеку бежит ручей, и на его берегах стадо овец и забавных сирийских коз с наслаждением уплетает гравий. Я не поручусь, что так оно и было на самом деле, — я лишь предполагаю, что они ели гравий, потому что больше там есть было нечего. Пастухи были точной копией Иосифа и его братьев^[181]; на этот счет у меня нет никаких сомнений. Это рослые, мускулистые бедуины с очень темной кожей и иссиня-черными бородами. У них сурово сжатые губы, бесстрашные глаза, и движения их царственно величавы. Они носят не то чепцы, не то капюшоны — пестрые, с длинными, падающими на плечи, бахромчатыми концами, и просторные развевающиеся одежды в широкую черную полосу — наряд, который видишь на любой картинке, изображающей смуглых сынов пустыни. Я думаю, что, представься им случай, эти пастухи тоже продали бы своих младших братьев. У них та же осанка и одежда, те же обычаи и занятие и та же беззаботность в вопросах морали, что у их предков. (Прошлой ночью они напали на наш лагерь, и я не питаю к ним добрых чувств.) Ослы у них карликовые, таких повсюду встречаешь в Сирии и помнишь по всем картинам, изображающим «Бегство в Египет»^[182], где Мария с младенцем едет на осле, а Иосиф идет рядом, огромный по сравнению с крохотным животным.

Но на самом деле здесь, как правило, мужчина едет с ребенком на руках, а женщина идет пешком. Со времен Иосифа нравы не изменились. Мы бы не стали держать у себя в доме картину, на которой Иосиф ехал бы, а Мария шла пешком; для нас это было бы кощунством, а для сирийских христиан — нет. И впредь картина, о которой я только что говорил, всегда

будет казаться мне несколько странной.

Мы снялись с лагеря всего каких-нибудь два-три часа назад, поэтому нам, конечно, рано еще было останавливаться на привал, хотя рядом и был ручей. Пришлось еще час оставаться в седле. Мы опять увидели воду, но нигде во всей этой пустыне нет ни клочка тени, а солнце жгло немилосердно. «Как в тени большой скалы на истомленной земле». Нет в Библии слов прекрасней, и, наверно, еще никогда и нигде за время наших странствий не трогали они нас так, как в этой сожженной солнцем, голой, без единого деревца, земле.

Здесь делают привал не когда хотят, а когда это возможно. Мы нашли воду, но там не было тени. Поехали дальше и нашли наконец дерево, но там не было воды. Мы отдохнули, позавтракали и вот приехали сюда, в Айн Мелак. (Мои спутники назвали его Болдуинсвиллом.) Дневной переход на сей раз был очень короткий, но драгоман не желает ехать дальше и изобрел вполне правдоподобную ложь о свирепых арабах, которыми кишмя кишат все окрестности, и поэтому ночлег за пределами Айн Мелаха слишком опасное времяпрепровождение. Что ж, эти арабы, видимо, и в самом деле опасны. Они вооружены заржавленными, много на своем веку повидавшими кремневыми ружьями с длинным, в человеческий рост, стволом без прицела, и пуля его летит не дальше брошенного рукою камня и разит куда менее верно. За пояс, — а поясом им служит обернутый несколько раз вокруг талии широкий шарф, — у них заткнуты два-три огромных пистолета, никогда не бывших в употреблении и заржавевших; такое оружие будет давать осечку до тех пор, пока вы не окажетесь вне пределов досягаемости, а потом взорвется, и тогда прощайся араб с головой. Они очень, очень опасны, эти сыны пустыни.

Прежде, когда я читал о том, как Вильяму Граймсу едва-едва удавалось ускользнуть от бедуинов, у меня кровь стыла в жилах, но если мне снова придется читать об этом, я и бровью не поведу. По-моему, он ни разу не говорит, что бедуины напали на него или хотя бы неучтиво обращались с ним, но чуть ли не в каждой главе они приближаются к нему, и у него особый дар так расписывать опасности, что у читателя волосы становятся дыбом; и спрашивать себя, каково было бы его родным, если бы они видели, какая страшная угроза нависла над их бедным мальчиком, измученным скитаньями, с затуманенным усталостью взором; и вспоминать в последний раз отчий дом, и милую старую церковь, и корову, и все прочее; и наконец, выпрямившись во весь рост в седле и расправив плечи, выхватить свой верный пистолет, дать шпоры «Магомету» и ринуться на свирепого врага с твердым решением дорого продать свою

жизнь. Правда, когда уж он съезжался с бедуинами, они ни разу ему ничего худого не сделали и даже не собирались никогда, — и только диву давались, чего он так распетушился; а все же я всякий раз не мог отделаться от мысли, что лишь отчаянная храбрость спасла его от гибели; и потому, почитав на сон грядущий о бедуинах Вильяма Граймса, я никогда не мог спать спокойно. Но теперь я знаю, что эти его бедуины — чистейший обман. Я видел чудовище, и теперь оно мне не страшно. Нет, у него никогда не хватит смелости пустить в ход свое допотопное оружие.

Примерно за полторы тысячи лет до рождения Христа на том месте, где мы сейчас раскинули лагерь, у вод Меромских, разыгралось одно из самых жарких сражений Иисуса Навина. Иавин, царь Асорский (царство его находилось по ту сторону Дана), созвал всех соседних шейхов с их ополчением, чтобы сразиться с грозным израильским полководцем, который шел на них войной.

И собрались все цари сии, и пришли, и расположились станом вместе при водах Меромских, чтобы сразиться с Израилем.

И выступили они, и все ополчение их с ними, многочисленный народ, который множеством равнялся песку на берегу морском.

Но Иисус напал на них и перебил всех до единого. Таков был его метод ведения войны. Он никогда не давал газетам возможности поспорить о том, кто же выиграл битву. Эту долину, столь мирную сегодня, он обратил в дымящуюся бойню.

Где-то в этих краях — не знаю в точности где — лет через сотню израильтяне вступили в еще одно кровопролитное сражение. Пророчица Девора повелела Бараку взять десять тысяч воинов и выступить против другого царя Иавина, который в чем-то провинился. Варак сошел с горы Фавор, милях в двадцати пяти отсюда, и дал бой войску Иавина, которым командовал Сисара. Варак выиграл битву и, чтобы сделать победу полной, истреблял, как тогда было принято, остатки ополчения, а тем временем Сисара убежал пешком; измученный усталостью и жаждой, он едва держался на ногах, и некая Иаиль, женщина, с которой он, видимо, был знаком, пригласила его отдохнуть в ее шатре. Усталый воин охотно принял приглашение, и Иаиль уложила его в постель. Он сказал, что изнывает от жажды, и попросил у своей великодушной спасительницы испить воды. Она принесла ему молока, он отпил с благодарностью и снова лег, чтобы

забыться сном и не вспоминать о проигранном сражении и униженной гордости. Едва он уснул, Иаиль взяла молот и кол от шатра, тихонько подошла к нему и пробила ему череп!

«...а он спал от усталости — и умер». Так трогательно просто сказано в Библии. Ликующая «Песнь о Деворе и Вараке» восхваляет Иаиль за ее памятное деяние.

Да будет благословенна между женами Иаиль, жена Ховера Кенеянина, между женами в шатрах да будет благословенна.

Воды просил он; молока подала она, в чаше вельможеской принесла молока лучшего.

(Левую) руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников; ударила Сисару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его.

К ногам ее склонился, пал и лежал; к ногам ее склонился, пал; где склонился, там и пал сраженный.

Теперь уже в этой долине не увидишь подобных волнующих сцен. В какую сторону ни пойдешь, на тридцать миль вокруг не встретишь хотя бы одинокой деревушки. В двух-трех местах жмутся друг к другу шатры бедуинов, но оседлых жителей тут нет. Здесь можно проехать десять миль, не встретив и десяти человек.

К этому краю вполне подходят слова одного из пророков:

Я опустошу землю твою; и враги твои, живущие на ней, изумятся. И рассею народ твой среди язычников, и обращу меч на тебя; и земля твоя будет пустыней, и города твои опустеют

Стоя здесь, у опустевшего Айн Мелаха, никто не осмелится сказать, что пророчество не исполнилось.

В библейском стихе, который я привел выше, есть слова: «все цари сии». Они сразу же привлекли мое внимание, потому что здесь я воспринял их совсем иначе, чем дома. Теперь мне уже совершенно ясно, что если я хочу извлечь пользу из этого путешествия и составить себе правильное представление обо всем том, с чем мы здесь сталкиваемся, мне придется накрепко забыть очень многое из того, что я знал о Палестине прежде. Мне придется прибегнуть к методу сокращения. Подобно кисти винограда, которую соглядатаи принесли из земли обетованной, все палестинское виделось мне в слишком большом масштабе. Некоторые мои представления

были довольно дики. Слово «Палестина» будило в моем воображении смутный образ страны, такой же огромной, как Соединенные Штаты. Почему — не знаю, но так уж оно было. Скорее всего, у меня просто не укладывалось в голове, что у маленькой страны может быть столь богатая событиями история. Признаться, я был несколько удивлен, убедившись, что великий турецкий султан не выше простого смертного. Надо постараться свести мои представления о Палестине к более скромным размерам. Иной раз всю жизнь не можешь отделаться от впечатлений, полученных в детстве. «Все цари сии». Когда я читал эти слова в воскресной школе, я мысленно видел торжественную процессию монархов таких стран, как, скажем, Англия, Франция, Испания, Германия, Россия и т. п., в пышных одеждах, на которых горят и переливаются драгоценные камни; в руках у них золотые скипетры, а на головах сверкающие короны. Но здесь, в Айн Мелахе, после того как мы проехали по Сирии и основательно изучили особенности и обычаи этой страны, слова «все цари сии» утратили свое величие. Теперь я знаю, что это лишь горсточка мелких царьков, полуголых и полуголодных дикарей вроде наших индейских племен, которые жили на виду друг у друга и чьи «царства» считались большими, если они занимали пять квадратных миль и насчитывали две тысячи душ. Монархии тридцати «царей», уничтоженные Иисусом Навином во время одного из его знаменитых походов, все вместе равнялись по величине примерно четырем нашим средним округам. Жалкий старый шейх, которого мы видели в Кесарии вместе с сотней его ободранных приближенных, в те далекие времена тоже именовался бы «царем».

Семь утра. И так как мы на лоне природы, траве полагалось бы сверкать росой, цветам разливать в воздухе благоухание и птицам щебетать среди ветвей. Но — увы! — здесь нет ни росы, ни цветов, ни птиц, ни деревьев. Здесь лишь равнина, палимое солнцем озеро и за ним голые скалы. Шатры свернуты, арабы, по обыкновению, яростно грызутся между собой, повсюду валяются свертки и узлы, их поспешно выючат на мулов, лошади оседланы, зонтики наготове — через десять минут мы сядем на коней и вновь двинемся в путь. Белый город Мелах, на краткий миг воскресший из мертвых, вновь исчезнет без следа.

Глава XX. Приключение Джека. — История Иосифа. — Священное озеро Геннисарет. — Восторги паломников. — Почему мы не пустились в плавание по морю Галилейскому. — Капернаум. — Поездка в Магдалу.

Несколько миль мы ехали по унылым местам, — почва довольно плодородная, но заросла сорными травами, — по безмолвным, мрачным просторам, где мы встретили только трех человек: трех арабов, одетых в одни лишь длинные грубые рубахи вроде той дерюги, которая не так давно служила единственным одеянием негритянских мальчишек на плантациях Юга. То были пастухи, и они повелевали своими стадами при помощи классической пастушьей свирели — тростниковой дудочки, издающей поистине адские звуки, под стать арабскому пению.

В их свирелях не слышно даже слабого отголоска той дивной музыки, какую слышали предки пастухов на равнинах Вифлеема, когда ангелы пели «Мир на земле и в человецех благоволение».

Земля, по которой мы ехали, зачастую и не земля вовсе, а камень — желтоватый, гладкий, словно отполированный водой; редко увидишь острый край или угол, он ноздреват, источен, весь во впадинах, придающих ему какую-нибудь странную, неожиданную форму, и зачастую походит на череп. Здесь кое-где еще сохранились остатки древней римской дороги, напоминающей Аппиеву дорогу, и плиты ее держатся за свое место с истинно римским упорством.

Серые ящерицы, законные наследницы руин, гробниц и всяческого запустения, скользят там и сям среди камней или мирно греются на солнце. Всюду, где процветание сменилось упадком, где слава вспыхнула и погасла, где красота обитала и исчезла, где на смену радости пришла скорбь, где жизнь была ключом, а теперь воцарились тишина и смерть, — всюду поселяются ящерицы и глумятся над суетой сует. Наряд ящерицы цвета пепла, а пепел — символ несбывшихся надежд, неосуществленных желаний, погибшей любви. Если бы она обладала даром речи, она сказала бы: «Возводи храмы — я буду владыкой их развалин; возводи дворцы — я поселюсь в них; создавай империи — я наследую их; хорони своих красавиц — я увижу, как трудятся могильные черви; и ты, что стоишь здесь

и рассуждаешь обо мне, — я еще когда-нибудь поползу по твоему трупу».

В этом пустынном месте мы увидели и муравьев, они проводят здесь лето. Провизию они доставляют из Айн Мелаха, за одиннадцать миль отсюда.

Джеку сегодня нездоровится, это сразу видно, но он настоящий мужчина, хоть и юнец, и не говорит о подобных пустяках. Вчера он слишком долго пробыл на солнце, но так как причиной тому была любознательность и желание извлечь из нашего путешествия как можно больше пользы, никто не говорит ему: «Сам виноват». Мы хватились, что его уже целый час нет в лагере, и потом отыскивали неподалеку у ручья; он не взял с собой зонтика, и ничто не защищало его от жгучего солнца. Если бы он привык обходиться без зонтика, все сошло бы благополучно, но он к этому не привык. Когда мы подошли, он как раз собирался кинуть камень в черепаху, которая грелась на коряге посреди ручья.

— Не надо, Джек, — сказали мы. — За что вы ее? Что она вам сделала?

— Ладно, я ее не убью; а следовало бы, ведь она обманщица.

Мы спросили — почему, но он ответил, что это не важно. По дороге к лагерю мы еще раз спросили его и еще, но он снова ответил, что это не важно. Поздним вечером, когда он, задумавшись, сидел у себя на постели, мы задали ему все тот же вопрос, и он сказал:

— Да это не важно. Теперь уж мне все равно, но, понимаете, днем мне это не понравилось; ведь я сам никогда ничего не выдумываю, и, по-моему, полковнику тоже не следовало бы. А он выдумывает. Вчера вечером во время молитвы в шатре паломников он сказал — и похоже даже было, что он читает по Библии, — что в этой стране реки текут млеком и медом и что здесь можно услышать голос черепахи^[183]. Я подумал, что насчет черепахи это, пожалуй, уж слишком, но потом я спросил мистера Черча, правда ли это, и он сказал, что правда; а если уж мистер Черч говорит, я ему верю. Но вот сегодня я добрый час сидел и наблюдал за черепахой и совсем изжарился на солнце, а она так ни разу и не запела. С меня сошло семь потов, честное слово не меньше, пот заливал мне глаза и капал с носа; и вы же знаете, штаны у меня узкие, как ни у кого, — все эта глупая парижская мода, — да еще подшиты оленьей кожей, так они пропотели насквозь, а потом высохли и стали коробиться, и жали, и натирали — это была просто пытка, — а черепаха так и не запела. Наконец я сказал себе: это обман, вот что это такое, самый настоящий обман; и будь у меня хоть капля здравого смысла, я бы знал, что черепахи не поют. И тогда я решил: будем справедливы к этой особе, дадим ей десять минут сроку, а уж если и через

десять минут она не запоеет — ей не уцелеть. И все-таки она не запела. Я все сидел и ждал, а вдруг она вот-вот запоеет, потому что она поминутно то поднимала, то опускала голову, то закрывала глаза, то опять открывала, как будто старалась выучить какую-то песню наизусть, но как раз когда десять минут прошли и я совсем уже измучился и испекся, эта проклятая черепаха положила голову на бугорок и заснула крепким сном.

— Да, это, пожалуй, и вправду неприятно, ведь вы так долго прождали.

— Вот и я так думаю. Тут я сказал: «Ладно, не хочешь петь — не надо! Но и спать тебе тоже не удастся». И если бы вы не помешали, я заставил бы ее убраться из Галилеи с такой скоростью, о какой ни одна черепаха и мечтать не могла. Но теперь все это уже не важно, Бог с ней. У меня сзади на шее вся кожа слезла.

Часов в десять утра мы остановились у рва Иосифа. Это разрушенный средневековый караван-сарай, в одном из боковых дворов которого мы увидели глубокий, обнесенный стенами и крытый сводом ров, наполненный водой; предание гласит, что в этот самый ров бросили Иосифа его братья. Более достоверное предание, опирающееся на географию страны, утверждает, что знаменитый ров находится в Дофане, примерно в двух днях пути отсюда. Как бы там ни было, раз многие верят, что это и есть настоящий ров, на него любопытно поглядеть.

Трудно выбрать самое прекрасное место в книге, столь богатой прекрасными страницами, как Библия, но даже под этим переплетом не много есть таких, которые могут сравниться с волнующей повестью об Иосифе. Кто научил этих древних авторов простоте слога, меткости выражений, пафосу, а главное — этому дару оставаться в тени: рассказывать обо всем так, что повествование течет словно само собою и само за себя говорит? Шекспир всегда присутствует в своих сочинениях, и следуя за величавой поступью периодов Маколея, тоже ощущаешь его присутствие, но создатели Ветхого завета невидимы глазу.

Если ров, о котором я говорил, подлинный, значит здесь много веков назад случилось то, что всем нам знакомо по картинкам. Неподалеку отсюда сыновья Иакова пасли свои стада. Отец, встревоженный их долгой отлучкой, послал Иосифа, своего любимца, поглядеть — не случилось ли с ними чего. Иосиф провел в пути шесть или семь дней; он шел по этой земле, самой унылой, каменистой и пыльной во всей Азии; ему было всего семнадцать лет, и он, как мальчишка, гордился своим пестрым фракком. Иосиф был любимец отца, и в глазах братьев это было его первое преступление; он видел сны и говорил, будто они предвещают, что в далеком

будущем он возвысится над всей своей семьей, — и это было второе его преступление; к тому же у него была красивая одежда, и уж наверно он простодушно тешил свое юношеское тщеславие, не скрывая от братьев своей радости. Таковы были его преступления, и злобные братья сговорились примерно наказать его, как только представится случай. Когда он шел к ним от моря Галилейского, они увидели его и обрадовались. «Вот идет сновидец, — сказали они, — убьем его». Рувим просил их не убивать Иосифа, и они пощадили его жизнь, но схватили его, сорвали с него ненавистную одежду и бросили его в ров. Старшие братья намеревались оставить его там, и конечно он бы умер, а Рувим решил тайком освободить его. Но Рувим ненадолго отлучился, а братья тем временем продали Иосифа измаильтянским купцам, которые направлялись в Египет. Такова история рва. И вот этот самый ров сохранился на этом месте по сей день, и он останется здесь до тех пор, пока с «Квакер-Сити» сюда не нагрянет очередной отряд губителей статуй и осквернителей могил, которые уж наверняка выкопают весь этот ров и увезут с собой, — ибо нет в них уважения к священным памятникам старины, и куда бы они ни пришли, они все разрушают и ничего не щадят.

Иосиф стал человеком богатым, почитаемым, могущественным, «начальствующим над всей землею Египетской», как говорится в Библии. Иосиф был настоящим царем в Египте, он был силой и мозгом монархии, хотя титул и оставался за фараоном. Иосиф один из подлинно великих мужей Ветхого завета. И он был самый благородный и самый мужественный из всех, кроме разве Исава. Почему не сказать доброго слова об этом царственном бедуине? Одно только можно поставить ему в вину — он был неудачник. Почему все должны безмерно восхвалять Иосифа за великодушие и щедрость к его жестоким братьям и кидать лишь жалкую кость похвалы Исаву за его куда большее великодушие к ограбившему его брату?

Воспользовавшись тем, что Исав отчаянно проголодался, Иаков украл у него первородство и великую честь и уважение, которые принадлежали тому по праву; обманом и вероломством он украл у Исава отцовское благословение; по его вине Исав стал чужим в отчем доме и ушел бродить по свету. Но спустя двадцать лет Иаков повстречал Исава и, дрожа от страха, пал к его ногам и жалобно умолял брата избавить его от заслуженного наказания. И как же поступил этот великолепный дикарь? Он кинулся на шею Иакова и обнял его! И когда Иаков, который не способен был понять благородную душу, все еще полный страха и сомнений, «дабы приобрести благоволение в очах господина моего», хотел подкупить Исава,

отдав ему в дар свое стадо, что ответил этот великодушный сын пустыни?

«У меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя!»

Когда они встретились, Иаков был богат, любим женами и детьми и путешествовал с помпой, окруженный слугами, многочисленными стадами и караванами верблюдов, а Исав так и остался бездомным изгнанником, каким он стал по милости брата.

Прошло тринадцать лет, полных чудес, и братья, которые продали Иосифа, голодные и униженные, пришли чужаками в чужую землю купить «немного пищи», а когда их обвинили в краже и призвали во дворец, они узнали в его владельце Иосифа; братья были полны страха: они нищие, а он владыка могущественной империи! Найдется ли на свете человек, который не воспользовался бы таким подходящим случаем сделать широкий жест? Кто же больше достоин восхищения — изгнанник Исав, простивший процветающего Иакова, или же Иосиф, простивший дрожащих оборванцев, удачному злодейству которых он обязан был своим высоким саном?

Перед тем как подойти ко рву Иосифа, мы взобрались на гору, и, не заслоненная ни деревцем, ни кустиком, нам открылась картина, увидеть которую мечтают миллионы верующих во всех концах мира и готовы отдать за это половину всего, что имеют, — в нескольких милях впереди лежало священное море Галилейское!

Вот почему мы не стали мешкать у рва Иосифа. Мы отдохнули сами и дали отдых лошадям и несколько минут наслаждались благословенной тенью древних строений. Вода у нас вся вышла, и два хмурых араба, которые слонялись неподалеку со своими длинными ружьями, сказали, что ни у них, ни где-либо поблизости воды нет. Они знали, что немного солоноватой воды есть во рву, но слишком чтили это священное место, служившее темницей их предку, и не желали, чтобы из него пили христианские собаки. Но Фергюсон связал несколько тряпок и носовых платков и сделал из них веревку, достаточную для того, чтобы можно было кувшином зачерпнуть воды, и мы напились и поехали дальше и вскоре спешили на тех берегах, которые стали священными, ибо по ним ступала нога Спасителя.

В полдень мы искупались в море Галилейском — истинное благо в этом пекле — и потом позавтракали под старым одичавшим фиговым деревом у источника Эйн-э-Тин, в сотне ярдов от развалин Капернаума. Любой ручеек, журчащий меж скал и песков, в этом краю нарекают высоким званием источника, и людей, живущих на берегах Гудзона, Великих озер и Миссисипи, охватывает безмерный восторг, едва они завидят эти «источники», и они пускают в ход все свое умение и мастерство, чтобы излить свою хвалу на бумагу. Если бы собрать воедино все стихи и

весь вздор, посвященный здешним источникам и окрестным пейзажам, получился бы солидный том — неоценимая растопка для печи.

Наши энтузиасты паломники, которые себя не помнили от радости с тех пор, как ступили на священную землю, во время завтрака только и могли бормотать какие-то несвязные слова, кусок не лез им в горло — так им не терпелось самолично пуститься в плавание по морю, которое носило на своих волнах лодки апостолов. С каждой минутой нетерпение их росло, и наконец меня стал одолевать страх: я опасался, что они, пожалуй, храбро махнут рукой на благоразумие и осмотрительность и закупят целый флот, вместо того чтобы нанять одну посудину на час, как делают все рассудительные люди. Я трепетал при одной мысли о том, как эта затея опустошит наши кошельки. Видя, с каким пылом люди средних лет готовы предаться неразумной прихоти, прельстившей их своей новизной, я не мог не думать о печальных последствиях. И однако удивляться тут было нечего. С самого младенчества этих людей учили чтить, даже боготворить святые места, которые предстали ныне их счастливым взорам. Долгие, долгие годы эта картина мерещилась им среди бела дня и являлась им по ночам во сне. Стоять здесь, видеть все это своими глазами, плыть по этим священным водам, лобызать благословенную землю, простершуюся вокруг, — они лелеяли эту мечту, а годы уходили один за другим и оставляли неизгладимые следы на их лицах и иней в волосах. Дабы увидеть эту землю, плыть по этим волнам, они покинули дом и близких и проехали многие тысячи миль, и трудности и лишения не остановили их. Удивительно ли, что убогий свет будничного благоразумия померк перед ослепительным сиянием их осуществленной мечты? Пусть сорят миллионами, решил я, кто думает о деньгах в такую минуту!

В таком настроении я поспешил вдогонку за нашими нетерпеливыми паломниками и, стоя на берегу озера, вместе с ними стал изо всех сил кричать и махать шляпой, чтобы привлечь внимание проходившего мимо «корабля». Наши старания увенчались успехом. Трудники моря повернули и пристали к берегу. По всем лицам разлилась радость.

— Сколько?.. Фергюсон, спроси его — сколько?.. Сколько за всех — нас восемь и ты... до Вифсаиды и вон туда к устью Иордана, и до того места, с которого свиньи кинулись в море^[184]... скорей... И мы хотим проплыть вдоль всех берегов, всех!.. На весь день!.. Я готов целый год плавать по этим водам!.. И скажи, что мы остановимся в Магдале и высадимся в Тивериаде! Сколько он хочет? Да все равно... сколько бы ни спросил... скажи, за ценой дело не станет! («Так и знал», — подумал я.)

Фергюсон (переводит). Он говорит, два наполеондора — восемь

долларов.

На одном-двух лицах сияние гаснет. Пауза.

— Слишком дорого, хватит и одного!

Я так никогда и не узнаю, как это случилось, — меня и сейчас бросает в дрожь при одной мысли о том, как легко здесь совершаются чудеса: в мгновение ока «корабль» оказался уже за двадцать шагов от берега и убегал, точно объятый страхом! А восемь несчастных стоят на берегу — подумайте только! Такой удар... такой удар... после столь исступленного восторга! Позор, какой позор после столь бесстыдной похвалы! Это совсем как в драке: «Пустите меня, я ему покажу!» И тотчас благоразумное: «Вы двое держи те его, а меня и один удержит».

И разом в нашем лагере поднялись вопли и скрежет зубовой. Предлагали два наполеондора, даже больше, если надо, паломники и драгоман кричали до хрипоты, умоляя удаляющихся лодочников вернуться. Но те преспокойно уходили прочь и не обращали ни малейшего внимания на паломников, которые всю свою жизнь мечтали о том дне, когда они будут скользить по священным водам галилейским и в шепоте волн слышать божественную повесть; ради этого они одолели тысячи и тысячи миль — и в конце концов решили, что плавание обойдется слишком дорого? Дерзкие магометане! Подумать так о благородных поборниках иной веры!

Что делать, нам оставалось лишь покориться и отказаться от чести проехаться по Теннисаретскому озеру, хоть ради этого удовольствия мы и объехали полмира. Во времена, когда здесь учил Спаситель, у прибрежных рыбаков не было недостатка в лодках, но теперь не осталось ни рыбаков, ни лодок; восемнадцать веков назад старик Флавий^[185] держал здесь военный флот — сто тридцать бесстрашных челнов, но и они исчезли, не оставив следа. Здесь теперь не бывает морских сражений, а торговый флот моря Галилейского состоит всего из двух яликов, не крупнее тех лодок, на каких рыбачили еще апостолы. Одна навсегда потеряна для нас, до другой многие мили, ее не докличешься. Итак, хмурые и недовольные, мы сели на лошадей и легким галопом двинулись вдоль берега к Магдале, потому что переплыть море нам было не на чем.

Как поносили друг друга паломники! Каждый сваливал вину на другого, и каждый отрицал ее. А мы, грешные, не проронили ни слова: в такой час даже самая безобидная шутка опасна. Грешники, которых с самого начала держали в строгости, и наставляли брать пример с людей добродетельных, и донимали нравоучениями, которым непрестанно читали мораль о пользе осмотрительности, о вреде легкомыслия и сквернословия и

которым с утра до ночи твердили о том, как важно быть праведным и добропорядочным всегда и во всем, так что под конец жизнь стала им в тягость, — эти самые грешники не приотстали от паломников в этот горький час, и не перемигивались украдкой, и не радовались их беде; ни в чем таком они не повинны, — просто потому что это не пришло им в голову. Иначе они непременно совершили бы все эти преступления. Впрочем, нельзя сказать, чтобы мы совсем этого не делали, — мы несомненно с удовольствием слушали, как паломники поносят друг друга. Мы вообще всегда испытывали недостойную радость, когда они перебранивались, ибо это доказывало, что в конце концов они всего лишь такие же простые смертные, как и мы.

Итак, мы ехали в Магдалу, и скрежет зубовой то нарастал, то становился едва слышным, и гневные речи тревожили священный покой Галилеи.

Да не подумает кто, что я со зла наговариваю на наших паломников, прошу поверить, что это не так. Я бы не стал выслушивать наставления от людей, которых не люблю и не уважаю, а ведь ни один из паломников не может сказать, что я обижался, или проявлял строптивость, или не старался извлечь пользы из их поучений. Они лучше меня, я говорю это от души, они мои добрые знакомые; и притом, если они не желали, чтобы время от времени их имена попадали в печать, зачем они отправились путешествовать со мной? Они знали меня. Знали, что я человек без предрассудков и люблю свободный обмен мнениями — при условии, чтобы я говорил, а другие слушали. Когда один из них грозился оставить меня, заболевшего холерой, в Дамаске, он на самом деле не собирался этого сделать, — я знаю, он человек горячий, но за его вспыльчивостью всегда кроются добрые побуждения. И разве я не подслушал случайно, как другой паломник, Черч, сказал, что ему дела нет, кто уедет и кто останется, он-то непременно останется со мной, пока я не выйду из Дамаска на своих ногах или ногами вперед, даже если ему придется просидеть здесь целый год? И разве я хоть раз обошел молчанием Черча, когда поносил паломников, и неужели я способен говорить о нем со злым чувством? Я лишь хочу дать им небольшую встряску, это полезно для здоровья.

Капернаум остался позади. Это всего лишь бесформенные развалины. Ничто здесь не напоминает город, и даже намек нет, что он когда-то стоял здесь. Но и всеми покинутая, безлюдная, земля эта все равно овеяна славой. Здесь поднялось древо христианства, могучие ветви которого ныне осеняют многие дальние страны. Устояв перед искушениями дьявола в пустыне, Христос пришел сюда и начал проповедовать; и те три или четыре

года, что он жил после этого, здесь был его дом. Он стал исцелять больных, и скоро слава о нем разнеслась столь далеко, что страждущие приходили со всей Сирии, и из-за реки Иордан, и даже из Иерусалима, до которого несколько дней пути, в надежде на исцеление от своих недугов. Здесь исцелил он слугу сотника, и тещу Петра, и множество хромым и слепым и одержимым бесами, и здесь он воскресил дочь Иаира. Он вошел в лодку и отправился в море со своими учениками, и когда они разбудили его во время бури, он голосом своим усмирив ветер и успокоив разбушевавшееся море. Он высадился на другой берег, в нескольких милях от Капернаума, и изгнал бесов из двух одержимых, и вселил бесов в стадо свиней. Вернувшись домой, он увидел Матфея, сидящего у сбора пошлин, и велел ему следовать за собой, исцелил нескольких больных и дал повод к пересудам, разделив трапезу с мытарями и грешниками. Потом, исцеляя и поучая, он прошел по всей Галилее и побывал даже в Тире и Сидоне. Он выбрал двенадцать учеников и послал их по городам и селениям проповедовать новую веру. Он творил чудеса в Вифсаиде и Хоразине — в деревнях, отстоящих на две-три мили от Капернаума. Полагают, что это близ одной из них рыбацкие сети принесли чудесный улов, и в пустыне близ другой он накормил тысячи людей пятью хлебами и двумя рыбами. Он проклял обе эти деревни, а вместе с ними и Капернаум за то, что после всех великих деяний, совершенных здесь, они не покаются, и предрек им гибель. Теперь они лежат в развалинах, на радость паломникам, ибо, по обыкновению, они относят бессмертные слова богов к бранным творениям рук человеческих; скорее всего слова Христа относились к *людям*, а не к их жалким жилищам: он говорил, что им плохо придется «в день суда», а что этим глиняным лачугам до дня страшного суда? Если бы теперь на месте этих почти исчезнувших развалин стояли великолепные города, все равно пророчество было бы ни при чем, это не подтверждало бы его и не опровергало. Христос побывал в Магдале, близ Капернаума, а также в Кесарии Филипповой. Посетил он отчий дом в Назарете и повидал своих братьев Иосию, Иуду, Иакова и Симона; можно было ожидать, что имена этих людей — они ведь родные братья Иисуса Христа — будут изредка упоминаться; но кто хоть раз встречал их в газете или слышал с церковной кафедры? Кто хоть раз поинтересовался, каковы они были в детстве и юности, спали ли они вместе с Иисусом, играли ли с ним в тихие и в шумные игры, ссорились ли с ним из-за игрушек и разных пустяков, били ли его, разозлившись и не подозревая, кто он такой? Кто хоть раз спросил себя, что думали они, когда он, уже прославленным, вернулся в Назарет и они долго вглядывались в его незнакомые черты и наконец сказали: «Да,

это Иисус»? Кто спросил себя, что творилось в их душах, когда они видели, что брат их (для них он был всего лишь брат, хотя для других был он таинственный пришелец, Бог, видевший лицом к лицу Господа в небесах) творит чудеса на глазах пораженных изумлением толп? Кто задумался, просили ли они Иисуса войти в дом, сказали ли, что мать и сестры горюют о его долгом отсутствии и будут вне себя от радости, когда вновь увидят его? Кто вообще хоть раз подумал о сестрах Иисуса? А ведь у него были сестры, и воспоминание о них, должно быть, не раз закрадывалось ему в душу, когда чужие люди дурно обращались с ним, когда он, бездомный, говорил, что негде ему приклонить голову, когда все покинули его, даже Петр, и он остался один среди врагов.

В Назарете Христос сотворил мало чудес и пробыл там недолго. Люди говорили: «И это сын Божий! Да ведь его отец простой плотник. Мы знаем его родных. Мы видим их каждый день. Разве это не его братьев зовут так-то и так-то, а сестер так-то и так-то, и разве женщина по имени Мария не мать ему? Вздор!»

Он не проклял свой дом, он лишь отряс прах его со своих ног и удалился.

Капернаум лежит на самом берегу моря Галилейского, на равнине, длина которой всего пять миль, а ширина не больше двух; ее украшают олеандры, и вид их особенно приятен по сравнению с лишенными зелени горами и безнадежно унылой пустыней, но они вовсе не столь умопомрачительно прекрасны, как это изображают в книгах. Человек уравновешенный и твердый духом вполне может любоваться этими милыми кустами, не рискуя жизнью.

Пожалуй, больше всего виденного поразили нас крохотные размеры того клочка земли, на котором поднялось пышно расцветшее ныне древо христианства. Самое дальнее свое странствие Спаситель совершил, когда прошел отсюда до Иерусалима, — а это сто миль, может быть сто двадцать. На втором месте его путь до Сидона — миль шестьдесят — семьдесят. Места, особенно прославленные пребыванием в них Спасителя, не отстоят далеко друг от друга — по американским масштабам; почти все они в поле нашего зрения и не дальше пушечного выстрела от Капернаума. Если не считать двух-трех коротких путешествий, Христос провел всю свою жизнь, проповедовал свое учение и творил чудеса в пределах среднего американского округа. Мне приходится напрягать все свои силы, чтобы постичь этот поразительный факт. Как это утомляет, когда через каждые две-три мили ты вынужден прочитывать новую сотню страниц истории, — ибо поистине все знаменитые места в Палестине расположены так близко друг от друга. Как

утомительно, как ошеломляюще встречать их на каждом шагу!

В положенное время мы прибыли в древнее селение Магдалу.

Глава XXI. Удивительные образцы искусства и архитектуры. — Как народ встречает паломников. — Дом Марии Магдалины. — Тивериада и ее обитатели. — Священное море Галилейское. — Море Галилейское ночью.

Магдала не блещет красотой, — это истинно сирийское селение, иными словами — безобразное, тесное, убогое, неуютное и грязное, — в точности такое, как все те города, что со времен Адама были украшением Сирии, в чем изо всех сил уверяли и наконец уверили публику наши писатели. Улицы Магдалы узкие, каких-нибудь три — шесть футов шириною, грязные и зловонные. Дома не выше семи футов, и все без исключения построены на один лад — унылые, неуклюжие коробки. Стены сплошь обмазаны белой известкой и с большим вкусом изукрашены лепешками сохнувшего на солнце верблюжьего помета. Это сообщает зданию чрезвычайно воинственный вид, делает его похожим на крепость, устоявшую под градом пушечных ядер. А если еще хозяин с взыскательностью истинного художника позаботился о точности узора, чередуя ряды маленьких и больших лепешек и тщательно соблюдая одинаковые расстояния между ними, — право, нет зрелища приятней, нежели этот веселый сирийский орнамент. На плоской, обмазанной известкой крыше громоздятся живописные груды все того же декоративного материала, который складывают туда, когда он высохнет и готов к употреблению, чтобы он всегда был под рукой. Он служит здесь топливом. Палестина бедна лесом, во всяком случае на дрова его изводить не приходится, и угольных копей здесь тоже нет. Если мне удалось сколько-нибудь вразумительно описать здешние жилища, вы поймете, что квадратная хижина с плоской крышей, с разукрашенными стенами, на которых высятся зубцы и башенки сухого верблюжьего помета, сообщает пейзажу необычайную праздничность и живописность, особенно если еще не забыть сунуть по кошке в каждый уголок, где только для нее найдется местечко. В Сирии строят хижины без окон и без печных труб. Всякий раз, как я читал, что в Капернауме одного больного вместе с постелью доставили пред лицо Спасителя через крышу дома, я представлял себе трехэтажный кирпичный дом и только диву давался, как больному не

сломали шею, внося его в комнаты столь необычным путем. Но теперь я понимаю, что его могли взять за ноги и перекинуть через дом, не причинив ему особого беспокойства. С тех давних времен в Палестине ничто не переменилось — ни обычаи, ни нравы, ни архитектура, ни люди.

Когда мы въехали в Магдалу, на улицах не было ни души. Но стук лошадиных копыт вывел жителей из тупого оцепенения, и все они высыпали из домов: старики и старухи, мальчишки и девчонки, юродивые, слепцы и калеки — полуголые, в грязи и в лохмотьях, и все — назойливые попрошайки по природе, по склонностям и привычкам. Бродяги, осыпанные паразитами, не давали нам проходу! Они выставляли напоказ свои рубцы и язвы, жалобно протягивали нам изувеченные, скрюченные руки и ноги, и взгляды их молили о милостыне. Мы вызвали духа и уже не могли с ним справиться. Они цеплялись за хвосты лошадей, повисали на гривах, на стремянах, презирая опасность, лезли под самые копыта, и дикий языческий хор оглушительно вопил: «Какпоживай, бакшиш! Какпоживай, бакшиш! Какпоживай, бакшиш! Бакшиш! Бакшиш!» Никогда еще на меня не обрушивалась такая буря.

Мы гуськом двигались по городу, раздавая бакшиш детям с гноящимися глазами и полногрудым смуглым девушкам с уродливой татуировкой на подбородках и на губах, и наконец добрались до заросшего терновником огороженного пустыря, на котором еще сохранились развалины, напоминавшие постройки древнего Рима: здесь-то и жила когда-то святая Мария Магдалина, подруга и последовательница Иисуса. Гид верил в подлинность этого жилища, и я тоже поверил. Как же можно усомниться — ведь дом-то вот он! Паломники, по своему благородному обычаю, отбили по кусочку от фасада для коллекций, и мы отправились дальше.

Мы расположились на ночлег в Тивериаде, у самых городских ворот. Мы вошли в город еще засветло и успели разглядеть жителей; дома нас мало интересовали. Изучать местное население лучше всего издали. Все эти евреи, арабы и негры с виду на редкость непривлекательны. Убожество и нищета — гордость Тивериады. Девушки нанизывают свое приданое — турецкие серебряные монеты, накопленные ими с великим трудом или полученные в наследство, — на крепкую проволоку и носят ее на голове, так что она спускается с макушки к подбородку. Большинство этих девушек бедны, но изредка можно встретить и богатую невесту. Я видел там наследниц, чье богатство — да-да, смело могу сказать — равнялось по меньшей мере девяти с половиной долларам; и этим деньгам они полные хозяйки. Но такие богачки редкость. Когда встречаешься с такой девицей,

она, разумеется, задирает нос. Она не попросит бакшиш и даже не допустит излишней фамильярности. С неприступным и невозмутимым видом она проходит мимо, расчесывая волосы частым гребнем и напевая песенку, словно, кроме нее, тут никого и нет. Да, иным людям богатство кружит голову.

Как говорят, носатые, долговязые и, судя по виду, страдающие несварением желудка гробокопатели в неопикуемых шляпах, из-под которых на каждое ухо свешивается но длинному локону, — это и есть издавна знакомые нам фарисеи, о которых мы читаем в Священном Писании. Поистине, так оно и есть. Стоит только посмотреть на их повадки, и сразу станет ясно, что по части фарисейства они мастера.

Сведения о Тивериаде я почерпнул из разных источников. Город был основан Иродом Антипой, убийцей Иоанна Крестителя, и назван в честь императора Тиверия. Полагают, что на месте сегодняшней Тивериады был город, построенный пышно и богато, о чем можно судить по великолепным порфировым колоннам, которые и поныне попадают в городе и на южном берегу озера. Некогда они были рифленые, но, несмотря на то, что камень этот тверд, как железо, стерлись от времени и стали почти совсем гладкими. Колонны эти невелики, и здания, которые они украшали, без сомнения были скорее изящны, чем величественны. Тивериада — город молодой, он упоминается лишь в Новом завете, в Ветхом завете о нем нет ни слова.

Здесь в последний раз заседал Синедрион, и на протяжении трех столетий Тивериада была столицей еврейского государства в Палестине. Это один из четырех священных израильских городов, она для евреев то же, что Мекка для мусульман и Иерусалим для христиан. Она всегда славилась своими учеными раввинами. Все они погребены здесь, и тут же покоятся двадцать пять тысяч их единоверцев, прибывших издалека, чтобы жить подле них и находиться рядом с ними после смерти. Великий рабби Бен Израиль провел здесь три года в самом начале третьего столетия. Теперь его уже нет в живых.

Прославленное море Галилейское куда меньше озера Тахо^[186] — примерно две трети его. А если уж говорить о красоте, это море так же мало похоже на Тахо, как меридиан на раду. Эта мутная лужа ничем не напоминает прозрачных, искрящихся вод Тахо; эти каменные и песчаные бугры, низкие, лысые, рыжие, так убоги по сравнению с исполинскими пиками, стеной обступающими Тахо! Там ребристые, в глубоких рас-селинах склоны, обращенные к озеру, поросли величавыми соснами, сосны карабкаются все выше, кажутся все меньше, и когда закинешь голову,

чудится, что там, где они достигают вечных снегов, это уже не сосны, а просто кустарник и сорные травы. Безмолвием и уединением дышит Тахо. Безмолвно и уединенно и здесь, на Геннисаретском озере. Но там уединение манит и радует душу, а здесь гнетет и отталкивает.

Рано поутру с безмятежным спокойствием следишь за безмолвным поединком света и тьмы над водами Тахо; но когда тени истают и понемногу в полдневном сиянии откроется вся тайная прелесть его берегов; когда от них на спокойную гладь озера ложатся, точно радуга, широкие цветные полосы — синяя, зеленая, белая; когда летним днем, полным неги, лежишь в лодке на середине озера, где синева сгущается и воды особенно глубоки, и покуливаешь трубку мира и лениво поглядываешь из-под козырька фуражки на далекие утесы, кое-где белеющие снегами; когда лодку медленно сносит к берегу, где вода прозрачна, и сидишь, облокотясь на борт, и часами вглядываешься в хрустальную глубь, и различаешь цвет камешков на дне, и видишь стаи рыб, скользящие одна за другой в сотне футов под тобою; когда ночью видишь луну и звезды, горные хребты, оперенные соснами — иные в белых капюшонах, крутые уступы и суровые скалы со всех сторон, увенчанные голыми, мерцающими в лунном свете остроконечными вершинами, и вся эта величественная картина до мельчайших подробностей отражена в зеркальной глади озера, — созерцательное спокойствие, с которым ты смотрел на все это утром, постепенно сменяется чувством все более глубоким, пока наконец тобой не овладеет неотразимое очарование.

На озере Тахо одиноко, ибо, кроме птиц и белок на берегу и рыб в воде, здесь нет ни души. Но это не то одиночество, что гнетет. То ищите в Галилее. Безлюдные пустыни, угрюмые, бесплодные горы, которым никогда, никогда, до скончания века не стряхнуть с угловатых плеч блеск палящего солнца, не окутаться мягкой дымкой, не растаять в тумане; унылые развалины Капернаума; оцепеневшая Тивериада, погруженная в непробудный сон под траурным плюмажем своих шести пальм; голый откос, с которого после чуда, сотворенного Иисусом, бросились в море свиньи и уж наверно думали, что куда лучше проглотить парочку бесов и утонуть в придачу, чем гнить в таком гиблом месте; безоблачное, жгучее небо; угрюмое, тусклое, ни единым парусом не оживленное озеро, покоящееся среди рыжих гор и низких, но обрывистых берегов, такое невыразительное и непоэтичное (если не касаться его славной истории), как любой бассейн в любом христианском городе, — если вся эта скука не сморила меня, так меня уж ничем не усыпишь.

Но мне не следует ограничиваться обвинительной речью, не давая

слова защите. В. С. Граймс свидетельствует:

«Мы наняли парусник, чтобы переправиться на другой берег. Озеро не шире шести миль. Однако окружающий пейзаж столь прекрасен, что я не в силах описать его, и я не могу понять, где были глаза путешественников, которые писали, что он однообразен и скучен. Прежде всего замечательна глубокая чаша, в которой покоится озеро. Лишь с одной стороны глубина ее меньше трехсот футов, а местами достигает и четырехсот; обрывистые берега, густо поросшие пышной зеленью, иссечены ущельями и бурными потоками, которые низвергаются по глубоким темным расселинам или мчатся по солнечным долинам. Близ Тивериады берега скалистые, и в них высечены древние гробницы, выходящие в сторону озера. Для погребения выбирали самые живописные места, как делали древние египтяне, словно желая, чтобы, когда глас Божий пробудит спящих и они восстанут от сна, мир предстал бы их взорам во всем своем блеске. Дикие пустынные горы, громоздящиеся на востоке, великолепно оттеняют густую синеву озера; на севере глядится в море царственно величаясь гора Хермон, она вздымает к небесам свой белый венец, гордая тем, что видела, как исчезают следы сотен ушедших поколений. На северо-восточном берегу стоит одинокое дерево — только оно одно и видно с моря, если не считать нескольких пальм в самом городе, — и, одинокое, привлекает куда больше внимания, чем если бы тут рос целый лес. Все здесь именно такое, как мы представляли себе и каким хотели видеть Геннисаретское озеро, — величаясь красота и мирный покой. Даже горы и те спокойны».

Это искусное описание, и цель его — обмануть читателя. Однако если стереть румяна, сорвать цветы и ленты, под ними окажется скелет.

Когда сняты украшения, остается лишь бесцветное озеро шести миль в ширину, с крутыми зелеными берегами, без единого кустика; по одну сторону голые, неприглядные скалы с едва заметными углублениями, которые их отнюдь не красят; на востоке — «дикие пустынные горы» (лучше бы он сказал — невысокие пустынные холмы); на севере — гора по имени Хермон со снежной вершиной; главная особенность всей этой картины — покой; самая характерная деталь ее — единственное дерево.

Нет, как ни старайся, а когда поглядишь на это собственными глазами — никакой красоты тут не найдешь.

Я считаю себя вправе опровергать ложные показания, а посему в вышеприведенном кратком описании исправил цвет воды. Геннисаретское озеро светло-голубое, белесое, даже если глядеть на него с высоты птичьего полета и с расстояния в пять миль. Когда же видишь его вблизи (а свидетель плавал по озеру) едва ли можно назвать его голубым, а тем более

густосиним. Я хочу также заявить (это уже не поправка, но мое личное мнение), что Хермон — гора несколько не замечательная и отнюдь не живописная, ибо высотой она почти не отличается от своих ближайших соседей. Вот и все. Я не возражаю против того, чтобы свидетель перетаскивал гору за сорок пять миль, дабы оживить обсуждаемый пейзаж, это самый обычный прием, и кроме того, картина от этого только выигрывает.

С. В. И. (автор «Жизни в Святой Земле») свидетельствует:

«Прекрасное озеро широко разлилось меж Галилейских гор, в сердце того края, которым некогда владели Завулон, Наффалим, Асир и Дан^[187]. Лазурь небес отражается в озере, воды его свежи и прохладны. На западе раскинулись плодородные равнины; на севере скалистые берега уходят вдаль, поднимаясь все выше и выше, пока не достигнут снежных высот Хермона; на востоке сквозь дымку тумана видны нагорья Пирея, переходящие в суровые горы и многими стезями уводящие мысль к Иерусалиму, святому граду. Цветы цветут в этом земном раю, а некогда здесь волновалась пышная зелень деревьев; певчие птицы услаждают слух, горлица нежно воркует, звонкая песнь жаворонка взлетает к небесам, и важный и величавый аист будит мысль, зовет к раздумьям и покою. Жизнь здесь была некогда идиллическая, прекрасная; здесь не было богатых и бедных, знатных и простолюдинов. Здесь царили довольство, красота, простодушие, а ныне здесь лишь нищета и запустение».

Это не слишком искусное описание. Я бы сказал, хуже некуда. Сначала подробно расписан так называемый «земной рай», а под конец вас огорошивают сообщением, что рай этот — «запустение и нищета».

Я привел здесь два обычных средних образца письменных свидетельств, которые выходят из-под пера большинства писателей, побывавших в этих краях. Один говорит: «окружающий пейзаж столь прекрасен, что я не в силах описать его», и затем накидывает покрывало пышных слов на нечто такое, что без покровов оказывается всего-навсего незначительным водоемом, гористой пустыней и одним-единственным деревом. Другой после добросовестной попытки построить «земной рай» из тех же материалов, с «важным и величавым аистом» в придачу, портит все дело, выболтав под конец унылую правду.

Почти во всех книгах о Галилее рассказывается, что окрестности озера очень красивы. Впрочем, не всегда это говорится так прямо. Иногда автор всячески старается создать у читателя впечатление, что места эти очень красивы, избегая, однако, сказать это простыми и ясными словами. Но тщательный анализ этих описаний покажет вам, что составные части

картины сами по себе нехороши и, как их ни складывай, ничего хорошего не получится. Благоговение и любовь, которую испытывают к этим местам иные из авторов, разжигают их воображение и мешают им правильно судить; но во всяком случае всю эту милую ложь они пишут совершенно искренне. Другие же пишут так, опасаясь, что правдивое описание придется не по вкусу публике. Третьи просто лицемеры и умышленно вводят читателя в заблуждение. Спросите любого из них, и он без запинки ответит, что всегда и везде надо говорить одну лишь чистую правду. Во всяком случае, они непременно ответили бы так, если бы не поняли, к чему вы клоните.

Но почему нельзя сказать правду об этих местах? Разве правда вредна? Разве она когда-либо нуждалась в том, чтобы скрывать лицо свое? Бог создал море Галилейское и его окрестности такими, а не иными. По какому праву мистер Граймс берется приукрашивать Божие творение?

Судя по тем книгам, которые я прочел, среди путешественников, побывавших здесь в былые времена, было много пресвитериан, которые поехали сюда в поисках доказательств, подтверждающих их вероучение; они нашли здесь Палестину истинно пресвитерианскую и никакой другой и не желали видеть, хотя, быть может, ослепленные своей верой, они и в самом деле ничего не замечали. Были тут и баптисты, они искали подтверждения баптистской веры и свою, баптистскую, Палестину. Бывали тут и католики, и методисты, и приверженцы епископальной церкви — и каждый искал подтверждения своей веры, и каждый находил здесь свою Палестину — католическую, методистскую или епископальную. Быть может, все они приезжали сюда с самыми честными намерениями, но, полные предрассудков и пристрастий, они ступили на эту землю с заранее сложившимся мнением и так же мало способны были писать о ней бесстрастно и беспристрастно, как о своих женах и детях. Наши паломники тоже приехали с готовыми мнениями. Это стало ясно по их разговорам, как только мы выехали из Бейрута. Я бы даже, наверно, мог в точности предугадать, что они скажут, увидев Фавор, Назарет, Иерихон и Иерусалим, ибо я знал, из каких книг они стибрили свои идеи. Авторы рисуют картины и сочиняют хвалебные песни, а меньшая братия глядит на мир их глазами и говорит их языком. Я был удивлен мудрыми словами паломников о Кесарии Филипповой. Впоследствии я все это нашел у Робинсона. Меня пленило то, что они сказали, когда Геннисаретское озеро вдруг открылось нашим взорам. Я нашел эти полные изящества слова в книге мистера Томсона «Святая Земля и Библия». Нередко — и всегда одними и теми же красивыми словами — они говорили о том, как они наконец, по примеру

Иакова, приклонят свои усталые головы на камень Вефиля и смежат тяжелые веки, — и, быть может, им приснятся ангелы, спускающиеся по лестнице с небес. Это звучало очень мило. Но в конце концов я натолкнулся и на «усталые головы» и на «тяжелые веки». Они позаимствовали и мысль, и слова, и их порядок у Граймса. Вернувшись домой, паломники будут рассказывать не о той Палестине, какая предстала их взорам, а о той, какую увидели Томсон, Робинсон и Граймс, с некоторыми оттенками, в зависимости от веры, исповедуемой каждым из рассказчиков.

Паломники, грешники и арабы — все уже улеглись, и лагерь затих. Трудиться в одиночестве скучно. Я записал в дневник последние несколько слов, вышел из шатра и вот уже полчаса сижу под открытым небом. Ночью самое время смотреть на море Галилейское. В звездном сиянии оно вовсе не кажется отталкивающим. Глядя на отражения мерцающих созвездий, рассыпанные по его волнам, я почти пожалел, что видел его в беспощадном свете дня. Прелесть Геннисарета в его прошлом, в тех мыслях, что он пробуждает, но чары, которыми он оплетает душу, не могут устоять против всепроникающего солнечного света. В дневные часы они не властны над нами. Мысли наши то и дело обращаются к житейской прозе, отказываясь витать в туманном, нереальном мире. Но когда день гаснет, даже наименее чуткие натуры поддаются мечтательному очарованию и покою звездной ночи. Древние предания, рожденные здесь, прокрадываются в память и завладевают мечтами, и право же, во всем, что видишь и слышишь вокруг, невольно чудится что-то потустороннее. В шепоте волн, набегающих на берег, слышатся всплески весел, в приглушенных шумах ночи — таинственные голоса, в мягком шелесте ветерка — взмахи невидимых крыльев; призрачные корабли плывут по морю, усопшие двадцати столетий выходят из гробниц, и в заунывном пении ночного ветра снова звучат напевы давно забытых времен.

В звездном сиянии у моря нет границ, лишь небо объемлет его со всех сторон, и сцена эта достойна разыгравшихся на нем великих событий; достойна рождения новой веры, призванной спасти мир; достойна величавого образа того, кто провозгласил отсюда свои высокие заветы. Но в свете дня говоришь себе: неужели ради деяний, свершенных на этом скалистом, песчаном клочке пустыни, ради слов, что были сказаны здесь восемнадцать веков назад, ныне звонят колокола на самых далеких островах, по всем материкам нашей огромной планеты?

Это можно постичь лишь ночью, которая скрадывает все, что может нарушить гармонию, и превращает море Галилейское в подмостки, достойные столь великой драмы.

Глава XXII. Древние бани. — Последняя битва крестоносцев. — Гора Фавор. — Вид с ее вершины. — Воспоминания о волшебном саде. — Жилище пророчицы Деворы.

Мы снова купались в море Галилейском, вчера в сумерки и сегодня на восходе солнца. Мы не плавали по нему, но разве три купанья не стоят одного плавания? Рыбы здесь видимо-невидимо, но, отправляясь в странствие, мы запаслись лишь описаниями путешествий вроде «В шатрах на Святой Земле» и «Святая Земля и Библия» и не запаслись рыболовной снастью. В Тивериаде рыбой не разживешься. Мы, правда, видели, как двое или трое бездельников чинили сети, но на наших глазах они так ни разу и не закинули их в море.

Мы не пошли в древние бани в двух милях от Тивериады. У меня не было ни малейшего желания туда идти. Это удивило меня и побудило задуматься над причиной столь непостижимо-равнодушия. Оказалось, все дело в том, что их упоминает Плиний^[188]. С некоторых пор я самым непозволительным образом невзлюбил Плиния и апостола Павла, — ведь я никак не мог найти такого уголка, который принадлежал бы мне одному. Всякий раз неизменно оказывалось, что апостол Павел побывал здесь, а Плиний упоминает это место в своих трудах.

Ранним утром мы оседлали своих скакунов и отправились в путь. И тут во главе процессии возникла загадочная фигура — я бы назвал ее пиратом, если бы пираты водились на суше. Это был рослый араб, еще молодой — лет тридцати, кожа у него была медного оттенка, точно у индейца. Голову туго обвивал яркий шелковый шарф — желтый в красную полоску, — концы которого, окаймленные густой бахромой, свисали на плечи и колыхались на ветру. От шеи до колен свободными складками ниспадал плащ — настоящее звездное знамя, все в волнистых, змеящихся черных и белых полосах. Откуда-то из-за спины торчал высоко над правым плечом длинный чубук. Высоко над левым плечом торчал ствол висящего за спиной непомерно длинного ружья — из тех, какими вооружены были арабы во времена Саладина, — все, от ложа до самого дула, отделанное серебром. Вокруг стана множество раз обернут был длинный-предлинный, искусно расшитый, но до неузнаваемости выгоревший кусок шелка родом из роскошной Персии, и впереди, среди бесчисленных складок, сверкала на

солнце грозная батарея старинных, оправленных медью исполинских пистолетов и позолоченные рукояти кровожадных ножей. Еще несколько пистолетов в кобурах было подвешено к длинношерстным козьим шкурам и персидским коврам, которые громоздились на спине лошади и, видимо, должны были заменить седло; широкие железные стремяна вздергивали колена воина под самый подбородок, и, бряцая о стремя, среди свисающих с седла огромных кистей болталась кривая, отделанная серебром сабля таких великанских размеров и такого свирепого вида, что при одном взгляде на нее самого отчаянного храбреца должно было бросить в дрожь. Разряженный в пух и прах принц, что, верхом на пони и ведя в поводу слона, гордо вступает в селение во главе бродячего цирка, нищ и наг пред этим пышно разубранным всадником, и удовлетворенное тщеславие первого сущая безделица по сравнению с царственным величием и бьющим через край самодовольством второго.

— Кто это? Что это? — посыпались со всех сторон испуганные вопросы.

— Наш телохранитель! От Галилеи до места рождения Спасителя страна кишит свирепыми бедуинами, у которых в этой жизни одна утеха — резать, рубить, увечить и убивать ни в чем не повинных христиан. Спаси нас аллах!

— Тогда наймите полк солдат! Неужели вы пошлете нас навстречу ордам головорезов, когда у нас не будет иной защиты, кроме этого ходячего арсенала?

Драгоман рассмеялся — но не остроумному сравнению, ибо поистине не родился еще на свет гид, проводник или драгоман, способный хоть как-то оценить шутку, даже если она такая грубая и тяжеловесная, что, упав на него, она расплющила бы его в лепешку, — драгоман рассмеялся и, подстрекаемый, без сомнения, какой-то своей, тайной мыслью, позволил себе даже подмигнуть нам.

Когда в таких передрягах человек смеется, это придает храбрости; когда он подмигивает — на душе становится совсем спокойно. Наконец он дал понять, что мы и с одним стражем будем в полной безопасности, но уж без этого одного никак нельзя: его устрашающие доспехи окажут магическое действие на бедуинов. Тогда я сказал, что нам вообще не нужны никакие стражи. Если один нелепо вырядившийся бродяга может спасти от всех бед восьмерых вооруженных христиан и целую кучу их темнокожих слуг, так уж конечно они и сами сумеют себя защитить. Драгоман с сомнением покачал головой. Тогда я сказал:

— Подумайте только, на что это похоже! Подумайте, что скажут

самоуверенные американцы, если мы будем трусливо пробираться по этой безлюдной пустыне под охраной какого-то ряженого араба, который сломит себе шею, удирая во все лопатки, если за ним погонится настоящий мужчина? Это глупо, это попросту унижительно. Зачем нам велели запастись пистолетами, если мы все равно отданы под защиту этого негодяя в звездно-полосатом плаще?

Все уговоры были тщетны, драгоман только улыбался да покачивал головой.

Я выехал вперед, завязал знакомство с этим новоявленным царем Соломоном-во-всей-славе-его и заставил его показать мне свое допотопное ружье. Замок его проржавел; ствол сплошь был в серебряных кольцах, пластинках, бляшках, но при этом он был кривой, как бильярдные кии выпуска сорок девятого года, которые все еще попадают на старых приисках Калифорнии. Дуло было до филигранной тонкости изъедено узором многовековой ржавчины, и край стал как обгоревшая печная труба. Зажмурив один глаз, я заглянул в дуло — оно все заросло ржавчиной, как старый паровой котел. Я взял в руки исполинские пистолеты и взвел курок. Они тоже изнутри проржавели, и уже целую вечность их никто не заряжал. Я вернулся на свое место весьма ободренный, рассказал обо всем гиду и попросил его отпустить эту безоружную крепость на все четыре стороны. И тогда все объяснилось. Этот молодец состоит на службе у шейха Тивериады. Он источник государственных доходов. Для Тивериадской империи он то же, что для Америки таможенные пошлины. Шейх навязывает путешественникам охрану и взымает с них за это плату. Это богатый источник доходов, в иные годы он приносит казне до тридцати пяти и даже сорока долларов.

Теперь я знал тайну этого воина; знал истинную цену его проржавевшей мишуре и презирал его ослиное самодовольство. Я наябедничал на него и вместе со всей безрассудно отважной кавалькадой двинулся навстречу опасностям безлюдной пустыни, не слушая его отчаянных воплей, суливших нам увечье и смерть на каждом шагу.

Мы поднялись на тысячу двести футов над озером (я не могу не упомянуть о том, что озеро лежит на шестьсот футов ниже уровня Средиземного моря, — еще ни один путешественник не пренебрег возможностью украсить свои письма этой знаменитой подробностью), и нам открылась убогая панорама, — столь убогим, наводящим тоску видом не всякая страна может похвастать. Но земля эта так густо населена историческими воспоминаниями, что если бы выстлать ее страницами книг, о ней написанных, они покрыли бы ее сплошным ковром от края и до края.

В эту панораму входят гора Хермон, горы, окружающие Кесарию Филиппову, Дан, истоки Иордана и Меромские воды, Тивериада, море Галилейское, ров Иосифа, Капернаум, Вифсаида, места, где, как предполагают, была произнесена Нагорная проповедь, и где были накормлены голодные толпы, и где произошел чудесный улов рыбы; откос, с которого свиньи кинулись в море; места, где Иордан впадает в озеро и вновь вытекает из него; Сафед — «город на холме», один из четырех священных еврейских городов, тот самый, где, как верят иудеи, появится истинный мессия, когда придет спасать мир; отсюда видна также часть поля, где разыгралась битва при Гаттине — последняя битва рыцарей-крестоносцев, после которой они в блеске славы сошли со сцены и навсегда покончили со своими великолепными походами; гора Фавор, на которой, по преданию, совершилось преображение Господне. А вид, открывшийся нам дальше, на юго-востоке, вызвал у меня в памяти одно место из Библии (я, разумеется, не припомнил его в точности).

Ефремляне, с которыми сыны Израилевы не пожелали поделиться богатой добычей, доставшейся им в войне с аммонитянами, собрали могучее войско и пошли войной на Иефая, судью Израиля; но ему сообщили об их приближении, и, собрав сынов Израиля, он сразился с аммонитянами и обратил их в бегство. Чтобы закрепить свою победу, Иефай захватил броды и переправы Иордана, приказав не пропускать никого, кто не сумеет сказать «шибболет». Ефремляне, происходившие из другого племени, не могли произнести этого слова правильно, они говорили «сибболет», доказывая этим, что они враги, и их тут же лишали жизни; так и случилось, что в тот день у бродов и переправ через Иордан погибло сорок две тысячи человек.

Мы мирно трусили по дороге, по которой проходят караваны, направляющиеся из Дамаска в Иерусалим и Египет, мимо Лубии и других сирийских деревушек, примостившихся на вершинах крутых гор и холмов и защищенных живыми изгородями из гигантских кактусов (признак бесплодной земли), на которых растут колючие груши, громадные, точно окорока, и наконец прибыли на поле битвы при Гаттине.

Это обширное неправильной формы плоскогорье кажется нарочно создано для сражений. Лет семьсот тому назад несравненный Саладин встретился с войском христиан и раз и навсегда положил конец их владычеству в Палестине. Задолго до этого между воюющими сторонами

установилось перемирие, но, согласно путеводителю, Рейнольд Шатильонский, правитель Кирэка, нарушил его, разграбив дамасский караван и, несмотря на требование Саладина, не пожелал вернуть ни купцов, ни их товары. Такая дерзость ничтожного военачальника задела султана за живое, и он поклялся, что убьет Рейнольда собственной рукой, где бы и когда бы тот ему ни попался. Оба войска приготовились к бою. Под началом нерешительного короля иерусалимского был цвет христианского рыцарства. Он по недомыслию заставил их совершить долгий, изнурительный переход под палящим солнцем и приказал им стать лагерем на этой открытой, безводной равнине, где нечем было утолить голод и жажду. Полчища мусульман на превосходных конях, обогнув Геннисарет с севера, хлынули сюда, сжигая и разрушая все на своем пути, и стали лагерем напротив врага. На заре началось кровопролитное сражение. Окруженные со всех сторон несметным воинством султана, христианские рыцари бились не на жизнь, а на смерть. Они бились с отчаянной доблестью, но все было напрасно: жара, численное превосходство врага, изнурительная жажда — все было против них. К середине дня храбрейшие из храбрых пробились сквозь ряды мусульман и захватили вершину невысокой горы и там, сгрудившись вокруг Христова знамени, снова и снова отбивали атаки вражеской конницы.

Но часы владычества христиан в Палестине были уже сочтены. На закате Саладин стал властителем Палестины, крестоносцы полегли на поле боя, всюду лежали груды тел, а король иерусалимский, глава ордена тамплиеров, и Рейнольд Шатильонский оказались пленниками султана. Саладин обошелся с двумя из своих узников с величайшей учтивостью и приказал подать им угощение. А когда король протянул ледяной шербет Шатильону, султан сказал: «Это ты ему даешь, не я». Он помнил свою клятву и собственной рукой зарубил злополучного рыцаря Шатильонского.

Нелегко представить себе, что эту безмолвную равнину некогда оглашала грозная музыка боя и сотрясала тяжкая поступь вооруженных воинов. Нелегко населить эту пустыню стремительными отрядами конницы и возмутить сонное оцепенение победными кликами, стонами раненых, мельканьем стягов и мечей над волнующимся морем битвы. Так безнадежно это запустение, что никакая фантазия не в силах вдохнуть в него движение и жизнь.

Мы в целостности и сохранности добрались до Фавора, и притом значительно опередили наше обвешанное оружием чучело. За всю дорогу мы не встретили ни души, а уж о свирепых ордах бедуинов никто и слыхом не слыхал. Фавор стоит уединенно и одиноко — гигантский часовой

равнины Ездрилонской. Он возвышается примерно на тысячу четыреста футов над окружающей равниной; изящно очерченный конус, поросший лесом, виден издалека и радуется глаз путника, утомленного невыносимым однообразием пустынной Сирии. Крутой тропкой, проложенной в овеваемых ветром дубовых рощах и зарослях боярышника, мы взобрались на вершину. Картина, открывшаяся нам с этой высоты, была почти прекрасна. Внизу широко раскинулась плоская равнина Ездрилона, вся расчерченная клетками полей, точно шахматная доска, и такая же гладкая и ровная; по краям она усеяна крошечными белыми деревушками, и всюду, вблизи и вдали, вьются по ней дороги и тропы. Ранней весной, в молодом зеленом уборе, картина эта, должно быть, прелестна. На юге равнины встает Малый Хермон, за вершиной которого можно разглядеть Гелвуй. Отсюда виден и Наин, известный тем, что здесь воскрешен был сын вдовицы, и Аендор^[189], не менее известный своей волшебницей. На востоке лежит долина Иордана, а за ней поднимаются Гилеадские горы. На западе — гора Кармель. Хермон на севере, плоскогорье Васана, и священный город Сафед, мерцающий белизной, на высоком отроге Ливанских гор, и синевато-стальной край моря Галилейского, и гора Гаттин со своей двойной вершиной — легендарная «Гора Блаженных», немая свидетельница последней отчаянной битвы крестоносцев за святой крест, — все это довершает открывшуюся нам картину.

Взглянуть на эту картину через живописную раму полуразрушенной, разбитой каменной арки времен Христа, которая скрывает все неприглядное, — ради такого удовольствия стоит карабкаться в гору. Станьте на самой ее вершине и вдвойне насладитесь прекрасным закатом; имейте смелость заключить картину в массивную раму, и тогда лишь увидите, как она хороша. Эту истину узнаешь — и уже никогда не забыть ее — в волшебном уголке, в замечательном саду графа Палавичини близ Генуи. Часами блуждаешь среди гор и лесистых долин, сделанных так искусно, что кажется, будто они созданы не рукой человека, а самой природой; идешь по извилистым тропинкам — и вдруг перед тобой низвергающийся водопад и перекинутый через него мостик; в самых неожиданных местах находишь лесные озера; бродишь по разрушенным средневековым замкам в миниатюре, которые кажутся памятниками старины, а на самом деле построены всего лет десять назад; предаешься размышлениям над крошащимся мрамором древней гробницы, чьи колонны намеренно оббиты и облуплены их творцом — современным ваятелем; нечаянно натыкаешься на игрушечные дворцы, сложенные из редкого и дорогого камня, а рядом стоит крестьянская хижина, о ветхой

мебели которой никогда не скажешь, что она сделана по особому заказу; скачешь по кругу посреди леса на заколдованном деревянном коне, который приводится в движение какой-то невидимой силой; пересекаешь римские дороги и проходишь под величественными триумфальными арками; отдыхаешь в прихотливых беседках, где незримые духи со всех сторон поливают тебя струйками воды и где даже цветы, стоит лишь коснуться их, встречают тебя дождем брызг; катаешься на лодке по подземному озеру среди пещер и гротов, волшебнo украшенных гроздьями сталактитов, и, выплыв на солнечный свет, оказываешься на другом озере, с отлогими зелеными берегами, а на нем покачиваются на якоре нарядные гондолы под сенью крохотного мраморного храма, который поднимается из прозрачных вод и белоснежные статуи и колонны которого — с каннелюрами и вычурными капителями — отражаются в спокойных глубинах. Так переходишь от одних чудес к другим и всякий раз думаешь, что то чудо, которое видел последним, и есть самое главное. И действительно, чудо из чудес припасено напоследок, но его не увидишь, пока, высадившись на берег и пройдя сквозь заросли редкостных цветов, собранных со всех концов света, не остановишься в дверях еще одного мнимого храма. Вот здесь-то гений художника достиг своей вершины и поистине распахнул пред нами врата волшебной страны. Смотришь через самое обыкновенное желтое стекло, и прежде всего, в каких-нибудь десяти шагах перед собой, видишь трепещущее море листвы, посреди него неровный просвет, словно вход куда-то, — в лесу часто встречаешь такой, и он не вызывает мысли о хитроумном вмешательстве человека, — и в этом просвете то здесь, то там в буйной тропической листве сверкают яркие цветы. И вдруг в этом нежданном ослепительном просвете тебе предстает дивное видение: ничего нежнее, мягче, прекраснее не грезилось в смертный час ни одному святому с тех пор, как Иоанн Богослов увидел святы́й град, мерцающий в небесах над облаками. Широко раскинулось море, испещренное кренящимися под ветром парусами; острый мыс вдается в его синеву, и на нем гордо высится маяк; за ним пологая лужайка; а дальше виднеется Генуя, древний «город дворцов», — его парки, и холмы, и величественные здания; еще дальше — исполинская гора четко выделяется на фоне неба и моря, — и над всем, в золотом небесном просторе, плывут легкие хлопья и клочки облаков. Все золотое — море, и город, и луг, и гора, и небо, — всюду золото, все богато, и пышно, и сказочно, словно видение рая. Ни один художник не мог бы запечатлеть на полотне эту чарующую красоту, — и однако, не будь здесь желтого стекла и хитро придуманной рамы, которая отодвигает все в волшебную даль и

отсекает все, что может испортить вид, картина эта вовсе не вызывала бы восторгов. Такова жизнь, и на всех нас змий-искуситель наложил свою печать.

Теперь, хочешь не хочешь, надо снова вернуться к горе Фавор, хотя это предмет довольно скучный, и я не могу не отвлекаться и не вспоминать картины, куда более приятные. Ну, постараюсь не задерживаться на ней. Ничего в ней нет примечательного (если не считать того, что, как мы предполагаем, здесь свершилось преобразование Господне), только седые руины, которые скоплялись здесь век за веком, начиная со времен отважного Гедеоны и других воинов, процветавших здесь тридцать столетий назад, и вплоть до вчерашнего дня истории, ознаменованного крестовыми походами. Тут стоит греческий монастырь, в нем угощают превосходным кофе, но здесь не найдешь ни щепочки от истинного креста, ни единой косточки святого, чтобы занять праздные мысли мирян и направить их в более серьезное русло. Я ни во что не ставлю ту древнюю церковь, которая не может похвастать своими святынями.

Равнина Ездрилонская — «поле битвы народов» — вызывает думы об Иисусе Навине, Венададе, Савле и Гедеоны; о Тамерлане, Танкреде, Ричарде Львиное Сердце и Саладине; о воинственных царях персидских, о героях Египта, о Наполеоне — ибо все они сражались здесь. Если бы колдовской свет луны мог вызвать из могил тьмы и тьмы воинов всех времен и народов в причудливых и несхожих одеждах, некогда устремлявшихся сюда со всех концов земли и вступивших в битву на этом бескрайнем поле, и это многоцветное войско с пышными султанами, знаменами и сверкающими копьями вновь затопило бы равнину, я простоял бы здесь целую вечность, любясь этим призрачным шествием. Но колдовской свет луны — это тщета и обман, и смертному, который уверует в него, уготованы скорбь и разочарование.

У подножья горы Фавор, у самого края легендарной равнины Ездрилонской, прилепилась жалкая деревушка Девурье, где жила пророчица Девора. Деревушка эта как две капли воды похожа на Магдалу.

Глава XXIII. По дороге в Назарет. — Укушенный верблюдом. — Трот Благовещения, Назарет. — Мастерская Иосифа. — Священный камень. — Источник богородицы. — Литературные диковинки.

Мы спустились с горы Фавор, пересекли глубокое ущелье и каменистой горной дорогой двинулись к Назарету, до которого было два часа пути. На Востоке расстояния измеряются не милями, а часами. Добрый конь почти по любой дороге проходит три мили в час, — стало быть час пути означает три мили. Это утомительный и нудный способ подсчета; пока окончательно не привыкнешь к нему, не можешь ничего сообразить, и приходится всякий раз переводить языческие часы на христианские мили, как поступает человек, к которому обращаются на чужом языке, знакомом ему не настолько, чтобы он сразу уловил смысл услышанного. Расстояния, которые проходят пешком, тоже измеряются часами и минутами, но я не знаю, что кладут в основу расчетов. Если спросишь в Константинополе: «Далеко ли до консульства?» Вам ответят: «Минут десять». «Далеко ли до агентства Ллойда^[190]?» — «Четверть часа». «Далеко ли до нижнего моста?» — «Четыре минуты». Не берусь утверждать со всей решительностью, но, вероятно, заказывая панталоны, заказчик говорит портному, что они должны быть четверть минуты длиною и девяти секунд в поясе.

От Фавора до Назарета два часа езды, и поскольку дорога необыкновенно узкая и извилистая, уж конечно мы должны были именно здесь повстречать все караваны верблюдов и всех ослов, сколько их было между Иерихоном и Джексонвилем. Ослы бы еще не беда — они такие крохотные, что лошадь, если она с огоньком, вполне может перескочить через них, но через верблюда не перескочишь. Верблюд ростом с обыкновенный сирийский дом, — иными словами, он на фут-два, а то и на все три выше рослого мужчины. В этих краях его чаще всего навьючивают двумя гигантскими тюками, по одному с каждой стороны. Со своей поклажей он занимает не меньше места, чем карета. Подумайте, каково встретить такую преграду на узкой дорожке. Верблюд не свернет с дороги ни за какие блага. Он невозмутимо шествует своим широким шагом с

равномерностью маятника, и кто бы ни встретился ему, должен по доброй воле уступить дорогу, или верблюд своими громоздкими тюками сметет его силой. Этот переход измучил нас, а лошадей довел до полного изнеможения. Нам пришлось перескочить чуть не через тысячу восьмисот осликов, и всех нас верблюды без конца выбрасывали из седла, только один счастливчик может похвастать тем, что падал меньше шестидесяти раз. Это может показаться бессовестным преувеличением, но, как сказал поэт, «вещи не таковы, какими они кажутся». Ничто, по-моему, вернее не бросит вас в дрожь, чем верблюд, который неслышно подкрался к вам сзади и дотронулся до вашего уха своей холодной отвисшей губой. Верблюд проделал это с одним из моих спутников, который, охваченный мрачными размышлениями, поник в седле. Несчастный поднял глаза, увидел маячившее над ним величественное животное и в отчаянии пытался убратся с дороги, но, прежде чем ему это удалось, верблюд дотянулся до него и укусил его за плечо. Это было единственное приятное событие за весь переход.

В Назарете мы раскинули лагерь в оливковой роще, близ источника богородицы, и наш великолепный страж пришел получить бакшиш за свои услуги, — ведь он следовал за нами от самой Тивериады и одним видом своего грозного оружия отвращал от нас незримые опасности. Драгоман уже заплатил его хозяину, но это не считается: если вы нанимаете человека чихать за вас и кто-то пожелает помочь ему, вы должны платить обоим. Здесь задаром и шага не ступят. Как должны были удивиться здешние жители, когда им предложили спасение, *«которое не стоит денег и которому нет цены»*. Если люди, их нравы и обычаи и изменились со времен Спасителя, то с помощью библейских образов и метафор этого не докажешь.

Мы вошли в большой католический монастырь, построенный на том месте, где, как говорит предание, проживало святое семейство. По пятнадцати ступеням мы спустились под землю и очутились в маленькой часовне, искусно убранной ткаными завесами, серебряными светильниками и расписанной маслом. На мраморном полу, пред алтарем, крестом отмечено место, ставшее навеки священным, ибо считается, что именно здесь стояла дева Мария, когда ангел принес ей благую весть. Как просто, как скромно это место для столь грандиозного события! В память его во всем цивилизованном мире были воздвигнуты великолепные раки и царственно прекрасные храмы, величайшие художники мира считали для себя самой высокой честью запечатлеть его на своих полотнах; история этого места знакома каждому, даже малому ребенку, в любом городе, в

любой глухой деревушке, в самых отдаленных уголках христианского мира; несметное множество людей готово пересечь всю землю ради счастья увидеть это место. Умом я, конечно, прекрасно понимал это. Но очутившись здесь, я никак не мог проникнуться величием этой минуты. У себя дома, за несколько тысяч миль отсюда, я так ясно представлял себе явление светозарного и легкокрылого ангела и видел небесный свет, осиявший деву, когда слуха ее коснулась ниспосланная свыше весть. Сидя по ту сторону океана, каждый может представить себе эту картину, но лишь немногим удастся это здесь. Я видел нишу, из которой выступил ангел, но не смог заполнить ее пустоту. Ангелы, которые мне знакомы, созданы зыбким воображением, они неуместны в прочных каменных нишах. Фантазия лучше всего работает на расстоянии. Не знаю, найдется ли хоть один человек, способный, стоя в гроте Благовещения, населить его чересчур осязаемые каменные стены призрачными образами, живущими в его душе.

Нам показали обломок гранитной колонны, повисшей под кровлей; говорят, колонну разбили мусульманские завоеватели Назарета, тщетно пытавшиеся сокрушить святилище. Но колонна чудом осталась висеть в воздухе и, сама ничем не поддерживаемая, поддерживала и до сих пор поддерживает кровлю. Мы разделили это чудо на восьмерых, и тогда оказалось, что общими силами в него не так уж трудно поверить.

Даровитые католические монахи ничего не делают наполовину. Если бы они решили показать вам медного змия, воздвигнутого в пустыне, — можете не сомневаться, они припасли бы и столб, на котором он был поднят и даже яму, в которую этот столб был врыт. У них здесь есть грот Благовещения; и как всякому, имеющему уста, естественно иметь и гортань, так и у них имеется еще и кухня богородицы, и даже гостиная, где восемнадцать столетий тому назад дева Мария и Иосиф любовались, как младенец Христос играл иудейскими игрушками. Все эти «гроты» — под одной крышей, все чистые, просторные и удобные. Любопытно, что все, кто был тесно связан со святым семейством, всегда жили в «гротах» — в Назарете, в Вифлееме, в царственном Эфесе, — между тем никому из их сверстников и современников ничего подобного и в голову не приходило. А если они и жили в таких пещерах, пещеры эти давно бесследно исчезли, и остается лишь диву даваться, что те, о которых я рассказываю, сохранились по сей день. Когда богородица спасалась бегством от гнева Ирода, она укрылась в Вифлеемской пещере, и пещера эта цела и поныне; избиение младенцев в Вифлееме происходило в пещере, Спаситель родился в пещере, — и ту и другую по сей день показывают паломникам. Просто

удивительно, что все эти великие события произошли в пещерах, и притом это поразительное счастье, ибо самые крепкие дома со временем неизбежно рушатся, а пещера в скале останется на веки вечные. Все эти пещеры — сплошной обман, но человечество должно быть благодарно за него католикам. Стоит им разыскать место, освященное каким-либо из событий, упоминаемых в писании, и они тотчас воздвигают здесь прочный, на века рассчитанный храм и сохраняют память об этом месте для благодарных потомков. Если бы этот в высшей степени достойный труд выпал на долю протестантам, мы бы сегодня и не знали, где стоял Иерусалим, а человек, который сумел бы отыскать Назарет, был бы, конечно, наделен сверхъестественной мудростью. Человечество благодарно католикам за их добрые дела, даже за их ловкое мошенничество с этими высеченными в скалах поддельными пещерами, — ибо куда приятнее смотреть на пещеру, в которой, как веками свято верили люди, некогда жила богородица, чем пытаться вообразить себе ее жилище где-то в Назарете: то ли там, то ли тут, а где — в точности неизвестно. Слишком велик простор для воображения, ему трудно сделать выбор. Ничто не приковывает взора, не привлекает внимания, не заставляет задуматься. У нас, в Америке, будут помнить отцов-пилигримов^[191], пока не переведется названная в их честь плимутрокская порода кур. Монахи — мудрое племя, они знают, как навечно пригвоздить к месту милое сердцу предание.

Мы побывали там, где Иисус пятнадцать лет плотничал и где он пытался проповедовать в синагоге и был изгнан чернью. И тут и там стоят католические часовни и охраняют уцелевшие обломки древних стен. Наши паломники откололи от них по кусочку. Мы побывали также в новой часовне, среди города, построенной над каменной глыбой футов двенадцати в длину и четырех в поперечнике: несколько лет назад священники открыли, что однажды, возвращаясь из Капернаума, апостолы отдыхали на этом камне. Они поспешили позаботиться о сохранности этой реликвии. Подобные реликвии — выгодная недвижимость. Странно было бы, если бы путешественники любовались ею даром, и они в самом деле охотно платят за это удовольствие. И мы тоже не возражали. Всякому приятно сознавать, что он уплатил все, что с него причитается. Наши паломники уже готовы были достать из своих запасов сажу и трафареты и украсить этот камень своими именами вкупе с названиями американских городишек, откуда они родом, но здешние священнослужители ничего такого не разрешают. Однако, если говорить чистую правду, этим мои спутники грешат редко, хотя среди пассажиров «Квакер-Сити» есть и такие, которые никогда не упустят случая увековечить свое имя. Главный

грех наших паломников — страсть коллекционировать «образцы». Я полагаю, что они уже знают размеры этого камня с точностью до одного дюйма и его вес с точностью до тонны, — и смело могу поручиться, что ночью они вернутся и попробуют утащить его.

Источник богородицы — это тот колодец, к которому, как говорит предание, Мария в юности по двадцать раз на день ходила по воду. Вода течет из трубы, вмазанной в стену древней кладки, стоящую поодаль от деревни. Девушки Назарета и по сей день десятками сходятся здесь и громко хохочут и проказничают. Юные назарейки нехороши собой. У некоторых большие блестящие глаза, но мы не встретили ни одного милого личика. Всю их одежду составляет обычно свободный бесформенный балахон какого-то неопределенного цвета и притом изношенный до дыр. С макушки к подбородку у них, как и у модниц Тивериады, свешиваются нанизанные на проволоку старые монеты, на запястьях медные браслеты, в ушах медные серьги. Башмаков и чулок они не носят. Из всех девушек, каких мы встречали в этой стране, назаретянки самые приятные и добродушные. Но, как ни печально, эти живописные девы некрасивы.

Один наш паломник, по прозвищу Энтузиаст, сказал:

— Взгляните на эту высокую, грациозную девушку! Какое прекрасное лицо, настоящая мадонна!

Вскоре подошел другой паломник и сказал:

— Посмотрите на эту высокую, грациозную девушку — какое царственное изящество в ее прекрасном лице! Настоящая мадонна.

Я сказал:

— Она вовсе не высокая, а маленькая; она нехороша собой, она некрасива; она довольно изящна, согласен, но уж очень шумлива.

Вскоре подошел третий — последний паломник и сказал:

— Ах, какая высокая, грациозная девушка! Что за царственное изящество, ведь это настоящая мадонна!

Таков был их единодушный приговор. Теперь пора обратиться к авторитетному источнику, из которого они почерпнули свои мнения. Вот строки, которые я нашел. А кто их написал? Вильям С. Граймс:

«Вскочив на коней, мы поехали к источнику, чтобы в последний раз поглядеть на назарейнок, самых миловидных женщин из всех, которых мы встречали на Востоке. Когда мы приблизились к толпе, высокая девушка лет двадцати выступила вперед и подала Мириам чашу с водой. Движения ее были исполнены царственной грации. «Да это же настоящая мадонна!» — воскликнули мы. Уайтли вдруг почувствовал жажду, попросил, чтобы ему дали воды, и медленно выпил ее, глядя поверх чаши в большие

черные глаза девушки, которая глядела на него с таким же любопытством, как и он на нее. Потом Моррайт тоже захотел напиться. Она подала воды и ему, и он сумел расплескать воду и попросил еще; к тому времени, как она подошла ко мне, она уже разгадала нашу хитрость, и когда она поглядела на меня, глаза ее смеялись. Я расхохотался, и она ответила мне таким звонким, веселым смехом, каким смеется любая сельская девушка на моей родине. Мне бы хотелось иметь ее портрет. Мадонна, списанная с этой назарейанской красавицы, была бы «прекрасна несказанно» и «вечно радовала бы глаз»^[192].

Вот таким сладким вздором о Палестине пичкают читателей веками. Читайте про красоту индейца у Фенимора Купера, а про красоту арабов — у Граймса. Красивый араб не редкость, но арабские женщины далеко не красавицы. Мы все верим, что дева Мария была прекрасна, было бы противоестественно думать иначе; но разве из этого следует, что наш долг находить прекрасными современных назарейанок?

Люблю цитировать Граймса — он так драматичен. И так романтичен. И, видно, мало заботится о том, правду ли он говорит, — его дело поугатать читателя, пробудить в нем зависть или восхищение.

Он проехал по этой мирной земле с револьвером в одной руке и с носовым платком в другой. И всякую минуту он готов был либо пролить слезу над каким-нибудь клочком Святой Земли, либо пристрелить араба. С тех пор, как скончался Мюнхгаузен, ни один путешественник, ни в Палестине, ни где бы то ни было еще, не переживал стольких поразительнейших приключений.

В Бейт-Джине, где никто его и пальцем не тронул, Граймс среди глубокой ночи потихоньку выбрался из шатра и выстрелил во что-то, что принял за араба, притаившегося поодаль на скале и злоумышлявшего против него. Пуля поразила волка. Но прежде чем выстрелить, он, по обыкновению, становится в драматическую позу, дабы напугать читателя.

«Была ли то игра воображения, или я в самом деле увидел, как что-то движется на скале? Если это человек, почему он не уложил меня на месте? В своем черном бурнuse на фоне белой палатки я был отличной мишенью. Я уже чувствовал, как пуля вонзается мне в горло, в грудь, в мозг».

Это ли не храбрец!

На пути к Геннисарету они увидели двух бедуинов и — «мы взяли за свои пистолеты и незаметно вынули их из-за кушака» и т. д. Несокрушимое хладнокровие!

В Самарии он взял приступом гору, хотя навстречу ему летели тучи камней; он выстрелил в толпу, закидавшую его камнями. Вот что он пишет:

«Я никогда не упустил случая показать арабам, сколь совершенно американское и английское оружие и как опасно нападать на вооруженных франков. Я думаю, этот выстрел кое-чему научил их».

В Бейтине он жестоко отчитал своих погонщиков арабов и затем —

«Я торжественно поклялся себе, что если кто-либо из них осмелится снова не исполнить моего приказания, я задам виновному такую порку, какая ему и во сне не снилась, а если не найду виноватого, высеку их всех до единого; и если поблизости не окажется губернатора, чтобы заняться этим, я сделаю это собственноручно».

Поистине, этот человек не знает страха.

Отвесной тропой, пробитой в скалах от замка Баниаса к дубовой роще, он скакал галопом; что ни прыжок — тридцать футов! Я готов представить тридцать надежных свидетелей, которые подтвердят, что знаменитый подвиг Путнэма^[193] в Хорснэке безделица по сравнению с этим.

Взгляните — вот он, как всегда в эффектной позе, взирает на Иерусалим, только на сей раз по оплошности он забыл взять в руки пистолет.

«Я стоял на дороге, положив руку на холку коня, и затуманенным взором пытался различить очертания священных мест, которые задолго до этой минуты запечатлелись в моей душе, но слезы лились потоками и застилали мне глаза. Со мной были и слуги мусульмане, и католический монах, и два армянина, и еврей — и все как один глядели на город полными слез глазами».

Если уж католические монахи и арабы плакали, то я глубоко убежден, что и лошади тоже плакали, и, таким образом, картина была совершенно законченная.

Но когда того требует необходимость, Граймс может быть тверд, как алмаз. В Ливанской долине один молодой араб — христианин (мусульмане, как не преминул пояснить Граймс, никогда не воруют) — украл у него пороха и дрови на какие-нибудь десять долларов. Граймс обличил его перед лицом шейха и присутствовал при том, как беднягу жестоко били палками по пяткам. Послушайте его самого:

«В мгновение ока Мусу повалили на спину; он выл, кричал, вопил, но его подтащили к площадке перед дверьми, чтобы мы видели казнь, и положили лицом вниз. Один сел ему на спину, другой на ноги и поднял ступни, а третий хлестал по голым пяткам плетью из шкуры носорога, которая при каждом взмахе со свистом рассекала воздух. Бедный Моррайт страдал нестерпимо. Нама и Нама Вторая (мать и сестра Мусы) пали ниц и молили и причитали, обнимая то мои колени, то Уайтли, а брат, стоявший

поодаль, оглашал воздух криками еще более пронзительными, чем Муса. Даже Юсуф пришел и на коленях просил меня смягчиться, наконец появился Битуни — у негодая пропал мешок с едой в их доме, и утром он громче всех требовал, чтобы вор был наказан, а теперь умолял Какпоживая смириться над Мусой».

Но куда там! Наказание приостановили на *пятнадцатом* ударе, чтобы выслушать признание виновного. Потом Граймс и его спутники поехали дальше, оставив всю эту христианскую семью во власти мусульманского шейха, чтобы он оштрафовал ее и примерно наказал по своему усмотрению.

«Когда я вскочил на коня, Юсуф снова стал молить меня вмешаться и пощадить их, но я поглядел на окружившую меня темнолицую толпу и не нашел в своем сердце ни капли жалости к ним».

Он довершает картину вспышкой буйного веселья, которая превосходно оттеняет горе матери и ее детей.

Еще одна выдержка:

«Потом я снова склонил голову. В Палестине не стыдно плакать. Я плакал, увидав Иерусалим, плакал, когда лежал под звездами в Вифлееме, плакал на благословенных берегах моря Галилейского. Я не ослабил поводьев, и палец мой не дрогнул на курке пистолета, который я держал в правой руке, когда я ехал берегом синего моря (проливая слезы. — М. Т.). Слезы эти не туманили мой взор, и сердце мое было по-прежнему неуязвимо. Пусть тот, кому смешны мои чувства, закроет книгу и не читает дальше, ибо мои странствия по Святой Земле придутся ему не по вкусу».

Одним словом, с ним не соскучишься.

Я отдаю себе отчет в том, что слишком много места уделю книге мистера Граймса. Однако говорить о ней вполне уместно и законно, ибо «Бродячая жизнь в Палестине» — книга весьма показательная, она представляет целую категорию книг о Палестине, и вынести суждение о ней — значит, вынести суждение обо всех этих книгах. И поскольку я говорю о ней, как об одной из многих книг, я позволил себе дать ей вымышленное название и автору ее вымышленное имя. Пожалуй, это всего тактичнее.

Глава XXIV. Детство Спасителя. — Дом аендорской волшебницы. — Наин. — «Вольный сын пустыни». — Древний Изреель. — Подвиги Ииуя. — Самария и ее знаменитая осада.

Назарет представляет для нас особый интерес, ибо он кажется в точности таким, каким был во времена Иисуса, и то и дело говоришь себе: «Иисус ребенком стоял в этих дверях... играл на этой улице... касался этих камней... бродил по этим меловым холмам». Если кто-либо увлекательно напишет о детстве Иисуса, книгу его с живым интересом прочтут и стар и млад. Я сужу по тому, что Назарет заинтересовал нас куда больше, чем Капернаум и море Галилейское. Стоя у моря Галилейского, можно лишь смутно представить себе величественный образ того, кто шествовал по гребням волн, как по твердой земле, и прикосновением своим воскрешал мертвых. Среди своих записок я нашел и с новым интересом перечитал заголовки некоторых глав, выписанные из Апокрифического Нового завета^[194], издания 1621 года. Выдержка:

Новобрачная, которую волшебники лишили дара речи, поцеловала Христа и исцелилась. Девушка, больная проказой, исцелилась водой, в которой купали младенца Христа, и стала прислужницей Иосифа и Марии. Прокаженный сын князя исцеляется тем же способом.

Юноша, колдовством обращенный в мула, чудесным образом исцеляется, когда на его спину сажают младенца Христа, и женится на девушке, исцеленной от проказы. После чего все очевидцы возносят хвалу Господу.

Глава 16. Христос чудесным образом расширяет или суживает ворота, подойники, сита и ящики, испорченные Иосифом, который был не слишком искусным плотником. Царь иерусалимский заказывает Иосифу трон. Иосиф трудится над ним два года и делает его на две пяди уже, чем нужно. Царь гневается на Иосифа, но Иисус успокаивает его — велит ему тянуть трон в одну сторону, а сам тянет в другую, и трон становится надлежащих размеров.

Глава 19. Иисус, обвиненный в том, что он сбросил мальчика

с крыши дома, чудесным образом заставляет мертвого мальчика заговорить и оправдать его; посланный матерью за водой, он разбивает кувшин, чудесным образом собирает воду в свой плащ и приносит ее домой.

Посланный к учителю, он отказывается ответить урок, учитель хочет высечь его, но у него отсыхает рука.

Далее в этой удивительной книге отвергнутых свидетельств помещено послание святого Климентия коринфянам, которое четырнадцать-пятнадцать веков назад считалось подлинным. В нем есть такой рассказ о сказочном фениксе:

1. Рассмотрим тот поразительный пример воскресения из мертвых, который известен в странах Востока, иными словами — в Аравии.

2. Существует птица, называемая феникс. В целом свете в одно время существует только одна такая птица, и век ее пятьсот лет. На исходе отпущенного ей срока, чувствуя приближение смерти, она вьет себе гнездо из ладана, мирры и других снадобий, и когда пробьет ее час, входит в гнездо и умирает.

3. Но плоть ее, разлагаясь, рождает червя, и, вскормленный соками умершей птицы, он покрывается перьями; и растет он, и, достигнув зрелости, поднимает гнездо, где лежат кости его родителя, и уносит его из Аравии в Египет, в город, называемый Гелиополис.

4. Прилетев в Гелиополис при свете дня, на глазах у всех людей, он кладет гнездо на алтарь солнца и так возвращает родителя своего туда, где было ему начало.

5. Тогда жрецы раскрывают летописи и узнают, что он вернулся точно на исходе пяти сотен лет.

Дело есть дело, и точность — великое достоинство, особенно когда речь идет о фениксе.

Немногие главы, относящиеся к младенчеству Спасителя, повествуют о пустяках, не стоящих того, чтобы их сохранять. Однако значительная часть этой книги мало чем отличается от подлинного Священного Писания. Есть в ней один стих, который ни в коем случае не следовало отвергать, ибо он со всей очевидностью пророчествует о членах конгресса Соединенных Штатов.

199. Они ставят себя высоко и мнят себя мужами рассудительными; и хоть они глупы, но хотят всех уверить, что они призваны учить других.

Я выписал эти строки, не изменив ни единого слова. Повсюду в соборах Англии, Франции и Италии можно услышать предания о личностях, которых нет в Библии, и о чудесах, которые не упоминаются на ее страницах. Но все они есть в этом Апокрифическом Новом завете, и хотя они не вошли в нашу современную Библию, утверждают, что двенадцать — пятнадцать веков тому назад никто не сомневался в их истинности и в них верили так же свято, как во все остальное. И прежде нежели посещать эти высокочтимые соборы, где хранятся сокровища запретных и забытых преданий, необходимо прочесть эту книгу.

В Назарете нам навязали еще одного разбойника, еще одного непобедимого стража-араба. Мы бросили последний взгляд на город, прилепившийся к склону горы, точно побеленное осиное гнездо, и в восемь часов утра отправились в путь. Мы спешили и повели лошадей по горной тропе, которая, на мой взгляд, ничем не отличалась от штопора; она падала, как самая крутая радуга, и, по-моему, нет во всем мире дороги хуже, кроме разве той на Сандвичевых островах, которую я вспоминаю с ужасом, да еще одной-двух горных троп в Сиерра-Неваде. На этой узкой тропинке лошади то и дело приходилось балансировать на неровной каменной ступени и, обретя равновесие, прыгать передними ногами на следующую ступень, которая ниже первой чуть не на половину лошадиного роста. Носом она едва не упирается в землю, хвост устремлен в небеса, и со стороны может показаться, что она вот-вот станет на голову. В такой позе лошади трудно сохранить достоинство. Наконец мучительный спуск остался позади, и мы рысью пустились по великой Ездрилонской равнине.

На этих дорогах иным из нас, без сомнения, суждена пуля. Паломники читают «Бродячую жизнь» и чувствуют себя отважными донкихотами. Их руки словно приросли к пистолетам, и то и дело, когда меньше всего этого ждешь, они выхватывают пистолеты и целятся в бедуинов, которых и в помине нет, и, вытащив ножи, неистово размахивают ими на страх другим несуществующим бедуинам. Мне непрестанно грозит смертельная опасность, ибо порывы эти внезапны и беспорядочны и невозможно угадать, когда именно нужно убираться с дороги. Если во время этих романтических безумств кто-либо из паломников ненароком прикончит меня, мистера Граймса следует со всей строгостью призвать к ответу как прямого соучастника убийства. Если паломник старательно при-

целится в кого-нибудь и выстрелит, от этого не будет никакой беды — человеку этому не грозит ни малейшая опасность, но вот против их случайных выпадов я решительно возражаю. Не желаю я больше видеть мест, подобных Ездрилону, где перед вами ровная дорога и можно пустить лошадей вскачь. От этого паломникам в голову ударяет всякий романтический вздор. Вы трусите полегоньку под солнышком, и мысли ваши далеко-далеко отсюда, — и вдруг они налетают на вас вихрем, с дикими воплями, так отчаянно прищипывая своих несчастных кляч, что стремяна взлетают чуть не выше головы; и когда они проносятся мимо, кто-нибудь выхватывает свой пугач, что-то щелкает, и вы шарахаетесь от просвистевшей над ухом пули. Раз уж я отправился в это странствие, я намерен довести дело до конца, хотя, по правде говоря, одна лишь безрассудная отвага заставляет меня все еще продолжать путь. Я ничего не имею против бедуинов — я не боюсь их, ибо ни разу не заметил, чтобы какой-либо бедуин или простой араб злоумышлял против нас, но вот кого я по-настоящему боюсь, так это моих спутников.

Пересекши равнину, мы одолели небольшой подъем и оказались в Аендоре, известном своей волшебницей. Ее потомки живут здесь и поныне. Никогда еще мы не встречали таких неистовых полуголых дикарей. Они высыпали из глиняных ульев, из лачуг, похожих на ящики из-под галантерейного товара, из пещер, зияющих под навесами скал, из каких-то ям и расщелин, точно из-под земли. В пять минут уединения и безмолвия как не бывало: оглушая нас мольбами, воплями, криками, толпа сгрудилась вокруг лошадей, не давая им шагу ступить. «Бакшиш! Бакшиш! Бакшиш! Какпоживай, бакшиш!» Всё как в Магдале, только здесь глаза язычников горят злобой и ненавистью. В Аендоре двести пятьдесят жителей, и большая половина их обитает в пещерах. Грязь, вырождение и дикость отличают селение Аендор. Мы больше не будем говорить о Магдале и Девурье. Аендор превзошел их. Он хуже любого индейского поселка. Гора голая, каменистая и угрюмая. Здесь нет ни травинки и растет лишь одно-единственное дерево — это смоковница, которая отвоевала для себя ненадежную площадку меж скал у входа в мрачную пещеру, где некогда жила сама аендорская волшебница. В этой пещере, говорит предание, в полночный час сидел царь Саул и, трепеща, вглядывался в темноту, и земля дрожала, и в горах грохотал гром, и из огня и дыма поднялся дух умершего пророка и предстал перед ним. Саул прокрался сюда во тьме, когда воины его спали, дабы узнать, что уготовано ему судьбой в грядущей битве. И он ушел отсюда с печалью в сердце, навстречу бесчестью и смерти.

В глубине угрюмой пещеры пробивался ручеек, а нас мучила жажда.

Но жители Аендора не пожелали пустить нас туда. Им все нипочем — грязь, лохмотья, паразиты, варварское невежество и дикость, полуголодное существование, но они во что бы то ни стало хотят остаться чистыми и непорочными перед лицом своего бога, кто бы он ни был, а потому содрогаются и бледнеют при одной мысли о том, что христианские уста осквернят родник, чьи воды предназначены для их освященных глоток. Мы вовсе не собирались оскорблять их чувства или не считаться с их предрассудками, но уже в этот ранний час у нас вышла вся вода, и мы сгорали от жажды. Именно здесь и при таких обстоятельствах я изрек афоризм, вскоре ставший знаменитым. Я сказал: «Нужда не знает законов». Мы вошли в пещеру и напились.

Наконец мы выбрались из толпы этих крикливых попрошайек; мы взбирались все выше в гору, и они отставали от нас понемногу — сперва старики, потом малые дети, за ними девушки; мужчины покрепче бежали за нами добрую милю и отстали, лишь получив последний пиастр и поняв, что больше никакого бакшиша не будет.

Через час мы уже были в Наине, где Христос воскресил сына вдовы. Наин — это маленькая Магдала. Жителей здесь очень мало. В сотне ярдов отсюда находится то самое кладбище, куда несли покойника; могильные камни, как принято у евреев в Сирии, лежат на земле плашмя, — вероятно, мусульмане не позволяют ставить их. Мусульманская гробница обычно грубо оштукатурена и побелена, и на одном конце ее стоит кое-как обтесанный камень — жалкое подобие украшения. В городах могилы зачастую имеют совсем уж непривычный вид: высокие и узкие мраморные надгробия со сложными надписями, золоченые и разрисованные, стоят на том месте, где похоронен человек, и каждое увенчано искусно изваянной чалмой, по которой сразу видно, какое положение занимал покойный при жизни.

Нам показали остаток древней стены, — говорят, она примыкала к воротам, из которых много веков назад выносили умершего сына вдовы, когда Иисус повстречал похоронную процессию:

Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города.

Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.

И подошел, прикоснулся к одру; несшие остановились; и он сказал: юноша! Тебе говорю, встань.

Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его

Иисус матери его.

И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой.

На месте, где, как гласит предание, было жилище вдовы, стоит небольшая мечеть. Два старых араба сидели у порога. Мы вошли, и наши паломники отбили по кусочку от цоколя, хотя для этого им пришлось коснуться молитвенных ковриков и даже ступить на них. Это было все равно что отбить по куску от сердца каждого из этих стариков. Не сняв обуви, варварски наступить на священный коврик, чего не позволит себе ни один араб, — значило причинить боль людям, не сделавшим нам никакого зла. Что, если бы орава вооруженных чужеземцев вломилась в сельскую церковь в Америке и, ради того чтобы пополнить свои коллекции, стала топтать Библию, отбивать по кусочку от решетки алтаря и от кафедры? Впрочем, тут есть разница. Одно дело осквернение нашего храма, другое — осквернение языческого.

Мы снова спустились на равнину и на минутку задержались у колодца времен Авраама — никак не новее. Место здесь пустынное. Колодец обнесен стеною высотой в три фута, сложенной из массивных, грубо обтесанных каменных глыб, — совсем как на картинках в Библии. К колодцу сошлись верблюды; одни стояли, другие опустили на колени. Тут же кучки невозмутимых осликов; голые смуглые дети бегают вокруг них, садятся на них верхом, дергают их за хвост. Босые девушки, бронзово-смуглые и черноглазые, в лохмотьях, но с медными браслетами и грошовыми серьгами, несут на головах кувшины с водой или черпают воду из колодца. В стороне стадо овец дожидается, пока пастухи наполнят водою выдолбленные камни и можно будет напиться: камни эти, как и те, которыми обнесен колодец, гладко отполированы мордами многих поколений томимых жаждою животных, тершихся о них. Тут и там живописные арабы, усевшись в кружок прямо на земле, важно курят свои трубки с длинными чубуками, другие наливают воду в черные бурдюки из овечьих шкур, наполняют их до отказа, и они раздуваются так, что короткие ножки нелепо растопыриваются, — эти бурдюки напоминают распухших баранов-утопленников. Вот он, Восток, которым я тысячи раз восхищался, любясь богатой игрой света и тени на гравюрах. Но на гравюрах нет ни запустения, ни грязи, ни лохмотьев, ни блох, ни уродливых лиц, ни гноящихся глаз, ни пирующих мух, ни порожденной невежеством тупости во взгляде, ни стертых до живого мяса ослиных спин, ни раздражающей и непонятной болтовни на незнакомых наречиях, ни

зловония, исходящего от верблюдов, ни мыслей о том, что, если б подложить под все это тонну-другую пороха и запалить его, получилось бы куда эффектнее, — и эту радующую глаз картину можно было бы вспоминать с удовольствием, проживи мы хоть тысячу лет.

На гравюрах Восток выглядит куда приятнее. Отныне меня уже не обманешь картиной, изображающей встречу Соломона с царицей Савской. Сударыня, скажу я про себя, вы очень хороши, но ноги у вас не слишком чистые, и пахнет от вас, как от верблюда.

Вдруг грозный араб, приведший караван верблюдов, узнал в нашем Фергюсоне старого приятеля; они кинулись друг другу на шею и расцеловали друг друга в обе щеки, заросшие грязными бородами. Тут я понял то, что всегда казалось мне лишь плодом восточного красноречия. Я говорю о том случае, когда Христос упрекнул фарисея или еще кого-то в том, что он «не дал ему целования». Мне казалось маловероятным, чтобы мужчины ни с того ни с сего целовались, но теперь я знаю, что здесь они целуются. И на то есть веские причины. Обычай этот вполне естественный и понятный: людям свойственно целоваться; но вряд ли кто-нибудь по доброй воле согласится целовать здешних женщин. Чем больше путешествуешь, тем больше узнаешь. С каждым днем все новые библейские изречения, прежде для меня ничего не значившие, обретают смысл.

Мы объехали подножье горы Малый Хермон, миновали твердыню крестоносцев Эль Фуле и прибыли в Сонам. Это еще одна вылитая Магдала — та же стенная роспись, все то же. Предание гласит, что здесь родился пророк Самуил и одна здешняя жительница построила на городской стене убежище для пророка Елисея. Пророк спросил, какого она ждет вознаграждения. Вполне естественный вопрос, ибо здешний народ с тех далеких времен и поныне сперва навязывается со своими благодеяниями и услугами, а потом ждет и выпрашивает за них плату. Елисей хорошо это знал. Он и помыслить не мог, чтобы кто-то построил для него это скромное жилище совершенно бескорыстно, из одной только старой дружбы. Мне всегда казалось, что Елисей поступил весьма неучтиво, чтобы не сказать грубо, задав этой женщине подобный вопрос, но теперь я так не думаю. Женщина ответила, что ей ничего не надо. Тогда за ее доброту и бескорыстие он обрадовал ее вестью, что она понесет сына. Это была щедрая награда — за дочь она бы его не поблагодарила: дочери здесь всегда были не в чести. Сын родился, рос, набирался сил и умер. И здесь, в Сонаме, Елисей воскресил его.

Мы наткнулись на лимонную рощу — она прохладная, тенистая, все

ветви отягощены плодами. Когда красоту видишь редко, готов найти ее и там, где ее нет, но мне эта роща показалась поистине прекрасной. И она была прекрасна. Я не преувеличиваю. Я всегда буду вспоминать Сонам с благодарностью: после долгой томительной езды по жаре деревья укрыли нас в своей густой тени. Мы позавтракали, отдохнули, поболтали, выкурили трубки — так прошел час, потом мы сели на лошадей и поехали дальше.

Пересекая рысцой равнину Изреельскую, мы повстречали с полдюжины бедуинов, очень похожих на индейцев, — размахивая длиннейшими копьями, они гарцевали на старых костлявых клячах и пронзали воображаемого врага; лохмотья их развевались по ветру, они гикали, вопили и вообще вели себя, как сумасшедшие. Вот они наконец — «дикие, вольные сыны пустыни, на своих прекрасных арабских кобылицах вихрем несущиеся по равнине», о которых мы столько читали и которых жаждали увидеть! Вот они — «живописные одежды»! Воистину, «великолепное зрелище»! Оборванные бродяги... дешевое бахвальство... «арабские кобылицы» из одних хребтов и ребер, точно музейный скелет ихтиозавра, горбатые и нескладные, как дромадер! Стоит раз взглянуть на истинного сына пустыни — и он навсегда лишится романтического ореола; стоит увидеть его коня — и почувствуешь потребность немедленно совершить акт милосердия: расседлать его, и пусть без помехи развалится на составные части.

Вскоре мы подъехали к разрушенному городу на горе, — это и был древний Изреель.

Изреель некогда был столицей, в ней жил Ахав, царь Самарии (по тем временам это было весьма обширное царство — всего вдвое меньше Род-Айленда). Неподалеку жил человек именем Навуфей, и у него был виноградник. Царь попросил у него виноградник, но тот не пожелал расстаться с ним; тогда царь предложил купить виноградник, но Навуфей и тут отказал ему. В те времена почиталось преступным за какую бы то ни было цену уступить землю, завещанную предками, — и даже если человек расставался с нею, она возвращалась к нему или к его наследникам в первый же юбилейный год^[195]. Тогда царь, этот великовозрастный баловень, глубоко опечаленный, пришел домой, лег на постель и отворотился к стене. Царица, которая пользовалась такой дурной славой, что ее именем и поныне называют недостойных женщин, вошла к нему и спросила, отчего встревожен дух его, и он рассказал ей. Иезавель пообещала, что виноградник будет его; она пошла и от имени Ахава написала поддельные письма к старейшинам и знатым людям и велела им

объявить пост и посадить Навуфея на первое место в народе, потом подкупить двух свидетелей, которые бы сказали, что он хулил Бога. И они сделали так, и обвиняемого вывели за городскую стену и побили камнями, и он умер. Тогда Иезавель пошла и сказала царю: «Вот, Навуфея нет в живых, встань и возьми себе виноградник». Ахав пошел в виноградник, чтобы взять его во владение. Но пророк Илия пришел к нему туда и предрек ему судьбу его и судьбу Иезавели: он сказал, что на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, они будут лизать его кровь, и сказал еще, что псы пожрут Иезавель за стеною Изрееля. По прошествии времени царь был убит в сражении, и когда колесницу его обмывали в пруде Самарийском, псы лизали кровь его. Прошло время и Ииуй, который был царем в Израиле, по велению одного из пророков прибыл в Изреель; он вершил правосудие по обычаю того времени: убил многих царей и их подданных, а войдя в город, увидел Иезавель, которая глядела на него из окна, наруганная и раздетая, и велел бросить ее ему под ноги. И слуга выбросил ее, и конь Ииуя растоптал ее. Потом Ииуй сел за трапезу и, немного погодя, сказал: «Подите и предайте земле тело этой недостойной, ибо она царская дочь». Однако дух милосердия снизошел на него слишком поздно, ибо пророчество уже исполнилось — псы пожрали ее, и слуги «не нашли от нее ничего, кроме черепа, и ног, и кистей рук».

После смерти Ахава некому было защитить его семью, и Ииуй убил семьдесят его осиротевших сыновей. Потом он убил всех родственников и воспитателей детей Ахавовых, и слуг, и всех друзей его, и отдыхал от трудов своих, а потом близ Самарии встретились ему сорок два человека, и он спросил их, кто они такие; они сказали, что они братья царя иудейского. И он убил их. И, прибыв в Самарию, сказал, что покажет свою ревность о Господе; и он созвал всех священников и всех поклонявшихся Ваалу, притворившись, будто он собирается принять их веру и принести великую жертву Ваалу; когда же они оказались в таком месте, где не могли защищаться, он приказал перебить их всех до единого. После этого Ииуй, добрый сеятель веры, снова отдыхал от трудов своих.

Мы вернулись в долину и поехали к источнику Айн Иилуд. Обычно его называют источник Изреельский. Это пруд площадью футов в сто и четырех футов глубиной, куда впадает ручеек, вытекающий из-под нависшего над ним уступа скалы. Место это пустынное и уединенное. В старину здесь стоял лагерь Геден; позади Сонама расположились «мадианитяне и амаликитяне и жители востока», они были «в таком множестве, как саранча; верблюдам их не было числа, много-много было их, как песку на берегу моря». Иными словами, их было сто тридцать пять тысяч

воинов и соответствующее количество средств передвижения.

Гедеон, всего лишь с тремястами воинов, напал на них врасплох среди ночи, а потом стоял в стороне и смотрел, как они рубили друг друга, пока не полегло их на поле сто двадцать тысяч.

Когда стало темнеть, мы расположились лагерем у Иенина, а в час ночи поднялись и двинулись дальше. На рассвете мы миновали то место, где, по самому достоверному преданию, находится ров, в который братья бросили Иосифа; около полудня, одолев одну за другой несколько горных вершин, поросших смоковницами и оливами, мы завидели милях в сорока впереди Средиземное море, потом проехали много древних библейских городов, жители которых провожали нашу христианскую процессию свирепыми взглядами и, видно, с радостью закидали бы нас камнями; и наконец приблизились к поднимающимся многочисленными уступами уродливым горам и при виде их сразу поняли, что вышли из Галилеи и наконец-то вступили в Самарию.

Мы взобрались на высокую гору, чтобы осмотреть город Самарию, откуда, быть может, была родом женщина, беседовавшая с Христом у колодца Иакова, и откуда, несомненно, происходил прославленный добрый самаритянин^[196]. Говорят, Ирод Великий построил на этом месте великолепный город, — тому свидетельством, как указывают многочисленные авторы, служит великое множество грубых известняковых колонн двадцати футов высотой и двух футов в поперечнике, уродливых и по форме и по орнаменту. Во всяком случае, в древней Греции их бы не сочли прекрасными.

Жители в этом селении на редкость злобные и на днях забросали камнями две партии наших паломников, которые сами были в этом виноваты, — они вынули револьверы, хотя и не думали пускать их в ход; на Дальнем Западе это считается не слишком разумным поступком, да и где же на это станут смотреть по-другому? В новых территориях, если уж человек берет в руки оружие, он знает, что должен пустить его в ход; он должен пустить его в ход немедленно, ибо иначе его пристрелят на месте. Но наши паломники начитались Граймса.

В Самарии мы только и могли, что купить горсть древнеримских монет — франк за дюжину — да осмотреть ветхую церковь, построенную крестоносцами, и склеп, в котором некогда стоял гроб с телом Иоанна Крестителя. Святыню эту давным-давно перенесли в Геную.

Некогда, в дни пророка Елисея, Самария выдержала жестокую осаду сирийского царя. Съестные припасы стали так дороги, что «ослиная голова продавалась по восьмидесяти сиклей серебра, и четвертая часть каба

голубинового помета — по пяти сиклей серебра».

Нам известно об одном случае, по которому можно ясно представить себе, какие страшные бедствия терпели в ту тяжкую пору осажденные в этих ныне разрушенных стенах. Однажды царь проходил по крепостной стене, и

женщина с воплем говорила ему: помоги, господин мой царь!.. И сказал ей царь: что тебе? И сказала она: эта женщина говорила мне: отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына и съели его. И я сказала ей на другой день: отдай же твоего сына, и съедим его. Но она спрятала своего сына.

Пророк Елисей предсказал, что через сутки съестные припасы будут стоить совсем дешево, и так оно и случилось. По неизвестной причине сирийское войско сняло осаду и бежало, в город снова был открыт доступ, голод кончился, и множество бессовестных спекулянтов голубиным пометом и ослиатиной разорилось.

Мы с радостью уехали из этой жаркой, пыльной деревушки и поспешили дальше. В два часа мы остановились поехать и отдохнуть в древнем Сихеме, меж исторических гор Гаризим и Гевал, с вершины которых в старину провозглашали законы, проклятия и благословения толпившимся внизу иудеям.

Глава XXV. Сихем. — Могила Иосифа. — Колодец Иакова. — Силом. — Лестница Иакова. — Рама, Бероф, могила Самуила, Бейрский источник. — В стенах Иерусалима.

Узкое ущелье, где расположен Наблус, или Сихем, прекрасно возделано, и почва здесь черноземная и необыкновенно плодородна. Оно хорошо орошается, и его пышная растительность составляет резкий контраст с обнаженными горами, которые вздымаются по обе его стороны. Одна из них — древняя Гора благословений, другая — Гора проклятий; и мудрецы, которые повсюду ищут исполнения пророчеств, воображают, будто здесь они попали на истинное чудо, а именно: Гора благословений, мол, поражает своим плодородием, а та, вторая, поразительно бесплодна. Однако мы не заметили между ними большой разницы.

Сихем знаменит тем, что в нем одно время жил патриарх Иаков, и тем, что здесь обосновались племена израилены, отпавшие от своего народа и провозгласившие вероучение, не согласное с верой их отцов. Тысячи лет род этот жил в Сихеме как отверженный, почти не поддерживая торговых или дружеских связей с людьми иной религии и национальности. В каждом поколении их насчитывалось не больше одной-двух сотен, но они по-прежнему твердо держатся своей древней веры и соблюдают свои древние обряды и обычаи. Толкуйте после этого о древности рода, о высоком происхождении! Князья и знатные вельможи гордятся своей родословной, если могут проследить ее на протяжении нескольких жалких столетий. Не безделица ли это для горстки старинных семей Сихема, которые могут назвать всех своих праотцев по прямой линии за тысячелетия, до столь отдаленных времен, что люди, выросшие в стране, где события, происходившие двести лет назад, уже глубокая древность, теряются, не в силах этого постичь. Вот это — респектабельность, вот это древность рода, это высокое происхождение, которым не стыдно похвастать! Жалкие и гордые остатки некогда могучей общины и поныне чуждаются всего мира; они все еще живут, как жили их праотцы, — так же трудятся, так же думают, так же чувствуют и на том же клочке земли, где ничто не изменилось, совершают свои странные обряды, как то делали их предки за тридцать веков до них. С любопытством, не отрывая глаз, глядел я на каждого последыша этого удивительного народа, — так, верно, мы глазели

бы на ожившего мастодонта или на мегатерия, которые существовали на заре творения и видели чудеса того таинственного мира, что был до потопа.

Среди священных архивов этой удивительной общины тщательно хранится манускрипт древнего иудейского закона, который считается самым старинным документом на земле. Он написан на тонком пергаменте, четыре или даже пять тысяч лет назад. Одним только бакшишем приобретает право взглянуть на него. В последнее время слава его несколько померкла, потому что очень многие путешественники по Палестине в своих путевых записках позволили себе усомниться в его подлинности.

К слову сказать, у первосвященника этой самаритянской общины я за солидное вознаграждение раздобыл секретный документ, еще более древний, нежели упомянутый мною манускрипт, и куда более своеобразный. Я опубликую его в самое ближайшее время, как только закончу перевод.

Здесь же, в Сихеме, Иисус Навин перед смертью дал последние наставления сынам Израиля и тайно закопал под дубом бесценное сокровище. Суеверные самаритяне так и не отважились разыскивать его: они верили, что его охраняют грозные невидимые духи.

Милях в полутора от Сихема мы остановились у подножья горы Гевал, перед небольшой квадратной площадкой, обнесенной высокими, тщательно побеленными каменными стенами. В одном конце этой площадки стоит гробница — такие обычно делают мусульмане. Это могила Иосифа. Тут уж никаких сомнений быть не может.

Умирая, Иосиф предсказал исход евреев из Египта, который произошел четыреста лет спустя. В то же время он взял со своего народа клятву, что, отправляясь в землю Ханаанскую, они унесут с собой его кости и похоронят их в древней земле его отцов. Они сдержали клятву:

И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Еммора, отца Сихемова, за сто монет.

Не много найдется на земле могил, которые внушали бы такое благоговение людям разной крови и разных вероисповеданий, как могила Иосифа. «Самаритянин и иудей, мусульманин и христианин равно чтят ее и приходят поклониться ей. Это могила Иосифа, преданного сына, нежного, всепрощающего брата, праведного человека, мудрого государя и правителя. Египет чувствовал его руку — мир знает историю его жизни».

На том самом «участке поля», которые Иаков купил у сынов Еммора за сто монет, находится знаменитый колодец Иакова. Высеченный в твердой скале, он занимает площадь в девять футов и уходит на девяносто футов вглубь. Имя этой самой обыкновенной ямы, мимо которой можно пройти, не заметив ее, знакомо и привычно каждому ребенку, каждому крестьянину в самых дальних краях. Он прославленнее Парфенона, он древнее пирамид.

Это здесь сидел Иисус и беседовал с женщиной из той странной, отставшей от века самаритянской общины, о которой я уже рассказывал, и говорил ей о таинственной живой воде^[197]. Если потомки знатных английских семей передают из рода в род рассказ о том, как триста лет назад тот или иной король осчастливил их предка, остановившись на день в его поместье, то уж несомненно потомки той женщины, живущие в Сихеме, все еще рассказывают с вполне простительной гордостью об этой беседе, которую их прабабка вела с христианским мессией. Вряд ли они не знают истинной цены подобной чести. Самаритяне такие же люди, как все, а людям свойственно накрепко запоминать встречи со знаменитостями.

Однажды, мстя за поруганную честь рода, сыны Иакова истребили всех жителей Сихема.

Мы распрощались с колодцем Иакова и ехали до восьми часов вечера, правда довольно медленно, ибо мы провели в седле уже девятнадцать часов и лошади наши вконец измучились. Мы далеко опередили свой обоз, и нам пришлось остановиться на ночлег в арабском селении и спать на земле. Мы могли бы провести ночь в самом большом доме, да пометали сущие пустяки: дом кишел паразитами, пол был земляной, всюду грязь, единственную спальню занимало семейство коз, а гостиную — два осла. Под открытым небом не было никаких неудобств, если не считать того, что смуглые оборванные жители обоего пола и всех возрастов расселись вокруг на корточках и, глядя на нас в упор, до полуночи громогласно судили и рядили о нас на все лады. Мы устали, и шум нам был нипочем, но, без сомнения, читатель поймет, что почти невозможно уснуть под столькими взглядами. Мы легли в десять, поднялись в два ночи и сразу двинулись в путь. Вот как тяжело приходится людям, попавшим во власть драгоманов, у которых в жизни одна цель — обскакать друг друга.

На рассвете мы проехали Силом, где триста лет хранился ковчег завета и у чьих ворот бедный старый Илий упал и «сломав себе хребет»^[198], когда вестник, прискакавший в город с поля битвы, сообщил ему о поражении его народа, о смерти его сыновей и, главное, о том, что в руки врага попала гордость Израиля, его надежда на спасение: древний ковчег завета,

вынесенный его предками из Египта. Нечего удивляться, что, услышав все это, он упал со своего седалища и сломал себе хребет. Но Силом ничем не прельстил нас. Мы так прозябли, что лишь движение могло хоть немного согреть нас, и так хотели спать, что едва держались в седле.

Немного погодя мы подъехали к бесформенной гряде развалин, которая все еще называется Вефилем. Здесь лежал Иаков, когда в чудесном видении явились ему ангелы, устремляющиеся вниз и вверх по лестнице, спущенной с облаков на землю, и через растворенные врата небесные заглянул в их благословенное жилище.

Паломники подобрали то, что еще оставалось от священных руин, и мы двинулись к цели нашего крестового похода — к прославленному Иерусалиму.

Чем дальше мы ехали, тем яростнее пекло солнце, и окрест расстилалась все более каменистая, голая, мрачная и угрюмая местность. Если бы здесь на каждых десяти квадратных футах сто лет кряду трудилось бы по камнерезу, и то этот уголок земли не был бы так густо усеян осколками и обломками камня. Нигде ни травинки, ни кустика. Даже оливы и кактусы, верные друзья бесплодной земли, почти вывелись в этом краю. На свете не сыщешь пейзажа тоскливей и безрадостней, чем тот, что окружает Иерусалим. Дорога отличается от пустыни, по которой она протекает, лишь тем, что она, пожалуй, еще гуще усеяна камнями.

Мы проехали Раму и Бероф и по правую руку увидели могилу пророка Самуила, прилепившуюся к выступу скалы. А Иерусалим все еще не показывался. Мы нетерпеливо погоняли лошадей. Лишь на минутку остановились у древнего Бейрского источника, но камни его, стертые и отполированные мордами мучимых жаждой животных, обратившихся в прах много веков назад, нисколько не интересовали нас — нам не терпелось увидеть Иерусалим. Пришпоривая лошадей, мы одолевали подъем за подъемом и, еще не достигнув вершины, каждый раз начинали вытягивать шею, но нас неизменно ждало разочарование: впереди снова дурацкие горы, снова безобразная каменистая пустыня, а священного города все нет как нет.

Наконец к полудню вдоль дороги потянулись остатки древних стен и разрушенных арок; мы взяли еще один подъем — и шляпы всех паломников и всех грешников взлетели в воздух: Иерусалим!

Вот он теснится на этих вечных холмах и сверкает на солнце, чтимый народами древний город, весь белый, со множеством куполов, надежно построенный, окруженный высокой серой стеной. Какой он маленький! Да ведь он не больше какого-нибудь американского поселка с четырьмя

тысячами жителей, не больше самого обыкновенного сирийского города с населением в тридцать тысяч. В Иерусалиме всего четырнадцать тысяч жителей.

Мы спешили и целый час, а то и больше, не обменявшись за это время и десятком слов, глядели на город, от которого нас еще отделяла широкая долина; мы отыскивали взглядом места, которые по картинкам знакомы каждому со школьных лет и уже не забываются до самой смерти. Вот Журавлиная башня, мечеть Омара, Дамасские ворота, гора Елеонская^[199], долина Иосафата^[200], башня Давида^[201], Гефсиманский сад — по этим вехам мы уже могли определить, где находятся многие места и здания, которые не видны отсюда.

Я должен здесь отметить тот поразительный, но отнюдь не позорный факт, что даже наши паломники и те не плакали. Наверно, у каждого из нас в голове теснились мысли, образы и воспоминания, навеянные славной историей освященного веками города, лежавшего перед нами, и, однако, не раздалось ни одного рыдания.

Не плакать нам хотелось. Слезы были бы здесь неуместны. Иерусалим настраивает на размышления возвышенные, исполненные поэзии, а главное — достоинства. Таким мыслям не подобают ребяческие порывы.

Вскоре после полудня через древние и столь знаменитые Дамасские ворота мы вступили на узкие кривые улицы, и вот уже несколько часов я пытаюсь постичь, что я и в самом деле в том прославленном древнем городе, где жил Соломон, где Авраам говорил с Богом и где еще стоят стены, видевшие распятие Христа.

Глава XXVI. Описание Иерусалима. — Храм гроба Господня. — Могила Иисуса. — Монашеские плутни. — Могила Адама. — Гробница Мельхиседека. — Место распятия Христа.

Хороший ходок, выйдя за городские стены, может за час обойти весь Иерусалим. Не знаю, как еще объяснить, насколько он мал. Вид у города очень своеобразный. Он весь шишковатый от бесчисленных маленьких куполов, точно тюремная дверь, обитая гвоздями. На каждом доме до полудюжины этих каменных, выбеленных известкой куполов; широкие и приземистые, они сидят посреди плоской крыши, где по одному, а где и тесной кучкой. И когда смотришь с холма на сплошную массу домов (они так тесно жмутся друг к другу, будто здесь вовсе нет улиц и все здания срослись воедино), видишь самый шишковатый на свете город, за исключением Константинополя. Кажется, что весь он от центра и до окраин покрыт перевернутыми блюдцами. Однообразие нарушается лишь высокой мечетью Омара, Журавлиной башней и еще двумя-тремя зданиями, которые возвышаются над городом.

Дома, как правило, двухэтажные, прочной каменной кладки, побеленные или оштукатуренные, и все окна забраны выступающими далеко вперед деревянными решетками. Чтобы воспроизвести иерусалимскую улицу, достаточно подвесить к каждому окну на любой американской улочке поставленный стоймя небольшой курятник.

Улицы здесь неровно, кое-как вымощены камнем, все кривые, до того кривые, что кажется, вот-вот дома сомкнутся; и сколько бы путник ни шел по ним, его не оставляет уверенность, что ярдов через сто он упрется в тупик. Над первыми этажами многих домов выступает узкий портик, или навес, который ни на что не опирается, и я не раз видел, как, отправляясь в гости, кошка перепрыгивала через улицу с одного навеса на другой. Кошка без особого труда перепрыгнет и вдвое большее расстояние. Я упоминаю об этом, чтобы дать представление о ширине здешних улиц. Раз кошка может с легкостью перепрыгнуть улицу, едва ли нужно говорить, что карете тут не проехать. Этим экипажам нет доступа в священный город.

Население Иерусалима составляют мусульмане, евреи, греки, итальянцы, армяне, сирийцы, копты, абиссинцы, греческие католики и горсточка протестантов. Здесь, на родине христианства, эта последняя

секта насчитывает всего каких-нибудь сто человек. Всевозможные оттенки и разновидности всех национальностей и языков, которые здесь в ходу, слишком многочисленны, чтобы говорить о них. Должно быть, среди четырнадцати тысяч душ, проживающих в Иерусалиме, найдутся представители всех наций, цветов кожи и наречий, сколько их есть на свете. Всюду отрепья, убожество, грязь и нищета — знаки и символы мусульманского владычества куда более верные, чем флаг с полумесяцем. Прокаженные, увечные, слепцы и юродивые осаждают вас на каждом шагу; они, как видно, знают лишь одно слово на одном языке — вечное и неизменное «бакшиш». Глядя на всех этих калек, уродов и больных, что толпятся у святых мест и не дают пройти в ворота, можно подумать, что время повернуло вспять и здесь с минуты на минуту ждут, чтобы ангел Господень сошел возмутить воду Вифезды^[202]. Иерусалим мрачен, угрюм и безжизнен. Не хотел бы я здесь жить.

Первым делом каждый, разумеется, спешит поклониться гробу Господню. Он в самом городе, у западных ворот. И гроб Господень и место, где был распят Христос, и вообще все места, тесно связанные с этим потрясающим событием, весьма искусно собраны все вместе, под одну крышу — под купол Храма святого гроба Господня.

Пробившись сквозь толпу нищих и оказавшись в церкви, вы можете увидеть слева нескольких турецких стражей — ибо христиане разных сект, дай им волю, не только переругаются, но и передерутся в этом священном месте. Прямо перед вами мраморная плита, покрывающая камень миропомазания, на котором тело Спасителя готовили к положению во гроб. Пришлось покрыть этой плитой подлинный камень, чтобы предохранить его от разрушения: уж очень усердно паломники откалывали от него по кусочку и увозили домой. Рядом с ним круглая ограда — она окружает место, на котором стояла богородица, когда совершалось помазание.

Войдя в ротонду, мы остановились перед самым священным местом христианского мира — перед гробом Иисуса. Он стоит посреди храма, под центральным куполом. Над ним воздвигнута причудливой формы часовенка из желтого и белого камня. Внутри этого маленького храма лежит обломок того самого камня, который был отвален от двери гроба и на котором сидел ангел, когда туда на рассвете пришла Мария. Низко пригнувшись, мы вошли под своды, в самый склеп. Он всего шести футов на семь, и каменное ложе, на котором покоился Спаситель, занимает всю длину склепа и половину его ширины. Оно покрыто мраморной плитой, изрядно истертой поцелуями паломников. Теперь эта плита служит алтарем. Над нею висит с полсотни золотых и серебряных лампад, в

которых постоянно поддерживается огонь, и еще множество всяких безделушек, мишуры и безвкусных украшений оскорбляют гробницу.

У каждой христианской секты (за исключением протестантов) под крышей Храма святого гроба Господня есть свои особые приделы, и никто не осмеливается переступить границы чужих владений. Уже давно и окончательно доказано, что христиане не в состоянии мирно молиться все вместе у могилы Спасителя. Сирийский придел не отличается красотой. Беднее всех придел коптов — это просто мрачная пещера, грубо высеченная в скалистом подножии Голгофы; в одной стене ее высечены две древние гробницы, — как утверждают, в них погребены Никодим^[203] и Иосиф из Аримафеи^[204].

Проходя меж массивных контрфорсов и колонн в другую часть храма, мы набрали на группу итальянских монахов — с тупыми физиономиями, в черных рясах; в руках они держали свечи и что-то распевали по-латыни, разыгрывая какое-то религиозное действо вокруг белого мраморного круга, вделанного в пол. На этом самом месте воскресший Спаситель явился Марии Магдалине в образе садовника. Рядом вделан другой камень, в форме звезды, — здесь стояла в ту минуту Мария Магдалина. И вокруг этого места монахи тоже ходили с пением. Они священнодействуют везде и всюду — в каждом уголке просторного здания, в любое время дня и ночи. Всегда во мраке мелькают их свечи, и от этого темный старый храм выглядит еще угрюмее, чем ему надлежит, хоть он и гробница.

Нам показали то место, где Христос явился своей матери после воскресения из мертвых. Мраморная плита лежит также и там, где святая Елена, мать императора Константина, лет через триста после распятия Спасителя, нашла кресты. Согласно преданию, эта замечательная находка вызвала всеобщее бурное ликование. Но оно было непродолжительно. Сам собой возник вопрос: на каком из этих крестов был распят Спаситель и на каких — разбойники? Терзаться сомнениями в столь важном деле, не зная точно, которому кресту надлежит поклоняться — это ужасное несчастье. Всеобщее ликование сменилось скорбью. Но разве найдется на свете хоть один служитель веры, который не сумел бы разрешить такую несложную задачу? Вскоре один из них надумал, как вернее всего узнать истину. В Иерусалиме была тяжело больна одна знатная дама. Мудрые пастыри распорядились, чтобы кресты, по одному, поднесли к ее одру. Так и сделали. Как только взгляд больной упал на первый крест, она испустила крик, который, говорят, слышен был за Дамасскими воротами и даже на горе Елеонской, и упала без памяти. Ее привели в чувство и поднесли

второй крест. Тотчас с нею сделались страшные судороги, так что шестеро сильных мужчин с величайшим трудом удерживали ее. Теперь уже боялись поднести третий крест. Может быть, это вообще не те кресты, может быть того, истинного креста и нет среди них? Однако, видя, что больная того гляди умрет от терзающих ее судорог, решили, что на худой конец третий крест быстрее избавит ее от мучений. И вот поднесли третий крест. И — о, чудо! — больная вскочила с одра счастливая и сияющая, и совершенно исцеленная! Разве могли мы не уверовать в подлинность креста, услышав о столь убедительном доказательстве? Поистине, стыдно было бы сомневаться. Ведь даже та часть Иерусалима, где это случилось, все еще существует. А стало быть, не остается места сомнениям.

Священнослужители пытались показать нам через небольшую сетку обломок подлинного столба бичевания, к которому привязан был Христос, когда его истязали. Но мы не могли разглядеть его, потому что за сеткой было темно. Впрочем, там есть палочка, которую паломник может просунуть сквозь отверстие в сетке, и тогда у него уже не остается никаких сомнений, что там находится подлинный столб бичевания. Было бы непростительно сомневаться, ведь он сам чувствовал, что палка уперлась в столб. Яснее нельзя было почувствовать.

Неподалеку отсюда находится ниша, в которой прежде хранили кусок подлинного креста, но теперь его там нет. Этот кусок креста открыли в шестнадцатом веке. Католическое духовенство утверждает, что давным-давно его похитили священники иной секты. Это тяжкое обвинение, но мы прекрасно знаем, что он и в самом деле был украден, ибо своими глазами видели его в нескольких итальянских и французских соборах.

Но из всех святынь нас больше всего тронул скромный старый меч отважного крестоносца Готфрида Бульонского — иерусалимского короля Готфрида. Во всем христианском мире не найти другого меча, который так привлекал бы сердца, — ни один меч из тех, что ржавеют в родовых замках Европы, не может вызвать столь романтических видений, раззвонить о стольких истинно рыцарских подвигах или поведать столь воинственные истории о битвах и сражениях далекого прошлого. Он будит давно уснувшие воспоминания о священных войнах, и в воображении встают одетые в кольчуги рыцари, маршируют армии, разыгрываются сражения, длятся осады. Он говорит нам о Балдуине^[205] и Танкреде, о царственном Саладине и великом Ричарде Львиное Сердце. Такими вот клинками эти блистательные герои рыцарских романов ловко делили человека надвое, и одна половина падала в одну сторону, а другая — в другую. В те далекие времена, когда Готфрид владел этим самым мечом, он разрубил головы

сотен сарацин от макушки до подбородка. Меч этот был заколдован духом, подвластным царю Соломону. Когда к шатру его господина приближалась опасность, он всякий раз ударял о щит, грозно возвещая тревогу, и повергал чуткую ночь в трепет. В часы сомнений, в тумане или во тьме Готфриду стоило вынуть меч из ножен — и он тотчас поворачивался острием в сторону врага и тем самым указывал путь и даже сам рвался из рук господина во след врагу. Как бы ни переоделся христианин, меч всегда узнает его и ни за что не тронет, и как бы ни переоделся мусульманин, меч все равно выскочит из ножен и поразит его насмерть. Истинность этих утверждений доказана многими преданиями, которые добропорядочные католические монахи хранят в числе самых достоверных. Мне теперь уже не забыть древний меч Готфрида. Я испытал его на одном мусульманине и рассек его пополам, как сдобную булку. Дух Граймса снизошел на меня, и будь у меня под рукой кладбище, я истребил бы всех язычников Иерусалима. Я отер кровь с меча и вернул его священнику, — я не хотел, чтобы свежая кровь заслонила те священные алые пятна, которые однажды, шестьсот лет тому назад, проступили на сверкающей стали, предупреждая Готфрида, что еще до захода солнца он перейдет в иной мир.

Бродя в полумраке по Храму святого гроба Господня, мы подошли к маленькому приделу, высеченному в скале, — место это испокон веков было известно под названием «Темница Христова». Предание гласит, что здесь был заключен Спаситель перед распятием. Под алтарем, у входа, стоят каменные колодки для ног. В них был закован Спаситель, и они так и называются по сей день — «узы Христа».

Греческий придел просторнее, богаче и пышнее всех остальных в Храме святого гроба Господня. Алтарь его, как и во всех греческих церквях, отделен от остального храма высоким иконостасом, который тянется поперек всего придела и так и сверкает золотом и драгоценными камнями богатых окладов. Перед ним висит множество лампад, все они из золота и серебра и стоят больших денег.

Но гордость этого придела — невысокая колонна, поставленная посреди мощенного мрамором пола в знак того, что это и есть *центр земли*. Самые достоверные предания рассказывают, что это было известно давным-давно, и когда Христос пребывал на земле, он раз и навсегда рассеял все сомнения на этот счет и сам сказал, что так оно и есть. Помните, сказал он, что эта колонна возвышается над самым центром земли. И если центр переместится, то соответственно сдвинется и колонна. Колонна трижды сама собою меняла место. Происходило это потому, что трижды, в разное время, при великих потрясениях в природе громадные

массы земли — по всей вероятности, целые горные гряды — улетучивались в пространство, и таким образом диаметр земли уменьшился, и центр ее сместился пункта на два. Это чрезвычайно любопытное и интересное обстоятельство — сокрушительный удар по тем философам, которые хотят нас уверить, будто никакая, даже самая малая частица земли не может улетучиться в пространство.

Чтобы убедиться, что это и есть центр земли, некий скептик однажды за щедрую плату получил разрешение подняться на купол храма и, стоя под солнцем, ровно в полдень поглядеть, отбросит ли он тень. Вниз он спустился совершенно убежденный. День был пасмурный, и солнце не показывалось, не было и тени; но скептик твердо уверился, что если бы солнце вышло и появились тени, у него самого тени не было бы. Сколько бы ни празднословили маловеры, подобных доказательств им не опровергнуть. Те, кто не закоснел в упрямом скептицизме и готов прислушаться к слову убеждения, черпают в этих доказательствах уверенность, которую уже ничто и никогда не поколеблет.

Если упрямам и глупцам нужны еще более веские доказательства, что это и есть подлинный центр земли, — вот они. Прежде всего — из-под этой самой колонны взят был *прах, из которого Бог сотворил Адама*. Это, конечно, решающий довод. Ведь маловероятно, чтобы первый человек был сотворен из земли низшего качества, когда имелась полная возможность достать первосортную землю из самого центра. Это очевидно для всякого, кто способен мыслить. Бесспорно Адам был слеплен из праха, добытого именно в этом месте, это доказано хотя бы тем, что за шесть тысяч лет никто не сумел доказать, что он добыт не здесь, а где-нибудь в другом месте.

По удивительному совпадению под сводами этого великого храма, неподалеку от этой знаменитой колонны, и погребен наш прародитель Адам. Не может быть сомнений, что он действительно похоронен в могиле, которую нам показали, да и о чем тут спорить, ведь никто никогда не доказал, что он погребен не здесь.

Могила Адама! Как умирительно здесь, в чужом краю, вдали от дома, от друзей, от всех, кому ты дорог, вдруг увидеть могилу кровного родственника. Правда, далекого, но все же родственника. Я безошибочно почуял это кровное родство и затрепетал. Источник моей сыновней нежности заволновался до самых глубин, и я дал волю бьющим через край чувствам. Я прислонился к колонне и залился слезами. По-моему, ничуть не стыдно рыдать на могиле бедного, милого сердцу родича. Пусть тот, кому смешно мое волнение, закроет эту книгу, ему не придутся по вкусу

мои странствия по Святой Земле. Благородный старец — ему не довелось увидеть меня... ему не довелось увидеть свое дитя. А я... мне... увы, мне не довелось увидеть его. Подавленный горем и обманутый в своих надеждах, он умер, не дождавшись моего рожденья... за шесть тысяч кратких весен до того, как я появился на свет. Но перенесем это мужественно. Будем верить, что ему лучше там, где он теперь. Утешимся мыслью, что если он и потерял на этом, то мы безусловно выиграли.

Потом гид повел нас к алтарю, воздвигнутому в честь римского солдата, одного из стражей, поддерживавших порядок во время распятия. Когда в наступившей крошечной тьме разодралась завеса храма; когда землетрясение раскололо Голгофу надвое; когда загрохотала небесная артиллерия и при грозных вспышках молний мертвецы в саванах хлынули на улицы Иерусалима, этот страж задрожал от страха и сказал: «Воистину он был сын Божий!» На том месте, где стоит сейчас алтарь, стоял тогда этот солдат, и прямо перед ним был распятый Спаситель, и от его взора и слуха не ускользнуло ни одно из чудес, случившихся на Голгофе или вокруг нее. И на том же самом месте первосвященники обезглавили его за эти кощунственные слова.

В этом алтаре прежде хранилась одна из самых поразительных святынь, какие когда-либо видел человек, — она обладала таинственной притягательной силой, от нее часами нельзя было оторвать глаз. Это не что иное, как медная табличка, которую Пилат прибил на крест Спасителя и на которой он написал: «Сей есть царь иудейский». Наверно, эту удивительную реликвию нашла святая Елена, мать Константина, когда побывала здесь в третьем веке. Она объездила всю Палестину, и ей всегда везло. Стоило этой доброй старой ревнительнице веры обнаружить в Библии, будь то Ветхий или Новый завет, упоминание о каком-либо предмете, и она тотчас отправлялась на поиски — и не отступалась, пока не находила его. Ей понадобился Адам — пожалуйста, вот он; ковчег — вот вам ковчег; Голиаф или Иисус Навин — она и их разыскала. Я уверен, что это она отыскала и надпись, о которой я только что говорил. Она нашла ее именно здесь, рядом с тем местом, где стоял пострадавший за веру римский солдат. Эта медная табличка теперь хранится в одной из церквей Рима. Всякий может увидеть ее там. Надпись видна очень ясно.

Мы прошли еще несколько шагов и оказались перед алтарем, возведенным на том самом месте, где, по словам почтенных католических патеров, солдаты делили одежды Спасителя.

Потом мы спустились в пещеру, которая, как говорят педанты и придиры, была некогда просто водоемом. Однако теперь здесь церковь —

Церковь святой Елены. Она пятидесяти одного фута в длину и сорока трех в ширину. В ней сохранилось мраморное кресло, на котором сиживала Елена, надзирая за рабочими, когда они трудились, откапывая подлинный крест. Тут же воздвигнут алтарь святого Димаса, раскаявшегося разбойника. Здесь стоит и новая бронзовая статуя — статуя святой Елены. Она напомнила нам о бедняге Максимилиане, столь недавно убитом. Он преподнес эту статую в дар церкви, когда уезжал в Мексику, чтобы занять там престол.

Из водоема мы спустились на двенадцать ступеней в большой, грубо высеченный в скале грот. Он образовался после раскопок, которые производила Елена, разыскивая крест. Ей пришлось изрядно потрудиться здесь, но труды ее были щедро вознаграждены: она добыла терновый венец, гвозди с креста, честный крест и крест раскаявшегося разбойника. Она уже решила, что тут больше ничем не разживешься, но во сне ей было указание потрудиться еще денек. Это оказалось как нельзя более кстати. Она так и сделала — и нашла крест второго разбойника.

Стены и свод этого грота все еще льют горькие слезы в память события, случившегося на Голгофе, и когда эти слезы падают с мокрой скалы на головы благочестивых паломников, они тоже рыдают и плачут. Монахи назвали этот грот «Храмом измышления честного креста», — название весьма неудачное, ибо ведь профаны могут принять его за молчаливое признание, будто рассказ о том, что Елена нашла здесь честный крест, — просто вымысел. Но какое счастье сознавать, что люди просвещенные не усомнятся ни в одном слове этой истории.

Священнослужители любой секты, из любого придела Храма гроба Господня могут приходить в этот грот и плакать, и молиться, и возносить хвалы кроткому искупителю нашему. Однако представителям двух различных вероисповеданий не разрешается приходить сюда одновременно, иначе не миновать драки.

Мы еще побродили по древнему храму среди поющих монахов в длинных грубых рясах и сандалиях; среди паломников всех цветов кожи и многих национальностей в самых диковинных одеждах; под сумрачными сводами, между закопченных пилястров и колонн, в угрюмом полумраке собора, еще более густом от дыма и ладана, где мерцают десятки свечей, то появляясь, то вдруг исчезая, то проплывая взад и вперед в отдаленных приделах, словно волшебные блуждающие огоньки, — и наконец подошли к маленькой часовне, называемой «Часовня осмеяния». Под алтарем хранится обломок мраморной колонны; на него усадили Христа, когда, ругаясь над ним, в насмешку объявили его царем иудейским и венчали

терновым венцом, а вместо скипетра дали ему в руки трость. Здесь завязали ему глаза, и били его по ланитам, и, издеваясь, говорили: «Прореки, кто ударил тебя?» Предание о том, что это и есть место осмеяния, очень древнее. Гид сказал нам, что первым об этом упомянул еще Сеавульф^[206]. Я с ним незнаком, но как же не считаться с его свидетельством? Никто из нас на это не решится.

Нам показали место, где когда-то были похоронены Готфрид и его брат Балдуин, первые христианские короли Иерусалима, — рядом со священным гробом, за который они столь долго и столь доблестно воевали с язычниками. Но ниши, в которых некогда хранился прах этих прославленных крестоносцев, ныне пусты, даже надгробные плиты исчезли, — их уничтожили благочестивые сыны греческой церкви: та разновидность христианской веры, которую исповедовали латиняне Готфрид и Балдуин, в каких-то незначительных частностях расходилась с их собственной.

Мы прошли дальше и остановились перед гробницей Мельхиседека! Вы, конечно, помните Мельхиседека; когда Авраам нагнал у стен Дана врагов, взявших в плен Лота, и отобрал у них все имущество, не кто иной, как царь Мельхиседек, вышел ему навстречу и взял с него дань. Это было около четырех тысяч лет назад; и вскоре Мельхиседек умер. Однако гробница его отлично сохранилась.

Когдаходишь в Храм святого гроба Господня, первое, что хочешь увидеть — это самый гроб, — и действительно видишь его чуть ли не прежде всего остального. Второе — это место, где распят был Спаситель. Но его не покажут до самого конца. Это венец и слава святилища. Серьезный и задумчивый стоишь в склепе Спасителя — да и каким еще тут можно быть, но весьма трудно поверить, что когда-то здесь покоился Господь, и мысли эти отнюдь не способствуют волнению, которое должно бы возбуждать это место. Вот здесь, в другой части храма, стояла Мария, здесь — Иоанн, а здесь — Мария Магдалина; там толпа злословила Господа; тут сидел ангел; а вон там нашли терновый венец и честный крест; здесь явился воскресший Спаситель. Посмотреть на все это любопытно, но при этом как и у гроба Господня, с несомненностью чувствуешь, что все это ненастоящее, что все эти святые места просто-напросто измышление монахов. Но вот место, где был распят Христос, вызывает совсем иные чувства. Всей душой веришь, что именно здесь Спаситель расстался с жизнью. Вспоминаешь, что Христос прославился задолго до того, как пришел в Иерусалим; ведь слава его была столь велика, что за ним всегда следовали толпы; его появление в Иерусалиме взволновало весь город, и

встречали его восторженно: нельзя забывать, что, когда Христа распяли, в Иерусалиме очень многие верили, что он истинный сын Божий. Уже одно то, что его здесь публично казнили, должно было обессмертить это место на века; а вдобавок буря, тьма, землетрясение, разодранная завеса храма и неожиданное пробуждение мертвецов — все это привело к тому, что сама казнь и место, где она свершилась, запомнились даже самым беспечным очевидцам. Отцы рассказывали сыновьям о странном происшествии и показывали место, где оно случилось; те передавали рассказ этот своим детям — так пронеслись триста лет^[207]. И тут явилась Елена и воздвигла на Голгофе церковь в память о смерти и погребении Христа, дабы священное место это навеки памятно было людям; с тех пор здесь всегда стоит церковь. О том, где был распят Христос, не может быть двух мнений. Но где он был похоронен, знали всего, быть может, человек пять-шесть; и похороны не такое уж примечательное событие, поэтому простительны сомнения в подлинности гроба Господня, — но сомневаться в том, где именно он был распят, непростительно. Через пятьсот лет от памятника на Банкер-Хилле^[208] не останется и следа, но Америка все равно будет знать, где разыгралась битва и где пал Уоррен^[209]. Распятие Христа было слишком заметным событием для Иерусалима, и Голгофа стала слишком известна благодаря ему, чтобы об этом забыли через каких-нибудь триста лет. По крутой лестнице я взобрался на вершину скалы, где построена маленькая часовня, и смотрел на то место, где некогда стоял честный крест, с таким волнением, какого не вызывало во мне еще ничто земное. Мне не верилось, что три ямы на вершине скалы те самые, в которых когда-то были кресты, но уж наверно они были совсем близко, а какие-нибудь несколько футов расстояния не в счет.

Когда стоишь там, где распяли Спасителя, приходится напрягать все силы, чтобы не забыть, что он не был распят в католической церкви. Надо поминутно напоминать себе, что это великое событие произошло под открытым небом, а не в освещенном одними свечами темном уголке под самым куполом огромного храма, не в тесной часовенке, сверкающей драгоценными камнями, разукрашенной пышно и крикливо, в чрезвычайно дурном вкусе.

Под похожим на стол мраморным алтарем в мраморном полу есть круглое отверстие. Под ним-то и находится яма, в которую некогда был вкопан крест. Приходя сюда, каждый паломник прежде всего опускается на колени и, взяв свечу, разглядывает эту яму. Эта своеобразная разведка ведется с такой сосредоточенностью, какой никогда не поймет и не оценит

тот, кто не присутствовал при этом. Потом он поднимает свечу к висящему в алтаре над отверстием образу Спасителя, великолепно выгравированному на плите из чистого золота, ослепительно сияющему, усеянному алмазами, — и торжественная серьезность сменяется безграничным восхищением. Он встает с колен и за алтарем видит превосходно вырезанные фигуры Спасителя и разбойников, висящих на крестах, сверкающие всеми цветами радуги. Потом он поворачивается и видит богородицу и Марию Магдалину; потом — трещину в скале, образовавшуюся от землетрясения в час, когда умер Христос: продолжение ее он уже видел внизу, в стене одного из гротов; потом он видит за стеклом статую богородицы и поражается сказочному богатству ее убора, несчетным жемчугам, самоцветам и иным драгоценностям, которые покрывают ее с головы до пят. Со всех сторон кричащие украшения, на которые так щедро католическая церковь, они оскорбляют глаз, и паломник мучительно старается не забыть, что именно здесь место распятия, лобное место, Голгофа. И под конец он снова глядит на то, что в первую же минуту привлекло его взор, — на место, где стоял подлинный крест. Он уже удовлетворил свое любопытство, потерял интерес ко всему, что ему показали в этом храме, и только одно это место притягивает его, и он стоит как прикованный, не в силах отвести глаза.

Итак, я заканчиваю главу о Храме святого гроба Господня — о самом священном месте на земле для миллионов и миллионов мужчин, женщин и детей, для великих и малых, для рабов и свободных. Вся история этого храма, мысли и чувства, которые он будит в потрясенной душе, делают его самым прославленным во всем христианском мире. Вопреки всему показному, трескучему, бьющему на эффект, вопреки всем недостойным плутням, он все же остается великим, священным, почитаемым храмом, ибо здесь опочил Бог; вот уже полторы тысячи лет его святыни омываются слезами паломников, приходящих сюда из самых отдаленных земель; больше двухсот лет храбрейшие рыцари сражались, не щадя жизни, пытаясь завладеть им, чтобы язычники не могли больше осквернять его. Даже и в наши дни два народа, не желавшие уступить друг другу честь сменить купол на этом храме, вступили в войну^[210], и в войне этой были загублены огромные богатства и пролиты реки крови. История полна им, этим старым Храмом святого гроба Господня, пропитана кровью, которая лилась потому, что люди слишком глубоко чтили место последнего упокоения того, кто был кроток и смиренен, милостив и благ!

Глава XXVII. Крестный путь. — Соломонов храм. — Мечеть Омара. — Здесь судили Давид и Саул. — Силоамская купель. — Гефсиманский сад.

Мы стояли в узкой улочке у башни Антония.

— На этих камнях, которые уже совсем искрошились, Спаситель отдыхал перед тем, как поднял крест, — сказал гид. — Здесь начинается крестный путь, он же путь скорби.

Мы бросили взгляд на священное место и двинулись дальше. Мы прошли под аркой «Ессе homo»^[211] и увидели то самое окно, из которого жена Пилата предупредила его, чтобы он не делал ничего худого праведнику. Принимая во внимание солидный возраст этого окна, надо сказать, что оно превосходно сохранилось. Нам показали место, где Иисус отдыхал во второй раз, и площадь, где толпа отказалась отпустить его и сказала: «Кровь его падет на нас, и на детей наших, и на детей наших детей на вечные времена». Французские католики строят здесь церковь; они делают это с обычным своим почтением к историческим реликвиям, так что обломки древних стен, которые они еще застали на этом месте, скоро сольются с новыми. Немного дальше мы увидели место, где изнемогший Спаситель упал под тяжестью креста. Тогда здесь лежала толстая гранитная колонна, остаток какого-то древнего храма, и тяжелый крест ударился об нее с такой силой, что она раскололась пополам. Об этом нам поведал гид, задержав нас у расколоте колонны.

Мы перешли улицу и вскоре оказались у бывшего жилища святой Вероники. Когда Спаситель проходил здесь, она вышла ему навстречу, полная истинно женского сострадания, и, не страшась улюлюканья и угроз черни, сказала ему жалостливые слова и своим платком отерла пот с его лица. Мы столько слышали о святой Веронике, видели столько ее портретов работы самых разных мастеров, что увидеть ее древний дом в Иерусалиме было все равно что неожиданно встретиться со старым другом. Но самое странное в случае со святой Вероникой, из-за чего она, собственно, и прославилась, заключается в том, что, когда она отирала пот, на ее платке отпечаталось лицо Спасителя, точный его портрет, и отпечаток этот сохранился по сей день. Мы знаем это, ибо видели этот платок в парижском соборе, в одном из соборов Испании и в двух итальянских. В Миланском соборе надо выложить пять франков, чтобы взглянуть на него, а в соборе

св. Петра в Риме его почти невозможно увидеть ни за какие деньги. Ни одно предание не подтверждено столькими доказательствами, как предание о святой Веронике и ее носовом платке.

На следующем углу была глубокая выбоина в прочной каменной кладке дома, но мы, наверно, прошли бы мимо, не обратив на нее никакого внимания, если бы гид не объяснил, что она пробита локтем Спасителя, который здесь споткнулся и упал. Вскоре мы опять заметили точно такую же выбоину в каменной стене. Гид объяснил, что и здесь Спаситель упал, и это углубление — след его локтя.

Были и еще места, где Христос падал, и где он отдыхал; но одним из самых любопытных памятников древней истории, обнаруженных нами во время этой утренней прогулки по кривым улочкам, ведущим к Голгофе, был некий камень в стене дома — камень, иссеченный столькими морщинами и рубцами, что в нем было какое-то искаженное подобие человеческого лица. Выступы, соответствовавшие скулам, были начисто стерты жаркими поцелуями многих поколений паломников из дальних стран. Мы спросили: «Почему?» Гид объяснил, что это один из «тех самых камней иерусалимских», на которые сослался Христос, когда его упрекали за то, что, въезжая в город, он позволил народу кричать «Осанна!» Один из наших паломников сказал:

— Но ведь нет никаких доказательств, что камни и в самом деле завопили. Христос сказал, что если бы запретить людям кричать «Осанну», то камни возопили бы.

Гид и ухом не повел.

— Это и есть один из камней, которые возопили бы, — невозмутимо ответил он.

Сразу видно было, что нечего и пытаться поколебать простодушную веру этого молодца; все равно толку не будет.

И вот перед нами еще одно чудо, представляющее глубокий, непреходящий интерес, — тот самый дом, где некогда жил злосчастный бедняга, известный под именем Вечного жида, которого вот уже более восемнадцати столетий прославляют в стихах и прозе. В памятный день распятия он стоял подбоченья в дверях этого самого дома и глядел на приближающуюся шумную толпу, и когда Спаситель хотел присесть на мгновение и передохнуть, он грубо оттолкнул его и сказал: «Иди, иди!» Христос сказал: «Иди и ты!» — И веление это не отменено по сей день. Всем известно, как этот злодей, на голову которого пало вполне заслуженное проклятие, век за веком скитается по всему свету, ищет покоя — и не находит, призывает смерть — но всегда тщетно, жаждет

остановиться хоть где-нибудь — в городе, в пустыне, в безлюдном, диком краю — и вечно слышит все те же безжалостные слова, что гонят его вперед и вперед. Из преданий седой старины мы знаем, что, когда Тит разграбил Иерусалим и вырезал миллион сто тысяч иудеев на улицах и в переулках города, Вечного жида неизменно видели в самой гуще сражения: он склонял голову под сверкающие вокруг секиры, бросался на мечи, молниями прорезавшие воздух, подставлял обнаженную грудь под пролетающие со свистом копья и стрелы, искал встречи с каждым оружием, которое сулило смерть, забвение, отдых. Но все было напрасно — он вышел из этой кровавой бойни без единой раны. Спустя пятьсот лет он последовал за Магометом, сеявшим смерть и разрушение в городах Аравии, а потом обратился против него, надеясь, что смерть не минет предателя. Но его расчеты снова не оправдались. Никого не миновало возмездие, кроме того единственного, кто не желал пощады. Еще через пять веков он снова искал смерти — во время крестовых походов. Он пришел в Аскалон, где свирепствовали голод и чума, — и опять уцелел. Он не мог умереть. Эти постоянные неудачи привели в конце концов к тому, что он потерял надежду на смерть. С тех пор Вечный жид лишь изредка заигрывает с самыми многообещающими средствами и орудиями уничтожения, — но, как правило, почти без всякой надежды на успех. Он делает ставку и на холеру, и на железные дороги, проявил живейший интерес к адским машинам и к патентованным лекарствам... Теперь он стар и угрюм, как и подобает в его лета, он не позволяет себе никаких легкомысленных развлечений, только иногда ходит смотреть на казни и очень любит бывать на похоронах.

Одно неминуемо: где бы он ни был, каждые пятьдесят лет он непременно должен являться в Иерусалим. Всего лишь год или два назад он был здесь в тридцать седьмой раз с тех пор, как на Голгофе распяли Христа. Говорят, многие старики, которые живы по сей день, видели его в этот раз и в предыдущий. Он совсем не меняется — старый, высохший, с ввалившимися глазами, безразличный ко всему на свете; впрочем, есть что-то в его поведении, что наводит на мысль, будто он кого-то ищет, кого-то ждет, — быть может, друзей своей юности. Но почти все они уже умерли. Одиноким он бродит по старинным улицам и то на одной стене, то на другой ставит какие-то знаки и с почти дружеским вниманием рассматривает старые строения и роняет скупые слезы у порога своего древнего жилища — очень горькие слезы. Потом он взимает арендную плату и снова уходит. Звездными ночами его часто видели у Храма святого гроба Господня, ибо долгие века он лелеял надежду, что, если бы ему

удалось войти туда, он смог бы отдохнуть. Но стоит ему приблизиться — и двери с треском захлопываются, земля дрожит, все огни в Иерусалиме загораются мертвенно-синим светом. Тем не менее он делает это каждые пятьдесят лет. Бездарная попытка, но легко ли отказаться от привычки, укрепившейся за восемнадцать столетий! Сейчас престарелый турист бродит где-то далеко отсюда. Должно быть, ему смешно смотреть на нас, на кучку болванов, которые с умным видом скачут галопом из страны в страну и воображают, будто таким образом можно постичь мир. Он, наверно, до глубины души презирает самодовольных молокососов, которые носятся по всему свету в наш век железных дорог и называют это путешествиями. Когда гид показал нам то место на стене, где Вечный жид оставил свой знак, я преисполнился изумления. Там было написано:

Отправл. — окт. 1860 г.

Все, что я сообщил о Вечном жиде, можно подтвердить множеством доказательств, обратившись за ними к нашему гиду.

Огромная мечеть Омара и мощный двор вокруг нее занимают *четверть* всего Иерусалима. Она стоит на горе Мориа, где прежде был храм царя Соломона. Для магометан эта мечеть самое священное место после Мекки. Еще год-два назад христианин ни за какие деньги не мог проникнуть в мечеть или в ее двор. Но теперь запрет снят, и бакшиш без труда распахнул перед нами двери.

Не стоит говорить о поразительной красоте, изысканном изяществе и соразмерности, которыми славится эта мечеть, ибо я ничего такого не заметил. Всего этого не увидишь с первого взгляда. Ведь как хороша настоящая красавица, нередко понимаешь лишь после того, как познакомишься с нею поближе; это правило относится и к Ниагарскому водопаду, и к величественным горам, и к мечетям, — особенно к мечетям.

Самое замечательное в мечети Омара — исполинский камень посреди ротонды. На нем Авраам чуть было не принес в жертву своего сына Исаака^[212]. Это по крайней мере достоверно, во всяком случае на это предание можно куда больше положиться, чем на многие другие. На том же камне стоял ангел и грозил Иерусалиму, а Давид уговаривал его пощадить город. Камень этот хорошо знаком и Магомету: с него он вознесся на небо. Камень хотел было последовать за ним, и если бы по счастливой случайности не подвернулся архангел Гавриил и не придержал его, ему бы это удалось. Мало кто может похвалиться такой хваткой, как Гавриил, —

исполинские следы его пальцев в два дюйма глубиной остались на камне по сей день.

И этот огромный камень висит в воздухе. Он ничего не касается. Так сказал гид. Поразительно! В том месте, где стоял Магомет, в твердом камне остались отпечатки его ступней. Судя по ним, пророк носил башмаки шестидесятого размера. Но вот почему я заговорил об этом висящем в воздухе камне: под ним есть плита, которая, как говорят, закрывает отверстие, представляющее необычайный интерес для всех магометан, ибо это отверстие ведет прямо в подземное царство душ, и каждая душа, которая переводится оттуда на небо, должна пройти через него. У отверстия стоит Магомет и вытаскивает всех за волосы. Все магометане бреют головы, но предусмотрительно оставляют клочок волос, чтобы пророку было за что ухватиться. По словам нашего гида, правоверный магометанин счел бы себя обреченным на вечные муки, если бы почему-либо лишился своего клока и почувствовал приближение смерти прежде, чем волосы успели отрасти. Впрочем, большинство тех магометан, которых я видел, все равно заслужило вечные муки, независимо от того, как их обрили.

Уже несколько веков ни одной женщине не разрешено подходить к этому первостепенной важности отверстию. Дело в том, что одну из представительниц прекрасного пола как-то поймали на месте преступления, когда она выбалтывала все земные новости томящимся в аду грешникам. Она была такая сплетница, что ничего не удавалось сохранить в тайне, — что бы ни сказали, что бы ни сделали на земле, в подземном царстве душ об этом узнавали еще до захода солнца. Пора было закрыть этот телеграф, и его закрыли. И почти в ту же минуту душа ее отлетела.

Внутри огромная мечеть пышно убрана — стены у нее из разноцветного мрамора, витражи и надписи искусно выложены мозаикой. У турок, как и у католиков, есть свои святыни. Гид показал нам подлинные доспехи великого зятя и преемника Магомета, а также щит Магометова дядюшки. Высокая железная ограда, окружающая камень, в одном месте украшена тысячами лоскутьев, привязанных к решетке. Это чтобы Магомет не забывал своих почитателей, побывавших здесь. Считается, что только один способ напомнить ему о себе был бы вернее, — обвязать ему вокруг пальца нитку на память.

Около мечети, на том месте, где сживали Давид и Голиаф, когда судили народ^[213], стоит крохотный храм.

Повсюду вокруг мечети Омара видишь разбитые колонны, жертвенники удивительной работы, обломки прекрасных мраморных украшений — бесценные остатки Соломонова храма. Их раскопали под

толстым слоем земли и мусора на горе Мориа, и мусульмане всегда были склонны сохранять их с величайшей бережностью. В той части древней стены храма Соломонова, которая называется «Стена плача» и где евреи каждую пятницу лобызают священные камни и оплакивают былое величие Сиона, всякий может видеть остатки самого настоящего и доподлинного храма Соломона — три-четыре камня, лежащие один на другом, причем каждый вдвое длиннее семиоктавного фортепиано и шириной примерно во всю его высоту. На обломках этих очень своеобразная, необычная резьба. Но я уже говорил, что эдикт, запрещающий христианским псам вроде нас входить во двор мечети и любоваться бесценными мраморными столпами, некогда украшавшими внутренность храма, отменен всего лишь год или два назад, поэтому к глубокому интересу, который они, естественно, вызывают, прибавляется еще очарование новизны. Они встречаются на каждом шагу, особенно много их в соседней мечети Эль Акса, — для лучшей сохранности они вделаны в ее внутренние стены. Эти обломки, теперь грязные и запыленные, имеют лишь весьма отдаленное сходство с тем великолепием, равного которому, как нас учили, нет на земле; они вызывают в памяти пышные картины, которые все мы не раз рисовали в своем воображении: верблюды, груженные пряностями и сокровищами; красавицы рабыни, присланные в дар Соломону для его гарема; кавалькады богато разубранных коней и воинов; и царица Савская — самое волшебное из всех этих видений «восточного великолепия». В этих прекрасных обломках старины куда больше притягательной силы для легкомысленного грешника, чем в суровых камнях «Стены плача», которую целуют евреи.

Ниже, в лощине, под оливами и апельсиновыми деревьями, растущими в просторном дворе мечети, стоит множество колонн — остатки древнего храма, который они когда-то поддерживали. Там же сохранились массивные своды, — их не сумел уничтожить даже разрушительный плуг, о котором вещал пророк. Мы были приятно разочарованы, мы и не мечтали увидеть остатки настоящего храма Соломона, и, однако, не испытываем и тени подозрения, что это опять обман и монашеские плутни.

Мы пресыщены достопримечательностями. Теперь все для нас потеряло всякую прелесть, кроме Храма святого гроба Господня. Мы бывали в нем каждый день, и он не наскучил нам, но все остальное нам надоело. Здесь слишком много достопримечательностей, они кишат вокруг вас на каждом шагу: во всем Иерусалиме и его окрестностях, кажется, нет ни пяди земли, которая не была бы чем-либо знаменита или прославлена. Истинное облегчение пройти сотню ярдов самостоятельно, ускользнув от гида, который вечно донимает вас рассказами о каждом камне, лежащем на

вашем пути, и тащит вас назад, в глубь веков, к тем временам, когда этот камень приобрел известность.

Трудно поверить, но однажды я поймал себя на том, что, облокотившись на древнюю стену, совершенно равнодушно гляжу на историческую купальню Вифезду. Я никогда не думал, что может существовать такое множество памятных мест, что они начнут даже приедаться. Но, по правде говоря, несколько дней кряду мы покорно ходили по городу и смотрели и слушали больше по обязанности, чем из каких-либо иных, более возвышенных и достойных побуждений. И часто, очень часто мы радовались, когда подходило время возвращаться домой и уже не надо было до изнеможения осматривать всякие знаменитые места.

Наши паломники стремятся слишком много вместить в один день. Достопримечательностями, как и сладостями, можно объесться. С тех пор, как мы позавтракали сегодня утром, мы уже успели перевидать столько, что, если бы мы осматривали все это не торопясь, с толком, нам бы на целый год хватило пищи для размышлений.

Мы посетили купальню Езекии, где Давид увидел жену Урии, выходящую из воды, и влюбился в нее.

Мы вышли из города через Яффские ворота, и нам, разумеется, наговорили с три короба о Журавлиной башне.

Мы пересекли долину Гиннома, проехали меж двух прудов Тихона, а потом вдоль построенного Соломоном акведука, который по сей день снабжает город водой.

Мы поднялись на холм Злого совещания, где Иуда получил свои тридцать сребреников, и постояли под деревом, на котором, как гласит древнее предание, он удавился.

Потом мы снова спустились в ущелье, и тут гид принялся сообщать название и историю каждого камня и каждой насыпи, которые попадались на нашем пути: «Это Кровавое поле; в этой скале высечены жертвенники Молоху; здесь приносили в жертву детей; вон там Сионские врата, Тиропеонская долина, гора Офель; отсюда отходит долина Иосафата — справа колодец Иова». Мы направились вверх по долине Иосафата. Перечисление продолжалось: «Вот гора Елеонская; вот гора Соблазна; эта кучка хижин — селение Силоам; а вон то — царский сад; под этим деревом был убит первосвященник Захария; вон там гора Мориа и стена Иерусалимского храма; гробница Авессалома, гробница святого Иакова, гробница Захарии; а вон там Гефсиманский сад и гробница девы Марии; а вот Силоамская купель, а там...»

Мы заявили, что хотим спешиться, утолить жажду и отдохнуть. Мы

изнемогали от жары. После бесконечной езды мы просто не стояли на ногах. Всем хотелось передышки.

Купель — это глубокий, обнесенный стеною ров, по которому бежит прозрачный ручей; он берет начало где-то под Иерусалимом и, проходя через источник богородицы, отдающий ему свои воды, течет сюда по прочной каменной трубе. Знаменитая купель без сомнения выглядит в точности так, как выглядела она при царе Соломоне, и все те же смуглые женщины, по старому восточному обычаю, спускаются сюда с кувшином на голове, как то было три тысячи лет назад и будет через пятьдесят тысяч лет, если к тому времени еще будут на свете восточные женщины.

Мы двинулись дальше и остановились у источника богородицы. Но вода здесь нехороша, и отдохнуть было невозможно, потому что целый полк мальчишек, девчонок и нищих не давал нам ни минуты покоя, требуя бакшиш. Гид сказал, чтобы мы подали им какую-нибудь малость, и мы послушались; когда же он прибавил, что они умирают с голоду, мы почувствовали, что совершили великий грех, помешав столь желанному концу, и попытались было отобрать свое подаяние, но, разумеется, не смогли.

Мы вошли в Гефсиманский сад и посетили гробницу богородицы; и то и другое мы уже видели прежде. Здесь неуместно говорить о них. Я отложу это до более подходящего времени.

Не могу сейчас говорить о горе Елеонской, или о том, какой вид открывается с нее на Иерусалим, Мертвое море и Моавские горы, или о Дамасских воротах и о дереве, посаженном иерусалимским королем Готфридом. Обо всем этом следует рассказывать, когда ты в хорошем расположении духа. О каменном столбе, который вделан в стену иерусалимского храма и, словно пушка, нависает над долиной Иосафата, я могу сказать только, что мусульмане верят, будто Магомет усядется на нем верхом, когда придет вершить суд над миром. Какая жалость, что он не может этого сделать, сидя па каком-нибудь насесте у себя в Мекке, не переступая границ *нашей* святой земли. Совсем рядом, в стене храма — Золотые ворота, они являли собою прекрасный образец скульптуры в те древние времена, когда храм еще строился, и остались им поныне. Отсюда в старину иудейский первосвященник выпускал козла отпущения, и тот убегал в пустыню, унося на себе груз всех грехов народа иудейского, скопившихся за год. Если б его вздумали выпустить теперь, он убежал бы не дальше Гефсиманского сада: эти несчастные арабы непременно слопали^[214] бы его вместе со всеми грехами. Им-то все нипочем: козлятина, приправленная грехом, для них недурная пища. Мусульмане

неусыпно и с тревогой следят за Золотыми воротами, ибо в одном почтенном предании говорится, что когда падут эти ворота — падет ислам, а с ним и Оттоманская порта. Я ничуть не огорчился, заметив, что старые ворота несколько расшатались.

Мы уже дома. Мы совсем выбились из сил. Солнце едва не изжарило нас заживо.

Все же одна мысль служит нам утешением. Наш опыт путешествия по Европе научил нас, что со временем усталость забудется, и жара забудется, и жажда, и утомительная болтовня гида, и приставания нищих — и тогда о Иерусалиме у нас останутся одни приятные воспоминания: воспоминания, к которым с годами мы будем обращаться со все возрастающим интересом; воспоминания, которые станут прекрасными, когда все, что было докучного и обременительного, изгладится из памяти, чтобы уже больше не возвращаться. Школьные годы не счастливее всех последующих, но мы вспоминаем их с нежностью и сожалением, потому что мы забыли, как нас наказывали и как мы горевали о потерянных камешках и о погибших воздушных змеях, забыли все горести и лишения этой золотой поры и помним лишь набеги на огороды, поединки на деревянных мечах и рыбную ловлю во время вакаций. Мы вполне довольны. Мы можем подождать! Нам уготована награда. Через какой-нибудь год Иерусалим и все, что мы видели, и все, что испытали, станет волшебным воспоминанием, с которым мы не расстанемся ни за какие деньги.

Глава XXVIII. Вифания. — «Бедуины!» — Древний Иерихон. — Мертвое море. — Святые отшельники. — Газели. — Место рождения Спасителя, Вифлеем. — Храм рождества. — Возвращение в Иерусалим.

Мы подвели итог. Он оказался очень даже недурен. Нам оставалось поглядеть в Иерусалиме всего-навсего дома богача и Лазаря^[215] из притчи; гробницы царей и судей; место, где побили камнями одного из последователей Христа и обезглавили другого; горницу и стол, прославленные тайной вечерей; смоковницу, которая засохла по слову Иисуса; несколько исторических мест вокруг Гефсиманского сада и горы Елеонской и еще каких-нибудь пятнадцать — двадцать мест в разных частях города.

Дело шло к концу. Теперь вступала в свои права человеческая природа. Как и следовало ожидать, начали сказываться пресыщение и усталость. Силы понемногу изменяли паломникам, и пыл их угасал. Они уже не боялись, что упустят что-нибудь такое, что паломнику никак нельзя упускать, и заранее предвкушали близкий и вполне заслуженный отдых. Они несколько разленились. Они поздно выходили к завтраку и подолгу засиживались за обедом. Три или четыре десятка паломников, избравшие короткий маршрут, прибыли сюда с «Квакер-Сити», и нельзя было отказать себе в удовольствии вволю посплетничать. В жаркие дневные часы они с наслаждением полеживали на прохладных диванах в отеле, курили, болтали о приятных происшествиях минувшего месяца, ибо иные приключения, которые подчас раздражали и злили и казались лишенными всякого интереса, уже спустя какой-нибудь месяц стали выделяться на ровном и скучном фоне однообразных воспоминаний, точно радующие глаз вехи. Сирена маяка, предупреждающая о тумане, в городе тонет в миллионе менее резких и громких звуков, ее не услышишь уже за квартал, но моряк слышит ее далеко в море, куда не достигают городские шумы. Когда ходишь по Риму, все купола кажутся одинаковыми, но когда отъедешь на двенадцать миль, город уже совсем исчезает из виду, и лишь купол св. Петра парит над равниной, точно привязанный воздушный шар. Когда путешествуешь по Европе, все ежедневные происшествия кажутся одинаковыми, но когда их отделяют от тебя два месяца и две тысячи миль,

в памяти всплывает лишь то, что стоит помнить, а все мелкое, незначительное улетучивается. Эта склонность покурить, побездельничать и поболтать не обещала нам ничего хорошего. Все ясно понимали, что нельзя позволить, чтобы она завладела нами. Надо попытаться переменить обстановку, иначе мы совсем распустимся. Было предложено поглядеть Иордан, Иерихон и Мертвое море. А все, что недосмотрели в Иерусалиме, можно пока отложить. Все сразу же согласились. Жизнь снова забила ключом. Тотчас заработало воображение: в седло... на широкие просторы... спать под открытым небом, в постели, которая простирается до самого горизонта. Больно было видеть, как эти коренные горожане пристрастились к вольной жизни, к привалам в пустыне. Человек — прирожденный кочевник, дух кочевничества заложен был еще в Адаме, передался патриархам, и как ни воспитывала нас цивилизация, за тридцать веков ей не удалось вытравить из нас этот дух. В кочевой жизни есть своя прелесть, и однажды вкусив ее, человек вечно будет к ней стремиться. В индейце, например, никакими силами не уничтожить кочевника.

Итак, предложение ехать на Иордан было одобрено, и мы сообщили об этом драгоману.

В девять часов утра караван уже поджидал нас у дверей отеля, а мы сидели за завтраком. В городе царило волнение. Носились слухи о войне и кровопролитии. Необузданные бедуины из Иорданской долины и пустынь, лежащих у Мертвого моря, восстали и собирались разделаться со всеми пришельцами. Они вступили в бой с эскадрой турецкой кавалерии и разбили его; есть убитые. Они загнали жителей деревни и турецкий гарнизон в старый форт близ Иерихона и осадили его. Они подошли к лагерю наших паломников у Иордана, и те спаслись лишь тем, что под прикрытием ночи ускользнули из лагеря и, изо всех сил погоняя и прищипывая лошадей, ускакали в Иерусалим. Другую нашу группу обстреляли из засады, а потом атаковали среди бела дня. Обе стороны открыли огонь. По счастью, обошлось без кровопролития. Мы побеседовали с одним из тех паломников, которые стреляли, и узнали из первых рук, что в минуту смертельной опасности только мужество и хладнокровие, численное превосходство и вооружение, одним своим видом наводящее страх на врага, спасло их от неминуемой гибели. Нам передали, что консул настоятельно просит, чтобы никто из наших паломников не ездил к Иордану, пока положение не изменится; более того, он вообще не рекомендовал бы никому выезжать из города, разве что под усиленной военной охраной. Это осложняло дело. Но когда у дверей ждут лошади и все знают, для чего они тут, что бы сделали *вы* на нашем месте?

Признались бы, что струсили, и отступили бы с позором? Едва ли. Какой мужчина пойдет на это, когда вокруг столько женщин? Вы бы поступили так же, как мы: сказали бы, что вам не страшен и миллион бедуинов, составили бы завещание и пообещали бы себе держаться скромно и незаметно в самом хвосте кавалькады.

Должно быть, мы все избрали одну и ту же тактику, и похоже было, что нам никогда не добраться до Иерихона. Моя лошадь отнюдь не была призовым скакуном, но, хоть режьте, мне никак не удавалось держаться позади остальных. Я все время оказывался в авангарде. Очутившись во главе кавалькады, я всякий раз пугался и спешил, чтобы поправить седло, — но тщетно: все остальные тоже спешили и принимались поправлять седла. Никогда еще у нас не было столько хлопот с седлами. Три недели все шло как по маслу, а тут со всеми сразу что-то приключилось. Я попробовал пойти пешком, для моциона, — я недостаточно находился в Иерусалиме, рыская по святым местам. Но и тут меня постигла неудача. Все как один жаждали моциона, и уже через каких-нибудь пятнадцать минут все спешили, и я снова оказался первым. Я не знал, что и делать.

Все это было уже за Вифанией. В этом селении мы остановились через час после выезда из Иерусалима. Нам показали гробницу Лазаря. Я бы поселился в ней куда охотнее, чем в любом здешнем доме. Показали нам также и большой источник Лазаря и его древнее жилище посреди селения. По всему видно, что он был человек состоятельный. Все, что нам рассказывают о нем в воскресной школе, очень несправедливо — можно подумать, что он был бедняк. Это его просто путают с тем Лазарем, который не имел других заслуг, кроме добродетели^[216], а добродетель никогда не пользовалась таким почетом, как деньги. Дом Лазаря трехэтажный, каменный, но его совсем засыпало мусором, скопившимся за долгие века, и теперь виден один лишь верхний этаж. Мы взяли свечи и спустились в мрачный, как погреб, покой, где Христос разделил трапезу с Марфой и Марией и беседовал с ними об их брате. И поневоле мы с каким-то особенным чувством смотрели на это унылое жилье.

С вершины горы мы бросили взгляд на Мертвое море, лежащее на Иорданской равнине, точно голубой щит, и теперь шагаем по узкой, раскаленной, суровой и необитаемой теснине, где не выдержало бы ни единое живое существо, кроме разве саламандры. Все тут до отвращения угрюмо, мрачно, безжизненно! Вот в этой-то «пустыне» и проповедовал Иоанн, препоясанный куском верблюжьей шкуры, составлявшим весь его наряд, — но негде ему тут было разжиться ни диким медом, ни акридами.

Уныло тащились мы по этому страшному ущелью, и каждый старался оказаться позади всех. Наши телохранители — два ослепительных молодых шейха, увешанные с головы до пят мечами, ружьями, пистолетами и кинжалами, — не спеша двигались во главе колонны.

«Бедуины!»

Все тотчас съежились и, точно черепаха, втянули голову в плечи. Первым моим побуждением было ринуться вперед и перебить всех бедуинов; вторым — ринуться назад и посмотреть, не приближается ли враг с тыла. Так я и сделал. И все остальные поступили так же. Если бы бедуины приближались с тыла, они дорого заплатили бы за свою опрометчивость. Мы все потом сошлись на этом. Тут разыгралось бы столь кровопролитное сражение, что никаким пером не опишешь. Я твердо знаю это — ведь каждый из нас сам сказал, как бы он расправился с врагом: такой неслыханной, такой изобретательной свирепости даже и вообразить невозможно. Один с полным спокойствием объявил, что он бы погиб, если надо, но не отступил ни на шаг; запасись терпением, он подпустил бы первого бедуина так близко, чтобы можно было пересчитать все полосы на его одежде, а пересчитав, выстрелил бы в упор. Другой собрался ждать не шевелясь, пока первое копьё не окажется ровно в дюйме от его груди, тогда бы он увернулся и выхватил его. Я не смею сказать, как он хотел поступить с владельцем копьё. При одной мысли об этом у меня кровь стынет в жилах. Третий задумал снять скальпы с тех бедуинов, которые придутся на его долю, и этих оскальпированных сынов пустыни привезти домой в качестве живых трофеев. Лишь наш служитель муз с горящим взором хранил молчание. Глаза его сверкали диким блеском, но уста были сомкнуты. Нетерпение наше росло, и к нему приступили с расспросами. Если бы он захватил бедуина, что бы он с ним сделал — пристрелил? Поэт улыбнулся мрачно и презрительно и покачал головой. Заколол бы кинжалом? Снова он качает головой. Четвертовал бы? Или содрал с живого кожу? Тот же ответ. О, ужас! Что же он собирался сделать?

— Сlopать его живьем!

Вот какие страшные слова извергли его уста. Что такому отчаянному храбрецу изящный стиль? В глубине души я порадовался, что мне не пришлось стать свидетелем столь жестокой расправы. Ни единый бедуин не атаковал наш могучий тыл. И ни единый не атаковал нас с фронта. Просто к нам явилось подкрепление в лице тощих, как скелеты, арабов в одних рубахах и с голыми ногами; им велено было идти далеко впереди нас, размахивать ржавыми ружьями, кричать, похваляться своей силой и вообще всячески безумствовать и таким образом распугивать шайки

разбойников-бедуинов, которые могут устроить нам засаду. Какой позор! Вооруженные белые христиане вынуждены путешествовать под охраной такого вот отребья, которое должно защищать нас от диких кочевников пустыни, этих кровожадных разбойников, всегда готовых совершить нечто ужасное, но никогда ничего такого не совершающих. Могу еще прибавить, что за всю эту поездку мы не видали ни одного бедуина, и наши телохранители оказались нам столь же необходимы, как лакированные башмаки и белые лайковые перчатки. Бедуины, которые так яростно атаквали другие партии паломников, были доставлены телохранителями этих партий: их нанимают в Иерусалиме и засылают в пустыню в качестве бедуинов. На глазах у паломников они после сражения сошлись с телохранителями и все вместе завтракали и делили бакшиш, который удалось выудить у этих паломников в минуту опасности, а потом сопровождали кавалькаду обратно до самого Иерусалима! Говорят, что этих несносных телохранителей шейхи и бедуины придумали совместно для взаимной выгоды, и, несомненно, это недалеко от истины.

Мы посетили источник, в котором пророк Елисей подсластил воду (она и сейчас еще сладкая); здесь он провел некоторое время, и вороны кормили его^[217].

Древний Иерихон не из самых живописных руин. Когда около трех тысяч лет назад Иисус Навин, обойдя вокруг него семь раз, сокрушил его трубным гласом, он сделал свое дело так солидно и основательно, что от города осталось едва ли не ровное место. Сказано было, что проклят будет тот, кто попытается вновь отстроить его, и проклятие это в силе по сей день. Один царь, отнесясь к этому легкомысленно, хотел было нарушить запрет, но горько поплатился за свою самонадеянность. Здесь никогда никто не поселится, а ведь во всей Палестине мы не видели места, где удобней было бы стоять городу.

В два часа ночи нас вытащили из постели — новая возмутительная жестокость, новая попытка нашего драгомана опередить соперника. До Иордана оставалось меньше двух часов езды. И прежде чем кто-либо догадался взглянуть на часы, мы оделись и двинулись в путь; ночь была холодная, все мы клевали носом и мечтали о лагерных кострах, теплых постелях и о многом другом, что радует душу путника.

Ехали молча. Когда человек продрог, не выспался и чувствует себя несчастным, ему не до разговоров. Время от времени один из нас начинал дремать и, проснувшись от толчка, обнаруживал, что кавалькада исчезла во тьме. Тогда приходилось изо всех сил погонять лошадь и смотреть в оба, пока впереди не начинали опять маячить смутные тени. Изредка от одного

к другому вполголоса передавали приказ: «Подтянись, подтянись! Тут повсюду рыщут бедуины!» При этих словах всех нас мороз подирал по коже.

Еще не было четырех часов, когда мы подошли к прославленной реке; темно было хоть глаз выколи, и мы вполне могли въехать в реку, даже не заметив ее. Некоторые из нас совсем приуныли. Мы ждали, ждали, но все никак не рассветало. Наконец мы отъехали немного, соснули часок на земле в кустах и схватили насморк. В этом смысле сон дорого обошелся нам; но с другой стороны, это было выгодное предприятие, ибо мы хоть на время забылись и проснулись в состоянии, более пригодном для первого знакомства со священной рекой.

С первыми проблесками зари все паломники разделись и вступили в темные воды, распевая гимн:

У бурных вод Иордана стою,
В раздумье взираю
На обетованную землю мою,
Где лежит все, чем я обладаю.

Но недолго они пели. Вода была так холодна, что пришлось оборвать на полуслове и поспешно выбраться на берег. Они стояли на берегу, дрожа мелкой дрожью, такие несчастные, убитые горем, что нельзя было не пожалеть их. Еще одна мечта, еще одна издавна лелеемая надежда обманула их. Они с самого начала дали себе слов, что перейдут Иордан в том самом месте, где его перешли израильтяне, когда, после долгих скитаний по пустыне, вступили в землю Ханаанскую. Они хотели перейти там, где в память об этом событии были положены двенадцать камней. И пока они переходили бы Иордан, их воображению рисовались бы несчетные толпы, которые рассекают воды Иордана, неся священный ковчег завета, возглашая «Осанну» и распевая благодарственные молитвы и хвалы. Каждый давал себе слово, что первым перейдет Иордан. И вот наконец-то они у цели, но течение слишком стремительно, и вода слишком холодна!

Тут-то Джек и сослужил им службу. С очаровательной беззаботностью, которая так естественна в юности, так подобает ей и так ей к лицу, он вошел в воду и направился к другому берегу, — и все, сразу повеселев, последовали его примеру и перешли Иордан вброд. В самом глубоком месте вода была только по грудь, иначе мы едва ли совершили бы этот

подвиг, — нас снесло бы течением и мы выбились бы из сил и утонули, не успев выбраться на берег. Итак, цель была достигнута, и жалкие, измученные паломники уселись на берегу, поджидая солнышка, — всем хотелось не только ощутить священные воды, но и увидеть их собственными глазами. Но уж очень было холодно. Наполнили водой из священной реки несколько банок, срезали на берегу несколько тростников и, сев на лошадей, неохотно поехали дальше, чтобы не замерзнуть до смерти. Итак, мы видели Иордан весьма смутно. Густой кустарник, что растет по берегам, отбрасывая тень на неглубокие, но беспокойные воды («бурными» величает их гимн, чем несомненно льстит им), и мы так и не увидели, широка ли она. Однако мы перешли Иордан вброд и знаем по опыту, что многие улицы в Америке вдвое шире.

Вскоре после того, как мы пустились в путь, наконец рассвело, и не прошло и двух часов, как мы достигли Мертвого моря. Вокруг него в плоской, выжженной солнцем пустыне растет один только плевел, а яблоки, созревающие на этих берегах, по словам поэтов, прекрасны на вид, но стоит их разломить — и они превращаются в прах и пепел. Те, что попались нам, не отличались красотой и были горьки на вкус. Они не рассыпались в прах. Быть может, все дело в том, что они еще не созрели.

Пустыня и голые холмы вокруг Мертвого моря мерцают на солнце так, что больно смотреть, и нигде ни зелени, ни единого живого существа — ничего, что радовало бы глаз. Это мерзкий, бесплодный, испепеленный солнцем край. Гнетущая тишина нависла над ним. И невольно начинаешь думать о похоронах и смерти.

Мертвое море невелико. Воды в нем прозрачные, дно усыпано галькой и очень отлогое у берегов. Оно выбрасывает много битума, куски его валяются по всему берегу, и от этого вокруг стоит неприятный запах.

Авторы всех прочитанных нами книг предупреждали, что, едва только мы окунемся в Мертвое море, нас ждут большие неприятности — ощущение будет такое, словно в тело впились миллионы раскаленных иголок; жгучая боль будет длиться часами; может быть, мы даже с головы до ног покроемся волдырями и будем мучиться не один день. Однако нас постигло разочарование: вся наша восьмерка бросилась в воду, и с нами еще один отряд паломников, и никто даже не вскрикнул. Никто ничего такого не почувствовал, разве что легкое покалывание в тех местах, где была содрана кожа, да и то ненадолго. У меня несколько часов сильно болело лицо, но это отчасти потому, что во время купанья его напекло солнцем, а кроме того, я слишком долго оставался в воде, и на лице narosla корка соли.

Нет, от этого купанья мы не покрылись ни волдырями, ни липкой грязью, и не стали источать зловоние; грязь была не такая уж липкая, и мне не кажется, что от нас стало пахнуть хуже, чем пахло во все время, что мы в Палестине. Запах просто немного изменился, но это не очень заметно, ведь мы уже привыкли, что он то и дело меняется. На Иордане от нас пахло иначе, чем в Иерусалиме, а в Иерусалиме мы пахнем не так, как в Назарете, Тивериаде, Кесарии или среди развалин любого другого города Галилеи. Нет, в этом отношении мы все время меняемся, и, как правило, к худшему. Мы ведь сами на себя стираем.

Забавное это оказалось купанье. Нам никак не удавалось погрузиться в воду. Можно было растянуться на спине во всю длину, сложив руки на груди, и тогда подбородок, грудь и живот оказывались над водой. При желании можно было поднять голову. Но ни в одном положении нельзя удержаться долго — теряешь равновесие и переворачиваешься то на спину, то на живот. Если поддерживать равновесие руками, можно преспокойно лежать на спине, так чтобы голова и ноги от колен и до пяток торчали над водой. Можно сесть, подтянув колени к самому подбородку и обхватив их руками, но скоро опрокинешься, потому что тут никак не удержишь равновесие. Можно встать в воде и выше пояса останешься сухим, хотя глубина здесь больше человеческого роста. Но и так долго не устоишь — очень скоро вода вытолкнет ноги на поверхность. Нечего и пытаться плавать на спине, так как ступни вылезают на поверхность и отталкиваться можно разве что пятками. Пытаешься плыть на животе, загребаешь воду, как колесный пароход, — и не двигаешься с места. Лошадь совсем теряет равновесие в Мертвом море; не может ни плыть, ни стоять, она тут же опрокидывается на бок. Те из нас, кто купались больше часа, вышли из воды сплошь покрытые солью и блестели, как сосульки. Мы соскребли ее жестким полотенцем и уехали, увозя с собой великолепный, новый с иголки запах; и право же, он был ничуть не хуже всех тех, которыми мы наслаждались последние недели. Он очаровал нас своей новизной, каким-то совершенно новым оттенком зловония. По берегам озера в солнечных лучах всюду блестят кристаллы соли. Кое-где они покрывают землю точно сверкающей коркой льда.

В детстве я почему-то воображал, что длина Иордана четыре тысячи миль, а ширина тридцать пять. На самом же деле он тянется всего на девяносто миль, и при этом все время так извивается, что никогда не знаешь, на каком ты берегу. Если не следовать всем изгибам реки, а идти напрямик, то это не девяносто миль, а всего каких-нибудь пятьдесят. Иордан не шире нью-йоркского Бродвея. Что до моря Галилейского и

Мертвого моря — ни то, ни другое не достигают двадцати миль в длину и тринадцати в ширину. И однако, когда я учился в воскресной школе, я воображал, что каждое из них равно шестидесяти тысячам миль в поперечнике.

Путешествия и жизненный опыт портят самые грандиозные картины, созданные нашим воображением, и отнимают у нас иллюзии, которыми мы себя тешили в детстве. Что ж, пусть так. Я уже видел, как царство Соломона уменьшилось до размеров штата Пенсильвания; и если оба моря и река тоже оказались не столь велики, как мне казалось, надо думать, я и это как-нибудь перенесу.

Дорогой мы внимательно смотрели по сторонам, но нигде не видели ни крупинки, ни кристаллика жены Лота^[218]. Мы были горько разочарованы. С давних пор мы знаем печальную историю этой женщины, внушавшей нам тот особенный интерес, который всегда возбуждает несчастье. Но бедная женщина исчезла без следа. Соляной столп не маячит больше в пустыне, окружающей Мертвое море, и не напоминает туристам о горьком жребии погибших городов.

Я не в силах описать мучительный дневной переезд от Мертвого моря до монастыря св. Саввы. Мне до сих пор тягостно вспоминать о нем. Солнце жгло так яростно, что раза два мы не могли удержаться от слез. В отвратительных душных ущельях, без единого деревца, без единой травинки, было жарко и душно, как в раскаленной печке. Мы положительно чувствовали на себе *тяжесть* солнца. Никто не мог сидеть в седле выпрямившись, всех пригнуло к луке. И в этой пустыне Иоанн проповедовал! Нелегкая, должно быть, была работа. Каким раем показались нам могучие башни и валы громадного монастыря, когда мы завидели их вдаль.

Мы провели ночь в этом монастыре в гостях у радушных монахов. Монастырь св. Саввы — человеческое гнездо, прилепившееся на крутом горном откосе; это целый мир каменных стен, которые уступами поднимаются высоко в небо, подобно колоннадам на изображениях Валтасарова пира или дворцов древних фараонов. Поблизости нет больше никакого жилья. Монастырь основан много веков назад святым отшельником, который сперва жил в пещере, — ныне она огорожена монастырскими стенами, и нам благоговейно показали ее святые отцы. Отшельник сей жестоко истязал свою плоть, сидел на хлебе и воде, удалился от людей и всякой мирской суеты, проводил время в молитве и, созерцая череп, благочестиво размышлял о тщете всего земного; пример оказался заразителен, и у него объявилось много последователей. В

противоположном склоне ущелья выбито множество небольших нор, служивших им жильем. Нынешние жители монастыря, числом около семидесяти, все пустынники. Одежду их составляет грубая ряса да уродливый колпак, похожий на печную трубу, и они обходятся без обуви. Едят они только хлеб с солью, а пьют одну только воду. Всю жизнь до самой смерти они не могут выйти за эти стены или взглянуть на женщину, ибо ни единой женщине ни под каким предлогом не разрешается входить в монастырь св. Саввы.

Некоторые монахи провели здесь взаперти добрых тридцать лет. И все эти безотрадные годы они не слышали ни детского смеха, ни сладостного голоса женщины: не видели ни человеческой слезы, ни человеческой улыбки; не ведали ни человеческих радостей, ни умиротворяющей человеческой печали. Они не помнят прошлого, не мечтают о будущем. Они отринули все, что мило человеческому сердцу, все, что есть на свете прекрасного и достойного любви; от всего, что радует глаз и ласкает слух, они навсегда отгородились тяжелыми дверями и безжалостными каменными стенами. Они изгнали из жизни всю ее прелесть и всю нежность, и, лишённая животворящих соков, она превратилась в костлявую, иссохшую карикатуру на самое себя. Уста их никогда не знали ни поцелуя, ни песни; сердца не ведали ни ненависти, ни любви; грудь никогда не вздымалась от волнения при звуках гимна их отчизны. Это ходячие мертвецы.

Я записал эти мысли, прежде всего пришедшие мне в голову, просто потому, что это непосредственные мысли, а не потому что они справедливы, или потому, что я считал нужным их записать. Ловким писакам легко говорить: «Глядя на то-то и то-то, я думал так-то и так-то», а на самом деле все эти красивые мысли пришли им в голову гораздо позже. Первое впечатление редко бывает особенно точным, однако в том нет греха, и не грех сохранить его, а там можно и поправиться, если ошибся. Эти пустынники и в самом деле живые мертвецы во многих отношениях, однако не во всех, и не пристало мне, подумав о них сперва дурно, стоять на своем или, раз начав говорить о них дурно, снова и снова твердить одно и то же. Нет, это не годится, ведь они были так гостеприимны. Где-то в глубине души в них еще сохранилось что-то человеческое. Они знали, что мы чужестранцы и протестанты и вряд ли восхищаемся ими, вряд ли дружески к ним расположены. Но в своем человеколюбии они были выше таких соображений. Они видели в нас просто людей, которые устали, проголодались и хотят пить, — и этого было довольно. Они отворили нам двери и радушно приняли нас. Они ни о чем не спрашивали и не

выставляли напоказ свое гостеприимство. Они не напрашивались на комплименты. Без лишнего шума они накрыли на стол, постлали нам постели, принесли воды умыться, не слушая наших уверений, что напрасно они этим занимаются, когда на это у нас есть слуги. Мы поели в свое удовольствие и поздно засиделись за столом, потом в сопровождении монахов обошли весь монастырь, уселись на высоких зубчатых стенах и закурили, наслаждаясь прохладой, любуясь пустынным, диким пейзажем и заходящим солнцем. Двое или трое предпочли провести ночь в уютных спальнях, но дух бродяжничества побудил остальных улечься на широкий диван, который тянулся вдоль стен просторной прихожей; ведь это было куда веселее и соблазнительнее — все равно что спать под открытым небом. И отдохнули мы по-царски.

Утром к завтраку мы вышли обновленные. И за все это гостеприимство с нас не спрашивали платы. Если на то наша воля, так дадим что-нибудь, а если мы бедны или не отличаемся щедростью, можно и ничего не давать. Нищего и скрягу в палестинских католических монастырях принимают не хуже других. Мне с детства внушали неприязнь ко всему католическому, вот почему дурные стороны католиков мне подчас виднее, чем их достоинства. Но есть нечто, о чем я не склонен ни умалчивать, ни забывать: это искренняя благодарность моя и всех моих спутников палестинским монахам. Двери их всегда открыты, и здесь всегда радушно встретят достойного человека — все равно, одет ли он в лохмотья или в пурпур. Католические монастыри — это великое благо для бедняков. Паломник, у которого нет ни гроша, будь он протестант или католик, может вдоль и поперек исходить всю Палестину, и каждую ночь его ждет добрый ужин и чистая постель в одном из этих монастырей. Но и паломника побогаче может свалить с ног солнечный удар или местная лихорадка, и тогда монастыри служат им прибежищем. Не будь их спасительного гостеприимства, путешествие по Палестине оказалось бы по силам лишь самым крепким и выносливым людям. Все мы, паломники и просто путешественники, отныне всегда рады будем поднять бокалы за здоровье, процветание и долгую жизнь святых отцов из палестинского монастыря.

Итак, отдохнув и подкрепившись, мы вытянулись гуськом и поехали по бесплодным горам Иудеи, по скалистым кряжам и голым узким ущельям, где вечно царят тишина и безлюдье. Здесь нет даже вооруженных пастухов со стадами длинношерстных коз, которые изредка попадались нам накануне. Только два живых существа повстречались нам. То были газели, прославленные «кротостью очей». Они похожи на молоденьких козочек, но пожирают пространство со скоростью экспресса. Если не считать антилоп

из наших прерий, я не видывал более быстроногих животных.

Часов в десять утра мы выехали на Пастушью равнину и остановились в обнесенном стенами оливковом саду, где восемнадцать веков назад пастухи ночью стерегли свои стада и сонмы ангелов возвестили им о рождении Спасителя. В четверти мили отсюда находится Вифлеем Иудейский, и, прихватив по камешку от ограды, наши паломники поспешили дальше.

Пастушья равнина — это пустыня, усеянная камнями, лишенная всякой растительности, ослепительно сверкающая под беспощадным солнцем. Лишь ангельский хор, прозвучавший здесь однажды, мог бы вновь пробудить к жизни ее цветы и кустарники, вернуть ей утраченную красоту. Лишь такие могущественные чары и способны совершить это чудо.

В огромном Храме рождества в Вифлееме, выстроенном пятнадцать столетий назад все той же неутомимой святой Еленой, нас повели под землю, в грот, вырубленный в скале. Здесь-то и стояли те самые «ясли», в которых родился Христос. Об этом сообщает латинская надпись на серебряной звезде, вделанной в пол. Она отполирована поцелуями многих поколений благочестивых паломников. Грот изукрашен так же безвкусно, как все святые места в Палестине. Здесь, как и в Храме святого гроба Господня, все говорит о зависти и нетерпимости. Служители и приверженцы греческой и латинской церкви не могут пройти в одни и те же двери; чтобы преклонить колена в священном месте, где родился искупитель, они вынуждены приходить и уходить разными улицами, не то они переругаются и передерутся в этой святой святынях.

Ни на какие глубокие размышления не навело меня это место, где впервые в мире люди пожелали друг другу «счастливого рождества» и откуда друг моего детства, Санта Клаус, впервые отправился в путь, чтобы ныне и присно и во веки веков в зимние утра приносить веселье и шумное ликование каждому семейному очагу во всех концах света. Почтительно, кончиком пальца коснулся я того самого места, где лежал младенец Иисус, и... и ни о чем не подумал.

Просто невозможно думать здесь, как и в любом другом уголке Палестины, который, казалось бы, должен наводить вас на размышления. Нищие, убогие и монахи так и выются вокруг и заставляют вас думать об одном только бакшише, хотя вы предпочли бы подумать о чем-нибудь более уместном.

Я рад был убраться отсюда, рад был, когда мы наконец прошли грот, где писал Евсей, и тот, где постился Иероним^[219], и тот, где Иосиф

готовился к бегству в Египет, и с десятков других знаменитых гротов, и понял, что с ними покончено. В Храме рождества полным-полно в высшей степени священных мест, их чуть ли не столько же, как в самом Храме гроба Господня. Здесь есть даже грот, где, желая убить Иисуса, Ирод умертвил двадцать тысяч младенцев.

Мы, разумеется, побывали в Молочном гроте — в пещере, где некоторое время скрывалась Мария перед бегством в Египет. Когда она вошла сюда, стены пещеры были черные, но едва она начала кормить младенца грудью, капля молока упала на пол — и в мгновение ока темные стены стали молочно-белыми. Мы унесли отсюда множество осколков этого белого камня, ведь на Востоке всем известно, что стоит бесплодной женщине коснуться такого камешка губами, и она тотчас исцелится. Мы набрали множество образчиков, дабы осчастливить некоторые знакомые нам семьи.

После полудня мы распростились с Вифлеемом и с полчищами нищих и торговцев реликвиями и, задержавшись ненадолго у могилы Рахили^[220], заторопились к Иерусалиму. Никогда еще я так не радовался возвращению домой. Никогда я так не наслаждался отдыхом, как в эти последние несколько часов. Поездка к Мертвому морю, Иордану и в Вифлеем была недолгой, но изнурительной. Такого палящего зноя, такого гнетущего запустения, такой мрачной пустыни уж конечно не сыщешь больше нигде в целом свете. И мы так устали!

Самый обыкновенный здравый смысл подсказывает мне, что следует держаться общепринятой лжи и лицемерно уверять читателей, будто я с великим трудом расставался с каждым знаменитым местом в Палестине. Все так говорят, но я не верю ни единому слову, хотя по мере сил стараюсь не показать этого. Я готов поклясться самой страшной клятвой, что ни от одного из наших сорока паломников ни разу не слышал ничего подобного, хотя они такие же достойные и благочестивые люди, как все, кто побывал здесь. Они заговорят так довольно скоро, как только вернутся домой, — а почему бы и нет? Они не захотят спорить со всеми Ламартинами и Граймсами, сколько их есть на свете. Было бы совершенно непостижимо, если бы человек нехотя расставался с местами, где его чуть не уморили тучи докучливых нищих и торговцев, которые десятками цепляются за рукава и за полы и кричат и вопят в самые уши и приводят его в ужас, тыча ему в лицо свои страшные язвы и уродства. Каждый *рад* поскорей убраться отсюда. Я слышал, как иные бессовестные люди говорили, что они рады бы удрать с дамского благотворительного базара, где прелестные молодые особы навязывают им всякую всячину. Превратите этих гурий в

темнокожих ведъм и оборванных дикарей, вместо округлых форм вообразите иссохшие и изуродованные члены, вместо нежных ручек — покрытые шрамами, отвратительные обрубки, и вместо вкрадчивой музыки их голосов режущий ухо гам и крики на ненавистном языке, и уж тогда судите, можно ли нехотя расставаться с подобными местами. Нет, это только так принято говорить, будто вам не хотелось уезжать отсюда, да еще прибавить, что глубокие мысли теснились у вас в мозгу, требуя выхода; на самом же деле вы уезжали весьма охотно, и вам было не до глубоких раздумий, — но, хотя это чистая правда, говорить так и непристойно и непоэтично.

В святых местах мы не думаем; мы думаем потом, лежа в постели, когда весь блеск, и шум, и сумятица остались позади, и мысленно мы снова стоим перед почитаемыми памятниками прошлого и вызываем в своем воображении призрачные картины далекой старины.

Глава XXIX. Отъезд из Иерусалима. — Самсон. — Шаронская равнина. — Яффа — Дом Симона-кожевника. — Конец долгого паломничества. — Палестинский ландшафт. — Проклятие.

Мы посетили все святые места в Иерусалиме, которые не успели осмотреть до поездки на Иордан, и в один прекрасный день, в три часа пополудни, выехали из Иерусалима через величественные Дамасские ворота и навсегда покинули стены города. На вершине отдаленного холма мы остановились и бросили последний взгляд на древний город, в котором мы чувствовали себя так хорошо, и сказали ему последнее прости.

Около четырех часов подряд дорога неизменно шла под гору. Мы ехали узкой тропой, пересекали горные ущелья и, когда могли, уступали дорогу длинным караванам навьюченных верблюдов и ослов, а когда податься было некуда, прижимались к крутым каменным откосам, и нас толкали, и громоздкие тюки обдирали нам ноги. Джеку досталось раза три, и столько же раз Дэну и Моулту. Одна лошадь тяжело упала, поскользнувшись на камнях, и другие были на волосок от этого. Однако для Палестины это была хорошая дорога, а быть может, и самая лучшая из всех, поэтому никто особенно не ворчал.

Порою мы оказывались в узких долинах, где пышно разрослись инжир, абрикосы, гранаты и прочие блага земные, но чаще нас обступали острые горные края, угрюмые, без единой травинки. Здесь и там на высоких, почти неприступных утесах высятся башни. Обычай воздвигать эти башни древен, как сама Палестина, — так повелось исстари для защиты от врагов.

Мы перешли ручей, из которого Давид взял камень, чтобы убить Голиафа, и конечно перед нами было то самое место, где происходил этот знаменитый бой. Мы миновали живописные готические развалины, по каменным плитам которых звенели некогда кованые каблуки доблестных крестоносцев, и проехали по округе, где, как нам сказали, когда-то жил Самсон.

На ночлег мы остановились у гостеприимных монахов монастыря Рамлэ, а поднявшись поутру, проскакали добрую часть пути оттуда до Яффы, или Иоппии, потому что равнина была гладкая, как стол, без всяких камней, да к тому же это был наш последний переход по Святой Земле.

Еще два-три часа, и тогда и мы и усталые лошади — все смогут отдыхать и спать сколько душе угодно. Это была та самая равнина, о которой упомянул Иисус Навин, сказав: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Аиалонскою!» Когда Яффа была уже совсем близко, мои спутники решили позабавиться и, дав шпоры лошадям, устроили настоящие скачки, — такого с нами не бывало, пожалуй, с самых Азорских островов, где мы скакали на ослах.

Наконец мы подъехали к прекрасной апельсиновой роще, в которой покоится восточный град Яффа; мы вступили в него и снова оказались на узких улочках, в шумной толпе оборванцев, и все прочее, что предстало нашим взорам и окружило нас со всех сторон, тоже было нам уже хорошо знакомо. Мы спешили в последний раз, и вот перед нами, недалеко от берега, покачивается на якоре наш корабль! Я поставил здесь восклицательный знак, ибо таковы были наши чувства при виде нашего милого «Квакер-Сити». Долгое паломничество окончено, и, что ни говорите, мы, пожалуй, рады этому.

(Описание Яффы смотри во Всемирном географическом справочнике.) В давние времена здесь жил Симон-кожевник. Мы побывали в его доме. Все паломники считают своим долгом посетить дом Симона-кожевника. Когда Петр лежал на крыше этого дома, ему было видение, будто отверзлись небеса, и спустилось оттуда полотно, и были в нем всякие твари земные. Из Яффы отплыл Иона^[221], когда ему было велено идти проповедовать против Ниневии, и, разумеется, неподалеку от этого же города кит изринул его, когда оказалось, что он путешествует без билета. Иона был ослушник, придира и вечно чем-нибудь недоволен, и мы, пожалуй, вправе говорить о нем без особого уважения. Лес на постройку храма Соломонова сплавляли в Яффу плотами, и узкий проход между рифами, через который они подплывали к берегу, не стал ни на дюйм шире и ни на йоту безопаснее. Такова уж была ленивая натура жителей единственной в Палестине удобной гавани, такими они остались и по сей день. История Яффы богата событиями. В этой книге вы о них не прочтете. Но если вы обратитесь в библиотеку и сошлетесь на меня, вам выдадут целую пачку книг, из которых вы почерпнете подробнейшие сведения о Яффе.

Так окончилось наше паломничество. Хорошо, что мы предприняли его не для того, чтобы насладиться прелестными видами, ибо тогда нас постигло бы разочарование, по крайней мере в это время года. Автор «Жизни в Святой Земле» замечает:

«Какой бы однообразной и непривлекательной ни показалась Святая

Земля людям, привыкшим чуть не круглый год любоваться зеленью, полноводными реками и разнообразными ландшафтами нашего отечества, — нельзя забывать, что на израильтян, после изнурительных сорокалетних странствий по бесплодной пустыне, она должна была произвести совсем иное впечатление».

Мы вполне согласны с этим. Но она и в самом деле «однообразна и непривлекательна», и нет никаких оснований изображать ее иной.

Палестину по праву можно считать царицей среди земель, одним своим видом наводящих уныние. Горы ее бесплодны и некрасивы, их краски тусклы. Долины — это неприглядные пустыни с чахлой растительностью, от которой так и веет тоской и убожеством. Мертвое море и море Галилейское сонно цепенеют среди пустынных гор и равнин, где не на чем отдохнуть глазу, — здесь нет ничего яркого или поражающего, нет ласковых пейзажей, дремлющих в лиловой дымке или испещренных тенями проплывающих в небе облаков. Все очертания резки, все линии четки; здесь нет перспективы — в отдалении все так же лишено очарования, как и вблизи. Безрадостная, угрюмая и скорбная земля.

Впрочем, иные клочки и лоскутки ее, должно быть, прекрасны в расцвете весны, — тем прекраснее, что со всех сторон их обступает голая пустыня, которой нет ни конца ни края. Я очень хотел бы увидеть берега Иордана весной, и Сихем тоже, и Ездрилон, и Аиалон, и берега моря Галилейского, — но даже и весной все они показались бы лишь игрушечными садами, посаженными далеко друг от друга в бескрайней пустыне.

Палестина не снимает власяницы, и глава ее посыпана пеплом. Над ней тяготеет проклятие, которое иссушает ее поля и сковывает ее силы. Где некогда вздымались к небу башни и кровли Содомы и Гоморры, ныне широко разлилось море, в его горьких водах нет жизни, над его мертвенной гладью знойный воздух душен и недвижим, по берегам его растет лишь плевел да кое-где пучки тростника и предательские плоды, которые обещают прохладу запекшимся губам, но при первом же прикосновении обращаются в пепел. Назарет заброшен; там, где, перейдя вброд Иордан, ликующие толпы израильтян с пением вступили в землю обетованную, теперь видишь только убогий лагерь бедуинов в пестрых лохмотьях; проклятый Иерихон лежит в развалинах, как оставил его более трех тысяч лет назад Иисус Навин; Вифлеем и Вифания пребывают в бедности и унижении, и ничто не напоминает о том, что некогда им выпала высокая честь видеть в своих стенах Спасителя; в том священном месте, где пастухи ночью стерегли свои стада и где ангелы возвестили на земле мир и

в человецех благоволение, не встретишь ни души и ничто не радует глаз. Даже прославленный Иерусалим, одно из самых величавых имен в истории, утратил былое величие и превратился в нищую деревню; здесь нет уже сокровищ Соломона, ради которых стремились бы сюда восхищенные царицы Востока; чудесный храм, краса и гордость Израиля, не существует более, и турецкий полумесяц красуется на том месте, где в достопамятный день, который навсегда сохранится в анналах истории, воздвигнут был святой крест. Знаменитое море Галилейское, где некогда стоял на якоре римский флот и где плавали на своих лодках апостолы, давным-давно покинуто рыцарями войны и промысла, и берега его безмолвны и пустынные; Капернаум обратился в груды развалин; Магдала стала пристанищем обнищавших арабов; Вифсаида и Хоразин исчезли с лица земли, и «пустынное место», где некогда тысячи людей слушали Спасителя и были накормлены пятью хлебами, спит безмолвное и всеми покинутое, — лишь хищные птицы да трусливые лисы нашли здесь приют.

Палестина — край заброшенный и неприглядный. Да и какой еще она может быть? Если земля проклята Богом, разве может это ее украсить?

Палестина уже не принадлежит нашему будничному, прозаическому миру. Она отдана поэзии и преданиям — это страна грез.

Глава XXX. Корабль — наш дом родной. — Джек и его наряд. — Отцовское напутствие. — Египет. — В Александрии. — На улицах Каира. — Отель «Приют пастуха». — Мы отправляемся к пирамидам.

Какое счастье снова оказаться в море! Какое облегчение сбросить груз всех забот — не думать о том, куда ехать, надолго ли, стоит ли туда ехать; не тревожиться о лошадях; не слышать больше вопросов, вроде: «Доберемся мы когда-нибудь до воды?», «Будем мы когда-нибудь завтракать?» «Фергюсон, сколько тысяч миль нам еще тащиться по жаре? Когда, наконец, будет привал?» Какое облегчение распрощаться со всеми этими докучными мелкими заботами, которые раздирали нас на части, — они были словно стальные канаты, и каждый крепко вязал и держал, — и на время почувствовать себя освобожденными от всех хлопот, ни о чем не беспокоиться, ни за что не быть в ответе. Мы не смотрели на компас — нам было теперь все равно, куда идет корабль, лишь бы поскорей скрылась из виду земля. Когда я опять отправлюсь путешествовать, я бы хотел снова поехать в увеселительную прогулку. На чужом пароходе, среди незнакомых лиц никогда ни за какие деньги не обрешь того блаженного ощущения, что ты опять дома, какое мы испытали, ступив на борт нашего собственного «Квакер-Сити» после столь утомительного паломничества. Всякий раз, возвращаясь на корабль, мы испытывали то же самое. И это чувство мы бы ни на что не променяли.

Мы скинули синие шерстяные рубашки, шпоры, тяжелые сапоги, кровожадные револьверы и штаны, подшитые оленьей кожей, побрились и снова приняли христианский вид. Один только Джек, хоть и сменил все прочие части костюма, не пожелал расстаться с походными штанами; их кожаное сиденье все еще было цело. И всякий раз как он стоял на баке, окидывая взглядом океан, короткая матросская куртка и длинные тощие ноги придавали ему необычайно живописный вид.

В такие минуты мне вспоминалось напутствие его отца. Он сказал:

«Джек, мой мальчик, ты попал в высшее общество, с тобою едут настоящие джентльмены и леди — утонченные, высокообразованные, с отличными манерами. Прислушивайся к их беседам, присматривайся к

тому, как они себя ведут, и бери с них пример. Будь вежлив и любезен со всеми, будь терпим к чужим мнениям, слабостям и предубеждениям. Если не сумеешь снискать дружбы своих спутников, старайся по крайней мере заслужить их уважение. И главное, Джек, — ни под каким видом в хорошую погоду не показывайся на палубе в костюме, в котором ты не вошел бы в гостиную твоей матушки!»

Чего бы я не дал, чтобы родитель этого подающего надежды юноши в один прекрасный день поднялся на борт и поглядел, как его сынок, в матросской куртке, в красной феске с кисточкой, в подшитых кожей штанах, стоит во весь рост на баке и преспокойно созерцает океанские просторы, — такому, конечно, самое место в любой гостинице.

После приятнейшей морской прогулки и основательного отдыха мы подошли к берегам Египта, и в сиянии чудеснейшего заката явились нам купола и минареты Александрии. Едва бросили якорь, мы с Джеком наняли лодку и съехали на берег. Был уже поздний вечер, и остальные пассажиры решили остаться дома, с тем чтобы посетить древний Египет после утреннего завтрака. Так было и в Константинополе. Все они живо интересовались еще не виданными странами, но их ребячливое нетерпение повыветрилось; да кроме того, они убедились на опыте, что куда разумнее не слишком усердствовать и путешествовать с полным комфортом: древние страны за ночь никуда не денутся, они могут подождать, пока люди позавтракают.

На пристани пассажиров поджидала целая армия погонщиков с осликами не больше их самих; ослики в Египте те же омнибусы. Мы предпочли бы пойти пешком, но были не вольны в своих поступках. Мальчишки обступили нас, оглушили криком, и, куда бы мы ни повернули, они со своими ослами все время оказывались у нас на дороге. Эти юные погонщики народ вполне добродушный, и их ослики тоже. Пришлось нам усесться на осликов, а мальчишки бежали сзади и погоняли их изо всех сил, так что они скакали бешеным галопом, как заведено в Дамаске. Право же, из всех верховых животных, какие только есть на свете, я предпочитаю ослика. Он идет ходко, не задирает нос, послушен, хотя и упрям. Он не испугается самого черта, и притом он удобен, очень удобен: если устанешь от езды, можно спустить ноги на землю и дать ему ускакать из-под тебя.

Мы разыскали отель, получили комнаты и с великой радостью узнали, что однажды здесь останавливался принц Уэльский. Об этом извещают все вывески. С тех пор больше никакие принцы здесь не останавливались, пока не прибыли мы с Джеком. Потом мы пошли бродить по улицам, и оказалось, что это город огромных магазинов и контор, широких, красивых

проспектов, залитых газовым светом. Вечером он чем-то напомнил нам Париж. Но вдруг Джек увидел ресторанчик, где подавали мороженое, и тем самым на сегодня нашим странствованиям пришел конец. Было очень жарко, а Джек давно уже в глаза не видал мороженого, так что нечего было и думать вытащить его отсюда, пока ресторанчик не закроется.

Наутро заблудшее племя американских кочевников хлынуло на берег, наводнило отель и завладело всеми осликами и прочими средствами передвижения, какие тут нашлись. Живописной процессией они двинулись к американскому консульству, к прославленным висячим садам, к иглам Клеопатры^[222], к колонне Помпея, ко дворцу египетского вице-короля, к Нилу, к великолепным рощам финиковых пальм. У одного из наших самых заядлых охотников за реликвиями был с собой молоток, и он попытался отколоть кусочек от стоящего обелиска, но не смог; тогда он попробовал отколоть кусочек от поверженного обелиска — снова неудача; он попросил у каменотеса кувалду — и опять у него ничего не вышло. Попробовал подступиться к колонне Помпея — и просто руками развел. Вокруг этого горделивого памятника повсюду стоят величавые сфинксы, высеченные из твердого, как вороненая сталь, египетского гранита; пять тысяч лет прошло над ними, но времени не удалось наложить на них свою печать и исказить их строгие черты. Наш охотник за реликвиями, обливаясь потом, безуспешно пытался отбить от них кусочек. С таким же успехом он мог бы попытаться изуродовать луну. Сфинксы невозмутимо глядели на него, улыбаясь своей извечной горделивой улыбкой, которая словно говорила: «Старайся, козявка, старайся! Что нам такие, как ты? За долгие, долгие века мы видели многое множество тебе подобных, больше, чем песчинок у тебя под ногами; а разве ты найдешь на нас хоть единую царапинку?»

Но я позабыл о яффских поселенцах. В Яффе мы приняли на борт человек сорок из одной знаменитой общины. Тут были мужчины и женщины, младенцы, юноши и девушки, молодожены и те, для которых лучшая пора жизни только что миновала. Я имею в виду «Яффскую колонию Адамса». Другие сбежали еще раньше. В Яффе остались мистер Адамс с супругой и пятнадцать неудачников без гроша в кармане, не знавших, что им делать и куда податься. Так нам объяснили. У тех сорока, что мы взяли на борт, с первой же минуты вид был достаточно жалкий, и всю дорогу они пластом лежали на палубах, мучаясь морской болезнью, и мне кажется, она их едва не доконала. Впрочем, двое молодых людей оставались на ногах, и после долгих приставаний нам удалось кое-что у них выведать. Они отвечали нехотя, отрывочно, ибо их пророк бессовестно надул их, и они чувствовали себя униженными и несчастными. В подобных

случаях люди не склонны к откровенности.

Колония потерпела полное фиаско. Я уже говорил, что все, кто мог, постепенно сбежали. Пророк Адамс — в прошлом актер, потом еще неведомо кто, а под конец мормон и проповедник, но неизменно авантюрист — остался в Яффе с горсточкой своих достойных сожаления подданных. Те сорок, которых мы увезли, были за редкими исключениями люди без всяких средств. Они хотели только одного — попасть в Египет. Что будет с ними дальше, они не знали, им было все равно — лишь бы убраться подальше от ненавистой Яффы. Надеяться им было не на что. После того, как совершенно посторонние люди в Бостоне неоднократно через газеты взывали к добрым чувствам жителей Новой Англии, и после того, как там была учреждена контора по сбору пожертвований для яффских колонистов, подписка принесла... один доллар. Генеральный консул в Египте показал мне газетную заметку, в которой говорилось об этом, и сказал также, что все начинания прекращены и контора закрыта. Очевидно, практические жители Новой Англии не прочь отделаться от подобных мечтателей и отнюдь не склонны посылать кого-нибудь за ними. Но для злополучных колонистов было уже счастьем добраться до Египта, хотя едва ли у них была надежда двинуться дальше.

Вот при таких-то обстоятельствах они сошли с нашего корабля в Александрии. Один из наших пассажиров, мистер Мозес С. Бич, из нью-йоркской газеты «Сан», спросил генерального консула, во что обойдется возвращение всех этих людей в штат Мэн через Ливерпуль, и тот ответил, что хватило бы полутора тысяч долларов золотом. Мистер Бич подписал чек, и мытарствам яффских колонистов пришел конец^[223].

Александрия слишком напоминает европейский город, чтоб быть нам в новинку, и она быстро нам прискучила. Мы сели в поезд и отправились в древний Каир. Вот это самый настоящий, первоклассный восточный город! Если вы вообразите, будто находитесь в самом сердце Аравии, здесь вряд ли что-либо выведет вас из заблуждения. Величественные двугорбые верблюды и дромадеры, смуглые египтяне и турки и чернокожие эфиопы в тюрбанах, подпоясанные шарфами, поражающие великим разнообразием восточных нарядов самых ослепительных цветов и оттенков, теснятся повсюду на узких улочках и многолюдных, точно ульи, базарах. Мы остановились в гостинице «Приют пастуха»; худшей гостиницы не сыскать в целом свете, кроме разве той, в которой мне случилось когда-то остановиться в одном городишке у нас в Штатах. Приятно теперь перечитать ее описание в моей записной книжке, твердо зная, что я наверняка перенесу и «Приют пастуха», — ведь я побывал в точно такой же

гостинице в Америке и остался жив.

«Я остановился в Бентон-Хаус. Когда-то это был хороший отель, но это еще ничего не доказывает, — я и сам когда-то был хорошим мальчиком. Оба мы с годами испортились. Теперь Бентон далеко не хороший отель.

Для этого ему слишком многого не хватает. В преисподней можно найти куда более удобные отели.

Я приехал сюда поздно ночью и предупредил портье, что мне понадобится много света, так как я хочу почитать часок-другой. Когда мы с коридорным добрались до номера пятнадцатого (мы прошли полутемную прихожую, устланную ветхим, выцветшим ковром, во многих местах протертым и залатым кусками старой клеенки, половицы прогибались под ногами и отчаянно скрипели при каждом шаге), коридорный зажег свет — желтый огарок чахоточной сальной свечи длиной в два дюйма; он загорелся синим пламенем, зашипел и, отчаявшись, погас. Коридорный опять зажег его, и я спросил, неужели это и есть все освещение, которое прислал мне портье. «Что вы, — сказал он, — у меня еще есть», — и достал еще один огарок. «Зажгите оба, — сказал я, — иначе мне и одного не разглядеть». Он так и сделал, но этот свет был мрачнее самой тьмы. Однако мошенник не падал духом и рад был услужить. Он сказал, что сбегает «кое-куда» и стащит лампу. Я поддержал и одобрил его преступный замысел. Спустя десять минут я услышал, как в прихожей его окликнул хозяин:

— Куда ты тащишь лампу?

— Пятнадцатый требует, сэр.

— Пятнадцатый! Да ведь он получил двойную долю свечей. Он что, хочет устроить иллюминацию? Или факельное шествие? Чего ему, собственно говоря, надо?

— Ему свечи не по вкусу... говорит, подайте лампу.

— Да на что ему? Сроду ничего подобного не слыхал... На кой черт ему лампа?

— Говорит, почитать охота.

— Читать, вон что? Мало ему тысячи свечей, ему лампу подавай! Хотел бы я знать, на черта ему сдалась лампа? Снеси ему еще свечу, и если...

— Но он требует лампу! Спалю, говорит, к дьяволу вашу халупу, если не дадите мне лампу! (Ничего подобного я не говорил.)

— Поглядел бы я, как это он нас спалит. Ладно, тащи ему лампу, хотя, ей-Богу, не пойму... Ты все-таки попробуй разузнать, на что она ему сдалась.

И он пошел прочь, ворча себе под нос и не переставая удивляться странному поведению пятнадцатого номера. Лампа была хороша, но при ее свете открылись весьма неприятные вещи: например, постель в глубине пустынной комнаты — не постель, а горы и доли, и удобно улечься в ней можно было лишь одним способом: половчее пристроившись к той выемке, которая осталась в матрасе после предыдущего постояльца; ковер, выдавший лучшие дни; печальный умывальник в дальнем углу и удрученный кувшин, оплакивающий свой отбитый нос; зеркало, треснувшее посередине, которое отрубает тебе голову по самый подбородок, так что становишься похож на какое-то недоделанное чудище; обои, лоскутами свисающие со стен.

— Прелестно, — сказал я со вздохом. — А теперь не принесете ли вы мне чего-нибудь почитать?

— Отчего же, — сказал коридорный. — У старика прорва книг без толку валяется.

И он исчез, прежде чем я успел сказать, какой литературе я отдаю предпочтение. И однако лицо его выражало глубочайшую уверенность, что он успешно справится со своей задачей. Старик поймал его на месте преступления:

— На что тебе эти книги?

— Пятнадцатый требует, сэр.

— Опять этот пятнадцатый! Потом он потребует грелку, потом сиделку! Тащи к нему все, что есть в доме, тащи буфетчика, и багажный фургон, и горничную! Вот провалиться, отродясь такого не видал. На что, говоришь, ему книги?

— Читать захотел, надо думать, не станет же он их есть.

— Читать захотел... читать? Среди ночи-то? Рехнулся он, что ли? Не будет ему книг.

— А он говорит, ему непременно надо; говорит, все переверну, весь дом разнесу, подавай книги, да и все тут... уж и не знаю, что он натворит, если не дать ему книг; он ведь пьяный, да шалый, да отчаянный такой, ничем его не угомонишь, только этими окаянными книгами. (Я ничем не угрожал и вовсе не был таков, каким меня расписал коридорный.)

— Ладно, ступай. А я буду поблизости. Пусть он только начнет буянить. Я ему побуюню, я его живо в окошко выкину.

И старый джентльмен пошел прочь, как и прежде, бормоча что-то себе под нос.

Этот коридорный был просто гений. Он положил на постель целую охапку книг и пожелал мне доброй ночи с таким видом, словно ничуть не

сомневался, что эти книги придутся мне по вкусу. И он не ошибся. Его выбор угодил бы любому. Тут были: и теология — труд преподобного доктора Каммингза «Великие свершения», и право — «Исправленный свод законов штата Миссури», и медицина — «Ветеринарный справочник», и романтическая проза — «Труженики моря» Виктора Гюго и поэзия — сочинения Вильяма Шекспира. Я никогда не устану восхищаться находчивостью и умом этого талантливой слуги».

У наших дверей собрались, кажется, все ослики, сколько их есть в христианском мире, и чуть ли не все египетские мальчики, и слышен, мягко выражаясь, некоторый шум. Мы собираемся съездить поглядеть знаменитые египетские пирамиды, и сейчас идет смотр ослам, которые нас повезут. Пойду выберу себе скакуна, пока не расхватали самых лучших.

Глава XXXI. «Изысканные» ослики. — Образцы египетской скромности. — Моисей в тростнике. — Место, где проживало святое семейство. — Пирамиды. — Величественный сфинкс. — Великий древний Египет.

Ослики все были хорошие, красивые, крепкие и резвые, и им не терпелось доказать это на деле. Таких замечательных осликов у нас еще не бывало, и таких *recherché*^[224]. Я не знаю, что такое *recherché*, но для них это самое подходящее слово. Некоторые были приятного мышино-серого цвета, другие — белые, черные и пестрые. Одни были чисто выбриты, только копчик хвоста болтался кисточкой; другие подстрижены наподобие садовых газонов: все тело в прихотливых узорах из бархатных проплешин, оставленных ножницами, и из кустиков длинной шерсти. Все они только что от парикмахера, все чрезвычайно элегантны. Нескольких белых осликов разукрасили синими, красными и желтыми полосами, и они стали точно радужные зебры. Они были до того великолепны, что не передать словами. Дэн и Джек выбрали себе расписных осликов, потому что они напомнили им итальянских старых мастеров. Седла были высокие, жесткие, в форме лягушки, знакомые нам по Эфесу и Смирне. Погонщики, бойкие египетские мальчишки, могли полдня бежать за своими осликами, которых они пускали галопом, и ни капельки при этом не устать. Когда мы садились на своих скакунов, мы не испытывали недостатка в зрителях, так как в гостинице было полно англичан, направлявшихся в Индию, и офицеров, которые должны были принять участие в военных действиях против абиссинского негуса Теодора^[225]. Одно нехорошо: осликами невозможно править. Они не слушали никаких резонов и то и дело сталкивались с верблюдами, дервишами, эффенди, с другими осликами, нищими и со всем, с чем только можно столкнуться. Но когда мы выехали на широкую дорогу, ведущую из города к Старому Каиру, там места оказалось вдоволь. Величественные финиковые пальмы стеной стояли по обочинам, ограждая сады, тень их ложилась на дорогу, и воздух был прохладный и бодрящий. Мы воспрянули духом и поскакали сломя голову, точно спасаясь от погони. Хотел бы я еще хоть раз в жизни испытать такое наслаждение.

Во время этой скачки мы имели случай несколько раз убедиться в поразительной простоте восточных нравов. Проезжей дорогой шла девочка лет тринадцати в костюме Евы до грехопадения. Я хочу сказать, у нас в Америке ей дали бы тринадцать, но здесь выглядят тринадцатилетними девочки лет девяти, не старше.

Нам случалось видеть совершенно голых, великолепно сложенных мужчин, которые купались у всех на виду, нимало этим не смущаясь. Однако через какой-нибудь час паломники примирились с этим забавным обычаем и перестали обращать на него внимание. Вот с какой легкостью эти пресыщенные новизной впечатлений странники привыкают даже к самым поразительным неожиданностям.

Мы прибыли в Старый Каир, погонщики похватили ослов и побросали их на суденышко с треугольным латинским парусом, мы последовали за ними, и плавание началось. Палуба сплошь была забита осликами и людьми; чтобы управлять парусами, двум матросам приходилось проталкиваться между ними, карабкаться по спинам, пролезать под ногами, а рулевой, всякий раз как ему нужно было перехватить румпель или круто повернуть рулевое колесо, отгонял сперва трех или четырех ближайших осликов. Но что нам было до их забот? Делать нам было нечего, только радоваться прогулке, спихивать ослов с наших мозолей да любоваться видами Нила.

На острове, справа от нас, мы увидели механизм, который называется ниломер, — это каменный столб, его дело отмечать уровень воды и предсказывать: достигнет ли она всего тридцати двух футов — и тогда будет голод; разольется ли, как ей положено, достигнув сорока, — и тогда урожай будет обильный; или поднимется до сорока трех, неся смерть стадам и гибель посевам. Но как он с этим справляется, нам так и не смогли растолковать. На этом же острове до сих пор показывают место, где дочь фараона нашла в тростниках Моисея^[226]. Неподалеку от того места, где мы отчалили, проживало святое семейство, поселившееся в Египте на то время, пока Ирод не покончит с избиением младенцев. Дерево, в тени которого они отдыхали, прибыв в Египет, стояло здесь много веков, и лишь совсем недавно вице-президент отослал его в дар императрице Евгении. И как раз вовремя, не то наши паломники добрались бы до него.

Нил в этом месте грязный, быстрый и мутный и лишь немногим уже Миссисипи.

Мы вскарабкались на крутой берег у захудалого городишки Гиза, снова взгромоздились на осликов и заторопились дальше. Четыре или пять миль дорога шла по высокой насыпи; говорят, султан проложит здесь железную

дорогу для того только, чтобы французская императрица, пожаловав в Египет, могла проехать к пирамидам с полным комфортом. Вот оно, истинно восточное гостеприимство! Я счастлив, что нас миновала эта честь и мы можем разъезжать просто на осликах.

До пирамид еще несколько миль, но вот они уже встают над вершинами пальм, четко вырезанные в небе, громадные, внушительные и в то же время смягченные расстоянием. Они словно прячутся, окутанные дымкой, и кажется, что это не бесчувственный камень, а воздушное видение, греза, и того и гляди эти удивительные сооружения расцветут кружевом зыбких арок или пышными колоннадами, будут снова и снова меняться у нас на глазах, принимая самые причудливые очертания, и наконец растворятся в трепетном сиянии дня.

В конце насыпи мы оставили свой обоз, взошли на парусник, пересекли рукав Нила и пристали к берегу в том месте, где к нему вплотную подходят встающие крутой стеной вдоль всей речной долины пески Великой Сахары. Под палящим солнцем мы с трудом добрались до подножья гигантской пирамиды Хеопса. Теперь она уже не была волшебным видением. Это просто некрасивый уступчатый каменный исполин. Его чудовищные бока — это широкие лестницы, которые, постепенно сужаясь, уходят все выше и выше и высоко в небе заканчиваются острием. Ничтожные букашки — пассажиры и пассажирки с «Квакер-Сити» — ползают на головокружительной высоте, а на самой вершине крошечная черная стайка машет какими-то почтовыми марками, — носовыми платками, как мы догадываемся.

Разумеется, нас окружила орава мускулистых арабов, которые жаждали получить подряд на доставку нас наверх, — они осаждают всех туристов. Разумеется, они подняли такой крик, что не слышно было собственного голоса. Разумеется, шейхи клялись, что положиться можно только на них, договариваться следует только с ними, деньги платить только им, — тогда уже больше никто ничего не будет с нас требовать. Разумеется, они уверяли, что мошенники, которые потащат нас наверх, не посмеют и заикнуться о бакшише. Такой уж здесь порядок. Разумеется, договор был заключен, мы заплатили им, были переданы в руки носильщиков, и они втащили нас на вершину пирамиды, ни на секунду не переставая кланчить и вымогать у нас бакшиш. Мы, разумеется, заплатили им, потому что они нарочно рассеялись по всему широкому боку пирамиды, чтобы мы были подальше друг от друга. Зови не зови на помощь, все равно никого не докличешься, а тащившие нас геркулесы выпрашивали бакшиш так сладко и вкрадчиво, что трудно было устоять, и

смотрели при этом так свирепо, словно готовы были вот-вот сбросить нас вниз, — и это убеждало вернее всяких слов.

Каждая ступень была вышиной с обеденный стол, и было их великое множество; на каждого из нас приходилось по два араба: подхватив человека под руки, они скакали вверх по ступеням, втаскивая его за собой, причем он вынужден был всякий раз задира́ть ноги чуть не до подбородка и притом быстро, — и так без конца, без передышки, до потери сознания. Кто после этого станет отрицать, что подъем на пирамиды превеселое занятие, — оно радует душу, терзает тело, вытягивает жилы, выворачивает суставы, изводит и изматывает. Я умолял арабов вывихивать не все мои суставы сразу, я снова и снова повторял и клятвенно заверял их, что вовсе не жажду оказаться на вершине первым, я всячески убеждал их, что, если попаду туда последним, буду чувствовать себя счастливейшим из людей и вечно буду им благодарен; я просил, уговаривал, умолял остановиться и дать мне минутку отдыха, одну только минутку. Единственным ответом были все более устрашающие скачки, а тут еще им пришел на помощь никем не нанятый доброволец и стал бомбардировать меня сзади ударами головы, угрожая не оставить камня на камне от всей моей политической экономии.

Дважды они давали мне минутную передышку, пока вымогали бакшиш, а потом снова продолжали свой сумасшедший взлет на пирамиду. Они хотели всех обогнать. Им ничего не стоило принести меня, чужестранца, точно жертвенного барашка, на алтарь их дьявольского честолюбия. Но и в скорби расцветает радость. Даже в этот черный час у меня было сладостное утешение. Ибо я знал, что если только эти басурманы не покаются, в один прекрасный день они отправятся прямой дорогой в ад. А они нипочем не покаются, никогда они не расстанутся со своим магометанством. Эта мысль успокоила меня, подбодрила, и на вершине я свалился ослабевший и измученный, но счастливый, — да, бесконечно счастливый, с просветленной душой.

По одну сторону расстилался могучий океан желтых песков без конца и края, величавый, безмолвный и безлюдный, без единой травинки, без проблеска жизни; по другую сторону широко раскинулся египетский рай — зеленая равнина, разрезанная извилистой рекой, усеянная пятнышками селений; по тому, какими крохотными казались в отдалении островки пальм, видно было, как она велика. Она спала, точно в заколдованном сне. Ни звука, ни движения. Посреди нее, над султанами финиковых пальм, вздымаются купола и шпили, мерца́я в мягкой переливчатой дымке; дальше, на горизонте, двенадцать стройных пирамид стерегут развалины Мемфиса, а со своего песчаного трона у наших ног безмятежно и

задумчиво смотрит на все это спокойный, бесстрастный Сфинкс, как смотрел пять долгих, неторопливых тысячелетий.

Никаким пером не описать, какие муки терпели мы, глядя в горящие, голодные глаза арабов и слушая их непрестанные требования бакшиша. К чему вызывать в памяти предания о былом величии Египта, к чему рисовать в своем воображении Египет, провожающий усопшего Рамзеса к его гробнице, или нескончаемую толпу израильтян, уходящих в пустыню? К чему вообще задумываться? Думать тут невозможно. Нужно иметь про запас заготовленные мысли или уж стряпать их потом.

По установившейся традиции, араб предложил спуститься с пирамиды Хеопса, пробежать по песку двести с лишком ярдов до пирамиды Хефрена, подняться на нее и снова вернуться к нам, на вершину Хеопса, — все за девять минут по часам; и все удовольствие обойдется в один-единственный доллар. В приливе раздражения я сперва хотел было послать этого араба вместе со всеми его подвигами к чертям. Но стойте. Верхняя треть пирамиды Хефрена облицована гладким, как стекло, мрамором. Счастливая мысль осенила меня: да он же наверняка сломает себе шею! Давайте скорей заключим с ним контракт, и пусть бежит. Он взял старт. Мы засекли время. Точно горный козел скакал он со ступени на ступень по широкому боку пирамиды. Он становился все меньше и меньше, потом обратился в подпрыгивающего карлика — и исчез. Мы повернулись и стали всматриваться в ту сторону нашей пирамиды, которая глядит на Хефрен. Сорок секунд... восемьдесят... сто... какое счастье, его уже нет в живых... две минуты... две с четвертью... Вот он! Так и есть, увы, так и есть. Сейчас он совсем крошечный. Медленно, но верно он одолевает полосу песка. Вот он снова прыгает и карабкается. Выше, выше, выше... вот уже гладкий мрамор... сейчас ему конец... Но он цепляется руками и ногами, точно муха, ползет, то и дело сворачивая вправо, вверх, влево, снова вверх... И вот он уже стоит на вершине — маленький черный гвоздик — и машет своим крошечным шарфом! Вот уже он сползает вниз, добрался до ступеней и полетел, как на крыльях. Вот он скрылся из виду. И вот он уже под нами, неумоимо карабкается вверх. Еще мгновение — мы расступаемся, и с диким боевым кличем он вскакивает в круг. Его время — восемь минут сорок одна секунда. Он выиграл. Все кости у него целы. Полная неудача! Я задумался. «Он устал, — сказал я себе, — у него, должно быть, кружится голова. Рискну-ка я еще одним долларом».

Он снова отправился. Прodelал тот же маршрут. Поскользнулся на гладком мраморе... Ну, думаю, конец ему. Но нет, какая-то подлая трещина спасла его. И вот он снова среди нас, целый и невредимый. Его время —

восемь минут сорок шесть секунд.

Я сказал Дэну:

— Дайте мне доллар. Еще не все потеряно.

Плохо дело. Он опять выиграл. Время — восемь минут сорок восемь секунд. Мое терпение лопнуло. Я был в отчаянии. О деньгах я уже не думал.

— Эй, ты, — сказал я, — прыгни с этой пирамиды вниз головой, и я дам тебе сто долларов. Если тебе не подходят условия, предлагай свои. Я не постою за ценой. Я не уйду отсюда и буду ставить на тебя до тех пор, пока у Дэна есть хоть цент в кармане.

Я уже чувствовал себя победителем: какой же араб упустит столь счастливый случай? Он задумался на мгновение и, кажется, уже готов был согласиться, но тут явилась его мать и все испортила. Ее слезы тронули меня, — я не в силах спокойно видеть женские слезы, — и я предложил и ей сто долларов, если она тоже прыгнет.

Но я потерпел неудачу. Арабы очень уж высоко ценятся в Египте. Они чересчур важничают, что таким дикарям вовсе не к лицу.

Разгоряченные и злые, мы сошли вниз. Драгоман зажег свечи, и, сопровождаемые крикливой толпой арабов, которые всячески навязывали нам свои услуги, мы полезли в дыру у подножия пирамиды. Они потащили нас по какому-то длинному желобу, полого уходящему вверх, и при этом закалили нас с головы до пят свечным салом. Этот желоб был едва ли вдвое шире и выше дорожного сундука, стены, пол и потолок выложены массивными глыбами египетского гранита, каждая шириной с платяной шкаф, вдвое толще его и втрое длиннее. Мы упорно лезли вверх в гнетущей тьме, и я уже думал, что мы вот-вот окажемся под самой макушкой пирамиды, как вдруг мы очутились в «покое царицы», а затем и в «покое царя». Эти просторные палаты не что иное, как склепы. Стены сложены из гигантских плит полированного гранита, искусно пригнанных одна к другой. На иной такой плите с успехом уместилась бы целая гостиная. Посреди покоя царя стоит большой каменный саркофаг, очень похожий на ванну. Вокруг живописно сгруппировались свирепые арабы и перепачканные, оборванные паломники, высоко поднимавшие свои свечи; паломники переговаривались между собой, и дрожащие блики света осеняли неярким ореолом одного из неугомонных охотников за сувенирами, который долбил древний саркофаг своим святотатственным молотком.

Наконец мы вырвались на свежий воздух, яркое солнце ударило нам в глаза, и добрых полчаса оборванцы арабы осаждали нас парами, десятками, взводами, и мы платили им бакшиш за услуги, которые, как они клятвенно

уверяли, призывая друг друга в свидетели, они нам оказали, а мы-то и не подозревали об этом! Когда всем и каждому было заплачено, они поотстали от нас и, выждав немного, явились опять и предъявили к оплате вновь изобретенный счет.

Мы закусили в тени пирамиды, окруженные этими назойливыми, малопривлекательными зрителями, а потом Дэн, Джек и я решили немного прогуляться. Воюющий рой попрошайек последовал за нами, окружил нас, чуть не преградил нам путь. Среди них был и шейх в белом развевающемся бурнусе и пестром головном уборе. Он требовал прибавки. Но мы переменили тактику — на защиту от них и миллиона не жалко, а на бакшиш ни цента больше не дадим. Я спросил шейха, не уговорит ли он остальных убраться, если мы ему заплатим. Он согласился за десять франков. Мы ударили по рукам и сказали ему:

— Теперь уговори своих подданных отстать от нас.

Он взмахнул над головой своим длинным жезлом, и три араба были повержены во прах. Он носился в толпе как одержимый. Удары сыпались градом, и каждый разил без промаха. Пришлось поспешить на выручку и растолковать шейху, что мы хотим, чтоб он только поучил слегка своих подданных, а убивать их незачем. Через какие-нибудь две минуты мы остались наедине с шейхом и спокойно продолжали путь. Сила убеждения у этого безграмотного дикаря была поистине замечательная.

Каждая сторона пирамиды Хеопса достигает высоты вашингтонского Капитолия или нового дворца султана на Босфоре, она выше купола собора св. Петра в Риме, — иными словами, она тянется вверх на семьсот с лишком футов. Она выше креста на соборе св. Петра почти на семьдесят пять футов. Когда я впервые спустился по Миссисипи, я воображал, будто нет на свете горы выше, чем береговой утес, что стоит меж Сент-Луисом и Новым Орлеаном, близ Селмы, штат Миссури. Высота этого утеса четыреста тринадцать футов. В моей памяти он и поныне остается все тем же великаном. Я и сейчас еще вижу, как деревья и кусты, которыми поросли его склоны, становятся все меньше и меньше, а на самой вершине кажутся просто перышками. Но перед пирамидой Хеопса, этой гигантской каменной горой с безукоризненно правильными очертаниями, воздвигнутой терпеливыми человеческими руками, перед этой величественной гробницей забытого монарха моя любимая гора сильно проиграла. Ведь высота этой пирамиды четыреста восемьдесят футов. Еще прежде того времени, о котором я только что вспоминал, величайшим творением Божьим я считал Холм Холлидея в нашем городе. Казалось, вершина его упирается в самое небо. Высота его была почти триста футов.

В те дни я много размышлял о нем, но так и не мог понять, отчего он не прячет свою вершину в облаках и не венчает царственное чело свое вечными снегами. Я слышал, что таков обычай величественных гор в других странах. Помню, вдвоем с приятелем мы урывали часы от уроков, за что случалось отведать и розог, и упорно трудились, подкапывая гигантский валун, который покоился на вершине горы; помню, однажды в суббогу мы честно проработали добрых три часа и наконец увидели, что желанная цель близка; помню, мы сели, отерли пот с лица, подождали, пока пройдет внизу по дороге вышедшая на прогулку компания, и тогда столкнули валун с вершины. Это было восхитительно. Он с грохотом покатился по склону, вырывая молодые деревца, подкашивая кусты, как траву, раздирая, дробя и круша все на своем пути; он разбил в щепы и раскидал штабель дров у подножия горы, пролетел над телегой, ехавшей по дороге, — негр-возница вскинул глаза и низко пригнулся, — и в следующее мгновение смял в лепешку бондарную мастерскую, и оттуда пчелиным роем вылетели бондари. «Великолепно!» — сказали мы, и давай Бог ноги, так как бондари уже лезли вверх по откосу, чтобы поглядеть, что такое стряслось.

И все же, каким чудом ни была та гора, она ничто пред пирамидой Хеопса. Мне не пришло в голову ни одного сколько-нибудь подходящего сравнения, чтобы дать понятие о чудовищной каменной машине, основание которой занимает площадь в тридцать акров, а высота — четыреста восемьдесят утомительных футов, так что я махнул на это дело рукой и пошел к Сфинксу.

Сколько лет я ждал этой встречи — и вот он, наконец, передо мной. Величавые черты его печальны и строги, в них тоска и терпение. Весь его облик исполнен достоинства, какого не встретишь на земле, и доброты, какой никогда не увидишь в человеческом лице. Это камень, но кажется, что он чувствует. И если только каменному изваянию может быть ведома мысль, он мыслит. Взор его устремлен вдаль — и он глядит в ничто, в пустоту. Он глядит поверх всего настоящего, сквозь него — в прошлое. Он глядит поверх океана времени, поверх волн-веков, которые отступают все дальше и дальше, теснясь все ближе друг к другу, и под конец сливаются воедино и, уже неразличимые, откатываются к далекому горизонту древности. Он думает о войнах минувших столетий; о царствах, которые возникали и рушились у него на глазах; о народах, чьего рождения он был свидетель, и следил их расцвет, и видел их гибель; о радости и горе, о жизни и смерти, о величии и падении, снова и снова сменявших друг друга в эти пять тысяч неторопливых лет. Он воплощает в себе неотъемлемое

свойство человека — силу человеческого сердца и разума. Это сама Память — мысль, обращенная в прошлое, запечатленная в зримом и осязаемом образе. Всякий, кому ведома щемящая тоска воспоминаний об отошедших днях и о безвозвратно исчезнувших людях — если даже минули всего лишь жалкие десятилетия, — хоть в малой мере поймет печаль, таящуюся в этом суровом взоре, неотступно устремленном в былое, к тому, что видел он, когда еще не возникла История, не сложилось Преданье, — ко всему, что дышало и двигалось на земле в ту таинственную пору, о которой почти ничего не поведали нам даже сказочники и поэты, и сгинуло в свой срок, оставив каменного мечтателя одиноким и чуждым новому веку, среди непостижимых для него дел и событий.

Сфинкс велик в своем одиночестве, он поражает, этот исполин, он волнует душу тайной, которой окутано его прошлое. И пред величавым ликом этого бессмертного камня, который хранит в памяти деяния всех веков и ничего не прощает, человек проникается тем чувством, с каким предстанет он в свой смертный час пред лицо вечного судии.

Есть вещи, которые, щадя доброе имя Америки, лучше было бы, пожалуй, обойти молчанием; но дело в том, что ради истинного блага американцев как раз об этих-то вещах и следует говорить. Пока мы стояли, глядя на Сфинкса, на губе у него вдруг выросла то ли бородавка, то ли какая-то шишка. Послышалось знакомое постукивание молотка, и мы тут же все поняли. Один из наших благонамеренных гадов ползучих — я хотел сказать: охотников за реликвиями — вполз наверх и пытался отбить образчик от лица самого величавого из всех творений рук человеческих. Но Сфинкс все так же невозмутимо созерцал невозвратное прошлое, не замечая жалкой букашки, что копошилась у него на губе. Египетскому граниту, который устоял против бурь и землетрясений всех времен, не страшны молотки невежд туристов вроде вот этого разбойника с большой дороги. Зря он старался. Мы послали шейха арестовать его, а если это не входит в шейховы полномочия, хотя бы предупредить, что по египетским законам преступление, которое он намеревался совершить, карается тюрьмой или палочными ударами по пяткам. После этого гад отказался от своих попыток и уполз.

Длина Сфинкса сто двадцать пять футов, высота — шестьдесят, обхват головы сто два фута — если только память мне не изменяет, — и весь он вытесан из одной гигантской каменной глыбы, которая крепче всякого железа. Прежде чем от этой громады отбили четверть или даже половину, чтобы превратить ее в Сфинкса, она, должно быть, была величиною с отель на Пятой авеню. Я привожу эти цифры и сведения лишь для того, чтобы

дать представление о том колоссальном труде, которым было создано это прекрасное, безупречное по своим очертаниям и пропорциям изваяние. Камень так прочен, что статуи, вытесанные из него, нимало не меняются, простояв две-три тысячи лет под открытым небом. Так не целое ли столетие терпеливого тяжкого труда понадобилось на то, чтобы создать этот Сфинкс? Очень может быть.

Уж не помню, что помешало нам побывать у Красного моря и пройти по аравийским пескам. Не стану описывать мечеть Махмуда-Али, в которой все внутренние стены из отполированного, сверкающего алебаstra; не стану рассказывать о том, как птицы выют гнезда в стеклянных шарах огромных люстр, висящих в мечети, и наполняют ее своим пением, и никого не боятся, ибо здесь им прощают их дерзость, уважают их права и никому не дозволено мешать им, хоть мечети и грозит опасность в конце концов остаться без света; уж конечно я не стану пересказывать избитую историю о резне мамелюков^[227], ибо я рад, что этих бессовестных негодяев вырезали, и не желаю возбуждать к ним сочувствия; не стану рассказывать о том, как спасся бегством единственный мамелюк, заставив своего коня прыгнуть с крепостной стены высотой в сто футов, — по-моему, в этом нет ничего особенного, я бы и сам так сумел; не стану рассказывать ни о превосходно сохранившемся колодце Иосифа, высеченном в скале, на которой стоит эта крепость, ни о мулах, которых Иосиф купил, чтобы они, шагая по кругу, вытаскивали воду наверх, — они и по сей день тянут ту же лямку, и кажется, им уже начинает порядком надоедать это занятие; не стану рассказывать и о житницах, которые построил Иосиф, чтобы хранить зерно, когда египетские маклеры продавали хлеб на срок, не подозревая, что к тому времени, как им нужно будет предъявить свой товар, во всей стране не будет ни зернышка; ни слова не скажу о странном-престранном городе Каире, потому что здесь я снова увидел все то, что отличает другие восточные города, о которых я уже говорил, только усиленное во сто крат; не стану рассказывать ни про великий караван, который ежегодно отбывает отсюда в Мекку, ибо я его не видел, ни про обычай мусульман простираться ниц, образуя живой настил, по которому проезжает на обратном пути глава экспедиции и тем гарантирует им спасение души, — ибо этого я тоже не видал; не буду говорить о здешней железной дороге, ибо она ничем не отличается от любой другой железной дороги, — скажу лишь, что топливом для паровоза служат мумии трехтысячелетней давности, скупаемые тоннами, а то и целыми кладбищами, и что нечестивый машинист иногда с досадой кричит: «Пропади они пропадом, эти плебеи,

жару от них ни на грош! Подбрось-ка еще фараонов»;^[228] не стану рассказывать о селениях бедняков, о жмущихся друг к другу островерхих хижинах, слепленных из ила, которые, словно осиные гнезда, торчат по всему Египту на бесчисленных холмах выше полосы, показывающей уровень воды во время разлива; не стану описывать бескрайнюю равнину, всю в пышных всходах, щедро зеленеющих на фоне ярко-синего неба повсюду, насколько хватает глаз; не буду говорить о том, какими предстали перед нами пирамиды, когда нас отделило от них двадцать пять миль, ибо картина эта слишком воздушна, чтобы писать ее лишенным вдохновения пером; не стану рассказывать о смуглых женщинах, которые кинулись к вагонам, когда поезд наш на минуту остановился на станции, и начали наперебой предлагать нам свой товар — воду и ярко-красные сочные гранаты; не буду рассказывать о пестрых толпах в диковинных нарядах, украшавших ярмарку, которая была в полном разгаре на другой варварской станции; не стану рассказывать ни о том, как мы лакомились свежими финиками и любовались проносящимися за окном чудесными видами; ни о том, как мы наконец с грохотом вкатились в Александрию, шумной гурьбой высыпали из вагонов, на веслах подошли к своему кораблю, оставив на берегу одного из наших (он хотел вернуться в Европу и уже оттуда домой), подняли якорь и наконец после долгих странствий окончательно и бесповоротно устремились к родным берегам; ни о том, как в час, когда солнце закатилось над самой древней в мире землей, Джек и Моулт торжественно уселись в курительной и всю ночь оплакивали потерянного друга и никак не могли утешиться. Обо всем этом я не скажу ни слова, не напишу ни строчки. Все это будет как книга за семью печатями. Я не знаю, что такое книга за семью печатями, сроду такой не видал, но тут самое место употребить это выражение, потому что оно весьма популярно.

Мы радовались, что посетили землю, которая была матерью цивилизации, которая научила грамоте Грецию, а через нее Рим, а через Рим и весь мир; землю, где горемычные сыны Израиля могли бы стать гуманным и цивилизованным народом, но которая дала им уйти едва ли не дикарями. Мы радовались, что посетили землю, просвещенная религия которой сулила вечную кару грешнику и воздаяние праведнику, тогда как даже религия Израиля ничего не обещала за гробом. Мы радовались, что посетили землю, где знали стекло на три тысячи лет раньше, чем в Англии, и умели так расписывать его, как никто из нас еще и сейчас не умеет; где уже три тысячи лет назад в медицине и хирургии знали едва ли не все, что наука «открыла» совсем недавно; где были все те хитроумные хирургические инструменты, которые наука «изобрела» в последнее время;

где уже существовали тысячи искусно выполненных предметов роскоши и первой необходимости, отличающих высокую цивилизацию, до которых мы мало-помалу додумались и сумели накопить их — и теперь уверяем, что ничего подобного еще не бывало на свете; где бумага появилась многие сотни лет назад, когда мы о ней еще и не мечтали, и парики — задолго до того, как в них стали щеголять наши женщины; где великолепная система общественного образования существовала настолько раньше, чем мы начали похваться своими достижениями в этой области, что кажется, это было поистине в незапамятные времена; где так бальзамировали мертвецов, что плоть стала едва ли не бессмертной, а нам этого не дано; где возводились храмы, которые бросают вызов разрушительному времени и с презрительной улыбкой взирают на наши хваленые чудеса зодчества; древнюю землю, где людям было ведомо все то, что мы знаем сегодня, а быть может и многое другое; землю, которая была широкой столбовой дорогой цивилизации еще на заре творенья, задолго до того, как мы появились на свет; где печать возвышенного, утонченного разума оставлена на вечном челе Сфинкса, дабы посрамить всех насмешников, которые в дни, когда все иные свидетельства исчезнут бесследно, попытались бы убедить мир, будто в пору своей величайшей славы царственный Египет блуждал во мраке невежества.

Глава XXXII. Едем домой. — Выродившаяся записная книжка. — Мальчишеский дневник. — Старая Испания. — Кадис. — Прекрасная Мадейра. — Восхитительные Бермудские острова. — Английское гостеприимство. — Наш первый несчастный случай. — Дома. — Аминь.

Мы снова в море, и нам предстоит долгое-долгое плавание: мимо всего Леванта, через все Средиземное море, потом через Атлантический океан, — это займет около месяца. Вполне понятно, что мы зажили тихой, мирной жизнью, решили стать людьми скромными и примерными, заправскими домоседами и недельки три-четыре не пускаться ни в какие странствия. Во всяком случае, не дальше чем от носа до кормы. Впрочем, это очень приятная перспектива, ибо мы устали и нам надо основательно отдохнуть.

Мы все обленились и утолили свою страсть к приключениям, о чем свидетельствует скудость моих записей в эти дни (для меня это самый верный указатель). Как ни говори, а глупая это затея вести путевой дневник в море. Вот, любуйтесь:

Воскресенье. — В четыре склянки, по обыкновению, заутреня. Вечером тоже служба. Никаких карт.

Понедельник. — Прекрасный день, но проливной дождь. Скот, купленный в Александрии на убой, нужно бы прирезать — или уж откормить. Во впадинах на загривке у животных скапливается вода. А также по всей спине. К счастью, это не коровы, а не то вода, просочившись внутрь, испортила бы молоко. Бедняга орел^[229], вывезенный из Сирии, примостился на переднем кабестане и выглядит мокрой курицей. У него, видно, нашлось бы что сказать о морских путешествиях, умеет он говорить, и если бы слова его обратились в камень, их хватило бы, чтобы запрудить самую широкую реку.

Вторник. — Где-то неподалеку от острова Мальта. Остановки не будет. Холера. Погода штормовая. Многие страдают морской болезнью и не показываются.

Среда. — Непогода все еще свирепствует. Бурей снесло с берега двух птиц, и они опустились на корабле. Ястреба тоже снесло в море. Он кружил и кружил над нами — хотел сесть, но боялся людей. Однако он так устал,

что в конце концов ему пришлось сесть, не то он бы погиб. Он снова и снова опускался на передний марс, но ветер тут же срывал его. Наконец Гарри его поймал. Море полным-полно летающих рыб. Они поднимаются стаями по триста штук, пролетают двести—триста футов над гребнями волн, потом падают в воду и исчезают.

Четверг. — Бросили якорь в виду Алжира, Африка. Красивый город, за ним красивые зеленые холмы. Простояли полдня и отплыли. Высадку не разрешили, хотя мы предъявили документы, что все здоровы. Здесь боятся египетской чумы и холеры.

Пятница. — Утром домино. Днем домино. Вечером прогулка по палубе. Потом шарады.

Суббота. — Утром домино. Днем домино. Вечером прогулка по палубе. Потом домино.

Воскресенье. — В четыре склянки заутреня. В восемь склянок вечерня. Скука до полуночи. Потом домино.

Понедельник. — Утром домино. Днем домино. Вечером прогулка по палубе. Потом шарады и лекция доктора К. Домино.

Без числа. — Бросили якорь в виду живописного города Кальяри, Сардиния. Стояли до полуночи, но эти гнусные чужестранцы не разрешили съехать на берег. Они плохо пахнут, они не моются — им нужно бояться холеры.

Четверг. — Бросили якорь в виду красивого города Малага, Испания. Съехали на берег в капитанской шлюпке... впрочем, не на берег, так как сойти нам не дали. Карантин. Приняли мою корреспонденцию для газет — взяли ее щипцами, окунули в морскую воду, изрешетили дырками и окурили какой-то дрянью, пока она не запахла, как настоящий испанец. Навели справки, нельзя ли прорвать блокаду и побывать в Альгамбре, Гренада. Слишком рискованно — могут повесить. Среди дня снялись с якоря.

И так далее и тому подобное, все в том же духе несколько дней подряд. Наконец бросили якорь в виду Гибралтара, который кажется знакомым, почти родным.

Это напоминает мне дневник, который я однажды завел на Новый год, когда был еще мальчишкой — доверчивой и безответной жертвой тех неосуществимых планов самосовершенствования, которыми благонамеренные старые девы и бабушки точно сетями уловляют в это время года неосторожных юнцов — ставят перед ними недостижимые цели, что неизбежно кончается крахом, и тем самым неминуемо ослабляют в мальчишке волю, подрывают его веру в себя и уменьшают его шансы на

успех в жизни. Вот, предлагаю вашему вниманию образчик из этого дневника:

Понедельник. — Встал, умылся, лег спать.

Вторник. — Встал, умылся, лег спать.

Среда. — Встал, умылся, лег спать.

Четверг. — Встал, умылся, лег спать.

Пятница. — Встал, умылся, лег спать.

Следующая пятница. — Встал, умылся, лег спать.

Пятница через две недели. — Встал, умылся, лег спать.

Через месяц. — Встал, умылся, лег спать.

На этом я и остановился, окончательно пав духом. Видно, слишком редко оказались в моей жизни необычайные события, чтобы стоило вести дневник. Однако я и сейчас с гордостью думаю о том, что даже в столь юном возрасте я, встав поутру, умывался. Этот дневник погубил меня. С тех пор у меня уже никогда не хватало мужества завести другой. Веру в свои силы по этой части я утратил раз и навсегда.

Нашему пароходу предстояло на целую неделю, а то и больше, задержаться в Гибралтаре, чтобы запастись углем на обратное плавание.

Остаться на борту было бы очень скучно, и мы вчетвером вырвались из карантина и провели семь восхитительных дней в Севилье, Кордове, Кадисе да еще успели побродить по живописным сельским дорогам Андалусии, этого сада Старой Испании. Наши впечатления от всего виденного за эту неделю слишком разнообразны и многочисленны — их не уложить в короткую главу, а для длинной у меня нет места. Поэтому я умолчу о них.

Однажды утром в Кадисе, часу в одиннадцатом, мы сошли к завтраку. Нам сказали, что наш корабль уже часа три как стоит на якоре в гавани. Надо было поторапливаться: из-за карантина корабль не сможет долго нас дожидаться. Вскоре мы уже были на борту, и не прошло и часу, как белый город и прелестные берега Испании скрылись за волнами и пропали из глаз. Еще ни с одной страной мы не расставались так неохотно.

Уже давно, на шумном сборище в салоне, мы порешили, что нельзя заходить в Лиссабон, потому что там мы непременно попадем в карантин. По доброму старому обычаю американцев, мы всё решали вот так, сообщая, — всё, начиная от замены очередного государства, предусмотренного в нашем маршруте, другим, и до жалоб на плохой стол и нехватку салфеток. Мне вспоминается жалоба одного из пассажиров. Вот уже три недели, заявил он, как нам подают все более отвратительный кофе, и теперь это уже никакой не кофе, а просто подкрашенная водичка. Кофе такой жидкий, что

просвечивает на целый дюйм. Однажды утром этот пассажир, обладающий на редкость острым зрением, еще издали завидел сквозь кофе дно своей чашки. Он тут же отправился к капитану Дункану и выразил ему свое возмущение. «Стыд и срам, что нам подают такой кофе», — сказал он. Капитан показал ему свою чашку. Его кофе был вполне приличный. Тут начинающий бунтарь разъярился и того пуще, он не мог стерпеть столь явного предпочтения капитанскому столу перед всеми остальными. Он прошествовал обратно, взял свою чашку и с победоносным видом поставил ее перед капитаном.

— Вот, попробуйте это пойло, капитан Дункан.

Капитан понюхал, попробовал, снисходительно улыбнулся и сказал:

— Как кофе — это, конечно, никуда не годится, но это неплохой чай.

Посрамленный бунтарь тоже понюхал, попробовал и вернулся на свое место. Ну и дурака же он свалил при всем честном народе. Больше он уже не бунтовал. Впредь он принимал жизнь такой, как она есть. Этим дураком был я.

Теперь, вдали от всех берегов, мы вновь зажили размеренной, привычной жизнью. Дни шли за днями, один точь-в-точь как другой, и все они радовали меня. Наконец мы бросили якорь на открытом рейде Фунчала, у прекрасного острова, который известен под именем Мадейра.

Здесь горы несказанно хороши, пышная зелень одевает их, потоки лавы застыли на них величавыми складками, повсюду рассыпаны белые домики, склоны иссечены глубокими ущельями, где и днем царит лиловый сумрак, пологие склоны в ярких солнечных пятнах, в изменчивых тенях проплывающих в небе воздушных флотилий, — и всю эту великолепную картину достойно венчают неприступные пики, чело которых задевают пушистыми краями скользящие мимо облака.

Но съехать на берег нам не удалось. Мы простояли в виду Мадейры весь день, глядя на нее с тоской; мы всячески поносили того, кто изобрел карантин; раз шесть мы сходились и обсуждали положение: перебивая друг друга, произносили несчетное множество речей; вносили несчетное множество предложений, которые умирали, не успев родиться, поправок, которые немедленно проваливались, резолюций, которые выпускали дух в тщетных усилиях обрести поддержку всего высокого собрания. Ночью мы подняли якорь.

У нас на борту бывало не меньше четырех собраний в неделю, так что дни наши проходили в трудах и заботах, но зачастую столь бесплодных, что в тех редчайших случаях, когда нам удавалось благополучно разрешиться резолюцией, наступало всеобщее ликование и мы поднимали флаг и

стреляли из пушки.

Дни шли за днями, и ночи тоже; вот из моря поднялись прекрасные Бермуды, мы вошли в извилистый пролив, поплутали меж одетых в пышный летний убор островов и наконец нашли приют под гостеприимным английским флагом. Вместо испанских и итальянских предрассудков, грязи и панического страха перед холерой здесь нас встретили цивилизация и здравомыслие, здесь мы ни для кого не были пугалом. Несколько дней провели мы среди прохладных рощ, цветущих садов, коралловых бухт, любовались прихотливо изрезанным берегом и ослепительно синим морем, которое то открывалось нам, то пряталось за сплошной стеной пышной и яркой листвы. Все это вновь рассеяло нашу апатию, навеянную сонным однообразием долгого плавания, и теперь мы готовы пуститься в последний рейс — в небольшой, всего в какую-нибудь тысячу миль переход — в Нью-Йорк, в Америку, *домой!*

Мы простились с «нашими друзьями бермудца-ми», как сказано в нашем проспекте, — наиболее близкие отношения у нас установились главным образом с неграми, — и вновь отдались во власть могучего океана. «Главным образом», сказал я. Мы познакомились больше с неграми, чем с белыми, потому что у нас накопилось много белья для стирки; но мы приобрели несколько отличных друзей среди белых и еще долго будем с благодарностью вспоминать их.

Едва мы отплыли, нашей праздности пришел конец. Все без исключения учинили генеральный смотр своему имуществу, перевернули все вверх дном у себя в каютах, усердно укладывали чемоданы, — такой суматохи у нас не было с тех самых пор, как мы бросили якорь в Бейруте. У всех было дел по горло. Составлялся список всех покупок с указанием стоимости, чтобы не застрять надолго в таможне. Предстояло все купленное сообща поделить поровну, расплатиться со старыми долгами, проверить счета и наклеить ярлыки на ящики, тюки, чемоданы. Суэта и сумятица продолжались до поздней ночи.

И тут случилось у нас первое несчастье. В бурную ночь один из пассажиров, сбегая по трапу между палубами, споткнулся о незадраенный по оплошности люк, упал и сломал ногу в лодыжке. Это был наш первый несчастный случай. Мы проехали много больше двадцати тысяч миль по морю и по суше, побывали в краях с нездоровым климатом — и все обошлось без серьезных болезней, без единой царапинки, все шестьдесят пять путешественников остались живы и невредимы. Судьба была на удивление милостива к нам. Правда, как-то ночью, в Константинополе, один наш матрос прыгнул за борт, и больше его никто не видел —

подозревают, что он хотел дезертировать, и во всяком случае можно надеяться, что он доплыл до берега. Но пассажиры все были налицо. Ни один не выбыл из списка.

Наконец в одно прекрасное утро мы на всех парах вошли в нью-йоркскую гавань. Все высыпали на палубу, все одеты, как подобает добрым христианам, — таков был приказ, ибо кое-кто замышлял вырядиться турком, — и, глядя на приветственно машущих платками друзей, счастливые паломники почувствовали, как вздрогнула у них под ногами палуба, возвещая о том, что корабль и пристань вновь обменялись сердечным рукопожатием и долгому поразительному странствию пришел конец. Аминь.

Глава XXXIII. Неблагодарный труд. — Прощальное слово в газете. — Заключение.

Здесь я помещаю статью, которую я написал для «Нью-Йорк Геральд'а» в вечер нашего прибытия. Я делаю это отчасти потому, что того требует мой договор с издателем; отчасти потому, что это верный, добросовестный и исчерпывающий итог нашего плавания и подвигов наших паломников в чужих краях; а отчасти еще и потому, что кое-кто из моих спутников бранил меня за нее, и я хочу, чтобы все видели, какая это неблагодарная задача — заниматься прославлением тех, кто не способен оценить твои труды. Меня обвинили в «слишком поспешном опубликовании» этих похвал. А я вовсе не спешил. Я иногда посылал корреспонденции в «Геральд», и, однако, придя в тот день в редакцию, даже не заикнулся о том, чтобы написать прощальное слово. Я сперва зашел в «Трибюн» узнать, не нужна ли им такая статья, ибо я состоял штатным сотрудником этой газеты и это была моя прямая обязанность. Главного редактора я не застал и тут же забыл и думать об этом. Вечером, когда редакция «Геральд'а» попросила меня написать такую статью, я тоже не стал спешить. Напротив, я мешкал с ответом, ибо в ту минуту не склонен был рассыпаться в комплиментах, а потому не желал рассказывать о плавании, боясь, что увлекусь и отзыв мой будет отнюдь не похвальный. Однако я рассудил, что поступлю по чести и справедливости, если напишу несколько добрых слов о наших хаджи (хаджи — это почетное звание паломника), ибо люди сторонние не смогут написать об этом так прочувствованно, как я, собрат хаджи; и тогда я написал эту статью. Я прочел ее раз, прочел другой, и если есть здесь хоть строчка, заключающая в себе что-либо, кроме самой беззастенчивой лести по адресу капитана, корабля и пассажиров, я этого во всяком случае не вижу. Или я ничего не смыслю, или участники какого угодно путешествия могли бы гордиться тем, что среди них нашелся человек, написавший о них такую главу. После этого краткого вступления я уверенно отдаю свое прощальное слово на суд непредубежденного читателя.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРИСТОВ ИЗ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ

Рассказ о морском путешествии.

Пароход «Квакер-Сити» завершил наконец свое необычайное плавание и вернулся в родную гавань у подножья Уолл-стрит. В некоторых отношениях путешествие прошло успешно, в других не слишком. Вначале оно было названо «увеселительной поездкой». Что ж, быть может это и была увеселительная поездка, но, право, ни по виду, ни по поведению участников этого не скажешь. Всем и каждому известно, что участники увеселительной поездки уж конечно народ молодой, легкомысленный, шумливый. Их главное занятие — танцевать, петь, влюбляться, а вовсе не читать проповеди. Всем и каждому известно, что на приличных похоронах непременно должны быть дроги и покойник, ближайшие родственники, друзья и просто знакомые, много стариков и старушек, — и всё очень торжественно, ничего фривольного, а в придачу молитва и проповедь. Три четверти пассажиров «Квакер-Сити» были в возрасте от сорока до семидесяти лет! Самая подходящая компания для пикника! Может быть, вы думаете, что последняя четверть состояла из юных девиц? Ничуть не бывало. Это были по преимуществу угрюмые старые холостяки и шестилетнее дитя. Если высчитать средний возраст наших паломников, получится пятьдесят лет. Неужели найдется безумец, способный вообразить, что эти патриархи пели, влюблялись, танцевали, смеялись, рассказывали анекдоты, — словом, вели себя безбожно легкомысленно? Насколько я мог заметить, они ничем таким не грешили. Здесь, на родине, вы без сомнения полагали, что эти резвые ветераны изо дня в день с утра до ночи смеются, поют, затевают шумные игры и на корабле ни на минуту не утихает буйное веселье; что они играют в жмурки и лунными вечерами отплясывают на юте кадрили и вальсы, а в редкие свободные минуты набрасывают строчку-другую в путевые дневники, которые они завели с самого начала, едва покинув родные берега, и ведут аккуратнейшим образом, но их уже призывают новые труды, они спешат засесть за юкр и вист в уютном свете ламп. Если вы так полагали, вы глубоко ошиблись. Почтенные участники плавания не отличались ни веселым нравом, ни резвостью. Они не играли в жмурки, они и не помышляли о

висте, они не увиливали от скучных дневников, ибо — увы! — почти все они даже писали книги. Они никогда не затевали шумных игр, почти не разговаривали, никогда не пели, если не считать вечерних молитв. Наш так называемый «увеселительный» корабль напоминал синагогу, а «увеселительная поездка» — похороны без покойника. (В похоронах без покойника тоже веселого мало.) Беззаботный искренний смех раздавался на палубах и в каютах не чаще раза в неделю, и его здесь не очень-то жаловали. Давным-давно (кажется, с тех пор прошла целая вечность) было три вечера с танцами; танцевали кадрили — три дамы и пятеро мужчин (одному рукав повязали носовым платком, в знак того, что он дама, а не кавалер), которые старательно переставляли ноги под унылую музыку страдающего одышкой мелодикона; но даже эта унылая оргия была признана греховной, и танцы прекратились.

Когда необходимо было отдохнуть от чтения Иосифа Флавия или «Исследования о Святой Земле», принадлежащего перу Робинсона, или от писания собственных книг, паломники садились за домино, ибо вряд ли есть на свете другая такая нудная, безгрешная игра — разве что развлечение, которое именуется крокетом (это вам не бильярд, где можно загнать шар в лузу или хотя бы устроить карамболь, и когда партия кончена, никто ничего не платит, никто ничем не угощает, — а стало быть нет в ней никакого удовольствия), и играли, пока не отдохнут, а потом в глубине души кляли партнеров на чем свет стоит до самой вечерней молитвы. В дни, когда их не мучила морская болезнь, они летели в столовую, как на крыльях, при первом же звуке гонга. Такова была наша повседневная жизнь на борту — скука, благопристойность, трапезы, домино, молитвы, злословие. Это мало походило на увеселительную прогулку. Нам не хватало только покойника, чтобы она превратилась в благопристойные похороны. Теперь все это в прошлом, но когда я оглядываюсь назад, воспоминание об этих почтенных ископаемых, отважившихся на полугодовой пикник, веселит мне душу.

Название, которое дано было нашей экспедиции в проспекте — «Увеселительная поездка по Святой Земле», — явно не подходит ей. Назвать ее «Похоронным шествием по Святой Земле» было бы гораздо верней.

Куда бы мы ни прибыли — в Европу ли, в Азию или в

Африку — всюду мы производили сенсацию и, осмелюсь прибавить, несли с собой голод и опустошение. Никто из нас до этого нигде не бывал, все мы приехали из глухой провинции; в путешествии этом для нас была захватывающая прелесть новизны, и мы дали волю всем своим природным инстинктам — не церемонились, не связывали себя никакими условностями. Всем и каждому мы спешили дать понять, что мы американцы — американцы, не кто-нибудь! Убедившись, что лишь немногие чужеземцы слыхали о существовании Америки, а весьма многие знали лишь, что это какая-то варварская страна где-то на краю света, которая недавно с кем-то воевала, мы посокрушались о невежестве Старого Света, но ни на йоту не усомнились в собственной значительности. Многие и многие простодушные жители восточного полушария еще долгие годы будут вспоминать о том, как в лето от рождества Христова тысяча восемьсот шестьдесят седьмое к ним вторглась орда незваных гостей, называвших себя американцами и Бог весть почему воображавших, будто они вправе этим гордиться. Мы несли с собою голод и опустошение отчасти потому, что кофе на «Квакер-Сити» был невыносимый, а порою и более существенная пища оказывалась не высшего качества, а отчасти потому, что человеку надоедает изо дня в день сидеть за одним и тем же столом и есть все одно и то же.

Жители этих дальних стран на редкость невежественны. Они во все глаза смотрели на костюмы, которые мы вывезли из дебрей Америки. Они с удивлением поглядывали на нас, если мы иной раз громко разговаривали за столом. Они замечали и то, что мы не любим бросать деньги на ветер и всегда стараемся получить за них возможно больше, и диву давались, откуда таких принесло. Когда в Париже мы заговаривали с ними по-французски, они только глазами хлопали! Нам никак не удавалось хоть что-нибудь втолковать этим тупицам на их же родном языке.

Один из наших, желая объяснить лавочнику, что мы, быть может, еще вернемся к нему за перчатками, сказал: «Allong restay trankeel^[230]. Maybe ye soom Moonday^[231]». И поверите ли, этот лавочник, коренной француз, переспросил: что это ему такое сказали? Иногда мне даже кажется, что, наверно, есть какая-то разница между тем, как говорят по-французски в Париже и у нас, на «Квакер-Сити».

На нас всюду таращили глаза, и мы таращили глаза на всех. Всякий раз мы заставляли этих иноземцев почувствовать их ничтожество, мы подавляли их своим американским величием и стирали их в порошок. И однако мы были снисходительны к нравам, обычаям, и в особенности модам всех этих разнообразных народов. С Азорских островов мы уезжали в устрашающих балахонах и научились ловко управляться с частыми гребнями. В Танжере, Африка, мы пополнили наш наряд кроваво-красными фесками, с которых свешивались кисточки, как прядь волос с индейского скальпа. Во Франции и в Испании эти наши костюмы не остались незамеченными. В Италии нас, разумеется, приняли за мятежных гарибальдийцев и послали канонерку проверить, не кроется ли чего за этой сменой мундира. Рим при нашем появлении расхохотался. Если бы мы вырядились во все наши одежды, любой город хохотал бы. Мы нисколько не обогатили свой гардероб в Греции — ей нечем похвастать. Зато как мы нарядились в Константинополе! Тюрбаны, кривые сабли, фески, огромные пистолы, бешметы, кушаки, широчайшие шальвары, желтые туфли, — о, мы были просто великолепны! Знаменитые константинопольские псы долаялись до хрипоты и все же не сумели воздать нам должное. Теперь они, конечно, уже все передохли. Мы задали им такую непосильную работу, что они окончательно подорвали свое здоровье.

Потом мы поехали в гости к русскому императору. Мы явились к нему запросто, словно были знакомы с ним целую вечность, а после этого визита нацепили на себя еще и разные предметы русской одежды и, став вдвое живописнее прежнего, отправились дальше. В Смирне мы обзавелись шальями из верблюжьей шерсти и прочими персидскими уборами; но в Палестине... увы, в Палестине нашим блестящим успехам пришел конец. Там не носят ничего, достойного упоминания. Мы примирились с этим и прекратили закупки. Мы не экспериментировали. Мы не примеряли тамошних нарядов. Но мы приводили туземцев в изумление. Мы изумляли их самыми фантастическими нарядами, какие только могли придумать. Мы проехали по Святой Земле от Кесарии Филипповой до Иерусалима и Мертвого моря — диковинная процессия паломников, не испугавшихся расходов, исполненных важности, в зеленых очках, пышно разодетых, дремлющих под зелеными

зонтами, верхом на клячах, верблюдах и ослах, еще более жалких, чем те, которые вышли из Ноева ковчега, просидев без малого год на голодном пайке и измучась морской болезнью. Если сыны Израиля, живущие в Палестине, когда-нибудь забудут, как из Америки вторглись к ним новые гедеоновы полчища, их стоит сызнова предать проклятию и покончить с ними. Быть может, никогда еще столь редкостное, столь поразительное зрелище не представало людским взорам.

Что ж, в Палестине мы чувствовали себя как дома. Легко заметить, что Палестина была гвоздем всего путешествия. Европа нас мало привлекала. Мы галопом проскакали по Лувру, по дворцам Питти и Уффици, по Ватикану, по всем картинным галереям и богато расписанным храмам Венеции и Неаполя, по испанским соборам; некоторые из нас говорили, что те или иные творения старых мастеров — это великие создания гения (мы прочли эти слова в путеводителе, — правда, иногда мы относили их не к той картине, к которой следовало бы), а другие говорили, что это постыдная мазня. Критическим оком озирали мы современную и древнюю скульптуру во Флоренции, в Риме — всюду, где она попадалась нам на глаза, и хвалили, если она приходилась нам по вкусу, а если нет, уверяли, что предпочитаем деревянных индейцев перед табачными лавками в Америке. Но в Святой Земле нашему восхищению не было границ. Мы захлебывались от восторга на бесплодных берегах моря Галилейского; предавались глубоким раздумьям на горе Фавор и в Назарете; ударялись в поэзию, глядя на сомнительные красоты Ездрилона; в Изрееле и Самарии размышляли о проповедническом рвении Ииуя; буря чувств — самая настоящая буря — подхватила нас среди святынь Иерусалима; мы купались в Мертвом море и в Иордане, даже не задумавшись, действителен ли наш страховой полис в сверхрискованных случаях, и увезли с собой оттуда столько кувшинов с драгоценной влагой, что, боюсь, вся страна от Иерихона до горы Моав в этом году будет страдать от засухи. Что и говорить, для всех нас паломничество ко святым местам было лучшей частью нашего путешествия. После унылой, безотрадной Палестины красавец Египет ничем нас не очаровал. Мы только взглянули на него и заторопились домой.

В Мальте нам не разрешили съехать на берег — карантин; и в Сардинии не разрешили, и в Алжире, Африка, и в Малаге,

Испания, и в Кадисе, и на островах Мадейра. Тогда мы обиделись на всех чужестранцев, показали им спину и отправились домой. На Бермудах мы остановились, очевидно, только потому, что они были указаны в проспекте. Нам уже не было дела ни до каких новых мест. Мы всей душой стремились домой. Тоска по родине водворилась на корабле — ею заразились все без исключения. Знай нью-йоркские власти, какие размеры приняла у нас эта эпидемия, они бы непременно задержали нас здесь в карантине.

Великое паломничество окончено. Распростимся с ним и сохраним по нем добрую память, говорю я от всего сердца. Я не помню зла, не поминаю лихом никого из моих спутников, будь то пассажиры или капитаны. То, что мне было отнюдь не по душе вчера, очень даже по душе мне сегодня, когда я уже дома, и отныне всякий раз, как мне придет охота подшучивать над нашей братией, в шутках моих уже не будет яду. Путешествие дало нам все, что было обещано в проспекте, и все мы безусловно должны быть удовлетворены тем, как было поставлено дело. До свиданья!

Марк Твен.

По-моему, это очень лестный отзыв. Разве не так? И однако от наших хаджи я не дождался ни слова благодарности; напротив, я ведь не шучу, когда говорю, что многие даже выразили протест против моей статьи. Стараясь угодить им, я целых два часа гнул спину над этим очерком — и все зря. Никогда больше я не стану утруждать себя великодушными поступками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прошло около года с тех пор, как закончилось это примечательное паломничество; и вот я сижу у себя дома в Сан-Франциско и думаю о нем, — и должен сказать по совести, что день ото дня мне все приятнее вспоминать об этом путешествии, так как все досадные дорожные происшествия постепенно изгладились из памяти; и если бы «Квакер-Сити» снова снялся с якоря и вторично отправился в тот же рейс, я с превеликим удовольствием снова оказался бы на его борту — с тем же капитаном, даже с теми же паломниками и с теми же грешниками. Я был в наилучших отношениях примерно с десятком своих спутников (они и по

сей день мои верные друзья) и даже поддерживал знакомство с остальными пятьюдесятью пятью. Я достаточно поплавал, чтобы понимать, что это недурная пропорция. Ведь долгое морское путешествие не только обнаруживает все твои слабости и недостатки и усиливает их, но извлекает на свет Божий и такие твои пороки, о которых ты никогда не подозревал, и даже порождает новые. Проплавав год по морю, самый обыкновенный человек превратился бы в истинное чудовище. С другой стороны, если человек обладает какими-либо достоинствами, в море он редко их проявляет, и уж во всяком случае не особенно рьяно. Я не сомневаюсь, что на суше наши паломники очень милые люди; не сомневаюсь также, что, отправясь они в плавание вторично, они оказались бы несколько милее, чем во время нашего великого похода, — потому-то я и говорю без колебаний, что рад был бы снова выйти с ними в море. Во всяком случае, я бы наслаждался жизнью в кругу моих старых друзей. А остальные с таким же успехом наслаждались бы жизнью со своими дружками, — на всех кораблях всегда и неизменно пассажиры делятся на обособленные компании.

И еще скажу, что предпочел бы путешествовать в обществе одних Мафусаилов, чем постоянно пересаживаться с корабля на корабль и менять спутников, как делают все, кто путешествует обычным способом. Такие путешественники всегда горюют о корабле, с которым только что расстались, и о спутниках, с которыми у них разошлись дороги. Едва они полюбят какой-нибудь корабль, как уже надо пересаживаться на другой, едва привяжутся к приятному спутнику — и уже надо с ним расставаться. Они непрерывно испытывают все неудобства пребывания на чужом судне, среди чужих людей, которым нет до них дела, терпят вечные придирки незнакомого капитана и выслушивают дерзости незнакомых слуг, — и так без конца, из месяца в месяц. Беднягам, кроме того, приходится то и дело упаковывать и распаковывать чемоданы, мучиться в таможнях, беспокоиться о том, чтобы в целостности-сохранности доставить весь багаж из одного города в другой. Чем так страдать, я предпочел бы отправиться в плавание с целым полком почтенных патриархов. Чемоданы мы укладывали всего дважды — когда отправлялись из Нью-Йорка и когда возвращались в Нью-Йорк. Всякий раз, как нам предстояло сухопутное путешествие, мы прикидывали, на сколько дней мы уезжаем, что из одежды нам понадобится в пути, подсчитывали все с математической точностью и соответственно брали один или два саквояжика, а чемоданы оставляли на корабле. Мы выбирали себе спутников среди старых испытанных друзей и пускались в дорогу. Нам не надо было завязывать никаких новых знакомств. Мы часто

жалеем американцев, которые путешествовали в грустном одиночестве, окруженные чужими людьми, и не с кем им было разделить свои печали и радости. Всякий раз, как мы возвращались из поездки в глубь страны, мы еще издали первым делом начинали искать наш корабль, и когда видели, как он покачивается на якоре и на мачте развевается флаг, мы испытывали то же чувство, какое волнует путника, когда он завидит отчий дом. Стоило нам ступить на палубу — и всех наших забот, всех тревог как не бывало, ибо корабль был нам домом. Всякий раз нас ждала все та же знакомая каюта, и мы чувствовали себя здесь в безопасности, и нам было спокойно и уютно.

Путешествие наше было превосходно проведено, тут мне не к чему придаться. Все, что обещал нам проспект, было добросовестно выполнено, это немало удивило меня, ибо великие начинания, как правило, обещают куда больше, чем дают. Не худо было бы, чтобы подобные путешествия предпринимались каждый год и вошли бы в систему. Путешествия губительны для предрассудков, фанатизма и ограниченности, вот почему они так остро необходимы многим и многим у нас в Америке. Тот, кто весь свой век прозябает в одном каком-нибудь уголке мира, никогда не научится терпимости, не сумеет широко и здраво смотреть на жизнь.

Наше путешествие окончилось и отошло в прошлое. Но многое из того, что мы видели, множество самых разных случаев и приключений нам будет приятно вспоминать еще долгие-долгие годы. Всегда на лету, едва успевая бросить беглый взгляд на чудеса половины земного шара, мы не могли надеяться, что у нас останется неизгладимое впечатление от всего, что нам посчастливилось увидеть. И однако наш полет не пропал даром, ибо над путаницей смутных воспоминаний всплывают самые яркие, самые лучшие и значительные — и так и останутся во всем совершенстве своих очертаний и красок еще долго после того, как все остальное выцветет и померкнет.

Мы будем помнить кое-что о прекрасной Франции и о Париже, хотя он промелькнул перед нами, точно ослепительный метеор, и исчез Бог весть когда и как. Мы всегда будем помнить величественный Гибралтар, весь в ярком зареве испанского заката, омываемый радужным морем. Мы увидим в воображении Милан, его величавый собор с целым лесом мраморных шпилей. И Падую, Верону, Комо в алмазных россыпях звезд, и Венецию, покоящуюся на недвижных водах — безмолвную, покинутую, горделивую даже в своем унижении, погруженную в воспоминания об исчезнувших флотилиях, о битвах и победах, о великолепии отгремевшей славы.

Нам не забыть Флоренцию, Неаполь, не забыть Грецию, чарующий

воздух которой донес до нас дыхание рая, и уж конечно не забыть Афины и разрушенные храмы Акрополя. Не забыть древний Рим и пышную зелень окрестной равнины, такую яркую по сравнению с его серыми каменными руинами, и рассеянные по этой широкой равнине полуразрушенные арки, иззубренные стены с провалами окон, густо заплетенные виноградной лозой. Мы будем помнить собор св. Петра — не таким, каким видишь его, гуляя по улицам и воображая, будто в Риме все купола одинаковы, но таким, каким он предстает за многие мили, когда все здания поменьше исчезают из виду и лишь он один, горделивый и прекрасный, четко очерченный, огромный, как гора, величественно парит в пламени заката.

Мы будем помнить Константинополь и Босфор; каменные исполины Баальбека; египетские пирамиды; исполненный доброты лик мудрого Сфинкса; восточное великолепие Смирны; священный Иерусалим; Дамаск — «жемчужину Востока», гордость Сирии, земной рай, приют калифов и джиннов из «Тысячи и одной ночи», древнейшую столицу на земле, единственный город в мире, который четыре тысячелетия сохранял свое имя, никому не уступал своего места и невозмутимо взирал, как возникают империи и царства, наслаждаются отпущенным им кратким мигом блеска и славы и навсегда исчезают, не оставив по себе памяти!

«ПРОСТАКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ»

В начале 1867 года молодой журналист Марк Твен увидел в Сент-Луисе объявление о предполагаемой экскурсии «избранного общества» в страны Средиземного моря на специально зафрахтованном пароходе «Квакер-Сити». Твен уже имел некоторый опыт как путешественник-репортер. В 1866 году он совершил успешную поездку по Сандвичевым островам в качестве корреспондента газеты «Сакраменто юнион». В ответ на предложение Твена крупная сан-францисская газета «Альта Калифорния» согласилась отправить его своим корреспондентом в Европу и оплатить его проезд.

8 июня 1867 года пассажиры «Квакер-Сити», парохода водоизмещением в 1800 тонн, отправились в почти полугодовое плавание — они возвратились в нью-йоркский порт 19 ноября. За это время Твен послал в газету «Альта Калифорния» пятьдесят три письма, которые печатались с 25 августа 1867 года по 17 мая 1868 года. Кроме того, он послал шесть корреспонденций в газету «Нью-Йорк трибюн».

По возвращении Твен выступил с юмористическими лекциями о своем путешествии. Издательство «Америкен паблишинг компани» в Хартфорде (Коннектикут) предложило ему подготовить из его писем книгу путевых очерков. Книга вышла в свет в 1869 году. Она разошлась тиражом более ста тысяч и имела крупный литературный успех. Брет-Гарт на страницах издававшегося им в Сан-Франциско «Оверленд Мансли» объявил Твена самым выдающимся из американских юмористов, В. Д. Гоулс в бостонском «Атлантик Мансли» также приветствовал появление в американской литературе нового самобытного таланта.

Подготавливая книгу на основе своих путевых корреспонденций и записных книжек, Твен проделал большую дополнительную работу. Некоторые изменения и опущения требовались для более четкого построения книги в сравнении с серией газетных фельетонов. Твен также вписывал целые страницы, вводил дополнительные эпизоды. Работая над языком книги, Твен устранял некоторые жаргонные выражения. В отличие от Запада, где Твен прошел журналистскую школу, читатель Восточных штатов — старых культурных центров США, — для которого предназначалась его новая книга, был более чопорным и консервативным в своих требованиях к литературному языку. Авторедактура Твена привела также к смягчению некоторых сатирических вольностей, которые он

допускает по отношению к религии и библейским сюжетам, так как газетные корреспонденции Твена вызвали нападки на него представителей американского духовенства. По возвращении из путешествия Твен познакомился с семьей богатого шахтовладельца Лэнгдона и вскоре стал женихом его дочери Оливии. Читая вместе с невестой корректуры книги и идя навстречу ее буржуазно-респектабельным вкусам, он провел дополнительную, смягчающую правку. Избранное им вначале заглавие книги «Путь новых паломников» пародировало «Путь паломника» Бенъяна — книгу, чтимую англо-американскими протестантами почти наравне с Библией. Заглавие было перенесено в подзаголовок. Основным заглавием стало «Простак за границей». «Осклизлая сточная яма, почему-то именуемая святыми водами Вифезды», становится просто «водой Вифезды». Твен уже не отваживается писать, что из итальянских монахов «можно вытапливать сало», или шутить по поводу выгоды земельных спекуляций в тех городах древней Палестины, которым библейские пророки сулили особое процветание.

Характеристика «Простак за границей» в работах об американской литературе чаще всего сводится к следующему: это карикатурное изображение европейских традиций и памятников на потеху американцам. Американские туристы проходят по дворцам, музеям и храмам с громким и непочтительным хохотом, противопоставляя утилитарный взгляд на вещи «романтическим бредням» старой Европы.

Это несколько упрощенная и неточная характеристика книги. На самом деле в «Простак за границей» можно различить неоднородные, даже противоречивые элементы.

Основной задачей Твена был, конечно, юмористический репортаж. В качестве писателя-юмориста он зорко подмечает все смешное вокруг себя и сам охотно создает добавочные поводы для потехи. С большим увлечением он высмеивает трафареты путеводителей, заученные речи невежественных гидов и столь же трафаретные восторги, которые полагалось изъяснять туристам. Даже когда Твен бесцеремонно расправляется со «старыми мастерами», в этом в значительной мере выражается его протест против обязательного показного восхищения, заменяющего туристу-обывателю подлинное понимание искусства.

В то же время эти насмешки Твена имеют «антиевропейское» острие. В качестве представителя молодой американской национальной культуры он выступает против установившегося в американской литературе первой половины XIX века культа зависимости от вкусов и традиций Старого Света. В частности, он ведет скрытую полемику с книгами о Европе

американского поэта Лонгфелло и его многочисленных подражателей. Порой Твен в своих юмористических нападках на европейское искусство грешит против истины и художественной меры.

Одновременно Твен развивает в «Простаках» социальную тему. Многие из его замечаний об увиденной им в странах Европы нищете, социальных уродствах и суевериях справедливы и полны сочувствия к народу. Он смеется здесь «сквозь слезы». Однако когда Твен пытается представить Европу как скопище социальных бедствий, а Соединенные Штаты как «страну обетованную», он впадает в заблуждение. Молодой Твен пока еще плохо разбирается в социальных пороках своей родины. Насколько неверно он судит о политическом положении в Европе, видно из его необдуманных похвал по адресу политического авантюриста Наполеона III. Поверхностны и несправедливы многие его суждения об арабском Востоке; здесь «юмор» Твена иногда вызывает недоумение.

В протестантских странах, особенно в Англии и США, Библия долго составляла едва ли не важнейшую часть начального школьного образования. Библейские места представляли интерес для Твена и огромного большинства его читателей прежде всего потому, что были связаны с именами и событиями, знакомыми с детства. В описании «святых мест» Марк Твен не был тем воинствующим безбожником, каким он показался критиковавшим его религиозным ханжам в США. Однако, излагая библейские легенды, он охотно поддразнивает клерикалов.

Он дает «вольные» толкования и оценки многим событиям в библии; расхвалив великодушного Иосифа, он отказывается признать «заслуги» значительно более важного персонажа Библии, благочестивого Иакова, который снискал благополучие тем, что «по дешевке» купил первородство у своего голодного брата. Напомнив о кровопролитных подвигах Ииуя, который обманом заманил и истребил жрецов и поклонников Ваала, Твен саркастически комментирует; «Тут Ииуй, ревнитель истинной веры, отдохнул от трудов своих».

Некоторые библейские ситуации, вроде пребывания «безбилетного» Ионы во чреве китовом, соблазняют Твена как юмориста.

Внимательный читатель книги Твена постоянно ощущает, что, хотя все путешествующие на «Квакер-Сити» представляют американских «простаков за границей», писатель не отождествляет себя с ними. Грубость американских туристов, их невежество, самоуверенность и националистическое чванство во многих случаях заставляют Твена страдать от стыда за своих спутников. Он еще сам не освободился от многих неправильных взглядов и представлений, но уже начинает смотреть

на них критически. Недаром в заключении книги он пишет: «Путешествия губительны для всяческих предрассудков, для нетерпимости и узости взглядов — вот почему они столь необходимы многим моим соотечественникам».

Настоящий перевод «Простаков за границей» сделан по американскому изданию «Харпер энд брозерс» 1898 года. Первый русский перевод «Простаков за границей» появился в 1897 году. Царская цензура делала в книге сокращения, в частности там, где Твен описывает свое пребывание в России^[232].

З. Александрова

notes

Примечания

Капитан Марриэт — Фредерик Марриэт (1792—1848), английский писатель, автор приключенческих морских романов.

Генри Уорд Бичер (1813—1887) — американский проповедник, брат писательницы Бичер-Стоу.

Шерман Вильям Текумсе (1820—1891) — генерал, один из главных военных руководителей северян в Гражданской войне 1861 — 1865 гг., прославленный буржуазными историками как борец за освобождение негров. По окончании войны, будучи командующим военным округом на Западе, Шерман несколько раз подавлял восстания индейских племен.

«Барабанщик с Потомака» — вероятно. Р. Г. Гендершот, видный участник Гражданской войны, прозванный «Барабанщиком с Раппаханнока». Реки Раппаханнок и Потомак протекают близко одна от другой. Этим может объясняться неточность Твена.

Верблюжье ушко — шутливо переименованное «игольное ушко» из евангельского речения: «Легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому попасть в царствие небесное».

Смитсоновский институт — научно-исследовательский институт, работавший главным образом в области естественных наук; создан в Вашингтоне на деньги, пожертвованные Дж. Смитсоном.

...для нас. Иисусов Навинов... — Иисус Навин — военачальник иудеев, которого Бог наделил таким могуществом, что по его велению солнце и луна остановились в небе, чтобы он успел до темноты расправиться со своими противниками — аморитянами (Библ.).

Мостовая Русса — замощение из каменных плит, скрепленных цементом. Названа по имени изобретателя. Была применена в начале 60-х гг. на нью-йоркском Бродвее, но оказалась очень непрочной.

«Тело Джона Брауна» — американская народная песня, сложенная армией северян во время Гражданской войны 1861 — 1865 гг. в память фермера Джона Брауна, отдавшего жизнь за дело освобождения негров. Его героическое вооруженное выступление против рабовладельцев в 1859 г. было прологом к войне.

Мы встретились с ангелом, но мы не провели его в дом свой, зато он нас провел. — Каламбур Твена, основанный на евангельском речении: «Некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам».

Петр Пустынник — монах, фанатический проповедник первого крестового похода (1096—1099). Возглавил основные силы крестоносцев «простого звания».

Мемнон (греч. миф.) — сын Эос, богини утренней зари. Здесь имеется в виду огромная статуя, воздвигнутая фараоном Аменофисом III в пустыне возле древнего египетского города Уасет (у греков — Фивы). Греки называли ее Мемноном потому, что она издавала на рассвете дрожащий звук, как бы приветствуя зарю. После реставрации статуи этот звук (очевидно, вызывавшийся прохождением воздуха сквозь ее трещины) больше не раздавался.

Сад Гесперид — сад с золотыми яблоками, который сторожили нимфы Геспериды (греч. миф.).

«Уединение, где чары?..» — Строки из стихотворения английского поэта Вильяма Каупера (1731 —1800), посвященного Александру Селькирку — матросу, который потерпел кораблекрушение и много лет провел на необитаемом острове.

Четвертое июля — день американской независимости, провозглашенной в 1776 г. Национальный праздник в США.

Есть у вас вино? (франц.)

Мадам, есть у вас вино... или сыр... хлеб... (франц.)

Масло... яйца... говядина... (франц.)

Отель «Лувр и мир» (франц.).

Замок Борели' (недалеко от Марселя) был построен в середине XVIII в. богачом-оружейником, получившим дворянство. С середины XIX в. замок и находящееся в нем ценное собрание картин и других редкостей принадлежит городу и является музеем.

Южный перевал — перевал в Скалистых горах (США).

...по горам Уинд-Ривер — отроги Скалистых гор.

Здесь исходят из принципа, что лучше пусть пострадает один невинный, чем пятьсот. (Прим. автора).

...видели пресловутую Лионскую красавицу... — Имеется в виду пьеса Э. Бульвер-Литтона «Лионская красавица, или Любовь и гордость» (1838).

Улица Риволи (франц.).

Комиссионер (франц.)

Великую честь (франц.).

Прекрасного (франц.).

...позорное фиаско в Страсбурге. — Одна из авантюр Луи-Наполеона Бонапарта. В 1836 г. он попытался взбунтовать Страсбургский гарнизон и был за это выслан из Франции правительством Луи-Филиппа. Некоторое время Луи-Наполеон жил в США, потом вернулся во Францию.

...в темнице замка Гам. — В 1840 г. Луи-Наполеон был пожизненно заключен в крепость Гам, но в 1846 г. бежал в Англию.

Мухаммед-Али (1769—1849) — паша (вице-король) Египта, родом албанец. Перестроил армию по европейскому образцу, присоединил к своим владениям Сирию и Палестину. Египет, входивший в состав Османской империи, стал при нем так силен, что угрожал власти султана. В 1839 г. Мухаммед-Али разбил турецкие войска, но в результате вмешательства Англии должен был отказаться от дальнейших попыток добиться независимости Египта.

Иоанн Бесстрашный, герцог Бургундский, в 1407 г. расправился со своим противником, Людовиком Орлеанским, с помощью восемнадцати наемных убийц.

...по случаю восстановления президентской власти. — Президентская власть при Второй французской республике была восстановлена в декабре 1848 г.; но уже в 1851 г, президент Луи-Наполеон Бонапарт разгромил демократические элементы в стране, а в 1852 г. стал императором.

Сад Мабиль (франц.).

Тэм О'Шентер — герой одноименной юмористической поэмы шотландского поэта Бернса, попавший на шабаш ведьм.

Знаменитый трубадур. — Трубадур этот был провансалец Арно де Кателан, которого графиня Савойская послала ко двору французского короля Филиппа Красивого. Король отправил навстречу трубадуру вооруженную охрану. Капитан охраны, прослышав, что Арно имеет при себе драгоценности, посылаемые в дар королю, убил его, но нашел при нем только провансальские духи. Он представил убийство как дело разбойничьей шайки, но вскоре выдал себя тем, что употреблял духи, какие изготавливали только в Провансе.

..некто с непроизносимой фамилией... — Имеется в виду покушение польского патриота Березовского на русского императора Александра II во время пребывания его в Париже в 1867 г.

...Хлодвиг крепко спал после своих трудов во славу Христову... — Кловис, или Хлодвиг (465—511), — король франков, который обещал перед битвой принять христианство, при условии, чтобы христианский бог показал свое могущество и даровал ему победу. По преданию, воины-христиане, воодушевленные этим, добыли ему победу. В дальнейшем поддержка церкви еще больше укрепила его военную мощь.

Ронсеваль — ущелье в Пиренеях, на севере Испании, где в 778 г. арьергард войска Карла Великого был уничтожен басками. Ронсеваль получил известность главным образом потому, что воспет во французском героическом эпосе «Песнь о Роланде».

Создатель газового освещения и другой благодетель рода человеческого... — Имеются в виду французский инженер Фредерик-Альбер Винзор и французский агроном Пармантье.

Князь Массерано — испанский посол во Франции. После свержения представляемого им короля (Фердинанда VII) он оказался изгнанником.

...изгнанными царицами и князьями далекой Индии. — Имеются в виду владетельные князь и княгиня Ауда, государства Северной Индии, которое в 1850-х гг. было аннексировано Англией.

...над которой Ламартин пролил водопады слез. — Французский поэт-романтик Ламартин в «Жизни некоторых замечательных людей» с сентиментальным пафосом рассказал историю Абеяра и Элоизы, начав ее словами: «Эту повесть надо не рассказывать, а петь... Это повесть о двух героях, двух святых. Целая эпоха переживала их злоключения и плакала их слезами».

Что угодно господам? (франц.)

Название отряда телохранителей Наполеона III. 2 Ботанический сад (франц.).

Июль 1867 г. (Прим. автора).

Максимилиан — его доверчивая жертва... — Стремясь вытеснить из Мексики Соединенные Штаты, Наполеон III, при поддержке Англии и Испании, создал в Мексике «империю» и в 1864 г. возвел на престол своего ставленника, австрийского эрцгерцога Максимилиана. Но уже в 1867 г. марионеточная империя рухнула в результате подъема национально-освободительного движения, и незадачливый император был расстрелян. Жена Максимилиана после тщетных попыток получить для него помощь Наполеона III сошла с ума.

Юкр — старинная карточная игра.

..прихоть Иродиады. — Иродиада, жена тетрарха (наместника) Иудеи Ирода Антипы, потребовала казни Иоанна Крестителя, который обвинял ее в распутстве (Еванг.).

«...смеяться над осадой» — слова из трагедии Шекспира «Макбет» (V, 1).

Лукреции Борджиа — дамы, к которой я всегда питал глубокое уважение за ее недюжинные сценические способности. — Твен имеет в виду образ Лукреции на сцене. В одноименной драме Гюго Лукреция Борджиа отравляет за ужином шестерых оскорбивших ее юношей и показывает им приготовленные для них гробы. По сюжету Гюго была написана опера Доницетти, итальянского композитора XIX в.

Набор итальянских слов: Персона! Черт побери! Проклятье! Сольферино! (Местечко, близ которого в 1859 году произошло сражение между французами и австрийцами).

Париж, 7 июля (франц.).

Господин... почему... кладете... мыло... Вы что, думаете... Прошлым вечером... за две свечи... вчера вы... лед... каждый... но вы... не можете... мылом. Мыло... жизни... я его все-таки получу (франц.).

Луксор — город в Египте на месте развалин древних египетских Фив. Один из обелисков луксорского храма был в 1861 г. перевезен в Париж и установлен на площади Согласия.

...аллегория, представлявшая мистера Дэвиса... — Дэвис Джефферсон (1808—1889), создатель Конфедерации южных рабовладельческих штатов, впоследствии их президент, объявил в 1861 г. об отделении этих штатов от США. Это послужило сигналом к началу Гражданской войны.

Калькуттская «черная яма» — тюрьма, где в 1757 г. погибло (задохнулось) много англичан, взятых в плен навабом Бенгалии, восставшим против английского владычества.

Тахо — озеро на границе штатов Калифорния и Невада, у подножья гор Сьерра-Невада.

...сын садовника обманул Лионскую красавицу... — Эпизод из упоминавшейся выше пьесы Бульвер-Литтона: сын садовника обманом женится на тщеславной Лионской красавице, выдав себя за иностранного принца.

Полковник Д. Г. Фостер — издатель одной из питсбургских газет и весьма достойный человек. Когда эта книга готовилась к печати, я с огорчением узнал, что он скончался вскоре после возвращения на родину. (Прим. автора).

..к овдовевшей супруге Адриатики. — Имеется в виду обычай «обручения с морем», соблюдавшийся дожем Венеции при вступлении в должность. Дож в торжественной обстановке бросал в море перстень.

...потопила корабли Карла Великого... — В первые годы IX в. император Карл Великий пытался завоевать острова, на которых тогда еще только создавалась будущая венецианская республика, но взял лишь один из них — Кьоджу. После долгой, но безуспешной осады он должен был отступить.

...смирила Фридриха Барбароссу... — В 1176 г., в битве при Леньяно, Венеция в союзе с Сицилией, Ломбардией и папой римским нанесла поражение императору Фридриху Барбароссе.

...развернула победные знамена на стенах Константинополя. — В 1204 г., в результате четвертого крестового похода, Венеции досталась часть Константинополя и другие владения.

Отель «Европа» (франц.).

Над лоном моря чудный город встал». — Строки из поэмы «Италия» английского поэта Сэмюэля Роджерса (1763 — 1855).

Марино Фальеро — дож Венеции; в 1355 г. организовал заговор против всемогущей венецианской олигархии и был казнен.

...их отбили французы, когда захватили Венецию. — Французская оккупация Венеции имела место в 1797 г., в ходе войны между Французской республикой и Австрией.

Марк, Матфей, Лука, Иоанн — четыре евангелиста, ученики и последователи Христа, которым приписывается авторство Евангелий, первых книг Нового завета.

Дословно (лат.).

Соединенные Штаты (франц.).

Труженик (франц.).

Путешественник (англ.).

И сын, из Америки (франц.).

И три друга, город Бостон, Америка (франц.).

Из Франции, место рождения Америка, назначение — Великобритания (франц.).

...гробница дожа Фоскари, чье имя навеки прославил... лорд Байрон.
— Фоскари Франческо, дож Венеции в 1423—1457 гг., которого враждебная ему партия сместила, вменяя ему в вину преступления его сына Якопо. История Фоскари послужила темой для драмы Байрона «Двое Фоскари».

...колоссальное полотно Тинторетто... — Речь идет об огромной картине Тинторетто (Якопо Робусти) «Рай». В XLVIII главе книги Твена «Пешком по Европе» содержится юмористическое описание этой картины.

Бальби Адриано (1782—1848) — итальянский ученый-географ.

...мы видели... мрачных бронзовых коней... — Четверка бронзовых коней на кровле собора св. Марка некогда украшала арку Нерона в Риме; затем была перенесена императором Константином в Византию; в 1205 г., при захвате Константинополя крестоносцами, досталась Венеции; в 1797 г. стала трофеем французов, занявших Венецию, и попала в Париж; в 1815 г. была возвращена Венеции.

Мы... оценили по достоинству громадного Давида... — Имеется в виду бронзовая копия «Давида». Мраморный оригинал этой фигуры, работы Микеланджело, находится тоже во Флоренции, в здании Академии изящных искусств.

«Похищение сабинянок» — легендарный эпизод из ранней истории Рима. В новом поселении не хватало женщин, и римляне заполучили их хитростью: пригласив соседей-сабинян на праздник, они захватили их девушек. Но когда сабиняне пришли мстить Риму, сабинянки с детьми на руках бросились между сражающимися, и бой прекратился. Оба эти момента служили темой многим художникам и скульпторам.

Писателей (лат.).

...мы видели... гробницу Данте и с радостью узнали, что она пуста... — Изгнанный из родной Флоренции, Данте провел последние годы жизни в Равенне и там был похоронен. Флоренция впоследствии не раз требовала выдачи его останков, в частности незадолго до путешествия Твена, в 1864 г.

Отель «Европа» (франц.).

Решительный шаг (франц.).

Папские владения — Папская (или Церковная) область — территория Италии (включавшая Умбрию, Романью и территорию самого Рима), находившаяся с 755 по 1870 г. под властью римских Пап. После объединения Италии за ними осталась лишь территория вокруг Папского дворца в Ватикане.

Хау Элиас (1819—1867) — изобретатель швейной машины, сын бедного фермера из штата Массачусетс, самоучка. На Всемирной выставке в Париже в 1867 г. машина Хау получила золотую медаль.

Лаокоон (греч. миф.) — троянский жрец, навлекший на себя гнев богини Афины, потому что стремился спасти Трою, которую боги обрекли на гибель. Посланные Афиной огромные змеи убили Лаокоона вместе с его сыновьями. Знаменитая скульптурная группа, изображающая их борьбу со змеями, была найдена в 1506 г. в Риме. Она считается копией более древней греческой скульптуры, которую датируют различно, между III и I в. до н. э.

Колумб... на вантах «Пинты»... — «Пинта» — каравелла водоизмещением в пятьдесят тонн, одно из трех судов первой экспедиции Колумба (1492). Однако сам Колумб, согласно большинству источников, плыл на другом судне — «Санта Мария».

...которые раньше находились в храме Соломона... — Храм Соломона в Иерусалиме — одно из «чудес» древнего мира. Согласно библейскому преданию, был разрушен Навуходоносором в VI в. до н. э. Второй храм, выстроенный в конце того же века, был разрушен римским императором Веспасианом. В периоды, когда Иерусалим был в руках христиан (Иерусалимское королевство крестоносцев), остатки храма увозились в Европу.

..семь холмов, на которых построен Рим. — Палатин, Капитолий, Квиринал, Целий, Авентин, Эсквилин и Виминал.

Гораций Коклес, защищавший мост Сублициус, является одним из героев, которые, согласно римским преданиям, дали блистательный отпор войскам этрусского царя Ларса Порсены (508 г. до н. э.). Однако историки выяснили, что мир с Порсеной римляне добыли ценою больших уступок.

...прославленный поединок между Горациями и Куриациями. — Горации — трое братьев, которые, по преданию, добыли победу Риму в единоборстве с тремя братьями Куриациями из Альбы Лонги. Двое из Горациев были убиты, третий уничтожил своих противников.

...водопровод, сохранившийся от старого города — Альбы Лонги, побежденной соперницы Рима.

Форум, где был убит Цезарь... — Гай Юлий Цезарь, стремившийся к единоличной власти, был убит в 44 г. до н. э. сторонниками республики Брутом и Кассием, но убийство произошло не на Форуме — городской площади, а в сенате.

Тарпейская скала — скала на Капитолийском холме, откуда сбрасывали осужденных на смерть.

«Умиравший гладиатор» — античная статуя.

Пантеон (по-гречески: «Храм всех богов») — известный памятник римского зодчества начала II века н. э.

Вер Люций Аврелий Целоний — соправитель императора Марка Аврелия. Командовал римскими войсками в войне с парфянами.

Форрест Эдвин (1806—1872) — американский трагик.

..углов... больше, чем у мечети Омара. — Мечеть Омара в Иерусалиме, построенная в 688 г. на месте храма Соломона, имеет форму восьмигранника.

Монумент — обелиск, воздвигнутый в Вашингтоне в память первого президента США Джорджа Вашингтона. Имеет в высоту 555 футов.

Лонг Айленд — остров в штате Нью-Йорк, на котором частично расположен и город Нью-Йорк.

Большая Клоака (Cloaca Maxima) — древнейшая система сточных канав, устройство которой приписывается преданием римскому царю Тарквинию Ириску.

Черт побери! (итал.)

Черт побери! (франц.)

Когда в Рим вступили французские войска... — Французские войска вступили в Рим в феврале 1808 г.; вслед за этим владения Папы (так называемая Папская область) были присоединены к империи Наполеона I.

...когда был насильственно увезен Пий VII... — Папа Пий VII боролся с попытками Наполеона подчинить себе католическую церковь и поэтому терпел от него всяческие притеснения. В 1809 г. Папа был арестован жандармами Наполеона и увезен во Францию. Свобода и владения были возвращены ему только в 1814 г., когда власть Наполеона пошатнулась.

Радуйся, царица небесная, аллилуйя! (лат.)

Радуйся, царица небесная! Аллилуйя! Тот, кого сподобилась носить во чреве своем, аллилуйя, воскрес по слову своему; аллилуйя! (лат.)

Моли за нас Господа, аллилуйя! (лат.)

Курсив мой. (Прим. автора)

...могильщик, повествующий о Йорике... — Имеется в виду трагедия Шекспира «Гамлет» (V, I): могильщики, роющие могилу Офелии, выкапывают череп придворного шута Йорика.

Нерон, бренчащий на кифаре... — Император Нерон (37—68 гг. н. э.) считал себя великим певцом и музыкантом. По преданию, во время большого пожара в Риме он играл на кифаре и пел, «вдохновляясь» созерцанием горящего города. Существует версия, что и самый пожар был устроен им ради эффектного зрелища.

«Увидеть Неаполь и умереть» — итальянская поговорка.

Восьмое чудо света. — Древние насчитывали «семь чудес света»: египетские пирамиды, маяк в Александрии, висячие сады Вавилона, храм Дианы в Эфесе, статую Зевса работы Фидия, статую Колосса Родосского и мавзолей в Галикарнассе, воздвигнутый на могиле карийского царя Мавзола его вдовой.

Набережная (итал.).

Поццуоли (древнее ПUTEОЛИ) — упоминается в Евангелии в числе тех мест, где побывали ученики Христа, проповедуя его учение.

Байя — местечко недалеко от Неаполя, известное еще в древнем Риме своими целебными источниками.

Серapis — одно из главных божеств Египта эллинистической эпохи (конец IV — конец I вв. до н. э.), культ которого широко распространился в Риме и его европейских провинциях.

Кумская сивилла (антич. миф.) — наиболее известная из сивилл (пророчиц), толковавших волю богов.

Озеро Аньяно, по-видимому, недавнего происхождения, заполняет круглое углубление — как полагают, кратер потухшего вулкана. По краям его и в глубине различимы следы древних построек.

Помпея — город, погребенный (вместе с Геркуланумом и Стабией) под вулканическим пеплом во время извержения Везувия в 79 г. н. э.

Плиний Младший — римский писатель. Гибель Помпеи он описал в своих «Письмах».

Грант Улисс Симпсон (1822—1885) — генерал, командовавший Северной армией в Гражданской войне 1861 — 1865 гг., позднее — президент США.

Сцилла и Харибда — скала и водоворот, опасные для мореплавателей, расположенные по обе стороны Мессинского пролива, отделяющего Италию от Сицилии. В греческой мифологии они были олицетворены в виде двух чудовищ и дали начало поговорке «между Сциллой и Харибдой» (между двух опасностей).

...Папа хоть и почтенный с виду поп, но его «Илиада» немногого стоит.
— Поэт XVIII века Александр Поп перевел «Илиаду» на английский язык.
По-английски эта фамилия звучит одинаково со словом Папа (Pope).

...покупать рабов... Платона и Диогена... — эти древнегреческие философы не были рабами. Здесь, очевидно, просто использованы их имена как типичные для древней Греции.

...блестящей победе при Марафоне. — Марафон — место битвы, где в 490 г. до н. э. греки, предводимые Мильтиадом, разбили вторгшиеся к ним персидские армии.

Ареопаг — Холм Ареса (греч.), где заседал высший судебный орган древних Афин; а также название самого этого судилища.

Пникс — место общественных собраний в древних Афинах.

Ксеркс взял эту могучую цитадель, вторгшись в Грецию с пятиmillionным войском... — Персидский царь Ксеркс взял Акрополь, но поход его (третья греко-персидская война) окончился поражением персов, как и их предыдущие вторжения. Легенду о пятиmillionном войске Ксеркса создал древнегреческий историк Геродот. Современные историки считают, что армия Ксеркса состояла примерно из ста пятидесяти тысяч человек. По тем временам это была огромная сила.

...венецианский пороховой погреб. — В XVII веке турки, тогдашние владельцы Афин, хранили в Парфеноне порох. Часть здания была повреждена случайным взрывом в 1656 г. Больше всего Парфенон пострадал в 1687 г., во время войны Турции с Венецианской республикой, когда в пороховой погреб попал венецианский снаряд.

Бема (греч.) — трибуна для выступлений афинских ораторов.

Марсов холм — то же, что Холм Ареса, или Ареопаг (Марс в римской мифологии соответствует греческому Аресу).

Цитирую самих паломников. (Прим. автора).

Илисс — известная в мифологии река древней Греции.

Злополучному Оттону пришлось туго. — Оттон Баварский, английский ставленник на греческом престоле, довел страну до экономической катастрофы. В 1857 г. в Афинах была создана международная комиссия по проверке финансов Греции. В 1862 г., в результате революционного движения в стране, Оттон был низложен.

...так и не увидев наш зверинец. — Намек на то, что в Ноевом ковчеге были и животные.

Ида — одна из гор, известных в древности культом богини Реи (Кибелы). Другая гора с тем же названием находилась на острове Крит

...где Леандр и лорд Байрон переплывали Геллеспонт. — По древнегреческому преданию, Леандр, юноша из Абидоса, любил Геро, жившую в Сестосе, и ради свидания с ней каждую ночь переплывал разделявший их пролив Геллеспонт (нынешние Дарданеллы). Однажды в бурю он утонул. Байрон, один из лучших пловцов своего времени, в 1810 г. переплыл Геллеспонт.

Алла Бисмилла! (араб.) — буквально: «Во имя Бога!»

Фирман (турецк.) — указ султана, а также правительственный мандат или разрешение.

«Зодчие Юстиниана»... — В своем нынешнем виде храм св. Софии был построен двумя греческими зодчими при императоре Юстиниане (VI в. н. э.).

Тысяча и одна колонна. — Так называлось гигантское подземное водохранилище, построенное при императоре Константине. Действительное число колони — 224; «тысяча и один» — обычное на востоке выражение множества (ср. «Тысяча и одна ночь»).

Солт-Лейк-Сити (или Город Соленого озера; штат Юта) — центр секты мормонов, которые, кроме христианской троицы, признавали и других богов, а также проповедовали многоженство. В 1890 г. многоженство было формально отменено.

Евксин — древнее название Черного моря.

Пруско-австрийская война за господствующее положение среди германских государств происходила в 1866 г. и закончилась победой Пруссии.

Султан запретил сообщать о победах критян. — Остров Крит, населенный преимущественно греками, с XVII в. находился под турецким владычеством. В 1866 г. в результате притеснений турецкого губернатора на Крите началась партизанская война. Несмотря на блокаду, голод и свирепые расправы турецких войск с целыми селениями, Крит около трех лет героически сопротивлялся угнетателям, а правительство султана пыталось скрыть это.

Герцог де Ришелье (Арман-Эмануэль Дюплесси) (1766—1822) — французский дипломатический агент, служивший в русской армии под Измаилом. Окончательно перешел на русскую службу при Александре I, который назначил его губернатором Одессы, а потом и всего юга России (тогдашней Новороссии). После реставрации Бурбонов вернулся во Францию и был министром иностранных дел. Относительно смерти Ришелье в России Твен был, очевидно, введен в заблуждение.

...пригласил нас в свой дворец, находящийся в миле от царского... — Из царской летней резиденции — Ливадии — американские гости поехали в Ореанду.

Предсказанное Миллером пришествие. — Миллер Вильям (1782—1849), основатель религиозной секты адвентистов (от англ. advent — пришествие), утверждавший, что евангельское пророчество о втором пришествии Христа исполнится примерно в 1843 г. Миллер разъезжал по США и запугивал народ, призывая готовиться к страшному суду.

...о превращении нимфы Сиринги в тростник. (греч. миф.). — Сиринга (греч.: свирель) — нимфа, дочь речного бога. Спасаясь от преследований влюбленного Пана (бога полей и стад, а впоследствии природы вообще), она обратилась к отцу за помощью и была превращена в тростник, из которого Пан сделал свирель.

Амазонки (греч. миф.) — воинственное племя женщин, воевавшее с греками.

Циклопы (греч. миф.) — одноглазые великаны, которым приписывали постройку городских стен в Микенах и других древнейших городах Греции

...один из многих городов, где он родился. — Греческие города оспаривали друг у друга честь считаться местом рождения творца «Илиады» и «Одиссеи». Как гласит старинное греческое двустишие:

Семь городов соревнуют за мудрого корень Гомера:

Смирна, Родос, Колофон, Саламин, Хиос, Аргос, Афины.

Тимон — афинский полководец (V в. до н. э.), славился щедростью, но когда подвергся ostracism за симпатии к Спарте, уединился и возненавидел людей. Шекспир написал на эту тему трагедию «Тимон Афинский».

«Да славится Диана Эфесская!» — В Деяниях апостолов рассказывается, что, когда апостол Павел проповедовал христианство в Эфесе, он встретил сильное сопротивление ремесленников, получавших немалую прибыль от изготовления серебряных жертвенников и статуй для храма богини Дианы (Артемиды). Они забрасывали Павла камнями, восклицая: «Да славится Диана Эфесская!»

Одна английская компания намерена взяться за раскопки Эфеса. — Твен имеет в виду английского археолога Вуда, начавшего раскопки храма Дианы в 1862 г.

Гора Кармель славится монастырем XII века, где возник монашеский орден кармелитов.

Место, где Иаков видел сон... — Уснув на пути из Бе-эр-Шивы в Харан, патриарх Иаков увидел во сне лестницу, восходящую к небу, с которой Бог возвестил ему будущее процветание его рода (Библ.).

«...И музыкой ночь мы наполним...» — строфа из стихотворения известного американского поэта Лонгфелло (1807—1882).

Перевод З. Александровой.

Прошу извинить мою грубость, но никаким иным словом этого не выразишь. (Прим. автора).

Иисуса Навина и еще кого-то сыны Израилевы послали соглядатаями в землю Ханаанскую... — Из множества разведчиков, посланных Моисеем в землю Ханаанскую, которую он шел завоевывать по велению Бога, только двое — Иисус Навин и Халев — рассказали, возвратясь, о богатой стране, «текущей млеко и медом», и о том, что завоевание ее вполне возможно. Остальные утверждали, что она населена свирепыми великанами (Библ.).

«...Не людям было суждено...» — строфа из стихотворения «Погребение Моисея» американского журналиста и писателя Сибы Смита (1792—1868).

Перевод З. Александровой.

...башни Баальбека... чья история — книга за семью печатями. — Название города породило ряд гипотез. Некоторые исследователи отождествляли его с библейским Ваал-Гадом, другие — с Пальмирой. Сейчас большинством признано, что это древний Гелиополис.

Хотя другую столицу зовут так... — «Вечным городом» называют Рим.

Савл, родом из Тарса... — Имя апостола Павла до его обращения в христианство было Савл (Саул).

...Даниила, брошенного па съедение львам. — Пророк Даниил был ближайшим советником мидийского царя Дария; но когда он отказался воздавать царю божеские почести, он был за это брошен в ров ко львам (Библ.).

...возводить знаменитую Вавилонскую башню... — Вавилонская башня была смелой попыткой людей возвести здание до небес. Но Бог, убоявшись, что люди тогда «не отстанут от того, что задумали сделать», рассеял их по всей земле; а чтобы разъединить их еще более, произвел «смещение языков», и люди, до того имевшие единый язык, перестали понимать друг друга (Библ.).

Замок Баниас (или замок Меркаб) расположен на горе возле древнего селения Баниас (римское название — Cesarea Phillippi) и был во времена крестовых походов крепостью ордена госпитальеров.

...сохранился фундамент мраморного храма, построенного Иродом Великим. — Баниасский храм был построен не Иродом, а его сыном, тетрархом Филиппом. Сведения об Ироде и других исторических лицах той эпохи, даваемые Евангелием, расходятся с данными исторических источников. Отсюда — возможная путаница в путеводителях, которыми пользовался Твен: они основывались на Евангелии.

«Ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою...» — Петр по-гречески — камень.

...если бы он не накормил их при помощи чуда... — Одно из евангельских «чудес»: Иисус накормил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами.

Море Галилейское — ныне называется Тивериадским озером.

Когда писались эти строки, железная дорога еще не была закончена.
(Прим. автора).

Иеровоам сделал золотого тельца... — Иеровоам, восставший против царя иудейского Ровоама, сделал двух идолов в виде золотых тельцов, чтобы израильтянам не надо было ходить молиться в Иерусалим, где царствовал Ровоам (Библ.).

...копией Иосифа и его братьев. — Имеется в виду библейское сказание об Иосифе Прекрасном, проданном братьями в рабство.

«Бегство в Египет». — Услышав пророчество о рождении в Вифлееме царя иудейского, царь Ирод велел убить всех младенцев Вифлеема, но младенец Иисус, которого имело в виду пророчество, спасся. «Святое семейство» — Мария с младенцем Иисусом и ее муж Иосиф-плотник — бежало в Египет (Еванг.).

...голос черепахи — в Библии: «голос горлицы». Английское слово turtle означает и «черепаха» и «горлица».

...с которого свиньи кинулись в море... — Имеется в виду одно из евангельских «чудес»: бесы, изгнанные из больных, вошли в свиное стадо, и свиньи, одержимые бесами, бросились в море.

Старик Флавий — Иосиф Флавий (ок. 38 г. н. э. — нач. II в. и. э.), иудейский военачальник; участвовал в восстании Иудеи против римского владычества и защищал восточное побережье Гали-лейского моря от войск императора Веспасиана. Однако потом перешел на сторону римлян и написал историю иудейской войны в проримском духе.

Я сравниваю все озера с Тахо отчасти потому, что знаю его лучше других озер, а отчасти потому, что так восхищаюсь им и столько приятнейших воспоминаний у меня с ним связано, что я просто не могу не назвать его, говоря об озерах. (Прим. автора)

Завулон, Наффалим, Асир, Дан — родоначальники «колен Израилевых», то есть родов, от которых, по библейскому преданию, произошел еврейский народ.

Плиний (23—79 гг. н.э.) — римский ученый Плиний Старший, названный так в отличие от своего племянника Плиния Младшего; автор энциклопедической «Естественной истории», часть которой посвящена географии древнего мира.

Аендор — местность, где жила волшебница, предсказавшая царю израильскому Саулу поражение в битве с филистимлянами (Библ).

Агентство Ллойда — английское общество морских и других страхований Ллойд имеет во всех крупных портах капиталистических стран агентства, где можно получить сведения о пароходном движении.

Отцы-пилигримы — переселенцы из Англии, основатели первого поселения в Северной Америке, высадившиеся в 1620 г. в Плимуте.

«прекрасна несказанно» и «вечно радовала бы глаз» — строка из поэмы «Эндимион» английского поэта Китса (1795— 1821).

Путнэм Израиль (1718—1790) — генерал американской армии во время войны за независимость США. В 1779 г. в местечке Хорснэк (штат Коннектикут) сражался с превосходящими силами англичан. Преследуемый британскими драгунами, бросился вместе с конем с крутого откоса, но уцелел, добыл подкрепление и обратил англичан в бегство.

Апокрифический Новый завет, а также Ветхий завет — памятники христианской религиозной литературы, толкующие библейские мифы и легенды о Христе иначе, чем официальное церковное учение. Апокрифы отражают борьбу различных течений в христианстве. В IV в. н. э. одно из этих течений победило и стало официальной церковью, установившей канонические книги Священного Писания. Остальные были объявлены ложными (апокрифическими).

Юбилейный год — каждый 50-й год. В этот год полагалось возвращать земли законным владельцам (Библ.).

Добрый самаритянин — житель Самарии, который оказал помощь человеку, ограбленному и раненному разбойниками. Образ его стал воплощением доброты и сострадания (Еванг.).

...говорил ей о таинственной живой воде. — Беседуя у колодца с самаритянкой, Иисус сказал, что может дать ей не простой воды, а «воды живой», утоляющей жажду навсегда (то есть истинную веру) (Еванг.).

...где... бедный старый Илий... «сломал себе хребет». — Перед большой битвой с филистимлянами израильтяне принесли из Силома ковчег завета Господня, чтобы показать врагу, что Бог на их стороне. Однако ковчег был захвачен, а хранители его, Офни и Финеес, убиты. Когда эта весть дошла до их отца, Илия, он упал навзничь, «сломал себе хребет и умер» (Библ.).

Елеонская (или Масличная) гора — на склоне ее расположен Гефсиманский сад, где Христос провел в молитве последнюю ночь перед распятием (Библ.).

Долина Иосафата (иначе — Кедронская) находится в окрестностях Иерусалима. В Библии говорится об этой долине как о месте грядущего страшного суда.

Башня Давида — очевидно, древний мавзолей, который, по преданию, считается могилой библейского царя Давида.

Вода Вифезды. — Источник Вифезды считался целебным, ибо туда по временам «сходил ангел и возмущал воду» (Еванг.).

Никодим— один из иудейских начальников, тайно приходивший слушать поучения Христа (Еванг.).

Иосиф из Аримафеи — тайный последователь Христа из числа богатых жителей Иерусалима, который снял его тело с креста и похоронил в собственном склепе, высеченном, по обычаю тогдашней Иудеи, в скале (Еванг .).

Балдуин — один из военачальников первого крестового похода, брат Готфрида Бульонского. Стремясь, как и другие главари этих походов, прежде всего к захвату земель для себя, Балдуин в самом начале похода отделился от других, захватил княжество Эдесское и охладел к делу освобождения святых мест.

Сеавульф — английский купец, впоследствии монах, оставивший записки о своем паломничестве в «святые места» в 1102—1103 гг.

Мысль эта принадлежит мистеру Граймсу, и она вполне справедлива. Я позаимствовал ее из «Бродячей жизни». (Прим. автора).

Памятник на Банкер-Хилле — обелиск, воздвигнутый в 1843 г. в память, битвы при Банкер-Хилле (около Бостона). Это была первая крупная битва (июнь 1775 г.) во время войны за независимость.

Уоррен Джозеф (1741 —1775) — известный своей отвагой генерал американской армии, погибший в сражении при Банкер-Хилле.

Даже и в наши дни два народа, не желавшие уступить друг другу честь сменить купол на этом храме, вступили в войну... — Имеется в виду Крымская война 1853—1856 гг. между Россией и коалицией, куда входили Англия, Франция, Турция и Сардиния. Внешним поводом к ней послужило обострение распри между католической и православной церквями из-за владения христианскими святынями в Палестине.

211

Се человек (лат.).

Авраам чуть было не принес в жертву своего сына Исаака... — Чтобы испытать покорность Авраама, Бог велел ему принести в жертву своего единственного сына Исаака (Библ.).

Один из паломников говорит, что то были не Давид и Голиаф, а Давид и Саул. Но я стою на своем — я узнал это от гида, а ему виднее. (Прим. автора).

Излюбленное выражение паломников. (Прим. автора).

Дома богача и Лазаря. — В этой притче выражен христианский принцип награды на том свете за нищету и страдания на земле: богач после смерти горит в аду, а нищий Лазарь, который при жизни «лежал у ворот его в струпьях», попадает в рай (Еванг.).

...его просто путают с тем Лазарем, который не имел других заслуг, кроме добродетели. — В Евангелии упоминаются два Лазаря: Лазарь из Вифании — брат Марфы и Марии, которого Иисус «воскресил из мертвых», и бедняк Лазарь — из упомянутой выше притчи.

Елисей «подсластил» воду... вороны кормили его... — Пророк бросил соль в источник, и вода в нем стала годной для питья. «Чудо» с воронами, приносившими пророку пищу в пустыню, относится не к Елисею, а к его учителю Илии (Библ.).

...не видели... ни кристаллика жены Лота. — Разрушая город Содом за его грехи, Бог дал спастись одному праведному Лоту с семьей, которым было велено бежать из города не оборачиваясь. Жена Лота из любопытства оглянулась и тут же превратилась в соляной столп (Библ.).

Иероним (церк.-истор.) — причисленный к святым автор латинского перевода Священного Писания (конец IV в. н. э.), единственного принятого католической церковью и получившего поэтому название «Вульгата» — общеупотребительный, обычный (лат.).

Рахиль — жена патриарха Иакова (Библ.).

Из Яффы отплыл Иона... — Пророк Иона по велению Бога должен был отправиться проповедовать в Ниневию, но ослушался и отплыл на корабле в Тарс. Когда поднялась буря, пророк признался морякам, что навлек на себя Божий гнев. Он был брошен за борт и проглочен китом. Проведя в китовом чреве трое суток, Иона раскаялся и взмолился Богу после чего кит изрыгнул его на сушу (Библ.).

Иглы Клеопатры — два обелиска, доставленных в Александрию из древнего Гелиополиса. В настоящее время один из них находится в Лондоне, другой в Нью-Йорке.

Он поступил в высшей степени бескорыстно и великодушно; в щедрости его не было ничего показного, и, насколько мне известно, об этом пожертвовании не узнала и не упомянула ни одна газета. Поэтому через несколько месяцев после выхода этой книги мы не без интереса узнали, что вся заслуга спасения колонистов приписывается другому человеку. Такова жизнь. (Прим. автора).

Изысканный (франц.).

...участие в военных действиях против абиссинского короля Теодора.
— Стремясь захватить опорные пункты на Красном море, где в то время строился Суэцкий канал, Англия вторглась в 1867 г. в Абиссинию.

...где дочь фараона нашла в тростниках Моисея. — Моисей, вождь и законодатель израильтян, родился, когда они были в египетском плену и когда всех рождавшихся у них младенцев мужского пола по приказу фараона топили в реке. Мать Моисея скрыла его рождение и положила ребенка в прибрежные камыши, в надежде, что его подберут; там ребенка нашла дочь фараона и усыновила его (Библ.).

...не стану пересказывать... историю о резне мамелюков... — Мамелюки, набранные из рабов различных народностей, принявших мусульманство, некогда составляли гвардию египетских султанов. В 1250 г. они сами захватили власть. Верхушку их составляли беи, которые выбирали из своей среды султана. Мамелюки воевали против крестоносцев и к концу XIII в. отняли у них последнее владение в Сирии. В 1517г. они в свою очередь были вытеснены из Сирии, Палестины и самого Египта турками. Однако, став данниками турецких пашей, мамелюки фактически оставались хозяевами Египта, пока в 1811 г. паша Мухаммед-Али не истребил мамелюкских беев заманив их в ущелье возле Каира. В это же время избиение мамелюков произошло и в других местностях страны.

Передано мне как факт. За что купил, за то и продал. Я лично готов поверить этому. Я чему угодно могу поверить. (Прим. автора).

Впоследствии мы преподнесли его в дар Сентрал-парку. (Прим. автора).

Исcoverканная французская фраза: «Allons, restez tranquilles»— «Не беспокойтесь».

Исcoverканная английская фраза: «Мы, может, придем в понедельник».

Данные об этом имеются в статье А. Старцева «Молодой Твен в России» (в сборнике рассказов Твена «Знаменитая скачущая лягушка», Гослитиздат, М. 1943).